

---

Тут уже настоящий Урал пошел.  
С крутыми горами,  
с людными заводами,  
с гремящими реками  
и девственными пустынями  
нетронутых лесов.

— Тут всё кругом железом  
скреплено да железом мощено! —  
раздумчиво проговорил  
мой спутник, всматриваясь  
в громадные богатства  
этого девственного края.

Железо — иное дело.  
Это — как выражаются  
на Урале — металл строгий:  
и дает он целые поколения  
сумрачных и строгих людей,  
которым чужды сангвиническое  
легкомыслие старателей  
и их покладистая совесть.

## КАМА И УРАЛ: ОЧЕРКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В. И. Немирович-Данченко



В. И. Немирович-Данченко

## КАМА И УРАЛ: ОЧЕРКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

**В. И. Немирович-Данченко**

---

**КАМА И УРАЛ:  
ОЧЕРКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ**

---



*издательство*  
**МАМАТОВ®**  
[www.mamatov.ru](http://www.mamatov.ru)

Санкт-Петербург 2021

УДК 821.161.1-4  
ББК 84(2=411.2)5-46  
Н50

Ответственный редактор *Е. Г. Власова*

**Немирович-Данченко В. И.**  
Н50 Кама и Урал: очерки и впечатления [Электронный ресурс] / отв. ред. *Е. Г. Власова*; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Электронные данные. – СПб.: Маматов, 2021. – 5,91 Мб; 456 с.

ISBN 978-5-91076-235-4

Книга представляет собой первое современное издание уральских очерков журналиста и писателя В. И. Немировича-Данченко, написанных по впечатлениям его поездки на Урал в 1876 году. Благодаря нестандартному выбору маршрута и живости наблюдений очерки стали самым подробным литературным описанием горнозаводского Урала XIX века. Они наполнены сведениями по истории и экономике уральских заводов, а также повседневной жизни уральцев. Талантливый пейзажист, Немирович-Данченко создал выразительный образ уральского пространства, открыв по большому счету его литературную историю. Текст очерков воспроизводится по книжному изданию 1890 года, выпущенного А. С. Сувориным при непосредственном участии автора. Книга адресована исследователям, педагогам и учащимся, связанным с изучением истории русской литературы и публицистики, а также всем, кто интересуется историей и культурой Урала.

*Книга издана при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках научно-исследовательской и книгоиздательской деятельности Лаборатории политики культурного наследия Пермского государственного национального исследовательского университета*

ISBN 978-5-91076-235-4

© Е. Г. Власова, Д. А. Солохина, Е. С. Кризская, составление и комментарии, 2021  
© В. В. Абашев, предисловие, 2021  
© ООО «Маматов», оформление, 2021  
© МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник “Горнозаводской Урал”»

## Уральское путешествие В. И. Немировича-Данченко

*Тут главная причина – смотреть надо,  
и тогда откроется тебе...*

Василий Иванович Немирович-Данченко, старший брат знаменитого основателя МХАТА и драматурга, прожил долгою – девяносто один год! – и на удивление творчески плодотворную жизнь. Один из самых популярных писателей дореволюционной России, он отличался невероятной литературной производительностью. Его рассказы, повести, романы, очерки трудноисчислимы. В канун революции было анонсировано его собрание сочинений в 50 томов, но и после Октябрьского переворота писатель работал до самой своей кончины в 1936 году. Последний покой он нашел в Праге на Ольшанском кладбище среди могил русских эмигрантов первой волны. В отличие от своего младшего брата, дважды лауреата Сталинской премии, революцию Василий Иванович не принял категорически. В 1922 году он эмигрировал из Советской России. Этим и объясняется, что на родине его книги исчезли из библиотек, а имя было вычеркнуто из истории отечественной литературы. Лишь начиная с 1990-х годов произведения писателя стали переиздаваться. И они снова нашли своего читателя.

Вас. И. Немирович-Данченко был не только популярным прозаиком. Его темперамент, жадное любопытство к жизни и интерес к людям, стремление быть в гуще событий и всё видеть своими глазами – все эти качества стали источником блестящей журналистики. Война и путешествия – вот его темы. Немирович побывал на фронтах четырех войн – Русско-турецкой 1877–1878 годов, Русско-японской, Первой Балканской, Первой мировой, и его очерки стали классикой русской военной журналистики.

А путевая проза, травелоги? «Писателем-туристом» называли его современники, «вечным странником» – за ненасытную тягу к путешествиям, за яркие описания поездок по чужим и родным землям. Испания, Италия, Африка, Япония, Балканы – сотни страниц с колоритными зарисовками жизни и нравов, с яркими типами встреченных по пути новых знакомых, с экскурсами в историю и собственными приключениями, которые он к себе притягивал как магнит. И Россия. Он вдоль и поперек изъездил Русский Север: Архангельск, Мурманск, Соловки, Валаам, Карелия. Добирался до норвежских фьордов и путешествовал за полярный круг. Исколесил Центральную Россию, Малороссию, Кавказ. Не обошел Вас. И. Немирович-Данченко вниманием и Пермскую губернию. Вернее будет сказать, именно он открыл Урал и Прикамье массовому русскому читателю.

Важный момент в истории любого региона – это когда он из географической данности превращается в феномен культуры. В символический ландшафт, имя которого – Крым, Кавказ, Соловки, – чуть прозвучав, потянет за собой вереницу ассоциаций и образов. Чтобы такое случилось, нужны

тексты – яркие, увлекающие, памятные. Для нашего края подобным произведением-открытием стала книга «Кама и Урал» Вас. И. Немировича-Данченко. Впервые она вышла в 1890 году, в 1904-м появилось ее второе издание – очевидный знак востребованности. И вот наконец через сто с лишним лет книга «Кама и Урал» переиздается в третий раз. В Перми, где уральское путешествие русского писателя начиналось.

Вас. И. Немирович-Данченко объехал Урал задолго до выхода книги, еще летом 1875 года. Очерки об этой поездке публиковались позднее циклами, начиная с 1877 по 1884 год в журналах «Дело», «Русская речь» и «Исторический вестник», в газете «Русские ведомости»<sup>1</sup>. Как видим, с середины 1880-х Немирович о них не вспоминал. Что же побудило его собрать очерки в книгу? Литературная ревность. В 1888 и 1889 годах один за другим вышли в свет два тома «Уральских рассказов» Д. Н. Мамин-Сибиряка. Они-то и сподвигли Немировича поспешить с собственной книгой, дабы застолбить свое первенство.

В кратком предисловии к «Каме и Уралу» ревнивая оглядка на Мамина проявилась отчетливо. Немирович хоть и отдал здесь должное уральскому писателю: «русская литература <...> обогатилась прекрасными сочинениями об Урале г. Мамина», но тут же поспешил отметить свой приоритет и актуальность собственной книги. Напомнил, что путешествовал по Уралу еще в 1875 году. Подчеркнул, что с тех пор ничего нового об Урале не было сказано («всё, что приходилось читать об этом крае за последние десять лет, являлось для меня знакомым»), а потому его, Немировича, очерки несколько «не устарели».

Впрочем, соперничество было взаимным. И Мамин следил за уральскими публикациями популярного писателя не без ревности. С октября 1881 по февраль 1882 года в газете «Русские ведомости» печатались путевые очерки Мамина «От Урала до Москвы». Одновременно в журнале «Русская речь» шел цикл путевых очерков Немировича «Урал»<sup>2</sup>. Мамин их, конечно, читал и не упустил повода съязвить в адрес столичного туриста. Описывая унылые берега Камы близ Перми, Мамин помянул, в частности, «жалкие кусты», которыми зарос правый берег, и тут же в сноске уколоч Немировича: «Это тот самый дремучий сибирский лес, который привел в восхищение г. Немировича-Данченко, когда он любовался Камой». Прицел комментария ясен. Мол, залетный журналист жертвует трезвой правдой ради литературных эффектов. Однако в этом случае предвзятость Мамина очевидна. Разница в картине: «жалкие кусты» или «дремучий лес»? – объясняется просто. Ведь закамские дали

<sup>1</sup> В. И. Немирович-Данченко составил книгу, объединив, практически не редактируя, журнальные публикации очерков в порядке их появления в печати. Всего в книге 66 главков. Печатались они циклами в следующей последовательности: Немирович-Данченко В. И. Река былых лесов (летняя поездка по Каме) // Дело. 1877. № 2, февраль. С. 107–138 (будущие книжные главы с 1 по 4); Немирович-Данченко В. И. Урал (очерки и впечатления летней поездки) // Русская речь. 1881. № 9. С. 1–48; № 10. С. 1–50; № 11. С. 1–49; № 12. С. 1–58 (главки с 8 по 32); Немирович-Данченко В. И. Река лесных пустынь (из поездки по Уралу) // Исторический вестник. 1882. Т. X, ноябрь. С. 241–274; Т. XI, декабрь. С. 501–541 (главки с 33 по 42); Немирович-Данченко В. И. Колыбель миллионов // Исторический вестник. 1884. Т. XVI, июнь. С. 465–486; Исторический вестник. 1884. Т. XVII, июль. С. 98–111 (главки с 56 по 60).

<sup>2</sup> Немирович-Данченко В. И. Урал (очерки и впечатления летней поездки) // Русская речь. 1881. № 9. С. 1–48; № 10. С. 1–50; № 11. С. 1–49; № 12. С. 1–58. Зарисовка, которую имеет в виду Мамин-Сибиряк, появилась в сентябрьском номере «Русской речи».



Немирович оглядывал не с палубы парохода, как Мамин, а с высокого берега Камы, откуда видишь, как к широко распахнутому горизонту бегут волнами лесные дали. В том, что описание Немировича и по сей день визуально точно, убедится всякий, кто заглянет в набережный сквер Перми. Так что пристрастность маминского замечания красноречива, как улика. В Немировиче он видел литературного соперника, столичного журналиста, претендующего на его родную писательскую территорию.

Но если, оставя за скобками перипетии соперничества писателей, поставить вопрос о первенстве в открытии Урала, то придется признать его всё же за Немировичем. Не только потому, что хронологически он был первопроходцем уральской темы в художественном слове. Главное, что в очерках Немировича образ Урала развернут со значительно большей полнотой и художественно-образной интенсивностью, чем в «Уральских рассказах» Мамина. Ведь собственно поэтики уральского ландшафта в маминских рассказах немного. Он сосредоточен на характерах и нелегких судьбах русских интеллигентов, живущих в далекой провинции, на социальных и психологических конфликтах. Лишь в очерках «Бойцы» и «Золотуха», рассказывая о сплаве по Чусовой и уральских золотых приисках, писатель обратился к самобытно уральским темам и колориту. Немирович другое дело. Для себя и читателей он открывал новую землю, удивляясь ее своеобразию и отличию от других российских территорий.

Было у Немировича важное – может, решающее – преимущество перед Маминим: преимущество взгляда со стороны. Оказавшись в Пермской губернии, Немирович именно потому, что не был уральцем, острее замечал фактуру чужой для него жизни и особенности новых ландшафтов. Обострял силу его взгляда и опыт путешествий. В отличие от «домоседа» Мамина он много поездил, многое повидал и в России<sup>3</sup>, и в Европе – было с чем сравнивать. Сказать по-иному, у него уже была общая картина России – фон, на котором своеобразии новой земли выступало ярче, приметливей для взгляда.

Взгляд, видение – вот важные для понимания своеобразия путевой прозы Немировича категории. У него ведь сама установка взгляда: как смотреть, чтобы видеть, – это предмет авторской рефлексии. Стоит внимательно прочитать красноречивую в этом отношении главку (XIII), где среди разношерстной местной публики на пароходике, ползущем вверх по Каме к Усолю, выделяется чистокровный петербуржец. Он с «ученой целью» командирован на Урал: «Шляпа точно сейчас из витрины у Брюно, щегольской сюртучок, какие-то прюнелевые летние ботинки. Монокль в глазу и на лице улыбка снисходительного

---

<sup>3</sup> С 1869 по 1874 год В. И. Немирович-Данченко провел в ссылке в Архангельской губернии, где служил в канцелярии архангельского губернатора. В губернском статистическом комитете он собирал сведения о народах Севера. По делам службы и личному почину он объездил весь край, и литературная известность Немировича началась с публикации очерков и рассказов о Севере. Вскоре отдельным изданием вышла книга «Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами» (СПб., 1875). Чуть позднее он путешествовал по Волге и Каспийскому морю, впечатления о которых отразились в книгах «По Волге» (СПб., 1877) и «В море» (М., 1897). Иными словами, на Урал В. И. Немирович-Данченко приехал опытным литературным путешественником со своей образной картой России.

благоволения ко всему окружающему». Монокль тут не случайно замечен. Это индекс взгляда: сверху вниз и снисходительно вскользь.

*Вы <...> на нашего спутника полюбуйтесь, – делаются с повествователем попутчики. – Ишь у него палевые прюнелевые ботинки; ну как он в них по нашим горам полезет? Неужели в своей жакетке в рудники опускаться станет? <...> Вы копните-ка его. Думаете, действительно интересуется чем? Ни Боже мой! Для него вопрос, скоро ли его камер-юнкером сделают, гораздо интереснее всяких других соображений. А тоже – с ученою целью.*

Типы подобные чиновному петербуржцу как антагонисты повествователю не раз всплывают в рассказах Немировича об уральском путешествии. Они олицетворяют позицию, которую в беседе с путешественником сформулировал управляющий заводами кн. Абамелек-Лазаревой Н. Н. Новокрещенных: «В Петербурге не только не знают России, но и не заботятся узнать ее». Эти люди олицетворяют тот уверенный в собственном превосходстве взгляд, который высокомерно не замечает ничего вокруг себя. Поэтому, повторимся, *монокль* петербуржца не столько оптическое орудие, сколько индекс социального превосходства и слепоты к жизни.

Дистанцируясь от подобной отстраненной – сквозь *монокль* – установки взгляда, В. И. Немирович-Данченко декларирует стратегию пристального и солидарного с окружающим вглядывания в новую малоизвестную землю и своеобразный уклад жизни ее обитателей. «Зорко присматривался», «всмотрелся» – такими вот автокомментариями сопровождает Немирович свои реакции в ситуациях путешествия, подчеркивая сосредоточенность и пристальность взгляда.

Зорко всматриваясь в окружающее, он различал и живописный красочный слой своеобразной местной жизни, и ее второй план: социальный, экономический.

*Опять пошли меловые горы, – любитесь Немирович Меловыми столбичами на Каме. – Вон две бабы вползают вверх. Точно два маковых цветка, от кумачного платья, в которое они одеты. Посмотрел я в бинокль. Прodelают ступеньку, станут на нее и следующую высекают. Танталов труд.*

За красочной подробностью ландшафта – алые пятна сарафанов на фоне белоснежного известняка – открывается социальная подоплека: женщины заняты тяжким и опасным трудом на добыче известняка. Оптические инструменты – *монокль* у петербуржца, *бинокль* у путешественника – в контексте темы выступают как овеществленные метафоры как конструкции взгляда, так и отношения к жизни.

Уроками пристального вглядывания делаются с повествователем его попутчики, люди из гущи той самой жизни, которую он стремится узнать. С таким

«героем зрения», мастером вглядывания и всматривания Немирович встречается в самом начале путешествия. Это лоцман Терентий в очерке, открывающем книгу: «Дно он точно ладонь свою видит, все выпуклины, гребни, морщинки на нем ясны ему до того, что умеет он взять в руки карандаш, начертит бы их безошибочно». Рельеф дна он читает по знакам на поверхности: по оттенку цвета воды, по особенностям течения и десяткам других, одному ему видимых, примет. Столь же безошибочно Терентий различает очертания и детали судна, которое чуть показалось на горизонте. «Ему и бинокля не надо», – комментирует капитан парохода. Такой же урок зоркости повествователь получает у кизеловского старожила, восьмидесятилетнего старика: «Тут главная причина – смотреть надо, и тогда откроется тебе». Так в опоре на собственный взгляд и в солидарной общности с народным опытом видения и понимания жизни повествователь резюмирует свою стратегию вглядывания в уральский мир: «Я смотрел на уральскую действительность не сквозь одни свои очки: мне помогали в этом деле все, начиная от простых рудокопов и кончая заводскою администрацией».

Такой взгляд – расширенный, охватывающий и пристальный, различающий детали – помог Немировичу и в максимальной широте, и в подробностях охватить жизнь неведомой еще земли с ее яркой и суровой природой, своеобразным укладом жизни. Вглядываясь в уральские ландшафты, Немирович стремился открыть эту землю читателю, пробудить у него желание увидеть всё собственными глазами. Вот он любитесь причудливым нагромождением скал на Косье. В свете заката они кажутся руинами фантастического замка. «Протираешь глаза себе – куда попал я? Неужели это уголок России? Отчего же где такой здоровый воздух, такие чудные окрестности, такие поэтические виды, – отчего сюда не направляются наши скучающие туристы?..» – вопрошает Немирович. Вопрос звучит актуально и по сей день, когда так много говорят о развитии внутреннего туризма.

Если попробовать одним словом определить основной принцип изображения Урала в очерках В. И. Немировича-Данченко, то это панорамность. Прежде всего на уровне предмета описания: что он увидел и показал читателю. Маршрут Немировича впечатляет пространственным охватом региона. На пароходе из Нижнего Новгорода Волгой и Камой он добрался до Перми, оттуда пароходиком же поднялся вверх по Каме до строгановского Усолья. Из Усолья долиной реки Яйвы доехал до Кизела, где надолго остановился. Живя в Кизеле, объездил его окрестности: посетил Александровский завод, Луньевку и Шабурное, то есть Всеволодо-Вильву. Из Кизела, перевалив через гору Белый Спай, Немирович добрался до поселка Няра в среднем течении Косьвы. Из Няры на лодке-«душегубке» с двумя гребцами поднялся до Троицкого рудника. Оттуда вернулся в Няра, где снова нанял лодку, и по Косье, минуя Губаху, спустился до Камы и заехал в Чермоз. Из Чермоза он вернулся в Пермь, а оттуда Сибирским трактом через Кунгур, Суксун, Бисерть и Билимбаю доехал до Екатеринбурга и объездил его окрестности. Из Екатеринбурга Немирович отправился в Верх-Нейвинск, оттуда в Невьянск, потом в Нижний Тагил, далее в Верхнюю и Нижнюю Салду, объезжая демидовские заводы и рудники. Даже если не считать водный путь до Перми за три месяца, с конца



мая до начала сентября Немирович проехал не менее полутора тысяч верст по Прикамью и Уралу: где экипажем, где на подводе, где на лодке-душегубке, а где и пешком. Вот панорама Урала и Прикамья, охваченная путешественником.

В беглом обзоре маршрута мы назвали лишь его опорные точки. Между тем в повествовании каждая такая точка становится центром обзора окрестностей. Немирович по пути примечает и втягивает в повествование, где более развернутым описанием, где беглым замечанием или простым упоминанием, десятки соседствующих поселений, гор, речек, урочищ.

*Только до одной Ослянки и Няра, по тому пространству, по которому мы только что проехали, – рассказывает Немирович-Данченко о сплаве по горной реке, – Косьва приняла в себя более двадцати речек. <...> Рассольная, Большая Чирковая, Малая Чирковая, Ершовка, Гремяча, Малая и Большая Усвинки, Тоскаиха, Рассолка, Сухая, Ломовая, Ослянка, Ташковка, Полуденная – одна красивее другой.*

Подобные приведенному перечни названий рек, поселений, урочищ создают впечатление развертывающейся в путешествии карты Урала. Сотни топонимов размечают пространственные перспективы повествования, связывая ход рассказа с географией местности, вписывают точку или locus путешествия в сетку координат географической карты.

Панорамность как повествовательный принцип не исчерпывается, конечно, пространственно широким охватом территории и ее художественным картированием. Рассказывая об Урале, В. И. Немирович-Данченко соотносит увиденное с другими краями России, прежде всего с хорошо знакомым ему Поморьем и Волгой. Берега Камы он сравнивает с волжскими и берегами Донца, находя то сходства, то различия. Показательно в этом смысле вызвавшее сарказм Мамина-Сибиряка описание лесных закамских далей из набережного сквера в Перми:

*Противоположный берег низмен и, насколько хватит взгляд, верст на пятьдесят вперед покрыт сплошным величавым северным лесом <...> Матовые, мягкие, бархатистые, зеленые облака. Не оторвешься от них, как не оторвешься от картин Заволжья с нижегородского откоса, от саволакских далей с горы Пойю в Финляндии, от вида Подола и Заднепровья в Киеве... Ужасно напоминает эта лесная даль одну из лучших картин барона Клодта, где также всё плотно занято могучей ширью северного лесного царства.*

Река Кизел напомнила путешественнику «Тириберку на Мурмане», хотя «последняя обставлена более грандиозными массами полярных гор», а цветы шиповника, заполнившего долину Яйвы, показались гуще цветом, чем виденные в Лапландии. Сравнивая виды Урала с другими местами, Немирович

вводит их таким образом в широкий ряд ландшафтной типологии России, вписывает Урал в общую геопанораму российских земель.

Панорамность у Немировича – принцип повествования. Он работает и на уровне структуры рассказа, и на уровне отдельных его компонентов. Он проявляется, например, в ландшафтно-пейзажных описаниях. В. И. Немирович-Данченко любит именно панорамные описания окрестностей с вершин гор и холмов. Выразительны описания вида долины Яйвы с горы у деревни Камень, панорамы окрестностей Кизела с вершины Коршуновской копи, вида на горы Уральского хребта с вершины Белого Спая, вида излучин Косьвы и горы Ослянки из дома управляющего Троицким рудником, вида с Суксунской горы, панорамы Екатеринбурга с Плешивой горки, панорамы Верх-Нейвинска и его окрестностей с Сухой горы.

Для панорам Немировича характерно внимание к ориентации в пространстве. Развертывая описание, детали видимого ландшафта Немирович всегда располагает относительно наблюдателя, фиксирует их ориентацию по сторонам света, меняет планы от общего до крупного: от мерещащихся далее до внезапно укрупненной, словно рассмотренной в бинокль, детали. Он строит зримую карту окрестностей, как бы втягивая в линию маршрута окружающие его просторы.

*Внизу под нами Косьва, – развертывает Немирович описание вида из дома управляющего Троицким рудником, – делает пять излучин и образует два прелестных острова <...> Налево гора Троицкая, вся изрытая рудниками, за ней вечные снега и ягелевые пастбища Ослянки... Противоположный берег тоже весь заставлен горами. Это какой-то хаос скал, лесистых склонов, голых вершин... Быстро течет мимо них река, гремя в бесчисленных переборах. Вода до того чиста, что мы отсюда под солнечными лучами видим дно ее, с высоты полтораста футов... Узенькие душегубки замерли у берега, рядом тоже замерла засмотревшаяся в воду хорошенькая девочка. Под ее ногами река делает маленький каскад, и ребенок смотрит – не насмотрится.*

Что делает здесь Немирович? Описание ландшафта он подчиняет блуждающему движению взгляда. Тем самым писатель втягивает читателя в оптическую работу разглядывания окрестностей, вовлекает его в процесс визуального конструирования ландшафта. А погружение читателя в сиюминутную ситуацию рассматривания ландшафта придает описанию спонтанность и свежесть, преодолевая нередкую у Немировича литературную банальность определений вроде «прелестный» и т. п. Этот принцип – спонтанного движения взгляда – делает возможным сближение в одном абзаце далекой заснеженной вершины горы Ослянки с водоворотом речных струй вокруг ног ребенка, вызывая эффект первозданности вида.

Принцип панорамности сказывается не только в многочисленных ландшафтно-пейзажных описаниях. На уровне структуры повествования его обеспечивает также интенсивное использование чужого слова. Напомним:

я «смотрел на уральскую действительность не сквозь одни свои очки, мне помогали в этом деле все, начиная от простых рудокопов и кончая заводскою администрацией». Это, в частности, означает, что В. И. Немирович-Данченко максимально расширяет охват действительности, включая в свой рассказ чужие истории. Он насыщает повествование рассказами встречаемых им в путешествии людей, стремясь воссоздать их слово в его индивидуальном речевом колорите. Некоторые из таких рассказов образуют целые вставные новеллы, как, например, рассказ помещика, любителя псовой охоты, о том, как он променял любовницу на пса Зефира, или рассказ о камской разбойнице Фелисате, быличка о Демидове, который подстрелил лебедя и тем самым, как оказалось, смертельно ранил свою красавицу любовницу. Щедро расцвечивая колоритными историями свое повествование, Немирович явно любит цветистость речевого материала. Но важно и другое. Жадно вслушиваясь в рассказы уральцев, записывая их, Немирович погружается в стихию местного мышления, выделяет и акцентирует важные константы этого сознания, запечатленный в рассказах образ мира.

Разорившиеся помещики и чувствующие себя хозяевами жизни купцы, управляющие заводами и инженеры, ямщики, лесорубы, углежогы, рабочие заводов и рудников, старатели, крестьяне и выбившиеся из привычной жизненной колеи колоритные чудаки – их личные истории, рассказы о производстве и экономике, о ремесле, бытовых обычаях и происшествиях, а также местные легенды и предания широко раздвигают горизонты повествования: исторические, социальные, географические.

Об исторических горизонтах повествования стоит сказать особо. Легенды и предания об уральской старине в очерках играют важную роль. В. И. Немирович-Данченко вплетает в свое повествование десятки рассказанных ему попутчиками легенд о деяниях Ермака, Строгановых, Демидовых. В итоге временной горизонт повествования расширяется, удаляясь к легендарным временам культурных героев русского Урала, его первостроителей. Рассказы о культурных героях связываются с урочищами. Тем самым легендарная старина приобретает зримую пространственную проекцию: «Начиная от Елабуги и выше, что ни место – то былина». Каждое урочище становится уроком, рассказом, овеществленным в ландшафте – в нагромождении скал, в пещере, повороте реки.

*Тут Строгановы татар били, там татары поймали Строгановых и мучили их, вымогая признаний, где зарыты их сокровища. Вон на этой горе они изжарили на медленном огне старика, а рядом один из Строгановых схватил изуверов и двенадцать человек их закопал живьем в землю... Три дня головы их виднелись над нею, пока несчастные не погибли в страшных мучениях. Народ здесь, как и везде. Что бы кем ни было сделано – припишут Строгановым, что бы с кем ни случилось – случилось со Строгановыми. Бил какой-нибудь «разбойный» человек мирные поселки пермяков – это Ермак.*

Поэтому «миром легенд кажется вся эта даль, заставленная мрачными горами». Путевые очерки В. И. Немировича-Данченко тем самым открывали читателю богатый нарративный потенциал Урала – новых героев и новые сюжеты. В щедрой россыпи сотен чужих рассказов, рассеянных по повествованию, встречаются сюжетные мотивы, которые впоследствии получают развитие в прозе об Урале. Так, в рассказах о Ермаке обнаруживается сюжет будущего бажовского сказа «Ермаковы лебеди», в рассказе о встрече в медном руднике в Нижнем Тагиле встречаем сюжетный мотив, который будет развит в сказе «Таюткино зеркальце». А в рассказе рабочего Кизеловского завода возникает мотив, который в «Докторе Живаго» развернется в легенду о кузнеце Вакхе, который выковал себе железное нутро.

Очерки Немировича объединены в единое, развивающееся целое не только маршрутом путешествия, но и пунктирно намеченным сюжетом поисков подлинной сути Урала, погружения в его глубину. «Меня давно манило в самую глубь Урала», – в этих словах писателя помимо их прямого смысла выражается замысел: понять тайну и сущность горной страны. Немирович находит ее в рудниках и на заводах у доменных печей и бессемеровских конвертеров. Поэтика горнозаводского дела поразила Немировича своим нечеловеческим размахом и стала для него источником сильных эстетических переживаний и образов. «Я был потрясен обстановкой заводского дела, его картиной, его художественным целым». Заметим: «художественное целое» Урала открылось Немировичу в органической связи природных ландшафтов и горнозаводского производства, природы и труда уральского человека.

Как каждый камень и скала оказываются у него окаменевшей историей, так каждый рудник и домна – хранителями тайны. В описании горнозаводского дела: рудников и металлургических процессов – Немирович не только проявляет осведомленность и наблюдательность, но и дает волю поэтическому воображению, создающему образы хтонических энергий и их претворения. Спускаясь в шахту, повествователь разглядывает на ее сводах таинственные письмена.

*При свете взятых с собою свечей изломы угля ярко светились на черных стенах штольни. Казалось, в подземном царстве открылся нам волшебный грот с таинственными надписями, звездообразными знаками, непонятными символами, скрывающими под своими причудливыми зигзагами тайны, недоступные смертному. Символами этими были изборождены и своды грота. Следы ударов от кайл повсюду. Можно подумать, что в этой черной, подземной пещере было заключено какое-то громадное, могучее чудовище, в бессильной злобе исцарапавшее стены своими сильными железными когтями.*

В приведенном фрагменте на глазах происходит переключение из плана воображения в план действительности и обратно, в план воображения. Сначала открывается «волшебный грот с таинственными надписями», затем надписи объясняются прозаической причиной – следы ударов шахтерского

кайла, но сразу за этим включается тератологическое объяснение – следы железных когтей чудовища, заключенного в недрах земли. Хтонический образ здесь и вольная игра воображения, и олицетворение подземных энергий Урала.

В очерках о металлургических процессах Немирович отпускает воображение на волю. И здесь ближе всего подходит к мифопоэтике Урала как месту преобразования хтонических стихий в космические. Переделка чугуна в железо и выплавка стали изображаются им в терминах сакрального архаического культа, порой отсылает к алхимии или изображается космогонически как акт творения нового мира.

*Воображение невольно работало, подсказывая сравнения, создавая целые картины. Эта громадная черная лаборатория превращалась, раздвигаясь, в лабораторию миров, где неведомые существа ковали из огня и железа мириады звезд, разбрасывая их снопами, струями и ливнями во тьму еще неодоухотворенной вселенной. В высоте чудится присутствие господствующего духа. Действие первых сил, творящих и созидающих, выражалось в страшном грохоте, в свете газов, стремившихся занять свое место в пространстве, в ударах раскалывающихся чудовищных метеоров, в стихийном шуме световых тел, носившихся в высоте. Материал, из которого создавались все эти тела, казался неистощимым. Огненные печи творящего божества выпускали его без конца. А мириады звезд всё дальше и дальше уносились в бесконечность, в пространство, которому еще не создано ни меры, ни уподобления. Работа шла без устали. Руки прикованных к этим мировым рычагам чудовищ не знали напряжения, не знали пределов своей силе. Мне казалось, что вот-вот и я сейчас же понесусь вслед.*

В грандиозную лабораторию миров, где космос творится из буйства первичных подземных стихий, здесь превращается ночная выплавка чугуна в доменном цехе Кизеловского металлургического завода. Ни читатель, ни повествователь не забывают о реальности. Немирович детально описывает технологию процессов, работу машин. Но даже иронические отсылки к действительности («с небес я стремглав слетел на землю») не отменяют ни яркости, ни интенсивности образной ткани, ни мифопоэтической перспективы, открывающейся в сравнениях Немировича. Не отменяют, потому что воображение произвольно, оно проникает в символическую глубину предмета, открывая в нем новый горизонт реальности – реальности мифа. Погружение Немировича в глубь Урала символично завершилось в «Храме Бессемера» – в Нижней Салде, где 15 августа 1875 года на металлургическом заводе впервые в России открылся цех по переделке чугуна в сталь по новейшей технологии, изобретенной английским инженером и названной его именем. Название очерка – «Храм Бессемера» – формулирует базовую метафору, на которой строится повествование. Работа цеха с бессемеровскими конвертерами



описывается как ход сакрального архаического культа, в ходе которого происходит таинство претворения темного чугуна в сияющую солнцеподобную сталь.

Так, в металлургических очерках Немирович-Данченко максимально приближается к универсальной мифопоэтике кузнечного и металлургического дела, замечательно описанной в трудах Мирча Элиаде. Завод оказывается сакральным центром Урала. И здесь, в заводских цехах, в наблюдениях за работой циклопических домен, молотов и конвертеров, увиденной сквозь призму космогонических и алхимических мифов, писателю открывается подлинная глубина Урала: органическое единство земных недр, технологий и человеческого труда.

В поэтике очерков В. И. Немировича-Данченко уральская природа и горные заводы обнаруживают тайное сродство. В уральских ландшафтах он чувствует движение теллурических энергий. Поэтому для ландшафтно-пейзажных описаний В. И. Немировича-Данченко характерно подчеркивание динамизма ландшафта, его готовности прийти в движение. Так, например, описывая панораму окрестностей Верх-Нейвинска с вершины Сухой горы, он заставляет двигаться горные гряды: «Кругом каймами, грядами, перепутавшимися узлами поднялись крутые горы. Одни кряжи хотят точно переброситься через другие, сливаются и снова разделяются, принижаются, чтобы тотчас же гордо выдвинуть остроконечный пик. Их то окутывают зеленые облака лесов, то серые скалы взрезывают их скаты снизу...».

И это не единичный пример, а тенденция к динамизации статичного ландшафта. Характерно в этом отношении, как Немирович использует клишированное сравнение покрытых лесом горных гряд с застывшими морскими волнами. Такое сравнение в общем-то шаблонно. Но вот что происходит у Немировича, когда он, к примеру, описывает панораму окрестностей с «вышки коршуновской шахты» близ Кизела. «Точно волны океана застыли в момент спокойной зыби, так отлоги, так мягки эти горы, – начинает он описание традиционным сравнением, но тут же приводит риторически шаблонные «волны» в движение: Кажется, вот-вот они проснутся и покатаются зелеными грядами к каким-то неведомым берегам. И все эти шахты и заводы, как корабли, застигнутые ветром, заколышутся на мерно волнующемся просторе этого величавого моря». Еще большую пластическую убедительность картине пришедшего в движение ландшафта придает следующее свежее сравнение: «Вон между двумя окаменевшими в форме гор волнами вынырнула и точно ждет попутного ветра, вся на виду, маленькая белая церковь, кажется уже распустившая свои паруса». Буквализация стершейся метафоры оживляет клишированный троп, и он дает важную смысловую проекцию: эти горы и леса полны внутренней жизни, динамики.

С таким внутренним динамизмом уральского ландшафта, ощутимой пульсацией теллурических стихий органически связан определенный тем же ландшафтом строй труда и производства. «Прииск в самой долине, – обводит взглядом повествователь золотой прииск под Невьянском. – Кругом вершины Урала, точно они надвигаются на нее отовсюду... В мгlistое время почудится, что кругом прииска не каменные горы, а обложили его тяжелые массы

непроницаемых туч. Зато внизу кипит и шибко бьется всеми своими бесчисленными пульсами упорный труд человека». Увиденное Немировичем органическое единство уральского ландшафта, его недр и человеческого труда объединило его очерки мыслью об Урале как целостном своеобразном мире. Из такого понимания горной страны впоследствии вырастет концепция горнозаводской цивилизации, сформулированная в 1920-е годы краеведом Павлом Богословским и ставшая ныне широко известной благодаря Алексею Иванову.

В итоге усилий к познанию России и русского человека в его особом уральском складе Немирович-Данченко создал впечатляющую, исполненную «дикий красоты и сумрачного величия» картину Урала. Его очерки открывали русскому читателю целый мир, где «в вечном мраке рудника гном-человек ценою невероятных усилий отнимает у земли ее глубоко схороненные сокровища; где одинокие старательские артели в глуши дремучих лесов по целым месяцам выживающие у золотоносных рек, еще не намеченных даже на карте; где высокие горы стали на самый рубеж студеного сибирского царства, точно заслоняя Россию от его ледящего дыхания». Собственно Немирович развернул в приведенном фрагменте геопозитическую формулу Урала, первую и предварившую будущие определения региона вплоть до «опорного края державы» и «хребта России».

Однако ценность книги Немировича не только в панорамной картине жизни Прикамья и Урала последней четверти XIX века, красочной и многоголосой. Не в последнюю очередь жизнь и полноту этой картине сообщает вездесущее присутствие автора. Немирович не скрывает своего лица. Повествование дышит энергией и темпераментом жадного до жизни человека, живущего полнокровно и открытого миру, черпающего радость и пищу для воображения и в красотах природы, и в беседах с попутчиками, и в огненной работе домны. «Чего-чего, но уж жизни немало повидал Василий Иванович, – вспоминал о нем замечательный писатель Борис Зайцев. – Меньше всего походил на русского интеллигента. Вот уж не чеховский герой! В сущности, он довольно редкий русский тип: человек ренессансного чувства жизни, жизнелюбец. Он любил действительность, борьбу – сколько войн прошло перед глазами! На каких конях, по каким землям не ездил он с записной книжкой, начиная с Балкан, через Маньчжурию, до великой войны. Скольких орденов кавалер! А в полосы мирные – сколько путешествий, встреч. Какая бурная жизнь сердца!». Темперамент этого сердца сохранила и книга об Урале и Каме.

**В. В. АБАШЕВ**

*Я был на Урале в 1875 году. После того, как слышно, там изменилось немного. Провели железную дорогу, строившуюся при мне, но она не улучшила быта рабочих и положения заводов. Напротив, всё, что приходилось читать об этом крае за последние десять лет, являлось для меня знакомым. Это те же впечатления, те же печальные картины народной мощи, скованной невозможными экономическими условиями, исторически развившимися в подземном царстве рудников и копей. Русская литература с тех пор обогатилась прекрасными сочинениями об Урале г. Мамина (Д. Сибиряка) и др. Смею думать, что и мои записки, в свое время благосклонно принятые критикою и читателями, не устарели. Они печатались в «Деле», «Историческом Вестнике», «Русской Речи» и «Русских Ведомостях» – и теперь впервые являются собранными вместе.*

*Автор*

## I. Лоцман Терентий

Жарко так, что капитанская собака давно растянулась у рубки лапами кверху и язык высунула. Чуть глядит, и то как-то вполглаза! Палуба пуста. Народ точно смело. Кто под тентом корчится на узеньких скамейках, заваленных узлами, заставленных сундуками, пестрыми ветлужскими ларчиками, каким-то кульем. Кто сполз в трюм и отводит душу в прохладе, не смущаясь соседством бочек с нефтью и каких-то затейливых посудин с ворванью, кто к матросам в каюту забрался. Только двое татар подставляют солнцу свои расшитые золотом тюбетейки, да красноуфимский мулла засиделся на корме, точно наблюдая, какие узоры белой пены разводят на воде колёса быстро бегущего парохода. Татар, видимо, проняло. Пот так и льет, лица раскраснелись, глаза жмурятся. Рубаха на груди расстегнулась, ноги босы. Затылки, должно быть, под солнцем накалились, как медные кастрюли на очаге.

Вообще, парит так, что даже матросы словно замерли. Едва ноги передвигают, на что уж народ привычный.

– Жара, точно в Якутске, – замечает капитан.

Это высокий парень с громадными лапищами и горлом, кажется, только для того и созданным, чтобы до смерти оглушать остальное человечество. Другой такой экземпляр разве между архиерейскими протодьяконами найдешь. Грудь колесом, глаза выкатились, точно треснуть хотят, борода и волосы, должно быть, гребенки не ведали и не ведают. Лицо – из самого прочного выростка.

– Эж вы хватили – в Якутске! – лениво замечает кто-то.

– А вы думали Север, Сибирь? Да там летом такое тепло, что народ по ночам сено косит. Я там двенадцать лет пробыл – мне ли не знать?

На рубке под тентом попрохладнее, к тому же наверху: от движения парохода ветром обвеивает. А всё-таки жарко.

– Черт этих дам носит сюда! – негодует капитан.

– А что?

– Разоблачился бы по простоте души, да и только. В одном белье – расчудесное дело. Вы думаете легко с утра выстоять?

Я полагаю, что и дама, бывшая наверху, рада бы разоблачиться. Раскисла вся, беспомощно переводит глаза с одного на другого, даже пальцы врозь расставила – авось прохладней будет. По образу и подобию толстых коров фараоновых сложена. Из плеча – окорок выкроишь, шея – точно у здорового ребенка, вся складками, щеки – будто флюсом раздуло.

– Вы бы, сударыня, вниз сошли? – убеждает ее капитан. – В каюте теперь чудесно.

– Душно там... моченьки моей нет... Опять же и офицер.

– Какой офицер?

– Да Бог его знает, откуда такой бесстрашный появился. Пугает. Только у него и разговору, что о скоропостижной кончине. И то я ему графин водки выпоила.

Так ее и оставили в покое.

На небе ни единого облачка. Серебряные искры чаек тонут в яркой синеве. Волга стелется такую же синью, по которой звездятся и режут глаза солнечные блики. Устаешь смотреть. Соломенные кровли деревушек на правом берегу – точно золотые стоят. Церкви так и вырезаются на верхушках холмов. Зеленые облака яблочных садов к самой воде сползли и смотрят в ее прозрачную поверхность.

Наперерез бежит пароходишко – облезлый, ошмарканный.

– Тоже парходом зовется. Поросенок!

– А что?

– Ни кожи ни рожи... А капитаном там клоун служит. Того и гляди – утопит.

– Кто же определил такого?

– У них в обществе всё так. Наборщики есть... Богомаз суздальский, отставной трубач... А этот прежде в цирке Морозова состоял – не понравилось, пошел на пароход капитаном. Тоже командует! Начальство увеселяет. С рубки вниз турманом порхнет и на лету перекувырнется. А то голову между ногами просунет и ходит так по палубе. Ремесло свое забыть не хочет – всё хлеб на случай. Кто дело знает – прочь от них бежит. Эдакого командира навяжут!

– А у вас такого нет? – вступается дама.

– Клоуна-то? Господь хранил.

– Жаль... Я бы посмотрела. Всем пассажирам удовольствие. У нас мировой посредник один – шпаги глотает – первый гость! Все его за это уважают, а и человек-то пьяница!

Волга перед Камой не особенно широка. Устье близко. То и дело на нас надвигаются караваны с железом из Лаишева, куда оно сплавляется на ярмарку с верховьев Камы. Из Лаишева спускают железо по течению на барках, которые у устья ждут кабестанных пароходов, доставляющих вверх по Волге эти грузы на Макарьевскую...

Вон одно такое громадное чудовище, с двумя забежками, ползет прямо на нас. Черное всё, точно из трубы сейчас, грязное. Два маленьких пароходика-забежки, точно собачонки, снуют перед ним. То один завезет канат вперед с якорем. Сбросит его – другой конец каната на кабестане. Паровая машина, что неистово пыхтит там, наматывает его на вал или ворот – надвинется, таким образом, кабестан на якорь; другая собачонка-забежка уже вытянула вперед второй канат с якорем... Таким образом, медленно ползет вперед это черное чудовище, влача за собою десять либо двенадцать барок с какими-то пестрыми петушками на коротеньких штоках. На палубах барок серый люд толпится кучками.

– Нет бедней этого народа.

– Почему?

– А вот до ярмарки дойдет – домой пешком, Христовым именем питаюсь, вернется и, в конце концов, еще хозяину должен останется. Зимой опять хлеб понадобится: коли хозяин не даст – помирай... Кабала! Самое это рукомерло подлое!



Чем ближе к устью, тем безобразные массы кабестанов чаще и чаще попадают навстречу. А у самого берега баржи с солью привалили и стоят – пароходов ждут.

– Соль-пермячка! Поди любимовская?

– Кокорев ныне там орудует; все заводы под свою руку с Губониным они забрали!

– Ничего, на ярманку всё свалят.

Рубка мало-помалу пустела.

Убралась вниз дама, напуганная офицером, убрался и капитан, благо фарватер здесь известный.

– А это про народ они правду говорят!

Оглядываюсь. Оказывается, бессловесный до сих пор лоцман заговорил.

– А что?

– Да голее этих судовщиков, поди, и татарского байгуша (нищий) не найдешь. Точно, что мрут.

– Что же, другого дела нет у них?

– Как не бывать – есть. Сторона у них заводская привольная... Да они по Чусовой живут!

– Так что ж из этого.

– У них так: кто на какой реке осел, у того и промысел такой. На Чусовой – все судовщики, ну эти и питаются от барки! Которые из них настоящие хозяева, кондовые, те сами строят, а эти в бурлаках бегают.

– Хлеба цельного не видят, – заметил лоцманский ученик, стоявший по другую сторону рулевого колеса.

Я только теперь обратил внимание на нашего жоака.

Так себе, небольшого роста, невзрачный мужичонка... Лицо серое, и сам серый весь... подслеповатым кажется даже. Только потом замечаешь, как неотступно и зорко высматривает он вперед. На близкое расстояние и не глядит – это привычка у него. Заговорите с ним со стороны, он повернет к вам лицо, а сам всё-таки через вашу голову или мимо вдаль смотрит, куда-то в синь, в воздух. И всё глаза прищурены... Большею частью молчит, но если и разболтается – слово само собою, а глаза и руки свое дело делают.

– На свете нужи много! – а рука повертывает колесо, и брови хмурятся; видимо, изменение фарватера заметил.

– Не избыть ее! – колесо в противоположную сторону. – Кому это в диковину, а нашему брату, рабочему человеку, сплошь таково-то живется.

И опять прищурился в ослепительно сверкающую солнечным блеском излучину. Трудно даже уловить цвет его глаз, хоть и блестят они сквозь полусомкнутые ресницы.

Ночью или днем – он одинаков. Волга каждый год меняет свой фарватер, Кама еще капризнее; а лоцман идет уверенно, почти не ошибаясь, – тут нужна чуткость дикаря американских пустынь. Где сегодня пароход прошел свободно, в следующий рейс – песчаный перевал под водой, обмелеет любое судно. Лоцман всё замечает по цвету воды, по зыби на ней, по желтоватым пятнам. Всё ему сообразить надо: какие ветра за это время дули, куда воду несли, сколько воды было и как она падает. Началась мель – следи за ней каждый

раз: насколько она нарастет, в какие стороны забрасывает свои песчаные языки, а если косою прямо в русло выехала – как далеко острие этой косы легло и в каком направлении. Новое течение себе река прорывает – никому это неведомо, а лоцмана не обманет. Дно он точно ладонь свою видит, все выпуклины, гребни, морщинки на нём ясны ему до того, что, умея он взять в руки карандаш, начертил бы вам безошибочно. Нынче вон под берегом словно быстрее река бежит – он уже высматривает это течение, определяет его пределы, силу... Значит, к середине мель будет, если вода сюда так яростно ударила. Между двумя желтоватыми пятнами на воде голубая лента, извилистая; следи за ней, это – фарватер. А то и вся вода синяя однообразно, да под самым носом парохода морщинки на воде чего-то трепещутся. Опасность – тут мелко, нужно менять ход. Знай, каков колорит в туманные и солнечные дни! Да днем-то ему еще сполагоря. А вот ночь придет, да еще безлунная, беззвездная... Зорко он оглядывает берега.

– Они инстинктом берут! – серьезно сообщал мне старик, лет сорок плавающий по Волге. – Удивительно, как чутье развито у них. Бывали такие ночи на Каме: вверху и внизу чернота хоть глаз выколи. А мели везде новые, потому засуха, вода быстро падает; сам знаешь, что поперек реки перекаты. Что ж бы вы думали – ничего не заденет, цел пройдет.

– Терентий! Ты, должно быть, черту душу продал! – попробовал было пошутить пассажир один с нашим лоцманом.

– Эк у тебя, точно почтовый колокольчик, язык невесть что мелет!.. Разве можно лоцману про черта поминать, а как он меня сомущать начнет? Вас же напорю на перекаат. Уйди ты, Христа ради. А то за капитаном пошлю, чтоб он тебя вниз уволок. Нашего дела не знаешь. Тут не вовремя глазом мигнул – и пропало судно. Мелево несурзное!.. – обиделся он.

– Ты думаешь, мы так, на-уру, ползем? – уже потом, успокоившись, объяснял он. – Сами глядим да примечаем, да постоянно у Господа Бога про себя откровения просим, чтобы Он, всемогущий, ангела своего послал – народ да хозяйскую посудину эту в целости соблюсти. Это, брат, дело святое. На этот промысел идти нужно с молитвой, а ты про черта бухнул!

Прибавьте, какую память нужно иметь лоцману, чтобы за зиму не забыть двух- или трехсот опасных мест, да не только самые места, но и очертания их, и береговые выпуклины, всякое уголье, по которому можно сообразить о дальности или близости опасного пункта. В большинстве случаев (по крайней мере, камские лоцманы) лоцман неграмотен, записывать ему некогда, да и не может; всё само должно уложиться в голове. Какое напряжение внимания!

– Тут ничего нельзя забыть. Вот этот рубчик, – взмахнул он головой на полоску леса по одному из береговых склонов, – пропустил – и на перекаат напоролся. А в версте отсюда дерево есть, грозой его попортило, там тоже мель, махонькая самая. А вон там большой камень у воды – тоже примета наша.

Чуть только что-нибудь сомнительное, лоцман приостанавливает ход. Пароход начинает идти тише и тише, пока впереди матросы шестом меряют воду. Но вот дно всё глубже и глубже, опасность прошла.

– Скорый ход! – командует капитан сквозь трубу, проведенную в машину. И лоцман опять впивается вдаль, высматривая там новые опасности.

– Наша жизнь самая скучная, самая неприглядная. Нам летом даже водки выпить нельзя.

– Так и не пьете?

– Так и не пьем. Потому – в ней бес. Зимой зато отводим душу. Мы больше из Работок. Такое село на Волге есть, слышал ли?

– Как же, был там.

– Летом?

– Да.

– Это что! Ты к нам зимой приезжай, тогда весело. Летом одни бабы у нас да малые дети. Кто в судовщиках, кто в лоцманах, кто на пароходах матросом. Все врозь. А зимой с деньгами ворочаются, зимой пиры в Работках. Баба – и та пьяная ходит.

– Неужели у вас бабы пьют?

– А для ча ей не пить? Девка – и та веселей с вина, а баба должна с мужем в согласии жить. Муж пьет – и она пей. А летом нам не разгуляться. Одно слово – женат, а по пяти месяцев бабу свою не видишь.

– Зато другие теперь около нее! – пошутил кто-то. Лоцман только усмехнулся.

– Нешто она не человек? – пояснил он немного погодя. – Ей тоже требуется. Главное дело – зимой чтобы хвостом не виляла. А летом – сколько хощь; мы за то не в обиде, тоже люди ведь.

– А как детей нанесет?

– Еще и того лучше, всё работники в дом. Дети по матери ведь. Давай Бог поболее таких батрачков. Выкормить у нас есть чем, хватит, а вырастет – нас кормить станет. На это мы добры. У нас бабе летом свободно. В Работках бабу за ехидство бьют, ну а за это – николи.

– А без битья нельзя?

– Обычай такой держится. И то хорошие хозяева не бьют. А которые бедные, тем одна утеха.

Терентий с собою постоянно таскает сына.

– К своему ремеслу приучаю.

Я присматривался к этому приучиванью – и не раз изумлялся. Дело в том, что отец ничего не объясняет мальчику. Тот только по-собачьи в глаза смотрит Терентию, да, когда лоцман повернет колесо, мальчуган следит, на что в данную минуту обращено внимание отца. Берега примечает, запоминает их очертания, с рекою роднится.

– Само ему в голову вложится. Разов сотню пройдет – и готов лоцман.

Оно так и выходит – само вкладывается.

Лоцман превосходно знает всё, что находится у самого берега. Деревушка ли высыпала к воде, хутор ли чей, завод или просто лесная усадьба. Он и назовет вам их, и оценит, и расскажет. Но чуть подальше от берега, хотя оно и на виду, – его не спрашивайте, наверное не знает. Так, например, мерещатся у край-воды две избенки – соломенные кровли, лодка на песчаную понизь вытащена, даже дворов нет.

– Вон он Мальчухинский поселок стоит! Рыбкой народ промышляет, стерлядей ловят... Бедно живут.

– А это что? – спустя несколько минут указываю я на сверкающее главами многочисленных церквей своих большое село, верстах в шести от берега.

– Это?.. А и впрямь село! – точно он в первый раз увидел его. – Этого не знаю.

Как копирует своего отца мальчонка; даже смотреть учиться так же, как тот. Щурится, через головы глядит, всё вдаль норовит всмотреться. И важность напускает на себя до смешного. Не улыбнется, а о шалостях, разумеется, и не подумает.

– Ишь какой лоцманок у меня! – хвастается отец.

А тому это даже и не лестно. Серьезнейшим образом следит он за ходом судна. Разве только заметит порой:

– Анюткин воложок правей ноне стал.

Всматривается отец.

– И то правей... Ишь сколько земли навалило.

– Допрежь вон у того дерева шел.

– Верно... А теперь у дерева песок... Льдом другой берег прорезало, туда и пошло... Мягче.

И опять молчание. Главное, никаких указаний. Пример отца перед глазами. Всматривайся и сам соображай, почему он делает то или другое. В шестнадцать лет этого мальчугу уже на речное судно парусное поставят в помощники лоцману, а года через три из него заправский лоцман выйдет. Некоторые, наиболее осторожные лоцманы из молодых первый рейс по Каме или Волге каждый год «шестом проходят», т. е. пароход на каждом шагу меряет воду и подвигается медленно. Но и эти все измерения запомнить так, чтобы уже не прибегать к шестам, – дело трудное и для нас невозможное.

– Эка Волга пустынная теперь какая, что значит ярмарка далека, ни одного судна не видать! – замечаю как-то я.

– Как не видать! Вон Колчинский пароход бежит, да три баржи за ним, а позади и еще – Самолетский попрыгивает.

Всматриваюсь и прихожу к убеждению, что Терентий просто-напросто мистифирует. Волга чиста: ни клубка дыму на ней, ни черточки какого-нибудь судна.

– Ничего нет! – уверенно подтверждаю я... Еще бы не подтверждать, когда прозрачно-синий горизонт так ясен.

– Да вон... Чего вы, гляньте!

Спустя минут пять действительно вдали замерещилось что-то, точно запятая, приближающаяся к нам хвостом вверх. Это и оказывается Колчинским пароходом со струей черного дыма, выбрасываемой им. А потом Самолетский пароход показывается в виде второй запятой на прозрачном небосклоне. Подбежал ближе Колчинский пароход; действительно три баржи за ним тянутся, повеивая в воздухе красными флагами и стройно рисуясь на синеве Волги. Только разведешь руками. Не только человек различил вдали пароход, но и разобрал его приметы, сказал, кому он принадлежит. Зоркость необычайная и для меня во всяком случае непонятная.

– Ему и бинокля не надо, – сообщает капитан.

Лодка ли у берега, корга ли, чуть-чуть колышущаяся в непроглядной дали на волнах, – всё замечал Терентий. Мальчик точно так же вырабатывал дальность, всматриваясь постоянно в отдаленные изгибы берегов.

## II. Бич лесов

– Эге... в Юньге-то, видно, угостился... Ишь тебя шатает как.

– Не замай... Ты капитан – твое дело на рубке сидеть, а я к тебе в каюту пойду, доспать надо... Сколько ден всё доспать не могу.

– То-то тебя Юньга ушибла.

– Что такое Юньга? – спрашиваю я.

– Вторая Москва у них. На устье Ветлуги село большое; там пристань лесная. Там рабочего люда этого скопляется – что комара на болоте. Туда же и бабы съезжаются верст за сто. Рабочие здесь расчет получают, гуляют на радости, если хозяева их не обидели, а обидели хозяева – с горя пьют; ну и бабы около них кормятся. Юньга – это рай для бурлаков и приказчиков. Ну, вот тебе и ключ, ступай ко мне – отсыпайся! – обратился он к новому пассажиру.

Это было нечто вроде кабестанного парохода в образе человеческого. Атлет. Плечи – кося сажень, брюхо на вынос, голова громадная, борода – гущины необычайной и по поясу; руки покрыты сплошь бородавками и мозолями. На нем армяк, сапоги, от которых дегтем несет за версту, рубаха на груди расстегнута, зато голая шея повязана красною орденскою лентой и на ленте золотая медаль красуется. Судя по цвету ленты, минотавр этот с нею никогда не расстается. Даже закрутилась вся, как веревка.

– Хорош экземпляр? – обратился ко мне капитан. – Сермяга ведь, а миллионами ворочает. Медалью величается, а чистой рубахи в рабочую пору не наденет!..

– Кто же это такой?

– Истребитель лесов.

– Лесопромышленник?

– Называйте его как хотите, а он на своем веку мало-мало тысяч двести десятин лесу перевел, да недавно у башкир вот еще тысяч пятьдесят на сруб купил. Вся жизнь свою только и делает, что рубит. А ведь простым дровосеком был; у знаменитого богача, купца Бакаева, в рабочих жил. Только пять лет тому назад азбуке выучился, а писать и по сю пору не умеет. «Мне, говорит, цифра нужна, а на грамоту мне плевать. Ты меня в цифре не обмань». По Каме немало таких притонов, которые этот бич обезлесил. Он один натворил здесь зла больше целого поколения других лесопромышленников.

– Как же он разбогател? От дровосека, получающего тридцать копеек в день на своих харчах, до миллионера путь очень велик.

– Тут какая-то история была. Одни говорят, что, выкарчивая дерево с корнем, клад нашел. Ведь вся здешняя сторона кладами богата. Понизовые



разбойники, вольница Закамская, то и дело добычу в землю зарывали. Оно и немудрено найти кому-нибудь случаем. А другие про него говорят, будто он просто раскольника-купца, пробиравшегося в скит лесными тропами, подстерег да и убил. Только он сразу начал и шибко. То и дело, что дачу за дачей покупает да валит лес. Даже у него ненависть какая-то к лесу пошла. Вы потолкуйте-ка с ним. Вон он назад идет.

Чудовище действительно подымалось на рубку. Лестница под ним скрипела и стонала, точно живая.

– Парит у тебя в каюте еще пуще!.. Тут на легком воздухе лягу на скамеечку.

– А как дама выйдет?

– Я с нее воли не снимаю и она с меня тоже. Ляжь она – рази я что скажу?

– Я вот пассажиру про тебя рассказывал.

– Что ты сказать можешь, какой у тебя разум? Меня понять мудрено, брат.

– Ишь ты, медаль вывесил, да и величаешься.

– Медаль?.. Ты думаешь, я для бахвальства? Эх, ты!.. Я сам баринку расскажу про это. По нашему лесному делу хорошего платья носить нельзя, потому я и с топором, потому я и в болоте по колено. Сплю, где Бог положит! Купцом не оденешься. А сермягу надел – всякий норовит тебя ткнуть куда ни попало, особливо начальство. У нас сторона дикая, глухая, ну и начальство у нас не как у прочих, а старое, дикое. Такого, поди, на Волге не найдешь?.. Ну а повесил я медаль – знают, кто я таков. И полесовщик всякую мне льготу предоставит, ну и от других мне обиды нет, всё же я как будто чиновник выхожу. Всё же – языцы разумеите!

– Неужели вы сами работаете?

– Сам – везде. Рабочих тоже держу, одному со всем не справиться, и сам с ними работаю. У нас дело веселое, хорошее, любое! Свалил дерево – обтеши его, обтесал – сволоки на сплав, до реки добрался – вяжи плоты в воде. И всё-то тебе светло кругом да радостно. Сам знаешь – лес валишь, добро делаешь.

– Это как же?! – изумился я.

– А рази не добро? Что лес? Царство нечисти всякой, сказано – трущоба, дэбрь! Кто в лесу живет? Зверь дикий, человеку непотребный, злое племя живет. Дьявол в лесу крещеную душу смущает пуще, чем в поле. А сколько зла в ней, в чаще зеленой, творится, – и лесопромышленник даже нахмурился. – Смертное убийство, грабеж, воровство всякое. Притоны там злодею уготованы, бегляки ходят, ножи точат. По трущобам да чернолесьям всякий разбой творится. Что его жалеть, леса-то!.. То ли дело нивка, она божья. Гладко тебе, чисто, куда ни взглянуть – всё точно на ладоньке. Нивка – она откровенная, она тебе всю округу оказывает. Степь то же – там никто не притаится. Всякого издали видишь, какой он человек. Лицом к лицу не подойдет к тебе незнамо, нежданно. Да и красота, как понизь ровная тебе расстелется; богатство, коли Бог хлеба послал. А лес! Слышал присловье наше: лес темней – бес сильней. Вот оно, что умные-то люди говорят.

– А сколько зла от лесоистребления вашего.

И я пустился было ему доказывать это.

– Вон оно! Умней Бога хотят ноне быть. Бог за грехи наши посылает нам голод да холод, чтобы мы опомнились, да к нему Милосердному прибегли, а ты – лес. Лес на потребу человеку дан, что ж его не рубить. И дело, тебе говорю, веселое. Иной раз на всю округу один стоишь – рубишь. Вдаришь ты раз, точно с тобой весь лес заговорит, каждое дерево тебе отзовется, чует оно, что на добро ты его валяешь. Храм божий из него воздвигнут либо жильё какое, а то на согреву человеческой немощи!.. А то Бога перемудрить хотят. Нет, брат, Его умней не будешь. Что Он дает, то и будет. Древле вон, сказывали, по лесам идолов ставили, что лес, что капище – всё одно значит. Что ж жалеть его, по-твоему?..

– Он и зиму, и лето в лесу, – рассказывали мне про него потом, – жену и детей бросил совсем. Раза два в год наезжает. С недельку проживет и опять на промысел. Семья у него крестьянского обихода держится. Такая же изба, только что разве побольше, хлебопашество, жена сама косит, дети тоже к мужицкому делу привыкают. Вся округа у него в кулаке зажата. Все-то ему должны, процент платят, работают на него даром. Он даже сыновей своих в школу не посылает.

– Как так?

– Не нужно, говорит. «Я и без грамоты деньги нажил, а вы с грамотой только проживете их». Теперь жена тайком стала сынишку к дьячку посылать; что же бы вы думали, узнал – так оттащил ее за волосы, да еще при всём честном народе; с тех пор она полно о грамоте думать. А дочку свою в институт свез.

От удивления я переходил к удивлению.

– В год за нее тысячи по полторы платит. Пусть, говорит, всем наукам обучена будет и по-французскому. А потом я ее в деревню возьму, пушай-де образованная да перед мужиком-дураком поклоняется. Мне что, говорит, над вами величаться, вы народ темный, а я над ней над барышней величаться начну – это лестно!..

– Вон казенный снаряд идет! – указали мне на барки с флагами.

– Какой казенный?

– А из пермских заводов бомбы, гранаты. Их с Чусовой так без перегрузки и волокут до Нижнего.

– Близка наша Кама-матушка, кормилица богоданная!

Берега точно принижались. Левый берег Волги совсем к воде припал. Весь песчаными понизьями на солнце золотится. Белая полоса пены, точно серебряная кайма у золотого поля. Кое-где облако рощи далекой. И направо сплошь зеленеет нагорье. Если не лес, на который новый пассажир алчно заглядывается, так сады вниз сползают. А парит еще круче. Жара даже татар загнала в каюты.

### III. Старательница

Село Богородское!...

Золотые шапки соломенных кровель – по всей горе; улицы прямые, точно стремглав вниз сбегают. Большая церковь посреди села. Кругом (должно быть, день базарный) черные точки лошадей и телег; много таких черных точек. Народ внизу на берегу кишмя-кишит. Какой-то белый пароход американского типа пристал туда. Точно вилла на воде с галереями и балконами кругом. Десятки мелких лодчонок чертят по Волге. Еще два-три поворота колес, и серебряная полоса великой северной реки перед нами – откроется во всей красе своего спокойного приволья. Синяя, уходят назад каменные обрывы правого берега. Волга ширится вдруг. Несколько островков налево, усеянных чайками-мартышками, точно искры вспыхивают там. Каму не видать за длинным песчаным мысом. Только мачты судов двигаются за ним, точно эти суда по земле ползут к Волге. Там и вдали за понизью всё течение Камы мачтами этими означено. А плотов, плотов лесных – видимо-невидимо. Из Камы еще новые и новые ползут, тихо, лениво, скользя по серебряной глади. И все они с рогожными навесами, под которыми также тихо и лениво делают свое дело ободранные, неприглядные плотовщики. Вон один такой плот ползет себе, а на нем единственный плотовщик, да и тот под навесом лапоть плетет. На другом, под такой же рогожей на шестах, раскинулся, подослав под себя армяк, рабочий – в чём мать родила. Бронзовые мускулы смуглого тела так и обрисовываются. Рядом большой рыжий пес валяется; с какого-то плота дымок поднимается – кашу варят бурлаки. А там подальше целая семья – двухлетний ребенок беспечно бегаёт, не боясь на каждом шагу свалиться в воду. Мать дремлет себе под лучами жгучего солнца. А ребенку, видимо, весело и привольно; он смело скользит своими тонкими ноженьками по брусьям, рискуя ежеминутно нырнуть в воду... Вон баржи с солью. Пусто там; весь народ на берег ушел и развалился на песке, подставляя солнцепеку и без того обожженные лица.

Очень красива сбегаящая вниз по реке изогнувшаяся линия плотов. На каждом Вятском великане-бревне играет солнце; есть что-то праздничное, свежее во всем этом. Так и кажется, что до тебя доносится смолистый запах леса. Воды Камы, когда вступаешь в нее, полнее верхних вод Волги. Медленно и спокойно струится она, точно убаюкивая суда среди своих зеленых понизей. Оглянешься назад – синими сливающимися тонами уже выступают обрывы волжского берега, а дальше переходят в лиловую кайму, на которой темными пятнами разбросаны села. Богородское сбилось в одну кучу, и чем дальше уходили мы, тем всё теснее и теснее сдвигает оно марево своих изб. Синие и лиловые тона ложатся всё гуще и гуще – пока вся эта украина не охватывает горизонта позади однообразною полосой.

Отличительный характер пейзажа – спокойствие, ничем невозмутимое. Берег пока низмен. Мы идем по главному камскому устью. Направо и налево рукава; то они блеснут на солнце яркой излучиной, то снова спрячутся, и только мачты да караваны мелких судов видны на них. По зеленой

понижи теплятся отраженными солнечными лучами крохотные, чуть заметные, но световодные заливы, где остались еще следы половодья. Озерки, точно клочки голубого неба, разбросаны по луговинам. Попадет такое озерко на песчаную понизь – точно пятно лазоревой эмали на золоте.

Ветром потянуло, холодком среди недвижного доселе пекла повеяло. Так и дрогнули все от радости.

Севером пахнуло!. Дышится легко. Сразу крепче себя чувствуешь. Даже где-то песня вспыхнула.

И действительно, отсюда уже тянутся широкие пути в тьму и холод – на полночь. Опять Север – и приветствуешь его в лице этой великой реки, этой становой жилы, разносящей жизнь в глухие бездорожья его величавых пустынь. И рвешься туда, в еще не посещенные захолустья. И чудится там что-то сердцу милое, точно голос друга кличет оттуда.

И названия встречных пароходов говорят о новом крае.

– Вон, глядите, «Тагил» – буксирует вниз баржи с солью. Их всегда легко узнать. Глубоко баржа в воде сидит – значит солью нагружена.

– А вон «Сибиряк» – пароход навстречу нам.

Мелькнули мимо еще баржи с вагонами, которые буксируются в Пермь, для горнозаводской дороги. Мы скоро их оставили далеко за собою. Несколько рыболовных лодчонок точно набежали на нас спереди и только что поровнялись – опять моментально скрылись уже позади нас. Только и помню в одной из них силуэт ловца, показывавшего нам громадного осетра. «Авось-де остановятся и купят».

На правом берегу татарские деревни пошли – Табаево, Епанчино...

– Что тут делают татары?

– Хлеб сеют. У них чудесные земли. А вон дальше русские села наши, Мансуровское да Мысовское, мало хлебом занимаются. Славный промысел у них – поднимать затопленные барки. Тут и другие деревни этим живут. Тонут больше барки с железом.

– Да неужели этим одним существовать можно?

– Отчего же? Деньги хорошие берут. Другие под Самару уходят рыбу ловить, покупают в Вятке деревянную посуду и сгоняют ее вниз по Каме в Волгу, больше, впрочем, кадки да ведра. Из Белой и Вятки – Камой прогоняют вниз ободья, доски, лопаты, скупаемые купцами от сплавщиков на пристанях. Народ у нас промысловый, зажиточный.

– А недоимка? – вмешивается сумрачный крестьянин.

– Какая недоимка?

– Богатство-то где же, коли на каждой семье неплатеж?

Капитан было задумался.

– По селу действительно мироеды есть; те богато живут, они и пользуются. Ты говоришь, мы барки поднимаем, посуду плавим вниз, ободьем торгуем. Да разве мы? Мы тут – работники. Наше дело наемное. Всем орудуют двое да трое, которые нам хлеб задают зимой да деньги на подать в волостное вносят. Мы бы рады хлебом заняться, да как это сделаешь, коли мироеды нас долгами во как окрутили! Лето придет – в поле бы, ан нет, ступай на сплав. Весна – сеять нужно – ступай выздымать барки. Мы бы от этих хваленых

промыслов твоих без памяти ушли. Татарам куда лучше, они хлеб себе растят и кабалы не знают.

Пароход ташил несколько пестрых барок. Коньки были особенно щеголеваты, красные петушки – на маленьких мачтах, даже яркие звезды из затейливо расположенных лучинок.

– Это бакалею да мануфактурный товар вверх везут, а сверху мы эти баржи солью или железом нагружаем. Барки, которые железо либо соль вниз доставят, уже не идут в дело, их разбирают.

Стало попрохладней, и народ выполз на палубу. Одна кучка особенно обращает на себя внимание. Посреди баба рослая, румяная. От хохота груди так ходуном и ходят. В выговоре слышно что-то незнакомое, певучее. Задирают ее со всех сторон, а ей всё нипочем. Разве кто уж слишком заденет, так затылок у него затрещит под широкой лапищей этой камской красавицы. Точно дерево ломает! Мужичонко к ней подвернулся, тоже видно не потрафил.

– Ты что щенишься тут? – зевает она на него.

– Полегше, полегше! – и ошарашенный кавалер к общей потехе вылетает вон из круга.

– Знай наших баб заводских! – слышится ему вслед хохот развеселой толпы. – Ай да Марья! – при этом, разумеется, слышатся весьма непочтительные выражения, от которых даже красноуфимскую даму коробит. А у Марьи смехом лицо так и прыщет. Схватила было она с рослым парнем, да бросила – не по силе ей. Бездельная жизнь на пароходе, видимо, не по душе, рада бы хотя подраться с кем; мускулы – любому мужику не уступят; женского – только одежда одна. Горланит пуще всех; да и от крепких словечек не прочь. Еще с особенным апломбом их отхватывает: «На-ко, дескать, выкуси! Что, взял?».

– Ай тебе не стыдно? – изумляется какая-то мещанка, вся в черном, с утиным носом и узенькими бескровными губами.

– Нам некогда стыдиться. Наше дело мужское, работницкое.

– У них все такие! – объясняет толпа.

– По заводам иначе нельзя – за мужиков стоят.

– А ты все-таки сократи себя, потому ты – бабочка, а не мужчинка, – настаивала на своем мещанка. – Ты вон какие словечки-то пуцаешь, а это нехорошо, всему женск-полу на посрамление. Тебя и слушать-то зазорно.

«Бабочка» только глазами повела на нее и сплюнула в сторону тоже со своего рода заводским шиком.

– Таких и замуж-то не берут, – еще недовольнее ворчит обиженная этим жестом черница.

– У меня мужьев сколько хошь. Чего-чего, а этого добра не искать стать: в волю его, хошь пять, хошь шесть, а то и десять набираются. И тебе уступлю за дешево – бери только. Все здесь – во! – показала она внушительно кулак.

«Утиный нос» озлобленно плюет и укладывается на подушку.

– Так-то лучше! – напутствует ее старательница.

– У нас здесь бабы не ваши, наша баба совестливая.

– То-то вы ее и бьете, за эту за самую совестливость. А ты поди к нашей старательнице сунься. Она тебя проводит.

– Что и говорить, разве вы к настоящим кавалерам привыкли; вам бы с вашгером<sup>1</sup> только возиться.

– Нас вашгер кормит. Нам без вашгера что вам без сохи.

– Смелы уж очень!

– Нам бояться нельзя. Мы в одиночку по лесам золото моем. Кругом разве только волка дожدهшься. А и человека встретишь – недобрый тот человек, нужно от него отбиваться, постоять за себя. По нашим лесам бегунок ходит, бродяжка из Сибири идет, бабы они поди год не видали, как повстречал – сейчас лезет. Силы нет у тебя – обидит.

– Ну, поди, с этой обиды у вас не кручинятся.

– Как не кручиниться, ежели силой? С согласия – бери сколько хошь. А сам без спросу не лезь. А то иногда свои старатели встрянут. Коли золота что намыла да с собой захватила, отнимут; еще и наругаются всячески. Тут уж не упротивишься, молчишь, за обидой не гонишься; скорей бы ослобонили только. А всё привольней нашей жизни нет.

Зорко присматривался я к старательнице.

Какое сходство с кольскими женщинами, промышляющими в океане! Та же сила, та же смекалка, та же отвага и та же кажущаяся распушенность. Горнозаводские типы пока были мне в диковинку, поэтому я и не мог пропустить мимо один из лучших в этом роде, тем более что старательница попалась не из заурядных. Прежде всего, что такое старатели?

Уральские крестьяне часто уходят в даль и глушь, углубляются в пустынные леса искать там золота. С ними вашгерд. Нашли россыпь – и давай промывать его в одиночку или семьями. Золото, которое добыто таким образом, сдается владельцу участка по довольно высокой цене. Вот эти-то вольные, не по найму, рабочие и называются старателями, а работа их старательской.

– Иные и дичают совсем!

– С чего?

– А как месяцев пять проведут в лесу, назад вернуться – точно их ушибли чем. Слова не добьешься.

– Ну, по этой старательнице незаметно.

– Да и те потом оправляются. Сперва-наперво запьют – и пройдет.

– Поди, выгодное дело ваше? – обратился я к горнозаводской «бабочке».

– Как не выгодно! Один день сыт, а два голоден.

– А при удаче?

– И при удаче помрешь без хлеба. Наше дело такое – в леса зайдешь, ищешь-ищешь золота, всё, что с собой, проешь – и ворочайся домой, корой сосновой да ягодой лесной питаешься. А подаст тебе Господь, попадешь ты на россыпь – еще и того хуже, домой идти жаль, не бросить же ее желанную, а есть нечего. Ну и работаешь! Чернику ешь, голубику, всякую травку узнаешь. Силки на птиц ставишь, коли попадет что – сыта... Тут хошь фунт золота нарой, а голодна будешь. И не веселое же дело наше! Ни над тобою кровли, ни тебе защиты; тут же в ямке у россыпи и спишь. Дождь пойдет – только жмешься. Медведь мимо бредет и дыхание у тебя захватит, потому чем ты

<sup>1</sup> Вашгерд – деревянный прибор для промывки золота.



от него отобьешься? Силы и у мужиков не хватит. Теперь я стала только с ружьем ходить на это дело, ну и ободряешь себя.

– Да разве ты стрелять мастерица?

– Во! Да я сколько дичи себе настреляю! С ружьем вольготно!

– Ты, вон, говоришь, удача! Иной раз удачу эту самую проклянешь. Без нее ушел бы, а тут жадность в тебе. Первое время как на работу уйдешь, песни поешь, сама с собой говоришь еще, а потом дико станет, точно это кто другой около тебя разговаривает. А если погромче, нечисть всякая начнет тебя дразнить, песни твои перехватывать. Ночью и того хуже. Случается и на работе натомишься, а не заснешь никак. Со всех-то сторон тебя охаживают они. Где захохочет, где так окликнет, где это ребенок заплачет, а то точно кого ножом режут. Прижмешься к земле сырой, уши зажмешь да и взмолишься: Господи! Вызволи ты меня, сохрани! Так и маешься до самого утра. Такое время бывает, когда им дано, полная воля им мутить души христианские. Зверя да нечисти всякой боишься, а человека еще и того хуже. Коли он сильнее тебя, нахрапом норовит золото отнять, а слабей – хитростью да лукавством действует, словно от вора лютого бежишь от него прочь. Ты вот про себя подумаешь: врет-де баба, а я тебе как перед истинным Богом: раз это медведь на меня в лесу напал. Ну и повалилась я, не дышу. Давай он меня катать по земле то одной лапой, то другой; катал, катал да и бросил. Ушел за деревья.

Вскочила я, да бежать. Слышу что-то за мной: топ-топ! Глянь, а это опять он самый. Я опять плашмя. Ну, думаю, конец мне. Все старые грехи припомнила. Нет, обошелся, покатал, пошутил и прочь пошел. Я и ни с места, лежу. В вечеру опять пришел, понюхал, поурчал, рядом лег. Сам лежит, а лапой нет-нет да и толкнет. Обмерла я совсем. Скорей бы уж смерть! Да, слава Господу, олень подвернулся, шарахнулся он в чашу – и зверь за ним, так и ослобонил меня. Вот она какая жизнь наша! А сколько таких, – продолжала она, – что и совсем пропадают в лесах наших. Им ведь, дебрям этим, конца-краю нет, и он от заводов подальше, потому заводы добре лес едят. Из нашего села мужик один на старательскую работу пошел. Месяц, сказывает бродил, вдруг в одном чернолесьи наткнулся на вашгер. Лежит вашгер, вокруг россыпь, видимое дело, кто-то работал; давай искать, в кустах человек лежит, затылком вверх. Пугнул он его, громко окликнул – не шевелится; ближе подошел – смрад. С голоду, вишь, помер, руки оглоданы. А около него мешочек золота, так фунта два поди насбирал парень. Так стали потом ладиться, кто да кто, и ничего не узнали: кто и откуда.

– Зато как золота много намоешь да домой вернешься – благодать.

– Благодать, да не с того хвоста.

– Да ведь на другом деле столько не зарабатываешь?

– Да зато возьми ты хоть железный завод, ну всё же ты полтину в день получишь, коли мастер? А тут вот хошь: я в последний раз три месяца в лесу прожила, на шесть целковых золота намыла; ну значит совсем с голоду помирать пришлось, да изба выручила.

– Это же как?

– А залишня у меня изба была. Ну, продала я ее на завод, на сруб. У них на заводе лесу недостаток, каждому полену рад, так я с братанами повалила

избу, да на дрова ее сплошь и извела. Полтора ста целковых с завода выручила. А и удача – перво-наперво тебя в конторе заводской управляющий господский обсчитает, а второе – нашему старателю супротив другого рабочего впятеро пропить надо, а то и разума не вернем, все одичавши будем. Только после перепою и очувствуемся.

– Что же ты на другую работу не пойдешь, коли плохо?

– А тянет. Кто раз на наше старательское дело пошел, тот человек пропащий, месяц и другой в селе поживет – скучать да тосковать по лесу станет. Так его точно кто тащит туда, всё бросает, от всего отступается, а в дебрь опять уйдет. И там в трещи этой лесной жутко, а всё его манит туда. Никак нам без леса не прожить. Хоть ты что. Когда господские были, случалось управляющие запрещали ходить на старательскую работу. Не слушаются; в бега пойдут. Из-под затворов скрозь решетки умкнут. Приволье ли, а то, может быть, и лес заколдовал нас, мороком обошел, а только на миру не ладится старателю.

Табаево – село татарское всё ближе и ближе. Деревянная мечеть, точно дом. Деревянный минарет весь на виду. Тесом крытые кровли и стены изб. Зажиточно, чисто живут.

– Отчего русские деревни хуже?

– А незадача. Татары здешние господами осели. Табаевцы дома на подушках сидят. Вареве всякое у них – дай Бог чиновнику. Хлеб у них черный, чудесный.

В Епанчиной много грязнее, там и соломенные кровли на амбарах и службах.

Около Табаева веселая рощица; точно изумрудное пятно на желтой понизи берега. – Глупый народ! – злится лесопромышленник.

– Почему?

– А что толку им от рощи, чего они ее берегут. Я им пять тыщей давал. Ведь это – дуб всё! Какое дерево-то, только свали!

Минарет точь-в-точь голубятня, только гораздо больше и с острым шпилем наверху. Очень красив он на солнце.

– Это из здешнего леса строено?

– Нет. Они из казны и у меня лес берут, а своего не трогают. Жадность у них большая. Татары видимо умнее и распорядительнее нас, как это ни обидно нашему национальному самолюбию. Соседние русские крестьяне сплошь вырубали свои леса, а татары каждую маленькую рощицу сберегли.

После гористых берегов Волги низменные, спокойные окраины Камы производят впечатление чего-то доброго, давно знакомого, милого сердцу. Пахнет цветами. Далеко-далеко смутно мерещится кайма казенных лесов, точно там края облаков прорезались и синеют на небосклоне. То и дело встречаются беляны с ободьем и мочалами – видимо, последние дебри лесные изводятся. Всё гуще и гуще обносит аромат.

– Откуда это?

– А это на противоположном берегу табаевцы пчельники держат. И хорошие пчельники. Первые мастера на это татары. Мед в Лаишев да Богородское шлют, деньги огребают. Только липовых медов нет здесь.

– Ну а народ каков?

– Народ хороший, честный. Слово верно держат. Не пьющи. К русским точно братья, как родного в своем доме примут, только в мечеть к ним не ходи – этого не любят. Особливо к приезжему крестьянину ласковы. Чиновника не любят. Ну а наш брат попадет к ним – первый гость. «Яичек не хочешь ли, молока, меду», – всем рады тебя угостить. Душевный народ, что и говорить! Не токмо тебе, лошади твоей угодить рад. Одно у них – чай не наш, кирпичный, хоть и из самоваров пьют его. Коли ты у него не поешь – обидишь его, и потом он к себе не примет. Ты, говорит, гордый, поди ищи у других ночлега. А коли ты его у себя угостил раз – вечный друг он тебе. У них хорошо и работникам нашим. Что сами едят, как сами живут, так и батраку; точно сына держат. Только что вера у них своя, а то всех народов сердечней. Денег нужно – русский не даст, а татарин даст. Отдашь ему в срок и еще приходи. А не отдал либо обсчитал его – гнушается он тебя, что пса. На слово дают. Только не оmani.

На первой же пристани целая толпа этих татар села на пароход.

Чем дальше по Каме, тем прохладнее; легче дышится. Солнечный блеск не так ослепителен, дали – прозрачнее. Глаз замечает и линию каких-то гор за каймою синих облаков, и чуть мерцающее в серой дымке озеро направо.

А нагорный берег Волги еще не пропал. Только он весь черным кажется, точно там позади залегла грозовая туча.

И всё спокойнее, всё привольнее берега этой когда-то лесной реки.

#### IV. Вечный лесовик

На невысокое крутоярье, видимо, богатое село высыпало. Всё из хорошего, кондового леса строено, тес – богатейший. На самом припеке – мечеть деревянная. К этому берегу пропасть подчалков черных привалило, каждый с полбеляны будет. Грудами навалено на них мочала, кулей, рогож, ободьев; далеко идем – а смолистым запахом свежего луба так и обносит. Промысел самый чистый, здоровый! По реке Белой да по верховьям Камы с весны заготавливаются эти грузы. Целые сёла сплошь изводят леса на деревянную поделку всякую. Одни артели лесных великанов обдирают, другие в это время беляны сколачивают. Видимо, еще много остается досужего времени, потому что на судах штоки с узорчатыми пестрыми звездами понаставлены, везде разные петушки да коньки. Мало разлапистое судно сколотить. На дальнем севере, на Двине, тем бы и довольствовался промышленник да судорабочий, а тут и требования вкуса являются. Везде украшения, резной работы нет – какая-нибудь птица Сирий на носу красуется, либо зверь изображен охрой, да такой зверь, что любой зоолог не определит.

Берег в одном месте прорвался, в ложбине зеленая даль померещилась, все поля хлебородные. Пропасть высевают тут зерна татары. Редкий из них на сплав при караване пойдет. Далеко от своего места никто уходить не хочет. Русский сплошь подальше норовит умкнуться от сладского житья, сослепа в леса ударится либо с верховья Камы в Астраханскую Украину кинется. Что ему мило у себя? Голодовка да нужда лютая. А татарин обстроился прочно,

поле у него чудесное, дома – благодать; его и не стонишь на отхожий промысел. Еще на перегрузку железа в Лаишев, по соседству, он, пожалуй, не прочь; вниз до Богородского дойдет охотно тоже, а дальше – ни за какие деньги! Поди по немногим татарским деревням, созови народ на работу: кто на сплав покрутится? – наверно наш. Русские между татарскими селами тоже гнездами осели, отсюда и гонит их бескормица на великую нашу реку Волгу. Все ищут, где бы им горе свое избыть, куда бы руки свои неустанные запродать... И ведь пьянства здесь, собственно говоря, мало. Запой есть – а пьянства нет. Возьмите северного норвежского крестьянина: он вам изо дня в день пьет, а в месяц рома своего выпьет больше, чем камский крестьянин за целый год. Но первый и ест хорошо при этом, пьян не бывает, а русского навеселе здесь не встретишь: либо он сумрачно трезв, либо он мертвецки пьян. Я повторяю: постоянного пьянства нет, а запой ушибает их!..

Наконец и леса показались. Выступами, зелеными облаками в реку входят они свежие, чистые, хорошие. В серый день теперь они красивы, что же под ярким солнцем, когда они в изумрудном блеске своем стоят над этою изумрудною рекою! Кама тут очень извилиста, но на самых узинах и лукоморьях течения почти незаметно. Точно остеклела вода. Везде протоки, рукава или воложки, как называют их здесь. Мы сокращали путь часто на шестнадцать, восемнадцать, двадцать верст, проходя ими и оставляя главное кондовое русло в стороне. Очень красивы на бархатистой зелени лугов голубые и серебряные щиты озер – следы еще недавнего разлива. Еще красивее проточины воды от одного щита к другому; самыми прихотливыми зигзагами вьются они по равнине или черточками блестят там, где нежная зелень только что опушившихся раин заслоняет эти промоины от взгляда.

– Вон коренная Кама пошла, – указывают мне направо. – А это мы по новому воложку ползем. На Каме ходить легче с пароходами и судами, чем на Волге, особенно от Сарапула вверх.

Несмотря на кажущееся спокойствие Камы, она очень быстра, хотя глазу и незаметно. Воложки то и дело загибаются, эти загибы здесь поворотистыми зовутся. На берегу у самых поворотов шалаши рыбацкие понаставлены, видимо, на таких излучинах рыба бойчее ловится. По берегу бурлаки тянут бечевою грузные суда и многострадальные, вытесненные с Волги; тут по безлюдному простору между Елабугой, Чистополевым да Лаишевым поют они свою песню, «подобную стону», да проклинают пароходы, которые и этот жалкий кусок хлеба снимают у них. Бурлачества здесь скоро совсем не будет, но не порадуется этому голодный прикамский люд. Страдная работа, да всё же кормилица. А куда же потом уйдут целые сёла, промышленявшие бурлачеством? Как и железная дорога, так и пароход, для торговли и промышленности, т. е. для большого капитала, благо, а народу от этого не легче, пока до иного времени!

– Опостыли нам промыслы наши! – жалуются прикамские Микулы Селяниновичи.

– А что?

– Да пароходы нас ушибли!.. Цен не стало. Теперь и на хлеб не собьешься. Купцу вольготно, чиновнику еще и того лучше, а нам жутко от них. Прежде

сколько наживы по реке было, теперь всё к мироедам отошло. Чем больше пароходов этих, тем и нужды крестьянской больше!..

– Эк матушку нашу оголили!

Оглядываюсь. На палубе рядом со мной старик-крестьянин. Длинные седые брови почти глаза закрывают. Какая-то пожелтевшая борода. Ветер треплет во все стороны редкие клочья волос на голове. Стоит понурясь – видимо, дряхлость одолела... Даже и дышит хрипло, точно грудь с натугою выдавливает воздух.

– Несосветимое царство лесное было тут... Точно океан-море, шумело, зеленое...

– Это по Каме-то?

– По ней, по родимой... По бережку стеной стояла пустынь дремучая... Давно это было...

– А как давно?

– Я и сосчитать не могу. Много мне годов-то, а мы всё по лесам, всё по лесам... леса рубили и – я уходил... Родился около Манасеиной деревни, а теперь верст за тыщу живу; как лесное царство отходило отсюда, так и я с ним. За опушкой – не житье. Мы исконные, по всему нашему роду, коренные охотники. Да, хорошо тут было тогда! Кама, не то что ныне: ни одной мели – яро, грудью вздувалась, такая ли глыбь омутистая была. В ино место и солнцу хода не было сквозь зеленую темь лесную. По узинам посередь лета холодок стоял; и что тут птицы, что тут зверя по чернолесью таилось. Отошло времячко... Пришли магоги проклятые с топорами и давай изводить красу богоданную. Спервоначалу по берегу валили – стон по Каме пошел, а потом и в самую дрему прошли – ишь оголили как! Коли роща какая осталась – так на диковину.

– А вон еще леса стоят...

– Какие это леса – поросли, молодятник! Это ли леса! Тут веками выросло каждое дерево, что старорусский кондовый богатырь, тучки подпирало, корни от себя и по земле, и под землей толще нынешняго дерева выметывало! Какой это лес! Чуть ветром повеяло и расшумелся он. Это ли лес! Во оны времена, бывало, по опушке с ног вихрем валит, а в глыбь лесную уйдешь, точно замерло всё там – лист не шелохнется. Тишь такая! Разве под зверем где старая падань шуршит. Были леса! Снизу вверх глянешь – неба не видно; точно ты под кровлей зеленой, разе где солнышко пробьется, да жарким золотом густолистье обольет; словно в церкви, идешь ты, точно Бог над тобой невидимо – и радостно, и страшно, потому окрест тебя таинство!

– А около деревни как было?

– Сёла наши по чернолесьям таились. Народ тут по старой вере ютился. Он себя эфтим лесом, что тучей черной, оболакивал, оттого и старый кондовый обычай здесь в сохранности держался. Мы по зарубкам от села к селу ходили, дорог этих не было. Коли кто наших зарубок не знает – пропадом пропадет. Лесное царство измором его донимало. День идет, два идет, три идет, а то и целые седмицы – голосу человеческого не слышно, просвета сквозь леса не видно, прогалин нет как нет. Все стволы серые внизу, да зеленая туча сверху; ну, бывало, изморится, ляжет на сыру землю и помирает. Сколько таких встречал я!

– С голоду, поди, умирали?

– Наше лесное царство измором брало, а голодом не мутило, потому везде грибы, ягоды этой до страсти. Пить захочешь – ручьев под камнями немало. Иного не видишь, только слышишь, как он булькает. Ищешь, ищешь где – едва сквозь моховину до него дорвешься. Посередь леса какие озёра стояли – рыбные да богатые.

– Где же теперь эти озёра?

– Лес убили, и лесное богатство ушло. Озёра не сами по себе. Каждому Богом указано ручьями питаться. Деревя не стало – ручья высохли, ручьев не стало, и озёра в земь ушли, только пади еще где с топью болотной стоят. Тут что! Проточные озёра были, стерлядь в них водилась, налим – речная рыба и та гащивала по озерам, судак был, лещ, язи. Белорыбицу и ту лавливали, случалось, по два пуда; осетер – на что уж царь-рыба – в тону попадал. Теперь и Кама-то такой рыбой оскудела, а по озерам ее каша-кашей стояло!

– Тут с нами идет один лесной промышленник: похваляется он, что на своем веку несколько сотен тысяч лесу свалил.

– Бога у них нет, племя иродово! Ему нажива, а народу раззор один. Нешто понимает он, злодей, что лес, что храм – всё едино. Господи невидимо предстоит тебе. Чаща лесная злодеев праведниками делала. Молчишь в ней годами, и всё-то тайное перед тобою словно въявь, и вольное, и невольное всякое прегрешение! Ну и казнишься ты, и каешься. Святые отцы по лесу спасались, подвижники и стратиги наши от никонианских гонителей в зеленое царство сюда уходили и тихую пристань обретали, мати-пустыню ласковую. Селами да поселками жили мы тут, и не было у нас ни татей, ни убивцев! Без закона жили, а по правде! Властей у нас не было, острогов да темниц мы не знали, не ведали, какое-такое злодейство на свете водится. Вот оно какое царство лесное, потому нельзя тебе страсти своей подражать в нем, давит тебя оно; только ты дурное задумал – загудит над тобою, и смиряешься, Бога уведаешь! Чуешь, что зрит он тебя отсюда! И житие у нас было без богатства, но и не скудное. Народ работу любил, потому по лесу этому на себя работал. Деньги здесь что листва опалая: ничего ты с ними поделать не мог, ну и поэтому по самому мироедства и в заводе не было. Всякий на себя страдовал да на семью свою. В пустынном житии этом душеспасение было, что в келье монастырской. Старым истовым обычаем жили, в покорности да послушании!

В один день два такие типа! Равнинная, полевая Русь в лице истребителя лесов и Русь лесная, былинная, Русь заугольников в этом дряхлом старике. Толстое брюхо, сила, мироедство, скопидомство с одной стороны – ветхость, слабость с другой. Один тип настоящей минуты, с его любовью к наживе, ненавистью к темному лесу, промышленной сметкой и ежовыми рукавицами; другой – последний могиқан, вымирающий отшельник, с его любовью к тихому и мирному житию посреди зеленого царства, с его равнодушием к наживе. В одном жадность беспредельная, жадность, доведенная до того, что, принимая от своего подручного деньги за лес и пересчитывая засаленные бумажки, он дрожал над ними, при мне напустился на приказчика, зачем в тридцати тысячах пятнадцати копеек, которые тот проел на хлеб, не хватило;



в другом – непонимание силы денег, даже ненависть к этой «печати анти-христовой». Один, встречая преграды, ломает их и идет напролом вперед; другой от них бежит, в глушь прячется и стушевывается. Один считает лес царством зла и неправды, притоном злодеев, обителью греха; для другого гремучая трущоба – храм Божий, царство труда и правды! Больших контрастов в один день, на одном и том же маленьком камском пароходе встретить было бы трудно.

– Неужели между вами злых вовсе не было? – спрашиваю я у старика.

– А чего нам не доставало? Наши лесные поселки от злых-то и хоронились, мы сами от них спасались... Приходили и к нам люди неведомые... Только не злые, а ожесточенные. Живали с нами, в первый год лес и у них душу мягчил. Кто к нам бежал? С железного завода рабочий от недобрых управителей уходил, с соляных варниц Усольских, от кнутов хозяйских странный человек спасался, из городов грешник бежал.

– Какой грешник?

– А несчастный! С голодовки преступит заповедь божью – его в темницу, а из темницы он к нам.

– И таких принимали?

– «Приходите ко мне все обремененные», – сказано, как же не принять-то? Чем он не человек? Душа слабая, совратилась; да ведь в городе она совратилась, где бес силен, где искушение кругом, соблазн, а у нас соблазну нет; диким зверем спервоначалу бывало глядит стороной; а как увидит, что мы поселники лесные с открытым сердцем к нему, ну и сам за работу принимает. Из забеглых воров у нас целые семьи стояли; что ж бы ты думал – честнее да добрее народа не было... Вот оно каково!

– Что оно каково?

– А лесное царство наше... Гонимые шли к нам, ну и обретали покой, сердце у них и приростало к житию нашему. Не спрашивали мы откуда? Сам скажет – хорошо, нет – молчи. Что чужую душу выматывать! Мирно жили... И всё наше мирное житие и мати-пустыня богоданная от топора пропали. Приходили люди наживные, смотрели леса наши да с опушек начинали валить их. Какая деревня прежде совсем в дреме стояла, глянь – на опушку вышла, а через год и совсем поля кругом, лесное царство дальше уходило. Ну, которые остались, по-новому жить начали. По реке суда пошли, на суда покрутились, стали люди наживные артели нанимать леса рубить, царству своему изменили, в артели пошли. А которые верные были, вместе с лесом уходили. Врубаются люди наживные в лес, а верные прочь еще дальше отходят... Удались от зла и сотворишь благо!.. Так и я. Знаешь ли, сколько я себе изб ставил?

– Ну?

– Не много, не мало – двенадцать. Уйду от топоров ихних, поставлю себе светелку в лесу – через год топоры опять звенят по лесу. Дальше уйду, новую себе келию строю – году не избыть, опять наживные люди... Так я до пропасти изб этих за собой оставил... Вместе с лесом вверх по Каме шел, а под старость всю Каму-матушку нашу без красы ея богоданной, без лесу увидел... Привелось еще дальше уходить... Ведаешь ли Косьву-реку пустынную?

– Нет.

– В Каму бежит гремучая да светловодная. По ней я в самый верх на Урал-камень поднялся. До Павды дошел, там в лесу и изживаю... Последнюю тяготу свою ношу!.. Только и Косьва-река убор свой девичий терять начала.

– Тоже лесопромышленники пришли?

– И туда люди наживные врубались... Только до Павды нашей не дойти им скоро... Как жил, так и помру в лесном царстве, а детям моим, пожалуй, и лесу по всей земле русской не увидеть!.. Всё изведут... всё сгинет. Горе тогда будет лютое!.. Не избыть горя этого. Оскудеют реки, моря иссохнут, как болота в засуху, земля хлеба не даст, трава прахом рассыплется... Пойдут зимы без снега, лето без дождя... И восплачутся люди наживные по нашему царству зеленому, по лесным пустыням, порубленным да пожженным!.. Что их капиталы тогда?.. Тучка господняя за денги не придет... Денги в землю не посеешь... Древле Моисей из скалы воду источил жезлом, а ныне, за безумие наше да слепоту, и чудеса престали... Чудес не будет... Не увидит чуда земля бесплодная!.. Так девяносто лет пройдет и много за то время народу сгинет.

– А старики наши знают... Девяносто лет Господь Сарре плода не давал – и земля плода не даст такожде...

А через девяносто лет – новые леса вырастут... Зашумят дубравы, только человека в них не будет, доколе из сибирских лесов наши же поселники не придут да в зеленой чаще деревень своих не поставят... И сбудется сие по слову старцев, им же честь и поклонение!..

В голосе старика угроза слышалась; даже глаза из-под нависших над ними бровей раскрылись. Передавая предсказания старцев своих, он злобно погрозил голому берегу, песчаными буграми вдвигавшемуся в реку. Лет двадцать тому назад, вместо этих песков здесь на сочных холмах стояли лесные великаны... Старик точно видел их в эту минуту и грозил воспоминанию, рисовавшему толпу наживных людей с топорами, валивших лес и корнавших стволы его для сплава вниз по Каме в широкую Волгу...

Как нарочно, плоты нам навстречу...

– Вот они... богатыри-то наши лесные! Это с Белой реки... Каждое бревно в зеленом уборе стояло, в листьях пташка гнездо вила, в самой гуще веселая белка прыгала, а внизу у корня поди и вода бежала!.. И старик с отвращением отвернулся от плота.

На свинцовом фоне неба, покрытого, вопреки предсказаниям старика, тучами, точно вырезывалась белая церковь села Мансурова. Из воложка мы выходили в коренную Каму. Направо низился опустошенный молодятником берег, налево – зеленые луга вплоть до черного обруба, на котором тоже черными силуэтами деревня Мысы выделялась. Как хороши были белые чайки на темном полотне туманного неба... Глаз невольно следил за их грациозным полетом...

А новые тучи, гряда за грядой, выползают. Кама всё ширится. Тут она, пожалуй, и Волге не уступит... Серый простор ее потянулся рябью... На палубу точно крупа просыпалась – дождем прыснуло...

Пора в каюту!

## V. В виду Лаишева

– Ишь сила в ней какая! – замечает старик, глядя на реку с палубы медленно подвигающегося вперед парохода.

– А что?

– Да как же... Струи не видать совсем... Точно возеро Кама наша стоит, не шелохнется, а поди-ко ты супротив воды поработай... Какой-нибудь паровик, а умается!

Напрасно капитан покрикивает в камеру машиниста сквозь слуховую трубу: «полный ход!» – он только себя тешит. «Пермяк» знай пыхтит да кое-как переваливается. Колеса изо всех сил работают, взмывают воду, целые облака пены выбрасывают назад по следу, а толку мало. И как однообразны берега стали! Пологие, пустынные. За Мысами ни одной деревушки нет, словно все они попрятались от воды подальше. Зелень жалкая, разве еще березовая рошица к самой Каме выбежит, так на ней приветно останавливается взгляд, утомленный безжизненными окрестностями. Песчаные языки недавно образовавшихся мелей далеко вдвигаются в реку. По воде желтые пятна легли, видимо, и здесь спустя два-три дня не будет хода судам.

Ширина Камы тут не уступит Волге, только этот простор довольно-таки приелся. Поневоле бродишь по палубе, в каждое лицо вглядываешься, не скажет ли оно тебе чего-либо нового.

– Вон мужички наши, – показывает мне лесопромышленник толпу серого, понурого крестьянства, и прежде поражавшую меня какую-то особенную молчаливостью и безнадежностью даже.

Во всю дорогу они ни песни не запевали, ни шумной беседы у них не было. Сидят себе, перекинутся словом – и опять замрут. Разве только кто-нибудь хлеба пожует да воды напьется. Беднота, видимо, самая горемычная, даже на квас денег нет. Бабы между ними еще сиротливее, еще горемычнее, и головы поднять не могут. Орава ребятишек свернулась тут же, с насиженного места и отойти не смеет. И каких только тут лохмотьев нет!

– Как, ваши рабочие, что ли? – спрашиваю.

– Нет. Вы переспросите-ка их. Они, поди, больше нашего пострадают.

– По святым местам?

– Зачем. У нас этого баловства нет, а ежели и идут, так в Соловки больше. Эти на Кавказе были. Переселенцы... Да солоно, вишь, там, так они назад, в свои места пробираются.

– Земли-то их поди в третьих руках?

– Ну, у них и изб нет. По заводам разберут. Сыты будут. А и проголодуют – сами виноваты!

Спустя немного удалось мне завязать разговор с одним из этих странников, который посмышленнее казался. Сначала он как-то всё ежился да некал, точно отвязаться от меня хотел, а потом разошелся.

– Точно что... ходили мы туда... местов искать.

– Каких местов?

– На заводах, вишь, жутко было. Прежде у нас медное дело шло, ну всему заводу – заработок, кормились; а годов пять назад хозяева медное дело

бросили, золотом занялись. Им золото-то выгоднее мыть, потому меньше рабочих требуется. Рудник-то наш и запустовал. Которые на малую плату пошли, тех на золотой промысел поставили, а кто заупрямился – и совсем без работишки остался. Таково ли жутко пришлось, таково ли голодно – пухнуть стали. Еще у кого залишняя изба либо сарай какой был – на дрова порубили да заводскому управлению сдали, лесу, вишь, у нас мало; этим покормыхались за лето. Кто на Тагил пошел – без работы не остался. Потому в Тагиле тогда хозяева книжку эту самую вводили, так свои, вишь, крестьяне от этой книжки – прочь, завод наших и взял. А нашим всё равно бедовать приходилось, наши на книжку-то соглас и дали.

– Какую книжку?

– А запись на себя. Опять на крепостное положение<sup>2</sup>. Остальные, которые в Тагил не ушли, на железные заводы было сунулись, а там и своих животов не избыть, тоже пить-есть хотят. Думали, думали, глядели, соймы собирали, к посреднику ходили. «А где я вам работу возьму? – говорит, – у Бога и без вас народу много».

Посредники в Пермской губернии «по назначению», а не выборные, и потому местные нужды им были или совершенно чужды, или они смотрели на них сквозь пальцы; волостное правление, видя в крестьянах будущих неплательщиков, тоже гнало их с места...

– Ищите работы! А где ее найдешь, про всякого работа не припасена, у нас, брат, работа за великое счастье...

Наконец, надумались: продали последнюю скотину, какая была; избы сплошь на дрова порубили, дрова в завод по хорошей цене поставили; земли сбыви тоже и отправились на Кавказ «местов искать».

– На черкесское положение... Потому там, сказывали, места есть!.. Мы и пошли.

Волость с радостью уволила несколько семей, даже пособие какое-то им выдали.

– Ну и что ж, нашли места?

– Точно что там есть места... На легкую фрухту лучше не надо... И для жита тоже чудесна. У них жито свое, сам пятнадцать родит... Только все эти места давным-давно генералам розданы. А которые свободны – там армянин сидит, под свою руку их взял. Набедовались мы!..

– Не дали разве вам земли?

– Как не дали... Начальство с полным удовольствием. Бери! Только места неспособные.

– Хлеба не росло?

– Хлеб рос, для че ему не расти... – и он махнул рукой, точно не желая поминать дальше.

– Вишь ты, – хрипло вмешался сумрачный мужик, всё время вслушивавшийся в наш разговор... – Места дали... и чудесные места, лучше не надо, а от них уйдешь сломя голову, в бега, от местов-то этих.

– Прижимка была?

<sup>2</sup> Народ, таким образом, объяснял рабочие книжки, которые тагильское заводоуправление хотело вести между бывшими демидовскими крестьянами.

– Никакой прижимки. Только распределение было... Отведут тебе плешку на одной горе, а там на другой кусок тебе отмежут, версты за три еще землю дадут. Всего-то и много, да должен ты разорваться. На одном месте и десятины нет... Одним местом не прокормишься! Теперь ты посеял жито – поезжай на другую гору, там сей... Да еще и за третью ухватись, а на четвертой избу ставь... Это еще что! – тут хоть земля. А то были и такие, которым камень достался. Сей ты на нем, царапай по камению... А кои и посеялись – весной всё с горы смыло, ничего не осталось... Точно птиц нас по верхам посадили... внизу-то, вишь, всё занято и без нас... Побились мы; хуже нашего пермского завода вышло; голоднее, да и народ дикий; оно хоть и добрый народ, а дикий... Сколько перемерло наших там – страсть! Кои с непривычки на фрухту накиннулись. Пожрешь ты ее – тебя и ущемило, и готов ты... Оно по нашей жизни и переждать бы можно, пробиться как-нибудь – да детки, вишь, тоже, жаль их голых да нужных. Куда они без нас... Бабу тоже как оставишь?.. Пошли мы по армянам работу искать; народ чудесный, душевный народ, и работишка у него есть, только нам она несподручная: по садам всё, потому армянин садами живет... Ему виноград требуется, потому он вином торгует. Не можем мы этого... Терпели, терпели – ни мало ни много пять годов на черкесском положении были, по верхам сидели...

Наконец у народа силы не стало, видит, что ничего не добьется. Перепробовали всё – дороги никуда нет.

Есть хорошие земли внизу, да пустуют. А которые и раздавались в аренду, так не было орошения устроено, да за них еще половину хлеба, снятого с полей, отдай. Потому под нивы их невыгодно сбывать, под сады куда добычливее. Наконец пермяки не выдержали.

– Ушли мы от местов этих. Помиловало начальство – отпустило. Которые там остались. А мы ушли.

– Куда ж вы теперь?

– А назад! – понурился переселенец, зачем-то тыкая пальцем в грязную палубу парохода.

И все еще сумрачнее стали. Дома-то ведь не лучше. Заводы народом переполнены, рабочим деваться некуда. На старом месте, пожалуй, и не примут, землями другие пользуются, прежние избы давно в виде дров сожжены в кирпичных печах, новые ставить не из чего, потому лесу нету. Куда они денутся, что с ними будет? Мне кажется, что они и сами боялись загадывать об этом.

Так до конца, точно темное пятно, оставалась на палубе эта серая куча голого, обиженного люда. Больно было смотреть в ту сторону.

Налево что-то замерещилось – только еще далеко, смутно.

– Вот он, железный город, – указывают мне.

– Лаишев?

– Он самый.

Мы пробирались мимо как раз во время бывающей здесь ярмарки. С Чусовой, с Уфы и с Белой, не говоря уже о Каме, приходило сюда более пятисот барок с железом. Всё оно в «сортах». Издельного нет совсем. Здесь продается его только в розницу более полутора миллионов пудов, крупные же партии отсюда свозятся или в Нижний на ярмарку, или в другие местности. В Лаишев

к этому времени съезжаются отовсюду. Сюда и торговцы с Дона являются, и кавказские армяне, и астраханцы. Саратов, Самара, Симбирск имеют здесь своих приказчиков. Даже бессарабские царане показались в Лаишеве недавно.

– Не разживешься! Только последнее время здесь доживаем, – замечает заводчик.

– Торговля бойкая, отчего бы не разжиться?

– Да ведь мы продаем не на деньги, а в кредит. Всякая сделка года на полтора, на год. У здешнего покупателя денег нет; он на векселе весь держится. Прежде, бывало, сто, двести, триста тысяч чистоганом получаешь, а теперь у него при себе всего пять тысконок, да и те норовит в Нижнем по Кунавину растрясти на арфисток.

Торговля на ярмарке вся в руках четырех купцов. Рыбинский – Журавлёв, нижегородский – Рукавишников, Пастухов из Ярославля, да пермский – Любимов скупают всё железо по заводам и распродают его. Четверо монополистов в этом году доставили в Лаишев 5 381 161 пуд, продали на самой ярмарке 1 162 000 пудов, а всё остальное железо отправили в Нижний. Пока заводы сами не найдут дороги к Лаишеву и к Нижнему, до тех пор главная доля барыша с железного дела будет уходить на долю перечисленных нами посредников. Странно то, что даже такие крупные заводы, каковы: алапаевские Яковлевых, невьянские, каштымские, сысертские, производящие каждый более 500 000 пудов железа, не догадываются организовать прямых сношений с ближайшими рынками. По расчету специалистов, доходность заводов возросла бы при этом условии на одну треть, а заработная плата на одну пятаю.

Лаишев весь прячется за выступом берега. Видно только несколько кровель да колокольни. Деревянный город стоит на песчаной пониже, точно притаился от грозы или нападения. Зато река перед ним полна оживления и своеобразной прелести. Вся она заставлена барками, поднимающими каждая от десяти до четырнадцати тысяч пудов железа. Над барками вьются тысячи флагов, так что даже здесь, на пароходе, слышен их шелест на ветру. Между неуклюжими силуэтами этих речных посудин трубы буксирных пароходов выбрасывают вверх клубы черного дыма. Целый город шумит, движется, суетится на воде. На барках толпы рабочих, то же серое крестьянство на берег выползло.

– С этими рабочими беда! – жалуется скуластый, круглолицый пермяк.

– Дороже стали, что ли?

– Куда ж им дорожиться!.. Народ бедный, голодный народ. Нет, насчет цены способно. А только совесть нынче обмякла совсем. Поедешь по селам, законтрактуешь тысячи две, а на место ко времени человек пятьсот придет. В этом году на сысертский завод из тысячи семисот человек к условленному сроку полторы тысячи не явилось, пришли, когда караван весь был уже наготове.

– Всё-таки пришли, значит.

– Сто человек обмануло только. А ведь тоже деньги платим, не щепу. Хошь и малые, а где ты их возьмешь, ежели нет у тебя. Подать платить надо – все у нас, откуда и помощь, как не от завода.

– Что говорить – благодетели! А дорого ль вы им платите?



– Кунгурские за всю путину восемь рублей с полтиной на человека берут. Это самые дорогие; они от Чусовских пристаней до Перми ведут барки; коли благополучно – в пять, в шесть дней поспеют. Ежели сплав затянется, то им по положению тридцать копеек в сутки идет. Вятские рабочие берут по четырнадцати рублей семьдесят пять копеек на брата, зато они гонят барки с пристаней вплоть до Лаишева самого. Назад в Вятку они уже на пароходах поднимаются.

В сущности, рабочему не остается ничего. Только что он прокормится за хозяйский счет

– Голыми придут, голыми и уйдут! Работа нелегкая – и выпить надо. Другой и денег своих не увидит, потому их за подать в волостное вносит приказчик. Бывает и то, что рабочий на возвратном пути еще и платье свое проест.

Гораздо выгоднее для мироедов другой промысел: постройка коломенок (барок), доставляющих железо. Делом этим занимаются исключительно крестьяне на Чусовой. Пошлина за лес на каждую барку обходится в пятьдесят шесть рублей, снасть стоит сто пятьдесят рублей, строят барку кабальные, те, что бьются у мироеда из-за хлеба, следовательно, платить им дорого не приходится, а самая плохенькая коломенка пятьюстами рублями оплачивается от завода. Случается, что, достроив барку, рабочий только муки на семью получит, а прежний долг мироеду останется в той же цифре. Барку в Лаишев или на дрова рубят, или же, если она хороша, опять на сплав пускают. В первом случае она оплачивается ста рублями, а во втором от трехсот до четырехсот доходит.

Обманутые хозяевами судорабочие на барках, в свою очередь, умеют отплатить за себя.

– Первое дело, – объясняли мне, – коли хозяева больно прижимисты, деньги мы целой артелью пропьем, а потом на первой пристани и припас, какой от него идет, тоже в кабаки спустим. Припасу нет – и караван стой. Без хлеба людей непустишь; а дело споро, ходко; каждый день у него из кармана сотню-другую вынет. Шлют приказчиков. «Чего стоите?» – Хлеба нет. «Куда же вы хозяйский харч дели?» – А съедено. Ну, опять даст хлеба, только уже на наш счет. Мы платимся за него, а всё же и ему беда: позже караван придет. Так за путину на пуд железа только бы по одиннадцати копеек привелось, а как мы дойдем хозяина измором – и все шестнадцать накинута!..

– Да ведь с вами условия же заключаются?

– Да что ж, что условия! Кабы всё, что на бумаге прописано, сполнять – ложись да помирай лучше... Нас нужда гонит, мы тебе запись на себя дадим, хоть в петлю лезть – так веревку по записи этой и надевать на себя. Хозяева нас тоже так ли чудесно обманывают. Лучше не надо. Случаи бывали! Придем в Лаишев, железо продали, приказчик невесть куда уедет – и расчету никакого! Поплачемся, поплачемся да именем Христовым и кормимся по дороге домой... Ищи там по записи этой.

Это положительно две воюющие стороны. Рабочие должны для сплава каравана явиться ранее, так к пятому апреля, а приходят они просрочив дней десять, одиннадцать.

После первого мая условные за путину деньги считаются отработанными и судовщикам уже идет поденщина по тридцать копеек в первые пять дней. Если хозяин их хочет оставить с пятого по десятое марта, они получают уже в день по сорок копеек, с десятого по пятнадцатое – по пятьдесят копеек. Затем их уже нельзя приневоливать, и они могут уйти куда угодно. Но условие одно – а дело другое. После первого мая полевые работы ждут, и крестьяне, долго не думая, бросают посреди реки маловыгодный караван и возвращаются домой. Другие, пользуясь случаем, требуют более высокой платы или уходят целыми артелями, оставляя суда без всего. Большею частью причиной всевозможной безурядицы являются сами хозяева.

– У меня раз таким образом пять тысяч человек ушло. Суда обмелеть могли. Что делать было? Вслед за мной караван другого купца плыл, я кинулся туда, перепоил его рабочих, стал подбивать их ко мне уйти. Ну, Господь помог, удалось их переманить, а тот купец так и обанкрутился, потому его суда обсохли!

Не всегда это и с рук сходит. Часто хозяева сцепятся между собой в рукопашную, а работники, составив круг во время этого единоборства, любят, как летят клочья хозяйских бород, как трещат скулы их степенств, и только науськивают и ободряют слабейших.

– Чего обмяк, вороти его в нутро самое. Ну-кося... Вали! Ишь он пузо отрастил.

– Не давай ему отдыху, наотмашь!.. За ворот, рви ему рубаху, да за дыхало!..

– Да ведь они до смерти добыют, черти!

– А нам что за горе! Не малые робята, сами знают.

В Лаишеве производится перегрузка и перемер железа. Вся ярмарка – в кабинете партионных скупщиков и на берегу. Самый город остается молчаливым и неподвижным; разве только закутит какой-нибудь из коммерческих тузов и для разнообразия вздумает поить извозчицких лошадей шампанским.

– Эко дерево, – негодуют рабочие. – Ты бы деньги нам отдал.

– Пейте в мою голову! – приглашает их тот.

– Тьфу, анафема! – злится шершавый вятчанин и действительно молчаливо, хмуро, сумрачно напивается за хозяйский счет.

## VI. Опять леса

За Лаишевым, видимо, хлебородная полоса пошла. Земля хорошо обработана. На зеленой понизи деревня Мурзиха показалась – кучи навоза кругом, кровли соломенные – издали хлевами пахнет.

– Тут около узится Кама, так что верст на десять выше этого убогого поселка предположена постройка моста для сибирской железной дороги.

– Скоряе бы строили!..

– А что?

– А оголели мы. Всё же народушку работа... сказывают по чугунке деньги дешево.

– А у вас как поденщина?

– Да тут между Мурзихой да Рыбной слободой поди и поденщины нет; потому работников никому не надот. Всякая семья сама собой облаживается. Годы бывают, когда за двухгривенный в день на страду мужика берешь – и то доволен.

В сумерках мглистого вечера едва наметилось Рыбное. Оно по косогору сползает к реке. У самой воды домишки, два-три огонька мигают. Село богатое, а после волжских – куда неприглядное. Рыбное слободой зовется. Торгует эта слобода железом, вдосталь рыбу ловит. Здешние стерляди и осетры по всей Каме славятся. Пароход пристаает сюда.

– Кому рыбки?.. Рыба живая... У нас стерляди...

– Осетры княжьи!..

– Во, гляди какой! – и дюжий, загорелый, как подошва, рыболов к самому носу моему вскидывает полуторапудового осетра.

– Не надо мне.

– Чего не надо, ты пойми: рыба – холостяк. Всем пароходом ешь ее – конца не будет. Чем не взяла? И рубашкой хороша, и жиревая... Чего ты!.. И всего-то с тебя девять рублей за красавца сойдет...

Другой корзину стерлядей под ноги подбрасывает. Рыба бьется в ней, томительно зевая; только и слышится шуршанье да шорох из этих своеобразных садков. «Ишь ты варево почуяла, в уху просится!» – острят кругом.

Видим, опять кондовая, коренная Русь пошла. Новгородский сказ, северорусский тип. Ничего инородческого, говорят на распеве, растягивают гласные. Голоса громкие, смех задорный. И тут же у кладбища часовенка на татарский лад строена... В одном прикамском чисто русском селе у часовни, точно у мечети здешней, выступ на переднем фасаде фонариком, а в другой минарет. Только руками разведешь. Внутри иконопись. Геенна огненная пышет из разверзстой пасти змия погибельного, а в этой геенне, между прочими, сидит себе солдатик с ружьем и, несмотря на пламя, окружающее его, преспокойно курит трубку. Земной рай тоже носит на себе заметные следы оригинального творчества. Под кущами райских садов сидят за столом старцы. На столе – посудыны с вином и жареные поросята. Ангелы в воздухе трубят в длинные рожки, а в траве ползет змея, у которой во рту вместо жала какой-то необыкновенный цветок.

– Кто это у вас рисовал? – спрашиваю я рыбака, только что сбывшего мне за целковый аршинную стерлядь.

– Это у нас свой!.. Солдат... Из нашего села родом, по всей округе пишет.

– И образа?

– И на образа лучшего мастера не найдешь. Только без водки не может; смелости, говорит, той нет. У него такая правила: обопьется, а потом давай писать, с перепою-то у него разума больше. Это, брат, как кому Господь определит. Другой с водки только спать горазд, а его, мастера нашего, с этого самого поила поди как осеняет.

Около Рыбной слободы, на грязном поле, словно насыпаны грязные избы. Скучно, неприглядно. У берега несколько недостроенных белян. Так и обносит смолистым запахом сосновых досок. Кое-где серебристые пятна тальника, а за ним опять выступают на глинистых горбах убогие починки.

- Вся эта округа Урайским Монастырьком зовется.
- Где же монастырь?
- Да тут нет, никогда и не бывало монастыря. Так народ прозвал – и пошло...

Совсем безжизненная, унылая местность, а между тем тоже богатый рыбный лов в сети и на самоловные уды.

– Нам с этими ловами толку мало, потому все они по чужим рукам разошлись.

Общественных тоней нет, река уже в частном владении. Рыбачат по найму, да и не стоит: меньше гривенника в день приведется получить, лучше идти беляны строить, коли на такое дело сподручен. Здешняя беляна по Каме, да и по Белой реке славится, а строителям тутошным перед другими великая честь! Урайский Монастырек на беляну первый мастер.

– Погодите-ка, баржи совсем перебьют дорогу вашим белянкам. Недалеко с белянами уйдешь...

– Куда барже! На беляну экую ли гору взвалить – всё вынесет.

– Станут и баржи большие делать... Пока еще не весь лес перевели да башкирские дебри целы, так беляны вам сподручно ставить, а вот как через несколько лет по реке Белой да по Уфе последнее дерево свалят, тогда что?

– Ну, Господь даст... Не вовсе уж обездолит... Тоже ведь молимся ему...

– Вы бы лучше леса берегли... У нас вон на Невьянском заводе даже железное дело бросили, – обращается ко мне приказчик. – Счастье, что золото нашли, а то бы тысяч десять народу хоть по миру иди...

– Что ж так?

– Лес весь сожгли. Верст на сто поди лесу нет... Молодянник есть, кондого леса и во всей даче не найдешь. Даже пни, которые были, повывернули и сожгли в заводских печах. У нас о лесоводстве ведь и понятия не имеют. На милость божию надеются, а чтобы порациональней тратить это богатство и думушки нет... – пускал пыль в глаза иностранными словами заводской артельщик.

– Лес, лес! Только у вас и горя, что лес! Много вы в ём понимаете... – озлился толстый, как боров, лесопромышленник, во всей своей неприкосновенности, с расстегнутым воротом и медалью на шее.

– Однако по левому уфимскому берегу ни одной лесины не осталось.

– Зато по правому, вятскому, только за Елабугу зайдешь – сплошь леса пойдут. И какие леса-то! Из одного дерева пять сажен дров нарубишь!

– То-то вы и рубите!.. Мачтовые деревья да на дрова.

– Это где же? – спрашиваю.

– А в дачах Елабужского уезда...

– Помолчи-ка... – вступается лесопромышленник. – Не мели, чего не знаешь; язык-то тебе дешево стоит, да ведь никто тебя за него не тянет... Чего ты тут назвонил? Нешто я себе враг – мачтовое дерево на дрова изводить! Мачтовое дерево – на порубку тогда я пушу, коли оно переспелое. Четырнадцать вершков есть в комле – на мачту чудесно, а только на вершок перепустишь его, оно уж и переспело, пили его либо руби. Коли дряблый

комель, какая же мачта тебе из лесины будет?.. Не выкроишь ее... Ты бы про елабужские леса лучше помалкивал... У помещиков покупаем дачу – сплошь валим, у казны – тоже, а в Елабужском уезде с тем и отдают на вырубку, что деревья семянные оставляют.

– Что же вы платите за десятину?

– Коли средний лес семьдесят, много-много сто рублей отвалим. Да еще кое-кому соску в рот дашь – пососи-де... Всякому пить-есть надо, мы за этим не стоим.

Потом я сам повстречал эти елабужские леса. Из-под топора дача выходит разреженной. Сиротливо, далеко одно от другого стоят семенные деревья; между ними пни торчат, молодая поросль робко выбирается из-под них; солнце, которому еще недавно и доступа не было в темную чашу, щедро обливает зноем и светом сырые промежи, высушивая их... Зато от «господских» лесов не остается, действительно, ничего – не только семенных деревьев, но и пней нет. А такие леса все чем дальше, тем усерднее продаются культурными баричами, прожигаящими жизнь в столицах или за границей, не имеющими понятия о том, какие сокровища сбывают они за бесценок промышленникам. Большую часть этих угодий скупают купцы, но и крестьянство выступило недавно конкурентом по лесоистреблению

– Вот у Техтерева, у помещика, зимой крестьянин наш полтора десятины облаговестил, а нынче уже по Ижу-реке сплавил полторы тысячи сажен дров. Дровами-то он весь свой расход покрыл, а чаща-то еще только по краям тронута. Господь даст – в два лета всё свалит и немалый капитал наживет... Бог, брат, знает, кому помочь.

Лес особенно усердно рубится по притокам Камы, лишаемой, таким образом, питательных ветвей, потому что вода в небольших речонках только и держалась благодаря обступившей их со всех сторон чаще. На низменных местах, где произведена порубка, образуются луга, на высоких – пашни.

– Тоже и нас без толку ругают, – живописал лесопромышленник. – Знаешь ли, какой на пашне лес подымается, дай ему только волю. У нас есть такие места. Прежде там пахали, а теперь, через шестьдесят лет, строевой лес поднялся. Что ни лесина – то и капитал! Каждому месту свое дерево: после ржи сосняк подымается, после яровых либо гречи – березняк запушится.

Я мальчонкой несмышленочком с покойным тятенькой ездил – всё он мне рассказывал: «вот здесь мы бывало пахали, а теперь хоть избы строй из лесу». На пахотной земле важный лес растет. Возьми-ка дрова с него – слой в каждом полене толстый, середка камень. А с лесу, что на простой земле вырос, какая радость? Слой в нем тонок, что бумага, сердцевина – рыхлятина самая... Плюнешь на него и прочь пойдешь, потому по нашему промыслу это яман дело выходит.

– Что же это ноне леса на пахотной земле не растут?

– Ноне... А тебе бы в год надо либо в два? Тут десятками лет молодятник подымается... Ему надо крепу дать. Пусть выстоит, нальется да закаменеет комлем.

– Дашь ты ему окрепу! Нет, ты схватил вон подряд да живым манером и свалил в молодятник. Верь ему, – обратился ко мне оппонент лесопромышленника, – ему что! Он на всё зарится. Тут у одного помещика такая ли дуброва стояла – дедовская, рощена да выхолена не по-нынешнему. Что ж бы ты думал: он к этому помещику в Питер послал, а с управляющим снюхался. Весь-де ваш лес палом сгубило. Божеское наказание! Одни-де обгорелые пни остались. Тот продал ему, не глядя, эти пни-то за бесценом, а он, поди, десять тысяч плотов кондового бревна из этих пней выгнал. Вон тот тебе про башкирские леса говорил, что они стоят еще. А как стоят, знаешь ли! Все уже проданы. Бирский купец такой есть – Уткин прозывается – он у башкирских старшин пятьдесят тысяч десятин крепколесья купил по пятиалтынному за десятину. Как перед Богом говорю.

– У каких это старшин?

– А башкиры их ханами зовут. Так у ханов. Да в вечное владение купил леса, с землею, по сплавной реке, по Белой.

– Да что ж они цен на леса не знают?

– Башкиры-то? Башкиры народ смиренный, робкий. Будем говорить прямо – глупый народ. Он всего послушает. А Уткин им такую канитель развел, что ты бы и даром рад лес отдать. Он им что ввернул: у кого, говорит, земли много, с того и солдат много возьмут! Дал он им пустыки самые и сейчас же заложил Савостьянову всю эту округу за шестьдесят тысяч рублей, а потом в саратовском банке за него сто двадцать тысяч рублей взял. Вот оно у нас как дела-то делаются. Чудесно! Только крест с себя сними и капитал ухватишь. Так за своих ханов пять сел башкирских леса и потеряли.

– По ихней дурости с них и рвут.

– Потом опомнились, да уж поздно. Ничего не поделаешь.

– К адвокатам бы обратились.

– Есть у нас это племя, как ему не быть; только знаешь, как мы называем его, адвоката-то? Змием ползущим! Тут, брат, простому человеку заступы нет. Всякий норовит сорвать с него что можно.

Темная ночь кругом. Внизу плещется Кама, а воды не видать совсем. Пароход у самого берега пробирался. Вон массы какие-то. Не то горбины глинистых холмов, не то избы.

– Что это?

– Село. Рыбачат тут. Этим только и живут. Ловы здесь больше ночные. Так до Елабуги вплоть пойдет.

– Где же они ловят?

– А на огонь гляньте-ка туда.

За деревней по берегу мелькало много огоньков. Когда пароход подбежал к ним, оказалось, что на песчаной отмели на шестах рогожные шалаши устроены. Перед ними костры горят, выхватывая из окружающей тьмы толпы рыболовов. Тут и бабье было. Песни слышались, только странно как-то – взвизгнет песня и замрет. Точно от боли кричат. На палтухах в два ряда снасти развешаны. Картина полна оживления, по крайней мере, здесь, среди мертвых берегов.



Потом мы пригляделись к этому. Толпы рыбаков поминутно встречались и направо, и налево. Замелькают огоньки, подойдем ближе – костры оказываются и та же шумная толпа около. У берега разбитые барки с железом. Обмелели, видимо. Иная барка вверх кокорами, точно палое и оглоданное волками животное, подставляющее вам только свои голые ребра. Не глядя на ночь, вокруг таких барок возятся и ершат лодки, точно воронье, не удастся ли и еще поклевать чего. Вон огонек посереде реки. Там барка обмелела тоже. Кругом кипит работа, разгружают железо.

А сверху и внизу тьма.

Тише идет пароход. Сырая мгла со всех сторон расплзается, даже дышать трудно.

## VII. За Елабугой

Охваченная зелеными понижами, утром Елабуга так и вырезалась на голубом фоне безоблачного неба белыми силуэтами своих церквей. Точно вся она вытянулась в одну линию. Берег здесь очень похож на Волжский. Так же горист и красив. Около какие-то развалины: толстая каменная кладка образует что-то вроде арки с деревянными связями. Сложено всё из громадных камней. Пахнет татарщиной, совсем не русского типа стройка.

– Что это?

– А Чёртово городище.

– Рассказывают про него что?

– Народ разное толкует. Место слепое, чего тут!

– Черт, вишь, у попа дочь сватал; поп ему и задал задачу: выстрой мне за ночь церковь. Собрал черт своих чертенят и давай работать; только было кончили – петух и запой, стройка вся и рассыпалась, камнем о берег легла. Это тебе одно, а вот и другое: стояла тут крепость, жили в ней люди разбойные, только и они своего закона держались. Заплатил ты им деньги – честь-честью проводят тебя по реке, ведь тут быстрина, лукоморья здесь. Ну а не заплатил – наведут барку на такое место, что ее и опружит. Тут груз какой – ограбят, купца либо приказчика – в воду, осетрам на корм, а народ рабочий – на берег и на все четыре стороны вольной волей. Честь-честью...

В Елабуге на пароход привалила целая толпа судорабочих. Здесь они оставили барки и должны были возвратиться по домам. Что за измученные люди! Синие подтеки на лицах, осунувшиеся жилистые шеи, бороды клочками разбросало во все стороны, дышат с натугой, видимо усталость одолела, да и бескормица, не глядя на хозяйский харч, обнедужила их. Пешком бы назад пошли – новое горе, торопиться надо: полевая работа не ждет, а тут еще и приказчики хозяйские расчет задержали. К нам по сходням шли они, понурясь, с натугой, переступая с ноги на ногу, хотя точно так же они могут десятки верст обломать в один день.

– Эк навалило! – поморщился капитан.

– Вам же лучше: пассажиров больше.

– Какие это пассажиры! Посмотрите-ка, какая сейчас торговля пойдет. И действительно, судорабочие навалились на помощника капитана. За весь конец до Перми следовало взять по рублю, но пароходы для бурлаков делают исключение и пускают их гораздо дешевле.

– Возьми по двугривенному! – убеждали судорабочие.

Помощник упирался на сорока копейках.

– Колчинские пароходы дешевле берут.

– Вы и ждите колчинских!..

– Нечем нам платить-то... Достатки наши ведомы.

– А это уж ваше дело.

Обе стороны измором донимали одна другую, пока не состоялось соглашение везти за тридцать копеек с человека, с тем, чтобы пассажиры эти работали на погрузке дров на пароход.

– Смотрите же, чтоб спора не было... Работать как следует...

– Мы привычны. Будь спокоен...

Как заняли места, так и легли вповалку, плотно один к другому. Толпа большая, а примостилась так, что места мало заняла. Кошели под голову – и спустя минуту вся эта натруженная толпа спала уже, и спала вплоть до Пьяного Бора. Спала под солнцем, обжигавшим лица и открытые груди. Иной и повертывался даже к солнцу. Пот так и прошибает, лбы мокрые, волосы космами пристали, тут же и от трубы парохода жаром прихватывает, а бурлаки и шевельнутся редко.

Около Елабуги хлебопашное село Бетьки. И большое ведь, и богатое, а постройки – точно гнилье какое по берегу рассыпано. И везде так. Промысловый починок – избы на славу из коренного лесу, улицы чистые, народ крепкий – богатство, а только на хлебопашца наткнешься, будь хоть египетские урожаи, всё равно: жалкие избы сбиты в кучу, навозом пахнет, кровли подгнили, точно лишаем покрытие их, у воды черные торчат, какие-то развалившиеся постройки в самую реку вдвинулись.

Наверху татары спокойно совершали свои утренние молитвы. Всё это время матросы старались и не ходить близко, чтобы не мешать им. Совсем не то, что мне приходилось видеть на пароходах русского общества по Черному морю, где целая ватага пассажиров и служащих бесцеремонно острословила над молящимися горцами. Население здесь чрезвычайно терпимо. Религия не вызывает розни. Народ гораздо развитее, чем где-либо в ином месте. Вообще, так по всему горнозаводскому Уралу и по Каме. Тут наткнетесь на такие типы нравственно красивых, умных крестьян, что руками разведешь да, вспомнив наши порядки, воскликнешь: «Откуда нам сие!». Татары, когда мы дошли до Чёртова городища, обратились лицом к нему.

– Они почитают это место... По ихнему тут святой татарский жил.

Еще, следовательно, третье толкование. Вообще, начиная от Елабуги и выше, что ни место – то былина. Предания за преданиями, и в них уже слышится имя Ермака. Вот, например, деревня Подмонастырье. Оказывается, что на горе когда-то обитель стояла. Кама здесь шалит. Течение ее загромождено крупными камнями, кстати же, она излучину делает, так что

кипень здесь и для парохода не совсем безопасная, не говоря уже о барках, которые разбивались тут десятками, если не приставали несколько выше к берегу и не молились в монастыре. Народ толковал, что в самой излучине черт сидит, которому дана власть разбивать барки, не пристававшие к монастырю.

– Только Ермак этого черта и ограничил. Он с одного инок крест взял и бросился в самую излучину к черту. Схватились они там – поднялись. Кама выше берега, вскипела вся. Надел Ермак Тимофеевич крест на черта, и сгинул он с той поры совсем!.. Оттого и монастыря не стало, потому приставать к берегу не требовалось, монахи обеднели и разошлись кто куда.

Тут к нам на пароход пьяного купца принесло.

Скуластый, узкоглазый, штаны в голенища. На самой пристани он съездил по уху своего приказчика, причем тот как-то особенно ловко на отлет размахнулся фуражкой и приложился к хозяйской руке. На пароходе купец по первому разу шум поднял. Пристал к одному юному офицеру...

– Кабы за деньги да генералом можно было быть, так я бы давно в эполетах щеголял... Дело не мудрое... Только еройственный голос имей. А ты хотя и офицер, а рыла от меня не вороти, ты поглянь-ко, что у меня за голенищем складено...

– Полегче, купец, полегче, – стал унимать капитан.

– Это ты кому? Мне?

– Вам.

– Мне, ах ты подлец! Иди-ка в трубу с машинистом разговаривай. Да не суйся, коли твою ничтожества не замечают. Ты как думаешь, ты разозли меня, так ведь я что. Возьму я у Ефимыча этот пароход, да и прогоню тебя в три шеи, только и всего. Капиталов нам, славу Богу, хватит.

И капитан уходит прочь, видимо теряясь перед неотразимой логикой купецкого могущества.

А по течению то и дело встречаются разбитые коломенки. Вон указывают место, где одиннадцать коломенок с железом и казенными ядрами утонуло. Только вода над ними немного вскипает, а то бы и не заметить их вовсе. Оказывается, что была непогода, раскачало их ветром, разметало бортовую обшивку и образовались течи. А там – прямо на дно. Где на берегу балаган стоит, там супротив непременно на дне барка застряла, а таких балаганов много. В одну только бурю, продолжавшуюся два дня, с четвертого по шестое мая, между Елабугой и Лаишевым шестьдесят два судна разбило.

– Это еще что! Противу летошнего в Каме вода больше держит. Мы паузились летось здесь на аршине и двух вершках, а теперь на двух аршинах!..

– И ничего ты-то мне сделать не можешь! – слышится негодующий голос пьяного купца. – Ты глянь-ка, что у меня за голенищем складено, да тогда со мной и разговаривай!

**VIII. Челны и Пьяный Бор. –  
Крестьянский враг. – Удел. –  
Прикамские пустыни. – Река Ик и иковцы. –  
Предание о Ермаке**

Пароход лениво ползет по Каме. Жаркий летний день томит до того, что даже лоцман у рулевого колеса жмурится и зеваает. На палубе старик-мещанин из Елабуги в большом зеленом картузе, с громадным козырем в виде навеса, рассказывает уже десятую сказку про Ермака Тимофеевича. Я словно сквозь сон слышу:

– И повелел Ермак Тимофеевич татарскую царевну поставить пред свои ясны очи... Сейчас атаман, Иван Гвоздь, в бранные доспехи снаряжался, брал меч свой булатный, что всей ли татарве корноухой грозен был...

Старик словно во сне, через силу доканчивает свою сказку. Не говорит, а будто каплет. Я тоже сквозь сон его слушаю. Сморило совсем. А река медленно струится по сторонам; еще медленнее сменяются по берегам щедро облитые солнечным светом жидковатые рощи, кое-как поднявшиеся на месте вековых порубленных боров, как хилое и золотушное поколение детей, сменившее когда-то сильных, рослых и здоровых отцов. Наконец, сквозь тяжелый полдневный сон слышу я свисток... Колеса шибче заработали, пароход стало встряхивать...

– Сейчас богатая пристань будет. Челны!.. Вы, кажется, любопытствуете? Смотрю, тот же старик с зеленым картузом будит меня.

– Тут страсть что хлеба сплавляют.. Ишь – сколь барок посажено...

Действительно, берега сплошь унизаны свежими барками. Далеко пахнет сосною. Под солнцем даже их в пот ударило – янтарная смола проступает сквозь барочную обшивку; на барках никого: точно сонное царство какое-то. На самом берегу правильные ряды хлебных сараев. Из-за них едва-едва мерещатся кровли и ярко горят на солнце золоченые главы церквей.

– Сюда со всей округи купец идет – хлеб закупать. Есть такие, что по триста тысяч кулей сплавляют, вот так! Тутешний купец, будем так говорить, левиафан-рыба промежду других. У него за голенищей столь складено много, столь много... Только одного в них нет – по человечеству не понимают.

– Как это?

– Придут крестьяне, которые должны ему – он зимою задатки задает, чтобы по малой цене хлеб взять. У мужика, известно, зимой нужда лютая... Ну а к лету, бывает, цены в гору идут. За рубль порядился, а цена три. Сойдутся мужики к нему, к левиафану-то, и давай молить его... А он сидит у окошечка, чай пьет, и точно никого перед ним... Молчит да вздыхает. Видал я раз, как мужики наши по этому самому случаю плакали. Стоят сердешные, седые которые, и, что ребята, ревом режут: помилуй, Степан Ефимыч. А Степан Ефимыч стакашек за стакашком холостит себе знай и ухом не ведет. Вот они какие. Ноне на жида всё валят; я тебе скажу одно: с жидом куда вольготнее, чем с нашим православным купцом.

Отсюда все грузы идут к Рыбинску. Как мужики-хлебопашцы, точно так же и бурлаки вовсе не имеют повода радоваться своим нищенским заработкам. На барках поставленные купцами приказчики дерут такие цены за харчи, что вятские и пермские судоходы денег никогда не увидят; поэтому, случается, перенаймет их где-нибудь другой левиафан, они бросают хозяйские суда посреди реки на произвол судьбы, пока хозяин, в свою очередь, не перехватит со следующего каравана.

– Мы, родимый, тутотка грабежом живем, – пояснили мне в Челнах.

– У нас, будем так говорить, без грабежа нельзя, потому нас и в хвост, и в голову. Оглядишься – ну и сам давай за такое ж рукомесло...

На отмелем побережье сложены «уточками», как выражаются здесь, т. е. углами вверх, полешко к полешку, выловленные из реки дрова: сушатся на солнце. Часто плоты с ними разбиваются – местные рыболовы и пользуются. Как хозяина не найдется – себе на пользу. «Эта рыбка у нас в лесах растет, – смеются они. – Эта рыбка у нас в чести, ни потрошить ее, ни солить, хоша год пролежит тебе, не попортится. Ну и покупатель на нее ласковый, согласный».

Около Челнов большой затон, где зимует множество судов и камские пароходы с баржами. В этот затон заходит крупная рыба, а раз случилось даже и чудо, созданное верно кем-то из местных остряков.

– Как бы ты думал, – рассказывал мне тот же склонный к баснословию старик в зеленом картузе, – белугу раз в Челнах поймали... Совсем князь-рыба; билась, билась, наконец-таки одолели, вытащили. Потрошить давай, взрезали утробу, а в утробе-то, Господи милостивый, человек, и совсем как есть целый... Проглотила она его, как был в красной рубахе да плисовых шароварах, так в них и остался. И сапоги целые!

– Рантовые? – заинтересовался рыбак около.

– А уж этого, друг ты мой, не знаю.

Челны совсем городком смотрят. Постройки на широкую ногу; дома деревянные и каменные в два этажа построены; улицы прямые, широкие. Сарай тоже чудесные – просторные; видимо, выводили, не жалея камня и дерева. Самые лучшие амбары и лабазы у удела. Удел их отдает в наймы под хлеб, сам же ими вовсе не торгует. Камень для домов и сараев вырабатывается из местных плитных ломок тоже уделом.

– Этот удел шибко нас опружил! Куда ни сунемся – везде он. Камень – его, лес его, земля его, только вода наша, да и то пароходы, которые распугали рыбу-то. Рыбка Божья – она шуму не любит, тихих пристанищ ищет. Где люди хитры, там и рыбка по ним тоже хитрая стала. Ты вот про удел поспрошай-ка в Пьяном Бору, там тебе скажут. Ничего нет у крестьян: всё ему на потребу пошло. Брюхо у него несытое, сколько туда ни вали – еще место будет. А что удел упустил, то купец сожрет. Тут, надясь, какое дело было. Комаров, промышленник такой у нас, в удельных лесах порубил дрова, с согласу чиновника, а время было пьяное, народ с праздника еще не очухался. Комаров выставил вина – мужики к нему что мухи налипли. Он и подговорил их принять на себя эти дрова-то; те по простоте-то и прими. Теперь с крестьян взыскивают пять тысяч. Избы, скот продаются, а им-то, мужикам, есть нечего, пить нечего.

Пьяный Бор обдержался весь. Ничего нет. Скотины выгнать некуда: всё кругом удельное. Выйдет коровенка травы пощипать – пятьдесят, шестьдесят копеек штрафу, да заморят еще хозяина по мытарствам разным. Видя, что пяти тысяч с пьяноборских крестьян никак не взыскать, хоть и остальные клетки продай, удельный чиновник придумал такую штуку. С двух сторожей следует штрафу тысячу шестьсот рублей. У них ничего, ни кола ни двора, и взыскание потому совсем безнадежно.

– Вот, братцы-мужички, возьмите на себя за них за двух поруку, тогда я на год вам эти пять тысяч отсрочу.

Таким образом оказывается, что за год на пять тысяч рублей уделу угодно получить тысячу шестьсот рублей процентов. Это даже и жидам-закладчикам казалось бы зазорно. И подобных фактов не один. Приведенный только наудачу выхвачен из целой массы других, таких же.

– У нас удел забрал всю землю, осталась одна гористая, овраги. На наших овражках – ни лесинки. Прежде своя земля была, купленная... Луга были – лугов нет.

– Куда-ж делась?

– А ее удел защищал от башкирцев, ну и перевел на себя.

– Да как же это?

Как ни объяснял мужик – видимо, человек темный, чувствует обиду, знает, что ограблен, а как, на основании каких статей, – ему неизвестно. В продолжение одного лета на коровах удел собирает от шестисот рублей штрафов. Ему это даже выгоднее, чем отдавать луга в кортому. Бьют со всех сторон. Вез татарин через удельный лес дрова, вырубленные законно, с согласия владельца в дальнем татарском лесу. Удельный сторож захватил его: у нас-де порубил. Давай стрелять – ранил татарина. Дело объяснилось в пользу последнего; что же вы думаете – явился этот стрелок на скамью подсудимых? Ничуть не бывало, его только перевели сторожем в другой участок. Тем дело и кончилось. Вообще всюду по Каме, где удел, крестьяне бедствуют страшно. В бывших помещичьих имениях крестьяне живут теперь хорошо, оправались, в удельных – деваться некуда от прижимки. Когда хотели открыть здесь ссудную кассу – крестьяне воспротивились. Все стали объяснять: ваша же выгода, к кулакам за деньгами не пойдете...

– Так-то так, а только и ее удел опишет.

До того здесь всё напугано уделом. Жадничает он, действительно, сверх меры. Протекает через Пьяный Бор речка Пешорка, извилистая и живописная. Удел забрал по ней несколько площадок побойчее и застроил кабачками. Хотели было крестьяне свой общественный кабак открыть – нельзя: удельные есть. Площадь около пьяноборской церкви большая, тут и базары воскресные, и ярмарки праздничные. Место ходкое, удел нацеливался, нацеливался, да и оттягал ее.

– Из-под самых глаз! – хлопают себя руками пьяноборцы.

Несчастных не сосет только ленивый. Сколько паразитов налипло на них – не счесть. В Елабужском уезде, в Пьяноборской, Чекалдинской, Салаушкинской волостях кулаки зимою задают за хлеб по двадцать копеек за пуд. Летом цена случалась до семи гривен, а то и до рубля доходила, ниже сорока



копеек не падала всё равно. Попы здешние тоже своего не теряют. Один из них, чекалдинский, чтобы больше свадеб было, распустил слух о намерении правительства брать в солдаты девок. Темный народ струсил и давай окручивать дочерей за кого попало. Браков было – бездна. Он же стал молебны служить в долг крестьянам. Год-два продолжал эту операцию и, когда за крестьянами насчитал несколько тысяч – к мировому посреднику. Через этого Соломона праведного и взыскания произвел с надлежащими процентами, продав крестьянское имущество с публичного торга.

– Уж такая забираха был! – вспоминают чекалдинцы своего жадного пастыря.

– Теперь удел до наших ловов добирается!

А около Пьяного Бора ловы, действительно, могут быть чудесные. Против самого села в озерах попадаются сомы пудов до пяти. Повыше, против ключей, есть островок. Пошли туда черемисы дрова рубить. Слышат какой-то шум около. Точно что-то громадное бьется в воде. Побежали – и действительно чудище какое-то обсохло на мелкоречье, ворочается, мутину вокруг такую подымает, что и не разобрать. Черемисы думали черт и струсили. Бегом домой. Пришли русские – оказалась в ложбине колоссальная белуга, пудов в пятьдесят.

– Отчего имя такое дали – Пьяный Бор?

– А по всей нашей округе пьяная земляника растет<sup>3</sup>.

Действительно, от местной земляники чувствуется легкое опьянение, кружится голова, клонит ко сну.

Леса отсюда опять пошли. По обеим сторонам Камы – дрема беспросветная. Сама река среди них кажется необыкновенно пустынною. Из круглых зеленых облаков молодой и веселой липы стройно выскакивают верхушки елей и правильные красивые пихты, так напоминающие южные кипарисы. Ими горы покрыты точно острыми шпильями. Удивительно эффектны они в золотистом блеске летнего солнца, резко выделяясь темными силуэтами из зеленого царства кудрявых лесов, лениво спящих в зное и свете по скатам и крутогорьям. Кама суживается здесь, но вода струится еще тише и медленнее, точно она поддалась поэтической дреме обступивших ее зеленых вершин. Всё это место, красивое, сочное, лесистое, называется Тихими горами. Солнечный свет, кажется, постоянно зыблется в этих горах, тихих потому, что здесь ни сильного ветра, ни штормов не слышали. Караваны барок отдыхают среди этого задумчивого приволья. Штормы начнутся опять в Пьяном Боре, где горы отходят назад, открывая лениво текущую реку на жертву северо-восточному ветру.

– Тут чаща такая – не пройти. Липняк, орешник, мелкий дубок переплелись. Солнцу сквозь не пробиться; там в сырых низинах грибу раздолье, высоко подымается. Черви кишат, змеи даже водятся. По Каме змеи здоровые. Иная с руку. Есть по чернолесью поселки, народ совсем темный живет. Точно и до него солнце пробиться не может. Шибко пьют у нас. Вина сколько хочешь.

<sup>3</sup> Пьяный Бор, о котором рассказываю я, в Вятской; есть еще Пьяный Бор в Уфимской губернии.

В одном Сарапуле четыре да в его уезде с Елабужским вместе шестнадцать винокурень. Большие деньги обирают. Наши крестьяне сами было хотели обществом держать завод, всё бы доходу больше было – писаря помешали. Вопче, милый ты мой, одно тебе скажу: по всей нашей округе писарь самая первая язва. Вон, видишь, Салауши – татарская деревня.

– Вижу, – и я стал всматриваться в чистенькие избы, словно дождем обмытые, на некрутом берегу.

– Там народ живет хорошо. Главная причина – питейного дома к себе не пускают. Хотели было силой, писарь верховодил, мирового улещал, чтобы кабак к ним, татарам, посадить непременно, ну, бунт вышел. Сказывают, двух мухаметов в Сибирь сослали, а кабака всё ж у них и посель нет.

Село Тихие Горы Ушковым живет. Ушков поставил здесь химические заводы для обработки купороса и купоросного масла. Серный колчак для этого добывается вдали, в Гороблагодатском округе, по реке Салде, и сплавляется в Каму по Чусовой. Количество такого сплава в иной год доходит до 860 000 пудов. Сами заводы на вид неказисты, а между тем дело в них делается большое, миллионное. Само село Тихие Горы видно еще издали. Река там делает излучину, и над нею, где берега совсем сходятся, точно в воздухе, оно со своею белою церковью.

Народу живется здесь плохо. В самое лучшее время больше пятнадцати рублей в месяц семья не заработает; кругом места людные и цены на заводе постоянно сбиваются пришлым голодным людом. За Тихими Горами Кама ширится. Берега точно засыпаны селами. У самой воды – русские, подалее отойдя, среди лугов, мерещатся татарские и башкирские. Деревянные мечети под косыми лучами солнца точно загораются.

– Башкирам беда теперь! Солдат нужно натурой ставить. Давно это было, у татар и у башкир разная солдатчина оказывалась. Башкиры заместо нее лошманили<sup>4</sup>. Лиственницу из Перми, из-за Урала сплавляли сюда. Теперь под серую шапку должны. И солдаты же из них выходят! Порошенка уронят... Жидкий народ, еще наших тошней.

По всем здешним местам чудесные охоты: охотья по всему берегу. Сын пароходовладельца Сироткина, повыше Балахны, в восьми верстах, не раз бивал лосей. Медведей по здешнему чернолесью тоже сколько хочешь. У вотяков даже есть очень остроумный способ заставлять медведей самих избивать себя. На ульях устраивают род качелей – самобитка. Сверху висит тяжелая чурка, она мешает медведю добраться до лакомого меда. Он ее лапою – она раскачивается и по морде мишку. Тот ее опять лапою – она его снова в лоб. Медведь чем больше злится, тем сильнее бьет, и тем сильнее дует его чурка. Наконец, царь вотяцких лесов окончательно стерженеет, теряет всякое соображение и ведет с чуркою смертельный бой. В результате – ничем не попорченный мех и спасенный от лохматого лакомки улей.

Есть счастливые места, где вотяки таким способом добывают по несколько зверей в лето.

<sup>4</sup> Лошмань – доставка леса сплавом. Слово удержалось до сих пор.

– Дерево – дерево, а такого зверя перевозить может! – изумился старик-елабужец, вместе со мною слушавший рассказ о злосчастных медведях прикамских лесов.

Невдалеке от устья реки Ик Кама стала совсем красавицей. Гряды береговых гор одна за другой вступают в реку крутыми откосами, то серые и песчаные, то зеленые от перекрывавшего их леса. Позади за ними смутно рисуются другие, еще дальше мерещатся едва-едва, словно туман, лежащий на воде, третьи. Кое-где на самых горбах стоят церкви. Часто далекий выступ маревом чудится, а из этого марева ярко сверкает золотистая искорка. Подплываем ближе, искорка разгорается в золотой купол, купол разрастается в целую церковь. Тут народ живет богато. Иковцы своею предприимчивостью славятся на округу. Они торгуют лесом, заготавливая его в казенных дачах, сеют много хлеба, умеют избегать кулаков-скупщиков. Большинство богатых елабужских купцов из приустыинских икских крестьян вышли. Всё это народ пошире остальных. Умеют наживать, умеют и тратить. Так, например, Стахеев пожертвовал 200 000 рублей на устройство реального училища, выстроил десять церквей на Афоне и еще более воздвигнул храмов по Вятской губернии. Иковец встретится на всяком базаре, даже на Волге. Иковцы заезжают с товарами и в отдаленную Сибирь. Им вообще не сидится на месте. Дома и жёны их тут, а сами хозяева – ищи вчерашнего ветра. Раз в год явятся, сходят в церковь, попарятся в бане, отдохнут дня два-три и опять, смотришь, уж снимаются с якоря.

Бродяга-иковец даже мало прилежит к своему селу. Архангельский крестьянин, уходящий на долгие отхожие промыслы, весь свой заработок убивает на то, чтобы дома вывести свою избу попросторнее да повыше, яруса в два с мезонином, украсить ее зеркалами, немецкой мебелью, картинами почуднее. Иковцу всё равно. Как отец и дед его жили, так и новое поколение живет. Лучше хоронить деньги, и он бережет их пуще глаза. Поэтому в их селах хороших построек вовсе нет. Бабе и так хорошо, а мужу всё равно – редко домой попадает. Когда наш пароход, пыхтя и выбрасывая тяжелые клубы черного дыма, проходил мимо, иковские бабы и девки с гребня поспешно сбегали вниз к пристани. Ветер во все стороны разбрасывал яркие полотнища их пестрых сарафанов, на солнце кумач горел как пламя, веселая песня не совсем скромного содержания неслась нам навстречу.

– Ну и бабы! – с видимым удовольствием вздыхает сосед.

– Здесь баба дорогая! Двух мужиков ограбить может. Силы в ней сколько хочешь. Со здешней бабой без ласки нельзя – обидит.

– Нет бабы лучше, как на Ике... Ходовые! С баркой управиться могут, глубже ее плугом земли не взроешь. Ты как думал? Иковская баба есть, Матрена, с ружьем на медведя ходит, такого ипостасного зверя бьет!.. Вот они какие тут!

Жаль было, что пароход уходил так быстро. Казалось весьма интересным взглянуть в быт этой своеобразной бабской республики; но времени не хватало: целью поездки был Урал. Каме поневоле приходилось отдавать очень

мало. За Иком поднимались по берегу глиняные горы. Я не сходил с палубы, любуясь эффектами яркой зелени дубняка на красном и коричневом фоне растрескавшейся и расщелившейся глины... Совсем не видать иной почвы. Кажется, что корни уходят прямо в глину. Невольно воображение рисует другие картины далекой страны, где горячее южное солнце спалило землю и цепкие корни редкой поросли глубоко пробираются в недра пустыни, жадно высасывая оттуда скудную влагу. Материнская грудь кормилицы-земли исчахла там под знойными лобзаниями безоблачного неба... Здесь оно, слава Богу, не так горячо. Вот дождевая тучка стороной идет, обливая жаждущие влаги луга обильным дождем. Опять Кама сузилась, вновь начинаются сочные, красивые места. Вот устье реки Ижа, против такого же устья Ика. На верховьях Ижа – знаменитые заводы, верст за двести отсюда. Мы плывем мимо татарских, башкирских и русских деревень. И странное дело, оказывается, что русские здесь были очень церемонными завоевателями и колонизаторами. Они заняли под свои поселки худшие места. На лучших сидят башкиры, на средних – татары, на самых неспособных – русские построились. Чуть лужайка поярче – татарское или башкирское сельбище, русь гнездится на глинистых горах. Разумеется, устья – места, подходящие для сплава, – у нас. Сюда татарин и не ходит, совсем не его дело, не умеет он пользоваться этим. По Ижу, например, весной ходят барки, беляны, летом плоты бегут, но ни на тех, ни на других, ни на третьих нет чужой молвы, нет бусурманского облика. Скуластая и узкоглазая татарва только с берега любит на кипучую деятельность христиан и не завидует ей, хорошо зная, что русский бурлак не свое гонит, а хозяйское, не на своем плавает, а на хозяйском. Не завидует татарин потому, что он лучше ест и лучше живет, чем наши вятчане и пермяки. Тут купцы татарские есть. И нужно сказать правду: они к своим гораздо лучше относятся, чем русские к нашим. Все эти Бикмаевы, Юнусовы, Тевтелевы вовсе не пользуются дурной славой, а последний даже избран муфтием в Уфе. В противоположность Ижу – Ик река совсем пустынна. Предприимчивые иковцы работают на чужой воде; по Ику, несмотря на его доступность маленьким пароходам, не гонять даже сплавных судов весной. Изредка только из притока Ика, Мензелинки, выползет жалкая лодчонка, пощупает неводом воду – и спешит назад. Белицкие едва могли поставить на Ике мельницу: так сильно течение, так глубоко, что запруды здесь трудны и зачастую их сносит прочь.

– Омутистая река наша – сколько в ней нечисти! – говорят иковцы. – Сказывают, есть такие места, которые Ермаком заклеты. Туда он свои клады хоронил. И понон пойдет кто туда купаться, его нечисть эта самая за ноги на дно тянет. Не осилишь, Господа забудешь помянуть – и не видать тебе света божьего! Тут-то над Иком, если по ночам прислушаться, в воде разный язык слышен, словно из одного омута в другой перекликаются... Страх возьмет!...

– Откуда же в Ику попал Ермак?

– Тимофеевич-то! Слава Богу! Ему ежели не попасть, так кому же! Он здесь от царских приставов долго хоронился. Но только и ему поперек горла подошло. Устье-то воевода как-то занял и давай вверх на него тучей надви-

гаться. В берега не уйдешь, ишь крутоярье какое!.. Ничего тут не поделаешь!.. Думал сначала Ермак бой принять, а силы у него не хватило... Выплыл он с лодкой своей посередь реки и взял с собой только одну любимую царевну татарскую Алмаз.

– Как?

– Алмаз царевна прозывалась. Выплыл это он и крикнул: ах ты гой еси, река Ик могучая, кланяюсь я тебе всем добром моим: серебром, золотом, камнем самоцветным, товаром дорогим... И побросал в реку всю казну свою. Замутилась река, приняла Ермаково добро... Тогда он взял меч свой булатный, напоследок царевну Алмаз поцеловал в уста сахарные, да как полоснет – так на смерть прямо... Взял он это ее, голубушку, и в воду!.. Бултых!.. Опосля он давай молить реку Ик, чтобы вызволила его из лихой беды, спасла от конца неминуемого. Ну река Ик богатыря послушала... Не успел он еще в свое становье вернуться, как поднялась непогода, взбушевал Ик и потопил царские суда с приставами и московскою дружиною! С той самой поры Ик и помутнела... Омутами ее всю затянуло, потому что она в этих омутах казну Ермакову хранит.

Меня поразило сходство этого предания с волжской легендой о том, как Стенька Разин подарил Волге-матушке персидскую царевну. Когда я записывал это, между моими соседями спор поднялся.

– А знаешь ли ты, кому Ик-река свои клады отдаст?

– Кому?.. Никому не отдаст... Что ей отдавать...

– Ан отдаст!

– Ан нет!.. Скажи, если знаешь!

– Старцу отдаст, который по старой вере живет... Святой старец такой объявится. Когда перестанут старую веру гнать и по всей Москве будет нашим вольно молиться и в свои била звонить, тогда придет сюда старец благочестивого жития и станет здесь большой скит на Ик-реке ставить. Построит кельи, амбары всякие, пристани, а на храм Божий казны у него не хватит. Ну он тогда возьмет лодку, выедет посередь реки, как Ермак, и взмолится Ику, чтобы тот ему свою казну схороненную отдал. Река и отдаст казну. И станут в месте этом и день и ночь панафидки по Ермаку служить и по татарской царевне Алмаз, убиенной Тимофеичем, молиться... И воздвигнется тут храм, и будет ему всякая слава и честь и великолепие!..

– Скоро это?..

– Скоро, скоро!.. Будет у нас царь такой, который немца изгонит и свою старорусскую, исконную, кондовую веру вспомянет... Иргизских старцев на Москву созовут, тогда станут они вкуче и в любви с митрополитами стадо свое пасти!..

## IX. Прикамская пустыня. – Устье Белой. – Опять Ермак. – Каракулино. – Один из Кулибиных

Удивительно пустынные места пошли по Каме. Воображение невольно переносит в те времена, когда удалые шайки понизовой и иной вольницы хозяйничали здесь и на Волге, ратуя грабежом и разбоем против московской воеводчины и приказной регламентации. В некоторых пунктах не видать берега под сплошными юрковьями гусей, лебедей, уток и всякой дичи, обретшей здесь себе нерушимые убежища.

– Вы не охотник! – отчаивался один из пассажиров, когда пароход наш плыл мимо этой пустыни.

– Нет.

– Я и говорю! Что вы понять можете! Знаете, вот за то, чтобы пристать сюда да пострелять маленько, чего бы я ни дал... Сюртук бы с себя долой! Я прежде, знаете, помещиком был, на псов разорился. И не скорблю. Жив Бог, жива душа моя! Потому это не то, что Ижеесишенские да Синепуповы – наши наследники по именьям. Те благородства не понимают, те вот на псов не разорятся. Им какой пес нужен? Им – для лаю; потому ежели у него такого пса нет, так он сам всю ночь округ дома будет бегать и лаять. А у меня пес был особый. Мой пес иной – умнее человека был; только он говорить не говорил, а понимать всё мог. Я для охоты что делал? Свои же пашни топтал, вот как! Раз у соседа, князя Максутова, пса заметил. Галилей пес! Какое Галилей! Всякого астронома загнать мог! Я бы посмотрел, как у меня Галилей сделал бы стойку над селезнем, как бы он у меня в болото за уткою поплыл. Зефиром звали. Красота!.. Как посмотрел я на него в первый раз, думаю: мой будет. Знаете, дышу этак, точно в горнице воздуху мало, так бы, кажется, сцарапал его и домой! Ну а Максутов, не будь дурак, уперся. Я ему денег – смеется. Лужок у меня был, нацеливался он на него, говорю: «Хочешь лужок на пса?» – «Нет, брат, – говорит, – моему псу цены нет!» Что делать? Я было туда-сюда – не поддается. Послал я Тимошку – доезжачий у меня был, эдакая, скажу вам, шельма. «Скради! – говорю, – можешь?» – «Отчего нельзя, скрасть всё можно!» И как бы вы думаете, скрал!.. Да на полдороге Максутов его нагнал, вернул, отодрал у себя на конюшне как сидорову козу. И меня пообещался. Через месяц на выборах помирились. Стал я опять приставать – не отдает, подлец! А я его и во сне, пса этого, вижу; с лица даже спал. Вот как! Только зажмурю глаза, так мне этот пес и представляется. Наконец князь будто смягчился. Говорит: «Хочешь менка?» – «Идет!» – «Да ты сначала узнай на кого. Отдай мне Лизу, а я тебе пса». Сначала я ополоумел; думаю, что мне по морде его бить либо за шутку принять? А Лиза, знаете, была у меня в метресках.

Крепостная. Красоты такой, у ваших, у городских, не найти никак. Талия – вот, а бедра в два обхвата! Сама идет – коса за нею ползет. Плечи – припал бы ты к ним и дух вон. Вот она была какая! Нынче таких нет, ах, нет!..

И бывший помещик задумался.



– Только я, знаете, вернулся домой и совсем охладел к ней. Всё, знаете, пес передо мною, Зефир. Как вспомню, какая у него, у подлеца, морда умная, так и почнет меня мутить. Что ж бы вы думали, чуть я не помешался. И вот такое у нас благородство было, ничего для дворянской потехи не жалели. Через недели две еду к Максутову. Черт с тобою, говорю, бери Лизу, давай Зефира! Так и обменял на пса. А теперь я сам в псах!

– Это что же значит?

– А то же, что я сам теперь в Зефирах состою при первой гильдии купце Сивопупове. Куда он меня пошлет, я туда и бегу. Лес купить – лес куплю, артель обсчитать – артель обсчитаю, обмануть кого – обману. И как еще стойку делаю. Лапу вверх и голову назад, к нему, к купцу первой гильдии. Цкни, дескать – жду, готов!.. Скоты мы стали, вот что! – горько закончил он. – Пьете?

– Нет.

– Какой же из вас толк? Водки не пьете и на дичь не любите. А нам без этого нельзя... потому одно отличие от пса, от Зефирки – то, что он водки не может, а мы с удовольствием. А во всем прочем ему, Зефиру, преферанс.

– Что же у вас пес до сих пор?

– Ау! Был да сплыл. Тоска меня по Лизе взяла.

Куда ни сунусь, везде она передо мною. До того шибко загрустил, что пес этот мне противен стал. Думаю: из-за тебя, подлеца. Перестал я его на глаза себе пускать – всё забыть не могу. Наконец, думаю, что ж я за мелкопоместный, ужли ж распорядиться не сумею, с псом не справлюсь? Привел я его на реку, навязал ему большущий камень на шею, поцеловал в морду, да с моста в воду и ухнул. Только его и видел, Зефира-то.

Я помолчал.

– А знаете, псы-то ведь плачут.

– Ну?

– Как я ему камень вязал, так он смотрит мне в глаза жалобно-жалобно, а у самого, у пса-то, слезы так и каплют, так и каплют. И лапою меня по ноге скребет... Эх, подлецы мы, вот что! Теперь мне Сивопупов тоже наденет камень на шею и толкнет в воду. Одно и то же... на Зефиркином положении.

По высокому берегу Камы красные осыпи глины. В них черные зевы пещер, точно чудовищные норы какие-то.

– Тут прежде разбойные люди жили, – поясняет лоцман Терентий, – шибко гуляли по всей округе. Погуляют, погуляют, пошлют за ними полтыщи войсков, разбойные люди в нору – и сидят, хилятся. А потом опять выползут и давай шабаршить.

Особенно красиво устье реки Белой. Еще издали вы слышите крики чаек и видите, как белыми тучами носятся над рекою их бесчисленные стаи. Противуположный берег гребнем поднялся, по гребню лес насупился и думает свою старую, вечную думу. Ширь, простор – направо. Под солнцем лесные понизи горят изумрудным блеском. Прорвали их протоки и рукава, отражая в тихих водах голубое небо, уходя за недвижные боры и опять далеко-далеко сверкая огнистыми зигзагами и тонкими, как острие ножа, щелинками. Вон Белая раскинулась широко и привольно. Заставили ее баржи и плоты, и медленно струит она между ними свои светлые, поэтические воды.

Налево – коренной, каменный берег круто загибается лукою. Над нею, по самой середине, полувоздушная, отделяется от голубого воздуха белая церковь. Около – громадная черная пещера. Тут некогда, по местному поверью, жил змей, от которого не было проезда и прохода. Плыл раз по Каме священник с святыми дарами; змей по воде к нему навстречу. Взмолился старик: «Ужли ж ты, Господи, дашь пречистое тело своего Сына, Христа Иисуса, на поругание чудищу сатанину?» Поднял чашу и в то же мгновение с неба ударила молонья, поразившая змея насмерть. Следы змея показывают в трещинах и расщелинах глинистого берега. Это он ползал тут; теперь по ним бегут горные протоки, гремят они в высоких оврагах и, наконец, взмывляясь белой пеной, врываются в спокойные воды Камы. По другим преданиям, в пещере этой жил Ермак, и она ископана его руками. Защитники последней легенды указывают на правильную четырехугольную форму пещеры. Ермак, видите ли, выбрал этот берег потому, что здесь никто не мог миновать его. С Белой ли кто ползет, по Каме ли плывет, всё одно «скрозь руки» не пройдет. На всяком пути переймут его сторожевые казаки. Пещере этой конца нет, по словам местных жителей. Комната следует там за комнатой, а в самых дальних, на которые зарок положен, спрятаны клады. Действительно, самое разбойничье гнездо здесь. Только одни чайки пересекают воздух мимо его отверстия, да сова, бегущая от Божьего света, спасается туда с рассветом, вплоть до вечерней зари. Вон и деревня Чекалдинская с знаменитым попом, взыскавшим с крестьян свадебные и молебные деньги через мирового посредника; вон и Колесниково. Обе с церквями. Дома этих деревень точно разбежались. Одни схоронились на дно оврагов, другие в лощины спрятались и стоят там точно настоroje – вот-вот выскочат навстречу; третьи на самый припек всползли и горят всеми своими стеклами на солнце, точно внутри пожар и ярко зардевшиеся уголья видны сквозь окна уцелевших чудом стен. Между домами зеленые облака всякой поросли. За излучиною – узина. Берег еще больше изорван щелями, трещинами, оврагами. Вон барка ползет навстречу, вся загруженная плетенками для тарантасов. Люди на ней мошками кажутся. На носу один бурлак разделся совсем, голый блестит на солнце. Рубашкой своей интересуется, во все ее закоулки заглядывает, а порты тут же висят на тычке – сушатся.

- Это наш торговый флаг, – указывает капитан.
- Лучшего, значит, не стоите! – вмешивается пассажир.
- Отчего не стоим?
- Потому вся вам цена и с потрохами вашими грош, да и то в базарный день ежели.
- За что это такая немилость?
- А за то... какие здесь капитаны? Про вас не говорю, вы иная статья, а другие... Естигнеева знаете?
- Ну?
- То-то... где он капитанскому делу научился? Жандармом был, проворовался – в капитаны пошел. Теперь в рупор действует. А нешто он понимает что? Шиляпова тоже встречали?
- Встречал.

– У губернатора поваром был и вдруг такой дух почувствовал, чтобы в капитаны. Масленников...

– Ну о Масленникове бы помолчали!

– Почему?

– Добрейшая душа.

– Это что жена-то его бьет при пассажирах, а он ее в ручку сейчас – чмок? Где он это пароходному делу научился? Городовым был, после волостным писарем. Тоже капитан! Немудрено, что вы топите пароходы, каждый год топите. Кто в Нижнем главноуправляющий на «Самолете»? Коленкин. А кто такой Коленкин? Тот, что на Онежском озере пароход «Царица» утопил. И как только хозяева терпят? Я бы этих хозяев...

– Чего такого? – вмешался сидевший около элеватор. Голенища бутылками, скюртук до пят, рожа крутая, заплывшая. Пот проступил, а он знай себе жмурится на солнце.

– Хозяев, говорю, следовало бы... – замялся оратор.

– Ты расскажи, что следовало бы!.. Я сам хозяин, у меня тоже четыре парохода бегают. Что следовало бы? Кончай!

– Я кончу, не бойсь!

– Кончай, кончай! Послушаем, какая тебе цена.

– За хвост бы следовало...

– За хвост?

– За хвост... за хвост – и на солнце...

– Да, вот ты как... Ишь какая в тебе смелость таперича свирепствует! Ты вот как!.. А я тебе вот что скажу. Поставлю я тебе козла своего шкипарем, и то ты поедешь. С козлом поедешь. И в лучшем виде... Потому ты чем торгуешь?

– Мы... мы беляны строим.

– Чудесно! А я пошлю своего приказчика перемануть твою артель и переману. Сговорю наших купцов, чтобы у тебя белян отнюдь – и остался ты без хлеба.

– Я, Степан Ефимыч... – опешил тот и снял шапку долой.

– Нет, ты стой! Какие твои слова были, ты попомни их! Что ты можешь против хозяев?.. За хвост! Нет, мы еще поглядим, какой у тебя хвост. Ты его закорючишь.

– Я всегда готов, помилуйте! Можно сказать, даже всей душою... А вы не взирайте... потому мы люди маленькие.

– А горло-то против хозяев дерешь? Вот ты теперь передо мною без шапки, а против кого ты пошел?

– Помилуйте! Отчего же промежду публикой и не поговорить.

– Старше тебя сидят – молчат. Ты у Семионова поди кредитуешься?

– Степан Ефимыч, как перед Истинным... – залебезил оратор.

– Ты мне ответ держи! Ты у Семионова кредитуешься?

– Я перед вами, то есть, как свеча горю.

– Нет, какие твои слова были? Кредитуешься?

– Точно что... для ради расчета с рабочими прибегаем...

– Ну так теперь отложи попечение. Я ему скажу, сколь ты непочтителен. Я свояк ему.

– Не погубите!.. – совсем сморился бедняк. Даже в пот его ударило.  
– А, не погубите! Хорошо! Сейчас мы тебе как бы экзамент. С козлом поедешь?

– Я, Степан Ефимыч...

– Ответствуй кратко! Ежели я шкипарем козла своего посажу, поедешь?

– То есть... вот... ежели... – заторопился тот.

– Кратко! Поедешь?

– Поеду.

– С козлом поедешь?

– С козлом-с... – совсем упал духом несчастный.

– И ежели козел тебя по шее, можешь ты что против козла моего?

– Нет, не могу.

– И жалиться не можешь? – томил его хозяин.

– Не смею-с.

– И шапку перед козлом снимешь?

– Сойму-с.

– Ну, будет. Доволен я тобою. Не дури вперед! Хозяин, брат, Богом поставлен. Ты его не моги!.. Кабы по-настоящему, знаешь, как бы тебя следовало? Ну, да уж так и быть! Доволен... Не помню я на тебе зла. Коли понадобится в городе – приходи! Я тобою доволен...

Вдали показались мельницы. Главы четырех церквей загорелись на солнце. Несколько пристаней врезалось в Каму; около них кишмя кишит рабочий люд. Суда привалили и грузятся, другие подтянулись и ждут своей очереди. На берегу громадные штабели кулей с хлебом. Это село Каракулино, одно из самых богатых на Каме.

– Здешние мужики инога купца под себя зажать могут.

– Да, каракулинских капиталов не счесть.

Вообще от устья Белой в каждом логу село. Берега населены густо. Трудовая суета далеко от нас. Тут, где плывем мы, всё веет покоем и тишиной. Жаль сойти с палубы, так красивы дали, так оригинальны картины этих сёл; эти беляны, плывущие мимо лениво и медлительно; эти плоты, как будто застывшие посреди Камы; эти раскинувшиеся на плотях и мирно спящие рабочие. Вон на лодке через Каму плывет поп.

– Это каракулинский поп. Эх, не житье – масленица! – вздохнул елабужец.

– Чему вы это позавидовали?

– Да попу каракулинскому отлично. Народ шибко пьет там.

– Ну? – удивился я. – Что же общего?

– Как что? Где народ пьет, там и попу чудесно. По тридцати, по шестидесяти тысяч прикапливают.

Стал я добиваться – и не мог. Уперся на своем. У пьяниц-де попу воля. Твори, что хочешь, ничему запрету нет.

Село Каракулино по обе стороны залило камские берега своими кровлями. Соломенных крыш нет вовсе. Из общей массы изб то и дело выступают каменные дома и двухэтажные деревянные. За лето отсюда сплавляют вниз по Каме хлеб; зимою в селе большие базары, на которые чуть ли не на весь прикамский край доставляется из Астрахани сухая рыба. На эти же зимние

торжки сюда везут рогожу, кули, лесные изделия. На несколько миллионов продают и покупают каракулинцы, крепко, не то что иковцы, сидящие на своих местах. Каракулинец в отхожий промысел идет неохотно, у него и дома дела пропасть, всего не покончишь. Несколько верст преследовали наш пароход сельские постройки, так далеко раскинулось это городище. Через Каму, с одного берега на другой, переплывали сотни ботничков, т. е. лодчонок, выдолбленных из одного дерева, преимущественно из осины. Концы ботничка загнуты кверху, так что и нос, и корма совершенно одинаковы. Руля нет, правят веслом. В ботничек помещается пять человек, и самый челнок этот на ходу очень быстр. В нем же и рыбу ловят.

– Я думаю, опрокидывается, когда ветер?

– Отчего не опрокинуть. Будь спокоен, опруживает.

– И люди тонут?

– Зачем? Нашего, камского, нарочно не утопишь. Зачем ему тонуть? Он перевернул ботничек и опять в него залез. Ему тонуть нельзя. У нас дети которые и те что рыба в воде; баба тебе версты две проплыть может. У нас, ежели и брюхатая, топи ее – не утонет.

За Каракулиным по Каме пошли липняки. Село Сайгатка мелькнуло. Тут пчеловодством мужики живут. Липы много – и пчёлы роятся. Липы нет – и пчелы нет. Отсюда мед везут в Сарапул. По реке опять дичь пошла. Птица видимо непуганая. Выводок утят за матерью у самого носа парохода проплыл. Раскидало его было волною, бегущею от колеса, да опять собрался и потянулся к пустынному берегу, поближе к Усть-Реке (Вятке). Там лесистые горы стесняют даль, берег делает излучины, запирая реку, точно озеро. На гребне одной горы Галево, внизу хлебная пристань. Над избами покачиваются тонкие стрелы елей. Таких сёл, что вскочили на самый припек на гребне, по Каме мало.

В этом вся разница с Волгою; там любят селиться на стрехе, камские прячутся в лога. Камское село иной раз и незаметно издали. Совсем безлюдье кажется, только по струйкам дыма из оврагов или лощин и заключаешь, что затаился там от всего мира починок, точно он стыдится выбежать вверх и подставить золотому солнцу свои соломенные, тоже под его лучами червонным золотом горящие кровли. Иной раз чудится, что церковь одиноко торчит на горе, и, только подъехав ближе, видишь, что тут есть кому молиться, потому что по логам да низинам насыпана не одна сотня кровель. Всё это придает нечто пустынное камскому пейзажу. Пустынное и вместе с тем удивительно поэтическое выражение. Чудится, что ты двигаешься вперед, в девственный край, куда редко забиралась нога человека, где его топор не валил на землю лесных великанов, и только пение птицы слышала их задумчивая зеленая дрема.

На палубе стало тихо. Жара согнала всех в каюты или под навесы.

– Вы из Питера? – подобрался ко мне какой-то смиренный, даже слишком смиренный пассажир. Снял шапку, да и покрыться не хочет. – Слышал, вы из столицы изволите любопытствовать наш край.

– Пожалуйста, наденьте шапку, а то ведь и я свою снять должен.

– Нет, зачем же. А только, осмеюсь доложить, сторона у нас дикая.

– Почему же?

– Потому тут старина, что стена каменная, не прошибешь ее ничем. Напротив, захочешь нового – всем ты враг станешь. Точно ты не им же в пользу, а во вред. Вычитаешь, что полезное, скажешь: так следует вот – оскорбят.

– Да? – ответил я, чтобы сказать хоть что-нибудь.

– Оскорбят, и жестоко оскорбят-с. Потому ежели нет у тебя капитала, и выходишь ты ничтожный человек и должен на все ихние глупости молчать. Я вот, например, очень книгу люблю.

– Какую?

– Всякую книгу, потому всякая книга уму служит. А меня за это самое со всех мест-с согнали. Был приказчиком – из приказчиков, десятником – из десятников. Так теперь и болтаюсь. При купце одном, как прежде при королях шуты были, так и он меня вроде как бы шута держит. Но только, – хитро улыбнулся он, – я тоже на него свой вид имею.

– В чём же ваши обязанности состоят?

– А вот-с... Иван Трофимыч очень отяжелели. Брюхом одержимы стали, ну и ходить чтобы много не могут. Сидеть должны больше. Ноги не носят. А сидеть им скучно. Так я для этой самой скуки-с. Развлекать должен. Рассказывать, что ли. Приставлять, как в театрах. Пробовал я им рассказывать из умных книг – согнать пообещались. По ихним каменным мозгам им это умное несколько и обидно даже. А до сказок они очень падки-с. Сказки любят, и притом самые невежественные. Ну я их вкусам подражаю. Нельзя-с, их хлеб ем-с.

– И как в театре представляете?

– Как же-с! Они очень-с «Графиню Клару д’Обервиль» полюбили-с. Сколько я ее разов представлял им, что меня тошнит с нея-с. Ну а нечего делать, опять должен, потому «по требованию публики-с». Тоже и «Гамлета» ломал. Только они его не поняли-с. Тень им очень понравилась.

– Какая?

– А отца... которая в первом акте-с. Ну и под полом тоже. Вообще страшное они очень любят. Пробовал я им Кольцова читать. «Не скули!» – говорит. Я и бросил.

– Какие же вы на него виды имеете?

– Да машину одну для мельниц изобрел. Чтобы без ветру и без воды.

– Паром?

– И без пару. Как часы, двадцатичетырехчасовой завод-с. Ну так на модель думаю с них денег исходатайствовать. Потом я судно такое изобрел, вроде как бы лосопет-с, но только на воде.

– Это велосипед?

– Точно-с.

– Давно известно!

– У меня особый состав-с. Вот чертежик со мною. Полюбопытствуйте!

И он с жаром принялся мне рассказывать содержание «водяного лосопета». Выходило очень находчиво и умно.

– Отчего вы не пошлете кому-нибудь в Питер?

– Посылал. Только ничего не вышло. Даже и ответом не удостоили. Министр один проезжал. Я ему рассказывал. Только он не понял. Выслушали-с меня, его высокосиательство, похлопали по плечу, молодчина, говорят,



вынули три рубля и пожертвовали. Точно я денег просил. Эти три рубля я снес в храм Божий. Потому если бы не взял, их высокоосиетельство обиделись бы... Вообще иной раз тяжко. Иного названия, как комедьянт, нет. Раз, поверите ли, Иван Трофимович с собачкою заставили драться. Я и дрался-с.

– Отчего же вы не поедете в другое место.

– Узы-с! – грустно понурился он.

– Какие?

– Семейные узы-с. Жена, баба глупая и капризная. Детишки. Сих малых и несмысленных жаль. Их не бросишь, от них не уйдешь. За них душа болит. Ужели ж я без них пошел бы к купцу в шуты. А только поневоле-с. Старший мальчик у меня востренький, в школу бегаёт. Дочка есть маленькая, и та, точно воробушек, рот раскроет и пищит. И ей кусок поддай. А кусков мало. Ах, мало-с кусков. И сколь тяжелы эти куски – и сказать невозможно! Вы знаете, какое тут раз дело было! Меня ведь по политической прикосновенности забрали было.

– Вот! – удивился я. – Да по какому же делу?

– Да по тому самому делу господина Орсини... который Наполеона бомбой убить хотел в Париже.

– Да вы-то тут при чём?

– Исправник у нас столь умны были. Я в это самое время такую пушку задумал, чтобы она как можно больше неприятеля погубить могла-с. Известно глуп был, не сообразил еще, что человеку ум дан на пользу, а не на пагубу ближнему своему. Стал я это опыты делать, за городом. Вдруг, раз, будочник за мною. «Пойдем, брат». – «Куда?» – «В полицию». – «Зачем?» – «За хорошие дела... Там, брат, тебе покажут». Пошли мы. Исправник сидит, красный весь. Как увидел меня, затрясся. «Связать», – кричит. Связали. Подошел, ткнул он меня это в скулу. «Ты, – говорит, – давно с Орсини знаком?» – «С каким?»

– А я, признаться, только тут от него и узнал об господине Орсини этом. «Ладно, прикидывайся... Какую ты бомбу изобретаешь за городом? От людей прятаться. Рракалия... Розог!» Тут следователь молодой пришел. Дай ему Бог здоровья, вступился. Стал он исправника стыдить. Отпустили меня. Так после этого, поверите ли, у нас в городе от меня, как от чумного, народ бегал. «Ну тебя, – говорят, – с тобою тут еще влетишь». Так я год в этой политике состоял-с. И теперь еще, когда кто рассердится на меня, ты, говорит, политик, тебя в Сибирь за твои дела следовало. А какие такие мои дела-с? Какие мои дела? Я ныне всё на пользу ближнему моему.

– Я и стихи пишу. Только нестоящие, – начал он немного погодя, – которые кому на памятник, всегда ко мне. Пробовал я их в ломоносовском роде – не понимают. Больше чувствительное любят-с. Ежели птичкупустишь, это относительно младенца-с. Цветок сорванный – это девице соответствует, и другие такие же.

А пароход уже приплывал к Усть-Реке.

## Х. Казенный завод в приданое. – Заказы в Германии. – Воткинский миллионер. – Истребители лесов. – Арестантские пароходы

– У нас чудные дела творятся! Слыхали ли вы о казенных оружейных заводах?

– Да.

– И о наших?

– Случалось.

– А вы знаете ли, что один из них был дан артиллерийскому полковнику в приданое за дочью такого сановника, что до него в Питере у вас и рукой не достать. Под видом аренды сдали ему, а другим – Сестрорецкому и Тульскому – в обязанность вменили брать ружейные стволы отсюда. На Златоустовском и других частных заводах лучше стволы делаются, но оттуда отнюдь не смей. В конце концов вышло около тридцать процентов браку, да сверх того, казенный завод, не успевая исполнять заказы, стал покупать себе готовые стволы из Германии у Бергера по три рубля, а в казну их ставил по четыре рубля. И стволы-то были не первого и даже не второго сорта. Златоустовские уменьшили свое производство, другие частные тоже. Начинать войну – мы в зависимости у немцев. Да и вместо русского, оказывается, мы поощряем немецкое производство. А между тем, знаете ли, какие громадные леса драгоценного орешника на Кавказе даром отданы арендатору этого казенного завода.

– С чего же это?

– А как бы для выделки лож. Нынче тут у нас много было прусских офицеров генерального штаба.

– Что им делать?

– А они под видом ученой цели, больше же следят за вооружением.

Завод, о котором шла речь, мы еще вчера оставили позади; теперь пароход наш шибко бежал к Камско-Воткинскому, расположенному на Усть-реке или Вотке. О самом заводе я расскажу потом, когда буду говорить о других пермских заводах. Кама тут суживается. Лесная понизь налево, лесные горы направо. Издали еще видны массы пристаней; громада амбаров, нагроможденных на берегу, говорит о крупных хлебных операциях, производимых этим селом. Амбары устроены не только на берегу, они и на баржах, стоящих на мертвых якорях. Пейзаж кругом совсем сибирский. Пихты темные на дальних глиняных скатах. По самому понизью камского побережья просторно вытянулись ряды изб. На правом берегу крутые, кажущиеся недоступными горы, покрытые теми же темными пихтами. Не доходя до завода берег завален горами огнеупорной глины, сплавленной в Усть-реку для производства белого кирпича, по Сылве, Чусовой и Каме, на барках – из Красноуфимского уезда тоже. Кирпич этот необходим для заводских печей. На месте, например в Красноуфимске, пуд такой глины стоит три копейки. Здесь уже заводу он обходится в пятнадцать копеек. Добывать там эту глину приходится на глубине от пяти до пятнадцати аршин от поверхности земли. Как сюда,

так и в Гольяны для Ижевского сплавляют ее по 100 000 пудов. Работа для добывания этой глины страшно тяжела, тяжелее других земляных работ, а между тем за целый день упорного труда крестьянин на ней не получит более тридцати копеек. Тем не менее положение местных жителей до того плохо, а кое-где и безнадежно, что и эту цену иногда сбивают до двадцати копеек. Рядом с грудами огнеупорной глины – пирамиды каменного угля, доставленного сюда с Луньевских копей и из-под Екатеринбурга. Вокруг возятся какие-то полунагие рабочие. Тело почернело. Совсем кажутся неграми.

– Да они и есть негры, – поясняют мне.

– Почему?

– Забиты. Озверели. Совсем по писанию выходит «глаголивый зверь».

Нищета, прижимка со всех сторон, поневоле образ и подобие Божие потеряют. Не их винить в этом. Иной и совсем нагишом выскочит из кабака. А эти хоть срамные места позакрыли, и то хорошо. Есть такие семьи, что целые месяцы только хлеб и видят. Квасу нет, приварка тоже. Горячей пищи и по праздникам не полагается. Во что они обратятся при такой постоянной упорной работе?

– Ужасно!

– Не то еще увидите. Вы ведь на Урал пробираетесь. Здесь вам остановиться некогда?

– Да.

– Не жалеете, там еще чудеснее нашего. Такие дела узнаете!

– Какие же?

– Сами увидите. Как ни рассказывай, бледно будет. Говорю вам, есть совсем озверелый народ.

В Вотке очень много капиталистов; один из таких, местный миллионер, ехал с нами. По внешности ничем от бурлака не отличишь. Разве чуть-чуть почище одет, да и то самую малость. Первый раз я его увидел за обедом. Ест как акула, оставляя образчики всего съеденного на бороде и, по-видимому, мало стесняясь этим. Отпал наконец от варева, осмотрел всех нас ясным младенческим взглядом и откровенно икнул на весь стол.

– Слава Богу... Господь напитал – никто не видал.

И еще раз икнул громогласно.

– Душа с Богом-то, как у меня... разговаривает.

– На это другая пословица есть.

– Какая?

– Свинья за углом поминает.

– Малый, а малый? – позвал он лакея, прислуживавшего ему. – Скажи ты мне, братец, где тут у вас... После обеда – самое любезное дело.

Дамы, бывшие около, чуть в обморок не попадали.

Потом он на палубе сам подошел ко мне.

– Гавернанку везу... Дети у меня, так чтобы всем наукам, какие есть, обучала... Из Казани – гавернанка-то. Верситетская. Большой экзамент держала... На мертвых языках так ли здорово лущит... Вон она, белявая такая, ишь в книжку читает. Гавернанка, а гавернанка!

Девушка вспыхнула и отложила книгу в сторону.

– А ты не стыдись... Если б я тебе слово такое загнул, ну тогда, по своей девичей обязанности, должна ты стыдиться... Ты вот что скажи мне: в Бога веришь? В Бога – истинного.

– Отстаньте вы от меня, Ермил Иваныч; ведь уже всё у нас переговорено, кажется.

– А ты не гордыбачь... Я тебя спрашиваю, своих деток жалеючи. Бог тебя знает, какая ты. Разные есть. Коли хочешь меня успокоить на сем самом месте, прочти мне «Верую», и чтобы единым духом. По крайности, я твое усердие увижу.

– Я экзамен сдала в свое время.

– Ишь, сколь тебе покориться несносно... Кто тебя знает – в душу к тебе не слазишь. А коли ты в Бога не веруешь, так Бог тебя накажет. У нас, – обернулся он ко мне, – две таких вертихвостки были. Ингилистки, ни в Бога, ни в черта! Совсем бесстрашные. Ну только одна замуж вышла и спокаялась, хорошей хозяйкой стала. А другая так в ингилизме и померла.

– Что вы ее обижаете, – вступился я. – Девушка скромная.

– Как обижаю, помилуйте. Мои деньги плачены... Я только касательно Бога любопытствую. Она и на фортепьяно может, и насчет пения первый сорт. А ты не фурчи, – обратился он к гувернантке, – буду я видеть твое смирение, за купца, такого же, как сам, замуж выдам.

– Ну я бы за вас не пошла, – расхохоталась девушка.

– Н-ну?

– Верно.

– Чего ж тебе требуется? Ты, дура, пойми! У меня за голенищем столько складено, что я пять таких, как ты, держать при себе могу.

Девушка заплакала и ушла.

– Ничего, обтерпится, привыкнет. По нашему обиходу вежливостей этих наблюдать невозможно. Щупленькая она только, вот что! По нашим местам нужно здоровой быть.

– Он еще добрый, – рассказывала потом девушка, – не пристаёт. Брату в гимназии помог, и так, не в счет жалованья. Матери тоже. А вы бы других посмотрели. Я в Перми год жила, так не знала, как от такого же купца вырваться. Пристаёт ко мне; хотела уйти – попробуй, говорит, я на тебя объявку, будто обокрала меня. Слава Богу, жена к нему приехала; по святым местам она странствовала. Ну тот поневоле оставил меня.

– А ты на меня не сердись! – гладил ее немного спустя заскорузлой лапой по голове воткинский миллионер. – Я не со зла, а тебя же жалеючи, по сиротству твоему. А ежели что и обидное покажется, так по невежеству нашему простить должна.

На Камском заводе в пудлинговых печах выделяется броня из руды, доставляемой сюда горою Благодатью. На берегу присланная из Мотовилихинского завода стоит, разинув пасть, крупповская пушка, девятидюймовка. Из нее пробуют крепость брони, приготовленной здесь. Не выдержавшая испытания идет обратно в печь. Как этот, так и Воткинский завод, ведущий с первым общую отчетность, не входили в программу того, что меня интересовало на Урале, поэтому я и не останавливался. Мимоходом успел заметить

только зажиточность крестьян, живущих заводом, но не работающих на него; последние, т. е. работники, нищие, как почти на всех казенных учреждениях этого рода. Частные предприятия дают гораздо высший заработок.

Кама расширяется плесом. Вода точно стоит в ней, не шелохнется. След парохода далеко бежит позади. Мы плывем словно по недвижному, отражающему голубое небо озеру. Удивительно эффектно позади завода голые вершины гор. Каждая из них была вправлена снизу в рамку темного пихтового леса, выросшего в лощинах и ложбинах. Изредка ряд пихт взбежит наверх, рисуясь своими стрелками на красном фоне глиняной горы или на лазури безоблачного неба. За Камским заводом показалась уже сибирская лиственница, пока на левом, низменном берегу. Она могуче принялась здесь, и чем дальше, тем всё больше раскидывает свои пушистые вершины, издали, будто зеленые облака, приникшие к этому красивому берегу. Впереди – леса за лесами. Ближайшие окутывают реку своими зелеными, подалее подернуты синью, а совсем на севере, на заднем плане – сероватые, смутные, едва мерещащиеся рассеянному взгляду. Вблизи, за этими туманными очерками леса, видны едва-едва краснеющие на горизонте тонкие силуэты глиняных гор. На берегу, с которым бок о бок почти идет наш пароход, – рыболов. Перед ним на станке три лесины с удами. Старик сидит себе неподвижно, только жмурится на солнце. Задремал, что ли? Пароход погнал прямо на него волну – не слышал рыболов. Волна его чуть с головой не покрыла, едва ноги унес он прочь... А вот другой... И так же дремлет на отмели, так же солнце обливает его зноем и светом, и точно так же бежит на него вспученная волна от колес парохода. С берега ветер дышит на нас запахом душмянки и шиповника. Густо дышит. Кое-где, поближе к земле, так обносит, что голова начинает кружиться. Любуемся всею этою прелестью северной красавицы Камы и совершенно упускаем из виду роман, совершающийся у нас на палубе. Она – англичанка, в соку, здоровая, молодая.

Он – русский немец. Супруги-новобрачные. Нейтральный язык у обоих французский. И тот и другой одинаково скверно говорят на нем. Видимо, пламенно желают остаться наедине. До неприличия доходят. Она садится к нему на колени. Отдельной каюты у них нет. Всё в лес стремятся. Остановится пароход на четверть часа – новожены в лес. Раз не расслушали свистка, по второму уже стремглав побежали. Пассажиры хохочут над ними.

– Ишь, ишь, споткнулся! Ах и бесстыжие же!

– Чего им стыдиться?!

– Как чего?!

– Они по-нашему не понимают, значит, им и стыдиться нечего.

– Так ли? А я бы их запер по разным каютам – сиди!

– То есть сколько этого самого безобразия на свете! – запротестовал хозяин.

– Точно что много! – поспешил с ним согласиться обличитель капитанов и шкиперов.

– А ты у меня поговори еще!

– Я, помилуйте, Степан Ефимыч, я подтверждаю. Что безобразия, значит, много. Я в согласе.

– Плевать мне на твой соглас.  
– Это точно-с.  
– Чего еще?  
– Это точно-с, говорю.  
– Не пристало тебе говорить-то. Как тебе говорить, когда мы тут. Ищи свою компанию и говори.

– Вот видите, сколь в них невежество свирепствует, – вмешался шепотом вчерашний Кулибин, – слышали вы? Ах, трудно состоять при них. Трудно-с! То есть ежели бы не детки – плюнул бы и отряс прах от ног своих.

– Ироды! – злился про себя протестант. – Уж слишком силы забрали много.

– А тебя, Степан Ефимов, давно по шее били? – ни с того ни с сего вмешался бывший помещик, состоявший при таком же пермском купце Зефиркой, на «песем положении», по его собственному толкованию.

– А! Благородному, дворянину!

– Ты зубы не скаль. А то ведь и пересчитать их могу.

– Помещику! Голоштанному! – и купец всё вежливее и вежливее наотлет снимал фуражку.

– Голоштаннный, а честней тебя. Ты ведь подлец, Степка! Племянников ограбил, народ по миру пустил.

– Пустобрюхому! Хочешь рубль на выпивку? От щедрот!

– А хочешь в ухо? Уймись, Степка, смотри ведь наткнешься, – искренне злился бывший помещик.

– Прокурат ты, Ивашка, и за что только тебя Сивопупов держит.

– А уж это не твоего ума дело. Я бывало таких, как ты с Сивопуповым, на конюшне драл.

Показалась Ножовка, пароходная пристань. В трех верстах отсюда деревня и Пермькинский Рождественский завод, где добывается до трехсот пудов никеля и железо в выделке. Работа тут сменная. Деньги есть – выделяется железо. Деньги выйдут – и работа приостанавливается, печи тухнут. У Пермькина хорошие рощи и лесные дачи. Станет заводское дело – мужики в лес. Рубят его и свозят к пристаням. Этим и живут, за исключением хлебопашества, на которое дается заводами льготное время. Рожь начинает цвести. Над ней чуть колышутся пихты. Кое-где горы да вершины обработаны по крутым скатам. Издали даже трудно представить, как по таким откосам плуг взрывал землю, как на них могли удержаться хлебопашец с конем. Места становятся всё красивее, чем далее мы подвигаемся к северу. Дали заставлены лесными горами, одни из-за других. Желтоватая зелень полей и лугов под солнцем палевыми пятнами мерещится между горами. Везде по берегу порубка идет страшная. Дрова, дрова и дрова. Падают под топором лесное царство. В лоск ложится. Широко по следу за ним идет пустошь бесплодная, потому что там, где лесу нет, и зима суровее, и весна позднее, и осень раньше, хлеб родится хуже, а то и вовсе не подымется спелым колосом в иссякшей живыми соками земле.

– Что чума, что лесопромышленник – всё одно выходит.

– А как бы ты без дров прожил?

– Да уж очень неумеренно. Вы поглядите, какая тут глушь несосветимая. Года через два приезжайте – всё голо будет. Шесть лет тому назад я уехал



из своей деревни. Она вся тогда в темных борах хоронилась. Лесное царство стояло кругом нерушимое, тихое. Только верхушки, бывало, шумят; слушаешь их, слушаешь, и на душе чисто делается, совесть знаешь. У лесных людей, пустынных самых, всегда совесть есть. Вернулся я в этом году, Господи Боже мой, на восемьдесят верст кругом ни лесинки нет, голо! Окладнов прошел со своими артелями, что пожар. Деревня на припек вся. Кабаки понастроены, избы чуть не в повалку, бедность, нужда, пьянство, воровство. Бабы да девки развратничают почище еще, чем на заводах. Хлеба прежде сам-пятнадцать, а теперь сам-три, четыре. Мироеды завелись. Река наша, Тулчанка, когда-то по ней беляны ходили, воды много было, теперь и челноку не проплыть. Лесу не стало, и вода иссякла. Зимы бывали у нас тихие – теперь ветру простор, пурга, мятель. Так Окладнов всю нашу округу съел. Купил леса и свалил их. У них какая-то злоба к лесам. Как увидит, сейчас за топор и давай валить. Что ему до народа. Народ пускай дохнет – ему и горя мало! Это всё, что вы видите, тоже скоро под топорами ляжет. Нет такого лесу, чтобы на него промышленники не нацеливались.

– А казенные?

– И казенные валят. Потому в казенном лесу чиновник. Ему недорого, наша сторона ему чужая. Главное дело нахапать – и домой. Разве ему жаль?

– Да ведь под суд?

– Не поделится – под суд, а поделится – свободно, еще кавалерию на тебя повесят. Тут как дело было. На пять верст порубили лес промышленники – и обошлось. Палом, говорит, прошло. А с этого топорного палу вся округа обнищала. Приезжайте-ка через десять лет – ни одной лесинки по этому берегу не будет.

А пока еще стоит тут совсем дремучая темень. Сосновые боры направо и налево. Пароход остановился. Ухо ловит свист хитрого кулика, отводящего жадного ястреба от гнезда. Вон на берегу потянуло дымком из лесу.

– Что это?

– Да охота на вальдшнепа. Тут его на дымок ловят. Вальдшнепы на дымок летят, любят. Над дымком они взад да вперед всё чирикать станут... Или через дым. Дымок редко вверх бежит: в сторону его тянет. А за деревьями охотники хоронятся. Как вальдшнепы зашмыгают – их из дробовок и кладут. Птица глупая, эту тягу страсть здесь как любят.

– Была у меня собака Зефир, – опять слышится в стороне, – умней человека. Вон Степан Ефимыч в первую гильдию вылез, а всё глупее моего Зефира. Так вот я этого пса по всем лесам за собой таскал, пока не надоел! Как она дичь подымала. Ну-ка, Степан, подыми ты так дичь. Нос-то у тебя собачий, положим, на добычу чуткий, а где тебе дичь поднять. Пиль, Степка!

– Одно слово, нестоящий человек, – начинал уже злиться Степан Ефимыч.

– Теперечи сколько один этот Степан Ефимыч лесу у нас по Каме перегубил. На его душе большой грех. Потому лес рубить сверх меры – грех. Земле самим Богом убор дан, что зверю шерсть. А ее, Божью землю, ироды эти ради жадности своей обнажают. Земля оголится, мерзнет и вопиет ко Господу. Тут у одного помещика холеные боры были. Цены им нельзя было прибрать. Дерево к дереву. Веками рощеное. Помер, сын прикатил. Какое у него понятие:

ему в Питере надобно жить, на нашу глухую сторону он и плюнуть не захочет. Ну вот позвал этого Степана Ефимыча, тот за самую малую цену взял, а через год на месте прежних боров пустырь. Пять лет прошло, на пустыре этом уже и травы нет! Эти мироеды всю нашу Россию скоро в пустырь да болота обернут, потому им не жаль. Они Бога продадут ради прибитка.

На первой же остановке среди прикамского приволья мне пришлось натолкнуться на нечто весьма неприглядное. Смотрю, впереди какие-то совсем необычайные баржи.

Грузные, с черными трюмами. Гомон несется из этих именно трюмов, песня оттуда слышится, но больная, надорванная, точно недужное сердце бьется в ней, чахоточная грудь поет ее.

– Что это? – спрашиваю у необычайного бурбона, только что испытывавшего на моих глазах крепость солдатских челюстей.

– А вам на какой предмет?

– Так, любопытствую.

– Арестантский пароход. Узнали – и пожалуйте прочь, близко подходить нельзя.

– Так убирайтесь вы сами с пристани прочь, если вам не нравится.

Бурбон заворочал было белками глаз, выпучил их на меня, щеки надул, смешно стало.

– Послушайте, я бы вам советовал поменьше пыжиться – лопнуть можете. Что хорошего?

Мрачен и ужасен был в полной мере этот арестантский пароход. Мрачен и ужасен именно здесь, среди этой зеленой пустыни, среди этого простора. Камские струи слегка облизывали его черные борты; около поскрипывала пристань. Вверху палуба была завалена всяким товаром и багажом. Тут же, сложив ружья в козлы, дремали этапные солдатики; внизу – в герметически закупоренных черных трюмах набиты арестанты. Узкие щели вместо окон едва ли давали доступ свету во тьму этих трюмов; скорее можно было предположить, что они пропускали их мрак наружу. Очевидно, что и воздух едва ли мог свежиться в этих плавучих погребках, остроумно устроенных Колчиным, взявшим на себя перевозку по реке Каме ссылаемых в Сибирь. Виденный мною пароход носил негромкое имя «Сарапулец». Есть, впрочем, несколько кают для арестантов и сверху, с толстыми железными решетками, сквозь которые страдальчески смотрели на меня печальные личики детей и женщин. Воображаю, как всех этих малюток тянуло в леса, на зеленые лужайки, на эти кипящие суетой неустанного труда пристани. С какой жадностью должны следить они за судьбой более счастливых ребят, сбежавших с нашего парохода и затеявших на мягкой мураве берега жмурки. Как завидны этим зарешеточным детишкам счастливые крики и задорный смех свободных малюток. С каким грустным вниманием они глядят теперь на верхушки пихт, облитые солнечным светом, на красные обрывы и осыпи берегов, на белые песчаные отмели.

– Отчего снизу не переведут вверх арестантов? – спрашиваю я у конвойного.

– Нельзя, а мы бы рады... Начальство не приказало. Беспременно чтобы внизу держать их велено.

– А наверху каюты для детей да для женщин только?

– Никак нет-с; по-настоящему вниз следовало сажать, если вверху места нет.

Оказалось, отступление от правил сделано потому, что для конвойных и для самого этапного бурбона гораздо легче запереть арестантов в трюмы, а самим спать себе наверху. А там внизу – хоть бейся лбом друг о друга. Я себе представляю, что в этой тьме должны испытывать несчастные, какие у них грезы и ожидания. Еще издали от этой арестантской баржи веяло на нас какой-то гнилью, испарениями сотен зараженных тел, смрадным дыханием скученных и сбитых на небольшом сравнительно пространстве людей. Около Осы я встретил другой такой же пароход, и на нём в тех же самых условиях, так же запертые в трюм, пересылались уже не преступники, а возвращавшиеся на родину. Так их везут до Казани.

На барже работают солдатики... Они перегружают ее, подчаливают.

– Да разве частные грузы допускаются на таких пароходах?

– Это всё от соглашения с начальником этапа зависит. Как они прикажут.

Без них, разумеется, нельзя.

При виде черных трюмов колчинских этапных пароходов мне пришло в голову одно из стихотворений Лонгфелло о неграх, сбитых в такой же душный трюм на португальском судне. То хотя идет озираясь, как вор крадетсЯ; а это плывет себе спокойно по волнам Камы, будто так и следует, будто иных условий и существовать не должно.

Когда наш пароход тронулся, я сошел в каюту. В первом классе солидный преферанс, во втором – свирепствовала стучолка. Только и было слышно:

– Пас! Надоело ремизы ставить, пас!

– А я под вас.

– Стучу.

– Не простучись... Один такой стукнул... себя по затылку.

– Давако-сь в темную... А вы, сударыня, в карты не заглядывайте, даме это куда нехорошо.

– У них, у этих дам, глазок во все стороны запущен...

– Дда, глазок... А вот я их за глазок по королю тузою морскою!..

– Ну уж вы, право... Король бланк у меня. Теперь я ремиз должна.

– Ничего-с, поставите; по крайней меричи свой глазок-с побережете впредь.

– Куплю, только чтобы чиновников да козырных.

– Чиновников купить можно... Чиновник деньгу любит... Деньги ему за первый сорт.

На палубе у нас от жары всех сморило. Даже псы языки высунули. Один тяжело дышит.

– Что, Валетка! – кричит ему сверху матрос.

Но Валетка рот совсем разинул, словно взобравшийся на полог и очумевший купец, когда остервеневший банщик из усердия поддает шайку за шайкой в раскаленную каменку, а та выбрасывает назад клубы зеленого пара, раскаляя атмосферу до температуры, в которой моментально сварились бы не столь толстокожие смертные. Под скамьями всюду, где есть клочок тени,

сбились бабы. Издали они совсем узлами кажутся. Иной раз всматриваешься, всматриваешься в кучу таких узлов, и только когда зашевелятся они да выглянут на свет Божий мокрые лица – тогда и сообразишь, что это бабы, одна за подол другой от жары прячутся. Смотришь – сюда же заползет и какой-нибудь донжуан в сибирке, после чего сейчас же начинаются невинные игры, сопровождающиеся визгом и не совсем церемонною бранью прекрасного пола.

Вон налево громадное село раскинулось, только верстах в семи от берега. Три церкви... Сады пошли от него.

– Какое село это? – спрашиваю я у лоцмана Терентия.

– А нам ни к чему.

– Да как же не знаете, этакое большущее.

– Нам неинтересно... Вон вишь Мальчухинский поселок. Всего две избы только, нам он нужен, потому по нём мы фарватер считаем. Его мы потому и знаем. А богатый поселок в стороне ничего мне не скажет.

Совсем не любопытен наш Терентий. У него своего дела полон рот... Просто же, из любознательности, сведения собирать ему некогда. Еще, пожалуй, спутается, да на пережат напорется либо коргу какую-нибудь со дна своротит, да заодно и пароход оцарапает. Зорко всматривается он в берег.

– Попов бугор! – заметил он на темной полосе берега какую-то незначительную горбину. – Пониже тут мель будет, – сообщает он, – а другая ей навстречу с противоположного берега. Обе поперек реки, фарватер зигзагом между ними. Тут гляди в оба...

Ночью еще трудней. Вода как чернила осенью и весною. Тогда уж чутьем либо на память берут течение. Как вода падала – сосчитает, какая мель сильней растет, в уме прикинет, и повертывает рулевое колесо. Послушно направляется пароход, чуть не задевая колесами и бортами края песчаных навалов. Есть и такие лоцманы, что ночью по звездам рассчитывают. Тут всё указание, ничем лоцману нельзя пренебрегать. Как трава растет, и ту замечай. Зимой тоже нужно вспоминать, чтобы не забыть, какую он Каму оставил осенью, а весною в первый раз в половодье замечай, как хочешь, что за зиму река сделала. Мелочные признаки, пустяки, а он на них во все глаза... Они в связи с остальным, они недаром здесь.

## **XI. Судьба грамотного рабочего. – Земские деятели. – Северная ночь. – Как турку неверную купец окрестил**

– Трудно у нас простому человеку образоваться, ах как трудно! – соглашается вполне с пермским Кулибиным кричный рабочий, весь точно обожженный у печи, за которою он простоял десять лет. – Вы знаете, как я грамоте научился?

– В школе?

– Какое. Тут же у кричной печи. Потом меня повысили, стало более досуга, за книжки я взялся. И такой в себе дух почувствовал, чтобы самому рискнуть нашу рабочую жизнь описать. По ночам сидел месяца два, работая. Думаю –

пошлю! Тут у нас один поднадзорный был. Чудесный человек работал. Мало говорил с кем, а только ежели помочь, всякому готов. Я к нему. Посылай, говорит. Есть такая редакция в Питере, где примут. Послал я. Вдруг через три дня меня зовет заводский управляющий.

– Это, – говорит, – твое?

Смотрю тетрадка моя у него на столе. Развернута... Красным карандашом на полях вопросительные знаки сделаны.

– Моя, – говорю. – Я по почте послал. Как это к вашему высокоблагородию попало?

– А это уже не твое дело. Так ты, любезный, кляузы у меня заводить...

– Какие-с... Помилуйте... Окромья правды...

– Как ты описываешь... Деру я вас... Мало еще деру... Не так следует... Ишь еще какой писатель выискался... Вон, подлец, из моего завода! Чтобы твоего духу не пахло!.. Я еще тебя по этапу вышлю за бунты!..

– А у меня семья-с. Так, поверите ли, после того года два не мог себе дела найти. Куда ни сунусь – нет, брат, нам таких не надо – мы и без писателей обойдемся! А одного нашего заводского живьем съели. Тот в газету отписал, как наш горный начальник на заводе наживается. Что же бы вы думали – вдруг пропадает струмент на заводе. Обыскивают – у него, что в газету писал, и находят. А тот ни духом, ни телом. В тюрьме-с сгноили... Семья по миру. Дочь теперь в Перми в веселом доме, а мать спилась с кругом... Вот как нам легко! Теперь, правда, другие порядки пошли, а только все управляющие такими рабочими, которые неграмотные, больше дорожат! Это им способнее. Тут грамотному, коли у него совести нет, одна дорога – в волостные писаря. По всему Прикамскому краю у нас волостным писарям не житье, а масленица. Только уж одно – нужно совсем правду спрятать. Волостному писарю и дорога за то. Возьмите вы хоть нашу управу: председатель Китаев из волостных писарей, да и в других – Скачков, Начаткин тоже писарями были; даже в губернской управе хотя бы член Васильев – тоже из волостных. И какие дела тут бывали с нашими писарями. Они земскими деньгами и волостными прежде как своими распоряжались. Случалось, мировой его оштрафует за скандал и пьянство – писарь выплачивает штраф из общественных денег. При проверке у одного такого не оказалось тысячи с чем-то рублей, пополнили вперед в счет жалования. Уездное земское собрание отдает его под суд, а губернское не соглашается. Выбирают бывшего секретаря консистории, выгнанного по третьему пункту, рассмотреть дело, тот тоже находит расхитителя общественных денег правым. Почему бы вы думали?

– Улик не было?

– Как же, все улики на лицо. А потому, что уездное земское собрание не дало ему инструкции, как хранить деньги. А тут одна инструкция... На Моисеевых скрижалях еще начертана была – не укради. У нас, батюшка, тут такие дела, только копните... Губерния далекая – до Бога высоко, до царя далеко.

– У нас всё делается для рекламы, – вмешался доктор. – Земское шарлатанство развито ужасно. Брандмейстерскую школу открыли от земства – зачем? Что тут машины какие особенные? Ветеринарную школу устроили. Толку от нее здесь никакого. На всю женскую гимназию тратим

три тысячи рублей, а в ветеринарной школе каждый ученик обходится в триста семьдесят рублей.

– Я не могу понять одного: каким образом волостные писаря захватили здесь такое преобладающее значение. Ведь есть же капиталисты, интеллигенция.

– Наша интеллигенция – раз-два да и обчелся.

А капиталисты вот каковы: один обобрал Всеволожских, другой был их же крепостным и обокрал их, третий поднялся извозом, жил вместе с козлами и поросятами, запарил купца в бане да на том и вырос. Четвертый три раза богател картами и три же раза опять проигрывался; наконец, нажился арестантскими полушубками, которые в первый же год расплзлись. К. явился к нам в Екатеринбург ссыльным полячком, штанов не было, теперь миллионер. Х. стал крезом благодаря тайной контрабанде золота. П-ая опаивает всю Сибирь водкой. У Д-ва только в одной Перми 18 кабаков. Каждый день служит молебны. А раз его совесть зазрела, за неправильные стяжания на том свете кару почуял, так, чтобы умилостивить Бога, придумал даровую раздачу вина, четверо мужиков и сгорело... Вот вам наши земские силы... С другой стороны, посмотрите на наших судей. Слыхано ли где-нибудь подобное тому, что у нас разыгралось на днях: мировые судьи вкупе и влюбле с товарищем прокурора соборне избили публично лакея в клубном саду... Скандал на всю Пермь был...

Рассказы о Пермском земстве один характернее другого. Вот один наудачу.

Существовала здесь когда-то земская конюшня. Из общего земского по империи сбора отчислялось на ее содержание двадцать пять тысяч рублей. В ней воспитывались жеребцы-производители всех пород. В известное время их приводили в разные пункты губернии, куда крестьяне к этому сроку доставляли кобыл. Случка стоила хозяевам от двух до трех рублей, и местное население благословляло судьбу, приобретая таким образом отличных рабочих и возовых коней. К назначенному из Перми сроку в городах и больших селах открывались выставки жеребят, добытых таким образом, и хозяевам, сумевшим получше выхолить их, выдавались премии, аттестаты... Земские конюшни ко времени введения земства дали сорок тысяч рублей экономии. Первые земские деятели сообразили, что недурно получить эту сумму в свое распоряжение, и через несколько лет добились передачи конюшни в их ведение. Результат – через два-три года конюшня закрылась, и теперь крестьяне за случку своих кобыл с прежними, воспитанными ими жеребцами платят по пятнадцать рублей. Недавно была выставка. Доставили на нее и эти последние экземпляры когда-то общего для губернии скота.

– Что мы наделали! – закачали головами земские деятели, любуясь ими.

– Снявши голову, по волосам не плачут! – ответили им.

Вместо земской конюшни управа устроила ветеринарную клинику, куда никто своих коней не посылает.

Две кунгурские волости были доведены до того, что стали отказываться от земства. Жалобы на Пермское земство и на Смышляева главным образом слышатся повсюду<sup>5</sup>. Одна дорога между Пермью и Екатеринбургом чего

<sup>5</sup> Автор был в Пермской губернии в 1876 году.



стоила. Это тот знаменитый Сибирский тракт, по которому люди предпочитали ходить пешком. О нём будет рассказано потом.

– Дали бы нам исправить дорогу, – жалуются крестьяне. – Мы бы ее за половину сделали, и ремонту не потребовалось бы.

– Что ж вы не предложили?

– Как не предлагать – предлагали. К своему гласному являлись.

– Что же он?

– В шею вытолкал...

Это всё равно, если бы приказчик гнал в шею хозяина.

– У нас грамотному человеку, если не хочешь руку волостного писаря держать, одна дорога – в кабак. Ну и спиваемся, и как еще спиваемся, целыми семьями. В нашем заводе рабочий есть. Он и в гимназии был... Теперь горькую пьет, хуже всех опустился. Жаль взглянуть на него – больно! До чего человека пришибли!

Пароход всё бежит к северу. Берег становится круче и грандиознее. Вдали уже рисуются настоящие горы, точно синие тучи, поднявшиеся к ночи на горизонте. Запад гаснет. В золотистом блеске зари еще резче выделяются готические остроконечные пихты. Они кажутся темнее при этом освещении. Кое-где на вершине глиняных холмов, точно костры вспыхнули, зыблется прощальное сияние отгорающего дня. Краски сгущаются, розовое становится пурпурным, желтое тоже начинает рдеть багрянцем. Но скоро прохладный вечер сливает в одно мглистое марево и силуэты далеких гор, и очерки лесов, заслонивших от нас луговой простор Закамья, то есть Вятской губернии. Скоро и ближайšie холмы слились с лощинами, только берега Камы еще видны. Сумерки густеют и густеют, пока гаснет запад, пока густые краски его, в свою очередь, не расплылись в однообразных тонах безоблачного вечера. А там и сумрак посветлел. И опять стали выступать отовсюду вершины холмов, очерки сосновых боров, синие тени лощин, только без дневного освящения, когда каждая травка светится, когда на каждой вершине точно вспыхивает неведомый алтарь. Здравствуй, северная красавица, белая ночь! Ты, задумчивая и молчаливая подруга яркого и веселого дня; ты, грустно опустившая свои серые очи, порою повитая туманом, порою чистая и девственная, сердобольная сиделка глубоко, целые века спящего полярного края. Со всех сторон слышен запах смолистого леса. Сосна по воде дышит нам навстречу. Везде простор, воздуха вволю, совсем не то, что на далеком, недавно оставленном юге, где душно, где в каждом атоме, кажется, дрожит и курится цветочная пылинка, где кровь бьет в голову и нервы ходуном ходят от раздражающего аромата роз и жасминов. Вон, по воде, легкий туман. Точно занавесило берег. Точно ревнивая вода не хочет показать нам, не хочет обнаружить, что творит она с этим берегом за мглистым покровом тихой ночи. Деревья ушли во мглу, будто закутались до рассвета. Деревушки в лощинах тоже ушли в серое марево. Редкие огоньки оттуда, точно заспаные глаза, хотят разглядеть нас в сумерках и не осиливают дремы, гаснут, смежают веки.

– Эх, беда! – злится лоцман Терентий.

– Чего беда? Такая чудесная ночь. Я с палубы не сойду до утра.

– Вам ништо. А тут, пожалуй, на мель сядешь. Нет хуже, как мзга эта пойдет. Теперь в оба. Носом нюхай. Глазом не увидишь – на память надо.

Постройки, которые еще можно разглядеть, совсем не то, что пониже. Соломенные кровли пропали. Видимо, ставились избы, когда лесу было вдоволь, когда брёвна доставались дешево, а то и совсем даром. Всё строено на широкую ногу. Дома не то, что в Архангельской губернии, не в два этажа выведены; зато прикамские вширь раздались, точно локтями расперлись во все стороны; на заборы пошла доска, ворота из кондового леса. И всё здесь кажется шире да просторнее. Кама, чем ближе к Перми, тем берег от берега дальше уходит. Липа давно пропала, березняку вдоволь. Изредка в высоте мелькнет чайка над неподвижною водою, точно прорежет торжественное молчание ночи своим резким криком, и опять ее не слышно и не видно. На одной из пристаней крестьянин на пароход сел. Близко к свистку попал.

– Впервые я, батюшка... боязно! – пугливо озирался он во все стороны.

– Откуда ты?

– Вячий. Отродясь не видал... Господи!.. Сказывают она духом...

– Что она?

– Машина-то! Духом ее пуцают.

В это время свисток громко свистнул. Едва успел матрос захватить мужика за шиворот. Со страху он за борт было кинулся. «Господи милостивый», – повторяет и крестится. Пользуясь случаем, когда матрос отвернулся, он и трубу перекрестил. Свистнуло еще раз – мужик опять к борту. А как запыхтел пароход да двинулся вперед – крестьянин совсем ополоумел. Подвели его к машине.

– Батюшки... Руки у яво железные.

– У кого у него?

– Вишь ты, как он перебирает. Сам бежит, нас за собой тащит. Это он колеса-то руками ворочает... Страсти Господние...

В Нытве высаживаться стал.

– Куда ты, ведь тебе до Перми?

– Точно, что в Перми у меня сынок-от.

– Так чего же ты сходишь, ведь столько верст еще?

– Уж дозвоьте... Я пешком... Очень боязно, пешочком дойду, а то, может, ботничек какой будет.

– А на ботничке не страшно?

– На ботничке чудесно. А тут тебе в уши свищет...

Так и отправился пешком.

– В Глазовском уезде у них народ дикий. Эти, которые больше охотою да хлебом живут. Первый раз они страсть пароходов пужаются.

– А вы турку нашу видели? – обратился ко мне матрос.

– Какую?

– Настоящую, как есть, неверную турку, то есть теперь окрестили его, а прежде он в неверных был.

Оказывается, тут же на пароходе старик-матрос из турецких военнопленных, взятый еще под Севастополем. Горбатый, весь седым волосом поросший, только черные глаза из-под низко опущенных бровей хищно горят. В остальном ничем не отличить. И выговора не заметно чужого.

– Его купец один окрестил... Силой.

– Как это?

Неверная турка улыбнулась.

– Точно, что силой... Не по согласу... Я в те поры не хотел, да ради страха смертного.

– Расскажите, как это?

– Во Владимир я к одному купцу в конюхи попал. Ну, житье было чудесное, первый сорт...

Только что свинину заставляли есть; я было не хотел, так купец раз пьян напился, позвал меня к себе в горницу. А меня Юнусом звали. «Ты, – говорит, – такая-сякая Юнуска, отказываешься свинину есть?» Я ему: это по нашему закону... Пошел он в другую комнату, ружье вынес. «Ешь, – говорит, – а ежели не станешь, молись своей Алле, сейчас тебе капут будет, потому Бог свинью нам в день пятый на потребу создал, а ты ею брезгуешь... Я тебя за твой грех наказать должен!» Посмотрел я на него, глаза у него кровью налились, ружье, думаю, заряжено... Ну и стал есть... Только у него кюфарка была, хорошая такая, мы с ней и спутались. Хозяин узнал, сейчас большой шум, христианка и с туркой неверной... Стали меня пужать... Думал я думал, а тут, говорят, в Сибирь сошлют на вольное поселение... Махнул я рукой – да и перекрестился...

– И не тянуло на родину?

– Как не тянуло. Первое время шибко тосковал. Дети у меня остались дома, двое. Бог знает, что с ними, живы ли! Иной раз и теперь заскребет на сердце... Да что! Суждено так...

И турка неверная тяжело понурилась. Разбередили старое.

## **ХII. Пермь. – «Козий Загон». – Жертвоприношение Богу. – В театре. – Купец первой гильдии в роли медведя и пермский первобытный человек**

Мне теперь немного придется говорить о Перми. О ее заводах, значении для края я скажу в описании Урала. Здесь же будет уместно набросать только несколько характерных очерков ее общественной жизни. Издали, с палубы парохода, город чрезвычайно красив. Он, как и Астрахань, имеет свой особенный запах. Его слышишь издали. Подъезжая к Астрахани, не знаешь куда деваться от ароматов воблы и бешенки, около Перми вас обдаёт дымом и маслястой гарью, объясняемыми близостью мотовилихинских заводов. Губернский город сравнительно с Мотовилихой кажется очень незначительным. На высоком правом берегу Камы прежде всего обрисовались перед нами большие колокольни. Одна из них, по самой середине города, очень напоминает Симонову в Москве. Впереди зеленая чаща Любимовской заимки, налево городские дома. С первого же раза пришлось окунуться в грязь. Улицы не мощены, колеса тонут по ступицу, в дождливую погоду городские франты кричат караул на середине площади.

Рассказывают, что в этой грязи пьяные купцы находили себе не раз преждевременную могилу... Навстречу попадаются всё какие-то скуластые лица, с маленькими носами-пуговками, с выдавшимися выпуклинами бровей и с весьма слабою растительностью на усах и на бороде. Сибирский тип уже сказывается с первых шагов. Красивые женские лица редки, уроженки Перми сверх того ходят уточками, с перевалкою, и все почему-то кажутся, даже несомненные девицы, в интересном положении. Такая уж манера держаться. Пишу это по долгу беспристрастного туриста, но с немалым страхом и трепетом. Дамы вообще обидчивы, что и доказали прекрасные финки десятком протестов по поводу моих статей. Преждевременно убелясь сединами от огорчений, причиненных мне саволакскими и иными чухонскими красавицами, умоляю пермских дам пощадить меня и не лишать жизни... ибо обиженная дама на сие способна! Город, в сущности, очень миниатюрен, потому что, куда ни зайдешь, отовсюду виден конец его. Любимое место прогулок носит прозаическое название «Козьего Загона».

– Почему это? – спрашиваю я у одного скуластого пермяка.

– Потому что мы наших супружниц сюда для прохлады по вечерам загоняем...

Вид отсюда дивный!

Внизу струится красивая Кама, по ней тянутся беяны, пароходы бегут, скользят лодки. Противоположный берег низмен и, насколько хватит взгляда, верст на пятьдесят вперед покрыт сплошным величавым северным лесом. Отсюда, сверху, видны только вершины этого леса, уходящего в бесконечность, мерещущиеся и там, где уже ничего нельзя разобрать...

Матовые, мягкие, бархатистые, зеленые облака... Не оторвешься от них, как не оторвешься от картины Заволжья с нижегородского откоса, от саволакских далей с горы Пойю в Финляндии, от вида Подола и Заднепровья в Киеве. Ужасно напоминает эта лесная даль одну из лучших картин барона Клодта, где так же всё полотно залито могучей ширью северного лесного царства. Направо, верстах в четырех от Перми, клубится черный дым, торчат красные заводские трубы, нелепо кучатся технические постройки Мотовилихи.

– Что за прелесть! – невольно проговорил я, опять обращая глаза к этой заманчивой дали.

– Да! Ежели бы позволили вырубить, большие бы тыщи можно было получить.

Оглядываюсь – та же скуластая физиономия.

– Я говорю: красиво.

– Еще бы не красиво, на миллионы лесов тут... Чутьочку бы...

– Да я не в том смысле.

– Смысл один и есть... Мы люди торговые. Нам деньги надобны. А что для глаз – так за деньги я бы таких флигирей настроил красных и желтых. И в каждом бы у меня музыка играла...

Я засмеялся.

– Что вы думаете, у нас тут не живут. У нас весело, коли кто умеет. Вот как у нас. Недавно купец один замуж дочь отдавал; что ж бы вы думали, свадьбу-то ведь три месяца праздновали. Сначала сами пили, потом

извозчиков стали поить, надоело – давай прохожих ловить. Кого поймаем – поить. Всю Пермь споили.

Думаем, что бы еще придумать. Вакуров надоумил, спасибо ему; лошади еще трезвы, говорит, – лошадей шампанским налили. Козы все по городу точно очумелые ходили, медведь у одного купца был – и медведя стравили водкою...

– Что за безобразие!

– Верно говорю. Тут раз на одном заводе какая блажь золотопромышленнику пришла. У нас на гитарах ездят. Изволите знать?

– Еще бы, у меня до сих пор кости болят.

– Ну вот. И у него заболели. Собрал он пять таких гитар: сколько стоит? Ну, извозчики видят: купец пьяный, щедрый, душа у него распахнулась – бери! Заломили они цену... Велел он вывезти за город – вывезли. Отпрягли лошадей, назад погнали. Сложил он гитары, якобы костром, керосину навез, облил. Потом подвел, спяна-то, сына своего единородного и говорит: «Есть такое мое желание, чтобы тебя в жертву принести. Сейчас я тебя на этих гитарах заколю, и моли ты, милый сын мой, на том свете за меня Господа, чтобы простил мне прегрешения мои. А потом я тебя сожгу, наподобие как в Индии». Сын завыл... Видит, у отца в глазах помутилось и нож в руках. Еще счастье, что наши набежали... Отняли... Так он что? Как бы вы думали? «Дураки, – говорит, – ежели бы Богу угодно не было, Он бы ко мне ангела своего послал удержать руку мою родительскую. Я бы тогда коня своего на сем самом месте принес бы ему в жертву». Опосле скоро тот купец от белой горячки помер.

– Да это вы шутя рассказываете?

– Зачем... А чтобы коней шампанским мыть, первое для нас удовольствие. Особливо как ежели екатеринбургский купец завяжется.

– Что ж там купцы особые?

– Не то что особые, а деньги у них легкие. Весь город краденым золотом прежде торговал. Ленивы стали, потому что страсть сколь они этих капиталов насосались. Поверите, какое-нибудь плевое тысячное дело одному сделать бы, так екатеринбургские, нет же, целой компанией, потому что одному, врозь, лень. Вы живали у нас когда?

– Нет.

– Поживите, увидите. Здесь хорошим праздником либо именинами такой считается, чтоб сколько вина в городе ни есть, всё стравить до капли. Без этого купцу стыдно... Брюха не хватит, крыши поливать станет. Один нарочно, около Перми это на одном заводе давно было, дом выстроил. Зажег его с четырех сторон и заместо воды из пожарных кишок спиртом поливать давай... А вокруг музыка! У нас так, когда купцы пьют, на городской бульвар не показывайся. Все по домам запираются и ставни наглухо!

Бульвар этот действительно прекрасный. Он около города, близ заставы. При мне гуляющими были пара козлов, рога которых были выкрашены зеленою краской. Козлы шли чинно и солидно рядом, точно рассуждая о чем-то. Мое появление привело их в некоторый раж. Они внезапно разодрались, мужественно подставляя лбы друг другу. Спустя несколько минут оба так

же чинно продолжали свой путь по бульвару. Не один ли это из тех козлов, коих столь неистово спаивают купцы на своих именинах?

В городе, несмотря на то что есть деревянный театр, строится громадный каменный.

– Хоть в столицу! – хвастаются пермяки.

Мне только непонятно, на какую публику рассчитывает строитель. Разве купцы станут с собой козлов брать – другое дело. Впрочем, когда я вечером сунулся в деревянный сарай, именующийся театром, я нашел его довольно полным. Я не помню, что такое шло на сцене. Действующие лица в партере и ложах были гораздо интереснее. В первом ряду сидел какой-то скуластый купец в широких шароварах, нанковых, разумеется, и донельзя засаленном пиджаке; обвалившаяся, как блин, фуражка торчала на затылке, козыремверху, как будто она, распутив крылья, собирается вот-вот улететь в поднебесье.

– Мишенька! – кричал на всю публику из ложи к нему такой же экземпляр.

– Ау? – отзывался этот.

– Гросс-Петрова ничего?

А Гросс-Петрова в этот самый момент со сцены читает какой-то чувствительный монолог.

– Хороша, канашка! Позовем ее ужинать... В клуб ежели?

– Не поедет! – вмешивается третий из публики.

– С такими купцами да не поехать! – вступает четвертый. И в то время как на подмостках жертва какого-то ужасного злодеяния никак не может умереть, потому что автор мешает ей длинными монологами, эти четверо во всё горло перекрикиваются между собой.

– Кто с тобой поедет, безобразник, – всем мешаешь! – не выдержал, наконец, какой-то офицер.

– Захочу – всех спойть могу! – с полным сознанием своего достоинства парирует золотопромышленник.

Гросс-Петрова, наконец, соглашается совсем умереть, но автор заставляет ее еще спеть что-то. Начинается пение.

– Прачку пой! – орут из райка.

– Не нужно прачку!.. Вьюшки!.. Вьюшки!.. Верьвервььюшки, вьюшки, вьюшки!

– Из бархату башмачки сафьяновые! – подхватывает публика.

– Что это у вас? – спрашиваю я у соседа.

– Промышленники наехали... Чудят. Они теперь долго не уймутся. У них угар по месяцу.

Из оркестра обернулся и смотрит, улыбаясь на публику, капельмейстер Козловский-Лисовский.

– Лисовский, браво! – ни с того ни с сего кричат из лож.

– Ну тебя к черту, помирай скорее! – приглашают актрису в партере.

– Хороший человек – Лисовский, браво!

– А я не согласен! – ни с того ни с сего срывается из партера совсем уже пьяный промышленник. – Я не согласен!

– На что не согласен?

– По рублю двадцать за пуд не согласен.



– Чего ты? Очумел? Ты погляди: где ты?

– А? Господи, что же это? Сейчас на бирже и вдруг... Святители...

Кругом хохочут... Водевиль начался. Выскочила актриса с соблазнительными икрами. Платьице до колен. Носик кверху, глазки так и заигрывают. Тру-ля-ля какое-то спела и давай приседать.

– Эх, хороша Маша, да не наша! – вздыхает кто-то во всё горло.

– Кабы денег чаша, была бы Маша наша! – сочувственно отзывается ему Мишенька.

Патриархальность вообще поразительная. Еще железнодорожные внесли нравы более культурного времени. Постороннему, попавшему сюда, покажется, что он каким-то чудом перенесен в эпоху свайных построек. Впрочем и из образованных некоторые здесь быстро нивелируются. Понадобились мне кое-какие сведения, иду я к А-ву. Он еще дня за два провел вечер со мною, и я обрадовался: наконец нашел с кем душу отвести. А-в жил в своем доме.

– Дома? – спрашиваю у лакея.

– Дома, у себя-с! – нерешительно ответил он. – Только они-с... А впрочем, пожалуйста.

Вхожу в комнаты и останавливаюсь, понять не могу, что такое.

А-в идет прямо ко мне. Голый, даже без фигового листка, на голове лавровый венок, в руке трезубец, через другую переброшена оленья шкура.

– Поведай мне, что привело тебя, несчастный, в сию ужасную пустыню? Я хлопаю глазами, разумеется.

– Иван Петрович, что с вами?

– Я первобытный человек! – гордо ответил он и, обернувшись ко мне спиною, в чём был, пошел в другие комнаты.

Не зная, что делать, я оперся о письменный стол. Еще очнуться не мог. Вдруг чьи-то зубы впились в мою ногу. Едва отскочить успел.

Смотрю, из-под стола на четвереньках и тоже голый вылезает, рыча на меня, вчерашний Мишенька (зри сцену в театре).

– А я ведь медведь! – поясняет он, видя мое недоумение.

Разумеется, пермская жизнь далеко не исчерпывается сими сценами. Есть тут кружки не о едином хлебе помышляющие; не все пьяницы да чудачки. Но в такие недели, в какую я попал сюда, уж очень разят свежего человека безобразия, творящиеся здесь. Потом, пошатавшись по Пермской губернии, я ничему не удивлялся.

Одному заводчику пришлось, например, в голову водить свинью в генеральской треуголке и со Станиславом на шее; другому доставляло удовольствие ездить верхом, держась за хвост лошади, задом наперед. Третий заказал себе гусарскую форму и носил ее. Четвертый пожертвовал десять тысяч рублей на постройку мечети в Тегеране, желая получить орден Льва и Солнца от персидского шаха; пятый вообразил себя физиологом и истребил на опыты всех кошек в окрестности, так что приехавший к нему отец должен был пригласить священника очистить его. Шестой похоронил своего пса чуть не с царскими почестями. Как будет видно из моих последующих очерков, вне района городов я встречал здесь в высшей степени развитых и симпатичных людей, скромных тружеников. Они оставили во мне самые приятные

воспоминания и заслонили неприглядную картину пермского безделья. Где ни останавливался я на заводах – сейчас же приходилось знакомиться с техниками, горными чиновниками уже иного закала...

– Иной раз и мы чудим. Нельзя. Одурь возьмет. Скучно! – говорил мне один из них.

– В Екатеринбурге вы увидите настоящих людей... Там много хорошего...

И в самой Перми я с удовольствием вспоминаю кружок М-скаго. Тут собирались по вечерам, обходились без вина и без карт. Спорили, читали. Беседа заходила далеко за полночь.

– И скажи ты мне, милый друг, что это за корреспонденция такая, что мы всё пьем, пьем и опиться не можем? – спрашивал меня один из этих безобразников.

– Бить бы вас! – шучу я.

– Пробовали, – совершенно серьезно пояснял он. – Жена меня пьяного как в кровать уложит, так крапивой бывало... Ну и ничего... Не помогло... Я вот что думаю... В монахи если.

– Нельзя.

– Почему?

– Потому ты весь монастырь споишь. Тебя на другой же день прогонят.

– Это так... А только и скучно же нам. Душа в нас без пойла этого тоскует. Сказывают, такой запойный червь есть, внутри сидит он. По наукам так это выходит?

### **ХIII. Вверх по Каме. – Пароходы Житкова. – Мотовилиха. – Бабья кавалерия. – Меловые столбища. – Как министр знакомился с местными нуждами. – Кампетесы и медведи. – Местный кредит. – Опять лесоистребление**

Вверх по Каме я не советую никому подыматься на пароходе «Лебедь». От Перми до Усолья ходят уже не те пароходы, что до Перми. Кама тут иной раз мелководна, есть постоянные мели, и большие пароходы не осилили бы их. На наш «Лебедь» насело столько народу, что я невольно изумился. Яблоку негде было упасть.

– Да у вас сколько билетов полагается?

– А у нас так, по душе; комплекту нет, а сколько придет пассажиров, столько и повезем.

– Ну а если бы еще пришли вдвое против нынешнего?

– Тогда подвинули бы народ. Кое-как разместились бы.

– Да ведь теснота какая!

– В тесноте люди живут, да еще как! Бог тесноту любит. И хозяину польза, да и пассажира отказом не обидим.

Несмотря на высокие цены за первый класс, удобств никаких. Грязь везде: на столах, на диванах, на полу. В каютах еще хуже, чем в общей зале.

На палубе сажа слоями лежит. Зато образа повешаны везде и лампы горят. Образа даже снаружи кают, против ветра смотрят.

– Отчего не подметут? Посмотри, грязи везде сколько.

– Сами сотрут. Смотрите, всё на полушубках да на сермягах останется, – отшучивался шкипер. – У нас и хозяин такой же, Житков. Ему бы денег больше, а на чистоту он рукой махнул. Мы не немцы; тем точно чистота нужна, а мы и без этого проживем.

Вон направо тянутся громадные постройки мотовилихинского завода. По обеим сторонам ее на плосковатых возвышенностях вытянулись темные ряды изб, где живет всякий заводский люд. Металлические купола и каменные гигантские трубы, масса кирпичных построек, белый силуэт церкви и опять неизбежные темные пихты, и позади, и по сторонам – всё это открывается перед нами вместе с лощиною, мимо которой пробегает пароход. На всём лежит красный, железистый колорит, словно и самая лощина, и постройки на ней осыпаны рудничною пылью. Пока, стоя на палубе, я смотрел на Мотовилиху, наверху точно что-то треснуло и раскатилось глухим и торжественным громом. Подымаю голову – нежданно-негаданно набежала грозовая туча. И солнце, и дождь. Яркие лучи играют в каждой капле его. Что-то веселое, живое сказывается даже в свисте ветра, как будто пробующего, насколько крепки наши снасти и прочно ли поставлена скрипящая под его налетом труба. Впрочем, гроза продолжалась недолго. Когда пароход добежал до Меловых столбищ, белыми массами обрушивающихся в Каму, – дождя как не бывало и всё кругом горело и сверкало, и леса в лощинах точно посвежели, и даже темные, траурные пихты, неизвестно как пустившие свои корни в меловые скалы, и те высматривали не так торжественно, вымытые дождем. Вон, по дорожке, на белых утесах показались бабы целою гурьбою и все на конях – верхом.

– Вон наша кавалерия. Этакую нигде не увидите.

– Действительно нигде!

– Вы, как вернетесь в Пермь, не раз увидите их таким образом приезжающими на базар. Они у нас чудесно ездят.

– И кони прекрасные.

– Еще бы... Ведь это от тех самых казенных производителей, которых земство уничтожило. Теперь близок локоть, да не укусишь.

На левом берегу темный лес отступил, обнажив песчаную понизь. Дальше песок переходит в белую, известковую почву. Я первый раз в жизни видел, чтобы на ней могла подняться такая богатая зелень. Столбища всё растут и растут, меловые скалы делаются грандиознее и грандиознее. Они уже давят Каму, покорно и тихо струящуюся у их могучих подножий. На самой верхушке одного из утесов точно горят какие-то искры. Всматриваюсь – изба, поставленная окнами прямо к солнцу. Берег мне показался тут гораздо выше Жигулевского на Волге, а девственная белизна его слепила глаза, пока она не посерела, пока в массе мела не проступили красные тона и, наконец, почва не стала глинистою.

– Тихо же идет ваш пароход.

– Тихо-с. В сутки мы делаем двести двадцать верст только, даже по течению.

Между нами оказался чистокровный петербуржец. Шляпа точно сейчас из витрины у Брюно, щегольской сюртучок, какие-то прюнелевые летние ботинки. Монокль в глазу, и на лице улыбка снисходительного благоволения ко всему окружающему.

– Вы куда? – спрашивают его.

– Командирован! – и в голосе слышится: вы-де со мной поосторожней.

– Зачем?

– С уче-но-ю целью! – отчеканил он, точно сверху вниз.

– Вот это приятно. А то нас совсем позабыли.

– Да помилуйте, – вдруг переменял он тон на совсем недовольный. – У вас ничего не увидишь. Приезжаешь на завод: «Как у вас грамотность?» – спрашиваешь. – «Пожалуйте, у нас сегодня пирог с капустою». Такую кулебяку загнули! «Ну а насчет народной нравственности?» – «Не хотите ли перемен тарелочку?» Интересуешься статистикой вашей, а вы меня бараньими боками с кашей угощаете! Оказывается, что в конце концов я отсюда одни только кулинарные познания вывезу. Ведь это срам! Вернешься в Петербург, спросят: что видел? Ничего, кроме кулебяки!

– Да коли у нас вся статистика в этом, – отшутился пермяк.

– Они, эти, «с ученою целью», чудные! – рассказывал он потом. – Тут один академик ездил, так он всё на других сваливал. Приготовьте мне записку об этом, напишите, как у вас то, пришлите мне описание такого-то места. А сам никуда так из номера гостиницы и не выезжал. Вот вам и ученая цель. Что ж нам с ними возиться. Вы вон хоть на этого нашего спутника полюбуйтесь. Ишь у него палевые, прюнелевые ботинки; ну как он в них по нашим горам полезет? Неужели в своей жакетке в рудники опускаться станет? А тоже ученая цель. Мы ведь видим, кому что нужно. Явится этакий ветер, ну, угостим обедом, честь честью; так накормим, что у него глаза на лоб вылезут, и ступай себе дальше. Вы копните-ка его. Думаете, действительно интересуется чем? Ни Боже мой! Для него вопрос, скоро ли его камер-юнкером сделают, гораздо интереснее всяких других соображений. А тоже с ученою целью. Тут не только простые смертные, министры к нам ездят и тоже таким образом. Изволили слышать?<sup>6</sup>

– Нет.

– Как же. Мы смеялись, смеялись потом; в лоск легли. Пишут: собратся туда-то всем – собрались. Ждем. Является сам его высокопревосходительство. Ничего, не кусается; пожал двум-трем руки, остановился, кивнул головою и сейчас в позу. Еще и с дороги не отдохнул, а уж два пальца за борт, ногу вперед, грудь колесом и «милостивые государи!..». Ну, милостивые государи подтянулись, внимают. «Я вас созвал для того, чтобы познакомиться с вашими нуждами, выслушать вас, узнать, какие меры необходимы для процветания края. Прошу вас говорить со мною откровенно, как бы вы были между собою, как будто с равным». Только что мы собрались рот раскрыть... нужд-то ведь у нас не обобратся, кишмя кишат. А у него, глядим, новая ораторская поза. «Но прежде, милостивые государи, чем вы сообщите мне ваши законные

<sup>6</sup> Автор был на Урале в 1876 году.

желания, прошу у вас позволения сообщить вам мои собственные взгляды на русское горное дело». Новая ораторская поза, и еще более величественная. «Когда я был в Саксонии и Силезии...» И пошел, и пошел. Час говорил, два говорил, до поту нас прошиб. Наконец кончил. Думаем, вот начнется теперь беседа. А он вдруг: «Ну, теперь, господа, надеюсь, мы поняли друг друга. Вы знаете меня, я вас. До свидания!» Общий поклон. И ушел к себе. Разинули мы рты, смотрим друг на друга и ничего сообразить не можем. Сколько начальников перевидали, а такого еще не приходилось. Наконец так поняли, что он нас выслушает завтра либо сегодня вечером. Послали узнать спустя часа четыре: давно уже дальше уехал, говорят. Вот как они наши нужды изучают!

– Ну а сам-то он дельно говорил?

– Какое, помилуйте. Более всего о том, что такое саксонцы и силезцы, а потом – какие короли и что именно ему сообщали.

Я расхохотался. Знакомый образ петербургской важной, «обоего пола», как говорится в дворцовых указах, особы так и обрисовался передо мной во всей его неприкосновенности.

Опять пошли меловые горы. Вон две бабы всползают вверх. Точно два маковых цветка, от кумачного платья, в которое они одеты. Посмотрел я в бинокль. Прodelают ступеньку, станут на нее и следующую высекают. Танталов труд. Горные речонки с громким шумом выбегают в Каму по узким лощинам, где стоит вечная тень и прохлада. Воображаю, как чиста вода этих речек, как весело струятся они, светлые, по беловатому меловому дну. Каждую рыбку в них видно, каждый камешек себя показывает.

– Хариусов здесь здорово ловят на мошку.

– На какую?

– Да видите! Хариус рыба жадная. На всё кидается. Ну ловцы выщиплют шерсти с армяка – и на уду. Хариус думает мошка – хап! А вместо того сам на уде бьется.

Массы белого камня горбами выдаются над водою; иные на значительной высоте и совершенно правильной формы, точно пьедесталы, приготовленные для каких-то колоссальных статуй. Мне так и припомнились святогорские скалы на Донце. Только здешние, камские, более грандиозны.

Вон у самого берега барка. Ее грузят известковым камнем, обожженным здесь же. Совершенно чудские типы работают на барках: скуластые, узкоглазые, сильные. Видимое дело, такому мужику десять пудов поднять ничего не значит. Крупное туловище на коротких крепких ногах. Руки, что твоя лопата. Вышина берега здесь до сорока сажен. На реке Косье потом я нашел такие же меловые скалы, но те возносились на шестьдесят и на семьдесят сажен. Там же и на Усьве в имениях Всеволожских поднимаются шиферные горы со сланцем. Превосходный черный аспид разрабатывается для столов. Снял лист в два квадратных аршина, и без всякой обработки он чист и гладок. Стол и готов.

Весь берег Камы кишмя кишит здесь народом, кучками уселись. Гнездами насекомых кажутся они отсюда.

Будто сотни муравьев сбегались и копошатся над чем-то. Вырабатываемый этими рабочими камень тут же внизу грузится в сотни барок. На них

сначала был доставлен чугун на заводы, потом их продали за полцены местным каменщикам, которые на них сплавляют алебастр в низовья Камы. Работа трудная, редкий на ней выстаивает долго. Известковая пыль ест глаза, иные и вовсе слепнут; тем не менее за такую каторгу платят не более тридцати копеек в день. Таково здесь положение крестьянства. За эти тридцать копеек мужик должен отработать не временем, а гуртом; снять известную часть известковой площади. Уроки назначаются хозяевами, которых менее всего можно упрекнуть в снисходительном отношении к своей артели.

– По человечеству бы жалко! – говорю я одному такому левиафану, бывшему у нас на пароходе.

– Оно точно. Но только себя да и своих детей нужно еще и прежде того пожалеть. Мы ведь их на эти работы не гоним. Сами идут. Вот ежели бы мы, как сплавщики по Чусовой, через волостное правление действовали, если бы народ к нам силою посылали, тогда, конечно, нехорошо бы это было. А к нам сами идут, да как еще просятся, только возьми. Бедность тут самая непокрытая. Коли бы не мы, совсем бы с голоду поколели.

По белому алебастру пошли черные гроты. Кого ни спросишь: «Что это?» – «Змей прежде жил. Клятое место». О Ермаке опять не слышно. Где по берегу земля есть, там зеленые луга, на них острые пихты. В кустарниках скрипят коростели. Всякая мелкая пташка ютится на них и свищет на вольной воле. В лощинах изредка поселок мелькнет. Вообще же безлюдье началось.

Вместо преданий о Ермаке пошли рассказы о медведях. Тут вон в заводе, спасаясь от лесного пожара, бросился медведь с утеса и убился. Там в кричный сарай залез медведь, увидел раскаленный металл в печах и давай метаться. С испуга дверей-то не найдет. Попал лапой в плавленную руду и тут же подох. Близ Романовского завода, село Гремячье, у самого села тут убили мишку, который без требушины вывесил девятнадцать пудов. На две ладони жиру одного на нём было. Другой зверь выдержал двадцать восемь пуль, так что Всеволожский донял его разрывною пулею. Медведь упал; управляющий Всеволожских Озер подошел, желая добить чудовище из револьвера, но зверь вдруг встал, кинулся на него и нанес до двенадцати ран зубами и когтями. Наконец Всеволожский попал ему в голову, около глаза. Медведь, глухо рыча и шатаясь, отошел, вырыл себе под корягою место в куче старой листвы и рыхлой земли, и улегся там умирать. Длинною шкура этого зверя оказалась три аршина шесть вершков. Шерсть его была почти черная. У Лобанова под окна повадился ходить мишка, пока его не пристрелили. Судя по рассказам, здесь бы нашим немвродам настоящая лафа была. Охотятся здесь на зверя не по-питерски. Один на один выходят, настоящее ратное дело. Единоборство человека с лесным царем. Это и поинтереснее. У нас ведь так: приговорят медведя к расстрелянию, подымут его из берлоги, сонного, голодного, слабого, или окружают сотней-двумя крестьян и исполняют приговор на почтительном расстоянии. Пермская охота куда интереснее. Тут, впрочем, не на одного медведя выходят. Тут и сохатые попадают, но в последнее время очень редко.

Еще дальше пробежал пароход, и картина прибрежных сёл уже изменилась.



Хорошие тесовые избы. Есть такие семьи, у которых и по две избы встречается – летняя и зимняя. Народ тут рубит леса, свозит чугун и руду на заводы. Средний рабочий достает рублей пятнадцать, а то и все двадцать в месяц. С конем – больше.

– Коней только у нас мало ноне.

– А что?

– Прежде, как случная конюшня в Перми была, куда лучше.

– Эта, что земство уничтожило?

– Не земство, помещики.

– Вона!

– Верно вам говорю. Досадно, вишь, им стало, что у них крестьян да землю отняли, они и конюшню изничтожили. Вот, говорят, нате: ни себе, ни собакам. Только мы и держимся кобылками, что от прежних пошли, от настоящих праведных.

Теперь Пермское земство идет другою дорогою. Теперь оно действительно работает для народа. Но я когда был там в 1876 году, смышляевщина доводила население до одури. Одна эпопея Сибирского тракта заслуживает быть описанною вполне. Нужно же знать, с какими деятелями часто приходится считаться темному и неграмотному люду. Защиты нет. Пермская администрация еще держала руку Смышляева. Вот если бы земство заявило попытку быть самостоятельным, тогда администрация согнула бы его в бараний рог. А без того ходи вольно и безобразь, сколько душе угодно.

По сторонам уже показывались заводы. Некоторые из них, впрочем, были в полном бездействии. Оказывается, что иные уже лет по десяти не выработали ни одного пуда железа. Голодное население разбежалось куда попало. Капиталов нет. Банки пермские не оказывают заводчикам никакой помощи. Заводчики, нуждаясь в деньгах, бьются в ежовых рукавицах покупателей-купцов, которые, будучи директорами банков, управляющими ссудными кассами, держат заводы в таком положении, чтобы банки им не выдавали ни копейки. Нельзя получить денег даже под залог металлов. Поэтому, какую пермские Разуваевы и Колупаевы назначат цену на продукты заводского производства, за такую владельцы их и отдают. Таким образом, население работает вместе с собственником завода на Разуваевых и Колупаевых. Государственный банк, положим, выдает ссуды, но на основаниях, существовавших шестьдесят лет тому назад, т. е. под пуд листового железа первого сорта один рубль пятьдесят копеек, тогда как в частной продаже он давно вырос до двух рублей семидесяти пяти копеек и даже до трех рублей. Поэтому частные заводчики здесь, если они не имеют больших средств, то и дело разоряются.

– Мне, например, приходится иметь дело с купцами. Они всю нашу подноготную знают, – рассказывал мне спутник. – Предчувствует повышение цен, стакнется с кредиторами, те меня прижмут. Куда деваться? Бросишься в одну, в другую сторону, денег всё равно ни у кого нет. В банк нечего и соваться. Всё равно, он его опутал со всех сторон. Поневоле к нему. А он, хотя уже и приготовился, тоже начинает казанскую сироту петь.

– Петр Кузьмич, помогите.

– В чём-с? Ежели по христианству что, советом, готов.

- Какой советом, деньги надобны.
- Деньги ноне всем надобны, – морит он меня.
- Вот и мне тоже.
- Поищите, ежели надобны. Может, и найдете.
- Вот я к вам затем и пришел, чтобы найти.
- У меня денег нет-с!

Иной даже для очевидности карманы вывернет при этом, точно он сотни тысяч при себе держит.

- У меня денег во всём доме ста рублей не наберется.
- Врете вы! Ведь я знаю.
- Вот вам Христос истинный!
- Ну так в банке у вас лежат.
- Не могу и из банка, потому должен я о своей семье подумать; не всё же мне для вас жить.
- Ну так я к Иволгину пойду, – пугаешь его.
- Идите, пожалуй. Мне что... мне всё равно. Я его видел вчера, у него тоже нет. Всё в обороте.
- Да полноте вам прикидываться-то!
- Чего прикидываться. Я вам правильно, по душе... Нет, ничего и не поде-лаешь.
- Ну так прощайте.
- Прощайте!

Так и уйдешь. Завтра та же история.

- Да чего вы морите меня, ведь я знаю уж вас. Ведь вы давно и сумму прикинули, какая нужна мне.
- Ей-Богу! Вот вам крест!
- Ну, прощайте.
- Прощайте.
- Ведь уеду. Смотрите...
- Уезжайте. Счастливой дороги... С Богом!

Наконец, уже на третий день начинаются разговоры, после того как он из вас все жилы вымотает. В поту весь и сам, и тебя в пот вгонит.

- Железо точно что понадобится мне листовое.
- Ну вот и берите вперед.
- Да ведь как вперед... Это от Бога...
- Цены будут чудесные.
- Это опять от Бога! А я так полагаю, что цена самая малая окажется. Железа до пропасти навезут.

– Помилуйте, я знаю. Менее двух рублей восьмидесяти копеек и ожидать нельзя за пуд.

- Так вы лучше уж подождите, да тогда и продавайте.
  - Не могу ждать. Нужно рассчитаться с рабочими.
  - А я о такой цене и слушать не хочу. По-моему, рубль девять гривен.
- Начинается новый измор. Рожа скуластая, заплыла жиром вся. Глаз не видать вовсе из щелок; сопит да молчит. Истинно один из тех трех китов, на которых земля стоит...

– Да вы хоть что-нибудь скажите!

– Рубь девять гривен! Я не неволю ведь... Не можете – погодите, тогда я, пожалуй, и по три рубля дам, если цены будут. Я и то, сочтите, сколько теряю.

– На чём это?

– Да на проценты. Сделайте милость, сочтите.

Звон в голове, в мыле весь, как конь, что в гору непосильный груз тянет.

Наконец, разумеется, соглашаешься, когда левиафан этот гривенник набавит.

– Господь уж с вами! Так для вас только, себя разоряю.

Вот наше положение каково! Рассчитаешься с рабочими, по заводу кое-что сделаешь, себе ничего не останется. Самое пропащее дело, наше заводское. Казенные заводы страсть как подводят иной раз.

Опять направо и налево потянулись обезлесенные берега. По пням видать, какие чудесные боры стояли здесь когда-то! Барки с дровами и плоты плывут мимо нас сотнями. Белое, «зарезанное», как выразился мой спутник, дерево издали еще обдавало смолистым запахом. Рощами пахло от этих распиленных и приготовленных к сдаче досок.

– Вишь она, краса лесная, плывет, – сокрушался пермский мещанин, любуясь на эти барки.

Всё скоро ляжет здесь под топором. До тла вырубят леса, и когда край совсем оголится, когда реки иссякнут, зимы станут нестерпимыми, земля заскучает и обесплодится, тогда только мы опомнимся и начнем по канцеляриям писать проекты о лесонасаждениях. Точно сосновые чащи так же легко развести, как клопов. И ведь указаний на зловредную и подлую деятельность монополистов и промышленников, изводящих леса, давно слышится немало. Но Министерство государственных имуществ, точно ему глаза завязали, ничего не хочет знать, ничего не хочет делать. Вопрос идет о спасении целого края, а ему и горя мало, лишь бы жалования получались в свое время. Да ведь, господа, если так дело пойдет, так скоро будет не из чего и жалование платить; а уж о прогонных да пособиях на поездку за границу и думать нечего. Под боком каменного угля масса, а мы леса истребляем, как нечто вредное. Разумеется, казенным заводам прежде всего следовало бы показать пример, заменив дровяное отопление каменноугольным там, где это возможно. Я повторяю слова людей, знающих Прикамский край. Еще десять лет, и от местных лесов не останется даже воспоминания – все сгинут. Мне по пути встречались целые горы, сплошь вырубленные для мотовилихинского пушечного завода. Точно облысели они; безобразно торчат с своими сиротливыми пнями. Противно даже смотреть на это безобразие.

– Неужели нет никаких средств?

– Нет! Потому что первые лесные вороги те, которым поручено беречь леса. Это всё равно что волкам поручить охранение баранов, одно и то же. Вы еще не раз увидите, что тут творится! Перевоспитать людей нужно. Нужно, чтобы взятка да нажива не манила к себе. Нужно, чтобы о завтрашнем дне думали больше. А то ведь нам как: после нас хоть трава не расти. А пока перевоспитаете – ни одной лесинки не останется.

Совсем дичь и глушь пошла около Дивьих гор. С их вершин, говорят, открываются несравненные виды на закамские окрестности, на сотни деревень, таящихся там посреди густых лесов, еще ожидающих губительного топора, на зеленые понизы, по которым лениво текут серебряные речки. Птицы черною тучею несутся нам навстречу. С одного берега на другой они перелетают по прозрачному чистому воздуху, в котором дым нашего жалкого парохода оставлял грязный след. Кое-где, по заводям, видны белые лебеди. Их здесь не трогают; они даже у заводов живут на всей полной воле. Народ считает большим грехом убить лебедя, потому что это «по преимуществу Божья птица». Когда, по зорям, слышится вдали громкий и резкий, точно металлический, крик ее, крестьяне говорят: «Ишь, Богу замолилась». Какой-то немец на Каме убил лебедя. Как нарочно, вечером лодка, на которой он плыл, наткнулась на коргу, и все его вещи пошли ко дну. Не успел немец выползти на берег, как крестьяне стали его увещевать: «Коли будешь лебедей бить, всегда тебя Господь накажет. Это ведь тебя опружило за лебедя». Лучше всего то, что немец этому поверил. Он ехал с нами на пароходе и сам рассказывал: «Я теперь лебедей никогда не стреляю». Усвоил он себе и русский армяк, и местный говор, но все-таки остался чистокровным германцем. Последних только и отличишь тогда, когда они остолбенеют от пива. Все национальные особенности в них скажутся: и бараний взгляд, и медленная речь, и словно пережевывающие жвачку челюсти, и тупоумие, и неистребимая страсть к остроумиям, от которых тошнит. Нашего немца, пока он не налился «биром», я тоже счел бы за настоящего пермяка, а тут он весь, как на ладони, обнаружился. Кое-где из лесу струятся дымки. Спрашиваю, что это?

– Дерево жгут на уголья. В Мотовилиху ставят.

– Да ведь у Мотовилихи свой лес. На сорок пять верст вверх по Чусовой тянется.

– Был когда-то. Теперь весь вычищен.

– Не может этого быть. Там ведь неисчерпаемое богатство было. Я слышал...

– Да вы слышали когда?

– Недавно.

– Ну, значит, те, которые говорили вам, задним числом считали. Все леса в печах мотовилихинских давно сожжены. Палки не осталось.

– Ну а новые не растут?

Собеседник мой только засвистал.

– Кое-где хлеб сеют на месте леса. Два, три года родится хорошо, ну а потом земля совсем тощает. Ни на что не способна становится.

– У нас все лесные дачи только имя такое носят. Вот, например, близ Екатеринбурга Пашийская лесная дача. Миллион десятин в ней считается, а и сажени не вырубешь. Голо!.. Всё сожжено!.. Так и со всеми заводскими лесами. Некоторые заводы и деятельность всю свою прекратили, потому что жечь нечего. Лес весь съеден оказался.

– У печей заводских пасти жадные. Всё сожрут... В десять раз больше лесу дай, ничего не останется.

– Что же население на этих местах делает?

– Нищие! Воруют, разбегаются... Хлебопашества мало по Каме.

По ту сторону, где тянется громадная понизь, тоже луговины всё. Не с чем подняться народу. До того дошли, что в некоторых заводах крестьяне, чтобы прокормиться, продавали на сруб, в заводские печи, свои жилые избы и сами переходили в клетки. Как они пережили зиму 1877 года, об этом один Бог знает, да и тот никому не скажет. И пережили ли еще... А если и выстояли, что они делали в последние голодные годы? Петербург тем и подл, что ему ни до чего дела нет. Хоть разваливайся Россия, лишь бы хватало податных сил народа на содержание грамотных и правящих классов, а каким кровавым потом достается эта подать – не наше дело.

#### **XIV. Последние бурлаки. – Крестьянская беда. – Разоренный край**

Утром, когда я вышел на палубу нашего «Лебедя», горы, сторожившие справа Каму, совсем пропали. Сочные низины расстилались по обе стороны. По самой реке островки заливное легло, невольно приковывая к себе взгляды яркою зеленью и пышными раинами молодого кустарника. По низинам во все стороны воложки серебрятся; кое-где на этих воложках чернеют ботнички рыболовов. Вот навстречу расшива, лямкой тянут ее. Знакомая картина.

– Последние могикане! – замечает сосед.

На Каме десятка два расшив осталось, да и те до Чердыни только ходят. Выше этого северного городка они не поднимаются и ниже Сарапула их не увидишь. Вот он отживающий промысел, загнавший в ранние могилы не одну христианскую душу. Вот она, эта классическая лямка, наследие суровой старины, вдохновившая не одного печальника за народ, вызвавшая из груди не один больной, по нервам бьющий стих...

– Вы это напрасно радуетесь! – прервал меня собеседник.

– А что?

– Да лямка уничтожилась, заводы закрываются, где же народ кормиться будет? Слова нет, лямка ужасна, убийственна была. Да ведь голодная смерть еще хуже или нет? Прикиньте. Работник на лямке от Сарапула до Чёрмоза получит шестнадцать либо семнадцать рублей; самому старшему двадцать придется на готовых харчах. Положим, этих денег бурлак не увидит, потому что он зимою их заберет хлебом и притом по бессовестным ценам. Ну а не будет лямки, зимою-то, хоть и по такой цене, где ему хлеба достать.

Как медленно тянется лямка, видно из того, что в два месяца бурлаки едва дотащат расшиву из Сарапула до Чёрмоза. Во всё лето с осенью удастся им сделать только два таких рейса; всего, значит, он получит, если не заберется хлебом зимою, от тридцати двух до тридцати четырех рублей, и притом за какую работу! Бечевника здесь нет, почва не расчищена, труд, следовательно, еще тяжелее. Лямку приходится тянуть через груды намываемого сюда хвороста, через коряги, через обрывы и щели, через камни, сдвинутые к берегам речонками. Иной раз лямочники по горло в воде тащат расшиву. Самому мне привелось видеть, как вдруг стеною обрыв высокий встретился бурлакам. Что

делать, пришлось по горло в воду лезть, и пошли, вытягивая через силу проклятую расшиву. При этом груз так рассчитали, чтобы на тысячу пудов пришлось не более одного человека. Ноги у них в крови; руки исцарапаны; через грудь, там, где она лямкой перехвачена, синие подтеки. Вот они подлиповцы настоящие! В синих, посконных рубахах, босые, плечи скривившиеся, груди открытые. На одном даже и штанов не оказалось. Потом, когда я проверил рассказы моего спутника, пришлось убедиться, что чердынцы на этот труд как на благодать смотрят, потому – нужда лютая заела. Совсем голутвенным народ стал. Местное хлебопашество обеспечивает продовольствие только на четыре месяца, а на восемь нужно купить вятского хлеба. Обвинский хлеб, из села Ильинского на Обве, дешевле, но тоже весь уходит на заводы. В 1876 году хлеб стоил по шестьдесят пять копеек пуд. Сочтите, сколько надо чердынцу истратить, чтобы прокормить себя и семью покупным хлебом в течение восьми месяцев. Завопит действительно, и бурлачеству обрадуется, как манне небесной.

– Вы не думайте, что у нас тут красивые да прочные избы, так и народ богат. Тут всё крестьянство переходом из крепостного права разорено.

– Старая песня.

– Да я ведь не крепостник, из крестьян сам. Знаю, какое это благо – свобода. Я вам говорю только о том, сколько времени мы здесь оброки платили; а потом выкупную сумму пожалуйста, а платить ее не из чего, потому что работы нет. Огородничество у нас ничтожное, хлеб, как леса вырубил, родится плохо. Да и постройки не везде. Вон, кстати, посмотрите-ка направо. Ишь какая красота! Деревня Емельяниха прозывается.

Это было что-то ужасное. Нищета голая во все прорехи сквозила. Кровли, точно ребра палой лошади, объеденные волками, так и торчат вверх; ничем они не забраны. Дома ветхи, малы, запущены; некоторые избы достроены только до половины, да так и оставлены. Привалили кое-чем сверху и живут. Ходить там ползком надо. Лапландские тупы куда удобнее и лучше. Колесных телег по всей этой местности у крестьян давно уже нет. Поневоле летом верхом, зимою в санках; не на что завести телег. Сюда подошел наш пароход грузиться дровами. Кучкою приступили к нам крестьяне, рваные, жалкие, робкие. Безысходная нищета так и сказывается. Даже и не просят, только страдальческими взглядами провожают вас. А в домах-то, в домах!

– Я все-таки не понимаю, почему именно переход из крепостного права в свободное обездолил крестьян.

– Да вот как. Предлагали мужикам полюбовное соглашение, отказались; обман думали. Веры не было к людям, которые руководили всем этим. Ну, десять лет таким образом и продолжали оброки платить. Одна слудская волость на это сто двадцать тысяч рублей даром отдала. Не хотим-де надела; на чём живем, то и наше; а теперь пришлось своим порядком выкуп платить. Да еще что. По уставной грамоте Строгановы обязаны давать лес до 1881 года даром, а управляющие его берут по полтора рубля за кубическую сажень; за трехсаженную лесинку в четыре вершка толщины подай двадцать пять копеек, да еще за двадцать пять верст всё это. Откуда взять? Ну и разорились. Зато ведь уж как-с, дотла!



– Почему тут хлебопашества мало?

– Земля здесь требует обильного удобрения через два года в третий, и то еще которая получше; а скота нет или мало. К заводам привыкли, не заводились скотом прежде; а как заводы закрылись, крестьян врасплох застало. Ничего у них. Да и урожаи здесь не особенные. В хорошие годы с десятины, засеянной двумя четвертями ржи, собирается до восьмидесяти пудов, а ячменя высевают три четверти и собирают семьдесят пудов. А дальше еще хуже. Наш ад вологодским зырянам раем кажется. Вы знаете ли, что они ходят сюда за шестьсот-семьсот верст на рубку дров; а платят им лесопромышленники самую малость – за ободок в четырнадцать четвертей закладки да два аршина два вершка высоты всего шестьдесят копеек. Они и за Урал уходят на работы. Что поделаешь, тоже нужда гонит. У нас тут четвертая часть населения совсем без скота. Кто по Иньве-реке живет, тому лучше. Там пермяки зажиточные, по пяти голов скота на семью приходится. В ином месте хлебопашество и могло бы идти, да не приучены. Прежде их за триста-четырееста верст высылали на завод. Всеволожские, например, три раза в год гоняли крестьян: весной, осенью и зимою; а теперь народ на местах живет. К чему он прилепится?

В Иньве, оказалось, живет пятнадцать тысяч пермяков, говорящих своим языком. Когда-то урожаи здесь были удивительные, народ поэтому одной домашней птицы массы держал. С тех пор как леса стали вырубать, и урожаем конец пришел. Теперь они позажиточнее других, но всё далеко от прежнего благосостояния. По Обве еще двадцать лет назад не знали, что такое голод. Обвинский хлеб развозился по всей округе. Вырубили обвинские леса; теперь отошала почва, и близко то время, когда обвинцам нечего есть будет. Благодаря тому, что в верховьях Косьвы, к Павде и Растёсу не добрались еще лесоистребители, косвинцы едят пока свой хлеб; но и это ненадолго. По Большому Висиму, Нижнему Лугу, Лёнве, Добрянке, Чёрмозу хоть совсем брось хлебопашество: неурожай за неурожаем. В прежнее время, в лесную пору, о такой беде здесь и не слыхивали.

– Заскорбели мы, очень заскорбели, – рассказывал мне один пермский крестьянин в Пожве.

– Житье плохое стало?

– Такое плохое, такое плохое, что и слухом не слыхано. На тех самых местах, где отец мой вон какие скирды хлеба ставил, теперь только вирец да зулина растут. Я еще мальчиком был, бегал. За Камой бывало и не видать ничего, стеной леса стояли; а теперь до самых гор глазу просторно. Ничего нет, точно палом прошло. Гладко. Что одного зверя бито здесь; теперь только птице вод. Такое время близко, что все помирать станем.

– Не нужно было лесов рубить.

– Купцы стали изводить наше царство сосновое с чиновничьего согласу. Чиновник нас продал, а купец сжевал. Ничего и не осталось. Купцу, известно, мы не дороги. Эх, царь-батюшка не знает. Коли бы знал он – не дал бы в обиду. Слышь, чиновники-то ему глаза отвели.

Несмотря на всё, в местном населении живет неистребимая вера в лучшее будущее. По одним толкованиям, явится оно из Питера в виде генерала, у которого на груди вышита будет золотая птица и который разберет

мужицкую беду и всех лиходеев и мироедов сошлет «на вольное поселение». По другим, казна откроет особые заводы, собственно для них, обойденных работников, и станет платить им не поденную цену, а сколько выйдет примерно с годового барыша завода. Выстроят им избы, дадут леса.

– Да откуда же лесов взять?

– Найдутся. За Уралом, в сибирской стороне еще их много.

– Там и завод откроют?

– Там-там.

– Да ведь для этого переселяться нужно.

– Мы и так согласны куда-нибудь. Что ж ты думаешь? Сладко нам здесь? Оно точно: могилки наши, церкви Божьи... Зато там целина. Нужи такой не будет.

Впоследствии в глуши Урала, на горе Святотроицкой, один из старообрядцев мне иначе объяснял всё это.

– С той самой поры и нужда пошла, как Никон стал. Допрежь нужи не было, по правде жили и Богу молились, как указано отцами святыми; а как ересь пошла, и благоденственному житию конец. А чем дальше, тем всё хуже и хуже будет, пока не обратимся.

– А скоро это по вашему придет?

– А когда народу совсем никуда пути не будет, тогда и поймут... И станут молить: «О мечу Божий! Вниди в ножны твоя, почий и вознесися». Ну, Господь милосерд... Обращающихся к нему милует, отвращающихся от него карает.

– Думаю, не придет это время.

– Не придет?

– Да. Еще пуще народ от церкви отстанет. Другим руслом жизнь теперь течет.

– А вы помните это: «Нощию погибнет моавитская земля, нощию бо погибнет стена моавитская. Возопи Есвевон и Елеала, даже до Иассы услышася глас их. Прейде вопль предел земли моавитской до Агаллима и плач ея даже до кладезя Елимля. Вода Димона наполнится крове: наведу бо на Димона аравляны. Будеши, аки птицы парящия, птенец отъятый, дщи Моавля. Слышахом укоризну Моавля, укоритель бысть зело, гордыни отъях. Восплачется Моав, в Моавитиде бо вси восплачутся. Поля възрыдают, виноград Севаман; пожирающие языков, поперите винограды его даже до Иазира. Сего ради восплачутся, яко плачем Иазировым о винограде Севамани. Древа твои посече Евсемон и Елиала, яко на жатву твою и на обимание вина поперу и вся падутся. И отымутся радость и веселие. И не изгнетут вина в точилех, престало бо есть. Сие слово, еже глаголя Господь на Моава, егда възглагола. И ныне глаголю: с трех летех лет наемника обезчистится слава Моавля во всем богатстве мнозе и оставится умален и несчастен!» Так и будет!

Налево, вдали от реки, Пожвинские заводы. Тут был построен первый пароход в России, Всеволодом Андреевичем Всеволожским. Когда-то Пожва играла громадную роль для всего окрестного района и до сих пор, впрочем, она не вполне утратила свое значение. Тут большое механическое заведение и листокачатательное производство. Вокруг поселилось две тысячи пятьсот человек, хотя на самом заводе постоянную работу находят только триста

из них. В настоящее время здесь строятся пароходы для Камы и отливаются паровозные машины. Рабочие получают в месяц исправные по двадцати, а средние по пятнадцати рублей; хорошие мастера зарабатывают по сто; разумеется, и те и другие на своих харчах. Они все отказались от душевого надела и теперь получают поденщину и угоды от владельца. Здесь до освобождения жили не поселенные, а крепостные крестьяне, тем не менее им было предоставлено право отказа от надела. Усадебная земля есть, но душевого надела им не было расчета брать, потому что в условиях с заводом было уговорено, что сверх платы они имеют право безвозмездного пользования владельческими угодами и дровами. Конные рабочие берут поставки на завод и получают поверстную плату. На каждую лошадь приходится по семнадцать копеек за версту с сажени дров. В окрестностях леса у Строгановых и Лазаревых еще целы. Там велось до сих пор рациональное хозяйство и ввиду того, что прирост совершается в восемьдесят лет, ежегодно вырубалось не более одной восьмидесятой части. Зато казенные соседние леса истощены насквозь. У Пожвы устроены шлюзы, так что в мелководье сюда поднимаются самые крупные суда прямо к заводу. Здесь же часто зимуют пароходы.

– Красивое место у вас!

– Было бы красивое, да фельдшара уж очень одолевают.

– Какие фельдшера?

– А комары. Мы их фельдшерами зовем. Столько они нам крови пускают.

Разнолесье тут удивительное, все породы северной поросли перемешались между собою. Отсюда вплоть до Усоляя опять пустынные места. С пристаней садятся к нам на пароход какие-то особенно уж сумрачные пермяки. Пугливо озираются на вопросы, не распускают языка и между собою. Войдет на палубу, выищет место подале, завалится и спустя минуту, смотришь, уже спит совсем. Всклоченные, глаза из-под волос... Озверели, что ли, понять нельзя.

– Точно чердынцы. Все страсть задичали. Главное дело, живут уж очень грязно – с телятами и свиньями вместе. Есть у них и школы, но народ неохотно идет туда. Они сюда с плотами ходят. Случается, что плоты сядут на мель. Люди остаются на плотках день, другой, третий – по пояс в воде. Голод начнется, поголодают и денег лишатся. Они и не добиваются платы даже, а просто берут котомки и безнадежно идут домой, именем Христовым.

– Неужели же хозяева ни копейки им не платят?

– Ни единой. Вы наших лиходеев не знаете!

– Так ведь так по дороге умереть можно.

– Еще бы. И умирают. Да и тот, кто дойдет до дому, не жилец. Тиф или лихорадку занесет с собою. Что делать! Поневоле мрут. Вот наш Орёл-городок. Большое село.

Пароход причаливает здесь прямо к берегу; так глубока Кама против Орла-городка. Издали, на противоположном берегу, громадная поскотина с сотнями хлевушек, куда запирают коров и быков на ночь. Там же большой курган, очевидно, насыпанный.

– Это Строганов холм. Наши старики говорят, что раз Строганова к царю Грозному вызвали. Водились за Строгановым грешки, не ждал он себе там

кончины праведной и зарыл здесь все свои сокровища бесчисленные. А над кладом холмину насыпал экую!

Будь этот курган на Волге, его бы приписали Стеньке Разину, а на Каме до Перми – Ермаку Тимофеевичу. Здесь же все такие урочища связывают непременно с именем Строгановых.

Кама ширится, делится на рукава, образуя заливные острова. Налево блещит под солнцем какое-то озеро; легкою зыбью бежит по нём ветер. Направо опять зашумели зеленые облака леса. На реке всё чаще и чаще попадаются беляны, барки и ботнички.

– Соляная столица близка!

– Дедюхино?

– И Дедюхино. Главное – Усолье. В нём сосредоточена почти вся деятельность наших солеваров: Любимова, Губонина, Кокорева, Шувалова, Строганова. Когда-то тут шибко жили.

– А теперь?

– Лес вздорожал и народу стало тяжелее.

– Неужели и на солеварнях дрова жгут?

– Да! За всё про всё лес отвечает. Не жалеют. Кому скажут, только рукой отмахнется. Вы, говорит, посмотрите на карту вашей Пермской губернии. Вся зеленая, значит, лесу еще вдоволь. – «Так это на карте, – говорю, – значит-ся». – «А карту-то, как вы полагаете, дураки чертили?..» С тем и отъедешь.

Дальше Усолья пароход «Лебедь» не идет. Отсюда до Чердыни бегают другие, да и то в половодье.

**XV. Усолье. – Дроворубы. – Люди  
на скотской работе. – Любимовское заведение. –  
Газовые и дровяные солеварни. –  
Графы Шуваловы и Строгановы. –  
Договорные книжки. – Как кулаки обходят  
рабочего человека. – Озверевшие люди**

Вдали уже мерещится знаменитая в Прикамском крае столица солеваров – Усолье. Кама перед ним обмелела. Вон лодки, которые не веслами движутся, а гребцы разделись, бросились в воду по двое на каждый челн и тянут их, то глубоко уходя в илистое дно, то опять до пояса выступая на песчаных навалах. Вон с одного берега Камы длится серая мель. Вся она кишмя кишит самой разнообразною птицею, почему-то особенно возлюбившею это тихое и мирное прибежище. Тут и ястребы, и вороны. Вместе с ними ютятся громадные совы, каких я не встречал даже и гораздо южнее, на Волге. Чем ближе к Усолью, тем вид берега становится всё темнее и печальнее. Леса уже давно не видать, поля лишены зелени, низменные берега кое-где сливаются с водой. Вот и оно само – знаменитое городище, мрачное, темное, как и небо, которое сегодня в тучах, совсем под стать этим влажным, тоскующим по свету и теплу окрестностям. По обоим берегам, черные издали, соляные амбары, соединенные

черными, холодными галереями. Черные колоссальные варницы, рисующиеся на сером фоне неба, производят какое-то сумрачное, неприятное впечатление. Над ними разостлался более густой и более темный, чем тучи, дым, и в этот дым окутывается всё сельбище с большим белым собором, зеленые купола которого кажутся грязными сквозь эту завесу. Едва-едва различишь во мгле каменные большие дома.

– Тут у нас баронские и графские управляющие живут.

– Песьи мухи наши! – добавляет шершавый солевар, севший на пароход из Любимовской дачи Березники.

– Почему песьи мухи?

– Услышите, коли останетесь в Усолье.

Правее, на противоположном берегу, видна Лёнва с такими же черными соляными амбарами и варницами. А еще дальше едва отделяется от покрытого тучами неба белый силуэт дедюхинской церкви и само Дедюхино. Всё безотрадно, уныло. Лица усольцев, попадающихся навстречу, кажутся суровыми; везде бедность непокрытая. Амбары просолились насквозь. Здесь и потеют соляным раствором, и плачут соляными слезами. Соль стоит и в воздухе, осаждается на усах, бороде. Вы слышите ее запах, именно запах – меня поймут те, кто был здесь и сам обонял его. Тяжело пыхтят душные газовые заводы, словно насупились разваливающиеся варницы. Некоторые совсем покосились и точно ждут, нельзя ли, падая, передавить побольше народа. Режи и брусья, на которые поставлены бесконечно длинные амбары, доходят до двух с половиной сажень в высоту. Они тоже насквозь почернели, вот-вот обвалятся вместе с поддерживаемыми ими сараями. На таких же столбах, подальше, длинная деревянная набережная. Доски, настланные на нее, давно сгнили, так и кажется: ноги проскочат насквозь и ты рухнешь в медленно струящиеся внизу струи Камы. Ни на улицах, ни у амбаров никакого движения, точно в какое-то мертвое царство попал. Только на реке орут и суетятся ухватчики. Массы плотов с дровами подваливают к Любимовскому заведению, и на всю эту деловую кипень, молча, нахмурясь, смотрит сверху неподвижное Усолье.

Тут будет кстати рассказать об этом лесном богатстве, изводимом местными солеварями.

Почти половина чердынского населения живет сплавом и рубкою дров для усольцев. Ближайшие к Каме и тамошним большим ее притокам леса они извели и теперь истребляют дальние, пользуясь каждой жалкою речонкою, по которой бревна могут донестись до главной артерии края. Крестьян на это подряжают особыми условиями на год, причем зимою они рубят, а весною и летом сплавляют. Условная плата выдается так: треть вперед за недоимку и подати, треть, когда лес срубят, и остальную треть, когда его сплавят до места. Зимою чердынцы уходят в непроглядную глушь, ставят тупы посреди самого захолустного чернолесья и до первого таяния снегов рубят вековые сосны и ели. Многие из этих дровосеков гибнут от голода; другие, заболевая, остаются в своих тупах и в полном одиночестве умирают, беспомощные, бессильные дать о себе весточку в родное село. Многих сбивает метелями в непроходные сугробы; другие замерзают в сильные морозы. К весне все приготовленные дрова должны быть свезены по сплавным рекам и питательным рукавам

Камы. У берега, близь того места, где рубится лес, устраивают нечто в виде четырехугольной рамы из бревен; в эти рамы правильно складываются дрова, совершенно по пословице – ни дна ни покрышки. Когда водополье начинается, раму поднимает вместе с дровами и плоты таким образом снимаются и плывут вниз в Каму. На каждом таком плоту по два гребца с четырьмя сплавщиками. Во всякой раме должно быть от тридцати до сорока сажен дров. Случается часто, что рабочие проглядят плот, он и уйдет без них. Для этого по берегам в разных пунктах находятся ухватчики; они должны перенимать плоты и спасать их от обмели. Раз плот без людей попал на мель – труд дровосеков погиб даром. Раму разобьет волнами, и лес разнесет во все стороны без толку. Если на плоту есть рабочие и их несет на мель – ухватчик бросает им снасть; иногда им удается при помощи снасти стянуться и с мели. У самих же дровосеков нет ни снастей своих, ни какого-нибудь якоря. Не по силам им завести это. Есть только веревка из вицы – лыка, при помощи которой они в крайности причаливают по берегам Камы к какому-либо более удобному урочищу. Им приходится иногда по месяцу убивать на этот путь, в счастливых же случаях – только дней восемь-десять. Случается, что во время долгой путины дровосеки не только ничего не выработают, но и назад пойдут, побираясь Христовым именем, сквозь такое же бедное и голодное население. Рамы, разбитые бурей или попавшие на мель, оставляют за дровосеком даже старый долг, потому что чердынец при подобном несчастье уже не является к хозяину, а бредет домой – в лес опять, если хватит средств продолжать заготовку. Для того чтобы чердынцев держать в руках, т. е. в вечной кабале, с ними заключаются контракты, которых они исполнить не могут. Так, например, по обычаю дрова доставляются в пять с половиной четвертей, а условием длина их обуславливается шестью четвертями. Любимов вводил здесь разные приемы доставки дров, но все они оказались крайне неудачны. Длинные надрубленные поленья, с окончательной дорубкой на промысле, которые в таком виде потруднее разметать бурей, чем дрова, не были почему-то приняты чердынцами. Доставка дров посредством пароходов и барж, причем последние делались особенного устройства для мелкой воды, вроде гусян на Оке, тоже не пошла в ход, дорога оказалась и невыгодна, так как подобным способом можно сплавлять только в весеннюю воду. Счаливание плотов один с другим с лотом тоже не было принято.

Насколько безвыгоден труд крестьян-сплавщиков, видно из того, что, хотя за последние десять лет (до 1876 года) цена сажени дров поднялась с одного рубля шестидесяти пяти копеек до трех рублей, вознаграждение первых осталось таким же, а стоимость хлеба учетверилась. Если у населения оказывается хотя малейшая возможность найти другую работу – оно ни за что не займется этой. Пермские крестьяне южнее Усолья, как ни бедствуют, на лесной промысел не пойдут. Одни чердынцы, которым решительно приткнуться некуда, должны поневоле заниматься рубкою и сплавом дров. Если бы удалось наконец ввести отопление углем вместо лесного, то крестьяне нашли бы гораздо выгоднее заработки на каменноугольных копах.



– По весьма простой причине: чердынские дрова, со всеми накладными расходами, нам обходятся в шесть рублей кубическая сажень. На ту же работу, которую выполнит она, надо сто пудов угля. Пусть доведут стоимость последнего до шести копеек за пуд, и тогда можно поднимать вопрос о замене одного отопления другим.

- Да ведь он и стоит не более шести копеек?
- На месте разработки... А довести его к нам – сочтите.
- Следовательно?..
- Будем пока истреблять леса, а там что Бог даст!

В Усолье, как только мы вышли с парохода, прежде всего озаботились, где бы отыскать себе пристанище. Есть тут гостиница, вроде постоянного двора, но пророку Даниилу во рве львином было несравненно удобнее, чем проезжому в ней. Даниил, хоть и чудом, цел остался; а тут явилось бы иное чудо: живого человека неизбежно съели бы клопы и без остатка. Сунулись на улицы – ни души, спросить не у кого. А между тем вещи брошены на берегу на произвол судьбы.

- Куда же? – обернулся я к своему спутнику.
- Знаете что, – предложил он, – давайте караул кричать. Несомненно, кто-нибудь да выйдет.
- Это уже в крайнем случае.

Еще улицу прошли – та же мертвая тишина, словно всё Усолье вымерло. К старинному собору попали, посмотрели на его облупившиеся стены и величавые купола. Молчание окружающего его городища было к лицу этому памятнику старого богатства и благочестия прикамских солеваров. Свернули налево – попали на набережную. Отсюда видна вся сторона по ту сторону реки и налево. Вот соляные деревни – дым над ними, точно пожаром они охвачены. Из ближайших варниц так и валят густые черные клубы. Едва-едва обрисовывается на горизонте Дедюхино. За рекой – Березники и Веретье. Вниз по Каме песчаные отмели, точно и река обнищала, как исконные усольцы.

- Да ведь уж поздно теперь. Работа окончилась, и никого нет.
- Даже ни одного пьяного не встречается.
- Пить не на что, а то бы без запоя не обошлось; ишь ведь какая тоска тут. Тоска действительно, даже песни не слышно. Хороших домов много, должны же быть где-нибудь их обитатели.
- Вон – вон... Путеводительница в пустыне.

Какая-то особа в малиновом платье и зеленой шляпке с целым огородом листьев и цветов, заканчивавшемся какой-то необыкновенною птицей над самым затылком, показалась на набережной. Рядом с ней местный «галянт» в узеньких штанишках в клетку, шашками, и в красном галстуке.

Мы к ним.

- Позвольте узнать...
- Комнату вам? А вы спросите... – и они назвали дом. Там всегда под приезжающих горницы сдаются. Там и железнодорожные останавливаются – очень хвалят.

Мы поблагодарили, пошли. Горница оказалась с петухами, разрисованными на потолке, и оленями, глубокомысленно всматривавшимися в розовые

кусты, точно решая, съедобны они или нет, – на стенах. Хозяин дал нам под вещи местный экипаж – плетеная корзинка на колесах. Довольно удобно, нужно только держаться руками за края, чтобы не совершить неожиданного сальто-мортале.

Устроившись, на другой день мы отправились осматривать солеварни.

К самому берегу, на котором расположены они, прибило плоты с дровами. Рабочие одни по пояс в воде накладывают дрова в сани, другие, понукая коней, взвозят сани с дровами в гору.

– Причем тут сани. Ведь лето?

– Тут крестьяне на колесах не работают вовсе.

В первом же заведении оказались три действующие трубы, сквозь которые извлекался рассол на глубине семидесяти пяти сажен под землю. Рассол этот определяется двадцатью семью градусами насыщения. Сквозь трубы рассол подымается вверх и поступает в чрены, нагревающиеся тремя струями газа. Мы смотрели туда сквозь окно. Три сильных струи огня под круглым каменным сводом багровыми пятнами отражаются на поверхности соляного раствора. Накипь порою собирается в отверстиях и окнах, ее складывают в амбары для соляных отбросов и продают на продовольствие крестьянам по двадцать копеек за пуд. В отверстии генератора дым от нефти вспыхивает и загорается. Кроме трех действующих труб, две еще разрабатывались. Первобытным способом сверлили землю, варварски – не паровую, а живую силою. Несколько рабочих, наваливаясь грудью на горизонтальный ворот, ошеломленные, прут его перед собою. Работа продолжается день и ночь четырьмя сменами. За восемь часов такого кружения каторжники труда получают двадцать пять копеек, на своих харчах. Нужно было видеть эти лица. Истома, одурение выражалось на них вместе с какой-то затаенною болью. Со скрипом ворота слышались и их сильные дыхания. Медленное, размеренное движение; в сарае, где оно совершается, холодно, а между тем с несчастных пот валит градом. Чтобы понять весь ужас этой работы, достаточно объяснить, что, ежели за сутки удастся высверлить земли на три вершка, это считается счастливым результатом. Когда же сверлило дойдет до кремнистых пород – не проникнешь и на полвершка в день. Поэтому разработка одной только трубы продолжается от четырех до шести лет при этом ручном способе. Любимов у себя заменил его буром Фабиана, проникающим в землю на аршин в день.

В сараях, где работали эти волю в образе человеческом, было темно. На работу их тошно даже смотреть, а она продолжается восемь часов безвыходно. Приостанавливаться нельзя; нужно ходить, ходить и ходить, напирая во всю мочь грудью на палку. Когда я вышел, мне показали одного такого рабочего, окончившего свой урок. Это был совершенный идиот. Что-то тупое в лице, какие-то расхлябанные движения...

– Из них очень многие доходят до идиотизма, – объяснили мне.

В Любимовских варницах паровая машина, свистя и пыхтя, приводит беспрестанно в действие нагнетательный насос, который берет раствор из колодца и хватает соль в амбары. Барабан с бесконечной цепью вращается и тащит вагоны с готовым продуктом по рельсам. Это устройство заимствовано из Шёнебека в Стаффорде. Работу, исполняемую паровую машину,

у других солеваров усольских делают наемные соленосы. Каждый из них берет мешок весом от четырех до пяти пудов и тащит его на голове вверх по наклонной плоскости. Отдыха почти не полагается. С каждой тысячи пудов платят соленосам по два рубля пятьдесят копеек, что составляет сорок копеек в день, и то для очень здорового человека. Чем я вообще больше всматривался в усольский соляной промысел, тем отчетливее он являлся мне истинным рабочим адом.

Та же паровая машина у Любимова пилит дрова и приводит в действие пожарный аппарат, рукава которого выбрасываются куда угодно. Устройство простое и практичное. Барабан может перетащить от трех до четырех тысяч пудов соли в день, т. е. именно столько, сколько здесь вываривается. Тут же на всякий случай присоседились токарный и слесарный станки, приводящиеся в движение той же паровой машиной. Вся машина в сорок сил, но пока работает на пол-атмосферы. Паровой котел ее сжигает, или, как говорят рабочие, съедает, в день кубическую сажень дров.

– Дай Бог здоровья. Сколь она много работает! – говорят они. – По работе и аппетит... Экую прорву лесу сожрала!..

Свист и пыхтение машины, грохот цепей, передвигавших вагоны, глухой шум пламени в чренах и шорох нефтяного газа, вырывавшегося наружу, преследовали нас повсюду в этом черном царстве соляной варницы. Именно черном, потому что и стены ее, и трубы, и лица людей – всё здесь почернело. Даже стекла окон так покрылись сажей, что солнце не осмеливается проникнуть в эту беспросветную яму и скользит мимо, еще щедрее обливая зеленые поля и светлые струи Камы своими лучами.

– Хотите я вам покажу подробное устройство одной из труб?

Мы пошли к Благовещенской. Ее проводили так: вырывалась яма, в которую вгонялась матица – род колоды, давлением сверху, как можно глубже, так, сажень на двенадцать. Она предохраняет колодец от осыпей. Когда это дело кончено, со дна колодца начинают сверлить трубу вниз тем же первобытным способом, живой силой рабочих (грудью на ворот). Таким образом должно пробурить землю, каменные породы, каменные залежи соли на семьдесят пять или восемьдесят сажень, чтобы добраться, наконец, до соляного раствора. Мы входим в башню, где находится эта труба, точно в какое-то подземное царство мрака и сырости, охватывающее нас со всех сторон острым запахом плесени, соляного раствора, испарениями глубоко раненной, в самые недра свои, земли. Жутко становилось здесь. Снизу слышно хрипение нагнетательного насоса, точно там, в вечной тьме, приковано сказочным колдуном какое-то громадное чудовище; и бьется оно, и жалуется, и исходит кровью, бессильное разорвать свои крепкие цепи. Отсюда лестницы ведут вверх; чем выше, тем ощутительнее запах сернистого водорода. Работа идет быстро, отовсюду доносится урчание шибко подымающегося вверх и сбегаящего по другим трубам вниз раствора, довольно густого, равного двадцати четырем градусам насыщения по реометру Боме. Сквозь шум воды доносятся визг, скрип и глухие удары машин, мерно делающих свою работу. Голова мало-помалу начинает кружиться, кажется, что и сам обращаешься в какое-то колесо, обязанное подчиняться паровому движению, без сознания, без противодействия. Раствор сбегает вниз,

в особый резервуар – рассольный ларь, в котором с большим удобством может утонуть какая угодно компания пьяных лейкиных купцов. Из ларя жидкость собственным своим давлением по целой системе подземных трубок разгоняется по разным варницам, прибавляя к общему гомону еще странные, как будто могильные, стоны, точно под этой почвой схоронены целые сотни живых, тщетно бьющихся в своих тесных гробах. Рассольный ларь занимает особое здание и устроен вверху его, чтобы была большая сила давления.

Нужно сказать правду, отсюда я вышел на свет и воздух с особенным чувством облегчения. Каждая травка, жалкая и чахлая, что привыкла к земле и не имеет силы подняться, казалась родною и приветною после этой сырости, тьмы и густой, насыщенной запахом раствора, захватывающей дыхание атмосферы.

– Теперь не угодно ли взглянуть на сами варницы?

Корпус для дровяных варниц, т. е. отапливаемых деревом, построен отдельно. Тут три чрена, нагреваемых снизу. Мрак и духота. Слои сажи на всем. Рассол медленно кипит, булькая и отделяя сероватый пар. Его варят, пока он не начнет густеть. Рабочий, называемый поваром, следит за этим и, в известный момент, определяемый только навыком, чутьем, останавливает огонь. Соль оказывается наполовину готовою. Ей дают немного постоять. Когда она из синеватой побелеет, ее длинными граблями сбрасывают на отечные палаты. Мягкая и влажная, она шлепается туда густою кашею.

– Голос подает! – замечает повар. – Она на разные гласы у нас... Не готова еще на потребу...

Тут она лежит несколько часов, после чего ее перебрасывают на паротводный колпак, покрывающий чрен как крышкой. Здесь она стоит сутки, загустеет совсем и подсохнет. Тогда ее на тачках подвозят к жаровне, где она сушится еще в продолжение двадцати часов. После этой операции соль уже готова окончательно, и паровая машина в вагончиках, о которых я говорил выше, скатывает ее в амбары. В три чрена осмотренной нами любимовской варницы помещается раз в сутки тысяча восемьсот пудов раствора, в каждый чрен по шестьсот пудов, требующих пять сажен дров, или на три чрена пятнадцать – при колосниковых печах. Когда рассол выпарится в жаровне, из него, т. е. из тысячи восьмисот пудов жидкости, высыпается от шестисот до семисот пудов соли. Рельсовый путь проведен в самую варницу, к жаровне, сделанной с карнизами. Вагончики подъезжают к этому карнизу, и соль сбрасывается с него особыми лопатами. Руками рабочих вагоны отталкиваются до шкива, где они уже поступают в распоряжение парового чудовища, пыхтящего где-то далеко внизу. Оно, посредством бесконечной цепи и барабана, заставляет их бежать, весело погромыхивая и слегка постукивая, в гору. В каждый вагон помещается до сорока пудов соли. Вбегая в амбары, вагоны вталкиваются вверх в особые помещения над закромами. Тут механизм взвешивает их вместе с солью, затем, отметив, сколько пудов последней, выдергивается дно вагончика. Соль падает в закрома, на белые груды такой же, вываренной ранее.

Кроме «дровяных» варниц, у Любимова есть и газовые. У него два газовика-генератора с двумя отверстиями вверх и шуравками. Пока еще очень много

теряется газа даром, но это первый опыт. К газовому отоплению применены собственно печи Симмонса, в которых получается сухая перегонка дров. От притока воздуха образовывается неполное сгорание, выделяющее из древесной массы переходные продукты: окись углерода, углерод, которые и сгорают над чреном. Из печи устроен выводящий аппарат в холодильник, где осаждается смола и менее летучие продукты горения. Газы спускаются вниз и проходят в каналы под землей, которая, несмотря на довольно толстый слой ее, сильно нагревается ими. Под каждым чреном три окна, пропускающих воздух, необходимый для сгорания газа на чрене. Газ получается не совсем чистый, почему и воздух нужен не холодный, а горячий. Чтобы нагреть его, устроено особое приспособление. Прежде чем воздух пройдет в чрен, он пропускается в массу клеток из огнеупорного кирпича, сквозь особые клапаны, устроенные в окошках. В клапаны, перед пусканием газа в действие, направляется часть его и зажигается. Газ этот раскаливает клетки. Когда они дойдут до высокой температуры, газ в клапанах тушат и зажигают его в чрене, а воздух, стремясь внутрь сквозь разгоряченную систему клеток, поддерживает горение.

Чрен в газовой варнице, таким образом, нагревается сверху. Пар, образующийся под кирпичным сводом над раствором, вместе с окончательными продуктами горения от газа, уносится в дымовую трубу, которая загнута вниз. По ней она циркулирует еще под котлом, в свою очередь исполняя службу нагревания того же чрена. Над сводом – жаровни. Чрены здесь гораздо меньше, чем на дровяной варнице. Их два, и в каждый входит по четыреста пудов рассола. Тем не менее этот способ выгоднее тем, что на сажень дров при газовой топке вываривается сто тридцать пять пудов, а при простой – сто двадцать пудов раствора. Сверх того, с печами Симмонса соль лучше вываривается. Из трех чренов дровяных получается на тысячу восемьсот пудов раствора семьсот пудов соли, а из двух чренов газовых из восьмисот пудов – четыреста пудов соли. Очень эффектно в черном мраке чрена горит, свистя и взрываясь к кирпичному своду, желтое пламя газа. Оно жадно облизывает стенки чрена, низко-низко стелется; часто по самой поверхности раствора длинной струей стремится в противоположную сторону и, подымаясь вверх, багровыми пятнами отражается на жидкости.

У других солеваров, у всех этих графов и князей – ничего подобного. Чрен над ямою; в яму валят дров, сколько влезет, так что у них на сажень приходится до шестидесяти пудов раствора, оттого эти господа и разоряются. Несмотря на громкие фамилии солеваров, графа Шувалова, Строгановых и других, дело у них не подвигается и средства оскудевают до того, что у первого, например, рабочие как-то целый год оставались без расчета. Рассказывали даже о волнениях, которые были вызваны неуплатой денег сотням тружеников. Разумеется, этим законным требованиям придавался, чисто по-жандармски, характер бунта. А там, дело известное: с бунтовщиками церемониться нечего!

В высшей степени интересны расчетные книжки, выдаваемые рабочим заводами и играющие здесь роли контрактов, или, лучше, извлечения из них. Для того чтобы ознакомиться с ними, я приведу здесь одну из таких, «данную от конторы соляных промыслов гг. братьев Любимовых в городе Дедюхине» (почему Дедюхино названо городом – об этом известно только авторам этого

удивительного документа). Нужно еще прибавить, что Любимовы наиболее добросовестные из хозяев. У других рабочие обставлены гораздо худшими условиями. На обложке написано: «Рабочему такому-то, сказывающему от роду таких-то лет, на срок по ... год. По договору, заключенному там-то». Затем следует подпись управляющего. На следующей странице пропечатано:

«Краткое извлечение из договора:

1) Рабочие состоят в распоряжении управляющего, который распределяет их на работы через смотрителя.

2) Рабочий может получать из складов, при промысле, дрова и ржаную муку на месячное продовольствие, в счет заработка, или за наличные деньги, дрова по одному рублю пятьдесят копеек за промысловую сажень, а муку – по стоимости иной складу, но никак не дороже семидесяти<sup>7</sup> копеек. Кроме того, рабочий может пользоваться безвозмездно пособием фельдшера и лекарствами.

3) Расчет рабочих должен производиться помесечно, не позднее 10 числа следующего месяца, если сам рабочий того требует.

4) Долг рабочего конторе вычитается из заработка по два рубля в месяц; а если таким вычетом покрыться в год не может, то вычитается и более двух рублей. Подати и прочие взыскания вычитаются из заработка по требованию волостного правления, согласно приговору общества или суда.

5) Кто из рабочих недоволен чем-либо от хозяйского управления и желает заявить свою претензию суду, то должен в трехсуточный срок предупредить о том управляющего сам или через рабочего старосту.

6) По договору установлены неустойки и право владельца отказать от работы за следующие неисправности:

За уход караульного с караула . . . . .	150 р. – к.
» неявку на работу . . . . .	1 » – »
» неявку на тревогу . . . . .	10 » – »
» явку на работу пьяным. . . . .	1 » – »
» лень и небрежность на работе. . . . .	– » 50»
» неосторожное обращение с огнем . . . . .	10 » – »
» ссору, брань и бесчинство на работе . . . . .	3 » – »
» изнурение лошади <sup>8</sup> . . . . .	25 » – »
» утрату или порчу хозяйского имущества . . . . .	50 %
» неупреждение хозяйского ущерба –	по стоимости ущерба.
» недонесение об обозначенном ущербе –	по числу ответчиков.
» неупреждение управляющего о претензии, заявляемой суду, –	вдвое против цены претензии, или 120 » – »
» оставление рабочим службы . . . . .	150 » – »

<sup>7</sup> Для 1876 года цена эта при оптовой заготовке слишком оказывалась высокой.

<sup>8</sup> Лошади – своей же!



Подлинный договор хранится в конторе владельца, а копия – в дедюхинском волостном правлении».

Подлинных договоров, где встречаются, по рассказам знающих, еще более курьезные условия, я не видел и достать их не мог, хоть и хлопотал об этом; но и в этом кратком извлечении встречаются истинные нарушения.

Как вам нравится, например, эта графа: «за непредупреждение управляющего о претензии, заявляемой суду, – с рабочего взыскивается неустойка вдвое против цены претензии». Это очень мило; но следующее за тем «или» еще милее: «или – 120 р.». Темный рабочий бросит изморившую его службу, так как зачастую его посылает туда волость, он и бежит стремглав; за это с него – пожалуйста сто пятьдесят рублей. Или, разумеется, отработай их – совсем даром значит! Туманная графа «за невознаграждение хозяйского ущерба», так как выше есть особая, «за утрату или порчу хозяйского имущества», допускает множество толкований и делает рабочего вполне крепостным у хозяев. Хорошо также «за недонесение об узнанном ущербе», и притом что это за прелесть: «по числу ответчиков». Лошадь, весь день ввозящая в гору тяжелые грузы и притом не колесным способом, а на санях, летом, понятно, должна измориться – тут появляется возможность содрать штраф в двадцать пять рублей. Хороши также предупреждения о том, что я-де хочу идти на вас жаловаться в суд! Повторяю при этом: положение любимовских рабочих лучше, чем у других!

– Ну а лекарства выдают вам? – спрашиваю у одного грузильщика.

– Какое?

– Да когда вы заболаете, фельдшер вас смотрит?

– Не... Не бывало.

Выходя из любимовской заимки, наткнулся на рабочего, что грудью еще час назад двигал ворот подземного бура у какого-то начинающего солеваря. Идет понурясь, еле-еле перебирая ногами. Голова во все стороны, точно шея мягкая – позвонков нет. Видимое дело, осел человек, обмяк.

– Трудная работа, Тихон?

Поднял голову, изумленно посмотрел на меня.

– Чаво?

– Работа, говорю, трудная?

– Для ча не трудная? Трудная... – и опять голову вниз.

– Грудь не болит от нее?

Он совершенно бессознательно потер ее рукой. Попробовал было побольше воздухом вдохнуть, да оборвало – закашлялся.

– Не то болит... Не болит, а тоскует... Хлипнет. Погоду знает тоже.

– Теперь ты что же, домой? Есть будешь?

– Спать... Есть нельзя.

– Почему?

– В нашей работе сразу есть нельзя. Спать надо. Потом... Если сразу – вон пойдет... Душа не примаает.

– Ну а где же ты живешь?

– Тут... Близко. Семья там, дальше... Тоже на заводе роят... А я тут.

– Отчего же не вместе?

- Нельзя, сила нужна – ходить не могу.
- Смотрю: клетушка какая-то у избы...
- Войти можно к тебе?
- Для ча? – удивленно вскинулся на меня.
- Да любопытно, как ты живешь!
- Живу? Скучно... Что червь в гнилом орехе. Так и живу.

Вошел я. Мрак... Сено или солома в углу, на ней старый полушубок. Тихон, ни мало не интересуясь мною, завалился на него и спустя минуту часто-часто задышал, видимо засыпая. Именно хрипла у него грудь...

Я сел на лавку около.

Светлый день скупно смотрел сюда через тусклое окно. Муха билась в стекло и жужжала. Видимое дело, и ей показалось слишком убого в этой клетке. Хорошо только пауку – по всему углу раскидал свои сети и спокойно сидит в центре их, повернув ко мне свою серую, круглую, жирную спину. У другого бы на этом месте образ был, но Тихону не до молитвы; видимое дело, некогда. Краюха хлеба на лавке около. Завядший лук, ничем не прикрытая кружка с квасом. Сору в ней – точно накипь какая-то. Вся клетушка эта наполнена испарением больного тела, кислым дыханием недужной груди. В стене – остовы тараканов по щелям. Редко-редко живой прусак покажется, пошевелит усиками и бежит прочь. Солома подгнила – давно не сменяли ее...

Всмотрелся я в спящего. Рот раскрыл широко-широко. Гнилые зубы. За окнами яркого и теплого дня, при плохом освещении, лицо его кажется еще синее. Рука – одни жилы да кости, и на шее жилы налились. Синие веки опущены, точно глаза провалились. Беднягу пробило потом, клочья волос намокли и прилипли на лоб. С натугой дышит, с каким-то свистом вырывается воздух из груди...

В дверях показалась девочка лет двенадцати. Увидела меня, струсила и – назад. Я ее успокоил.

– К батьке... – исподлобья смотрит на меня. – Мамка прислала... Луку вот принесла, репа есть...

- Ты чего же с батькой не живешь?
- Не... С мамкой. Мамка у меня на заводе робит, соль носит.
- И ты носишь?
- И я ношу... На голове ношу.
- Да что ж ты можешь?
- Сколько сил хватит.

Глаза без детского блеска, лицо серое какое-то, грудь впалая, плечи вперед выдались. Руки худые-худые. Верно так недоростком и останется.

- Давно ли же ты работаешь?
- Прежде канавы копала, десять копеек в день получала, у Самоводова...

Купец есть.

- Это ты со скольких лет?
- Чаво?
- Со скольких лет? – спрашиваю.
- Не знаю.

Оказалось, что двенадцатилетняя девочка не имела понятия о годах.

- В церковь часто ходишь?
- С тяткой, когда праздник... Не работаю.
- Что же, ты молишься?
- Смотрю...
- Значит, не молишься?
- Не умею... Креститься умею... А то смотрю... Другие молятся.

Узкий лоб... К окну подошла – тупое совсем лицо. Глаза тоже совсем бессознательные. У молодых котят такие, тусклые, бессмысленные.

- Ты бы ушел, а? Ушел бы.
- Что ж гонишь меня?
- На лавку сесть хочу...
- Садись при мне.
- Боюсь! Бить станешь...

Не могу выразить того тяжелого чувства, с каким я уходил оттуда!

Вот они, результаты нечеловеческого труда. Одно поколение озверело – что будет со следующими?

И радоваться нечему. Если заменить Тихона машиною – Тихону работы не будет. В урожайный год проживет – именем Христовым. Если ранней осенью погибнут яровые культуры, а весной озимые, что тогда делать Тихону и его семье, если их заменят техникой?

А еще говорят, что у нас в России никто с голоду не умирает...

Сколько угодно! Во время моих странствий, если я и убедился, что Россия велика, то в обилии ее пришлось совсем разочароваться.

## **XVI. Общие обороты солеварения. – Рабочие цены. – Соляная баба. – Грузильщицы и лямщицы. – Шуваловские солеварни**

Нужно отдать Любимову справедливость. Он не останавливается на старых способах и не успокаивается на лаврах, как его товарищи в Усолье. По пути домой мы шли мимо новой трубы, только что устраиваемой. Громадная матица уже забита; вращение же бура будет совершаться не чахлыми грудями рабочего люда, а паровой машиною, по приспособлениям Мезера и Платта, причем вся работа кончится не в три года, а в три месяца. Слой соляного раствора предполагается здесь на глубине восьмидесяти сажен, причем диаметр высверливаемой дыры равняется трем вершкам. Впрочем, зачастую расчеты не оправдываются – и в этом весь риск солевара. Недалеко отсюда, например, у графини Строгановой, прошли саженым слоем каменной соли и всё-таки еще не добрались до конца пласта.

Меня заинтересовало, сколько в настоящее время сжигается дров на всех уральских солеварнях. Цифра оказалась ужасающею, ежегодно 100 000 кубических сажен! Следовательно, на замену такого отопления каменноугольным потребуются, если промысел не разовьется еще более, до 10 000 000 пудов, так

как одной кубической сажени дров соответствует сто пудов угля. К сожалению, в настоящее время неизвестно, насколько горнозаводская дорога помогла этому делу. В луньевских коях находятся такие массы угля, что они могли бы обеспечить вчетверо большие потребности. Можно ожидать даже, что там не хватит рабочих рук для эксплуатации залежей. Кроме железнодорожной, другой доставки здесь и быть не может. Есть река Яйва, но сплав по ней совершается только весной и невыгоден, потому что потребует массы леса на постройку судов, которые назад поднять нет никакой возможности.

На заводах графа Строганова, графа Шувалова, князя Абамелек-Лазарева, Дедюхинском казенном, Любимовском, Соликамском, частью принадлежащем городу, а частью – Дубровину, вырабатывается до 11 000 000 пудов соли, а в хорошее время до 12 000 000. Первые четверо продают весь свой продукт «Товариществу пермской соли» (Кокорев и Губонин) от двенадцати с половиной до тринадцати копеек за пуд, причем самим владельцам она обходится от десяти до одиннадцати копеек. Местная соль, несомненно, шла бы лучше и разработалась больше, если бы ее сбыту не мешала чапчачинская, на которую правительством был понижен акциз. Она поэтому проникла даже на Каму, в Чистополь, где ею торгуют Чельшев и Чукашев. При этом еще одно обстоятельство дает некоторое преимущество последней. В то время как усольская дорога и требует значительной обработки, чапчачинская обходится гораздо дешевле. Теперь, с полным сложением акциза на соль, Усолье вздохнет посвободнее и местная соль в этом районе вытеснит привозную. Как развивается солеварение при сколько-нибудь разумном устройстве промысла, видно по любимовскому делу.

	<i>года</i>		<i>пудов соли</i>
<i>В сезон</i>	<i>1873–74</i>	<i>Любимов выварил</i>	<i>578 000</i>
» »	<i>1874–75</i>	» »	<i>779 000</i>
» »	<i>1875–76</i>	» »	<i>1 200 000</i>
» »	<i>будущий 1877–78</i>	» <i>ожидается</i>	<i>1 600 000</i>

Любимовскому делу очень помогли Кокорев и Губонин. Взяв в свои руки монополию «Товарищества пермской соли», они стали, даже себе в убыток, поддерживать на рынках высокие цены. За ними и Любимову дышать стало легче. Сколько «Товарищество пермской соли» терпело убытка, видно из следующего расчета. Купив у владельцев соль, положим, по среднему расчету, за тринадцать копеек и заплатив акциза по тридцать копеек, товарищество должно было продавать ее в Нижнем по сорок семь копеек за пуд вследствие конкуренции с астраханской солью. Следовательно, на все накладные расходы по перевозке и содержанию складов, администрации, комиссионера им оставалось по четыре копейки за пуд, тогда как одна доставка соли в Нижний с промыслов обходится в семь с половиной копеек. Мы не считаем еще усыпки, утечки и страховки, что тоже необходимо иметь в виду при этом.

Очень интересны рабочие цены за каторжный труд на солеварнях. Вот они в том виде, в каком застал я их несколько лет назад. По сведениям, полученным мною, они с тех пор вовсе не поднялись.

Унимальщики, вынимающие соль из чренов, получают тридцать три копейки поденно.

Чренщики, делающие чрены: мастера от сорока – сорока пяти копеек в день, не мастера от тридцати пяти до сорока копеек.

Каменщики от тридцати пяти до сорока копеек.

Повара (варящие соль) пятнадцать рублей в месяц.

Кочегары тридцать копеек в день.

Подварки (помощники поваров) сорок копеек в день.

Гребцы при заводах двадцать пять копеек в день.

Вертельщики (бурящие посредством живой силы землю) двадцать пять копеек в день.

Все эти рабочие на своих харчах.

Для того чтобы было понятно, насколько подобные цены низки, нужно сообразить, что пуд хлеба в Усолье стоит в розничной продаже восемьдесят копеек и никогда не падает ниже шестидесяти восьми копеек. Податей с души в год сходит у чердынцев, которые платят менее всего, девять рублей.

Несмотря на плохое вознаграждение, работою этою дорожат, потому что она идет круглый год. Тем не менее и эту скудную плату зачастую задерживают. Как-то на шуваловских заводах в течение пяти или шести месяцев рабочие вовсе не получали денег. Вздумали «бунтовать», по терминологии сытых администраторов. С грехом пополам, деньги им возвратили; бедняки опять было принялись за работу, но в мое время им вновь задерживалась плата. Чем это кончилось – не знаю. Слышно было потом о каких-то волнениях в Усолье и об «энергических мерах», благодаря коим они были улажены.

Когда на месте мужчин в соляных варницах работают женщины, они получают, несмотря на совершенно одинаковый труд, пятью, шестью и даже десятью копейками меньше. Они тоже роют канавы и исполняют здесь земляные работы. К весне для них начинается новый труд; тысячами сходятся бабы к заводам, где исключительно в их руках сосредоточивается погрузка соли в караваны. За это они получают от одного рубля восьмидесяти копеек до двух рублей пятидесяти копеек с каждой тысячи пудов. С семи часов утра работа эта продолжается до полудня и потом с двух пополудни до восьми вечера. В течение этих одиннадцати часов они бегом взбираются вверх с двухпудовыми мешками на головах и так же спускаются вниз.

– Это должно их страшно истощать?

– Помилуйте, крепче мужиков выходят.

– Каким образом?

– Рабочий идет домой, очумев совсем; а баба ввечеру еще хороводы играет.

Соленосками на заводах старой конструкции служат тоже женщины. Они же лямятся, т. е. тянут барки и речные суда до усольских варниц. Все эти работы бабы исполняют непременно с пением, тогда как мужики сосредоточенно молчат. Видел я и гребцов-баб. Они мне живо напомнили далекое Поморье. Так же, как и там, молодцами, не зная устали и шибко накатываясь на ручку весла, гребут усольянки; так же, как те, причалив,

не обнаруживают вовсе устали. Но у поморов физическая сила понятна: рыбы вдоволь, да и поморские промыслы развивают здоровье.

- А у нас они с соли.
- Как так?
- Крепнут с соли. Посылают же врачи на соляные ванны.
- Эж вы приравняли!
- Ну от чего же другого?

Пришлось действительно развести руками. Положим, что от соли здоровее не будешь; напротив, постоянные испарения раствора, с неизбежными частицами хлора, брома и кальция, должны, скорее, разрушать дыхательные органы, чем развивать их.

Как-то выхожу я на Каму. День был холодный; моросило. Мне в тёплом пальто было только-только сносно. Вижу, внизу, у берега, остановились, едва дыша, три бабы-лямщицы. Лямки сброшены вниз, лица вспарены.

- Бог в помощь! Куда вы это?
- На завод.
- Устали?
- Да. Слава те, Господи, это работа – не на постели! – соткровенничала одна.

Другая затеяла с ней спор на эту пикантную тему.

– Ты, барин, не дивись, не то ишшо услышишь. Мы на разговор шибкие, – обратилась одна, наконец, ко мне.

– Я не тому удивляюсь. А как вы это языками-то болтаете? Работа-то ведь нелегкая.

– Да разве мы языками лянимся? Язык у нас не устал. Языку только черед еще пришел.

- Вы веселые.
- Ты в праздник приходи да гостинцев приноси, тогда увидишь, какие мы.
- В праздник мы строгие!
- Ну?

– Верно. Потому в будни зместо мужика мы – и разговор у нас самый мужицкий. А в праздник – на бабьем положении. В праздник у нас тихо... Отойдем... А то разлямьем-то этим языка не вздержишь, болтается. Зубами зажмешь – выскочит и давай звонить.

- Да вы ловко языком.
- Мы-то? Мы что! Ты вот на Косьву-реку поезжай, там услышишь. Там баба непуганая: против ветру может словами сдействовать. Там живет баба смелая, мужику не покорствуует.

– Что вы зарабатываете в день?

– По двоегривенному. Ныне цены нет, потому из Чердыни навалило народ, заработки сбивают. В грузильщицах куда лучше!

– Платят дороже?

– Не. Работа легче. Таперичи у нас ноги, во, гляди, в кровь изодрало. Иной раз еще и нонешнего холоднее, а в воде идешь версты три-четыре. Думаешь, смертушка! По камению – рвет тебя он. Бывает, супротив воды – грудью брать надо, а Кама яро бежит тогда, сносит! А у грузильщицы дело легкое.



В свою очередь, грузильщицы жалуются.

Бегут одна за одною, на ходу словами перекидываются. Кажется, одного мешка с солью не пронесешь, а они штук двести в день перетаскают на голове.

– Тяжко! – жалуются и эти. – Так тяжко, так тяжко! Ино станешь да и думаешь: зачем это мать на свет породила. Лучше бы махонькую в воду кинула, вот как котят топят, чтобы не плодились.

– А работа кончится – за хороводы?

– Мы хороводом только и живем. Как запоём, так словно легче станет. Чудесно! Мужики у нас что пни. Промеж собой мы только и дышим. Потому мужик этого винища сейчас!.. Коли у него деньги есть.

– Сказывают, и бабы у вас пьют.

– Пьем. Баба веселей с вина. У нас девка, и та пьет. На что уж Божья.

– Т. е. почему это Божья?

– Потому баба – мужья, а девка – Божья. А что Божье, то всем в руки идет.

– Это до свадьбы-то?

– Норов такой. Девка-то парню еще слаще так-то.

– Что это у вас всегда бабы разговаривают? – спрашивал я усольца.

– Пушай! У них на одном разговоре и делу конец. Языком только и болтают. А чтобы худое что – ни Боже мой! Это мы так примечаем: котора баба язычничает, та справедливая баба, а котора молчком всё – в ней язва самая эта сибирская сидит. Тоже и девка. Коли у ней язык на цепи, какому парню на нее завидно? Девка у нас такая должна быть, чтобы коло ей смех был. Слово скажет – благодарю покорно! Вот это девка!

В праздник бабы зачастую катаются по Усолю в ивовых плетушках.

Кстати, этот экипаж – курятник на колесах – приобретает право гражданства по Каме, вверх от Сарапула. Еще один едешь – ничего. Но когда целая кучка засядет – сходство с курятником поразительное. Лошадки, пока еще сытенькие, везут так, что корзинка, кажется, вот-вот слетит прочь, и ты очутишься Бог знает где! Хорошо еще, что улица не мощена, падать мягко.

Как-то иду, слышу: лямщицы поют что-то уж очень веселое, совсем не под стать к тяжелому труду. На отдыхе, впрочем, было. Подошел.

– Что вы поете это?

– Ндравится что ль? Песня такая. У нас песни веселые.

Попросил их сказать мне и записал. Привожу ее здесь целиком.

*Ах ты, мать моя, мамонька,  
Осударыня, боярыня моя,  
Зачем хорошу породила меня,  
Хорошу таку, догадливу,  
На все промыслы повадливу.  
Приходил ко мне из лавочки купец,  
Приносил ко мне канаусу конец.  
Мне канаусу хочется –  
Полюбить купца не хочется,  
Ах ты, душечка, дуй, дуй, дуй!  
Раздувашечка, дувай, дувай, дувай!*

*Красна девица, гуляй, гуляй, гуляй!  
Призагуливай, отецкая дочь!  
Не ходи-ка ты гулять в полночь!  
Кабы на зиму не лютый мороз,  
А родной тятенька в уездном городке,  
Тут я вольна бы вольна была.  
Полюбила бы соколечка-сокола,  
Красна девка – удалого молодца!*

Какая громадная разница между заведениями Любимова и шуваловскими! На варницах графа Шувалова в стенах громадные щели, в полу провалы и ямы. На стенах осела сажа толщиной в палец. Сажа и везде, так что верхний слой соли у него валится в воду, как негодный. Почти то же самое приходится сказать и о заводах С. Г. Строганова, Г. А. Строганова, Голицына, Абамелек-Лазарева. Шуваловский только представляет крайнюю степень упадка. Видимо, еще когда-то все они были строены на широкую ногу, просторно из кондового крупного леса. Но в течение долгого периода заводы не обновлялись, не ремонтировались. Теперь они стоят, прогнившие насквозь, темные, мрачные. Непонятно, как держатся некоторые из них. Прежде они процветали. Тогда единственными солеварами были Строгановы и Всеволожские. С отменой обязательного труда, с общим упадком солеварения они пришли в нынешнее свое состояние, хорошо характеризующееся выражением: мерзость запустения! Разумеется, если бы владельцы не жили в Питере и, например, как С. И. Мальцов, находились бы в своих владениях и занимались делом – результат был бы иной!

А заводы действительно выведены на широкую ногу. Видимое дело – лес был ни по чём и рабочие руки не дороже лесу. Теперь только одни рабочие дороги, а лесу и совсем нет. Из одного завода в другой проведены большие крытые галереи. Внутри всё запущено и сумрачно. Высокая масса шуваловской варницы производит даже подавляющее впечатление. Когдаходишь внутрь – углов не видать, они прячутся в тяжелом мраке. Каменная кладка печей и чрена – громадная, напоминает крепостные стены, такие, какими они строились в доброе старое время. Длина чрена – шесть, ширина – пять сажен. Целый маленький док мог бы поместиться в нем. Этот маленький док весь в саже!.. Свинья свиньей! В саже и соль, насыпанная на полати. Голые и полуголые рабочие тоже в саже... Точно попал в одно из отделений ада – громадную, полную тяжелого мрака пещеру, и чудится, что в печах этих черные демоны варят суп из жалких грешников. Когда поподробнее взглядишься, видишь, что тут всё в грязи, всё прогнило, промокло. Под чренами печи – какие-то черные ямы, в которые массами валят дрова сквозь отверстия, напоминающие зевы гротов.

– Это чисто Вулкан! – заметил мой спутник, указывая на хромого рабочего, который по простоте и от жара, сбросив с себя всё, то и дело совался в зев грота. На красном фоне яркого пламени удивительно характерна была эта черная фигура с короткими сильными ногами и крепким нескладным туловищем.

– В таком виде варницы стоят уже двести лет! – рассказывали мне. – Только кое-где заплаты наставлены, и то самые ничтожные. Шуваловская

варница – ровесник собора Усольского, а собору этому чуть не за 250 лет уже пошло.

Сверху донизу, даже в кирпичной кладке печей и чренов – черные трещины, через которые вырывается на волю дым и поднимается вверх под громадную крышу, которой совсем не видать, потому что там скопится тяжелый мрак. В конце концов чудится, что попал в какую-то громадную, душную, темную тучу, в самом центре которой невидимое чудесное существо кует огненные стрелы грозových молний.

На этих заводах по сю сторону Камы за воротами буров, сверлящих землю до раствора, на каторжной работе я видел мальчиков от 15 до 17 лет! Какая нужда лютая гонит их сюда за жалкий двугривенный поденной платы.

– Ну как вам понравилось наше Усолье? – заговорил, наконец, в день моего отъезда отсюда хозяин дома, где я остановился.

– Совсем не понравилось.

– Н-ну?...

– Верно.

– Вона... А по-нашему это целая столица. Что же вы нас так не полюбили? Живем мы тихо, смирно, без дебошу, как тараканы в щели; никто нас не слышит, никто о нас ничего не знает. Вот на заводы поедете к Демидову, там гораздо шибче нашего. Тут, – и он подошел ко мне, таинственно оглядываясь, – тут неподалечку, верстах в двадцати от города, у нас пещера есть, дивная.

– Чем?

– Концов не видно. В разбойное время, может сколько сот лет тому назад, все прикамские промышленники прятались туда. Многие, случалось, и назад не выходили. Ходы всё – запутаешься. Раз собаку бросили туда, так она за девятнадцать верст вышла в другую пещеру. Насквозь прошла. Сказывают, один вятский дроворуб большой клад отыскал в этой пещере.

– Да разве у вас есть вятские дроворубы?

– И из иных имеем-с. Из Олонецкой губернии приходят. Нужда гонит. Да тут у нас много знаменитых мест есть. Вот в девяти верстах развалины стоят, когда-то Пыскорский монастырь стоял. Разбойники как-то напали, настоятелю обрезали уши, монахов разогнали, с той поры и не подымался. Из Пыскори Ермак просил первую помощь у Строганова, тот ему и послал ее.

Предания о Ермаке опять появляются здесь. Рассказывают, как ему из Орла-городка была послана помощь с тем, чтобы золото, какое он найдет, всё шло Строгановым, а серебро – ему, Ермаку.

– Назад из Усолья вы как поедете, на пароходе?

– Нет, я теперь в Кизел и Луньевку, а оттуда по Косье подымусь в верховья.

– Чудесное увидите. Вы что думаете, Косьва – она от Няра-то глубока. Хоть пароходики по ней пушай. Пройдут. Наши, разумеется усольские, махонькие. Слыхали ли вы, какое тут раз дело вышло? Пароход «Дружба» плыл – медведь по воде ему навстречу. На пароход зверь напал. На палубе у края якорь был – за якорь уцепился, чуть пароходик не потопил. Господь спас. Вот у нас пароходы какие – детские!

Нельзя сказать, чтобы я уж очень сокрушался, уезжая отсюда. Слишком гнетущее впечатление производило Усолье!

Вдали меня ожидал Урал, с дремучими лесами по верховьям малоизвестных рек, с величавыми картинами горных вершин, с кипучею деятельностью заводов и глубоким подземным царством рудников и копей.

Уезжая, я и не оглядывался назад.

**XVII. По захолустью. – Картины Закамья. –  
Свинья с бакенбардами. – Романово. – Яйва. –  
Почему баба дешева стала. –  
Глухие поселки. – Урал**

Из Усолья мне хотелось проехать в глушь. Исполнить это было легко, и я отправился за Каму по направлению к верховьям Яйвы.

Какие дивные хвойные чащи на пути. Не верится, что идешь по прикамским захолустьям, где леса вырубаются жадно и неумолимо незнающими устами промышленниками. Кое-где попадаются черные, обугленные стволы, сожженные молнией, но и их отовсюду словно хочет спрятать свежая зелень всякой цепкой поросли, сочно поднимающейся здесь, на этих, пока еще щедро облитых солнечным светом, полянах. По лесам редкие выселки. Видимо, человеку тут в одиночку жить привольнее. Кто на опушку выполз со своей избой, кто поставил себе хатенку у речки, что немолчно шумит и взмывает, стараясь перебросить свои гремучие струи через камни, перегородившие ей дорогу; а кто совсем забрался в лесную дрему, в глушь, где только вершины сосен ведут между собой важную, торжественную беседу, да гроза порою шумит над срубом нелюдимого лесовика. Въедешь на холм или на гору – вниз до самой Камы зелеными облаками спускаются эти рощи. Красавица река точно ластится к ним, точно манит их в свою прозрачную глубину. Вот на перелеске горный поток бежит, как расшалившийся мальчуган перескакивает через камни и уступы, оглашая своим бесшабашным криком молчаливую пустынь. Пробежав по рамени, поток уходит в лес, точно хочется ему спрятать свои кристальные струи от солнечного зноя в сумрак и прохладу прадедовского бора. По рамени мшистые, мягкие берега зелеными подушками на самую воду надвинулись. А сквозь толстые и стройные стволы лесных великанов вдали мерещатся палевые пятна белого мха. Север вступает в свои права, и только почти южное сегодня солнце словно хочет напомнить вам о далеком, покинутом вами надолго, благодатном полуденном крае. Всего красивее здесь вид с горы над деревней Камень, верстах в восемнадцати от Веретья. Под вами зеленая, целым морем лесных вершин покрытая понизь стекается к далеким плоскогорьям. Леса совсем синими кажутся, плоскогорья чуть-чуть намечаются матовыми, желтоватыми массами, так и манящими в свою заповедную глушь. Изредка в синем мареве лесов легкими нежными пятнами голубеют поля. Яйва змеится по всей этой низине, то пропадая в дремучих борах, то снова сверкая красивой излучиной... Капризным и прихотливым кажется отсюда ее течение, точно она не хочет расстаться с этой ширью, с этим приветливым берегом и, не имея силы не повиноваться воле, двигающей ее

вперед в Каму, забегает то направо, то налево, то назад обернется, то далеко уйдет в сторону. Так, прощаясь с милым уголком, прежде чем оставите его, вы обходите каждую деталь его, каждую рытвину, дорогую вашим воспоминаниям. Село Камень довольно велико, хотя все избы его новенькие. Оказалось, что и выстроено оно сравнительно недавно. Я, впрочем, потом нигде в Пермской губернии не встречал такой неопрятности, как здесь. Население положительно страдает водобоязнью. Грязь на лицах, грязные комья волос на голове, грязные комья бород... О платье не говорю!

– Бедность здесь, что ли? – спрашиваю.

– Нет, народ здесь хорошо живет, радостно.

– Так чего же?

– Да обычай такой... Где тут за собой глядеть... Скучно покажется.

– Значит, и времени довольно?

– Есть. Теперь куда хочешь за Урал поезжай – чистота, народ за собой глядит как! А тут – совсем другое обличье... Лесовики, дроворубы, когда им... да и не перед кем... Свиньями, надо прямо говорить, свиньями живут.

– Да ведь лес-то зимой вырубается?

– Стоит пока; только всё же они находят себе промысел.

Даже и топоры здесь в крестьянских хозяйствах употребляются такие же, как у чердынских дровосеков.

Густой запах шиповника и душиanky всё время обвивает вас по этой дороге на село Романово. Яйва несколько раз выбегает посмотреть на вас и опять в сторону уходит. В селе Камень мне встретилась особенная достопримечательность: свинья с бакенами и довольно длинными, совсем министерский чиновник!..

– Что это у вас?

– А такая порода ведется... Приезжие страсть любопытствуют... Один даже с нее патрет снял. Такая ей, свинье нашей, честь вышла, чтобы с патретом. Этот, который патрет-то делал, говорит: твоей свинье медаль следует. А я ему: батюшка, она и без медали скусна, с медалью-то скусней не будет...

Около Романова я заметил много скирд с хлебом – на Урале очень важный признак. Это значит, во-первых, что хлеба рождается много, ибо он здесь в овины под крышу складывается, а в скирды уже заливший идет; а во-вторых, и то, что его высеивают с избытком, больше, чем надо на местное продовольствие, а торговли им никакой. Иначе не стали бы ждать следующего урожая. Что значит, где лес остался!.. Тут и дубы, и большие липы в лесу под его прикрытием стоят. Где леса вырублены, там новая поросль подымается уже не такая: ни липе, ни более низкому дереву там не жить – всё оно посахнет. Во-первых, где лесу нет, там зачастую весною, когда липы и дубы дадут молодой лист, вдруг совсем несвоевременно ударит мороз – ну и пропало всё; а во-вторых, и зимний холод легче в темной чаще северного леса, чем на безлесье. Этим объясняется, между прочим, и то, что в нашей средней полосе, которую старые путешественники называли яблочным царством, теперь яблони в лесу слыхом не слышать, видом не видать; явление это повторяется везде. Возьмите, например, хотя бы Брянский уезд, в то время славившийся своими свекловичными плантациями, разводившимися для сахарных

заводов. Теперь ничего подобного нет. Обезлесение края отзывается губительно даже и далеко на юге, где благодатное небо весь год согревает землю своей щедрой теплотой. На южном берегу Крыма есть остатки старых плантаций масличных деревьев. Отец знаменитого нынешнего заводчика С. И. Мальцова пробовал развести близ Симеиза рощу маслин, но должен был оставить это после нескольких лет неудач и больших расходов. Липы, которые мы еще встречаем на севере, последние из тех, которые когда-то, по веснам, наполняли здешние леса своим тонким благоуханием. Несомненно, разумеется, что земля мало-помалу охлаждается; но это охлаждение, геологическое, не так ощущается, его можно было бы мерить периодами в тысячу и более лет. А тут – на глазах всё это оскудение совершается. Мы замечаем из года в год, что в таком-то районе становится климат холоднее, погода суровее, зимы продолжительнее, весны и осени неправильные. Ранние морозы и ни с того ни с сего идущий после жаркого весеннего дня снег – явление небывалое прежде. Но это совершенно понятно. Мы сняли с земли шубу, обезлесили ее, и ей теперь холодно. Губительному северо-восточному ветру от самого полюса до Черного моря нет никаких преград. Он бесится на просторе, куда еще несколько десятков лет тому назад его не пускали дремучие леса северной полосы. Легкомысленное отношение к природе сказывается не в одном этом. Еще недавно мы рукоплескали некоему полковнику генерального штаба, задавшемуся целью осушить Пинские болота и дать таким образом населению сотни тысяч десятин луговой и пахотной земли. Началось осушение, газеты и ученые общества пели ему громкую хвалу – и вдруг оказалось, что эти самые Пинские болота были хранилищем, питомником Днепра и днепровской системы. Луга и поля прибавились, а Днепр и его притоки обмелели до того, что, где прежде проходили пароходы, там вязнут в жидкой грязи и челноки.

Напрасно я думал встретить здесь дичь и глушь почти первобытную. Оказалось, что года за два, действительно, на каждого, кто появлялся сюда, романовцы смотрели разинув рты; но теперь патриархальная простота была отменена и предпочтена цивилизации, выражающейся в пении лакейских песен, в ношении «городских» платьев с талиями чуть не на затылке и шлейфами, хотя и ситцевыми, но в пол-улицы. Даже везде отмененный кринолин растопыривался на каждой местной красавице, воображавшей, что в нем вся сила и есть.

– Тут у нас, какая я вам скажу мадель (вместо мода) была. Кармалинов этих не хватило, так на платья обручи подшивали. Так мы их с этого самого и прозвали ситцевые бочки!

– Одна пагуба! Железнодорожные эти такую у нас смуту развели.

– Какую же?

– Насчет женского пола. Глуп он женский пол; ну а они ему подвержены, железнодорожные-то; и даже с большим удовольствием. Сколько они у нас этой девки перекастили – невозможно! Со своими парнями девка гуляй, потому ее парень за себя возьмет; а этот-то, железнодорожный, налетел, улестил, куснул и прочь... К другой уже с налету. Они это быстро.

Железнодорожники, в свою очередь, поясняют, что они-то настоящую цивилизацию и насадили.



– Я вам так скажу, – сообщал один из них, – до нас десяток яиц стоил гривенник, а баба рубль; а теперь, при нас, яйца стоят рубль, а баба гривенник.

Бабы пустились во все тяжкие, благо мужья нашли работу по настилке полотна. Перед этим просто погибель была населению. Давила подать, недомимки, как виселичные петли, захлестывали. Земляные работы, хотя и тяжелы невыносимо, но при них хоть семья дышать может.

– А кто не пьет, так и про домашний обиход останется.

Что за прелестные речки открылись нам за Романовым. Лошади быстро вносят на горбину, по которой красивым зигзагом сквозь лес точно перескочил проселок. Деревья жмутся с обеих сторон, нижняя листва до лица вашего добирается; не посторонишься – хлестнет, обдав запахом березы. Скат вниз... за скатом Уньва змеится, каждую струйку свою подставляя солнцу. За следующим пригорком речка Куморка. С вершины холма вид без конца. Только налево, на самом горизонте, рисуются дальние заманчивые горы синими тенями, словно сторожа зеленую гладь. А тут, под самыми ногами, Куморка шумит, точно смеется яркому солнцу и летнему теплу. С Куморкой расстались – на извилину Яйвы наехали. Лес со всех сторон теснится к ней; так и чудится, что все эти старые траурные ели, стройные сосны и шаловливые молодые березки, опушенные яркой листвой, не могут наглядеться на прозрачные воды реки. Лес только там и отступает от реки, где на самом берегу ее построился человек. Там лесу боязно; люди – злейшие враги этого тихого и поэтического царства задумчивых вершин. В самые недра его они врубаются своим топором, радуясь, когда на месте дивных сосновых пустынь зазеленеют росистые поля. Стоят по краям таких полей бедные рощи, пощаженные почему-то человеком, стоят и, опустив ветви, точно тоскуют по старому, завоеванному острым железом и ненасытной корыстью лесному царству. Иногда посреди самого поля оставленный великан высоко к небесам тянется своей могучей вершиной, точно жалуясь светлым облакам, бегущим мимо, на великую обиду, на смерть своих вековых друзей, от которых и пней не осталось на разрыхленной плугом ниве. А Яйва опять набегает, точно хочет посмотреть, что делается и здесь и там, и всё ли у нее в порядке позади, и не завелось ли чего нового в стороне. Вот бабья кавалерия нам навстречу. Молодцами в седлах, только локтями размахались во все стороны, точно птицы крыльями... Одна, другая, третья... Орут что-то уж очень веселое нам навстречу, широко улыбаясь румяными лицами. Хохот так и раздается по лесу. Вон две в седле; эти распелись во всё горло. Так и прыщут здоровьем и силой! Еще поворот дороги – и мы наталкиваемся на небольшой табор в лесу – переселенцы, должно быть. Волы жуют что-то, лежа в грязи и провожая нас кроткими, глупыми глазами. Под телегой со всяким скарбом баба с мужиком спят себе, обнявшись. И разлюбезное дело! Видно, что мало кто ездит здесь. В стороне полати устроены: к крупной березе приспособлен сажени на четыре от земли маленький плотик. Внизу палую лошадь пучит, на открытых глазах – целый рой мух шуршит. На ночь охотник с полатей выжидает лесного зверя и наверняка бьет его из крупного ружья местного изделия. Иной раз медведь оказывается умнее, чем полагает охотник, и оставляет его на всю ночь торчать на своей вышке без толку.

Раз случилось, что охотник заснул и мишка забрался к нему сам в гости на полати. Оба рухнули вниз, и разиня только уцелел потому, что зверь, струсив сам, ударился в лес.

– Иной раз сидишь, сидишь так-то, ино одурь возьмет. Слышишь, как шуршит в лесу, зверя лапой сучья ломает, а к тебе не идет. Это зверя пуганая, догадливая; а который медведь справедливый – так прямо к тебе навстречу, стреляй ты его хучь в лоб, хучь под лопатку. В нем значит хитрости нет – добродетельный.

Дорога в поля свернула; во ржи голубыми огоньками вспыхивают васильки. Шиповнику гибель, и аромат его наполняет окрестность. Нежные лепестки несутся по ветру. Меня поразило главным образом не то, что он забрался так далеко к северу: летом шиповник можно встретить и в Лапландии, по пути от Колы до Кандалакши, а густая окраска его цветов. Поля, поля и поля преследовали нас верст на пятнадцать, пока у самой Вильвы нас не обступило прохладное и молчаливое царство лесных вершин. А там опять загороди, там дивисься красивому, сильному типу. Чуть-чуть подальше от лакейской цивилизации и видишь, как хороши эти люди, чистые, неиспорченные. Ни корысти, ни злобы. Отдыхаешь с ними.

– У нас тихо! Только лес гудит. У них, у деревьев, своя молва есть! – сообщил мне старик-крестьянин, у которого я провел целый день. – Каждое дерево свою молву имеет. Молодое – веселую, легкую; а старое да крепкое – важную. Даром слова не выпустит: больше молчит да думу свою думает. И погоду они чувствуют. Весною говорок идет тебе так, точно детки по лесу расшалились. А осенью – сухой такой. Шуршит! По молви слышишь, что лист помирать собирается. И всякой травке мелкой свой голос дан!

Хотел я расплатиться с хозяином – обиделся.

– Ты это за что же меня так? Гость – Божий дар! Мне самому поклониться тебе надо за то, что привернул. А деньги тут – ни по что. Со странного человека деньги брать – грех перед Богом великий. Да меня вся наша округа за это за самое заест. Нет, ты это оставь, у нас не в обычай. И наперед, как в наших краях будешь – заезжай. Рады мы свежему человеку. Совсем скисли в заугольниках.

От Брагиной пошел путь совсем невозможный. Мудрое заводское начальство устало его шлаком. Подбрасывает, качает, из колеи в колею телегу перекидывает. Иной раз кажется, что кто-то схватил тебя и треплет, всю твою душу вымотать хочет. Четыре часа мы ехали пятнадцать верст, и, когда вдали показались огоньки кизеловского завода, я обрадовался во всяком случае не меньше евреев, вступавших после долгого странствия из земли Хананейской в землю Ханаанскую.

Тут уже настоящий Урал пошел. С крутыми горами, с людными заводами, с гремучими реками и девственными пустынями нетронутых лесов.

## XVIII. Кизел

Последняя станция до Кизела в полном смысле ужасна. Кони, сытые и бойкие, быстро бегут по дороге, засыпанной шлаком, острыми камнями, выбитой всевозможными обозами, ухабистой и неровной. Вас взбрасывает, качает, вбивает, словно молотом, вниз, кидает во все стороны. Точно кто-то вашей головою пробует, насколько прочен верх почтовой кибитки. Стукнет в него вашим затылком – не успеете вы очнуться, как висок попадает в какую-нибудь перекладину. Думаете, конечно, как вдруг вас встряхивает и кладет на бок.

– Ну и дорога у вас! – укоряете вы ямщика.

– У нас – мытарство! – соглашается он. – Уж как ругаются-то – не приведи, Господи! Даве одного барина вез – сколь ему обидна наша дорожка показалась! Одно слово, Лазаревская Сибирь пошла.

– Ну, Сибирь-то еще далеко! – не понял я.

– Нет, это наша особая Сибирь... Кизел недавно вырос. Сюда господа наши, Лазаревы, с Обвинских волостей своих народ ссылали за провинность. В колодках водили, с конвоем. Что вою этого было да рёву – страсть! Которые бабы убивались. На Обве в те поры житье было чудесное. Приволье! Хлеба родилось много, леса-то еще целы были. Ну а тут, известно, другой свычай. Тут хлеб жестокий, в земле рудой лежит, за ним-то покопаешься!

Зато места тут пошли красивые. Горы стесняли даль; одна круче другой, сплошь поросшие пихтовыми лесами. По сторонам гранитные скалы взрывали почву. Громадные обломки первозданных утесов загромождали поля. Цепкая поросль всползала по ним на самые макушки, где ее во все стороны трепал теплый ветер уральского лета. По небу бежали светлые облака, уходя за далекие, едва-едва намечавшиеся позади горы. Река Кизел пропадала среди вершин, застилавших окрестности перед нами. Чистая и красивая, она каждою струйкою своею играет на солнце, с громким ропотом оставляя пустынные берега. Своею оригинальною прелестью она живо напоминала мне реку Тириберку на Мурмане, только последняя обставлена более грандиозными массами полярных гор.

– Тут лазаревским владениям конца-краю нет.

– А что?

– Да на двести пятьдесят верст в длину и на сорок в ширину раскинулись. В этой вот кизеловской даче двести шестьдесят десятин, да в растёсской сто шестьдесят тысяч. По всему этому околотку такие пустынные реки текут, что и день плывешь, и другой – людской молви не услышишь. В горах любой заблудится. Подальше отсюда леса раскинулись до самой Павды. Сказывают, в лесах тех люди живут...

– Живут, живут! – подтвердил ямщик.

– И никто тех людей не знает, кто они, зачем?

– Верно... Неведомые люди... И откель пришли, тоже неизвестно...

– Так в дремучем царстве и осели. Где изба, где две. А всё больше в одиночку. Зверя бьют. Тут ведь как, под самыми заводами в лето тридцать либо сорок голов лося изловят.

– Охотники?

– Нет. С ружьем мало. В ямы его загоняют... Подальше к югу Косьва-река будет, так по ней этих ловецких ям столько, что иной раз вместо зверя сам промышленник в нее попадет. Роят-то их точно могилу – узкую да длинную. Зверю в ней ничего не поделатъ. Аршина три вдоль да полтора поперек, а в глубину – четыре. Ну, побьется, побьется, да и станет народу дожидать. Раз тут какое дело вышло. Одна яма поглубже была. Попал в нее крестьянин один, а места пустынные. Безлюдье, бездорожье. Попал и сидит... Голос подает – ему только ветер гудит в ответ по лесным верхушкам. И еще разве пугач поплачет ночью, а то тишь мертвая! И еще два дня прошло. Ночи холодные – чуть жив человек. Хлеб, какой был, давно приел. На пятый день сапоги жевать стал... Воды нет... Поблизости-то ручей звенит, а до него не доберешься. В каменью яма-то была. Только на шестой день на него набрали звероловы. А через три после того он и душу-то Богу отдал. Изморился в яме этой!

Мой спутник был старожилом кизеловского завода; на сотни верст кругом не нашлось бы холма или утеса ему неизвестного. В несколько месяцев, которые потом я провел в этом царстве рудников и копей, мне приходилось сталкиваться с массами людей, служащих и живущих при заводах, и я не могу не вспомнить с благодарностью, как охотно они делились со мною своими сведениями. Особенно тщательно обработанные мною главы о положении заводских и горных рабочих оказались бы далеко неполными, если бы на помощь к моим личным наблюдениям не пришли бы они, и если картины, набрасываемые мною, покажутся слишком мрачны и выводы, к которым я прихожу, безотрадны, прошу не винить меня. Я смотрел на уральскую действительность не сквозь одни свои очки: мне помогали в этом деле все, начиная от простых рудокопов и кончая заводскою администрациею. К чести последней нужно сказать одно: мне редко приходилось наталкиваться на людей из среды ее, которые бы пытались выставить положение рабочих в более благоприятном свете, чем оно есть в действительности. Напротив, что, по незнанию края, я мог пропустить или не понять значения, мне тщательно указывалось ими.

Когда мы въехали в широкую, хорошо обстроенную улицу завода, направо остались внизу, в глубокой котловине, громадные здания завода. Прямо перед нами, на плоскогорье, вытянулась рабочая слобода. Два-три каменных дома выделялись между другими. Безлюдье казалось страшным после шумных усольских и дедюхинских улиц. Ни в окнах, ни во дворах не было никого. Точно вымерло население этого завода. Потом уже оказалось, что всё оно – и бабы, и дети даже – на работах. Не хватает рук для завода, так что, например, в руднике дело идет только зимою и осенью, когда приходят сюда на заработки закамские крестьяне. Из артемьевских копей, на реке Губахе, и из троицких, на реке Косьве, например, вся руда, в количестве 350 000 пудов, доставляется не сюда, а далеко, в Чёрмоз, где население гуще и потому нет недостатка в руках. Напротив, там зачастую является даже избыток, и тогда его направляют сюда, в Лазаревскую Сибирь. Собственно кизельский завод перерабатывает 375 000 пудов руды в чугуны и разные изделия. Деятельность его всё растет и растет. Так, например, в 1873 году здесь было выплавлено болванки и приготовлено листового железа 560 000 пудов, в 1874 году –

93 000 пудов, в 1875 году – 146 000 пудов, а в 1876 году – 200 000 пудов. Таким образом, среди общего оскудения пермской заводской деятельности кизеловская, в каких-нибудь четыре года, выросла почти вчетверо.

Самая руда на месте ее добывания обходится Лазаревым очень дешево: с постройкою новых шахт – не дороже трех копеек с пуда. Гораздо большего расхода требует ее перевоз. За все последние годы он не падал ниже десяти копеек с пуда, считая тут и караванные, и накладные. Таким образом, переплав здешней руды в Чёрмозе не так выгоден, как в самом Кизеле. Поэтому, уже при мне, Новокрещенных, управляющий всеми дачами Абамелек-Лазаревых по Каме, Косье и Кизелу, подумывал перевести сюда из Чёрмоза домну. Стоящая громадных расходов постройка доменной печи здесь, несомненно, окупится из остатков от расходуемых ныне денег на перевоз руды. Даже разработка угля в этой местности может дать громадный барыш при условии удешевить его. Кизеловская дача даже богаче углем, чем Лунья, о которой я слышал еще на Волге. Сюда прошли залежи из Всеволожской дачи, и на Коршуновском (Лазаревском) заводе при мне добывалось уже до 900 000 пудов. Можно было бы и более, но по местным потребностям и этого оказалось достаточно. Нужно добавить, что точных разведок при этом здесь еще не сделано, а открыта только разработка залежи от старого рудника и исследовано небольшое пространство, запасы которого исчислены в 60 000 000 пудов. Уже эти цифры на первый раз дают некоторое понятие о значении Кизеловского завода, от которого мы начинаем наши очерки настоящего Урала. Из более подробных сведений в следующих главах еще яснее будет читателю громадное богатство прикамских захолустий, которыми мы вовсе не умели воспользоваться. Напротив, отсутствие энергии, знаний и разумной широты замысла, хищническое истребление лесов и бессмысленные траты сокровищ, накопленных скопидомными отцами ценой крови и пота рабочих, низвели этот край кое-где до экономического минимума. Теперь эксплуатировать его богатства явились французские компании. Кто виноват в этом? Говорят, отсутствие капиталов. Но они, эти злосчастные капиталы, были; жаль только, что они попали в дурацкие руки, которые сумели в какие-нибудь двадцать лет раскидать их на игру, разврат и кутежи, на хамство и пьяные оргии, где даже не было утонченного цинизма, а только один смрад и грязь. Они, эти злосчастные капиталы, сплошь брошены в жадные пасти интернациональных публичных женщин, оставлены на столах рулеток. Теперь обнищавшие владельцы их помышляют о спасении отечества, не умев спасти своих собственных вотчин. Хороши спасители! Пьяницы и блудники!.. Так ушло пермское богатство, и теперь володеть нами являются туда иностранцы. Что ж, в добрый час! Высосав наши соки и разбогатев на остатках доброго старого времени, они покажут нам, где раки зимуют, и, может быть, научат кое-кого. Рабочему всё-таки будет легче. Теперь он бежит с голодных заводов. Есть места, где ему не к чему руки приложить, а тогда его поставят к делу и не дадут хотя умереть от бескормицы. Всё, что мы говорим, не относится к заводам Абамелек-Лазаревых. Тут дело поставлено прочно и развивается широко.

Удивительно красивы окрестности завода, особенно по течению реки Полуденный Кизел.

Вся она пенится по камням, точно ласкаясь к правому высокому берегу, гремит и злится не хуже большой реки. Миниатюрная, перешагнуть, кажется, можно; а тоже острова везде, точно клоки зеленого бархата под солнцем. На островках то тонкая стрелка ели, вся на свету, то кусты шиповника, осыпанные сплошь алыми цветами, то весь островок – верхушка утеса, взрезавшего реку, которая напрасно бесится и злится, стараясь закинуть на него свои белые, вспенившиеся от бессильного гнева струйки. Полуденный Кизел извивается очень прихотливо: то гору обойдет, подкрадываясь под ее крутые скаты, то несколькими ярко-серебряными нитями разольется по мягкому зеленому лугу, то разбежится надвое, образуя остров, сплошь покрытый издали точно белым пухом. Подойдешь ближе и видишь, что тут, по соседству, в нерушимом мире и согласии живут чайки и лебеди, заглушающие говор речных струй своими резкими, ни с чем не сравнимыми криками. Грянет откуда-нибудь в лесу выстрел, и чайки подымутся белым облаком вверх, уносясь серебряными искрами в голубые выси. Только лебеди остаются спокойными, будто знают, что народ окружил их суеверием, что они приносят ему счастье и ведро, что с ними уходит и заработок, и урожай. Полуденный Кизел издали бежит сюда – из безлюдных, пустынных лесов, из ущелий, скаты которых не попирала еще нога промышленника. Обогнув кизеловский рудник, река сливается здесь с своим старшим братом, рекой Кизелом, и вместе впадают они в красивую Косьву. Я даже на Урале мало видел местностей лучше этой, где на небольшом пространстве идиллическая прелесть бархатных лугов соединяется с суровым величием горных вершин. С одной такой посмотришь вниз – и вся эта речушка как на ладони, с своими извилинами, поэтическими островками, плесами, где полощутся молодые утки, где черные выводки гагар спокойно плавают себе по отдыхающим, точно после бесшабашной беготни, водам. Вон лесная гора перегородила речонку; но из-за горы, смотришь, набегает она еще шаловливее, еще свободнее и громче. Вон далеко-далеко рудничные деревушки точно со всех сторон сбежались к ней, и, весело скользя мимо, Полуденный Кизел как будто кричит им во всё свое серебряное горло: «Ну-ка, кто за мной вперегонку!» На юг Старый Кизел виден, весь перерытый террасами и шахтами, давно брошенный. Точно склепы там вырыты в серых скалах, и громадные северные орлы одни прячутся в их темные зевы. Оттуда зорко сторожат старые хищники всякую мелкую пташку, что стремится к Полуденному Кизелу из зеленых облаков обступившего его леса.

– Эко места какие дивные! – заметил я старику, сидевшему на выступе большой серой скалы.

– Истинно дивное! Господь слугам своим уготовал оное, а их мерзостная корысть забрала. Тут бы обителям красоваться.

– Почему же обителям?

– Места самые молитвенные... Сидишь-сидишь, смотришь-смотришь – и так тепло тебе станет. Из груди вопль радостный. Слеза сама на глаза просится. Господи, подумаешь, сколь велико творение твое!

– Мне кажется и работать здесь тоже веселей должно быть?

– Для работы другое нужно. Работа наша непосильная. Она изобличению начало, зависти всякой источник. С работы-то другая молитва бывает.



«Да воскреснет Бог и расточатся врази его» – вот какая она. Врази-то кто? Надсмотрщики, начальство, которое жесткое, бескормица. Вот они, врази! Ну а тут, по пустыне этой, совсем иное в голову идет. Тут мир тебе и благоволение всякое. И в реке благоволение, и в травке благоволение. Много здесь угадать можешь, если в тебе душа настоящая есть. Тут небеса благостные какие! Как один сидишь, слушаешь, день слушаешь и вечер слушаешь, и почудится тебе, что и горы эти, и луга, и леса наши темные – все они на молитве стоят пристойно; только речушка веселая. Она тихо молиться не может, а как псалмопевец Давид, «скакаше и играше!». Такая уж она у нас... Игрунья! Молодая река.

– И лебедь молится, – прибавил он, немного помолчав. – Ты видал ли когда?

– Нет.

– А ты посмотри. Тут главная причина – смотреть надо, и тогда всё откроется тебе. По зорям, утром, как солнце всходит, вечером, как за горы прячется, лебедь это остановится посередь воды долго-долго. А потом вытянет шею вверх и по-своему «Господи, помилуй!» кричит. Чтобы слушало его всё сущее... громко. Вот он какой, лебедь! Птица, а иноگو человека умней.

– Ты, дедушка, давно ли здесь?

– А я, как бы тебе не соврать, восьмой десяток доживаю на сем месте. И родился тут, и вырос. Молодой-то редко светом Божиим любовался. В руднике, как червяк, во тьме всё, бывало, копаюсь. Ну а теперь – слава тебе, Господи! Глаза только вот...

– Плохи?

– Да. По близности вижу, а вот гору-то – гора там должна быть – не могу. Ну да что ж! Пока травку какую малую какую рассмотреть смогу – и то ладно, потому и травка малая тоже свидетельствует славу Его.

– Не для каждого.

– Что говорить, милый! Много званых – мало избранных, это точно. Народ нонче не проникает. Мы темней его были, редкий кто грамоте умел, а только нам и самая глыбь сокровенная иной раз открывалась. Потому мы со смирением. А ноне... ноне вон в Кизеле народ газету читает; ну точно, что умнее стал. И говорит не по-нашему, и думает по-чужому. В обиду тоже не сразу дастся. А только у меня вон сердце, что цветок, солнцу так и раскрывается. А у них – нет. Умом-то они вознеслись, а сердцем оскорбели.

## XIX. Артемьевский рудник

Столь же ужасная дорога, что и в Кизел, идет отсюда в Артемьевский рудник. И то же самое утешение – прелестные окрестности, оригинальные, нигде не повторяющиеся картины великого художника – природы. Направо – в бесконечную даль уходящие лесные пустыни, взгляд рассеянно скользит по зеленым вершинам могучего царства, еще нетронутого пока топором и, к счастью, уцелевшего от пожара. Редко-редко только встретишь дерево, сваленное грозю или спаленное молниєю, но и этих мертвецов спешит со всех сторон точно похоронить поскорее густая поросль. Их и не различишь, если

не углубишься в этот прохладный сумрак, где только ветви колышутся вам навстречу да птицы в чаще приветствуют человека, еще не зная в нем злейшего врага излюбленному ими лесному царству. Оно еще виднее – густое, веселое, полное поэтической лени и красивых колеблющихся теней, когда дорога взбегает на карниз горы. Целое море лесных вершин подо мною, а налево – крутизна горы, тоже покрытая лесом. Ни одного жилья кругом; даже дымок не вьется из этой дремлющей чащи, значит, и в ней самой не слышится песни, не звучит людская мольба. Дорога ползет всё выше и выше, перекидывается через макушку горы и глубоко внизу, на дне котловины, раскидывается под нами Артемьевский рудник. Серебряный крест часовни вырезывается в зелени обступивших ее деревьев; рядом белая колоколенка. Церкви нет. Темно-серые избы кажутся еще более жалкими сравнительно с величавым лесом. Они жмутся к нему, точно у него просят защиты. Сурово смотрят на них темные скаты гор, по вершинам которых уже горит прощальное сияние умирающего дня, охватывая своим золотистым отблеском стройные пихты. Вон две вышки и громадный обрыв, в котором зияют черные пасти пещер, вырытых руками рабочих. В этих искусственных гротах ломают руду.

– В шахты-то, которые у нас поглубже, пройти нельзя.

– Почему?

– Вода! Что поделаешь, сплошь залила их внизу. Вот займемся отливкою! А работы начнем с осени; закамские крестьяне придут, тогда и копать станем.

Не весел этот железистый, бурый колорит, который лежит здесь на всём. Отсвет его виден даже на серых лицах у людей, выглядывающих почему-то очень болезненно. Кажется, что всё пропитано рудой, и стены этих жалких изб, и преждевременно поблекшей вышки шахт, и сама трава, где она решается пробиться сквозь руду или пустить в нее свои слабые и чахлые корни. Там, где дно котловины углубляется уступом, на самой поверхности много черных ямок. Оказывается, что тут работают бабы, тогда как внутри, в шахтах и пещерах, копаются мужчины. Около одного из оврагов громадная скала чистой руды.

– Царь-камень у нас! – хлопает по скале старый оборванный рабочий.

– Да, тут тысяч на четыреста руды сидит! – замечает управляющий. – Бережем его на случай.

– Стоит-то дорого, а не унесешь; под мышки-то его да вон – нельзя!

– А тебе бы, Степан, чудесно! Взял, да в кабак.

– Что говорить, первый сорт! За этот камень и господским вином по самую свою смерть пьян будешь!

Вокруг ямок и пещер насыпаны целые горы из простой земли. Рыхлые. Кое-какие травую подернуло.

– Пустая работа была здесь. Дорывались до руды, да не нашли.

– Не далась! Она как еще дается кому.

– Коли роешь, не любит она, которые неподобные слова говорят. Сейчас вглыбь уйдет. Ну а кто не сквернит языком, тому – получай!

Сто лет уже разрабатывают руду в артемьевской котловине. На поверхности земли труд – игрушка, «для ребятишек»; зато внутри – каторжный. Измором донимает она тех, кого гонит сюда нужда непосильная. Среди

этих красно-бурых масс кажется рудокопу, что схоронили его глубоко под землю, что ему никогда и не выйти из нее, никогда не видеть дневного света. Блуждающий луч ручной лампочки освещает только небольшое пространство перед ним, чаще неровную стену, по которой сочатся подземные ключи. Новичку особенно жутко. К вечеру первого дня работы он начинает ожесточенно бить кайлом (инструмент полегче кирки) в рудную массу, точно от этого зависит возможность вырваться на волю из этой тяжелой тьмы. На других мрак и подавляющее однообразие рудника с железистыми изломами и серовато-металлическими пятнами, выступающими под тусклым мерцанием лампочки, действуют притупляющим образом. Мысль замирает, чувство страха молчит, только руки живой машины работают, врываясь всё глубже и глубже в эту громадную могилу. Лампа едва-едва открывает свой уже потухающий глаз, точно она пугается окружающих ее громад земли и камня, точно ей хочется заснуть и не просыпаться в этом суровом царстве, где невидимо рождаются в вечной тьме подземные источники и целые миллионы лет умные гномы хранят и умножают свои бесчисленные сокровища.

– Вон у нас штольни. Тут у нас ломают руду и укладывают в тачки, и на них уже свозят в сараи.

Мы вошли в екатерининскую штольню. Масса охры кругом. В охре этой весь вымазался и копается добродушный мужик, улыбаясь нам, когда мы к нему подходим.

– Бог в помощь!

– Бог-то от нас отступился. Потому с этою рудою мы совсем как черти стали. Чертей-то в церквях краше рисуют. Вишь я какой! Надьсь девонька моя набежала. Семилеток. «Тягька, – говорит, – мне тебя страшно, какой ты...» – «Чего же страшного?» – спрашиваю. – «Ты меня съешь!» Так и не пошла, испугалась. Свету мало, да и дышать неспособно. Тут у нас воздух вострый. Всю грудь разъест. Потом-то, как выйдешь наверх, дышишь-дышишь!

– Тут какое дело было: баб сюда работать не пускают, так одна из Закамья пришла. Девка мужиком вырядилась, да всё лето так и проработала, так за мужика и плату получала. Случаем и открылось, а то бы никто и не узнал. Два парня из-за нее в шахте поссорились, да кайлом один другому в висок угодил. Чуть не убил, а здорово только поранил. Они в земле-то не только работали, а и слобиться успели. Парни-то из одного села с нею, ну и знали ее, только уговорились, чтобы молчать.

Представляю себе эту любовь в могиле, под массами земли и руды, нависшей сверху, под стук кайл, выбивающих горные породы, под тихое журчание ручьев, сочащихся сквозь стены шахты.

– От этой воды беда нам. Зимой особенно. Где она не замерзает... дойдет!

– Один тут у нас был, тоже в руднике копался, песни свои пел; сам их выдумает и поет. Так он эти ручьи слезами звал. «Это, – говорит, – мать сыра земля по нас плачет. Томимся на работе непосильной, голодуем, она, сердечная, и жалится. За нас ей больно. Слезы и точит она... из себя значит».

Мы прошли мимо Деляновской шахты. Она залита теперь водою; глубина ее сто сорок семь футов. Рядом так называемый Тагильский шурф.

– Сюда спуститься можно. Он неглубок, положим, да сух зато. Разумеется, сравнительно. Совсем сухих тут вовсе нет.

На меня надели рабочий кожан, шапочку дали обвалывшуюся. Черная дыра вниз. Пополз по одной лестнице; сквозь какое-то отверстие проскочил на вторую.

На ступеньках масса вязкой глины. С боков течет. Какая-то струйка воды с жалобным стоном пробивается в скважину черного камня. Вход в шахту вверху чуть-чуть сереет. Точно в могилу спускаешься, так и кажется, завалят тебя сверху камнями и останешься ты тут гнить на веки вечные. Внизу тьма, тяжелая, пропитанная испарениями глубоко раненной здесь земли, запахом железа, влажным паром ручьев, струящихся где-то далеко-далеко под этими глыбами. Свечи начали тухнуть, точно им стало страшно этого мрака, соперничать с которым у них не хватило бы сил. Тут уже нельзя было идти, ползти пришлось. Ползли-ползли, как черви в орехе, и, наконец, выползли. Бревенчатая кладка кончилась. Черный, адский грот. Тут работают с лучинами. Слышен торопливый стук кирок. Видны огоньки тусклые, точно окутанные душным паром. Черные изломы камня, раковины железной породы будто слезятся при этом свете. Направо и налево – такие же, словно проточенные червями, ходы, каким и мы добрались сюда. Сквозь эти жилы слышится глухой говор таких же кирок. Порою под железными ломами, трескаясь, раскалывается горная порода. Из других штолен доносится тягучее, как колокольный удар, громохание. Точно земля простонет и смолкнет. Рвут пороховые мины. Вместе с звуком разрыва что-то шуршит. Отделенная от родных скал руда падает и ударяется о стены подземных гротов.

– Отчего же здесь вот руды не собирать?

– В этой штольне не тем заняты. Тут, что вы видите, пробивается ход в другой рудник для вентиляции. А то у нас чуть было не задохнулись рабочие. У нас один рудник соединяется с другими такими же точно жилами, по какой мы добрались сюда. Так всю глубь пронизали. Дышится легче и огонь лучше горит.

– Велики ли здесь залежи?

– Да у нас до самого Кизеловского завода тянется. А дальше мы не исследовали. Всех шахт у нас здесь восемь больших и две малых. Паровые машины устроены в трех шахтах для подъема бадей и выкачки воды. Топим мы машины каменноугольным мусором. Для пара это чудесно. А самый каменный уголь у нас – в Коршуновских копиях увидите – идет на заводы. По всему округу тут только у Лазаревых и жгут его. У других на дровах, а мы лес жалеем.

Вместе с нами выполз из рудника один из рабочих. Бросил кирку оземь и часто-часто задышал. Жадно осматривается кругом, на заходящее солнце, на зеленые горы, обступившие издали эту котловину. Вон, внизу, к берегу Малого Кизела сбежались избы какой-то деревушки, и он бросил почти влюбленный взгляд на гремучую речонку, на золотую кайму, вспыхивающего по гребням далекого чернолесья.

– В лес бы теперь чудесно! – обернулся он ко мне. – Лег бы в траву и лежал до самой до ночи. Всё бы смотрел. Я это, как праздник – сейчас туда. Чудесно!

– Что-ж хорошего?

– А над тобою верхушки-то переплетаются, и всякая под ветром свой разговор ведет. Важно так, словно старики. А ты лежишь и не трогаешься. Мошка тебя не боится, над тобою целым роем. Точно свадьбу правит, звоном звенит. Всякая животная мелкая с листа на лист ползет, и всё ты видишь. Птицы теперь песни заведут. Вверху, в воздухе, чиркают с ветки на ветку.

Как смеркнет, так и уходить не хочется. Всё бы лежал. Мы за неделю-то в руднике как натомимся, так нам это – что во храме Божиим.

– Да, ваша работа трудная.

– Нет трудней. Потому без свету, лучина одна горит тебе. И сама-то она слепая, и ты точно слепой. Ничего не увидишь дальше своей руки. Иной раз, бывает, обвалится руда-то, так и погиб ты, словно червь какой. Хорошо еще, если вырыть можно, ну хоть похоронят на бережку, река будет шуметь около; а то так и останешься под рудою-то. На этом заводе таких дел не бывало, ну а на других сколько угодно. У меня братан был, так его завалило. Их всех тридцать две души сгнило, так и не отыскали. И в рудник тот боязно спуститься. А всё от начальства.

– Почему?

– На лес скупость пошла. Из бревен бы вверху скрепы поставить – ничего бы не было; а так ведь бревен жаль! Души человеческой не жаль. Так на том заводе мы эту шахту проклятой и звали. Ну а тут, на Лазаревских заводах, грех похаять. Тут хорошо. Народ не обижают. А только нет нашей работы трудней. Дроворуб, что на всю зиму в лес уходит, с волками да зверьми лютыми живет, – всё счастливее. Он хоть свет видит, живой между живыми ходит. Небо над ним, свету кругом сколько хочешь. А у нас только руда одна да камень. А камень иной раз непокорный попадет. Долбишь его долбишь, а он всё не согласен. В пот ударит, изморишься, кирка из рук выпадает и сам ты вместе с нею оземь вдарись. Кажется, каждая косточка в тебе болит. Лучина потухнет, и лежишь ты в темноте. Думаешь: «Господи, в аду хуже ли будет?» Так я тебе скажу: какой хошь злой человек, а внизу, под землю, совесть узнает. Потому – нельзя. Так промежду собою мы думаем: кто руду не копал, тот Бога не знал, а руду покопаешь – и Бога узнаешь... взмолишься!

– А вон, рассказывают, из-за какой-то бабы в руднике чуть убийства не было.

– Бабы не в счет. Из-за них, из-за подлых, и в раю ежели какой ни на есть ангел праведный и тот согрешит. И еще как легко. С полным удовольствием!... Первый раз, как я спустился в рудник, как затрясло меня... Думал – тут моя смерть. И всякая душа, в шахте-то, ласковой становится. Тут одному нашему работнику поснедать ребеночек носил. Вглыбь к нам спускался. Так не было того человека, чтоб не погладил ребеночка. Васютко, подь сюда. Васютко, глупый ты! Кажи-ко, какие у тебя глаза... Со всех сторон... А наверху, на земле, до Васютки и дела нет. Хошь он тут под ноги ползи, никто ему слова не скажет.

Между рудокопами и преступления реже. Этот народ душевный и совестливый. Внизу, под землю, во время работы не поется; какая тут песня; поневоле станешь думать обо всем. Во тьме, кстати, и сердце говорит громче, и правда в душе слышнее. На каждом шагу чудится – смерть сторожит. Гото-

вишься к ней, всё прошлое, пережитое проходит перед глазами. На Урале мне рассказывали не один случай, как не заподозренные никем убийцы являлись к властям с повинною. Оказывалось, что в душном мраке глубоких шахт им отовсюду чудились лица их жертв, искаженные, сохранившие то же выражение, с которым преступники оставляли их. В глубокой тишине подземного царства, наступавшей тогда, когда усталые рабочие опускали свои кирки, беспокойной совести чудились укоряющие крики, стоны, вопли о пощаде, раз засевшие в ухе и с тех пор не забывавшиеся. Вода, сочащаяся сквозь руду, богатая содержанием железистых частиц и потому красная, кровью брызгала им на руки, и в слепом страхе несчастные бежали оттуда прочь, наверх, на свет Божий, боясь, что вот-вот неведомая сила сдвинет с гранитных стержней эти тяжелые массы и они погребут под собою нераскаявшегося, непрощенного грешника. В те же рудники, только сибирские, шли они по приговорам судов, но уже примиренные. Начиналось искупление, совесть смолкала, молитва становилась доступнее.

– Начальству! – и какой-то оборванный, совсем пегий мужичонка давай раскланиваться перед моими спутниками.

– А ты, Федосеев, опять пьян? – удивился управляющий.

– Пьян. Жив Бог, жива моя душа! А я пьян. И не боюсь... начальству почтение – и спокоен.

– Работу бросил?

– Бросил, потому я горький человек. И ничего со мною не поделаешь! Штрахву возьмешь – это точно, а больше ничего. Я пьяный когда – умный...

– Чем же это?

– Свою струну держу. Козлов меня обругал, тверезый должен я ударить его по скуле? Как по-твоему, должен?

– Ну, ну дальше!

– А я ему ход дал. Он меня облаял, а я ему заместо скулы поклон. Вот я как! И все меня за это уважать должны.

– С чего ты только пьешь?

– С темноты. Потому мы во тьме этой. Кромешная тьма! Оттого и пью. Выпью я это малость, а у меня душа светла, во как светла! Небо светлое, а у меня душа светлее.

– Вона!

– Верно тебе говорю, потому дурных помышлений у меня нет.

– А ты помнишь, как в прошлый раз забунтовал!

– Уж и бунт! Разве это бунт? Всего моего и бунта было, что на тридцать копеек.

Таким образом идиллии был положен конец, и Федосеев вернул нас к действительности.

– Ну что, матушка, как дела? – остановился один из моих спутников перед бабою, копавшею руду на поверхности земли. Баба была здоровая, лицо веселое. Седые волосы как-то не ладилась с румяными щеками. Рядом маленький пузырь тоже таскал землю в рубашонке, воображая, что и он тоже делает большое и серьезное дело.

– Небаско, Ляксея Оомич. Сам знаешь, семья у меня.



– А ты духу не теряй!  
– Зачем терять! Теперь, коли мне духу своего решиться, должны все мои ребятишки помирать тогда.

– Вот баба – молодец! Умер муж, оставил ей шестерых детей, – работает, рук не складывая.

– Тут умер муж?

– Нет. На Чусовой у них барку разбило. Так и пропал без вести. Даже и тела не нашли. Поседела баба. Впрочем, только дня три и убивалась, а потом пришла на работу и с тех пор рук не складывает. Сынок-то тебе помогает?

– Тимошка у меня работничек. Он за себя постоит.

Тимошка заработал еще серьезнее, даже щеки напыжил, загребая никуда не годную землю побольше.

Когда мы возвращались отсюда, весь путь перед нами занял караван с рудою. Кони едва вытягивали тяжелый груз, а тут дорога еще увеличивала тяжесть телег. Казалось, что нарочно нельзя создать чего-либо подобного. Острые камни взрезывали почву, кое-где валялись целые груды шлаков, в которые колеса нашего экипажа погружались с резким и неприятным звуком, точно они давили стекло. По пути мы обогнали большую партию рабочих.

– Куда вы, братцы? – спросил их мой спутник.

– В Луньву.

– Да вы не здешние?

– Не. Мы дальние, железнодорожные.

– А! То-то я не признал вас. На работу?

– Да. Пал Ефимыча знаете? Ну вот к нему. Давно идем по вашей стороне.

– Что ж, вам нравится?

– Чего хорошего? Дикая Азия – больше ничего. Тут тебе гора, а там – другая. Лог ежели – глубокий, не осилишь. Круто тоже. Коли бы ровно было – чудесно!

– А сами-то вы откуда?

– С разных мест. Мы постоянно у Петра Ионыча. Когда и нет работы, всё равно получаем. А когда есть – нас и гонют. А только у вас тут работа будет, ах, трудная! Потому место неспособное, несурзное.

– Точно в сказках, – прибавил другой.

И партия осталась далеко за нами.

## XX. Домна

Людам, не посвященным в таинства горного и литейного дела, Домна, разумеется, представляется какою-нибудь рослою и толстою деревенскою красавицею, на которую почему бы то ни было турист захотел обратить внимание своего читателя. Но, увы! Последние должны разочароваться. Домна, пожалуй, и громадна, и толста, и по-своему красива, хоть и грязна до невозможности. Она обладает удивительною пастью, поглощающею сотни пудов руды и десятки сажен дров, и желудком, переваривающим эту руду в чугуны.

Мы говорим о доменной печи, которую везде сокращенно называют просто домной.

Руду, добытую рассказанным нами способом в Артемьевском, Христофоровском и Кизеловском рудниках в виде однообразной бурой массы с редкими желтыми пятнами охры, доставляют на завод. Тут ее в ящиках,двигающихся по рельсам на тормозах, спускают в печи близ домны. До плавки в этих печах руду промывают; она теряет некоторые составные части свои, совершенно не нужные, и краснеет от жару, делаясь в то же время более рыхлою. В этом виде ее выгребают на площадки, где и разбивают в куски, не более грецкого ореха каждый, после чего руда уже считается достаточно подготовленною для плавки. Прежде чем попасть в доменную печь, руда попадает на весы и разбавляется древесным углем так, чтобы на каждые девять кубических аршин его приходилось от сорока до пятидесяти пяти пудов руды. К этой смеси при-мешивается еще до пятнадцать процентов флюсов, т. е. известковых камней, уже раздробленных. Уголь при этом должен быть как можно крупнее. Когда состав таким образом для плавки готов, доменная печь открывает свою пасть. Домна строится обыкновенно высотой в хороший трехэтажный дом. Пасть у нее наверху. Когда рабочие с составом для плавки подходят к ней, оттуда уже пышет жадный огонь, освещающий темноту сарая, построенного над нею. На непривыкшего человека, как, например, на меня, это производило довольно сильное впечатление. Что-то адское было в этих взрывах красного пламени, в этом громадном круглом зеве домны, жадно раскрытом в ожидании своей обычной добычи. Наверху черные, окуренные дымом и покрытие сажею балки кровли, редкие просветы в ней, сквозь которые день не решался заглядывать в таинственную тишину, окутанную мраком и озаряющуюся только красным пламенем домны, почти голые рабочие, сновавшие на ярком фоне этого пламени черными силуэтами и опять исчезающие во тьме, – всё это настраивало известным образом, заставляло забывать, что пред тобою известное механическое производство. Воскресали предания о древних таинствах языческого культа и казалось, что перед глазами громадный алтарь, на котором в огне и дыму неведомое чудовищное божество пожирает сотни и тысячи жертв, ему приносимых. Всклокоченные и полунагие жрецы благоговейно служат ему, и непонятный оглушительный шум наполняет этот первобытный храм своими подавляющими звуками. Когда вдумаешься во всё, что происходит здесь, то сарай и доменные печи в действительности представляются храмом, в котором совершается чудесное таинство претворения никуда не годной горной породы в металл. Добро или пользу принесет это человечеству? Выйдет ли из него плуг, глубоко взрывающий плодородную борозду, или меч, от которого будут гибнуть люди? Обольется ли оно трудовым потом или на нём ржавыми пятнами почернеет кровь? Как знать, глядя на беременную женщину, величайшего злодея или героя и труженика она носит в себе?

– Жарко! – оборачивается один из рабочих, которого совсем поджарило пламя, взрывающееся вверх из домны.

– Не приведи, Господи! – бросился к воде, жадно припал к ней и пьет, а пот крупными каплями падает в тот же ковш с почерневшего от копоти лба. Всмотриваясь в окружающих, я замечал, что они, как и эти балки и стены,

тоже покрыты копотью и сажей. На почерневших лицах добродушно или озабоченно смотрят усталые глаза. Кое у кого и воспаленные, видимое дело – не даром достается эта близость огня, этот жар, пышущий изнутри, из самых недр колоссальной печи.

– Сторонись, сторонись! – и меня толкнули в сторону.

Не успел я очнуться, смотрю на то место, где я стоял, стали сносить колоши, т. е. короба с рудой и углем.

Каждый день таких колош идет в печь от двадцати пяти до тридцати пяти. Полунагие рабочие, жрецы литейного культа, подхватили две новые жертвы своему ненасытному божеству и стали опоражнивать их в дышащую огнем и зноем его пасть. Целая туча пыли, дыму и искр поднялась вверх к черным балкам кровли. Туча эта на минуту окутала нас всех, перехватывала дыхание, слепила глаза. Чудовище еще громче заклокотало; еще сильнее стало взрываться и свистать во все стороны пламя, точно оно и до нас хотело дотянуться своими огненными жалами. Мы невольно отступили назад во тьму углов, издали разглядывая всё это таинство.

– Федор, Федор, куда ты? – закричал надсмотрщик на рабочего, который кинулся прочь от домны. Там, где стоял он, всего сильнее подымалось пламя, точно оно его-то именно и хотело захватить и унести в недра, где кипел металл.

– Невозможно.

– Что невозможно?

– Стоять... Так палит... Дыхать нельзя.

– Ну, пошел, пошел! Надо, чтобы руда ложилась по всей домне ровно, а не то, что в один край много, а в другой ничего. Этак чего доброго и домну испортишь. Пошел, пошел!

– Эх ты, доля собачья! – протестовал по своему рабочий, отправляясь жариться к самой пасти.

– Вы подойдите ближе. Вы, по крайней мере, получите понятие о том, что делается внутри огнедышащей горы, – предложили мне.

Несмотря на жару, любопытство взяло верх и я подошел.

Действительно, тут палило. Домна теперь горела уже ровным розовым пламенем; внутри, в ярком хаосе, трудно было что-нибудь разобрать ослепленным глазом. Чудились только в однообразном золотом фоне огня какие-то белые, ослепительные змеи, пробегавшие по горевшей руде; снопами ярких лучей вспыхивали порою флюсы, взбрасывая вверх бриллиантовые звезды; раскаленные уголья, точно налившиеся кровью глаза баснословных, в огне живущих саламандр, смотрели на нас из этой плавучей, пузырившейся массы. Порою она точно проваливалась кое-где внутрь, и в раскрывавшихся таким образом недрах огнедышащей горы пробегали еще более яркие змеистые струи белого пламени, светились совсем уже ослеплявшие глаз расплавленные флюсы, и какое-то белое молоко вскипало между ними – молоко, одна капля которого могла бы прожечь насквозь. Это именно и оказывался ставший уже жидким чугуном.

– Ну что?

– Эффектно. Тянет туда.

– Не вас одного. На одном из заводов случай был. Сумасшедший был один, думали, выздоровел он, определили его к делу. Ну, первое время ничего, работал, а потом прочел о трех отроках, вверженных в огненную печь, и ни с того ни с того ни с сего стал задумываться. Как-то рабочие не доглядели, он крикнул: «Помоги, Господи», – да в печь!

– Ну?

– Что ну – в момент от него даже золы не осталось.

Я полагаю, что трем библейским отрокам тоже не поздоровилось бы в этом вулкане. Чудо чудом, а они бы здесь сгорели дотла.

Огненная печь вавилонская была далека от этого ужаса, созданного спокойными умами нашего времени.

Когда домна поутихла и стала гореть обычным порядком, пламя ее стало совсем розовым и даже красивым. Я любовался им теперь, но, разумеется, издали. Картина этого сарая стала более спокойна. В углу пышат обжигальные печи. Рабочий – скелет, обтянутый кожей, – сыплет туда для прокаливания еще нераздробленную руду. Мы подходим к нему. Он смотрит на нас совсем каким-то безнадежным взглядом.

– Тут у нас самые трудные работы, – шепчет мне управляющий. – Ну что Пимен?

– Худо ... Еле дышу!

– Грудь? Ты бы к фельдшеру.

Рабочий только отмахнулся рукою и нагнулся к печи. Дыхание, с каким-то всхлипыванием вырывалось из этой чахлой груди. Руки худые, узловатые, с натугой делали свое дело.

– Ты бы отдохнул, Пимен.

– семью кормить надо ... Помилуйте... Когда тут отдохнуть... Падать...

На остальных рабочих рубахи, кто не снял их, мокры от поту. Случается, что в жаре на этих рубашках кристаллизуется поваренная соль, выступающая вместе с потом из пор. Вот несколько рабочих сели в угол – отдыхают. Ни слова между ними, точно замерли.

– Они на огне горели, а там теперь из них пот бежит, ослабляет их страшно.

Понурились, захватили руками колени. Сидят уже несколько минут – хоть бы звук какой. Я подошел. Один спит тяжелым прерывистым сном. Другой поднял на меня голову.

Недоумение, усталый взгляд скользит куда-то. И опять голова бессильно опускается на колени. В стене дыры. В них продувает прохлада. Свет скупо струится извне. Под ним лица их кажутся мертвенно-бледными.

– Эй, ребята! Пора... После насидитесь, – позвали их.

Усталые спины разогнулись, колеблющаяся походка выдавала слабость ног.

По краям домны была грядкой навалена руда. Стали ее сбрасывать в огонь. Еще угля принесли в корзинках. Опять началось питание этого ненасытного кирпичного брюха.

По мере плавки руда опускается всё ниже и ниже, тогда как более легкие части угля, флюсы, остаются наверху. Чугун уже кипит внизу белым, ярко светящимся молоком. Когда мы спустились в самый низ к отверстию этой печи, стало прохладнее, зато здесь оглушило нас шумом из фурм, сквозь

которые внутри доменной печи вдувается воздух, необходимый для горения. Мы уже не слышали друг друга. Видели, как шевелятся губы, а слов нельзя было уловить. Мне кажется, что тут даже пушечного удара нельзя было бы различить. Каким это ни покажется преувеличением, тем не менее я должен привести сравнение: я слышал шум туломского и иматринского водопадов – но грохот фурм гораздо сильнее. Рабочие, которые бесменно находятся около, должны неминуемо глохнуть. Голову кружило, что-то стучало в виске, в глазах мелькали какие-то огненные искры, зеленые спирали.

– Ну сейчас будут выпускать руду, – сказал мне мой спутник, взяв меня за руку и отведя прочь от фурм.

– Что такое? – не расслышал я.

Он повторил. Мы пошли к устью печи, за которым слышалось какое-то клокотание.

– Молоко наше увидите.

У самого устья домны устроены в мягкой золе формы – изложницы, в чём должен охлаждаться чугун, прежде чем его перенесут в магазин для учета и взвеса.

– Ну-ка, Степан!

– Пора?

– Да, сварилось должно быть. Молочко-то готово уже.

Степан осторожно открыл устье печи – какая-то темная корка в нем вспузырилась и треснула. В трещине сверкнула белая расправленная масса. Вздунулась и она, наполнила всё устье, двинулась под давлением всего остального расплавленного чугуна и флюсов сверху и длинную, жидкую, слепящую глаза змеею потекла по узкому ходу, устроенному для нее в мягкой земле. В темном сарае сразу стало светло. Целые массы ярких звезд вскидывались вверх от этого чугунного молока. Металлические брызги, как снежинки, только гораздо крупнее их, принимали самые разнообразные формы. Одна за одной они подымались к бревенчатым сводам, взрывались туда мерцающими снопами и точно таяли там, в тяжелой тьме. Трудно было оторваться от этого эффектного фейерверка. Наконец руда влилась в формы и стала остывать. Сначала она побагровела, ее подернуло синью, потом точно зола сверху отделилась; слышно было легкое шипение под этою золою. Рабочие возились, отделяя один кусок от другого.

– В каждом таком куске от двух до трех пудов. Если нужна какая-нибудь чугунная форма, то мы ее прямо делаем в земле. Расплавленный металл вливается в неё и форма готова.

Из магазина, куда складываются куски чугуна, часть его, до 150 000 пудов, отправляется на Чермозский, Хохловский и Полазнинский заводы, тоже принадлежащие княгине Абамелек-Лазаревой, а 220 000 пудов переделывается в Кизеловском заводе в кусковое железо, которое, в свою очередь, прокатывается в листовую болванку. Это уже составляет отдельную часть производства, которой мы посвятим следующие главы.

Доменное производство не ограничивается только описанным процессом. При нём воздуходувная, паровая машина, вводящая сквозь формы необходимый для горения углей воздух внутри домны, и аппараты, выделяющие

газ для обжигания руды. Тут же и водяная мельница, работающая во время сильного стремени, т. е. течения. Все эти постройки чрезвычайно прочны; везде железо, железные балки, приводы, толстые кирпичные кладки, похожие на стены крепостей, во время оно считавшихся недоступными какому бы то ни было артиллерийскому огню. Всё это ставлено в крепостное время, даровыми рабочими. Теперь такие сооружения были бы невозможны или потребовали бы невознаградимых затрат. Песчаниковые камни привозятся сюда издали, несмотря на свою громадность. Их ломают на лазаревских же коях по реке Ильме.

Когда мы вышли отсюда на свет и вольный воздух яркого летнего дня, грудь задышала легче. Безоблачное небо улыбалось нам, зелень лесов пышными облаками мягко круглилась на скатах гор. Молодые березы тут же около завода замерли в тепле. Казалось, им было лень шевельнуть своими нежными листьями. Птицы задорно перекликались. Издали слышалась печальная песня иволги. И как ужасен показался рядом с этою негой и дремою полудня непосильный труд человека во тьме и зное, у самого адского пламени ненасытной домны.

Тут действительно не даром обходился каждый грош; хлеб насущный доставался в поте лица.

## **XXI. Огненные змеи и железные люди. – Производство завода**

Было уже темно, когда я отправился опять на завод.

Слободы казались совсем вымершими, в редком окне мерцало скупое сияние лампы. Откуда-то из-за речки доносилась чуть слышная, рыдающая песня. Должно быть, дровосеки там коротали вечер за раскинутым на лесной поляне костром. На темных небесах вспыхивали звезды, редкие, бледные. Еще за полверсты от завода до меня долетел неровный гул; поближе в нём уж выделились стук молотков, визг железа, свист и пытение паровых машин и шум воды, падавшей в шлюз. Чем более вырастали передо мною громады этих кирпичных зданий с черными трубами и круглыми кровлями, тем шум неустанной работы, совершавшейся здесь, становился всё оглушительнее. Когда я вошел в самое отделение, где разбивались чугуны в железо, у меня голова пошла кругом. Казалось, что эти паровые молоты стучали в моем мозгу, что свист мехов и сильные струи воздуха, вдуваемые в формы, сорвут меня с места и унесут Бог знает куда отсюда. Глаза слепило; я не знал, на чём остановиться, за что взяться; какой-то непонятный хаос совершался кругом. Я не отделял машин от людей, всё мешалось, всё кружилось, меняя контуры и размеры.

Мрак сгущался вверху под бревнами кровли. Внизу ослепительно горели зевы нескольких десятков печей, в которых раскаливались куски чугуна... Еще ослепительнее казалось здесь от темноты, стоявшей кругом этого завода. Изредка из печей выхватывали ярко горевшие комки железными щипцами, и кто-то невидимый бежал, бежал с ними к паровому молоту. Казалось,



раскаленный метеор стремился прямо на меня, оставляя за собою светящийся хвост и горячую струю нагретого им воздуха. Тяжело хрипя, подымался паровой молот, метеор укладывался под ним. Громыхая, громадный язык этого молота рушился прямо на горящий чугунок, и тысячи звезд, зубчатых, ярких, дивным водопадом разбрасывались во все стороны, шипя и погасая во тьме, скоплавшейся вверху, уходя в песок, лежащий на полу, заносаясь в далекие углы, где работали такие же огненные печи, сверкали такие же метеоры, носились в воздухе такие же звезды. Вон из сварочных печей выползают огненные змеи, вытягиваются и извиваются внизу. Из-под прокатных машин скользят во все стороны такие же пламенные струи. И под этим блеском, полным какого-то зловещего очарования, наконец стали, когда взгляд мой привык к нему, снова черные тени, обрисовывавшиеся на огнистом фоне силуэты людей с щипцами, полосами железа, непонятными крючьями в руках. Подземная кузница Вулкана, такая, какую ее представляли себе древние греки, производила бы не большее впечатление. Когда я подошел ближе к этим рабочим, пришлось всмотреться в них еще с большим интересом. Это были железные люди. На них гремели железные фартуки, которые спасали их от огненных звезд, носившихся в воздухе. На ногах громыхали железные сапоги. Целые струи пламени и горячего металла лились кругом; эти железные люди, посреди этого ада, казались совсем неприкосновенными. Они то и дело ворочали белые куски железа, красные комья чугуна, наклонялись к печам, дышавшим невозможным жаром; мокрые лица моментально высыхали; брови, совсем спаленные, закруглившись от невыносимой температуры ресницы, красные, налившиеся кровью глаза иногда обращались в нашу сторону. И ясно было, что они не видели назад; они привыкли к ослепительному блеску, к предметам, даже в самом воздухе оставлявшим огнистый след.

Воображение невольно работало, подсказывая сравнения, создавая целые картины.

Эта громадная черная лаборатория превращалась, раздвигаясь, в лабораторию миров, где неведомые существа ковали из огня и железа мириады звезд, разбрасывая их снопами, струями и ливнями во тьму еще не одухотворенной вселенной. В высоте чудится присутствие господствующего духа. Действие первых сил, творящих и созидающих, выражалось в страшном грохоте, в свете газов, стремившихся занять свое место в пространстве, в ударах раскаляющихся чудовищных метеоров, в стихийном шуме световых тел, носившихся в высоте. Материал, из которого создавались все эти тела, казался неистощимым. Огненные печи творящего божества выпускали его без конца. А мириады звезд всё дальше и дальше уносились в бесконечность, в пространство, которому еще не создано ни меры, ни уподобления. Работа шла без усталости. Руки прикованных к этим мировым очагам чудовищ не знали напряжения, не знали пределов своей силы. Мне казалось, что вот-вот и я сейчас же понесусь вслед.

– Ты опять пьян! – раздалось над самым ухом.

Мировой лаборатории как не бывало. С небес я стремглав слетел на землю. Действительность, одна действительность была кругом.

Смотрю, мой спутник останавливает какого-то шатающегося рабочего.

– Какое пьян, – едва шевелит тот губами. – Закружило... Немоотно!  
– Изморился?  
– С утра... От печи не отходил... К горлу подступило. Видеть ничего не вижу. Коли бы не остановили, в плавлю бы влез. Ефимов, спасибо, за шиворот взял.

– Ну, выйди, выйди, подыши.

– Да уж надо. Что делать!

Через час, когда я уже высмотрел подробно всё это производство, оно мне стало совершенно понятно; чудесного уже не было, но общая картина нимало не потеряла от того своего величия.

Для переделки чугуна его складывают в пудлинговые печи по двенадцати пудов сразу.

– На осадку! – поясняет сумрачный рабочий, весь высушенный насквозь. Самые слова выходят из его груди как свист раскаленного воздуха из этих чудовищных мехов.

В пудлинговые печи вместе с чугуном прибавляют шлак, мешают эту массу беспрестанно, не останавливаясь ни на минуту, длинными крюками, концы которых от этого раскаляются. Сплав густеет мало-помалу.

– Каша варится, варится, а потом вся ноздрями пойдет.

– Как это ноздрями?

– А как губка станет.

Губчатую массу разрывают в самых печах на куски, каждый примерно пуда в три весом. Крючьями захватывают эти куски и стремятся с ними под молот. Там обжимают их в бруски. Под молотом шлаки выбрасываются вон, выдавливаются яркими звездами. Когда бруски достигнут надлежащей плотности и примут правильную форму, их охлаждают и взвешивают. Железо, добытое таким образом, поступает в сварочные печи по пятьдесят пять и шестьдесят пудов сразу, разжигается там до белокального жара и прокатывается под валами особого механизма в длинные полосы. Между этими валами, страшно сжимающими толстые куски железа, оно издает совершенно особый пронзительный звук, не теряя и сейчас по выходе оттуда своего белокального цвета.

– Ишь, запело, жалится. Больно ему, оно и плачется, потому валы его плющат, грудь ему раздавливают, – замечает рабочий, как и мы, слушая это железо.

Вон из одной прокатной машины посыпался целый рой брызг. Ливень звезд обдал нас отовсюду. Через весь завод неслись они оттуда.

– Ишь, это пакеты! – замечает рабочий. – Не любишь!

– Какие пакеты?

– А листовое железо; мы его по мерке обрезаем, ну остатки опять связываем в пакеты, а эти опять на сварку. Они из кусочков, потому больше всего из себя брызгов дают. Это самое лучшее железо у нас считается, которое из пакету.

К нам подошел один обжимальщик. Издали еще при каждом шаге громыхало железо его фартука и сапог. Точно стародавний рыцарь, весь закованный в латы.

– Никак нельзя-с! – обратился он к управляющему.  
– Что нельзя-с?  
– Уж вы мне, пожалуйста, мундир другой дайте, прожгло этот наскрозь. Сегодня мне одна искра попала, болит так, беда! Я уж думал к фершалу бежать.

– Ну хорошо, хорошо.

– Да и то еще. Нет ли у вас газет, поновей которые? А то стоишь, стоишь – одурь возьмет. На отдыхе бы почитал. Сказывают, теперь у сербов с турками большой шум вышел.

– Как же, есть. Приходи после, дам.

– Ну вот чудесно. Чего лучше. Я почитаю и товарищи послушают.

– Которые в кабак не пойдут?

– Ноне мы кабак отменили.

– Почему это?

– Да пропились шибко. Порешили уговором, значит, не пить... Чтобы отнюдь... Держимся.

– Надолго ли?

– А это как Бог. Впредь до приказа!

– Откуда же приказание-то будет?

– От меня же. Пока не можит – чудесно, выйдешь на улицу, воздух легкий, чудесно. В праздник на реку с самоваром. Чай пьем пока. Совсем в купцы записались.

– Не тянет?

– Т. е., как тебе сказать. Тянуть не тянет, а душа скулит иной раз. Особенно от обиды какой или изморишься. Сегодня, примерно, работа тяжелая, давно такой не было. Либо ослабли мы... Это читал я книжку, господин Достоевский про каторгу пишет.

– Ну! – толкнул меня локтем мой спутник.

– На каторге куда легче. Сравнения никакого нет.

– Так кажется?

– Уж это верно. Помилуйте. А книжек новых у вас нет?

– Пока ничего еще не получал.

– Так новый мундир вы мне дадите?

– Дам-дам.

– Что это, исключительный тип? – спросил я, когда железный человек пошел от нас прочь, также погромыхивая своими насквозь прожженными латами.

– Какое исключение, помилуйте. Напротив, все почти читают. А если сам не читает, так от другого послушает. Очень любознательный народ! При машинах весь век, потому. Тут даже поэты есть, которым в огне разное чудится.

– Это еще что?

Оказалось, что некоторые из рабочих, целые смены по несколько часов выстаивающие у огня, размешивая плавящуюся массу чугуна, видят в переливах огня, в сверкающей массе металла всевозможные образы. То река льется в серебряных берегах и вырастают на них золотые дворцы и храмы. То море из белого пламени разливается шипучими волнами; ходят над ними морские

чудовища, огненная буря шумит, налетая на них. То клочкотание геенны огненной, точно перед задумчивым рабочим разверзаются в этой печи ворота адавы.

– Разве здесь так много пьют? – спрашиваю я у одного из главных лиц заводской администрации, вспомнив о зароке рабочего: «кабак отменили».

– Ого! У нас на премию. Вы как думаете? В двух кабаках выходит двенадцать тысяч ведер водки, а рабочих всего-навсего тысячу человек насобирается. Они же и в окрестностях завода кабаки поддерживают. Я не считаю декабря, января, февраля, марта; на эти месяцы нужно накинуть, потому что тогда в завод из разных мест чужие приходят. Тут пьют добела.

– Как?

– А у нас железо накаливают добела, ну и пьют так же. Вовсю! Как начнут в праздник, так уж будете довольны. Сделайте одолжение!

– Посторонних рабочих к вам много сходится?

– Да как бы вам сказать. Тысяч до двух, наверное.

Подтверждение только что рассказанного не заставило себя долго ждать.

Не успели мы выйти из завода, как навстречу нам описывает кривые линии и зигзаги молодой рабочий, очевидно, не принадлежащий к тем, что «впредь до приказа кабаки отменили».

– Не стыдно? – начал было заводской чиновник. – А еще исправный рабочий Южаков.

– Чего? На свои пью. Слава Богу! У нас денег нет? – удивился он, точно тот выразил эту оскорбительную для него мысль. – У нас есть. У нас, брат, хватит. Как кому другому, а мы слава Богу!

– Да ты чего пьешь, в чью голову?

– В свою. Сирота я горькая и пью. Жена меня бросила, ушла – я и пью. А уж только приди она, стерва! Засужу!

– В каком суде-то?

– Своим судом засужу. Я строгий! Я очень строг... Десять полуштофов сегодня я с утра выпил и не пьян. И очень мне это обидно. Так мне это обидно, так обидно... Значит, я нутра снова решил, и что ж мне теперь делать? Вытравил нутро-то.

– Новое вставь? Железное. Из хорошего листового железа.

– И листовое вытравим, будь спокоен. Она, водка эта, злее бабы. Куда бабе с ней. Бабе с водкой никак не справиться. Мужика баба всегда обидеть может, а водка ее, бабу, обидит. Вот как?

Как громадны цифры производства Кизеловского завода, трудно поверить, видя селение, разбросанное вокруг него. Самый завод выстроен в котловине, где речка Кизел, узкая и быстрая, сливается с Полуденным Кизелом. Тут начинается большой пруд, из которого уже вытекает одна река, считающаяся продолжением первой. Пруд этот расположен повыше, чем в остальных заводах; так, например, такой же в Александровском находится на пятьдесят одну сажень ниже Кизеловского. Кругом темною стеною поднялись леса, каким-то дивом уцелевшие около завода. Самый завод жметя к пруду. Сверху, т. е. с пригорка, где вытянулись дома Кизеловской слободы, видны только верхушки заводских крыш да черные трубы, из которых днем валит густой дым, отражающий ночью красноватый отблеск пламени и уносящий в своих

зловещих багровых клубах мириады искр. Вся местность около этого завода завалена шлаками, угольным мусором, камнями.

- У нас тут сам черт ногу сломит! – говорят рабочие.
- Что же хорошего?
- Такое уж заводское дело... Нам чисто нельзя...

И действительно, ознакомившись с массами, которые перерабатывает этот завод, с громадными грузами, которые поглощаются его ненасытными жерлами, станет понятно, что на внешнюю щеголеватость и даже просто на опрятность тут обращать внимание некогда. Здесь в одну смену готовится в пудлинговых печах по 87 пудов железа в каждой; а так как всех печей восемь, а смены две, то в сутки завод вываривает 1 400 пудов железа. В сварочных печах, которых здесь две пока, выделяется ежедневно от 400 до 800 пудов в каждой. В один сезон 1875–1876 годов Кизеловский завод выпустил из своей доменной печи 365 564 пудов чугуна, выработанного в 130 585 пудов среднего железа листового (высший сорт) и в 14 974 пудов болванки, т. е. второго сорта. Остатки чугуна, в количестве 149 500 пудов, отправлены для дальнейшей обработки в Чёрмоз. На потребности завода идет в год 2 065 пудов железа, всё остальное продается. Чтобы цифры эти были понятны, необходимо привести следующий расчет: из тысячи пудов руды, брошенных в домну, выплавится 500 пудов чугуна, из 500 пудов чугуна – 400 пудов кусков, а из них 320 пудов железа. Таким образом, в свой годовой оборот завод перерабатывает 1 265 000 пудов руды. Каменного угля сжигает он также массу. Из 927 000 пудов, доставленных ему в течение последнего сезона, он съел 762 000 пудов. Appetit его этим не ограничился: из 24 700 коробов древесного угля истреблено им 19 434 короба. Тут короба особенные: в каждом девять кубических аршин угля (в Тагильском шесть, в казенных еще меньше). На вес каждый короб содержит от 26 до 32 пудов угля. Разница эта зависит от того, какой уголь в корзине: березовый или еловый. Последний легче. Березового употребляется тридцать процентов, елового семьдесят процентов. Известки и флюсов при плавке идет 105 400 пудов. На ремонт, перестройку печей в течение одного только года пошло 63 000 штук огнеупорного и 79 000 красного простого кирпича.

Для флюсов ломают известковый камень из горы около, где, между прочим, находят много очень интересных окаменелостей. Это считается работою праздничною. Опоздает кто на завод, чтобы не терять даром времени, идет ломать флюсы; не попадет в работу к печам, отправляется туда же. Выломанные им куски камня он складывает внизу у реки или где попадет в правильные массы, чтобы их можно было измерить, и затем, когда ему понадобятся деньги, идет в заводское управление и заявляет, что там-то и там-то им выломано и сложено столько-то кубических аршин флюсов. Их перемеривают, и выдают заработок. Этот труд, несмотря на то что он нелегок, местные рабочие очень любят, потому что он на воздухе, под открытым небом, у леса или у реки. Разумеется, все эти прелести существуют только летом, которое здесь очень коротко. В 1875 году, например, по рассказу П. П. Ильина, в половине августа «ознобился» в лесу и умер там крестьянин Кокушка, отморозивший себе руки и ноги. А как-то случилось, что и в первых числах августа тоже в Кизеловской даче нашли замерзшею целую семью зырян, занимавшихся

рубкою леса. Разумеется, это совершенно исключительные явления, тем не менее они представляют климат Закамья далеким от того, каким его рисуют нам влюбленные в свой край пермяки.

– Одна беда у нас. Железная дорога, разумеется, принесет нам великие блага; но вместе с тем и разврат от нее последует поголовный!

– Это как?

– Да уж очень баба дешева стала. Хотя и прежде здесь весталок было мало, ну а теперь, пожалуй, и вовсе нет.

– Уж и поголовно?

– Еще бы! Эта молодежь железнодорожная сюда нахлынула. Денег у них много; а баба здешняя на деньги падка, потому что заработки ее вознаграждаются не особенно, ну а щегольство развито. Поневоле пускаются во всякие тяжкие. К тому же и пьянство делает свое дело.

– И бабы пьют?

– Еще как! Вы посмотрите только в праздник, какими явятся они перед вами. Детей жалко.

– Разве и дети?

– Да лет в четырнадцать и пьянство, и разврат начинается, заводское население развивается ведь рано, что твои тропики! Да и младшие тоже в кабаки за тятками да мамками увязываются. Ну а в кабаке известные сцены. Расчувствуется родитель: «Пей, Васька!» Васька, чтобы не ударить лицом в грязь, захлебывается и пьет! Да еще как пьет-то. Горло ему жжет, а на душе весело станет.

– Отчего же не наблюдают здесь за этим?

– А кому дело?

– Заводская администрация могла бы без насильственных мер повлиять на своих рабочих.

– Тут, батюшка, дело на коммерческом праве: делай, что хочешь, только работать приходи. Да я думаю, на всём Божьем свете нет заводов, где бы иначе относились к рабочему.

– Есть.

– Где?

– У Мальцова.

– То у вас, в России. Да ведь другого такого Мальцова не найдешь. Он любит народ и знает его, все доходы свои убивает в дело. Иное производство ему не выгодно, а он себе в убыток работает, чтобы не отнять куска хлеба у населения. Я слышал о нём много. Заведи-ка у нас такой порядок, так хозяйева живо нас по шапке. Я было задумывал уменьшить рабочие часы в заводе, когда служил у других владельцев.

– Ну?

– Пояснили, что прислали меня не гуманничать. Мои цели определены чудесно: exploitation des forces! Всё, что выходит из этого exploitation, – до меня не касается.



## XXII. В каменноугольных копях. – Петербургский чиновник. – Шахты

– Большущий у нас этот рудник.

– Т. е. копь?

– Не, мы его рудником зовем. Угольный рудник. А кругом – лес да трава. И трава-то растет там чудовая, приволье; ни конца ни краю. Сквозь прошла. Наши туда ездят сенко копить.

– Однако подгоняй-ка лошадок. Ишь сколько едем, а деревня всё еще видна.

– Ужи, ужи (постой, постой)! Всяко дело доспеем.

И ямщик начал подгонять коней.

– Лонись ездил я с бариним. И барин глупой, только естевой (богатый), сколько ен денег пораскидал тут!

– Почему же он глупый?

– Слова таки говорил, неподобные.

Если бы петербургский чиновник, про которого говорил ямщик, послушал его рассказ – воображаю, каким негодованием запылало бы его гуманное сердце! Еще бы, он учил из книжек, как нужно сеять тут хлеб, как свозить золу на землю (– А отколе нам золы узять, коли на мытьбу баб не фатает?). Как удобрять почву искусственным гуано (– По нашему-то инако прозывают, да что уж!). Какие сорта хлеба есть на свете и какие отличные всходы дает египетское жито (– В фараонских могилах с мумов забирают, а каки таки мумы – не знаю).

– Пропашшай барин! В одну избу заехал. И смеху-то было. Это хозяйству меня выучил, а тут в избе, как теленочек, глаза на всё лупит. «Это что?» – бает. – «Это мякина...» «Ну!.. Вон она какая...» Мякину-то не знает, а с фараонских мумов жито хочет брать!..

Я похотал от души наивному рассказу кизеловского ямщика о министерском чиновнике. Так и обрисовался он предо мною, как расплюевский поросенок, во всей своей неприкосновенности. Сидит он в петербургской канцелярии, а то пожалуй и департаментом управляет, по хозяйству проекты пишет, и проекты эти удостоиваются одобрения, по ним составляют министерские циркуляры о распространении по всему лицу земли русской чилийского удобрения или о посеве у самоедов колвинских египетской пшеницы, найденной на мумиях в пирамидах близ развалин Мемфиса. Ничего-то этот агнец Божий толком не знает, мякины от хлеба не отличит, а тоже ораторствует. И благо народу, если такого не припустят к власти. Тут он уже покажет себя, на сотни лет засидит и запакостит вверенное ему дело. Да и как ему не добиться возможности вредить? Писарем сядет – кончит директором департамента. Разве у нас нет таких? В нашей отечественной службе чучело за стол посади – в определенный период чучело это будет производиться из одного чина в другой, к праздникам станут украшать его регалиями, а в конце концов, смотришь, тайный советник с безграничными полномочиями заплевывает и загаживает родину. Я сам встретил одного такого в средней полосе России. Несколько тысяч отсчитал себе из казенного

мешка, на поездку «для уяснения мер, содействующих развитию сельского хозяйства, ввиду постоянных неурожаев». Повторилась та же сцена, которую мне рассказывал пермский крестьянин.

Ходит этот субъект около молотилки и, видимое дело, ничего не понимает.

– Это что такое? – удивляется он.

– Как что? Да ведь это мякина и есть! – в свою очередь изумляется сельский хозяин.

– Ах, вот она какая... Ничего!...

– Т. е. что ничего? – окончательно теряет смысл хозяин.

– Ничего... мягкая! – нашелся «содействующий неурожаем чиновник». Его так, впрочем, и прозвали потом.

– Батюшка, да это кто же такой будет? – спрашивает, оторопев, хозяин.

– Специалист... по земледелию...

С ясным, младенческим взором, обнаруживающим незапятнанную совесть, путается несчастный по полям.

– Ну вот, слава Богу! Господь и пшеницу послал! – поддельвается он под понятия народа.

– Какую пшеницу? – недоумевает народ.

– А вот эту?

– Это овсы.

– Что лошади едят?

– Они самые.

Потом отличился еще: рожь с ячменем смешал; нашел, что лен и конопля одно и то же растение, только в выделке различается. Когда ему сказали:

– Ваше-ство, народ изголодал совсем, жвачку ест.

(Жвачка – остаток от конопли, из которой выжато масло).

– Это ужасно, это ужасно! – кидался ко всем чиновник, – Можете себе представить, народ здесь жвачку ест, после коров жвачку!

Истинно велик Бог земли русской! От одного, например, нашего департамента земледелия и сельского хозяйства должна бы Россия умереть от голода, а она ничего, живет пока...

Коршуновская угольная копь у самого завода. Мы ехали из недалекой деревни, куда я отправился накануне. От Кизела – дорога вся черная, засыпанная угольным мусором и обломками, поблескивающими как агат под солнцем. Сверху направо видно Кизеловское село. Река шумит в запруде. Вон Полуденный Кизел, красиво изгибаясь, сливается с нею. Далеко-далеко на востоке Белый Спой виден. Это самая высокая из местных гор. Вся она так и отделилась от окружающих ее вершин. Там водораздел двух больших притоков камских – Косьвы и Яйвы. Когда здесь в августе начинаются дожди, на Белом Спое уже лежат снега, сверкая под солнцем в яркие дни. Мы всползаем всё выше и выше. Домики завода и сами заводы всё умяляются, совсем микроскопические отсюда, а люди точками кажутся. На самой вершине горы мы останавливаемся, любясь панорамой Урала. Белый Спой отсюда еще величавее. Он царит над всеми восточными конусами и куполами. С вышки коршуновской шахты видны окрестности, верст на сорок кругом. Точно волны океана застыли в момент спокойной зыби, так отлоги, так мягки эти горы.

Кажется, вот-вот они проснутся и покатаются зелеными грядами к каким-то неведомым берегам. И все эти шахты и заводы, как корабли, застигнутые ветром, заколышутся на мерно волнующемся просторе этого величавого моря. Совсем идиллические картины являются нам отсюда... Леса и луга... сочные, мягкие. Желтыми змеями по лесам разбегаются дороги. Не то озеро, не то речной плес светится направо. Клочок голубого неба, заброшенный в лесную дрему. Вон в смутном тумане синей дали мерцает у горы такое же озеро. Точно неведомый великан разлегся там после боя со сказочным чудовищем и бросил около свой ярко блистающий щит. Самого великана не видно; весь он заслонен лесами и горами, всего его окутала непроглядная даль, а металлический щит горит под лучами яркого дня, светится как звезда, прорезывая отраженным сиянием своим этот удивительно прозрачный, смолистым ароматом напоенный воздух.

Вон между двумя окаменевшими в форме гор волнами вынырнула и точно ждет попутного ветра, вся на виду, маленькая белая церковь, кажется уже распутившая свои паруса. На скатах, обращенных к нам, мерещатся какие-то пятна. Деревни, что ли? Не разглядишь. Поближе, в глубине лесных трущоб, сереют взрезывающие почву гранитные утесы. Кое-где с каменных стержней гор осыпалась земля и обнажила самое нутро – мрачный скелет, с которого сочатся пронизавшие камни ключи. Кажется, что это из раненого утеса сочится алая кровь и расплзается по нему вниз в песок. Откуда-то доносится грохот речонки, сжатой порогами. Снизу слышится стук кайл о крепкую породу и какие-то глухие удары.

– Что это?

– Порохом рвут... Где крепка слишком руда, не поддается кайлам... Ее пробуют забойками колоть. Не удастся это – одно средство тогда рвать порохом.

Внизу целый лабиринт шахт, рвов, подземных ходов. Тут есть рудники, углубившиеся в землю на двести десять футов, Ивановский на сто пять футов. Вон сама ветхая шахта, впрочем, и до сих пор еще не брошенная. Разработка ее началась в 1808 году. За семьдесят лет не истощилось подземное богатство, окружающее ее. Губахинско-Шардинская недалеко отсюда прорыта в 1810 году, а Луньевская – в 1830 году. Эти здесь считаются самыми старыми, да и во всей России, за исключением Польши, где уголь разрабатывался еще ранее.

– Наш уголь лучше всех, какие нам известны.

– Почему это?

– Чист! Золы у нас от десяти до двенадцати процентов только. А в других местах с двадцати пяти процентов разрабатывают.

– Сколько вы каждый год берете отсюда?

– Из этих шахт по миллиону пудов. Тут богатство неистощимое. Всех слоев пока лежит семь. Мы разрабатываем четвертый слой, как самый толстый. Он в разрезе достигает от семи до десяти футов. И работа тут самая легкая, почти никаких приспособлений не требует от хозяев. Рабочих у нас на Коршуновских рудниках двести пятьдесят человек, со всеми вспомогательными, т. е. и с теми, которые мусор вывозят.

Летом, когда мы посещали копи, здесь ломок не производилось вовсе. Весь народ был отпущен на полевые работы, так как все заводские обыкновенно

имеют покосы или нивы и, занимаясь зимою, осенью и весною плавкой и рытьем металлов и угля, летом работают в лугах и полях. Тем не менее процесс выемки каменного угля из шахт был как нельзя более ясен. Я спускался в один из рудников. Сухо и чисто было там, совсем непохоже на железные и медные. Сквозь каменноугольные толщи редко просачивается вода, земля не осыпается тоже. При свете взятых с собой свечей изломы угля ярко светились на черных стенах штольни. Казалось, в подземном царстве открылся нам волшебный грот с таинственными надписями, звездообразными знаками, непонятными символами, скрывающимися под своими причудливыми зигзагами тайны, недоступные смертным. Символами этими были изборождены и своды грота. Следы ударов от кайл повсюду. Можно подумать, что в этой черной подземной пещере было заключено какое-то громадное, могучее чудовище, в бессильной злобе исцарапавшее стены своими сильными железными когтями. Кое-где в жилах, которые из этой пещеры вели в другие, низкие и слабые своды были укреплены балясинами.

Наломанная в штольнях масса угля нагружается в тачки для доставки к вагонам с опускаемым дном. Паровая машина поднимает эти вагоны по рельсам к пролетам, на которые их выгружают. Первый сорт, более крупный, проскальзывает в особый вагон; второй тоже в свой; мусор и всякая дрянь поступают в третье отделение. Таким образом уголь сортируется уже в самой шахте.

Рабочим ценам и всему, что касается до положения заводского крестьянина, будет отведена одна из следующих глав, теперь же можно сказать лишь одно: что труд в угольных шахтах гораздо легче всякого другого в этом районе.

– К сожалению, мы никак не можем применить этот уголь к доменной плавке и поневоле изводим леса на древесный уголь. Положим, у нас пока лесов много, но и шубу с земли снимать тоже дело опасное. Теперь хоть северному ветру преграда какая-нибудь есть у нас. Поедете по Косью, увидите, какая роскошная, разумеется, сравнительно, растительность благодаря этому развилась на ее берегах.

– Отчего же уголь не годится для домны?

– Нужно его обратить в кокс.

– А вы не пробовали?

– Нет. В Лунье вы увидите. Там недавно поставлены коксовые печи. Только пока слишком дорого обходится кокс.

Опять та же черная дорога, засыпанная угольным мусором. Ветер поднялся, гонит перед собой черное облако этой пыли. Лес около пути тоже почернел, пыль осела на его листву. Ручей пробегает мимо. Чистая повыше струя его здесь становится мутною. Под темным налетом еще мрачнее стали утесы, взрезавшие гребнями тонкий слой земли.

– Какое тут хлебопашество возможно – везде камень да камень.

– Не говорите. Здесь хлеб чудесно подымается. Золы много, почва не истощена. Леса тоже сырость держат, благодаря им засухи не бывает вовсе.

– Отчего же мало высевается зерна?

– Вся губерния в нескольких руках сосредоточена. Земли мало. Вон в Романове, через которое проезжали вы, надел колеблется между тремя-

четырьмя десятинами, да и то самой неудобной земли. Которая получше, вся во владельческой меже осталась. Самая лучшая десятина земли у крестьян, ежели купить, выше двадцати двух рублей дать нельзя. Где побольше надела, там по шести десятин досталось. Лесу зато нигде крестьянам не отведено. Заводским пользуются.

– А где заводы съели лес?

– Там нищета! Случается податями крестьян начнут донимать, так они избы свои на сруб в завод продают, как дрова.

– А сами?

– Сами?.. Вымирают! Слава Богу, у нас в округе ничего подобного.

– Да ведь изба крестьянская считается неприкосновенной?

– На бумаге. Эх вы, питерские! Написали вы закон и думаете, что так его и исполняют. А у нас народ до того дошел, что ни в закон, ни в его исполнителей не верит. Тут часто случается слышать: «Ведь по закону вот что выходит?» – «Э, батюшка, то по закону, а ты по душе лучше!»

Серапион Мордарьевич Курослепов у Островского рассуждает так же, и его логику крестьяне вполне одобряют. По закону что еще выйдет, а ты меня по душе!

### XXIII. Поп-охотник, поп-механик, поп-капельмейстер

– В этот раз мы с вами съездим к интереснейшей личности на наших заводах, – предложили мне.

– К кому это?

– А тут священник один. В глуши совсем поселился. Над рекою у него домик, вблизи церковь, кругом – никого. У него оркестр.

– Вона! Как сюда оркестр попал?

– А вот увидите.

Грозовая туча бежала по небу; на несколько минут погода нахмурилась, зеленая перспектива лесов кое-где подернулась быстро скользившею тенью. Добралась до солнца туча, проглотила его, дождик посыпался, два раза гром грянул. Молния ударила куда-то. Не успела моя хозяйка окна запереть от бури, как всё кругом точно улыбнулось. Широкий, яркий, торжествующий солнечный луч зажег молодую листву. Другой за ним, третий; обессиленная туча освободила солнце и поползла уже медленнее за Белый Спой, точно залечивать раны, нанесенные огненными мечами дневного светила. Только пыль прибило на дороге, да дождем обмыло леса, так что, когда мы проезжали мимо них, они еще роскошнее шелестели нам навстречу свежими листьями и брызгали с колеблющихся ветвей своих алмазными каплями прямо в наши лица, точно заигрывая с нами.

У самой реки чистенький домик. На крыльце стоит кто-то в сером и, заслоня ладонью от солнца, рассматривает нас.

– Здравствуйте, батюшка! – кричит ему навстречу мой спутник.

– Кого везешь-то?

– Гостя везу.  
– Коли с добрым намерением, милости просим!  
– А если нет?  
– Поворот от ворот! – и батюшка рассмеялся жирным, точно маслом смазанным баском, подавая нам руку.  
– А мы думали, вы нас чаем...  
– Сливки нет скромных – вот беда-то! А постные-то у меня, сам знаешь, злые.

– Ну ничего. С ромом так с ромом.  
– И какой ром-то! Сам Лебедев в Шадринске делал! Ты его в рот, а он тебя за язык цап, тоже защищается. И больно же, подлец, кусает! Я так думаю: Лебедев его купоросным маслом травит.

– Хорош ром, нечего сказать!  
– Я тебе говорю, тут ко мне о. Иеремия заезжал. Выпил он этого зверя да и рта закрыть не может. Ха-ха-ха! Отдышаться, вишь, ему трудно. Я уж и то думаю глотку в полуду отдать, чтобы не так жгло.

– Что это у вас, батюшка? – указываю я на какой-то аппарат в передней.  
– Барометр собственного изобретения.

От одного угла шла веревка к другому вдоль стены, где она, переняв блок, возвращалась назад и с другого блока висела вниз, оканчиваясь подвязанною к ней гиришкой. У гиришки на стене деления и цифры.

– Я все-таки не понимаю.  
– А оно очень просто. От известного состояния воздуха, жары или влажности, веревка сокращается и удлиняется. Я сейчас и замечая.

Оказалось и просто, и ясно. И главное – дешево.  
– А то еще anerоиды! Мне наплевать на них, я и с этим пеньковым барометром чудесно проживу! Вот последний раз, как на охоту ходил...

Священник оказался немвродом. Только теперь я рассмотрел его костюм. На нем была длинная чуйка, белые панталоны, жилет. Совсем американец. Веселое, энергичное лицо дышало умом; глаза зорко глядели из-под седых бровей; густые волосы волнистыми прядями ложились назад. Борода свилась, видимо некогда ее было расчесывать. – Американец! – чуть не вслух проговорил я.

– Что вы на меня смотрите? Не похож я на племя Левитово?  
– Да, сходства мало.

– Потому мы здесь работники. Вон, видите, ружье у меня; коли сам себя не прокормишь, никто не принесет. А рябцы у нас чудесные, вальдшнепы тоже. Я, знаешь ты, – обернулся он к моему знакомому, – вчера всю ночь просидел. Костер зажег и сижусь. Как дым понесло, так бекасы через него, через него. Фюить! Фюить! И через него. Я в них из дробовки! Сегодня за это вас чудеснейшим жарким угощу. Первый сорт! Вы такой дичи в Питере и не ели. Потому я ее иначе готовлю. Это секрет мой. Я, видите, начинку ей делаю из разных ароматических трав, какие Господь Бог создал на потребу человеку.

– Он и на медведя ходит.  
– Отчего же, и на мишку могу! Когда воинственный жар в себе почувствую – и мишка от меня не уйдет, будьте спокойны! Я на прошлой неделе



одного укомплектовал. Отдал Сидору шкуру мне приготовить. Зверь почтенный! Посмотрите, тогда поверите. Ему бы и до сих пор по лесам владычествовать, да вот на иерея наткнулся. Чудесную я из него колбасу приготавливаю. Нарубил...

– Ну а как торговля окороками?

– Великолепно! Понравилось. Мужики теперь все ко мне: «Батюшка, продай ветчинки!» Ну я и продаю. Тем и живем. У меня так вся семья работает. Вишь швейные машины; тут у меня дочки стучат, по сорока рублей в месяц выстукивают – рукодельницы! Ну и я тоже: охочусь, инструменты разные делаю, содовые и шипучие воды приготавливаю, лимонады... Не хотите ли?.. Так с нуждою не только борюсь, но теперь, одолев ее, над оной надсмеиваюсь! У меня вот и аптека тоже. Фершал у нас пьяный, что он может? А я всех лечу, и ничего, с успехом. Я от этой премудрости эскупаловской вкусил достаточно, от двенадцати болезней могу. А главное, обжоги и ушибы. На заводах этого-то больше всего ведь. Вот если что себе повредите, вывихнете ручку – сейчас вставим! И с полным удовольствием!.. Машину вот одну обдумываю теперь.

– Да вы совсем американец! – не выдержал я наконец.

– Зачем американец! Помилуйте! Наши уральцы почище американцев могут. Уралец на все руки. Возьми ты его за хвост, помахай-помахай, да и швырни – он непременно на лапы станет. Такая уж порода!

– Вы что думаете? Он вам конкуренцию может составить.

– В чем это? – обернулся я.

– Батюшка-то ведь стихи как пишет – чудесно!

– Ну уж тоже, всё выболтаешь! Пишу, точно, во время досугов. Господа моего прославляю, Зиждителя; природу, Им созданную; чудеса, рассыпанные всещедрою рукою окрест.

– Печатались?

– Не посягал.

– Почему же?

– А потому – стихи дело особое. Это сокровеннейшие движения души, созерцания, коим приличествует тишина и уединение. Нельзя душу напоказ выносить иль боль какую сердечную на рынок, да и кричать: «Посмотрите-ка, братцы, что я чувствую и как оные чувства в стихах выражаю!»

– Ну, если это признать, у нас не было бы ни Пушкина, ни Лермонтова, ни...

– То поэты. А мы так, птахи чирикающие. Как воробьи, знаете, чив-чив-чив! С чириканьем-то в публику не выйдешь. Найдется иной зоил и за твое чириканье так тебе по затылку... Ах, ты, подлец! Где ружье мое? – засуетился батюшка.

– Что вы?

– Это ведь он до моих кур добирается. Куры у меня – шпанки, дорогие куры!

Батюшка, к общему нашему недоумению, выскочил в другую комнату, пошумел там и потом явился к нам с ружьем. Хороший, вороненый ствол самодельными спайками был прилажен к самодельному и даже невыкрашенному ложу.

– Медведь у меня поломал, – второпях объяснил он, подбираясь к окну. – Сиди, сиди, подлец! Вот я тебя сейчас... Тебе, брат, моих кур не видать!

Нацелился, бац! – и с ветвей высокой сосны, стоявшей около самого берега, что-то темное зашуршало, обламывая сухие сучки и шлепаясь о крепкие. Когда оно упало наземь, мы рассмотрели большого коршуна в агонии, еще зевавшего клювом и вздрагивавшего серыми крыльями.

– Меч подъявый от меча и погибнет! – торжествовал батюшка, внося убитую птицу в комнату. В окне был крюк; к этому крюку он и подвесил коршуна, головою вниз. Разбросавшиеся при этом крылья закрыли почти всё окно.

– Для примеру другим пернатым разбойникам. Я и без вас знаю, что мои шпанки вкусны, сделайте одолжение! Повадитесь летать – ни одного цыпленка не оставите.

Обстановка поповского жилья была очень хороша. Особенно художественно была исполнена резьба одного кресла.

– Сам делал, – пояснил мой спутник, когда священник вышел с ружьем в другую комнату.

– Да что он у вас на все руки?

– А еще бы! Вы бы его в земском собрании послушали.

– А что?

– Загонял всех. Такой оратор – наши только руками развели. Откуда что берется. И честно дело повел как, сейчас же против наших воротил пошел; за правое меньшинство горою стал!

Мы провели у попа несколько часов. Рассказы его были неистощимы и в высшей степени увлекательны благодаря оригинальному остроумию, юмору, неожиданным сравнениям, которые так и сыпались у него при всяком случае. Живое понимание природы сказывалось в нескольких охотничьих набросках; знание же сердца человеческого – во встречах с прихожанами, которые, как я узнал потом от них же, души не чают в своем священнике. Мне первый раз за все мои скитальчества попался такой оригинальный и вместе с тем симпатичный тип. Казалось, он не знал усталости; неудачи только разжигали его энергию. Встречая их, он никогда не падал духом. И при этом простота удивительная.

– У нас поп простой! У нас поп чернорабочий! – говорят про него в заводе.

– Сколько вам лет? – спрашиваю его.

– А это как вам будет угодно. По метрике – шестьдесят пять, а по сердцу – двадцать.

И действительно, последнему верилось вполне.

– Где же ваши дочки-то? Я им обещал в прошлый раз книжек захватить, – спросил мой спутник.

– А в лесу. Погоди, скоро придут. По грибы пошли поповны.

– Это у батюшки оркестр.

– Вот, послушайте, послушайте. Мы и на мусикийских орудиях упряжняемся. А вы как думали?

Немного спустя издали послышались громкие голоса и здоровый сильный смех.

– Вон и козы мои идут.

Краснощекие поповны несколько сконфузились, увидя нас, но тотчас же оправились. Видимо, они выросли на приволье, в чистом лесном воздухе этой благодатной сторонки. После обеда, радушно предложенного нам батюшкой, он сам взял скрипку и стал в угол комнаты.

– Я первая скрипка, – пояснил он мне. – Вот старшая дочка виолончель, а младшая – весь оркестр заменяет, потому что на акордеоне она.

Батюшка начал не помню какую уж пьесу, притоптывая такт ногами, и сам слушал с удовольствием мастерское исполнение. Дочки, краснея, вторили ему, и очень хорошо. За этой пьесой последовала другая, за другой – третья. Серьезные сменялись легкими.

– Мы и танцы играем, – пояснил мне священник. – А теперь я вам свою пьеску сыграю.

Мы прослушали ее с удовольствием. Вещичка оказалась очень свежая и недурная.

Жаль было так скоро расставаться с этой своеобразной и привлекательной личностью. Тем не менее смеркалось; на востоке, из-за Белого Споя, показались зловещие тучи. Ночь обещала быть дождливою. Самый ветер, тянувший оттуда, веял на нас холодом и сыростью. Мы ехали, торопясь добраться вовремя до Кизела.

– Эко у нас генералов сколько развелось штатских.

– Что такое? – оглянулся я.

– Да вон! – и спутник показал мне свиней, целым стадом бежавших по дороге. У каждой из них шея была продета в большой деревянный треугольник, имевший назначением мешать им портить изгороди и забираться в усадьбы, огороженные заборами.

– Почему вы их называете генералами?

– Да видите – в треуголках.

Когда мы добрались до Кизела, небо затянуло тучами и первые капли дождя уже зашумели в воздухе.

## XXIV. Ироды недавнего прошлого

История пермских заводов богата мрачными страницами. Если теперь положение здешнего рабочего является приниженным, а в некоторых пунктах и вовсе невыносимым, то еще несколько лет тому назад оно было в полном смысле слова мученическим. Насилие, жестокость, презрение к страданиям подначального люда, грабеж практиковались здесь в столь широких размерах, что надобно поистине удивляться долготерпению пермского населения, покорно выносившего все эти прелести старого режима. Впрочем, пока еще нечего торжествовать. Разумеется, формы произвола смягчились, жестокость потеряла свой острый характер, став систематическою и облекшись в форму имущественного права, но тем не менее даже знающему нынешнее положение горнозаводских крестьян их прошлое является каким-то ужасным кошмаром. В Кыновском заводе еще недавно беспутствовал Z. Теперь он еще жив и, как говорят, несколько помягчился, но исправиться не исправился. Этот

прохаживался больше на счет сластолюбия. По вечерам, когда служащие уходили в контору, он врывается к ним в дома и насилует жен, дочерей, которые, наконец, начали запирают двери и ставни, как это делали несчастные болгарские семьи в период владычества башибузуков в придунайских областях. Во время крепостного права он беспощадно ссылал в Сибирь рабочих, вступавшихся за свою супружескую честь.

– Тут у нас, почитай, весь завод по наряду у Z. перебивал, – говорили мне впоследствии. – Никого не обижал, всем бабам и девкам списки вел.

Когда это чудовище управляло в Усолье соляными промыслами одной из самых громких русских фамилий, по вечерам мимо его дома женщины не осмеливались ходить, потому что он их выслеживал и, как минотавр, утаскивал их в свое логовище. К сожалению, в Усолье не жилось царевен, а то, наверное, нашелся бы какой-либо Георгий Победоносец, который пронзил бы копьем сего сластолюбивого змея. В Кыновском заводе устроилось, было, общество потребителей и устроилось прекрасно, затем ввелся обычай разбираться служащим с управляющим с помощью третейского суда. Три года и то, и другое существовало к общему удовольствию, порядок был всюду примерный, ссор никаких. Ни претензий со стороны служащих, ни притеснений со стороны управляющего не было. Явился Z., и дело разом рухнуло. Общество потребителей он стал теснить, а третейскому суду и дохнуть не дал. Граф Строганов прежде здесь был очень популярен, но, с тех пор как от имени его стал действовать Z., народ и на его доверителя перенес свою злобу и ненависть.

Более всего здесь жалели общество потребителей. Оно приносило заводскому населению громадную пользу. Капитал на его основание дал Строганов с тем, чтобы выручка в погашение долга поступала в его контору. Осуществили эту прекрасную идею Воеводин и Рогов, которые, разумеется, нисколько не напоминали Z. своими личными качествами. Несмотря на все меры, принятые им, общество потребителей в Кыновском заводе владеет теперь одиннадцатью тысячами рублей, выплатив владельцу шесть тысяч рублей, занятых на свое основание.

Приказчик купца Обыденкова, Никитинский волостной старшина, еще недавно практиковал следующую систему взыскания недоимок с заводского населения. Он вешал мужика головою вниз, пока тот не соглашался уплатить требуемого взноса. Один из провисевших таким образом с четверть часа, выздоровел и пожаловался, но в этом случае не был поощрен начальством. Оно распорядилось отпороть его розгами «за беспокойство». Старшина, по указанию купца Обыденкова, спойвшего здесь несколько уездов, проделывал и не такие вещи, причем ни разу и никто его не подвергал законной ответственности. Всякий раз, когда местным судебным учреждениям ставили в укор подобные случаи, ответ от них получался один и тот же:

– Тут, батюшка, такие каменные стены нагромождены, что их и громы небесные не разобьют.

Не лучше до недавнего, впрочем, времени оказались и новые судебные учреждения. Прокуроры и их товарищи прямо останавливали слишком рьяных и честных судебных следователей.

– Дела ведь не сделаете, а кляуз разведете много, бросьте.

Если же следователь не бросал, то его за несогласие переводили в другой округ или просто выгоняли на все четыре стороны.

Там, где существовала система «уроков», т. е. определенное в день количество работ, притеснение рабочих было еще ужаснее. Часто штейгер отказывался назначать уроки, выходившие из пределов, возможных для человеческой руки и человеческой силы. Таких штейгеров (горный мастер – уставщик) драли немилосердно «за потворство лентяям». Один из горных начальников любил даже драть с прохладой. Рабочих драли до тех пор, пока его высокоблагородие докуривало сигару. Если сигара была хороша и курилась со вкусом – истязания несчастного происходили дольше. Жена и дети, бывало, в ногах валяются, а дранье идет своим порядком, и на плач просителей начальство обращало столько же внимания, сколько на назойливого злого комара или жужжание пролетающей мимо пчелы. Часто на первой трети сигары истязуемый лишался чувств, но это не мешало докурить сигару и досечь штейгера или рабочего. Рассказывают о некотором Семёнове. Сын простого рабочего, он уже добрался до седьмого класса гимназии. Вытребованный отцом на завод и думая здесь выделиться своими познаниями, он передал свое увольнение брату, а сам заменил его. На заводе людей образованных вовсе не было. Семёнова заметили – сделали урядником, как вдруг начальство сменилось. Новая власть, как-то проходя мимо, увидела Семёнова, и по общей манере заводского галантного обращения, начала было:

– Ну ты, прохвост, что делаешь?

Семёнов обиделся. Это было на Юговском заводе, где до этого времени практиковалось совершенно иное обращение.

– Позвольте!

– Чего, болван, позвольте?

– Как вы смеете ругать меня, я...

– Вот ты как! На гауптвахту!.. Я тебя выучу. На три дня.

– Он из образованных, – шепнула было старая власть.

– Из образованных? На две недели! У меня образованным первый кнут. Я вам, подлецам, покажу...

– Начались прижимки, Семёнова из урядников назначили в писаря. Стал служить писарем, власть придралась к чему-то и послала Семёнова в полицию с запиской, где было изображено: «отпустить подателю двадцать ударов розог». Отпустили сполна. Через два дня опять то же, но с усилением порции. Потом повтора стали правильны. Три раза в неделю несчастного обязательно посылали в полицию, где столь же обязательно «отпускалось» ему требуемое количество. Семёнов обезумел от горя. Не зная, что делать, бежал. Его поймали, опять «отпустили». Бежал еще раз, с тем же результатом. Прикинулся сумасшедшим. Послали к полицеймейстеру Якову П...му с приказанием «запороть». П...н приготовил палачей, но куда-то был вызван внезапно. Исполнявший его обязанность сжалился над измученным Семёновым и вместо палачей поручил исполнить экзекуцию десятским. Его за это чуть не предали суду и стали преследовать. В конце концов Семёнова выслали в Богословские заводы – центр подлостей и мерзостей того времени. С 1852 до 1863 года он

выдерживал эту каторгу, наконец помешался в самом деле. Помешанного драли и запарывали точно так же, как и здоровых. Дальнейшая судьба его нам неизвестна. Семёновых здесь были массы!

– Не перечешь. Каждый десятками их насчитает! – сообщали мне.

Горный начальник, таким образом преследовавший Семёнова, был известен злодействами, по всей справедливости разделяя эту славу с исполнителем своих приказов полицеймейстером П....м.

Кто-то украл воз с сеном и убежал. Брат его, мальчик, приехал в город искать его. Ребенка схватили.

– Где твой брат?

– Не знаю; сам приехал, чтобы найти. Мамка послала.

– Под розги – пытаться. Повторяет то же.

На другой день опять та же пытка и то же наказание. На третий – повторение по этой программе. На четвертый – мальчика нашли в тюрьме повесившимся!

Этот горный начальник, ныне генерал в отставке, живет в Питере, пользуясь заслуженным отдыхом и исправно собирая доходы со своих домов. Неужели в этом подлом звере не просыпается чувство? Неужели сквозь заскорузлую кору его не может пробиться ни один укор совести? Неужели сон его спокоен и крики замученных жертв не тревожат никогда в тишине ночи этого «идеального злодея»? Не может быть! Нельзя поверить ничему подобному. Мне кажется, напротив, всякая веревка должна его тянуть к себе; а если он, как Иуда, кончит свою гнусную жизнь самоубийством – ни дети, ни близкие не должны оплакивать этого старого, развратного и злого негодяя! Собаке – собачья смерть.

Каждый день свист шпицрутенов, розог, крики жертв, вой их жен и детей раздавались в заводах. Это было какое-то царство непрекращавшихся ужасов. Не было спины, не исполосованной прутьями; не было человека, которого не искалечили бы руки начальства. Ни честь девичья, ни личное достоинство, ни заслуги, ни труды свыше мер, ни исправное исполнение своих обязанностей не значили ничего. Произвол царил повсюду, закон спокойно стоял в шкафах.

– Я царь, я бог Уральского хребта! – кричал, бывало, другой генерал – Глинка, начальник казенных заводов.

Каждый из его подчиненных был таким же царем и богом у себя в своем небольшом отделе.

Равенство не перед законами, а перед розгами было всеобщее; драли женщин, запарывали детей; даже спины иерейские не оставались девственными. Их воздвигали, случалось, с равным усердием. И между коленами Дановым и Левитовым не делали никаких различий. Доходило до чудовищных несообразностей. Управляющий всеволожскими Луньевскими дачами Козлов порол розгами, например, старика Дубкова «за открытие каменноугольных копей» там, где их не предполагали.

– Как ты смел?

– Я думал, польза будет. Нашел и донес вам!

– Я тебе дам находить! Ишь какие еще разведчики нашлись.

Старика вынесли из полиции на руках!



Теперь эти копи разрабатываются и доставляют владельцам громадный доход.

На другом заводе крестьянин наткнулся на богатую золотоносную россыпь. Его управляющий просто застрелил и донес, что, защищая собственную жизнь, убил разведчика. Дело кончилось ничем, а между тем россыпь была взята убийцей в аренду и сделала ему миллионное состояние.

Один из горных начальников, как еврейский царь Вирсавией, увлекся женою своего рабочего. Баба молодая любила своего мужа и с заводским Соломоном не захотела иметь никакого дела. Тот, впрочем, недолго думал. Призывает рабочего.

– Что лучше: двадцать пять рублей или двести пятьдесят розог?

Рабочий не понял.

– Ну вот что, брат. Или я тебя запорю, или ты приходи мне жену в дом, для услуг.

Рабочий, к удивлению начальства, оказался из упорных. Стали его пороть. Действительно через месяц запороли, а заводская Вирсавия удавилась в петле.

И мужа, и жену признали не заслуживающими христианского погребения по приказанию уральского Соломона. Дело это было настолько в порядке вещей, что о нём даже и не говорили на заводах.

– Дурак! – отзывались о рабочем. – В люди бы вышел. Сам своего счастья не хотел. И жена-то глупая. Кабы умная была, сама бы к начальнику пошла.

Таковы были понятия; да иными они и быть не могли в этом душном воздухе бесправия и произвола.

– Нравы у нас, сударь, жестокие! – сказал бы уральский Кулибин того времени.

– У нас просто было! – вздыхают обросшие мхом поклонники старого режима.

Впрочем, повторяю, торжествовать нечего. Времена нынешние мало чем уступят прежним. Изменилась только форма насилия, бесправие заменилось фикцией бумажного права. В одной из следующих глав я расскажу, что такое уральский горнорабочий в настоящее время, когда и прочее... Горные начальники сменились частными владельцами заводов из щедринской коллекции Разуваевых и Колупаевых. Эти порют меньше, зато вымаривают население голодом, бьют его не по карману, потому что при колупаевской реформе кармана не полагается – класть нечего, а по брюху. Рабочие слоняются, как тени, не зная, куда им деваться. Разумеется, теперь не случается, как это, например, сделали с Иваном Снетковым, замуровывать в стены за бунты; но прежний рабочий хоть до бунтов доходил, а нынешний только вздыхает «хлипко», да не разгибая спины работает.

– Какие уж у нас бунты! Дай Бог сытым быть, чтобы не примереть!

А история этого Ивана Снеткова очень любопытна. Он был замечательно красив и спознался с любовницею управительскою. Заводской Отелло заковал его; но счастливый юноша убежал, разбив решетку тюрьмы и захватив с собою, кстати, Дездемону. Отелло, недолго думая, схватил отца этого уральского Париса и замазал его в стену; только и оставил пространство, чтобы дышать да есть можно было.

– Пока сын твой не явится, ты просидишь у меня в мешке.

Вечером того же дня сын явился. Отца выпустили. На другой день управитель позвал старика и сообщил ему:

– Сын твой опять убежал. Ну да Бог с тобою, я на тебе зла не помню. И отпустил бедняка.

Тот было обрадовался, думая, что управитель и в самом деле простил юношу. Через несколько лет правда обнаружилась. Отелло приказал преданным ему людям в готовый каменный мешок посадить Снеткова, но уже замуровать его совсем кирпичами. Один из трех злодеев покался.

– Куда ни пойду, везде слышу, как он тогда плакал. Мы его закладывали кирпичами, а он только стонал и не просил уж и не бился!

Приказная сволочь дала знать управляющему о повинной одного из его верных слуг. Через неделю приехали к нему для обыска, стена оказалась заделанною. Сняли слой кирпичей, под ними никакого мешка не было.

Когда доказчика наказывали кнутом, он кричал: «терплю за Снеткова, за злодейство свое!» Так под кнутом и умер... От этого управляющего пошли одни из самых крупных богачей пермских.

## XXV. Рабочий на заводе и на приисках

– Наш народ – бедущный народ. Лонысь барин один спросал: «Как вы, братцы, живете?» – Помираючи, живем. Вот как мы живем!

– Что ж, нужда одолела?

– Нужа-нужой. А только седни не знаешь, где завтра будешь. Потому – завод спалит леса, ну и пошли все кругом с сумою. Вот через Шабурное проезжать будете – поглядите. Голина совсем. Словно дерево под корень. Лоском лежит!

И действительно, жизнь уральского рабочего далеко не завидна. Самый лучший округ – северный, и тот в этом отношении не делает исключения. Лазаревскому и демидовскому рабочим, разумеется, живется лучше. Они хоть убеждены в прочности своего положения и могут устраиваться оседло. Остальные беззащитны и не уверены в завтрашнем дне. Что же касается до несчастных, которые попали в руки Разуваевым и Колупаевым, то уж, разумеется, крестьянская лошадь в марте, т. е. перед подножным кормом и после скудного зимнего корма, облезшая, хилая, едва передвигающая ноги, не переменит своего положения на это. Колупаевские батраки и ограблены, и придушены, и развращены до мозга костей. Их даже секут, и, представьте, секут Разуваевы и Колупаевы второго сорта, т. е. разуваевские и колупаевские приказчики! Что это не преувеличение, видно будет из фактов, приводимых ниже. Теперь же охарактеризуем экономическое положение лазаревского рабочего в Кизеле, Чёрмозе, Артемьевском и других пунктах, описанных нами. Заводские работы здесь по преимуществу задельные, и они ценятся выше поденных, потому что есть интерес больше работать. Какая-нибудь баба, стоящая у обжигания руды для домны, как ни хлопочи, более двадцати копеек в день не получит, а при задельной плате каждый заработает столько, на

сколько хватит его знаний и сил; разумеется, условия труда здесь столь ненормальны, что и этого, в сущности, очень мало. Вот, например, так называемая пудлинговая артель. Она сваривает чугун в пудлинговых печах и рассчитывается уже по выделке железа, причем на каждую печку в месяц хорошему мастеру достанется двадцать восемь рублей, двум подмастерьям – каждому по двадцать пять рублей пятьдесят копеек, двум рабочим – по девятнадцать рублей. Для того чтобы получить этот скудный заработок, нужно сварить и выделывать не одну тысячу пудов сходного, т. е. лучшего, железа. Из самого же процесса работы, описанного мной выше, видно, что это за каторжный труд. Помимо простой физической силы и выносливости, требуемой им, нужно еще, при постоянном мускульном напряжении, разрываться во все стороны лицом к лицу со сварочными печами, из которых пышет адом. Понятно, что человек, который целый день проводит на банном полке в шестидесятиградусной жаре, да еще обязан работать при этом, не имеет никакого основания рассчитывать на свое здоровье. Отсюда всевозможные тифы, горячки, простуды. Отсюда сухие, словно насквозь высушенные тела, слабые груди и больные глаза. Как бы ни было сильно зрение – оно притупляется тотчас же от этого красного блеска печей, от прилива крови, вызываемого невыносимым зноем. При каждой такой печи должны быть еще два мальчика. Они поднимают заслонки и, разумеется, за двадцать копеек поденной платы уже в раннем возрасте лишаются самой возможности не чахнуть целый век. При работах несходного железа, требующих меньше внимания, с каждой тысячи пудов мастер получит два рубля пятьдесят копеек, подмастерье – один рубль пятьдесят копеек, рабочий – один рубль. Сходное и несходное железо вырабатывается вместе, причем последнего выходит из общей массы семь или восемь процентов. Если артель трудится дружно и хорошо, то, перелая ей задельную плату на поденную, с вычетом праздников и каникул, которые даются на летние полевые работы, ей придется в рабочий день: мастеру один рубль, много-много один рубль пятьдесят копеек, подмастерьям по девяносто копеек, рабочим от семидесяти до семидесяти пяти копеек. Более легкая работа машиниста оплачивается меньшей ценой. Как он ни рвись, более пятнадцати рублей в месяц ему не назначат. На самых щедрых заводах этого округа варовщик и подмастерье зарабатывают двадцать семь рублей пятьдесят копеек в месяц, мастер – тридцать два рубля пятьдесят копеек, простой рабочий – двадцать пять рублей. Обжимальщик – тот самый железный человек, что шесть часов в день стоит под огненным дождем расплавленного шлака и под молотом обрабатывает доставленные ему из пудлинговых печей куски, – с каждой тысячи пудов сходного железа получит девять рублей и с каждой тысячи несходного – один рубль двадцать пять копеек. В день, таким образом, ему при удаче придется не более одного рубля пятидесяти копеек. Это уже аристократия заводского труда. Железный человек, хотя и испытывает положение Содомы и Гоморры, которые, по библейскому преданию, были побиты небесным огнем, но зато он работает только шесть часов в сутки. Сварочные рабочие, опять раскаливающие железо в сварочных печах и прокатывающие его на полосы, разрезающие, рубящие и сортирующие его, затем весовщики и вяжущие пакеты, с каждой тысячи пудов получают

по шесть рублей сорок копеек, причем на долю мастера, хоть он лопни от натуги, больше одного рубля в день не достанется. Рабочий за то же время получит шестьдесят копеек. Те, которые в средней полосе России находят крестьян на всевозможные полевые работы помесячно за семь, за восемь рублей, изумятся размеру уральских платежей; но они должны иметь в виду, что хлеб здесь дешевле восьмидесяти пяти копеек за пуд не падает и что все категории заводских рабочих на своих харчах. Да и самый труд так ужасен, что любой из горнозаводских литейщиков пойдет на самую тяжелую земляную работу за половинную плату против своей, но с тем, чтобы не жариться перед печью, не обливаться целый день потом, не болеть и не умирать преждевременно. Я встречал здесь стариков, но редко. Вообще, заводской крестьянин редко дотягивает до сорока лет. Не лучше положение крестьян и на угольных работах для того же завода. Из каждой сажени еловых дров артель должна с умением выжечь не менее двух третьих кубической сажени угля. Для этого требуются очень хорошие мастера. Из березовых полагается меньше. На десять коробов елового угля идет десять бадагов дров (бадаг – одна вторая кубической сажени). Ельника сметничного, т. е. смешанного с березой, на десять коробов идет одиннадцать бадагов; чистый березовый уголь на десять коробов потребует двенадцать бадагов леса, т. е. шесть кубических сажен дров. За рубку дров, за каждый бадаг полагается шестьдесят копеек. Тут и свал леса на место, и сама рубка. За выжиг угля с каждого короба платят шестьдесят пять копеек за еловый, семьдесят копеек за сметничный и семьдесят пять копеек за березовый. Перевозка с версты и короба пять с половиной копеек за еловый, шесть копеек за сметничный и шесть с половиной копеек за березовый. Для рубки дров нужны привычные зырянские руки. В то время как зыряне приготовят, например, два бадага, здешние крестьяне успеют приготовить не больше одного или полутора. Угольщикам тоже работа нелегенькая; приняв дрова на свой страх и за свою ответственность за их количество, они должны расчистить место, подвезти, сложить, осыпать землю, покрыть дерном, обуглить и потом уже, разломав на куски каждое обугленное полено, сложить его в вальё и перевезти на завод. В то время как дрова рубят весною, отчасти осенью, обжигают их обязательно в осень, а вывозят зимою. Зыряне приходят на этот промысел не артелями, а парами, отец с сыном, брат с братом или с сестрою, муж с женой – непременно родные. Бабы в работе у них не уступают мужчинам. За весь промысловый сезон, состоящий иногда из трех, иногда из четырех месяцев, такая рабочая пара, питаясь одним хлебом и редко пьянствуя – зыряне вообще пьют мало, унесет с собой каждая рублей по сорок-пятьдесят. Случается, что при неудаче уйдет и с пустыми руками. Но опять-таки с зырянами этого почти не случается; слишком они работящи, внимательны и умны. Они доходят на юг до Кыновского завода; дальше уже редко. Дальше чердынец идет, пермяк, русский. Каждая такая зырянская пара, входя в соглашение с заводом, требует, чтобы хлеб ей отпускался из заводского магазина, причем бы более семидесяти копеек за пуд не брали. Иначе она не останется на заводе. Разумеется, на эти условия заводу управления соглашались, потому что зыряне работники превосходные. Выносливость их выше всякого сравнения.

Вот, например, их зимнее житье. Они вбивают в землю четыре низеньких столба, настилают на них крышу. Со всех сторон открыто. Под таким катафалком они спят в снегу месяцы, какие бы морозы ни стояли. Дров для себя не изводят; едят иногда сырое, например соленую рыбу. Замерзают редко, хотя, разумеется, и этот грех случается. В последние годы зыряне уже не являются сами с предложением своих услуг, а с заводов поверенные едут к ним подрывать дроворубов и угольщиков. При этом между всеми рабочими парами существует полная солидарность. Если одну из них на заводе обидят или обсчитают, то на следующий год поверенный этого завода уедет от них с пустыми руками. Какие бы условия он ни предложил, сколько бы денег им в руки ни совал, ни один не наймется к нему. Это соблюдается свято. Сборный пункт зырянских рабочих пар – Усолье. К нему со всех концов они идут напрямиком, целиною, наперерез, не стесняясь тем, что нет дороги.

– Как вороны летают! – сравнил рассказывавший мне эти подробности. Где они раз были или прошли – никогда не забудут.

Кизеловский, Чёрмозский и другие лазаревские заводы кое-что делают и для рабочих. Ниже я скажу о пенсиях, выплачиваемых тем, которые всю жизнь проработали на Лазаревых. Рабочему, имеющему большую семью, выдается на каждого четвертого ребенка, а вдовам на третьего, довольствие провиантом до двенадцати пудов в год, до поступления в работу или до облегчения их участи другим способом. Таким образом в Кизеле содержится около ста одиннадцати мальчиков на девятьсот рублей в год. По невозможности взыскать, ежегодно складывается долгов с рабочих тысяча рублей, да на обязательную продажу хлеба по условленным с рабочими ценам завод каждый год теряет около семи тысяч рублей. Разумеется, всё это очень ничтожно, но у некоторых других и подобных малых пособий нет. Я уже не говорю о новой аристократии заводской, о Разуваевых и Колупаевых горного дела; даже у крупных и именитых предпринимателей выдадут семье искалеченного или убитого на работе труженика два рубля одновременно – и ступай себе на все четыре стороны! Всеми этими преимуществами пользуются, но гораздо менее вознаграждаются рудничные рабочие на заводах Абаemelек-Лазарева. С ящика бурой железистой массы объемом в одну восьмую часть кубической сажени уплачивается за руду, взятую изнутри, т. е. из-под земли, в шахтах – два рубля пятьдесят копеек и два рубля, а за поверхностную – один рубль. Как мужики, так и бабы в этом случае получают одинаково; различий для более сильного пола не делается. Переводя эту заделную плату на возможный поденный заработок, получим от десяти до двадцати копеек для поверхностных рабочих, так как на земле руда слишком рассыроплена в негодных породах, а для шахтовых – каждые пять человек, составляющие артель, могут за двенадцатичасовой труд получить два рубля пятьдесят копеек, т. е. по пятьдесят копеек на человека. Очень слабое вознаграждение за упорный труд в вечном мраке, да еще – при дурном устройстве шахт – в вечных опасениях быть заваленными землею, залитыми водою и заживо схороненными!

– Как вы им мало платите! – вырвалось у меня как-то.

– Удешевите сплав и уголь – можем платить и дороже. И то в этом году мы продаем им хлеб по пятьдесят шесть копеек, за который сами заплатили



семьдесят – семьдесят пять копеек. Сочтите, во что это влетит! Вон у них бабы занимаются пыльной работой, так мы им по десять копеек в день платим. А у них и дети есть. Сами знаем, что мало, да что же вы поделаете! Заводы – не благотворительное заведение!

– Говорят у Строгановых прежде лучше было рабочему.

– Еще бы! Лес-то ведь даром совсем оказывался. Теперь лесов нет, а каменный уголь пока дорог. Зато же и секли как в те поры!

На каменноугольных лазаревских копиях рабочие получают с вагона судя по крепости забоя. В вагоне, вместе с мусором, помещается тридцать пять пудов угля. Вознаграждение за добычу этой массы распределяется так: забойщик, отбивающий породу, обязанный сверх того даром крепить штольни и ходы или, лучше, норы свои балясинами, получает от десяти до двенадцати копеек с вагона. При мягком забое, таким образом, ему придется около одного рубля двадцати пяти копеек, при твердом до пятидесяти копеек в день. Забойщик вообще в месяц может добыть от пятнадцати до восемнадцати рублей. Редко более. Подкатчики, доставляющие руду от забоя к вагонам, на поденной плате, по двадцать, двадцать пять или тридцать копеек. Вагонщики, за доставку вагонов к подъемной машине по рельсовому пути, сорок копеек в день, полуработники, т. е. молодежь до пятнадцати лет, отнимающие днище от вагонов, чтобы уголь сыпался на грохоты, – тридцать и двадцать копеек в день, отводящие вагон в сараи девочки – двадцать копеек, а женщины, отбрасывающие мусор, – по двадцать пять копеек. Кроме того, для движения вагонов устроена паровая машина; заведующий ею вознаграждается двадцатью тремя рублями, а кочегар девятью рублями в месяц. Плотники, за срубы и стойки из крепежного леса, поставляемого внутрь шахты, могут в день навестать сорок копеек. При добывании флюсов, т. е. ломке известкового камня на горах, лежащего снаружи, за одну восьмую часть кубической сажени уплачивается рабочему, по обмеру правлением, тридцать копеек. В день можно наломать флюсового камня на сорок пять – шестьдесят копеек. Отдельных рабочих на эту работу не берут, а не попавшие в тот день на завод или почему бы то ни было свободные от занятий крестьяне уходят на реку, ломают и складывают известняк, а потом, когда им понадобятся деньги, делают заявление, что ими наработано столько-то кубических сажень.

Таковы цены на заводах Кизеловском, Чёрмозском и вообще у Абамелек-Лазаревых. Повторяю опять – здесь, благодаря тому что во главе дела поставлены гуманные люди, вроде Новокрещенных, Попова и других, рабочему живется лучше, чем в других местах; но положение горного дела во время посещения мною этих заводов было таково, что улучшения в близком будущем не ожидалось вовсе. Кизеловский заводской рабочий уже утратил тип крестьянина. Это, скорее, городской мещанин, слабый физически, но более развитый, предприимчивый и, разумеется, более деморализованный, чем мужик. Целомудрие вовсе не считается здесь доблестью, и супружеская ревность почти неизвестна. Живут рабочие лучше, чем где бы то ни было. Дома их нельзя назвать избами. Комнаты чистые, есть кое-где немецкая мебель. Платье – в праздник непременно городское, в будни – тряпье и лохмотья. Всклооченные, с налипшими на лоб космами, воспаленными глазами от огня,



перед которым приходится трудиться, с обожженным лицом и шрамами на лбу и на щеках, с редкими усами и бородачками, сухие и слабые на ногах, заводские рабочие резко выделяются из массы здорового (где осталось таким) крестьянства. Сквозь прорехи кожаной рубахи, надетой на работу, сквозят выдавшиеся ребра, острые плечи – тоже в шрамах и ожогах; открытый ворот обнаруживает впалую, чахлую грудь. По складу тела всего лучше на них изучать скелет. Каждая косточка глядит наружу, мяса им отпущено в обрез, жиру не полагается вовсе. Зато если вы с ним заговорите, то окажется, что они газеты почитывают и рассуждают уже не как крестьяне. Взгляд местного рабочего несколько суров и тяжел, как и куски, которые ему приходится обжигать в печах и обжимать под молотами. В пьяном виде он не сентиментальничает. Напротив, мрачен и сосредоточен. Сознания довольства своего положения нет нигде. Напротив, с третьего слова:

- Прижимка нас одолела!
- Рабочему человеку смерть! Заели рабочего человека.
- Терпи, покуль жив! А и умрешь, не легче!
- Бог нас забыл, а люди покинули, так и маемся.
- Хозяевам хорошо, в золотых каретах ездят в Питере, а мы что червь болотная!

Рабочий уже понимает, что он имеет право разделить с хозяином некоторую выгоду от производства. Так, в Кыновском заводе служащие подали просьбу о разделе десяти процентов с чистого дохода между трудящимися. Какой ответ последовал на это, мы не знаем.

– Мы что пчелы: нанесем меду, а нас хозяева прочь гонят. А мед-то себе!

Я вспомнил точно такое же сравнение, сделанное Пьером Дюпоном в его знаменитой песне работников. Мне не раз приходилось заставить в Кизеловском заводе рабочих за книгу, а как это видно будет из последующих очерков, между рабочими не редки и такие, которые сумели довести самообразование до весьма исключительной высоты. Разумеется, такие встречаются среди строгановских, лазаревских и демидовских крестьян. У Разуваевых и Колупаевых рабочий доведен до полуживотного состояния; нищета его душит вконец, заработная плата всё понижается, потому что хозяева связали по рукам и по ногам беднягу; а протестовать – и думать нельзя! Сверх того, тот же хлеб, который на хороших заводах продается рабочему дешево, тут обходится ему чуть не вдвое. Рабочему не выдают денег на руки, и он обязан всё забирать в хозяйской лавке, где цены такие, что и более состоятельному человеку они были бы не под силу. Так, например, от кварца, от шлаков сапоги рвутся чрезвычайно быстро, и каждый раз рабочий платит за них по девять рублей в Колупаевскую лавку; тогда как рядом, в свободной лавке, цена им четыре рубля. Взял бы там – денег нет, деньги заменяются расчетною книжкою. Были таким образом уголки, где фунт сальных свечей вгоняли рабочему в полтинник. У нас жидов ругают! Да помилуйте, относительно эксплуатации ближнего своего любой Разуваев любому Полякову или Грегору пятьдесят очков вперед даст и с одного раза партию выиграет. Больниц у таких палачей нет совсем. Работая по колена в воде, схватывая тиф, горячку, ревматизм сочленений, рабочему негде найти себе помощь.

Он беззащитен. Даже, случается, умирают от простых ожогов, ушибов, потому что нет под руками самых простых средств. Там, где рабочий на хозяйских харчах, пища их такова, что неприхотливый эскимос отвернулся бы от нее с отвращением. При повальной системе воровства не один Колупаев грабит рабочих; у Колупаева пропасть мешан служит управляющими, надсмотрщиками, которым тоже надо вдоволь насосаться человеческой кровью и потом. Пиявка – та добрее. Больше себя не выпьет, отпадет. Колупаевские же подручники обладают бездонными утробами. Чтобы рабочего в руках держать, мало плохо кормить его, нужно еще опутать неоплатною сетью долгов. Розги в этом случае действуют наиболее принижающим образом. С тех пор как горным исправникам нельзя пороть – навязали эту порку рабочим артелям. Артель, по приказанию какого-нибудь Чернопулова, либо Выборова, либо Ворошилова, дерет своего сочлена самым благополучнейшим манером и ничего! Особенно скверно на приисках; тут выборовский и колупаевский грабеж не знает предела. В Серебрянском округе, например, не раз случалось, что поверенные этих эфиопов даже и в людей стреляли, и ничего – обошлось гладко. Из сотни дел, записанных мною во время поездки на прииски, я приведу здесь только одно. К молодому судебному следователю, чуть ли не Кунгурского уезда, явился Алексей Королев и объяснил, что он, вместе со своими товарищами, нанялся каждый за девять рублей в месяц работать на золотых приисках купцов Выборовых. Поверенный последних, управляющий Варваринским прииском, Петр Ворошилов, обязался при заключении условия давать этой артели бесплатно пищу и не изнурять непосильными работами. Королев был аккуратен; с пяти часов утра он являлся на работы и проводил на них до восьми часов вечера. Но так как на прииске работа тяжелая, а здоровье у него оказалось слабое, то он несколько раз хворал, причем сам Ворошилов освобождал его от работ, разумеется, не давая ему в эти дни никакой платы.

– Я часто хвораю, – объяснял Королев, – грудь у меня... Колотье такое, не приведи Бог! Года два назад на хозяйских работах упал с коня грудью на бревно и с тех пор хирею.

Чем дальше, тем Ворошилов менее стеснялся с рабочими; наконец больного крестьянина поставили на такую работу, где он должен был лечь разом. На Варваринском прииске существует только одна шахта, и вся работа главным образом состоит из выкачивания воды, которая всё больше и больше наполняет ее, потому что и шахту роют всё глубже и глубже. Воду, камень и песок извлекают из нее железными бадьями, каждая весом, без груза, в пуд. Работа эта происходит так: один на дне шахты роет ее, насыпает песок и камни и наливает воду в бадьи, которые опускаются и поднимаются вверх посредством волочины (каната) с железными крючьями и без всяких закрепов или хомутиков. Бадьи поэтому постоянно срываются и убивают людей. Горная полиция обязана следить за этим; но Ворошилов умеет с нею ладить отлично, поэтому «к пустякам» она не придирается. Волочина огибает помещенный над шахтою волок, род круглого деревянного обрубка, вращающегося на железных осях. Таким образом, при вращении волокa волочина попеременно опускает и поднимает то одну, то другую бадью из двух, висящих на ее концах. Волок вертят посредством прикрепленных к его осям двух воротов. Их

должны приводить в движение попеременно двое рабочих, а не один, иначе, если он утомится, ворот может вырваться из рук; а так как те же Разуваевы да Колупаевы скобок или хрепков не делают, то ворот завертится обратно, быстро спустит бадью в шахту и убьет рабочего, что не раз там и случалось. Несмотря на это, Ворошилов ночью заставил Королева и другого рабочего, Кручинина, выкачивать воду из шахты, с тем, что один будет работать на дне ее, а другой наверху. Шахта эта была глубиною в семь сажен; никаких лестниц в нее не шло; опускались и подымались в бадьях; воздух оказывался таким, что после двухчасовой работы оставаться там никто не мог. Трубы для очищения воздуха не действовали; на дне шахты было много киновари, выкапываемой вместе с песком и камнями. От этой киновари рабочих тошнило и рвало. Сами трубы были деревянные, с большими щелями, какая же тяга могла быть в них! Киноварь тут жилами пронизала кварцевые породы, страшно крепкие и потому требующие громадного мускульного напряжения при их разбивке. Королев и Кручинин, первый еще притом едва державшийся на ногах, побоялись спустить в бадье один другого вниз ночью, когда никого не было около. При постоянных обмороках, случавшихся на дне шахты с рабочими, другой, остающийся наверху, не успел бы вытащить в бадье своего товарища, и тот бы неизбежно задохнулся. Оба они устали и потому боялись еще, что при подъеме или спуске ворот вырвется из рук и тогда сидящий в бадье полетит вместе с нею на дно шахты и убьется. Королев и Кручинин решились поэтому выкачивать воду, не спускаясь вниз. К утру воды оказалось столько же, сколько было и вечером, потому что в это время ее прибывало в течение двенадцати часов на четыре вершка. Если бы Королев и спустился вниз, то всё равно больше бы не выкачал. В пять часов явился Ворошилов.

– Ты отчего не на дне?

– Нельзя!

– Почему нельзя?

– Как же одному спускать и подымать беспрестанно бадьи с человеком и водою? Нам только и можно было оставаться вверху у ворота.

– Ты еще рассуждать!

И Ворошилов запер Королева в чулан. Там ему не давали ни есть, ни пить два дня. По окончании этого ареста приказчик созвал всю артель рабочих и приказал ей высечь сейчас же Королева розгами. Артель, разобрав дело, нашла бедняка правым.

– Сечь его не станем! Штрафуйте, если угодно! – объяснил выборный от артели.

– Не станете?

– Нет.

– Хорошо же, я в вас стрелять буду! Я сейчас тебя застрелю, – накинулся он на Королева и взялся за ружье.

Королев, измученный и больной, струсил.

– Если вы будете стрелять, так я должен топором себя защитить.

Рабочие же, «боясь, чтобы Ворошилов действительно не выстрелил в кого-нибудь из ружья», когда этот доблестный колупаевский приказчик повалил едва державшегося на ногах Королева, выскли его, дав ему двадцать ударов.

Затем Ворошилов наказанного посадил вновь в чулан, род загородки, сколоченный из досок, с кровлею.

– До тех пор я тебя не выпущу отсюда, пока ты не подпишешь нового расчетного листа.

Дело в том, что прежний расчетный лист, по которому Ворошилов был должен Королеву, первый вырвал и разорвал, а в новом хотел обозначить плату со дня поступления рабочего на прииск не в девять, а только в семь рублей в месяц. Побившись, побившись, несчастный рабочий исполнил требование хозяйского палача. Понятно, что здоровье Королева расстроилось окончательно и продолжать работу он уже не мог.

Этот расчетный лист был у меня в руках. В нем есть графа, по которой Ворошилову «в случае замечаний лениности» дозволяется убавлять плату рабочему. В расчетном листе приведены и цифры, по каким отпускались припасы рабочим. Оказывалось, что фунт сахара обходился последним в сорок четыре копейки, пятикопеечной махорки – в двадцать копеек, и все остальное в той же пропорции.

Стали допрашивать свидетелей. Оказалось, что глубина шахты уже выросла из семи сажен в двадцать девять аршин, и что канат, на котором поднимают бадьи, мокрый весит пять пудов, а самая бадья не пуд, а полтора.

– Действительно можно задохнуться на дне шахты?

– Еще и как! Помилуйте – рвет!

– А может рабочий поднять со дна человека?

– Одному трудно, если скоро, а медленно – опасно. Воздух таков, что и днем захватывает дыхание, а ночью он еще хуже... Свеча гореть не может... Меня рвало в шахте раз по семи в день.

– А что это за арестантская, куда сажал Ворошилов?

– Мы все в ней сживали. Он постоянно запирает в нее. Махонькая такая каморочка, два аршина длины и два ширины. Нарочно он и построил такую.

– Ну, а сек он до тех пор кого-нибудь?

– Помилуйте, постоянно сечет. Еще недавно, безо всякого суда, крестьян Андрея Павлунина и Прокопия Киреева высек... Но Королеву действительно трудно было перенести, потому мы все знаем, что он болен... Еще вот о прошлое лето Калистратова высек.

Когда стали разбирать вопрос о телесном наказании, обнаружилось следующее:

– Всех нас, рабочих, на приiske Выборовском пятнадцать человек, составляющих одну артель; мы назначаем двух выборных и одного старосту, которые у нас составляют как бы суд. Мы им даем право штрафовать каждого артельного и наказывать розгами, но только за проступок против артели, т. е., например, за кражу. За провинность на работе выборные наказывать не уполномочены. Ворошилов мог штрафовать, а сечь не смел; мы при договоре на это согласу нашего не давали.

– Королев говорил перед розгами, что он болен?

– Стонал... Жаловался, что грудь у него внутри болит.

– Что ж Ворошилов?

– Позвал фельдшера Бурлакова.

Бурлаков пришел пьяный и объявил, что нутряных болезней он не понимает.

– А ружьем грозился?

– Он всегда, не только в этом разе. «Я, – говорит, – за бунты завсегда могу в вас из ружья стрелять, и не токмо мне за это ничего не будет, а еще и медаль мне навесят... Всякий, – говорит, – хозяин для своо антересу может рабочего из ружья забить!»

Когда артели было выяснено, что она не вправе была сечь Королева даже по приказанию Ворошилова, то свидетели показали:

– Мы уж очень чиновника У. боялись.

– Кто это?

– Частными золотыми приисками от казны заведует. Он перед тем приехал к нам, приказал выбрать двух доверенных и старосту и поручил им непременно сечь розгами товарищей. «Если же, – говорит, – делать этого не станете, так я приеду сам и пересеку вас всех».

Рабочие хорошо знали У.; года три или четыре назад он сильно сек рабочих, давая им в один раз по сто пятьдесят розог. На прииске Миллера, по речке Болтуне, он передрал трех рабочих за то, что они не успели закрепить шахты, и передрал жестоко. Являясь на прииски, тот же У. шахт не осматривал; ему и горя мало, что там нет лестниц, что устройство вала и бадей незаконно. Как раз после дела Королева в той же шахте у Ворошилова зашибло сорвавшуюся бадью рабочего Волкова – У. даже и дознания не сделал.

– Почему в шахте нет лестниц?

– Большие, т. е. широкие, шахты делать скупятся. Наши десять четвертей вдоль и поперек. При такой узости лестница помешает бадьям.

Это дело, как и все другие в том же роде, не кончилось ничем. Я полагаю, что Ворошилов по-прежнему сечет рабочих, да и шахты у них у всех устроены так же, т. е. без всякого соблюдения законных условий, обеспечивающих рабочим хотя самую жизнь. Понятно, что при такой обстановке народ на прииски и заводы смотрит как на нечто ужасное и разбегается сотнями; тогда на сцену выступает волостное правление. Заводская контора обращается к нему с требованием выслать беглых. Если волость замедлит, то найдется чиновник вроде У-ва, который прикажет ей исполнить претензии Ворошилова. Рабочему долга своего никогда не заработать. Напротив, при системе начетов он будет постоянно в ежовых рукавицах у Выборовых, и сии братья-купцы (отчего не братья-разбойники?) не выпустят из рук бедную муху, пока не высосут из нее последних соков, а тогда, разумеется, бросят, как никуда негодную тряпку. Околевай с голода!

– Почему вы не жалуетесь начальству? – спрашивал я у рабочих.

– Начальству? Оно с нами и говорить не станет!

Оказалось, действительно! Есть горные чиновники такие, которые заглядывают на заводы только для «даяния блага». Получат, что им следует по собственному соображению, и восвояси. Мне называли горных чиновников, и имена их записаны у меня на всякий случай, которые, как добросовестные и аккуратные люди, даже таксу завели для хозяев. За визит их на прииски просто они взимают с последних по двадцать пять рублей, за визит

с поркой – по отдельному на каждый раз условию! Эти господа, разумеется, смотрят на всё сквозь пальцы. Рабочих может заливать водой, живо погребать осыпями, головы их пробивать бадьями, душить спертым и переполненным вредными испарениями воздухом, в котором даже свеча не горит – горным исправникам не до того.

– У царя народу много! – добродушно объяснял один из таких. – Знаете, как клопы: сколько их не дави, раз завелись – так уж не выживешь, расплодятся!

– Тоись и они, эти мужичонки, ехидные! – живописал Колдунов, приказчик купца Дятлова. – Сейчас это, как зима придет, давай бегать. Беда просто! Доверия никакого нельзя иметь.

– Потому и бегают, что скверно их держите. Заставляете работать не по силам.

– По контракту.

– Да ведь знаем мы, как контракты-то составляются. Вон у вас шахты-то как устроены. По закону?

– Что же закон. Коли по закону, так лучше уж и не жить!

А контракты, например, вот каковы: «Выходить на работу должны мы в пять часов утра и продолжать до восьми часов вечера безотходно, только для обеда и отдыха дается нам один час. При вскрытии торфов лошадьми вырабатывать должны: один забойщик и один возчик с лошадью – одну кубическую сажень, а на ручных тачках или носилках с относкою и откаткою до трех аршин – один человек три четверти кубической сажени. На песках три забойщика должны накопать и накласть две кубические сажени при шести четвертях толщины пласта. При штольной работе вышиною и шириною трех аршин должен каждый человек выработать пол кубической сажени. При шурфовке, полагая размером: шириною одна целая одна вторая, длиною два аршина, должны двое человек выработать в один день три аршина, на второй – два, на третий – полтора аршина. Крепи при этом же те же рабочие обязаны вести без запущения. Если кто не доработал урока, тот должен продолжать сверх урочного времени работу, пока ее не завершит всю». Те же размеры выработки остаются и для пробития шурфов в твердой породе; только в некоторых условия помечено, что при явной невозможности выполнять работу нанимающиеся обязываются производить ее без лености в течение «шестнадцати часов». За самую маленькую недоработку предоставляется правлению взыскивать по шестьдесят копеек (при девятирублевом месячном вознаграждении!), а если недоработки повторятся или, как изображено в подлинном условии, «если оный штраф не будет вразумлевать», то при каждом таком случае какой-нибудь Ворошилов может возвышать штраф вдвое, т. е. сегодня шестьдесят копеек, завтра один рубль двадцать копеек, послезавтра – два рубля сорок копеек, затем на четвертый день четыре рубля восемьдесят копеек, а на пятый – девять рублей шестьдесят копеек. Кроме пятнадцати часов обязательной работы нанявшиеся должны трудиться безурочно со всею поспешностью при поправке плотины и рытье канав. «Если управление пожелает при урочных работах предоставлять нам вторые уроки, то за таковые получаем сверх рядной платы по тридцать пять копеек».



Работать нужно полный месяц и в праздники. Некоторые дают, впрочем, в месяц два дня на отдых и починку. Если кто прогуляет день, с того взыскивается сорок копеек. Если же по болезни, то взыскание производится только из жалования следующей за день суммы. Болезнь удовлетворяется фельдшером (а фельдшера, как видно из нашего рассказа, внутренних болезней понимать не могут). По условию, рабочий должен получать в месяц тридцать фунтов говядины свежей или соленой, два пуда десять фунтов муки ржаной, восемь фунтов крупы ячной, три фунта соли, один фунт масла. Но это остается на бумаге. Рабочие не видят и половины этого. Точно так же на бумаге остается и невычет с рабочих за болезнь. Преспокойно вычитают, потому что здесь своя рука владыка, делай что хочешь! В условиях приказчик выговаривает право управляющим наказывать при артели рабочих по собственному усмотрению. Следовательно, и четвертовать верно может?

Таковы условия, в которые здесь поставлен рабочий. Удивляться ли, что он при первом удобном случае бежит с приисков или завода куда глаза глядят?

Прижимая и тесня рабочих всеми возможными и невозможными, честными и бесчестными, законными и незаконными способами, честными и законными, разумеется, с точки зрения коммерческой нравственности – владельцы заводов совсем ничего не делают со своей стороны для охраны жизни, безопасности и здоровья законтрактованных невольников. Я уже не говорю, что труд здесь не облегчен ни малейшими удобствами. Вот, например, в каком виде оказалась одна из разрабатывающихся шахт у тех же купцов Разуваевых. Шахта глубиной более двадцати восьми аршин и наполовину почти наполнена водою. Крепи в стенах колодца развалились. Под напором воды осыпается земля и шахта грозит совсем рухнуть. В углах шахты укреплены две растрескавшиеся и расщелившиеся трубы для тяги воздуха; отверстие их равняется четырем вершкам в длину и трем в ширину. Деревянная труба эта несколько не помогает дышать работникам. Воздух так сперт и свеча так же гаснет, как бы и без трубы. Барьера, или так называемого обруба, вокруг шахты у краев ее нет. У краев шахты скат внутрь на пять вершков по ватерпасу. Даже опытные рабочие должны подходить к нему с величайшей осторожностью. Почва у шахт в уровень с их ничем не огороженным отверстием. И это не исключение – везде на Колупаевских приисках так. Живут у них рабочие в скверных сараях, которые одни, помимо всяких тяжелых условий подземных работ, способны вызвать всевозможные болезни. Тут же, где на маленьком пространстве скучены сотни народу, сушится насквозь промокшая, кислая обувь, платье, белье. Нет арестантской камеры, где бы хуже содержали заключенных. Рабочий, задыхающийся в штольне и в шахте, падающий там в обморок от недостатка чистого воздуха, тут находится чуть ли не в таком же положении. Когда и где может отдышаться его больная грудь?.. Едят рабочие – ужасно! Редко-редко совсем посиневшая солонина или мясо, от которого пахнет за версту. Вместо обещанной говядины большею частью какая-то похлебка из муки с салом и каша, приготовляемая в обрез. Хлеба дается по три фунта на брата, и рабочие жалуются, что и на этом иногда их обмеривают. И заметьте – такие лишения при страшно обессиляющем пятнадцатичасовом труде в сутки!

Если рабочий на заводе даже и при плохой обстановке развивается, делается предприимчивым, смелым и интересуется всем, совершающимся вокруг него, то на прииске крестьянин является совершенно иным. Он в большинстве забит, угрюм, измучен, туп. Молчалив он, как и все рабочие, но тут еще при этом является выражение какой-то чисто животной покорности судьбе. Он не видит исхода. Чиновники, обязанные защищать его, посещают завод только для порки или для взяток. Они ему первые враги. Хозяйский приказчик оказывается пиявкой, высасывающей последнюю кровь из без того измороженного рабочего; хозяин в стороне, его не видят. Он заменяется управляющим, который заинтересован в том, чтобы истратить как можно меньше, а собрать как можно больше. Найти защиту в волости, куда бежит доведенный до отчаянья рудокоп, нельзя. Если старшина и захотел бы ему помирволить, является полиция, своя, специальная, приисковая, и скрывшийся водворяется обратно на прииски, причем с него же вычитают деньги, истраченные на его розыск.

Вы спросите, каким же образом рабочие приходят наниматься к этим приисковым рабовладельцам?

Они никогда не приходят сами. Приказчики золотопромышленника отправляются в волости, за которыми числится много недоимок, казенных, разумеется. Согласившись с волостным писарем, в большинстве случаев мерзавцем девяносто шестой пробы, они предлагают волостному правлению взять к себе на работы всех недоимщиков, уплатив всё, что за них следует. Волость отдает несчастных, часто как скот, не спрашивая даже их согласия. Были случаи, когда бедняги даже не знали, что условия за них уже подписаны. Подымается рев. Недоимщики часто не идут; тогда является горный исправник и употребляет разные меры «к соглашению» нанятых крестьян с их нанимателями. Арестантская, розги, запугивание – всё хорошо при этом «соглашении»! В конце концов списки рабочих, нужных для прииска, наполняются, и здоровый народ сгоняется к шахтам, чтобы через несколько месяцев вернуться домой, но уже голодным, больным и еще более нищим, чем прежде. Управляющие приисками вовсе не образованные специалисты. Где какому-нибудь прохвосту Разуваеву находить еще порядочных людей. Он к делу поставил мещан, которые вовсе не отличаются филантропическими склонностями; соблюдая интересы хозяина, они не забывают и своего собственного кармана, хотя и первых достаточно для того, чтобы рабочие совсем оскотинились.

- Ведь есть же окружные инспектора? – спрашивал я.
- Есть.
- Имеют они власть что-нибудь сделать для рабочих, ну хоть для безопасности? За постройкой шахт чтобы следить?
- Да вас что, собственно, интересует? Закон или практика?
- Закон.
- По закону власть их громадна. За всякую неисправность они могут оштрафовать хозяина на тысячу рублей. И притом безапелляционно. А по третьему разу им предоставляется право закрыть прииск.
- А в действительности?

– Лучшие из них ничего не поделают. Система такая. При общей продажности честность отдельных лиц ничего, кроме беспокойств и потерь для них самих, в конце концов не даст. Они и сидят себе по своим заводам и или братаются с Разуваевым, или, сознавая свое бессилие одолеть их, третируют их только en canaille. Ну да этим ведь нашу коммерческую среду не удивишь. Ему хоть плюй в глаза – всё Божья роса!

На заводах положение крестьян тоже иногда безвыходно.

Вот, например, три завода, лежащие один подле другого: Молебский – казенный, Серебрянский – казенный и Кыновский – графа Строганова. Прежде, когда к заводам были приписаны крестьяне, они работали даром; теперь без денег, понятно, не идут. Казенные заводы или совсем ничего не делают, или уменьшили производство. Так, например, в Серебрянском вместо шестнадцати работает только шесть труб, а в Молебском, на котором прежде питалось две тысячи населения, теперь ни одна труба не действует. Все окружающие этот завод крестьяне без средств. Недоимки растут, поэтому волостные правления не выдают паспортов, следовательно, и на стороне ничего не найдешь – идти без вида некуда. Земля чуть не голый камень, сколько ее ни царапай, ничего не выцарапаешь; леса давно сожжены. Так как земля бесплодная, крестьяне ее отказываются брать вовсе. «Что нам с ней делать!» – говорят они. Некогда славившиеся честностью, теперь они известны по всему округу под лестным именем «молебские воры». У себя они не воруют, нечего; у других постоянно. Рецидивисты в каждой хатенке. Около Молебских заводов нет и прииска, так что и такой ужасный источник скудных средств к жизни для этого района не существует. Когда молебского крестьянина посылают за воровство в острог, он падает на колена.

– Спасибо, кормилец! Дай тебе Бог! – благодарят они следователя. – Хотя покормимся там.

Около Молебских заводов – Серебрянские. Здесь уже есть прииски. Тут хотя и очень плохо, но всё же прокормишься кое-как, хотя бы и так, как это рассказано выше. Тут недоимщиков гонят к Вырубовым и другим; у кого земля получше, тот сидит на ней. Здесь преступлений в пять раз менее, чем в Молебской волости, да и большинство краж совершается здесь выходцами из последней. Кто не недоимщик, но не имеет земли, тот отсюда идет работать в Кыновский завод. В Кыновском уже совсем иное положение. Сюда сбегаются из других заводов – только возьми. Благосостояние гораздо выше, заработки настолько обеспечены, что трудно найти прислугу мужскую за десять рублей в месяц. Тут десять рублей вырабатывает баба. Иной мастер в неделю получит двадцать рублей, подмастерье – десять рублей. Простой крестьянин за месяц получит двадцать рублей. В конце концов результаты заводов: в Молебской волости крестьяне, по местному названию, «сплошные воры»; ни работ, ни заработков никаких, кроме краж, которые и практикуются как определенный промысел; в Серебрянске свои работы тяжелы, кто может, тот бежит в Кын искать труда; преступления есть, но очень мало; в Кыну же еле-еле наберется две кражи в год, так что следователю здесь делать нечего. И это несмотря на огульное пьянство; даже кыновские бабы и те «водку жрут», по словам здешних стариков. К этим трем типам принадлежат все заводы на Урале.

Мы воздерживаемся от каких-либо выводов, они ясны и без того.

– Когда последнюю лесинку казенный завод сожжет, так и помирай! – признаются крестьяне.

– Хозяйством бы занялись.

– Мы искони заводские. Какое же у нас хозяйство.

– А земля?

– Паши камень, коли силы хватит; у нас что ни посеешь, всё тебе одна трава негодная вырастет. Скот, какой был, продали за недоимки, ну и оголели мы. Нужные мы, скорбные!

И действительно скорбные.

– Острогу, как родной матери, рады.

Не лучше на Урале положение рабочих и на сплавных путях. Кстати уже заговорил об этом; сообщу всё, что мне известно, о Чусовских бурлаках. Чусовая – вся перерытая порогами, разбивающаяся о скалистые выступы, встречающая на своем пути громадные утесы и при том бегущая по очень покатоному руслу, – для многих заводов является естественным нервом, соединяющим их с большими промышленными путями – Камой и Волгой. Летом в Чусовой воды очень мало, барки запоздавшие обсыхают, остальные даже не пытаются выйти. Зато весной...

– Вода у нас ярая, грудью бежит... Бедушная вода... Страшная!

– Много ее?

– Не описать, вот как много... Вспыжится – горбом пойдет...

Поэтому и весь сплав здесь совершается весной. В верховьях Чусовой завод Ревдинский, в его бассейне или озере скоплено воды верст на тридцать. Тут пруд со шлюзами. Как только наступит весна, отсюда по всей Чусовой пускают страшный вал, который в одну ночь подымет, сметет и снесет весь лед. Предварительно, разумеется, посылают гонцов по Чусовой, чтобы береглись... На двое суток в заводах, расположенных по течению, водополье заливают всё, что не ушло и не построилось на известной высоте. Тут-то и спускают барки. Течет река капризно и извилисто. Барка наскакивает на скалы, причем зачастую гибнет, так что только жалкие осколки выбрасывает на берег. Иной раз умные коммерсанты посылают барки на верную смерть, дорого застраховав их или по другим каким-либо расчетам. Насколько течение сильно и управление судном опасно, видно из того, что для одного барочного весла назначают обыкновенно сорок человек – явление небывалое на других сплавных реках.

– Кто на Чусовой не бывал, тот Бога не видал! – говорят местные поселяне.

– Наша Чусовая река злющая! На ней, брат, как Бог даст, а ее разумом не осилишь!

– На Чусовой – простишься с родней!..

– Коли Чусовую переплыл, знать Бог с тобой был!

Не бывает года, чтобы здесь не разбило нескольких десятков барок. К этому привыкли; на это смотрят как на неизбежное зло. Начнут, например, рассказывать про крушение какое-нибудь. Все охают да ахают.

– Где это было?

– На Чусовой.

– Ну да!.. Еще бы! Захотели вы!..

И успокаиваются. Потому что на Чусовой иначе и быть не может.

С каждого пуда частных заводских и иных грузов речная полиция давно уже собирает пошину, предназначенную для взрыва скал, мешающих течению реки, и для очистки ее фарватера. И на все эти десятки и сотни тысяч рублей здесь не сделано ничего. Для видимости и для очистки бумажной совести поковыряли кое-где без толку, разнесли на это солидные суммы и успокоились. Есть, например, два утеса на Чусовой: Разбойник – на юг от Кыновского завода, и у самого завода Мултык. Это Сцилла и Харибда для уральских сплавщиков. Особенно у Разбойника – спокон веку разбивались сотни барок. Скольких жизней он стоил – и не сочтешь. Как ни просило местное население снести его – официальная мундирная наука, ничего не делающая без чудовищных смет и выгодных ассигновок, признавала это невозможным. Наконец, в 1876 году простой купец Стахеев из Елабуги на свой счет и своими рабочими взял да и взорвал камень. Это был опаснейший пункт на Чусовой. Что речные инженеры и полиция делали ранее – никому неизвестно. В одном 1874 году у этого утеса разбилось тридцать барок с железом.

– Миллионы пудов мы провезли... Сколько денег с нас собрали, где они?

– А вы бы спросили.

– У кого спросить? Всё к вам в Питер отправляют; коли бы здесь на месте хранились – на дело бы пошли. Ну украли бы половину – а на остальное что бы нибудь да устроили. А как посылают к вам туда – так их и совсем не увидишь.

– На общегосударственные нужды... На другие реки.

– Да ведь и у нас нужда... И у нас река!.. Ведь этим кто пользуется – злодеи да воры!.. Вал-то как пустят, так издали видно – вспыхнется, взгорбится, гриву отбросит и бежит на тебя. На горе стоишь – и то страшно. А тут воры-то – и пускают нарочно барки!.. Есть один жид у нас, поставщик. Большой жид. Из самых из больших жидов. Так он часто пускает пустые барки. Заправляют у него этими делами жида же... Казна одна отдувается за всё.

– Да что им за выгода? Ведь можно пустить с четвертым и пятым валом?

– Ему надо чтобы разбило... Казенное железо нагружено. Он на себя поставку берет. Пустую посудину разнесет в куски – он сейчас счет: сколько потонуло, сколько заржавело, сколько израсходовано денег, чтобы из воды вытащить!.. Миллионы так-то в карманы кладут. Подлинные государственные воры.

Люди при этих гешефтах гибнут массами. Редкая, очень редкая барка тонет без людей. Около Кына в 1875 году в виду завода утонуло тринадцать человек; что творится в других пунктах – можно себе представить!

Между сплавщиками есть и бабы с детьми; всё это глотает Чусовая, к вящему благополучию израильских и российских буржуев. Никаких следствий по этому делу не производится; Божья воля, против нее-де не пойдешь!..

– А начальство?

– Ха!.. И впрямь ты ничего не знаешь! Сидите вы у себя в Питере благополучно, младенцами... Начальство-то самые Ироды и есть!

Потом уже я узнал, что уездные власти, Кунгурские и Верхотульские, еще в марте приезжают для наблюдения за сплавом железа в Илимку<sup>9</sup>. Отсюда начинается спуск барок. Власти наблюдают за нагрузкой, за правильностью ее, за тем, действительно ли железо уложено в суда. Как наблюдают – другой вопрос.

– День и ночь карты и кутеж на счет сплавщиков. Месяца полтора идет такая оргия!

– Мне бы хоть раз покормиться там!.. – вздыхает отдаленное от этого пункта начальство.

Взятки здесь достигают весьма почтенных размеров.

Барки посылаются не по одиночке, а караваном, без интервала. Караван на караван. Разобьется одна, и другие гибнут вместе с нею.

Вот положение рабочих на этих-то барках нельзя не признать в высшей степени трагическим. Попал к жиду, творящему гешефт, значит, на верную смерть. Желающих наниматься очень мало, почти нет.

– Кому охота, помилуйте! Иной совсем с голоду отошал, а всё же ему жизнь-то дорога!

Сплавщиков сюда посылают силком из Вологодской – зырян, из Вятской – вотяков и других инородцев, за недоимки. Особенно много нолинских попадает сюда, по той же самой причине. Для того чтобы разбиться о какую-нибудь скалу и потонуть в Чусовой, несчастный должен еще зимою выйти из своего села и пешком добраться до Илимки – на своих хлебах. Понятно, что он и остальное с себя проест.

– А недоимка как же?

– А недоимку за него жида вперед вносят в волостное правление.

Жалкий, измученный и ограбленный народ! Кто за тебя вступится? Кажется, нет такой тли, которая поедом не ела бы тебя! Мне Россия теперь представляется не иначе как спящим волшебным сном богатырем. Всякая нечисть напозла на него, всякая гадина жрет его, не утоляя своей жадности. Лишай по нему пошли, мох поднялся. Тело землю завалило – на земле лес вырос; света божьего в этом лесу нет – темень одна! Червей одних что напозло...

Когда же ты встряхнешься, когда же ты откроешь свои зоркие очи?..

Я начал эту главу с рассказа о положении рабочих на заводах Абамелек-Лазаревых. Кончу о них же. Повторю еще раз, что как в Кизеле, так и в Чёрмозе рабочему, несомненно, живется гораздо лучше, чем в других местах этой части Урала. Так, например, здесь рабочим выдают ссуды без процентов, проверяя насколько они нужны. При этом не было еще примера, чтобы население злоупотребляло такими выдачами, т. е. просило в долг без необходимости. Я упоминал о пенсиях, выплачиваемых заводом. Они даются тому, кто прослужил или проработал тридцать пять лет, считая с двадцатипятилетнего возраста для первых и с семнадцатилетнего – для вторых. Служба и занятия ранее этого возраста не входят в пенсионный срок. Замеченные в краже заводского имущества, стачках и противодействии управлению завода лишаются права на пенсию. Для служащих размер его вычисляется



из средней за пять лет суммы получаемого жалования, причем пять восьмых ее ассигнуется в пенсию. Управляющие заводами получают пенсионера по восемьсот рублей в год, а главноуправляющие – от тысячи шестисот до двух тысяч. Рабочие – двенадцать рублей и выше. Сверх того, по назначению владельца им выдается провиант и оказывают другие льготы. Вдовам идет от одной третьей до двух третьих получаемого мужьями пенсионера, смотря по тому, бездетны они или нет. Таким образом, владелица ежегодно расходует по этому отделу девятнадцать тысяч рублей. Хотели было потребительные общества здесь завести, и из Чёрмоза два раза посылали по этому делу просьбы в Петербург, но министр внутренних дел отклонил. Такое время было! На свой же счет владелица содержит несколько училищ, снабженных хорошими библиотеками, и во всех заводах – больницы, где, разумеется, рабочие лечатся бесплатно.

## XXVI. Поездка в Луньевку

Было чудесное ясное утро, когда я выехал из Кизела; дорога то и дело взбегала на горы и сползала в зеленые котловины. Вершины за вершинами, холмы за холмами громоздились кругом. Не было крупных, зато красивых оказывалось очень много, и глаза с трудом отрывались от неожиданных эффектов, которыми так богата природа Урала. Река Луньва, круто извиваясь, обходит выступы крутых варак, как их называли бы на дальнем севере. В воде отражаются величавые сосны и пихты, обильно поднявшиеся на берегах. Тишина и спокойствие царят в этой зеленой пустыне. Ковры ромашки, обрастающей к солнцу свои белые венчики, расстилаются повсюду; ветви хлещут в лицо моего ямщика, но он на них обращает столько же внимания, сколько и на овода, что впился ему в шею и безмятежно пьет его кровь.

– Тебя овод кусает, – предупреждаю его.

– А, пушай! ... От них не отобьешься! Они еще лучше для нас, потому мы от крови страсть как мучимся. Ну а они лишнюю спущают.

– Да ведь больно.

– И не слышу даже... В Луньву едете?

– Да.

– Место чудесное, столица наша таперича стала... Тут такого понастроено – не оглядишь в два дня всего! Супротив других заводов куда лучше выходит. В Луньве у Ивана Ефимова водка – первый сорт!

– Как и везде.

– Нет, он ее, должно, чем-нибудь правит. Зла больно. Ядовитая водка. Бабы такие бывают злые. Вы еще нашу бабу не знаете?

– Нет.

– Она себя показать может. Заводская баба в праздник, коли ежели ей поддашься, живьем съест... Наша баба умнее мужика выходит!

Мне задремалось под эту беседу о заводской бабе, и, когда я проснулся, через час, вдали уже замелькали чистенькие домики Луньевки.

– Это новые дома, для рабочих начальство выстроило.

– Чисто, хорошо там?

– Чисто! Убежишь от ей ... от чистоты!

Каждый домик в четыре окна по переднему фасаду. Есть и более – те подальше. В домике две горницы с общими сенями. На два отдельных хозяйства приспособлено. Рабочие сами просят туда самым настойчивым способом. Я заходил к ним – чистота действительно непривычная. Всё от завода здесь заведено полностью, заметно даже некоторое обилие. Краснощечие ребяташки ползут к нам оттуда. Некоторые горницы пусты – и мужики и бабы на работе. Таких домов луньевская администрация построила уже тридцать три, причем продолжает ставить новые.

– Если понадобится сотня – мы и сотню поставим.

Почин этого благого дела принадлежит Грасгофу, управляющему Луньевкой. Он положил начало, Урбанович поддержал, и стройка пошла шибко.

– Теперь у нас рабочие живут по-людски! – с совершенно законной гордостью говорят луньевцы.

Кругом – громадные корпуса заводов, казармы. Улицы содержатся превосходно; дороги, не в укор кизеловским, устроены так, что и не тряхнет в довольно тряской телеге. Всё это сделано в три года. С 1873 года Луньевка попала в нынешние руки товарищества, заведующего его копиями. До тех пор это был безобразный, запущенный угол, где народ нищенствовал и ничего не делал за недостатком работы.

Здесь из местного каменного угля, главного богатства Луньевки, начали уже выделывать кокс. Первые попытки дали превосходные результаты. Кокс содержал только семнадцать-восемнадцать процентов золы и оказывался чрезвычайно легким, плотным в разломе, с металлическим блеском. Он гораздо лучше кизеловского, в котором больше золы. Его уже пустили в дело до моего приезда, и в доменных печах он работал свыше всех ожиданий. Из него вполне удалось извлечь все смолистые вещества, и теперь на ближайших рынках для него была бы не страшна даже конкуренция английского кокса, дающего от семнадцати до двадцати пяти процентов золы. При мне для первых опытов в более широком размере было уже приготовлено шестьсот пудов; причем из Мотовилихи и Тагила сюда сделаны были большие заказы. По смете назначено было, на первый год, разработать до миллиона пудов; тогда эту цифру считали максимумом. Оказалось лучше, при первых же работах явилась возможность добыть в десять раз больше. Нет только таких требований, которые, разумеется, явятся впоследствии и очень быстро, потому что последние уральские леса истребляются с какой-то хищной жадностью. Многие заводы стоят потому, что на ближайших сплавных реках не осталось даже лесинки, понятно, что при удешевлении кокса заводы должны будут накинуться на него. Для них это единственное средство к продлению своей краткой, но вовсе неразумной жизни. Когда здесь стали делать разведки, оказалось, что площадь расположения угля громадна и толщина его в разрабатываемых местах от трех аршин доходит до двенадцати. Кубическая сажень луньевского угля вывешивает от шестисот до семисот пудов, что свидетельствует уже само собою о его хорошем качестве. По общему количеству его, разумеется, предполагаемому, администрация судит, что в восьмидесятилетний срок аренды его разработать никак не удастся. Заложено около двух-

сот шурфов, и все они оправдались. Везде сплошная масса. Уголь начинают разрабатывать, впрочем, далеко не хищнически. Заведены перфораторы для бурения; взрывы производятся не порохом, как у остальных пермских рудокопов, а динамитом. Всё это устроилось благодаря Грасгофу. Одна замена ручного бурения новыми аппаратами – уже заслуга. Что ручным способом делалось в два часа, то перфоратор делает в минуту. Завод, во время моего посещения, даже щеголял новенькими вагонами, паровую машину с иглопочки, проволочными канатами, гуттаперчевыми рукавами и вообще всеми деталями этого, в высшей степени прозаического, дела.

– Посмотрите-ка, посмотрите! – восхищался инженер, показывая мне всё это. – Ведь последнее слово науки! Какая красавица выдержит сравнение с этой машиной?

– От вашей красавицы слишком пахнет салом и маслом.

– Для нас это аромат.

Я позавидовал особенному устройству инженерного носа и перешел к большому зданию, выстроенному в русском стиле, с резьбой даже.

– Что это у вас?

– Казарма для рабочих.

Все здания выведены прочно и красиво. Меня охотно водили всюду, ничего не пряча. Не было той суетливости, которая так противна там, где вы знаете, что вам суют под нос казовые концы. Я никак не могу забыть одного колупавевского завода, который я оставляю для отдельного очерка. Там везде была грязь и зловоние, нищета рабочих сквозила в прорехи покривившихся сараев, где даже и зимой живут они, разводя в полуразвалившихся печах вовсе не греющий их огонь. Лица рабочих, попадавших мне навстречу, испытые и осунувшиеся, производили впечатление потрясающее... Некоторых тут же трясло в лихорадке; в шахтах воды было по горло, и в этой воде работали.

– Отчего это у ваших рабочих вид такой ужасный?

– Пьяницы-с и разбойники! – суетливо объяснял мне верхотурский мещанин, управлявший заводом. – Уж мы, кажется, для них и пищу, и удовольствие всякое – не чувствуя.

Потом он наклонился ко мне и на ухо, шепотком, точно сам себя пугаясь, стал ябедничать:

– Бунтовщики. Не признают...

– Чего не признают?

– Всё отмечают... Поп к ним приехал, а они ему: «Ты, батька, хозяйскую руку держишь»... Неблагонадежны... И если бы не господин горный исправник, тут бы с тремя леворверами надо ходить! Он их привел в христианскую веру... Он с ними очень довольно чудесно! ... Наши хозяева им так довольны, так довольны...

– Ну а сколько кабаков держит ваш хозяин для этих пьяниц? – не выдержал я.

– Только три-с. Себе в убыток.

– За что ж вы их обвиняете. На сорок домов – три кабака.

– Нельзя-с, иначе нельзя-с...

– Так рабочему никогда до дому денег не донести!

- Развращение нравов. Помилуйте! Девочки двенадцати лет...
- Ну?
- И уже-с!..

А потом оказалось, что этот самый мещанинишко до двенадцатилетних-то и охотник. Он расплодил здесь всякую нечисть, да и жалуется.

Впрочем, об этом после. Рядом с такими подлыми приисками Луньевка, разумеется, рай.

По дороге к копиям шумит в камнях Восточная Лунья. Речонка злится на каждый осколок гранита, обливает его своею пеною, кидается на него и, не осилив, не сдвинув всё-таки с места, бежит дальше, жалуясь береговым цветам на свою жестокою участь.

– Иван Фомич! Иван Фомич! – догонял нас рабочий, с книжкою в руках (явление совсем для меня необычайное). – Я прочел вашу... Вот извольте, нельзя ли только другую.

– А ты что ж сегодня не на работе?

– Да руку себе повредил и маюсь. Только и дело теперь, что читать. Мне бы по естеству если. А то этих романов я не люблю-с. Потому в них всё нарочное.

– Как нарочное?

– Нарочно выдуманное, невсамделишное... Этакого нет нигде. Помилуйте, он ей наперед горло ножом-с полоснул, а она, опосля того, опять жива и за своего душеньку замуж выходит... Нет, вы уж мне по естеству... Насчет природы... Тут, по крайности, правда... А то роман читаешь, точно стихи иль сказку...

– Вот покажи им потом казармы для рабочих.

– Наше жительство? Это я с большим удовольствием. Только мы живем просто, ничего у нас нет замечательного. Известно, рабочие! Скорлупой мы уж очень заросли, вот что, Иван Фомич! Если бы нас сызмальства учили чему-нибудь – люди бы теперь мы были. А то так... На двух лапах ходишь – потому только и человек.

По дороге мы зашли в одну из казарм. Большая кухня, в три очага, содержится очень чисто. В ней поставлен стол для рабочих. Тут они обедают и ужинают. У каждого из рудокопов свой ящик на замке для провизии и других вещей. Каждый из них ест отдельно.

– До сих пор никак нельзя убедить их, что общий стол выгоднее для них будет. Как мы ни старались – не хотят, да и только. Это, впрочем, не по нежеланию завести артельное, а просто потому, что каждый день здесь являются новые и новые лица.

Тараканов везде предостаточно. Видимое дело, что с этим зверем и здесь расстаться никак не могут.

Отопление в казармах и домиках для рабочих каменноугольное, кроме русских печей, где горят дрова. В домиках везде посредине железные печи системы Собольщикова и обручи на железных палках, где сушится платье и обувь, запаху никакого, потому что тяга устроена превосходно. По стенам широкие нары. То же самое и в казарме, которая устроена на сто человек. Всех углекопов двести, но они делятся на две смены. Одна работает, другая отдыхает. Таким образом помещение оказывается нетесным.

– Тут у нас и бабы пока помещаются. Еще не хватает отдельных домиков. Скоро, впрочем, и этого неудобства не будет.

– С мужиками вместе?

– Нет. Разумеется, отдельно! Тут какие дела бывают; здешние бабы отличаются выносливостью и здоровьем необычайными. Она, например, на сносях до последней минуты работает. Настанут родовые боли, уйдет на пятнадцать минут, родит и сейчас же сама принесет в казарму. А на другой день опять уже на работе. Мы предоставляем ей отдых – не берет. Заработок нужен. При Всеволожских здесь и мужики, и бабы помещались вместе, вповалку. Разврат был страшный. Никто не женился. Незачем было семьи заводить. Просто ад какой-то. Мы это сейчас же изменили.

По стенам висят кожаны, выдаваемые рабочим от завода. Уютности, хозяйственности нигде и ни в чем. Всё казарменное, всё по шаблону. Что у одного, то и у другого. В арестантских ротах так же должно быть. Шайки для воды по углам, сальные свечи по одной на казарму – вот и всё. В мужских казармах только чуть похуже, чем у женщин. Тут, у печей, свалены и сушатся онучи, берестяные лапти и такие же короба. В углу суздальского письма образа, на стенах зеленые генералы на красных лошадях пропускают между конских ног маленьких желтых солдатиков с синими знаменами. Традиционное погребение kota и ни с того ни с сего вырезанный откуда-то и попавший сюда портрет Тургенева. Я уже заподозрил литературные занятия, но когда подошел ближе, то разочаровался. Под ним было безграмотно изображено: «патрет Архирея Илиодора и генерала». А рядом совершенно неожиданно весьма энергичное и популярное, но вовсе неудобное для передачи изречение.

– Вы знаете, первое время недовольны были разделением полов. И что же – бабы жаловаться являлись.

– Не может быть?

– Честное слово! У нас, говорят, заработков не стало совсем! Вот вы и толкуйте с ними.

– Что едят у вас рабочие?

– Кашу, иногда мясо, похлебка какая-нибудь. Если мяса нет, едят сухого астраханского или уральского судака. У кого корова есть, молоком разнообразят свою пищу. Остальные вовсе его не видят. Скучно!

Вышли из казарм. Зелень кустов; Луньва сквозь нее продирается, поблескивая на солнце яркими струйками. По камням переливается и злится на них. Вон, по берегам, поросли дягилей из зонтичных.

– Это у нас рабочие называют пиканами. Собирают их, солят и едят вместе с отваром из них. Хвощи едят тоже, варят их вместе с яйцами, шаньги из них делают, пироги. А то и так пистиками едят, т. е. одни головки.

– Да что же, своего не хватает, что ли?

– Я вам говорю – скучно! Тут рабочему не разьестся. Всегда он голоден.

## XXVII. Угольная копь

Мимо веселой и красивой Восточной Луньи, мимо красных кирпичных зданий завода с высокою черною трубою мы прошли в угольную копь. За нами всюду следовало пыхтение паровиков, шум каких-то зубчатых колес, удары проводов, работавших без устали. Постройка здания для паровика особенная. На других заводах я этого не видел совсем. Деревянная, обложенная одним слоем кирпича, с пролетами столбов и брусьев наружу. Вон красивый красный фронтон...

– Это что у вас такое?

– Вход в угольную копь.

Черная дыра. Копь отсюда теряется во мраке. На семьсот футов прошла она внутрь, косо пронизывая землю. Везде проложены рельсы. Штейгеры с молотками снуют во все стороны, постукивая в стены угольной породы, в тускло поблескивающие изломы ее. Сверху – балясины, поддерживающие свод этой норы. Машина пыхтит и тяжело дышит в черном гроте посреди горы. словно там бьется сердце этой громадной, висящей теперь над нами массы.

– Эта машина у нас превосходно работает. Вы замечаете, как тут чист воздух и как сухо везде. Всё она, матушка! Впрочем, это недолго будет, при- готовьтесь.

Другие машины в стороне разбросаны по всему пространству копи. С трудом различаешь их смутные очертания. Какие-то загадочные силуэты видятся и мерещатся в этом царстве гномов. С каждым шагом мы опускались всё ниже и ниже. Холод уже охватывает кругом. Пыхтение машины становится тише. Вон две лампы робко мигают во мраке. Образа, перед которым они теплятся, совсем не видно. Во тьму ушел. Только когда мы подошли ближе, выяснилось печальное, низко наклонившееся, словно слезы роняющее лицо Богоматери. Так и кажется, что ей больно за все эти десятки и сотни народа, убивающего свои силы на трудной работе. Так и кажется, что это она по ним плачет, милосердная и благодная. И опять черная нора; мы уже идем перегнувшись вперед, чуть не ползем. Свод висит низко, давит. Вот-вот рухнет и завалит нас... Каплет сверху. Скоро целые ручьи льются оттуда на нас. Мы насквозь мокры. Нога тоже тонет в воде... Вон опять из норы направо и налево черные пещеры черных гномов. Там тишина. Не слышно ударов кайл о мокрые стены. Прежде тут выбирали уголь, теперь оставили. Старый рудник погрузился в какое-то величавое безмолвие. Наши голоса как-то странно звучат в этом гроте, углы которого, кажется, бесконечно далеко ушли от нас; по крайней мере под тусклым светом наших лампад и свечей мы их не видим.

– Куда вы? – и невидимая рука схватывает меня за плечо, когда я пошел было вперед. – Сохрани вас Бог!

– Что такое?

Мой спутник протягивает лампу вперед, и я вижу у самых ног тускло поблескивающую воду. Сколько может охватить глаз мой – везде тот же тусклый блеск. Точно тут разлито какое-то густое чернило. Трубы отводят эту воду, но со стен ее наливается столько, что они бессильны. По крайней



мере та польза от них, что остальной рудник не заливаается. Я бросил кусок каменного угля, он упал где-то далеко в воду. Плюхнул в нее – и едва заметный круг разбежался по спокойной поверхности этого подземного озера. Даже брызг от него не было. Мы прислушались внимательнее – журчание воды. Со стен льется целыми струями. Повернули назад и другими жилами пошли всё ниже и ниже. Теперь это озеро уже над нами, наверху. Мы футов на двести опустились. Еще больше приходится сгибаться; своды здесь гораздо ниже. Едва дышим от усталости. Руки порою опираются в мокрые крепи. То там то сям, в стороне, блеснет огонек и что-то шевелится около. Остановимся – слышится оттуда стук кайл о твердые массы угля... Уже на нас нитки сухой нет. Мы не отдергиваем рук, когда они попадают в воду, не стараемся найти сухого места для ног, потому что такого нет... Старые шахты направо и налево. Они переполнены водою. Мы слышим, как эта вода точит плотины, поставленные здесь, чтобы защищать рабочих Григорьевской копи от нее.

– Эти старые шахты совсем колодцами стали. Раз одна плотина поддалась – всё залила вода.

Так и стоят они, безмолвные, брошенные! Сколько по ним схоронено народу! В прежнее время из-за этого шума не делали. Залило – и чудесно! Не доносили даже. Так и чудится, что это не шум машин, а стоны заживо схороненных; что не вагон это стучит по рельсам, а какие-то цепи звенят в стороне. В самых недрах горы бьются и стараются выползти из наглухо завалившихся нор тысячи несчастных; кто-то громадный, запертый под нею, под этою массою угля, песчаника и земли, жалуется на свое вечное заточение.

Слава Богу, можно разогнуться! Жила, по которой ползли мы, вела в большой грот. Отовсюду слышны голоса. Сверху висят над нами грузные и неровные своды из песчаникового камня. Иногда громада его точно нарочно выделилась, чтобы рухнуть на нас. Проходя под нею, недовольно ускоряешь шаг. Штейгеры постукивают молотками в этот свод: не грозит ли обвалом. Камень глухо отзывается на этот зов. Точно кто-то, заключенный в нем, невольно гудит в ответ штейгерам. Мимо нас двигаются вагоны по рельсам. Грохот идет по подземельям. Вдали мелькают свечи. Подходим – люди, зашитые в черную кожу. Кожа на шапках, кожа на плечах, на ногах. Но она не спасает их от воды. Вода насквозь проняла. Малейшею щелью пользуется она и затекает за шею, на грудь. «Ноги точно отнялись», – жалуется один. Лица сумрачны, брови нахмурены, глаза злые, смотрят на твердую породу, не поддающуюся кайлу. Запах углекислоты делается уже ощутительным. Голову кружит, в висках стучит кровь. Горло точно перехватывает кто-то.

– Нельзя ли назад поскорее?

– А что?

– Дышать трудно!

Как эти несчастные выдерживают подобный воздух, для меня совсем не понятно; чем дышат их и без того изморенные груди? На мокрых работах здесь недолго, впрочем, выдерживают люди. Самые сильные выстоят десять лет, остальных едва хватает на пять, на шесть. После того рабочий уже никуда не годится. Ему нужно или побираться всю жизнь, или умирать. Ни на какое усилие не способны подорванные легкие и немощные руки!

На остальных горных работах выстаивают лет двадцать и тоже умирают от чахотки. Чахотка становится чаще всего уделом и тех, кто тут долго проработает в угольной копи. Часто они, впрочем, задыхаются раньше, от сильного притока углекислоты.

– Точно сгорит человек – разом!

Сюда становится уже несколько труднее находить углекопов. Если бы не нищета окружающих местностей, никогда и никто не пошел бы на работу хотя в ту же Григорьевскую копи. Администрация ее, впрочем, и сама подманивает народ. Если рабочий переселяется сюда совсем, ему отводится земля для дома, дается лес или прямо дарится готовая изба! Сверх того, ему вручается пятьдесят рублей, из коих двадцать пять безвозвратно, а двадцать пять должны быть отработаны в течение пяти лет, исподволь, незаметно.

– Мы бы и надел давали, пожалуй, да товарищество не имеет права отчуждать землю.

Рабочий в угольной копи мрачен и молчалив. Ему больно на свет Божий взглянуть. Наверх выберется – только и впору ему, что завалиться на лавку. Руки болят, грудь ноет, дышать тяжело, точно легких для воздуха не хватает, точно сердце бьется в каком-то пустом месте. В голове звон какой-то, в ногах, в сочленениях, острая ревматическая боль. Сваливаются массажи! Больницы полны ими. Даже в праздник рабочему невесело! На одно пьянство он падок, забывается по крайней мере. И эту черную яму забудет, и этот непосильный труд из головы выйдет.

А угля тут много. Надолго еще его хватит. И не одна тысяча людей ляжет в ранние могилы, доставая его на пользу другим, спасая своим трудом, своею смертною мукою леса, одевающиеся зеленью, и нивы, гибнущие там, где истребляются леса, и реки, обсыхающие в голых пустынях. При мне рассчитывали, что Григорьевский рудник ежегодно должен давать от трех до четырех миллионов пудов угля, да недалеко отсюда Илиодоровский рудник представляет собой запас в тридцать миллионов пудов, который предполагено выработать в двадцать лет. А там еще по Усьвинской даче пошли новые залежи. Пока открыт пласт в два фута толщиной. Следовательно, не одно поколение горнорабочих перегибнет из-за скудного заработка! С тех пор как я сам посетил копи и видел этих несчастных, каждый кусок каменного угля мне кажется обрызганным человеческою кровью! Да, дорого достается малейшее удобство. Нам только легко оно. За него платятся другие.

Сюда на работу народ идет из разных мест – нужда гонит. Прикамских мало, у себя дома есть дело, как-нибудь прокормятся. Большею же частью работают здесь тагильские. Есть и кунгурские. Всем рабочим с восьмого июля по восьмое августа дается льготный месяц на сенокосы. Ближайшие уходят к себе, пришедшие на завод издали нанимаются к ним тоже. За это время они несколько поотдохнут на чистом воздухе, оправятся.

В копиях за подземные работы получают: кайловщики, ломающие руду, от пятидесяти – пятидесяти пяти копеек в день; пятьдесят на сухих, пятьдесят пять на мокрых работах. Нагрузчики и вагонщики – от сорока – сорока пяти копеек, на работах вверху, т. е. на земле, от тридцати пяти – сорока копеек; сорок копеек в летнюю пору, когда работают не менее десяти часов,

и тридцать пять зимою, когда за делом проходит от восьми до девяти часов. Внизу работа идет дольше; там двенадцатичасовая смена на сухих и десятичасовая на мокрых работах. Особенно тяжелыми считаются разведки. Тут вода и сверху, и снизу. Женщины тоже работают в копи, хотя по правилам этого допустить нельзя. Дела они исполняют столько же, сколько и мужчины, а получают на одну вторую меньше. Мальчик от четырнадцати–пятнадцати лет получает при этом двадцать копеек в день, а девушка от восемнадцати–двадцати лет – от пятнадцати–восемнадцати копеек.

– Как вы допускаете женщин ломать руду? – спрашиваю я кого-то.

– А как их не допустишь, когда в рабочих руках недостаток.

Всем вообще рабочим завод дает помещение даром; хлеб им продается по заготовочной цене, т. е. когда везде здесь в так называемой вольной продаже пуд муки стоил шестьдесят копеек, в Луньевке рабочие получали его по сорок пять копеек. Подати они уплачивают уж сами, луньевская администрация в этом никакого участия не принимает. Кайловщики (рудокопы) жалуются только на одно: им за их же счет приходится и крепь ставить.

Мне казалось, что мы никогда не выберемся назад.

Опять эти черные жилы, эти мрачные гроты, эти безмолвные, наполненные водою и заделанные плотинами шахты по сторонам. И этот грохот, раздражающий слух; этот гром машин, словно размалывающих человеческое тело, рвущих его в куски.

Вон, наконец, засерел выход из шахты, точно там пар стоит.

Солнце горячо греет землю. Жарко стало под ним. Зеленая листва приветливо колышется по сторонам, свежая, яркая трава мягко стелется по берегам веселой речки.

А там, из этой горы, доносится всё тот же грохот, глухо раздаются загадочные звуки. Точно черви проточили ее; точно в невидимых склепах бьются там тысячи на веки заключенных живых существ.

## XXVIII. Коксовые печи

Прежде чем уголь будет годен в дело, с ним нужно еще повозиться немало.

Из копей, по взездам, его доставляют на грохоты, где из одного в другой он проваливается посредством ручных поворотных колес и тут делится на три сорта, смотря по величине кусков. Каждому грохоту соответствует особый люк, откуда уголь через желобы поступает в бак с водою, где его промывают движением поршня. В баке уголь теряет свои глинистые частицы и частицы пустой породы, глинистые сланцы, песчаник. Все они осаждаются по удельному своему весу слоями. Уголь вычерпывается особенными лопатками, причем посторонние породы, находящиеся между рамами, перегородками, на лопату не попадают. Отсюда уголь сортируется, нижний слой его выбрасывается, а верхний, самый лучший, предназначается для коксования и поступает в боковой отдел, в стенах которого устроены люки: сквозь них он попадает прямо в вагоны, отвозящие его по рельсам к коксовым печам.

Вся эта работа под солнцем, при свете, гораздо легче той, которая под массажи земли и камней совершается в вечном мраке копей каторжниками непосильного труда. Дело кипит под руками; звон рельсов, стук вагонов, всхлипывающее движение поршней, грохот каменного угля, попадающего из одного помещения в другое, тучи черной пыли, стоящей около, охватывают свежего человека совершенно новыми впечатлениями, так всё это не похоже на обычные рамки всякой другой работы. Тут уже порою, сквозь шум машины, и песня услышится, песня, которая никак не мирится с вечным сумраком под-земелья и, словно подстреленная птица, прерывается там при первом своем звуке. Сверху нам видны отсюда, в синеве далекой, где только мерещатся леса, белые черточки каких-то заводов и микроскопические силуэты сельских церквей. Реки льются там едва-едва заметными серебряными нитями; голубым клочком неба, упавшего на землю, кажется небольшое озеро. Вон где-то струится дым. Самого завода не видеть, и домны его не отличить за обступившими ее холмами; видно только, что и там совершается неустанный труд человека. Плавятся в тысячадвухсотградусной жары сокровища, отнятые у вечного мрака черных гор. Вон Луньевская гора, у подножия ее вся Луньевка сбилась в кучку... Лысая верхушка ярко освещена лучами полудня.

Волга река разлилась,  
Выпало снегу пороша.  
И где моя мила-хороша?  
Приходи на цясочик,  
Свидимся на денёчик!

Так и садится в ухо бабья песня. Поющей не видеть, зато звуками ее песни наполняется вся эта небольшая полянка.

– Каков сопрано? – оборачивается ко мне Иван Фомич.

– Да! Звон в ушах идет.

– Нет, вы обратите внимание: сила-то, сила! Второе ля взяла. И нисколько не дрогнула. Вот бы в фиоритурные-то певицы. Выпустить бы ее на сцену в Питер.

– Это с цясоцками да денёчками?

– Верно молодая еще. Приучилась бы. Нужно, разумеется, образовать, в консерваторию.

И вдруг голос Ивана Фомича точно осекся.

– Что же, отошлите ее в консерваторию.

Из-за угла прямо на нас вышла весело поющая баба, лет эдак сорока пяти.

– А все-таки изумительная сила голоса!

Коксовая печь поставлена посреди большой площади.

От нее во все стороны так и пышет жаром. Внутри томятся в ужасающей атмосфере сотни пудов угля. Собственно это не одна печь, а их семь, стоящих рядом. Вагоны с углем подвозятся прямо на их кровлю. Вверху, в печах, сделаны воронки. Когда вагон станет над такою, дно его выдергивают и уголь прямо падает вниз, в помещение, которого хватает на шестьдесят пудов. Оно всё выложено из огнеупорного кирпича. Во все семь таким образом сыпается разом четыреста двадцать пудов. Атмосфера этих печей уже раскалена до того, что едва ли даже мифологическая саламандра могла бы здесь

хотя одно мгновение остаться невредимою. Несколько времени еще воронки остаются открытыми, и сквозь них серым паром клубятся вверх холодные газы, содержащие и смолу. Пар этот клубится всё гуще и гуще. Всё тяжелее и тяжелее становятся газы. Наконец в них точно блеснула молния. Еще раз... В воронке заколыхался синий язык легкого огня. Он мало-помалу изменяет цвет, делается голубым, розовым. Скоро уже одно желтое пламя пышет из воронки. Дав таким образом погореть газу, но не очень долго, воронки вдруг запирают герметически. Тотчас же печи со всех сторон замазывают глиною. Уголь начинает томиться, огню нет выхода; воспламененные газы, еще секунду назад вырывавшиеся на волю, теперь в верхнем отделении печи поступают через каналы, устроенные в ее своде, в боковые жилы, обвивающие печь кругом и потом уходящие вниз под пол. Таким образом печь нагревается сама собою. Газ, сослужив углю службу, выводится в особые трубы. Притока воздуха внутрь не допускается вовсе. Уголь остается в печах сорок часов и из отдельных кусков сплавляется в общую массу, потеряв при этом, в виде газа, все смолистые части. Продукт этого процесса – кокс – является почти чистым углеродом, с небольшою примесью минеральных веществ, которые после его сгорания остаются в виде золы.

Когда мы осматривали печи, привалила к ним целая масса рабочих.

– Пора?

– Стомился уголь. Сейчас будем вынимать!

– Вот увидите, как узника выпустят из заточения, – заметил мне Иван Фомич.

– Как раз ко времени потрафили.

– Хоцца ему на волю тоже.

Пот катил с лиц, жара здесь была нестерпимая.

Тем не менее ждать было некогда, и рабочие засуетились еще пуще кругом печей.

– Ну-с, выпускайте, выпускайте, братцы!

– Палит! Фу-ты, Господи! Прежде смерти в ад попадешь!

– И горько же грешникам будет. Черти-то из них так же вот уголь вымаривать станут. Вмажут тебя в печь, загрузуют и почнут тебя палить.

– Тебя скорей.

– Меня не за что. Я на баб не падок. А тебя за баб во как выжарят!

Где есть малейшая возможность поострить, ее не упустит наш рабочий.

– Ты думаешь: взял бабу, да и прав. Нет, врешь! За нее, за бабу, так-то тебе влетит, чудесно! Она, брат, баба. Ее не трошь.

– Он вчера с Матрешкой по лесу путался.

– И за это тебя тоже. Будь спокоен.

– Эх вы бабы, бабы, и что доброго в вас?!

– Добра у них много!

Но рабочему докончить не удалось. Ему крикнули слева, и он бросился туда.

– Ну, уголь поспел. Пора его на стол подавать, – острили около.

С обеих сторон открыли дверцы печей. Уголь выталкивается из них особым механизмом. На нас из печей стала выступать раскалявшая окружающий

воздух масса, совсем сплавившаяся: уже на воле она начала с громким треском раскалываться на части, поблескивая в изломах металлическим отсветом. За выступившими массами ползли другие – дышать становилось невыносимо.

- Хватай, хватай его, братцы!
- Не зевай, не зевай, ребята!

Обжигальщики стали его зацеплять железными гребнями и подальше оттащить от печей, то бросая инструмент от страшного зноя, то снова хватаясь за него. Другие в это время направили на вынутые из печей массы пожарные кишки. И вдруг кругом, оглушая нас, загрохотало и загремело. Вода из кишок стала литься на раскаленные массы. Их сильно окутало паром. Пар застлал всё: и рабочих, и печи; мы уже ничего не видели, кроме этих клубившихся перед нами серых туч, в которых, незримая, бесилась какая-то гроза. Изредка, когда ветром относило белые клубы в сторону, из-за них выступала серая, металлическая масса, продолжавшая трескаться и колотиться прямыми изломами. В расколе сверкало пламя, уголь горел там красным огнем. Потом тучи пара опять застлали всё кругом. С этим паром из кокса улетучивается сера, и кокс после того считается уже совершенно готовым.

Рабочим тем не менее складывать рук нельзя.

Нужно позаботиться, чтобы громадные печи не охладились, запереть их, замазать и нагрузить свежим углем. Процесс обращения угля в кокс таким образом продолжается беспрестанно. Из шестидесяти пудов угля, вложенного в печь, кокса выходит пятьдесят пять пудов; остальное, в виде газа, улетучивается из него. Из полученной в каждой печи массы оказывается плотного кокса сорок восемь пудов и пористого, губчатого, семь пудов. Цена ему при мне еще не установилась, потому что самое дело было внове.

– Что вы получаете? – спрашиваю я у рабочих, действительно предвкушавших мучение адово. Будущая жизнь, таким образом, для них уже наступала в настоящей.

– Мало получаем! Пятьдесят копеек в день всего. На всем своем.

– Которые в шахтах да в копях работают, тем больше платят, они по шестьдесят пять в день берут.

– А тебе сколько приходится?

Шершавый, раскрасневшийся у огня мальчуган, ополоумев от жары, попал прямо на меня и остановился, видимо не сознавая, где он и что с ним.

– Чего? – остановился он. Видимое дело – с жары опаматоваться не может.

– Что, Васютка, не привык еще? Он у нас внове. Сколько получаешь-то? – спрашивают.

– Ах ты, Господи! – мучится совсем мальчуган вместо ответа.

– Тут и взрослому не сладко, когда эта угля ползет.

– Он по двадцати копеек в день берет, – отвечают за него другие.

Готовый кокс в вагонах отвезли в склад. Новый засыпали сверху.

Вокруг печи опять некоторое время стало тихо и безлюдно. Бабье, какое было при работах, воспользовалось отдыхом по-своему, прихватив с собою и мужиков. Смешение полов, а следовательно, и легкость нравов здесь беспредельны. Не говоря уже о том, что никаким обычаем известные



отношения не связываются, баба, не имеющая «душеньки», считается здесь чем-то отверженным.

– Что это ты, Анисья, с мужем? – спрашивает мой спутник у красивой и рослой блондинки, попавшейся нам навстречу.

– Нет. Это чужой душенька! У меня свой душенька ушел, так я чужого взяла!

– Ну а как муж узнает?

– Пушай его и знает. Мне что! Его дело, не мое!

Я невольно расхохотался этой своеобразной логике.

В прежнее время рабочему здесь все-таки было гораздо хуже. Теперь, если он не является на работу, то теряет свою поденную плату и сверх того платит двадцать пять копеек штрафа, а тогда, теряя плату, он штрафовался вдвое. Если он опоздает, из поденщины вычитывается соответствующая часть; прежде же он не получал ничего и приплачивался еще сверх того пятью копейками. С пришлыми издали плотниками и каменщиками обходятся получше. Эти – из Владимирской губернии и подчинены своим подрядчикам, тем не менее и владимирцы не уносят домой ничего, а вся выгода достается подрядчику. Последний, получая на рабочего восемьдесят рублей, уплачивает ему только пятьдесят рублей. Остальное себе. У рабочего не только не остается ничего, но, напротив, и на следующий год он поневоле должен закабалиться к подрядчику, иначе ему не дойти до дому. Владимирцы работают с мая до сентября. Подрядчики являются жадными до безобразия. Тут уже штрафы без удержу, по пять рублей за сутки сдувают.

– Разве луньевская администрация не могла бы бороться с подрядчиками?

– А какое ей дело! Нанимается не артель. Подрядчик берется сделать то-то и то-то. А уж там платит ли он или не платит – его дело. Лишь бы работа была исполнена. Чему вы удивляетесь? Это он хорошему рабочему пятьдесят рублей даст, тому, кем он дорожит; а остальным, с которыми не церемонится, из полученных восьмидесяти рублей отпустит двадцать пять или двадцать, да и то еще обсчитать норовит. Подлецы порядочные! Здесь один подрядчик своего родного отца обсчитал. Отец к нему в рабочие пошел.

По всему району Александровского завода и Луньевских копей ассигновано было при мне на годовую затрату восемьсот тринадцать тысяч рублей. На эти деньги при постановке начала дела, разумеется, нельзя было разъехаться слишком широко. Поневоле сжимались, где могли, и сокращали расходы даже и на мелочах. И всюду, и везде, как бы национально ни ставилось дело, какими бы новизнами оно ни прикрывалось, каких бы школ ни устраивали хозяева и сколько бы они пенсионов ни выдавали тем, кому удастся выжить в этой страшной обстановке заводского и рудничного труда, всегда и везде положение тружеников являлось в полном смысле слова ужасным. Я положительно не вижу, где же разница между подрядчиком, притесняющим свою артель, заводчиком, у которого рабочие тоже в черном теле, и хозяином копи, высасывающим последние жизненные соки у своих рудокопов. Ведь, в сущности, как страшно это совершенно спокойное и равнодушное суждение:

– На мокрых работах может выстоять лет пять, не больше.

– А потом? Потом собакам бросить, что ли?

## XXIX. Нашествие иноплеменных. – Французский год

Невдалеке от Луневки находился когда-то громадный Александровский завод, как и вся эта местность, принадлежавший Всеволожским. Безумства прежних представителей этой фамилии были таковы, что колоссальные богатства их истощились очень быстро, не только разорив хозяев (от этого никому не было бы ни тепло ни холодно), но доведя и местное население до самого страшного экономического положения. Едва ли найдется на Урале другой род, о котором здесь ходили бы такие чудовищные рассказы. Трудно придумать какое-нибудь чудачество, какое бы в свое время не сделали Всеволожские. Лучшие из них убивали всю свою деятельность на беспрестанные споры с соседями. Так, с одними Лазаревыми у них неумоимо шла самая беспощадная война. Друг друга они травили, взаимно устраивали всевозможные реприманды, казнили: всеволожские – лазаревских подданных, лазаревские – всеволожских. Работники тех и других точно вели одни противу других подземную минную войну. Сталкиваясь таким образом в шурфах, они с кайлами и кирками бросались в тяжелом мраке шахт партия на партию. Лампочки и свечи скоро тухли. Работорцы не знали, кого они бьют, своих или чужих. Случалось, что на поле брани оставался не один труп, а несколько. Всё это сходило с рук. Лазаревы заявляли даже претензии на землю Александровского завода, но Всеволожские весьма остроумно доказали, что вся эта дача принадлежит им. В те времена существовал обычай, по которому земля считалась того, кто прежде на ней поселится. Всеволожские стали переносить в лесные захолустья, в трущобы, от века не слышавшие людского голоса, ветхие избы из деревень и селили в них крепостных крестьян. Иначе и при помощи своих документов они ничего бы не добились. Лазаревы проделывали то же самое. Таким образом, избы той и другой стороны переносились с места на место, и сообразно этому решались дела в пользу одного из противников.

– Сколько людей они побиили, страсть! – рассказывал мне старик-крестьянин.

– В лесу?

– Да! В самом дремучем. Поди там, ищи! Идет одна партия с избой, сталкивается с другою. Слово за словом, ну и пойдет побоище. Сначала в рукопашную, а там и дубье в ход. Мой дед убит был так. Потом и тела не нашли. Спрятали, чтобы не отвечать. За такие дела и богатства их все прахом пошли!

Около Сивинского села Оханского уезда есть лес верст на двенадцать. Он огорожен. Там всякое зверье плодится, кишмя кишит. Посреди этого леса дом громадный. «На триста комнат поставлен», – рассказывают здесь. Бревна стойком торчат. Кровля не докончена.

Сквозь пустые окна ветер свободно разгуливает внутри, среди царствующего там запустения. Один из Всеволожских явился сюда как-то на охоту. Зимой подняли ему медведя. Сошелся народ, чтобы провести дорогу. Сначала сгребли снег, потом вырубил просеку на восемь верст. В это время медведь ушел. Нашли другую берлогу. В конце концов последовала резолюция:

– Не иначе поеду, как в собственном возке, запряженном четверкою коней.

Устроили ему и это удовольствие, истратив кучу денег, и в конце концов вытащили из берлоги какого-то щенка, так что Всеволожский только плюнул. Заготовленные для охоты разрывные пули расстреляли в бутылки да в шапки и вернулись домой.

Прежде тут всего бывало: и гаремы держали, и людей на морозе обливали водой, и исправников благополучно секли – по программе, которая исполнялась и другими владельцами тех «рыцарских» времен. Этим феодалам нужно было особенное счастье, чтобы не разориться. Раз, например, из Перми прислали какому-то Всеволожскому шампанского, ему оно не понравилось. Он и давай свое делать. Сотни тысяч убухал в это дело и не только сам свою буру пил, но и других заставлял ею отравливаться. Чем страннее его один пермский купец, который до того очумел от богатства, что вздумал у себя на чистом воздухе тропические рощи разводить. Другой, из местных заводских, вздумал приручать медведей. Занялся этим делом – приручил. Вырос мишка, шалить стал. Мишку отодрали. Мишка искусал палачей. Так как последними были простые мужики, то зверю это в вину не поставили. Попробовав человеческой крови, зверь и самого барина как-то царапнул. Ну тогда нарядили суд. Созвал своих соседей заводчик, те съехались. Назначили судью, членов, докладчика, секретаря, как следует. Стали медведя судить, причем подсудимый был в заседание доставлен в цепях. Приговорили повесить. Стали вешать, мишка вырвался. Жандармов, т. е. тех, которые играли эту роль, перепороли. Вторично приступили к обряду публичной казни – веревка оборвалась. Потом обломилась перекладина. Всякий раз находили виновных в неисправности и пороли. К вечеру поставили новую виселицу. В это время невежественному заводчику пришла новая счастливая мысль:

– Как же мы это без христианского напутствия?

А выпито было порядочно. Идея понравилась, послали за попом. Поп явился.

– Вы с ума сошли! Ведь за это...

– Ну так выбирай, что хочешь: или самого повесим, или напутствуй. За согласие сто рублей.

Подумал-подумал священник. Для убедительности его подвели под виселицу и петлю на него надели. Нашел, что сто рублей лучше.

Преступник всё это время сосал себе лапу. Пришла наконец его очередь. Секретарь прочел опять приговор, два раза стреляли из ружей. Воображая, что это обычное торжество, мишка пустился плясать на задних лапах. Не помогло! На этот раз его таки повесили и потом, когда нарочно заранее выписанный из Екатеринбурга ученый врач удостоверил его смерть, тело медведя предали погребению.

Таких шуток Всеволожские, разумеется, не шутили, но были, впрочем, не далеко от них.

Дела их пошатнулись. С целью их поправить Всеволожские взяли полтора миллиона из сохранный казны. Казалось, тут-то они и разовьют деятельность! Но с деньгами в кармане замураваться в Уральское захолустье они не захотели, всё это богатство спустили в Баден-Бадене. Через несколько времени оказалось, что они не могут уплачивать даже процентов по занятому

капиталу, и имение было взято в опекуновское управление. Такой порядок длился до уничтожения крепостного права. Крестьяне кормились с грехом пополам, но настоящей нищеты не было. Заводы уменьшили несколько свое производство, но не закрывались совсем. Домны дымились, железо и чугун вырабатывались и в свое время скупались разными кулаками; кое-что перепало и Всеволожским. В 1860 году продолжать такие порядки оказалось невозможным; они обратились за помощью к компании французских и бельгийских банкиров. Сюда управлять делом явился некто Жюль Пик; под его руководством оно еще пуще расшаталось; в конце концов он разорился дотла, попал в тюрьму и умер в ней.

Тут-то и наступил знаменитый французский год, о котором с ужасом вспоминает всё население этого края.

Бельгийцы налетели сюда еще ранее, но при Жюле Пике не осмеливались ничего делать; теперь же они принялись расхищать всё, что можно было расхитить. Приглашая эту компанию, Всеволожские думали отделаться от опеки, чего они и достигли; но из чистилища они попали прямо в ад. Компания, взявшаяся уплатить частные и казенные долги их, ураганом ворвалась в заводы, которые были в это время похожи на средневековые города, отданные на грабеж остервеневшим солдатам Тилли. Всё, что только могло быть продано, бельгийцы продали. Не работали, а просто грабили. Какая-то оргия началась здесь. Стали снимать чугунные полы, устои под водопроводными трубами, чугунные лестницы. Короче – весь чугун, даже заслонки с печей, всё, что только возможно переделать в железо. Вытаскивали с этою целью связи, сдирали с крыш железные листы, снимали с дверей скобки и сами двери сжигали вместо дров в печах. Балки, кровли пошли туда же; завод оказался без крыши. Работали в одних стенах, под открытым небом. Приступили наконец... К чему бы вы думали?.. К съёмке чугунного пола в церкви и сдиранию всего железа оттуда, да священник забил тревогу, вмешалась власть и помешала бельгийцам, хотя те уже за колокола было принялись. Делали всё в долг, не платя никому ни копейки. Задолжали всем: дроворубам, угольщикам, рабочим, подрядчикам, возчикам, служащим в конторе. Не было такого мальчугана или девчонки, которым они не были бы должны заработанных денег. До сих пор живут еще рабочие, которые таких долгов за компанию считают шестьдесят тысяч рублей; есть такие, коим приходится по семьсот рублей в одни руки. Крестьяне ходили как помешанные, пить с горя начали, пока было на что, потом и есть-то приходилось редко в досталь. Дошли до того, что столы и мебель конторы и оставленные почему-нибудь постройки были сожжены в домне.

Оргия разгоралась всё больше и больше, разорение всё усиливалось и усиливалось. Между рабочими начались самоубийства. Наконец бельгийцы уперлись в стену. Все леса кругом были проданы, всё дерево на заводе сожжено, все железные и чугунные части переплавлены и распроданы. В одно прекрасное утро Луэст и другие бельгийцы, члены компании, сели в свои кареты и... поминай как звали! Только их и видели. Было обобрано всё, остались одни развалины. Оказалось, что вместе с нашими крестьянами поплавились и несчастные соотечественники этих воров – инженеры и механики,

приглашенные ими для работы на заводе, и мастера, привезенные из Франции. Уже наше правительство на свой счет отправило всех их на родину. Дела запутались так, что кредиторам и рабочим оказалось искать не с кого. Ответчиков не было, а если и были, то сумели спрятаться.

Так кончился французский год и началось мамаево разорение.

Французским годом эту эпоху называли местные крестьяне. Они до того обеднели, что принуждены были продать всё, чтобы прокормиться. Как на запущенную и истощенную ниву налетает всякий зловредный жук, наползает всякая червивая гадь, так и сюда напоззли кулаки и скупщики. Сняли всё с мужиков. Проев последнее, эти сами принялись за грабеж. С голоду повсеместное воровство, как круг по воде, пошло, раздвигая свои границы. Выходило так: на одной стороне караулят, а на другой – тащут; станут караулить там – тащут здесь. Ели рябину вместо хлеба. Продавали заслонки из печей, стекла из окон, уцелевшие балки с избы. Сами избы рубили на дрова. Всё скупал Кропачев, за бесценок разумеется. Этот, несмотря на молодость, был уже знаменитый кулак. Когда всё было распродано и съедено, начали примирать с голоду; тогда, к счастью, опомнились пермские администраторы и из продовольственного по губернии капитала была оказана населению помощь в виде ссуды.

– Иначе всё бы примерло. Воровать нечего было, и рябину всю пожрали.

Нашествие иноплеменных так памятно до сих пор, что крестьянство повело его в эру для летосчисления. «Это случилось до французского года, это было после французского года», – говорят они. С тех пор ко всему здесь недоверие полное; наделов не берут, добровольных соглашений не хотят. Заводы взяли снова в опеку, и железо стало продаваться вперед, на корню, контрагентам Любимову и Кропачеву; те давали деньги, и завод стал работать на них по баснословно дешевой цене. Брат этого Кропачева открыл здесь лавку. Управитель и члены заводской администрации служили не опеке, а Кропачеву. В конце месяца рабочие просят денег, им не дают.

– Берите, что нужно, припасами у Кропачева; у нас денег нет, не прислали еще.

И рабочие должны были брать скверный товар против соседних лавок по тройным ценам. Рабочие деньги из конторы получал уже Кропачев-брат, иногда и раньше, прямо из опекунского учреждения, – раньше, чем они были заработаны, а следовательно, и прежде забора. Это тянулось до 1873 года, когда устроилось нынешнее товарищество для эксплуатации Луньевских копей и Александровского завода.

Рабочие настолько были забиты крепостным правом, французским годом и опекунским советом, что не смели даже жаловаться. Наконец как-то сошлись, выбрали ходоков просить разрешения переселиться за Урал или в Оренбургскую губернию. Двум первым семьям было разрешено; это и остальных осмелило. Когда просьбы были заявлены от всей массы, власти всполошились и запретили. Так рабочие и остались привинченными к голодному месту. И пошло еще пуще разорение, да, слава Богу, товарищество выручило.

И от этого населения, измученного, истерзанного, униженного во всем, еще требуют нравственности; удивляются, что мужик ворует, а баба продает

себя. Да как же не воровать и не торговать телом при таких условиях? За нож взяться, что ли?

О Кропачеве рассказывают много смешного.

Придет, бывало, на завод с супругою, сядет против доменной печи в приличном расстоянии и блаженствует.

– Всё это наше! Теперь и завод, и железо, и люди – наши! Прежде мы у Всеволожских крепостными были, а теперь они у меня под рукою. Что хочу, то и сделаю. Накланяются, узнают! Захочу – помилую, захочу – нет!

– Не милуй их, зачем миловать! – вступается супруга.

– Я еще им покажу себя!

– Покажи, покажи, батюшка! – умиляется та.

У Кропачева на бланках даже было изображено: «Потомственный, почетный гражданин, пермской 1-й гильдии купец и кавалер орденов». Жена его всюду возила и всем показывала телеграмму мужа, из Питера, краткую, но выразительную: «удостоился обедать с министрами». У него контора; служащие в ней страшно забиты. Отец у него всё церкви строил, старые грехи отмаливая; но до смерти оставался самодуром. Раз надел ризы и служил, а крестьяне целовали ему руку и Евангелие. Налетел исправник, но с опаскою, потому что станowych Кропачев секал. Исправник пригрозил судом.

– Под суд? Чего под суд, зачем под суд? Помилуй! Я ведь сам купил ризы да крест. Если осквернил по-твоему, так новые куплю...

И вышел сух из воды.

И умер-то он от собственной дури. Скряжничал. Сам на возах с товаром поехал. На обледенелом мосту упал, его и придавило возом.

Влияния Всеволожских, опекунского совета, французского года и кропачевского побоища до сих пор оставили здесь свой след.

### XXX. Александровский завод

Теперь здесь всё идет иначе. Крестьянство с голода не мрет, хотя, разумеется, и сыто не бывает. Товарищество расходует свои деньги экономно и, как оно само выражается, «филантропией заниматься не считает нужным». Целые поколения приносят свою кровь и пот, свою жизнь и молодость в жертву за хлеб насущный, и только за хлеб. В самом деле, как в сущности страшно это существование, где всё сосредоточено на одном вопросе: умрешь с голоду или нет? Порою это разнообразится другим: заплатишь недоимку или нет? Питаясь акридами и не помышляя о диком меде, мужики только один месяц в году живут несколько иначе. Покосы, дни и ночи проводимые на открытом воздухе, после душных заводских работ или смрадных копей несколько ярче освещают это бедное существование, дают ему, хотя ненадолго, радужные краски, которых в течение остальных одиннадцати месяцев в году оно лишено совсем.

На завод я отправился на следующий день утром. Товарищество кое-как починило завод, положило заплаты на дыря и лохмотья, оставшиеся после французского года. Оно же ввело здесь и некоторые усовершенствования.



Так, еловый и сосновый уголь готовится в лесу рабочими, но березовый обжигается в углетомительных печах; устроенных в самом заводе. В лесу, при обыкновенном способе, из ста частей дерева выходит пятьдесят частей угля, а здесь из ста – оказывается восемьдесят. Длинные кирпичные печи работают отлично. Сначала они открыты и дрова там горят, как и везде; потом, дав им разойтись, когда пламя уже велико, отверстие герметически запирают, и дерево от жару обугливается всё. Завод съедает пять тысяч кубических сажен дров в год. Шесть громадных здешних печей в состоянии дать до ста кубических сажен в месяц; таким образом, одних березовых дров уходит до тысячи двухсот сажен. В доменной печи горит розовое пламя вверх, рабочие обтянуты в черную толстую кожу. Те же картины, что и на Кизеловском заводе; те же вспотевшие люди, до измору дотолкавшиеся у этой геенны огненной; те же, точно в чем-то размоченные и распаренные бабы... Куда ни взглянешь, везде следы французского года; как ни старательно товарищество кладет свои заплаты, недавнее разорение смотрит на вас сквозь тысячи дыр. Одной доменной печи нет, она развалилась совсем, да и кровли везде содранны. Одни редкие балки торчат вверх, точно волки ободрали шкуру с падали, объели мясо, и костяк торчит один, сиротливо подымая вверх голые ребра. По полу, вверх, нужно ходить с величайшей осторожностью – везде провалы; свалишься с высоты почти пяти этажей и, пожалуй, прямо в расплавленный чугун внизу угодишь... Вон рабочие, крихтя, тащат короб с углем и сбросили его в домну; пламя вскинулось вверх, с целою массою искр. По краям приготовлена руда, с известковым камнем. Ее сталкивают внутрь, в пламя, и отворачивают лица, потому что иначе придется дышать огнем.

Какое ужасное выражение у одного рабочего из тех, что сбрасывает руду в домну... Совсем автомат; только в каменных чертах этого автомата так и закаменело выражение одной вечной, неизменной муки. Окончит он у домны – бежит к обжигательной печи, а там опять к домне. Так в чертах этого лица и читаешь и французское разорение, и кропачевский грабеж!

– Теперь, слава Богу! – шепчет он (голосу давно нет). – Теперь чудесно... Теперь пятьдесят копеек в день!

А глаза и застывшая в каждом мускуле лица мука противоречат и этому «слава Богу», и этому «чудесно». Он как-то и смотрит исподлобья, точно сослепу, и видит плохо; глаза воспалены от зноя, больно им, слеза их то и дело точит. Тело – скелет, обтянутый какой-то синевой, точно гнилой, кожей. А ведь молод, всего тридцать лет человеку... Губы синие-синие тоже, свело их. Грудь совсем ввалилась, ямой какою-то стала.

– Отчего это у всех рабочих здесь бороды такие жидкие да чахлые? – спросил я и сам сконфузился. «Что за глупый вопрос», – думаю.

– Вы это кстати. Знаете ли, что у кричных рабочих, например в Кыну, борода не растет: вообще у тех, которые при переделке чугуна в железо находятся, – ни усы, ни борода не распушатся. Так, редкий волосок пробьется. Жара ведь неимоверная!

Внизу мы опять любовались на золотые звезды, которые раскидывал кругом чугун.

– Вы, однако, не очень близко наслаждайтесь, – предупредили меня.

– А что?

– Когда из домны течет чугун, он, встретив воду, разбрасывает металлические брызги такой силы, что они иногда пробивают высокую кровлю здания. Это тоже опасно. У нас есть такие, которые ослепли от этого.

Спектакль становился опасным и, разумеется, только выигрывал от этого. Здесь ежедневно выплавляют чугуна от трехсот пятидесяти до пятисот пудов, причем на сто пудов руды получается до сорока процентов металла. Я его назвал как-то железом, мой спутник засмеялся и поправил меня:

– Это чугун, его еще надобно сварить в железо. Вы не специалист и не мудрено вам ошибиться; а то из Петербурга к нам наезжают мундирные металлурги, так вы бы на них посмотрели. Напыжится, важности на себя напустит, страшно подойти к нему даже, а ведь железа от чугуна отличить не может... Какое железо от чугуна! Мы выпустили сплав из домны... Он вдруг и спрашивает: «Сколько вы бросили чугуна в домну, чтобы получить это железо?» – «Мы, – говорим, – руду бросаем!» Он снисходительно улыбнулся и, знаете, этак с высокомерием: «Что ж, вы хотите меня уверить, что прямо из руды железо плавите?» – «Да это не железо, а чугун». – «Чугун? – покраснел сам. – Скажите, какой красивый, говорит... Горячий?» А чего горячий, когда от него адом пышет. Мы уж смеялись, смеялись потом... Хвост поджал и таким ласковым да мяконьким стал! Потом, читаем в газетах, в технических обществах доклады делал! Еще какие бывали! Один, тоже чиновник, специалист по минералогии, являлся сюда; можете себе представить, что ему разноцветные, красивые шлаки выдавали за малахит и яшму. Он верил по простоте души!.. Совсем агнцы!

При заводе теперь находится громадная механическая мастерская. Всякого рода аппараты могут готовиться здесь; между прочим, еще недавно отсюда вышел пароход «Гарибальди» для реки Камы. Ни одного настоящего механика нет. Всё строят простые рабочие, присмотревшиеся к делу у немца в Пожве и теперь орудующие здесь за какие-нибудь тридцать рублей в месяц. Умные лица этих талантливых людей производят чрезвычайно приятное впечатление.

– Мы сначала чертить научились, а потом и сами искушаться стали.

И искушаются прекрасно, нужно им отдать справедливость.

– Они до чего насобачились, – рассказывают нам. – Ученый механик упрется в новый чертеж лбом и ничего понять не может, что за машина? Сейчас: «Иван!» Является Иван. – «Пособи-ка, что это за штука?» – Посмотрит-посмотрит и разъяснит. С лёту понимают. Их у нас много таких-то!

Подобные явления, такие Иваны, на Руси не редки. Нет талантливее и в то же время нет несчастнее этих людей. Никакого исхода, никакого простора для применения своих богатых сил и способностей. Разве не такие же Иваны попадались мне в Соловках, на Валааме, в Святых горах? Там, только под монашескою рясою, они получили возможность работать. И какие дивные вещи стали создавать они! «Нет людей, нет людей!» У нас это принятый крик. Нет людей! Разумеется нет, если вы их станете по Большой Морской да по Невскому искать. Они есть, и их много; но они теперь не пойдут к вам, да и сами вы их не найдете, не так у вас мозги построены. Понадобится, явятся

иные порядки – и такие Иваны сотнями придут к нам на помощь. Эти Иваны не в одном лишь образе рабочего представляются мне, это общий тип деловых и серьезных людей. Только теперь они отплевываются от вас, не хотят вместе с вами делать ничего; слишком хорошо присмотрелись они к питерскому официальному миру. Люди с развитым обонянием бегут от чиновника, в каком бы он высоком чине ни находился.

При мне Александровский завод еще только восстанавливался, и на первых порах не очень быстро. Управляющий всем этим участком, Грасгоф, рассчитывал тогда именно пустить его в ход как следует, когда железная дорога (горнозаводская) приблизит кушвинский район к этому и даст возможность вдоволь получать оттуда железо для Александровских механических мастерских.

– Тогда мы станем и железо колбасить на рельсы, пароходы строить в большом виде, и машины всякие выпускать сотнями. А до тех пор не из чего.

Вообще рабочие, занимающиеся в механической мастерской, являются уже гораздо более развитыми, чем остальные. Они очень много читают; и не одну беллетристику, газеты для них делаются потребностью. Здесь, например, в механической мастерской целые спектакли ставят, и часто. Недавно играли «Женитьбу» Гоголя, «Доходное место» Островского, «К мировому» В. Александрова. Вообще же, в большом ходу здесь репертуар Островского. Нет такой пьесы его, которая бы здесь не была поставлена. По общим отзывам, играют отчетливо и толково.

Зрителями являются администрация и рабочие со всего завода. Бывает человек по полтора ста. Я подобный пример видел только в холмогорских селах; там тоже крестьяне ставят спектакли, и также очень недурно.

– У нас театр стал очень прививаться.

– Одного не могу понять, как те же рабочие, которых я видел на копях, могут играть на сцене?

– Те совсем другие. У нас из механической. Вообще, между рудокопами и заводскими разница большая. Вы посмотрите-ка, как у нас рабочие читают. А в копях и грамотных-то не найдешь.

Потом мне самому пришлось встретить не раз между заводскими мастеровыми людьми в высшей степени образованных и живущих по-человечески. Один, например, о Герберте Спенсере заговорил, да так, что я, как щедринский Феденька Кротиков, только рот разинул. Другой спросил меня по поводу новой книги Смайльса. Большинство таких вышло из бывших строгановских крестьян. Вот, например, история одного из них. Отец – бедняк-мастеровой, и крепостной притом. Мальчик отличался удивительными способностями и рано понял, что на семью рассчитывать нечего. Он отлично учился в приходской школе. Это заметил Петр Сосипатович Шарин, ученик Вейсбаха в Фрейбурге. Шарин считался на Урале звездой первой величины. Он был прекрасный ученый, но о гуманности и понятия не имел, потому что в те жестокие времена о ней еще и слыхано не было. Граф Строганов тогда многих воспитывал на свой счет, сотни – в уездных училищах, десятки – в гимназиях и университетах, и все из семей, служивших у него. Больше же всего – в технических школах, в технологическом институте. Шарин и мальчика

Воеводина, о котором я рассказываю, отправил в Пермское уездное училище на счет Строганова; но, как сын простого рабочего, он дальше идти не мог и, окончив школу первым, должен был вернуться в Билимбаевский завод, помогать учителю местной школы. Прожил он три года, продолжая работать в местной библиотеке. В Билимбаевской школе преподавать было трудно по недостатку учебных пособий. Старший педагог был отъявленный пьяница и невежда и только мешал делу. Поэтому ребятишек приходилось учить читать по таким книгам, как, например, «Инструкция уральского горнозаводского правления», «Горный журнал» и т. д. В качестве помощника Воеводин не мог сделать ничего и совсем охладел к делу. Свободного времени у него оказалось много, и он напустился на чтение; всё подряд глотал: и Лессинга, и Дюма, и Гегеля, и Поля де Кока. Сознание безвыходности своего положения росло; оставаясь в разряде мастеровых, Воеводин не мог пойти далее, а желание было пламенное. Пока еще найдутся средства к этому, он начал готовиться сам; выписал самоучителей по разным языкам, засел за работу, проглотил гимназические учебники очень быстро и год спустя был уже готов к экзамену в пятый класс. Теперь нужно было выйти из мастеровых и взять увольнительное свидетельство от общества. Собрался сход.

– Лучшие люди относились ко мне недружелюбно, с завистью, – рассказывал он, – и на сходе это сейчас же выразилось насмешками.

– Ладно. Посиди у нас, пожуй нашего хлеба! Ровно бы тебе еще рано в чиновники.

– У тебя и родители-то на наших глазах росли, ничем не лучше нас были. Словно бы и неладно нам под тобою быть. Поучить бы тебя следовало, по нашему, по мастеровскому обычаю. Дурь из тебя выгнать.

– Чем наши дети хуже? Почему они оставаться должны, а этот уйдет?

– Экая распута пошла! Все от дела лыняют.

Волостной писарь был в Билимбае поэт. Стихи сочинял а-ля Некрасов, писал корреспонденции в газеты и пил мертвую. Он особенно против Воеводина восстал. И несчастному юноше решительно отказали. Пришлось оставаться мастеровым. Продолжаю уже рассказом самого Воеводина, испытавшего эту горькую участь.

– Тут мне удалось сойтись с человеком, о котором и до сих пор я не могу вспомнить без слез. Был он просто-напросто этапным офицером, арестантов конвоировал. Светлая душа, добрая! Молодежь на заводе, даже и образованная, гульбою да пьянством занималась – на крепостной почве выросла, сама под кнутом была. Обыкновенно на заводе собирались к Баранкову (так звали этапного офицера). Сначала музыка шла, он – на скрипке, другие – на иных инструментах; а после музыки – за водку, да как – в лоск! Опротивела ему служба, вечный лязг цепей, бритые головы, унижение человека, отмеченного бубновым тузом да серым халатом – уехали мы в Екатеринбург. Там, под влиянием чтения и работы, совсем переродились. Случалось только четыре часа в сутки спать, всё остальное время занимались. Сначала были средства у Баранкова, потом у меня нашлись уроки. Прислуги не полагалось. Бывало я читаю вслух, а Баранков сочень сеет либо мясо варит. Потом, чтобы не отвлекаться от дела, стали мы ходить есть в обжорный ряд. Печенкою пита-

лись. А время-то было, сами знаете какое – шестьдесят третий год; вся гадь, что до тех пор была, в щели попряталась, выползла и откровенно засмердела. Мы обратили на себя внимание. Как-де читают люди? Как простой мастеровой смеет за такое занятие браться – детей учить? Кажется, жили мы смирно, никого не трогали, а стряслась беда над нами великая – донос. Доносу веру дали. Баранков и теперь далече; а меня по этапу, в кандалах, как простого мастерового, в завод. Заклевали меня тогда дома. – «Что, ученый, выходил? Больно рано учение кончил; ишь ты, какое ему начальство отличие сделало, бубенцы по ручкам да ножкам привесило!» Проходу не было. Тоска меня одолела страшная. Деваться некуда. Не по силам наперекор своим идти; всё же связь свою с ними чувствуешь; хочется им принести хоть чуточку пользы. Вы не поверите, как в иную пору к своим тянет; плюнул бы на всё, да в сермяжное царство и ушел. В университет дороги не стало, бросил я книги; в конторские холуи идти было противно, ну и пошел на завод простым рабочим. Мальчишкой у кричной печи жарился и теперь к той же печи попал. Дело мое было ворочать болванку в огне; бывало всего тебя жжет, брызжет на тебя огнем, иной раз расплавленным шлаком прыснет, а ты себя нарочно моришь, чтобы всю гордыню старую совлечь, чтобы и не думать, на что работал, к чему готовился. Очень тоска одолевала; только работою я и заморил тоску. Чугун в огне ворочаешь – пот с тебя льет; так весь день до вечера; а вечером бросишься на лавку да до утра и проспишь как убитый, а чуть свет опять на работу. Так я себя измором донял, что раз в праздничный день взялся за книгу – и ничего понять не могу, точно я не читывал никогда. С этого времени меня рабочие наши полюбили. Попал я в кричные мастера, стал по полтиннику в день получать, а потом меня надзирателем сделали. Теперь я сам себе хозяин, свое маленькое дело завел.

И таких на Урале масса; это не исключение.

У ворот завода громадный кусок чугуна, сплавившийся в уродливую, но плотную массу.

– Это у нас козел!

– Как козел?

– Так называем! Из-за него, из-за козла, много несчастья бывает – весь завод снести может. У плохих техников и строителей домен образуются во время плавки, загустевшие массы чугуна, как желвак, садятся в домну у самого выхода из нее или в самом выходе. Ну тогда руды выпускать нельзя, нужно дать домне остыть, выломать часть ее у входа и вытащить желваки... Вот эти-то желваки мы и зовем козлами.

– У домны брюхо толстое, пищеварение отличное; уголь, руду и камни варит, а иногда засорит желудок, и стоит машина! Нужно ее лечить; а пока лечат – месяц рабочий без дела!.. Тут осторожность большая нужна...

Я уже говорил о положении рабочих в мокрых копиях и рудниках; на заводах оно несколько лучше, но далеко от того, чтобы признать его хорошим. Как труд этот отзывается на здоровье работников, видно из того, что в 1874 году, например, на двадцать три вдовца приходилась здесь сто сорок одна вдова – это в одном Александровском заводе. В том же году на шестьдесят родившихся мальчиков пришлось шестьдесят четыре умерших мужчины,

а в 1873-м на шестьдесят четыре родившихся – шестьдесят семь умерших. У женщин это отношение между умершими и родившимися в пользу последних.

Всего на заводе одна тысяча девяносто восемь мужчин и она тысяча двести тридцать шесть женщин. Больше всего смертности в разгаре работы. Взрослые мрут от чахотки, дети – от горячки и худой пищи. От старости – очень мало, потому что здесь до нее редко доживают.

### XXXI. Шабурное – завод голодный

Нечто вроде французского года я встретил в селе Шабурном.

– Мы уж в аду. Хуже не будет! – говорят здесь крестьяне.

И подлинно, во всю мою жизнь я ужаснее уголка не видел. Это действительно нечто потрясающее. В полном смысле слова. Завод бездействует; ни одна домна не топится, печи – холодные уже давным давно. По полам завода грибы торчат, на стенах лишай пошел. Население без хлеба. Скот съеден давно; что может быть продано – продано. Хлеб не сеют, потому что, во-первых, не на чем, а второе – нечем!

По окраинам еще кое-где овес да ячмень поднялись; но их ранний мороз убил, как я узнал потом. Самые счастливые нашли жалкий заработок в Александровском и в Луньевке, но это из самых сильных и молодых. Старики, женщины и дети буквально мрут с голоду. Источников никаких. В этом-то безвыходном положении они должны еще за всё платить: за усадьбу, за землю, которую не засевают и которая бесплодна вовсе, подушные сборы, земские подати. За лыко, за мочало – за всё берут с них. Летом еще пиканами и пистиками живут. Что будет зимою – ужасно и подумать! Кому удастся заработать в неделю семьдесят копеек по окрестным заводам – тот наверху блаженства. Купит пуд муки, кормится сам и кормит свою семью. Есть такие, которые под влиянием тоски, голода ходят как помешанные или совсем оскотинились, кидаются на всякую падаль, собак переели всех. Что с этим несчастным народом кулаки делают – и подумать страшно! Есть такие, что весною ушли с караваном на сплав. Но кулаки их надули, не заплатили ни копейки, и несчастные голодными вернулись к голодным семьям. На переселение согласны – но всем миром. А поголовно сделать этого нельзя, потому что административных тонкостей тьма тьмущая, тем более что владельцы, которым крестьяне обязаны своим разорением, не теряют надежду восстановить заводы и всячески тормозят самую возможность эмиграции... Помещики здесь, как моровая язва, прошли по краю. Вообще у них, у Демидова-Ревдинского и Сергинского, крестьянство – голь невозможная. Демидов, например, построил дворец в Ревде и запрещал... мычать коровам там, где он. Он некоторое время был полицмейстером в Москве и вводил здесь свои порядки: коровам не мычать, собакам не лаять... Иначе хозяева ответствовали, и притом жестоко. Тюрмы и прочее тоже существовали...

Я не мог без тоски видеть это Шабурное!



Картина разрушения, которую в назидание потомству следовало бы передать на полотне. Пустота, разобранные дворы, заколоченные окна, сиротеющие овины и риги, тишина кладбища – на улицах. Жалкая церковь и пьяный с горя священник, у которого рожу разнесло от запоя во все стороны. То и дело что теряет крест, уплачивая каждый раз нашедшему двадцать копеек... Всё облупилось, всё поносилося. Дома, как пьяные, шатаются во все стороны или стоят, опершись на балки, как дряхлая калика переходящая на клюку. Народу мало, и тот ходит всё помутившийся...

– Помирать бы, братцы, пора!.. – говорит один.

– То беда, что помираем тихо.

– Сразу бы!..

– А то изо дня в день мнет тебя нужда лютая!..

– Детки, детки!.. Кто вас управит! – стонет мать, глядя на детей.

Вечером весь скот должен быть дома; но ничего не видать, потому что даже последняя телушка съедена либо продана. Хотели заставить хлеб сеять, но царапать камень не очень повадно. Местного хлеба в лучшее время не хватит даже на полмесяца. Из двух тысяч жителей Александровского завода, например, если пятнадцать душ занимаются хлебопашеством, так и то хорошо. Высевают ячменя от сорока до пятидесяти пудов и в большой урожай собирают пудов двести – двести пятьдесят.

– Хоть бы в солдаты взяли! – вздыхают крестьяне.

– А нам-то, бабам, как?

– А помирайте!

– Хороши хозяйева!

– Что же, я те помогу, что ли? Ну, останусь, работа где?

– Все вместе. Дети вон...

Голодный освирепелый мужик только отмахнулся от детей.

В другом месте мать вышла, толкнула детей вперед и на колени сама.

– Хлеба исть... – бормочут дети.

А у нее уж и слез нет. Только смотрит на меня большими глазами. Какой карой можно отплатить за это разорение его виновникам? Где эти деньги, что были высосаны с несчастных? Каким подлым француженкам брошены они в бездонные пасти? Уезжая отсюда, я положительно терялся, чем восстановить столь потрясенное население. Ведь оно сразу-то и на работу негоже. Видели вы после голодного года скот, который к весне нечем уже стало кормить. Часть его пала, часть чудом до первой травы уцелела. Посмотрите вы на этот скот, когда его в поле выгонят. Заставить его работать – и думать нечего. Едва он ноги волочит. Облезет весь, язвинами покроеется. Голову на весу ему держать трудно. Пока запрячь, месяца полтора-два ему надо в поле на свежей траве поправиться.

То же самое и крестьяне села Шабурного...

Тройка почтовых лошадей быстро уносила меня отсюда. Когда мы въехали на высокую гору, как ни было тяжело мне, я невольно загляделся на дикое величие окружавшего меня уральского пейзажа. Вон Павдин и Косьвинский камни вырезались на горизонте и стоят, точно два великана, на страже диких лесистых долин. Горы за горами... Луньва вся как на ладони. Так и жди, что

все эти дебрями покрытые горы зелеными волнами покатаются вдаль и унесут с собою людскую тоску и муку в какое-то глубокое, безбрежное, невидимое море. Вот озеро посреди гор мерещится. В бинокль его видно отлично. Извилисто вливаются туда Луньва<sup>10</sup> и Урса, грохот их порогов доносится сюда, к этой вершине.

– Пора, барин, кони застоялись, – торопит меня ямщик.

И опять монотонный звон колокольчика, и опять по сторонам меняется картина за картиной. А солнце уже садится за горы, и золотистый блеск его лижет гребень высокого, могучего, неведомо как уцелевшего леса. Потянуло прохладой. Со дна долин ползет туман; откуда-то слышен грохот падающей с камней воды. Должно быть, в самую темень лесного захолустья схоронился маленький водопад и весело брызжет кругом на тесно обступившие его стены уральских великанов<sup>11</sup>.

**XXXII. Косьва. – Белый Спой и Басеги. –  
Картина Урала. – Как Ермак-волшебник  
людей в камень вогнал. – Золотой  
и железный гвозди. – Реки Няр и Ермачки. –  
Метаморфозы Ермачка разбойного. –  
Лесопильня. – Как Никита Демидов  
потопил бродяг в подземелье**

С первого дня как я попал на Урал, Косьва то и дело дразнила мое воображение.

Вороги лесного царства – оголившие прикамские пустыни – еще не добрались до этой реки, и течет она поэтому среди вековечных и нерушимых сосновых боров, где реже всего можно услышать стук топора и жалобный визг пилы, въедающейся в здоровое и сочное, крепкое, как камень, тело лесного великана. Охота не пораспугала там дикого зверя, и на всей вольной воле ходит он по скатам прикосьвинских гор, по тысячу лет тому назад заснувшим и до сих пор не просыпавшимся ущельям.

Редкими поселками забрались в эту дрему неведомые люди – да словно сами испугались своей смелости и не пошли дальше... К воде теснятся они, пугливо озираясь на вершины сумрачных гор, на сплошные стены старого леса. Живут до сих пор в этих сельбищах сказания о дивной старине, по всему остальному Уралу заглушенные грохотом заводских машин, кипением и шумом не знающего устали труда; поются уже забытые нами песни, не имеющие ничего общего с песнями лакейского культа, всюду занесенными в русскую деревню. Тут, на Косьве, Русь еще стоит на колонизаторской переходной эпохе; она еще не знает, лес ли ее одолеет или она одолеет лес...

<sup>10</sup> Ва – по-пермяцки вода. Отсюда Луньва, Яйва, Лыньва, Косьва, Вильва, Уньва и т. п.

<sup>11</sup> В следующие очерки автора войдет его путь от Перми к Екатеринбург, затем поездка на Демидовские заводы, в Невьянские, Верх-Нейвинский, Тагил и Салду.

На север она протянулась чуть не к Павдинскому камню, обогнула Растёс, и только к югу – на два дня пути от Камы – покрылась большими селами. Тысячи ущелий питают ее своими потоками и речонками, где грохот воды в порогах заглушается стрекотом непуганой дичи, где резкий крик лебедя по зорям и точно жалобный плач кречета в недосыгаемой выси северного неба так и переносят вас во времена ушкуйников и иных добычливых русских людей, уходивших сюда от всякого рода ежовых рукавиц... Сверх того, для любителя природы Косьва дает ряд таких картин, которые, увидев раз, не забудешь никогда. Понятно, с каким удовольствием принял я предложение подняться вверх по этой реке, сделанное мне на Кизеловском заводе.

Оставив вправо от нас реку Полуденный Кизел, мы должны были выехать на устье Няра, впадающего в Косьву.

Дорога шла сначала по лесу, вершины которого были обломаны.

– Ишь, буран у нас как прошел... по верху... Густолесье здесь – вглыбь ему силы не было, а верхи снес.

Путь был ужасен в полном смысле слова. Большую часть его пришлось сделать пешком, потому что тележка становилась по очереди то на одно колесо, то на другое, то передок подымался вверх, обрушивая нас вниз, то кузов наскакивал на какую-нибудь колдобину, и мы сползали на лошадиные хвосты... На каждом шагу, сверх того, трясло немилосердно, так что мы собственными головами испытали прочность железных ободов, к которым был приложен прочный кожаный верх.

Я невольно удивился спокойствию моего спутника.

– Тут, брат, обколотишься!.. По всей округе у нас другого пути нет... Этот вот через лес слажен – корни-то наскрозь дорогу прошли. Тут один из Питера, ваш же, ездил... с «ученой целью». Сказывают, из больших чиновников он.

– Ну?

– Остался доволен. На второй версте вылез из брички, да и лег на дорогу и завыл.

– Завоешь...

– Отчего не выть – вой, когда тебе такая охота пришла... А нам прекрасно, лучше не требуется. По крайности начальство редко к нам лазает. Проведи дорогу-то получше, отбою бы от него не было... А теперь мы за этим лесом как у Христа за пазухой.

Зато все неудобства пути были забыты, когда по крутому и длинному скату мы взобрались на Белый Спой.

Мы долго стояли на вершине его, не решаясь тронуться с места: так велико было очарование открывшихся отсюда далей. Белый Спой на пятьдесят футов выше всех остальных гор этой части Урала. Тремя параллельными волнами, одна за другою, поднимались гряды его на север, сплошь поросшие лесом... Впереди совсем синяя – мрачно хмурилась под нами, чем далее, тем сумрачнее и смутнее казались тона этих гор... За ними – тонкая полоса воздуха, и над ней, как будто на высоте, ничем не связанные с землею, висят резко очерченные сверху, а внизу сливающиеся с этим воздухом силуэты каменных Басегов. Они казались совсем желтыми, правильные и величавые массы их заслоняли от нас еще более далекий север... Басеги на три тысячи

пятьсот футов поднимаются над уровнем моря. Их безлесные гранитные массы так напугали воображение окрестного населения, что оно связывает с ними почти все явления природы. Гроза главным образом рождается на Басегах, там же и ветер спит, пока не проснется... Оттуда идет мороз, ранние холода тоже одолжены Басегам своим существованием.

– Там в камени прежде люди жили!.. – замечает спутник.

– А что?

– До сих пор есть в нем пещеры малые... А эти люди волшебные, клятые... Они доселе в камне хоронятся... Как в пещеру сойдёшь – слышно, промежду собой разговаривают в горе... гу-гу-гу гудят... Их, сказывают, Ермак многое множество побил; остальные заклились и в гору ушли, так в горе и живут...

– И здесь, значит, о Ермаке слышно.

– Там, у Басегов, сказывают про него много. Ишь ты, шел он, Ермак, на Сибирь тремя путями, тремя войсками... Одно войско – мимо Басегов... А там тропа такая промежду двух гор... ее не минуешь. Попало ермаково войско на эту тропу, а волшебные люди сверху-то его и давай камнем бить. Били-били, видит Ермак, не совладать. «Стой, – говорит. – К ним круто, так не пройдешь, пушай же они столько этого самого камню насыплют, чтобы мы до них долезть могли». Ну, стали наши. Сверху волшебные люди слышат ратные крики и всё сыплют камни. Как этого камня навалило довольно – Ермак и повел свою орду.

– Почему же «орду»? – Потому у него в войсках всякого народу и всякого звания довольно было. По воле дрались, где кто хочет... Ордой шли... Дорвался Ермак до волшебных людей и давай их бить. Били-били – до самой до ночи. А ночью волшебные люди все своим колдовством в гору и попрятались. Они это так сделали, чтобы на время, а Ермак видел, сквозь кое место они в камень ушли, да и на этом месте крест и высек. Так волшебные люди за этим крестом и сидят... Крепко!.. Ино слышно: плачут, жалются; ино – так себе, свою молвь дёржут...

– Что же, крест этот до сих пор цел?

– Есть, которые видели... Так и зовется он «Ермаков крест», а камень, что волшебные люди насыпали, – «Ермаков холм»... Так весь он из осколков да из щебня... Сам я видел холм этот промежду двух гор.

Стал было я говорить, что такого факта в истории нет, что Ермак не этим путем в Сибирь шел, – мой спутник оказался тверд умом.

– Много знают ваши ученые, много они видели... Помалкивай уж... Вон они какие – чуть дорога похуже, лягут на брюхо, да что твоя корова мычат... Эдак мало усмотришь!.. Один у нас тоже был... Из Москвы он – так всё пельмени да пироги ел. Поест – поспит, поспит – поест... С тем и уехал.

Дорога круто вниз пошла. Тесно обступили ее ели и сосны... чуть не в лицо хлещут. Кое-где в проемах белые пятна мху... Издали слышен грохот реки в порогах.

– Это Нярок наш шумит...

Когда мы сползли вниз, показалась и эта речонка – красивая, говорливая, перекидывающаяся с камня на камень... Камни с берега прямо поперек течения уступами... Злится и пенится вода, не осиливая их, забрасывает брызгами

зеленые облака лозняка, что спустился к берегу и нижними ветвями своими купается в более спокойных струях. Птичий стрекот кое-где просто глушит.

– Тут иной раз птица тучей идет. Голосу своего не слышно...

По всей окрестности – медведю вольно... Только и рассказов, что тут вот он корову задрал, а там человека попортил... Чем не дикая Африка!.. Ведь медведь-то здешний, пожалуй, посильнее льва будет... Народ тут тоже живет полудикий. Когда владелец ближайших Кизеловских заводов, князь Абамелек-Лазарев, сюда приезжал, косьвяне его встречали везде на коленях.

– И смотреть на него боялись!.. Он им больше царя казался!..

Потом я слышал, что из одного поселка народ даже в лес ударился при одном слухе о близости владельца... Вообще, видимое дело – всякое начальство здесь не особенно долюбливают. Популярностью пользуется пока один господин Новокрещенных, управляющий всеми лазаревскими заводами. Он знает народ, и народ здесь ему верит. От остальных отбивается всеми силами. Про земскую полицию и говорить нечего...

Медведь помнет-помнет, да и пожалеет, а у чиновника на мужика жалости нет... Он с тебя, как с зайца, пять шкур сдерет... Только у нас, слава Богу, сторона глухая. Мы начальство это за редкость видим... За леса от него схоронились и живем.

– Ну и жизнь! – вмешался рабочий, понюхавший цивилизации в Кизеле и в Чёрмозе.

– Чем не жизнь?

– Живете вы, что вошь в овчине...

– Коли вошь сытно живет – так и вше позавидуешь!

Народ здесь действительно диковат. Из-за каких нелепостей возникают в этом краю довольно серьезные неудовольствия, поверить трудно. Вот, например, случившееся недавно в Тагильских заводах. При освобождении крестьян ввели рабочую книжку. Посредник Г., желая понятнее объяснить ее значение, выразился в каком-то селе:

– Прежде вы были прибиты к заводам железным, а теперь будете прибиты золотым гвоздем.

Народ разошелся молча. Вечером стали собираться кучки... а на другой день – формальное волнение... – «Что такое?» Стали доискиваться причины.

– Не хотим золотого гвоздя!.. – в один голос заорала толпа.

И таким образом начался бунт из-за рабочих книжек, который будет нами описан в своем месте.

Дорога опять стала перекидываться с горы на гору... В лощинах гремели потоки, наверху величаво шумели вековые леса. Ближе к Косьве стали попадаться крупные кедры. В пышных иглистых зеленях чернели желваками ореховые шишки. Видимо, здесь было некому обирать их... Старые, прошлогодние – гнили на земле, по которой в мягких проложинах то и дело попадались медвежьи следы. Звериные тропки к воде змеились довольно заметно для глаза посреди этого чернолесья. Изредка, когда мы останавливались, вдали слышалось шуршание и треск сухих сучьев под чьей-то могучей лапой... «Это он шатается», – замечал ямщик, сдерживая коней, пугливо поворачивавших туда головы с насторожившимися ушами.

Некому пока его бить... На работах народ. С одного из последних холмов вдруг словно выросла перед нами вдали темно-синяя, почти черная на сером небе – выше леса стоячего, выше облака ходячего – гора Ослянка. Эта мрачная масса открылась на одну минуту, и ее тотчас же опять заволочло туманом. Проступила и спряталась, кутаясь в свои грозовые тучи. Казалось, приподнялся край занавеси, скрывающей за собою зловещий мир сказочных черных гор и безлюдных пустынь. В течение этой минуты можно было только различить резкие очертания скал, венчающих ее скаты и вершину... Еще полчаса дороги – и новое очарование: просека вниз, долина с разливом Косьвы, расширяющейся здесь в спокойный плес – серебряный щит, брошенный на дно котловины. Крутые массы гор кругом. У берега чуть мерещатся барки... Людей еще не различает на них глаз, не привыкший к этим далям. Опять тучу нанесло. Там, на Урале, то и дело ползают они – серые, затягивающие своим туманом красивые долины... Только и осталось от сейчас виденного пейзажа впечатление ужасных круч, синего леса и идиллически спокойной реки. Впрочем, идиллия тут далеко не феокритова. Я показал моему спутнику на покрасневшую, точно кровью обрызганную листву леса.

– А это у нас пятого июня сильным морозом ударило!..

Грохот воды... Мы спускаемся в долину, где быстрая и красивая река Няр впадает в Косьву. Вода шумит всё больше и больше, наконец внизу мы должны говорить громче, даже кричать, чтобы расслышать один другого чуть-чуть подальше. Долина живописна в высшей степени. Со всех сторон обступили ее крутые лесистые кряжи, огибающие ее отовсюду кольцом, которое распаялось только в одном месте, оставляя на востоке пролет для реки... На западе она прячется в темное ущелье. Куда ни взглянешь – такие же извилистые серые ущелья впадают в эту долину, узкие, темные... Совсем щелями кажутся они отсюда. Мрачно и величаво смотрит Урал, чуть только подальше отойдешь от населенных мест в его заповедную глушь.

Тут уже царство иных былин и сказаний.

О Ермаке на Косьве молчат.

– У нас Ермака не было – Ермачки были. Ермак – он выше ... Он чужой нам совсем, у нас свои Ермачки.

– Что же эти Ермачки делали?

– А тоже всякую чудь воевали... Тут, что червь в гнилом орехе, по разным таинкам да падам чудь всякая жила, ну, наши Ермачки и воевали... Потому здесь как селились они? На чужое место пришли – хозяева и не пускают, ну Ермачки хозяев и воевали... Это, брат, всё тут кровью полито... Ермачки ушли дальше, а по следу отцы наши и деды проявились сюда... Так под себя Пермьское безлюдье это и забрали.

– Сколько же их было, Ермачков?

– Разных много... Одни Ермачки были справедливые, а другие разбойные. Разбойные Ермачки всех грабили – и своих, и чужих. Монастыри раззором зорили, приставов царских гнали... По всему краю лютовали так-то. Ну а которые справедливые, те на одном месте не сидели. Выбьет татарву поганую – и дальше, так по следу ермаковому до Сибири доходили. Вот тут



на губе (у Няря) сидел Ермачок разбойный... У него подальше в горе и пещера была. Оттуда он, что паук на мух, на всякого странного человека кидался... До самой Камы злодействовал, ну только его старец один праведный волком обернул... Шел этот старец от московской неправды в самое Сибирь... Вдолге это опосля Ермака настоящего было. Был на Москве этот старец боярином. По обету пешком шел, а за ним в челнах богатство великое везли, потому он хотел на Павдинском камне обитель поставить. Ну вот, ладно – стал он подыматься по нашей Косьве-реке. До Губахи всё благополучно было, а с Губахи до Няря Ермачок этот действовал. С Ермачком было разного народа, татар и чуди ста полтора... Потому какие разбойные Ермаки – те к себе всякой веры беглых принимали. На ночлеге и напади Ермачок на старца. Не хотел старец человеческой крови даром проливать и говорит Ермачку: «Честь честью поделим караван: половина тебе, половина мне». А у того жадность разгорелась... «Давай всё, – говорит, – или молись Богу – тут тебе и конец будет!» Стал старец с ним драться. Только Ермачкова орда слуг его осиливать начала... Половины не осталось... Тут старец силу свою и показал: «Будь же, – говорит, – ты отныне и навеки проклят. На какой реке лютовал, на той и лютуй, только не супротив людей божьих, а обернися ты со всеми своими присными и разбойными людьми щукой»... Только Ермачка и видели... Не стало ни его, ни рати злодейской!..

– Как же вы говорили, что он его волком.

– А это другая история. Вишь ты, поставил этот старец праведный на Косьве-реке скит свой и стал Богу молиться да всякого рода странных людей к себе перенимать. Пошел он, вдолге после того, на Косьву, на бережок посидеть – тут вся косьвинская рыба к нему из воды... поклонилась старцу!..

– Вона.

– Да! Как – уж не знаю, а только понял старец моление всякой мелкой рыбешки. Пришла, вишь та, жалиться. «С тае поры, как заклил ты Ермачка щукой, житья нам в нашей реке светловодной да чистой нет... Поедом ест нас та щука и некуда нам уйти от нее. Нет ей сыти никогда, сколько ни ест – всё ей мало». Ну, старец и пожалел рыбку... Вызвал это тайным словом щуку со всеми ее щучками – присными, и сказал: «Быть тебе отныне серым волком, а вам волчатами. Потому в реке больше щуки рыбы нет, и ты всех обижаешь, а в лесу над тобой ведмедь будет старшой»... Скинулась щука со щучками волком и волчатами и ударилась в чернолесье наше.

Крестьянство здесь с разных сторон сошлось. Коренного не было. Семьями поселились они и лоцманствуют по Косьве от Троицкого рудника до Губахи. Сообщение по Косьве в полуую воду барками, барки они и водят, теперь же вверх нам пришлось подыматься в утлых душегубках – на шестах... Два гребца – один на носу, другой на корме (в душегубках, скорее, два носа, кормы нет) – передвигают лодку вверх, упираясь шестами в дно речное. Летом лоцманы нанимаются гребцами и считают себя счастливыми, получив за день такого каторжного труда пятьдесят копеек. Остальные работают на лесопильне, устроенной управлением князя Абамелек-Лазарева здесь же, у самого устья Няря. Лесопильня водяная, она распиливает

от восьмидесяти до двухсот сажен дров ежедневно и снабжает ими Чёрмозский завод, стоящий далеко отсюда на реке Каме. Рабочие здесь получают поденщину от двадцати пяти до пятидесяти копеек, причем каждому задается известный урок, который к вечеру он обязан выполнить. Лесное царство вокруг Няра, таким образом, приговорено к истреблению. Уже и теперь топор дроворуба валит оземь столетние великаны, оставляя за собою пустыню... К счастью, все окрестности Косьвы вверх отсюда до истоков совершенно девственны. В их величавой тишине звук топора ни разу еще не нарушал благоговейного раздумья сибирских кедров и лиственниц... Дроворубы в принярские леса нанимаются дешево – на своих харчах за тридцать копеек в день идут. Промышленники и крестьяне в этой долине живут совсем одиноко и замкнуто. В несколько лет раз заглянет кто-нибудь в эту тихую и мирную пустыню, оглашаемую только грохотом реки в порогах да шумом колес водяной пильни. Здесь хотели было устроить волость, и нярцы волновались, не желая этого.

– Мы заугольники... Не хотим... Нам старшину да писаря не надо. Досель этих безобразий не было – жили и без них, слава Богу.

В конце концов, у них не спросят – и выйдет, в конце концов, кавардак. Раз приезжал сюда какой-то чин с бумагой.

– Нам бумаги не надо!.. Нам и без бумаги хорошо... – волновались нярцы. – Ну ее, бумагу.

– Да ведь вы деньги плотите.

– Плотим... Мы согласны... Мы, что следует царю, плотим, пока животы есть.

– Так ведь вам квитанции нужны.

– Мы платить – согласны, а на квитки не согласны.

Так чин и уехал ни с чем. Хотели было их вызвать назад в волость – не пошли... Чем это кончилось без меня – не знаю.

– Обойти нас квитками хотели! – радуются нярцы. – Квитками обязать ладили, да мы на себя запись не взяли... Не примаем мы квитков ихних... С квитками во как влетишь-то!.. Знаем.

Управление заводов Абамелек-Лазарева настаивает на оброчной системе, потому что из заводского рабочего никогда не выйдет хлебопашец.

Народ здесь подвижный; если его сюда прикрепят наделами, а пильню закроят, как хотели, – в этой уральской долине не останется живой души... Соображение это для меня понятно. Владельцам выгоднее оставить землю за собою, чем поделиться ею с крестьянами... Выйдет или не выйдет из заводского крестьянина хлебопашец – а леса-то, поля, реки и всякие иные угоды останутся в цепких руках управления.

Тучи мало-помалу сползали, одну за другой открывая мрачные вершины окрестных гор, угрюмо задумавшихся над этими пустынями. Пока мой спутник условливался с лоцманами, нанимая душегубку для переезда в Троицкий рудник, я отправился в лесопильню. Тут грохотала вода, ворочая громадное маховое колесо, визжали пилы, врезываясь в смолистую белую крепень местного дерева. Работало человек тридцать мужиков и двадцать баб, совсем засыпанных мелкою сосновою трухою. Никто почти не отдыхал; спросил

почему – оказалось, урок слишком велик. Двое рабочих должны выпилить сто сажен дров в день, четверо – двести.

– Тут измаешься!... Тут и поспедать-то часу нет... Уроки большие. За три-то гривенника потом изойдешь!

– Круглый год у вас эта работа?

– Нет. Зимой и весной мы барки строим.

– Куда же это?

– Пустьшом в Губаху сплавляем, а из Губахи вниз их с рудой отправляют в Каму, в Чёрмозский завод. Там руду эту плавят.

Из дальнейшего объяснения можно было заключить, что и постройка барок не особенно выгодна нярским крестьянам.

Завод нанимает их на поставку барок, уплачивая по сто шестьдесят рублей за каждую, причем по камским ценам вся такая барка стоит четыреста пятьдесят рублей. За заготовку леса, за подвоз его к Няру, за распиловку, за оснастку, за самую покупку леса, если на него надо брать билет, завод ничего не платит; не платит и за железо, и за гвозди. Всё это надо поставить из тех же ста шестидесяти рублей, причем длина такой барки не может быть менее двадцати сажен. Выгрузив руду в Чёрмозе, завод, благодаря дешевизне заготовки, может продать такую барку и продает ее по сто восемьдесят пять рублей. Таким образом, не только сплав руды и накладные расходы сводятся к нулю, но еще и незначительный барыш получается управлением. Большую часть этих барок из Чёрмоза отправляют с железом в Нижний, а оттуда, в свою очередь, сплавляют в Казань или вверх по Каме обратно. Какие громадные лесные великаны ложатся под топором дроворуба для этих барок! Хотя лесам вокруг Косьвы и конца-краю нет, но уже предчувствуется то время, когда сюда нагрянет со всех сторон жадное воронье – и последняя сосновая роща сплавится в виде распиленных бревен вниз по Каме... Уцелеют только леса, принадлежащие Абамелек-Лазареву, да и то если заводы Кизеловкий и Чёрмозский обойдутся своими дачами или перейдут на каменный уголь. Сюда уже налетели промышленники, но пока они заняты иным делом: так, для Оханска и других прикамских мест здесь добывается и разрабатывается жерновой камень в участках, арендуемых у Лазарева. Дальше Осы и Сарапула он, впрочем, нейдет. Недавно таким образом у заводского управления один крестьянин взял на разработку целую гору с уплатою тридцати копеек за кубический аршин. Ломает ее он с помощью прикосьвенских мужиков и сплавляет с ними же на плотах для Добрянского завода. За последнее время найдены здесь громады превосходного бутового камня, но пока ими никто не пользуется.

– Хуже нет этого сплаву у нас, – жалуются рабочие.

– А что?

– Страсть что народу по Косье тонет. Весною не глядишь... Стремя здесь ярое, грудью вода бежит... Вдарит в камень – и Бога помянуть не успеешь.

– А выплыть?

– Какой выплывет – пена одна... вода злонравная у нас... Храбро идет... всего тебя о камень исцемит... Тут – будем так говорить – редкая семья, чтобы кто не потоп! Тут как? Где и чистое место, без камению – в полтора часа

тридцать верстов бежит судно, коли не очень грузное... А на перекатах, где вниз сдает, чистая изволючь... Зажмуришься и летишь, что птица!..

– Ну, жмуриться-то не след... Так бы, глядя, можно багром от скалы отпихнуться.

Мужик расхохотался.

– Эх ты, барин! Как отпихнешься, когда тебя, точно пулю из ружья, на камень несет... Извернет вода – хорошо, не извернет – от тебя и дыму не будет. В пыль изотрет... На Чусовой еще хуже.

– А ты на Чусовой бывал?

– Я не был, а только мы из тамошних.

– Переселились?

– Давно, деды наши бежали сюда.

– Трудно было там, что ли?

– А вот как – в аду легче. Ты про Никиту Акинфиеча Демидова слыхал?

– Как же.

– Ноне что – ноне рай... вот при нём было плохо... К нему всякий народ шел: и беглые, и каторжные, которые и так, странствующие, – дедко – так его звали – всех примал, потому ему понадобилось многое множество рабочих; с малыми силами евонова дела не поднять было. Ну, на заводах – известно, всякое случалось; народ без удержи, совесть ему нипочем, поди у каждого на душе греха-то невпроворот. А кто и кровь пролил! Народ, будем так говорить, самый дерзновенный. С ними тоже Демидов не шутил; чуть что – засекали, а кого на вечные времена в землю закапывали.

– Живьем?

– Погреба такие были. Посадят, заложат, да и забудут; где тут всякого беглого помнить. Время жестокое было!..

– Да ведь Демидов в Питере жил.

– Всё едино – наезжал, либо его именем лютовали управляющие... Он бы сам, может, и помиловал, а эти – сделай милость – не простят. Тоже эти беглые у него, у Демидова, и монету чеканили.

– Ну, вот...

– Верно тебе говорю. Для этого самого дела у него в Невьянске и башня была такая построена, а под ней, под башней, погреба обширные. В погребах бродяги монету чеканят, а на башне сторожа сторожат: не едет ли кто... И сколько злодейства в той башне случалось, что она покосилась вся, так косая и стоит теперь<sup>12</sup>. Падасть не падает, а к земле ее всю тянет... Так вот, прознали про все эти дела в Питере, и пришло Демидову круто, так круто, что хоть самому идти в бродяги... Потому он знал, что енирал Потёмков его не помилует.

– Какой это еще генерал Потёмков?

– Был такой... Ен еще турок всех повоевал. Так его на Демидова и послали: разобрать все его дела и, если что окажется, заковать и к самому царю в Питер... Но только и Демидов был не промах. Собрал он всех своих на

<sup>12</sup> Башня эта действительно и до сих пор еще стоит в Невьянске.

завод и сам проверку сделал... Одних, кои с паспортами, опять к делу поделил, а других заставил канаву рыть к погребам, что под его хороминами были... Когда канава готова была, он их загнал в погреба эти и запер... «Сидите, – говорит, – пока генерал Потёмков проедет, а потом я вас выпущу, и гуляй, кто куда хочет». Только генерал приехал, Демидов сичас его к себе, честь честью. Пир ему задал, а ночью, как тот заснул, он из пруда заводского по той канаве воду и пустил в погреба эти... Сам бросился, точно с перепугу, к генералу. Вода-де плотину прорвала... Едва-едва оба они спаслись... А что в подвалах народушку погибло – страсть... Потому сверху их железными засовами забили, а окна, какие были за редкость, решетками заделаны... Никто не спасся. И поверку нельзя было сделать, потому всё кругом вода залила... Едва царский левизор ноги унес отсюда...<sup>13</sup>

Так деды-то наши отсюда и сбежали потом от страху, чтобы самим жисти не решиться.

---

<sup>13</sup> Предание, слышанное мною на Косье, очень похоже на такое же, сообщенное господином Вологдиным в «Пермских губернских ведомостях». В последнем, вследствие доноса на Демидова, послан был из Петербурга сенатор князь Вяземский. Но пока в Петербурге доносы еще рассматривались, пока назначили следователя, пока тот собирался в путь, прошло около года, а Демидов, со своей стороны, времени не терял. Узнав, что большинство бродяг – беглые из Подмосковья, богач-заводчик послал туда агентов и скупил у местных помещиков всю массу людей, которых те считали пропавшими без вести. Лиц, не открывших своего происхождения, Демидов велел невьянскому управляющему держать в куче и, как прибудет следователь, запрятать в подземелье, но так, чтобы никто посторонний не мог указать этого места, и, если обстоятельства того потребуют, «оставить бродяг там на веки вечные». Для помещения князя Вяземского в Невьянске был выстроен наскоро дом, великолепно отделанный внутри и снаружи и снабженный мебелью из самого редкого и драгоценного заграничного дерева. Жители, дивясь роскоши этого здания, назвали его «красными хоромами». Когда прибыл Вяземский и приступил к проверке народа, ему представили ревизские сказки и крепостные акты, совершенные задним числом на вновь приобретенных людей. Что же касается бродяг и беглых, то на вопрос по этому предмету дан ответ, что таких никогда не было и нет по заводскому имению. Успел или нет Вяземский обличить Демидова в укрывательстве беспаспортных – неизвестно; по словам старожилов, Демидову не было ничего, и только «спрятанные в подземелье не выходили уже на белый свет». Верно, Вяземский чем-нибудь не угодил Демидову, потому что, когда они встретились в Петербурге и первый между прочим стал расхваливать невьянские «красные хоромы», Демидов выслушал его молча, а вернувшись домой, написал своему управителю: «Сжечь эти хоромы со всем, что в них есть!». Приказ был исполнен буквально, по отзыву управителя; в действительности же здание немедленно было сломано и бревна употреблены на обжог руды. Мебель и уборы достались управляющему.

О Демидове вообще ходит масса таких рассказов. Очевидно, некоторая правда в них есть. Человек был жестокий и сентиментальничать не любил. Рабочих держал впроголодь, а беглых и казнил нещадно за самые легкие проступки. Подобные же легенды приходилось мне слышать на Урале и о Строганове; только о последнем с примесью элемента героического. Строганов воевал с Ермаком вместе татарву. Строганов держал свои войска, Строганов всем Ермачкам оказывал помощь с единственным условием: какое серебро они добудут – пускай берут себе, а золото – ему.

**XXXIII. В душегубках. –  
Береговые промыслы. – Орешники. –  
Люди с железными когтями. – Баба за мужика. –  
Наказанный порок,  
или Как начальство бунтовало на Косьве. –  
Камский перебор. – Река Ершовка. –  
Чёртово городище. – Как Ермачок сжег  
себя в деревянном срубе. –  
Воспоминания о Строганове**

Нужно привыкнуть к этим легким утлым челнам, перевортывающимся при малейшем неосторожном движении пассажира. Лучше всего лечь и лежать в них, но и это неудобно в том отношении, что ничего таким образом не увидишь, кроме бледного неба, покрытого серыми тучами. Еще более ловкости нужно иметь гребцам, которые, стоя на переднем и заднем концах челна, упираются длинными шестами в дно реки и таким образом передвигают лодку. Душегубка всё-таки медленно плывет вверх по Косьве, стремящейся здесь быстро, настолько быстро, что стоит лоцманам зазеваться на минуту, чтобы лодку тотчас же снесло на полверсты вниз. Только в плесах течение несколько тише, но в узинах зато – хоть выходи на берег. Нигде по сторонам вверх от Няра не видать обработанных полей.

Всё население, прижатое лесом к воде, живет заводскими работами. Случается, что нет работы для заводов, и народ без хлеба. Луга по реке хорошие, сочные, свежие. Прикосьвяне могли бы держать пропасть скота, да не с чем подняться, не на что завести его.

– Как тут и хлеб-то сеять!.. – вздохнул мой проводник.

– А что?

– Да место, вишь, шибко студеное... В августе иanei бывают здоровые. Овощ зябнет, да и капуста вся в трубку идет. Колосу и налиться не даст – ознобит его. Иное место бывает – овощ мало-малю поднимется – и то слава Богу. Место горное, красивое, да непогодное... Трудно нам жить, ах, трудно!

– Сколько в заводы угля сбыть можно отсюда.

– Можно, да как? Заставляют, а мы неопытны, ну и коней нет, а в Кизел нужно на завод на лошади возить. Больно гористо. Вот пониже Губахи – туда, к Каме ближе – места пойдут хлебные. С деревни Шестаки первые поля начнутся.

Кое-где с берега в Косьву вдвигаются громадные утесы. Река пенится и пьжится, вспухает, стараясь перекинуться через самое темя дикого камня. Весною барки и челны прямо несет на эти зловещие пороги. Зачастую на недоступном воде темени утеса поднимается сумрачная хвоя или веселая березка любителю оттуда на бешеные порывы злой, да несильной реки... Иной раз пловцам удастся издали видеть на таком камне отдыхающего медведя. Царь уральских лесов и не шевельнется, пропуская мимо себя челнок. С челнока тоже его не пугают: опасаются, чтобы не озлился. Топором пока его еще



зарубишь, а лодку он перевернет живо... В Растёсе, верст за сто отсюда, на него охотятся. Там народ иной, более смелый и добычливый; только и дела, что лесует, зверя ловят, птицу бьют...

– Да, меньше ноне зверя стало.

– Почему?

– Троицкое отбило. Пока не было жительство, что тут медведя по борам этим ходило, страсть! Растёсский народ на всё свое берет. Сколько одного ореху с кедра снимает!.. С Ильина дня шишки рвут, а осенью чистят.

На ветвистые кедры лезут так, запросто, а на гладкие – надевают на руки железные когти и цапаются.

– Иной точно зверь... от мухи да от комара сетку наденет, а на лапы когти... Ведмедь ведмедем. Почище ведмедя шкуру-то когтями этими содрать можно. За орехами в Растёс нарочно съезжаются ирбитские купцы к «колодцам».

– Что за колодцы такие?

– А срубы сделаны. В них навалят кедрового ореха сверху, да и закроют плотно-наплотно, чтобы векша не проюртилась туда, чтобы мишка не залез. Тут же у колодцев и чистят.

Впоследствии в других местностях Урала мне привелось самому видеть этих кедропромышленников.

Действительно, зверь зверем. Лицо сеткой закутано, волосы на лоб сбильсь. На ногах какие-то бахилы, чтобы, где болото, болото перейти. На руках рукавицы с громадными железными когтями. Здорово они этими когтями обдирают кору лесных великанов. «Орешники» эти – народ сумрачный и неразговорчивый. С одним всю ночь у костра сидеть привелось – ни слова не вымолвил, точно у него язык отнялся. Смотрит себе в огонь безучастно и молчит. Спросишь – поведет на тебя глазами, и опять в огонь. За спиной у такого добычника непременно ружье с толстым стволом и самодельным неуклюжим ложем. Пули для этого ружья тоже отлиты особые, громадные. Пусть бьет недалеко, да сильнее. Мишку малой пулей не достанешь – в шкуре останется, и уйдет он от тебя подобру-поздорову в свое лесное царство; а раз ушел, больше не попадетя пуганый. Лукавством будет брать... Орешник-промышленник и птицу не минует; сила для нее расставит. Лиса только подлая иногда следом за человеком идет. Растёсец поставит силок, попадет туда борова-птица – выест ее лиса патрикеевна, только в утешение охотнику птичью лапу оставит да ворох перьев, аппетитно ошипанных лакомою хищницей.

Лучше всего то, что на такой промысел иногда снаряжаются и бабы.

Эта также мужиком оденется, такие же когти на себя нацепит. Уральская баба в ином месте, впрочем, и мужика за пояс заткнет. Возьмет ружье и с ружьем в лес уходит; шатается по дебри темной, медведя увидит – стреляет в него. Кормиться нужно чем-нибудь. Коли все лесным делом живут, чем же она хуже других? Мужа пришибло где-нибудь на таком же промысле, или нечисть его куда в болота загнала, детишки остались, ну лесовиха и орудует мужниным промыслом. Таковую мне пришлось видеть только раз, ночью, посередь уральского леса у небольшого костра. Эта поразговорчивей была... Баба языка не удержит.

– Ноне крупного зверя меньше стало... Ну а птицу мы ловим хорошо. Векш бьем. Только шкурка дешева – не стоит заряда.

– А дети у тебя как же?

– А дети у старухи, у бабки. Она приглядит за ними. Разволочное время – потерять его нельзя. Всё рублей десять нашебаршишь.

– Ну а мужики в лесу не обижают?

– Как это?

– Не отнимают промысла?

– Нет, у нас свято, потому ловит волк, да ловят и волка, ловит и волк, покеле волка не поймают... У нас в лесу правдой надо жить. Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься... И с умом воровать – беды не миновать. Опять же он крути да верти не любит.

– Кто «он»?

– Лесовик. Ему эта круть да верть противна. Он правды хочет. Кто из чужих силев орех уносит, того и лесовик не помилует, нет... Тут-то нашим лесом такие болотины есть – забьет, так не успеешь и помолиться толком, с головой уйдешь... Оно бывает грех, кто говорит, только редко... И считанную овцу волк съедает... Иной, случается, и поневоле – голод-то не свой брат... Этому меньше греха, который от нужи великой на такое дело идет.

Мы не могли глаз отвести от берегов Косьвы. Они то сдвигались сумрачными кругами, к вышине над рекою лесная темень хмурилась, то расступалась пологими отмелями, сплошь покрытыми веселыми березняками. На первом роздыхе разговорился я с лоцманами, и те шибко жалуются на безвременье.

– Всё обижают нас купцы.

– Какие купцы?

– Да такие, как и вы вот, потому, кроме купца, какое кому дело до нашей Косьвы-реки. Какую бы работу не робить – всё по тридцати копеек на человека выробишь в день... А тут двум за экую путину на шестах все тридцать копеек платят, по пятнадцати на брата. Вы вон понимаете, а у другого этих понятиев нет. Давай лодку – что ему. Так, ослизлая душа, три гривенника и отдаст... А теперь-то лодки у нас пошли тяжелущие колодины... С вечера-то с такой работы уснешь – утром не можешь разломаться, руки-ноги отоймутся... Еще двое сядут, да и капиталу накладывают с собою.

– Какого капиталу?

– Да готвы разной... имения всякого. Рази им жаль рабочего человека. Иной норовит даром проехать... Был один такой: каждый год два-три ездил, и всё даром; маялись мы с ним, маялись, потому в самую рабочую пору.

– Зачем же вы его возили?

– Уж очень храбро кричал на нас лютым окриком и ногами топал... Ну, мы люди смирные. Говорил, чиновник, мы и верили. Бумагу постоянно такую показывал. Что же, мы грамоте не умеем, и возили. Да наше счастье – на барина одного наткнулся. Барин тоже ехал. Слышит: крик неподобный. «Что это, – говорит, – у вас?» – «Да вот, начальство бунтует...» – «Какое же, – говорит, – это начальство?» – «У его, – говорим, – бумага есть». Ну и потребовал барин бумагу, посмотрел, да как рассмеется. «Дураки, – говорит, – вы все, вот что...» – «Как дураки, коли на бумаге печать казенная?» – «Так и дураки, какие

дураки бывают. В бумаге-то что написано? Что судился мещанин такой-то за воровство и лишен всяких прав и сослан в Пермскую Украину к нам... А вы, – говорит, – его возите даром и за начальство почитаете... Как же вы не дураки!..» Ну только и мы тогда этого верхотурского мещанина спокаяли.

– Как это...

– Лозы нарвали, да лозой... Барин ему и казнь такую выдумал. Мы бы его отпустили, да он уж надоумил... «Ничего, – говорит, – ребята, не бойтесь. Что же вашему добру даром пропадать...» Высекли мы, точно, только он отдышался и взмолился: «Братцы, вывезите меня куда-нибудь; уж ли же мне тут и пропадать, на пустом берегу...» Ну, мы его честь честью домой и предоставили. Деньги уж давал – не взяли.

– Почему это?

– Потому он свое получил. С его довольно, слава Богу! Пуцай его подавится нашими деньгами. Что с вора взять – ни от камня плода, ни от вора добра.

Пологий лесок далеко вдвинулся в Косьву; противоположный берег – почти отвесная гранитная стена, вогнутая параллельно мысу... Вся она закуталась в туман. Слышно только, как волны реки разбиваются о ее подножие... Туман и наверху сгустился в темную тучу и лег на горные вершины... Лодчонка наша совсем ничтожной и жалкой кажется рядом с этими громадами... Лоцманы зорко смотрят: из воды, словно зубы какой-то чудовищной челюсти, торчат черные утесы...

– Не доглядишь – и готово, – говорит сквозь зубы Терентий.

– Тут место вострое! – сочувственно отзывается ему Иван с другого конца челнока. Слышен сквозь грохот волн какой-то загадочный шум. Оказывается, водопад в стороне, весь спрятавшийся в зеленую чащу и невидный отсюда. Порывом легкого ветра разорвало туман. Налево отвесная голая скала, по ней щели и трещины, точно неведомые гвоздеобразные письма какого-то давно исчезнувшего и иного следа по себе не оставившего народа... Вон другая гремучая речонка злится и пыжится, с разбегу кидаясь в широкий плес Косьвы. У самого устья ее даже каскад маленький белеет: видимо, через каменную гряду перескакивает быстроотводная Пятигорка...

– Тут вот переборы пойдут.

Косьва, действительно, скоро зашумела в этих переборах. Ужасно напоминала Тулому в Лапландии. Наш челнок осторожно заползал в щели между камнями, из одной поднимался в другую и зловеще поскрипывал дном о предательские корчи... А там опять плесы с прозрачной водой, где до самой глубины каждую рыбку видно, особенно на песчаном дне: там не только рыбка вся выделится до последней своей чешуйки, но тень ее внизу бежит и извивается за нею... Направо из лесу торчат остатки какого-то бревенчатого сруба, совсем ветхие, заплесневшие даже...

– Что, тут село было?

– Нет. Разбойное место такое... Ермачок один верховодил... Давно уж, при дедах наших. Огневище называется.

– Что это значит?

– А сжег он себя тут. В Павде он царского пристава жену уводом увел... волей... Полюбила его, Ермачка... Он и увел ее.

– Да какие же приставы в Павде были?

– Были, когда старики говорят. Они лучше нас с тобой, ваше почтение, знают... Ну, уволок он ее сюда, и стали они разбойным делом промышлять. На Каму уходили; разобьют караван, и сюда хоронятся.

Только никак соследить их не могли... Много годов они так промышляли.

– А на Косье они не грабили?

– Зачем? В те поры здесь пустынно было. Опять же, близ норы лиса на промыслы не ходит!.. И соседей он жалел, потому вор попал, а мир пропал. Вор ворует – мир горюет... Только так это он разохотился удачей, что задумал Усолье пограбить... А на ту пору в Усолье Строганов сидел. Собрал Ермачок десятка три «казаков», ночью вломился в варницы да в дома усольские и обчистил их дотла... Что он впопыхах народу побил – страсть... А на ту пору у Строганова гостил царский пристав из Павды... Увидал он этого Ермачка и спрятался: узнал, значит... Пограбил, пограбил Ермачок и прочь отъехал с караваном к себе. Одного только из своих найти не мог – думал, убит в свалке... А он в варнице раненый лежал и мучился, только голосу подать не мог: ослаб очень. На другой день строгановские нашли его и давай лечить. Вылечили. Здорового привели к Строганову и царскому приставу. «Где Ермачок хоронится?» Молчит бунтырь. «Эй, лучше добром говори!» – «Не могу я, клятву такую на себя принял!..» Стали его, ваше почтение, пытать на дыбе, кнутом пытали – молчит. Тогда его Строганов велел огнем донять... Пятками его в печь вдвинули... Взвыл, стал смерти просить. «Не будет тебе смерти – весь в муках долгих изойдешь, если не скажешь...» Дали ему день отдышаться. Опять волокут... «Можешь теперь отвечать?» – «Не могу, заклятье такое дал на себя». Ну, тут котелок разожгли в печке и красный ему на голову надели. А царский пристав так и распалился. «Вы, – говорит, – у меня жену сволокли, так я ж вас повенчаю... Поноси-ко этот венец. Сладко ли?» Ну, тут казак не мог той лютой муки вынести, стал каяться. Стал каяться – всех выдал и, где Ермачок хоронится, сказал. В тот же вечер казака этого повесили, а наутро Строганов с царским приставом и большою ратью в поход снаряжился. Ночью они окружили Ермакову нору, а утром и бой начался. Ермак было хотел тайным ходом уйти, а казак-то евонный и это сказал, где что; сунулся туда – а там у самого места костры горят, хотят его как лису выкурить... Тогда вышел Ермачок на стену и говорит: «Казну сдам и сам сдамся на казнь лютую, за то должны вы большой клятвою поклясться, что жену мою помилуете!..» Строганов было дал соглас, а пристав и озлобился. «Какая, говорит, песья душа, жена у тебя... с чужою женою живешь... Я ее, подлую, к конским хвостам привяжу да и по камению размечу без устатку». Тут жена и вступилась сама. «Плевать я, – говорит, – хочу на тебя, – царскому приставу, – потому не муж ты мне, а ворог-лиходей... А будем мы биться до последнего здох, и тогда вам в руки живыми не дадимся!» – и давай опять воевать... Строгановские люди на стену, а она их кипучей смолой сверху... Сколько тут посекали народу мечами – и сказать не могу. Только к вечеру видит Ермачок, что их одолевает сила вражья, и говорит ей, жене-то: «Знаю я еще один заповедный ход... Только двум не уйти... Я останусь на смерть, а ты уходи и молись за меня, коли жива будешь...» – «Не бывать этому, вместе

жили, вместе и помирать!» – это она-то. «Как так?» – «А так...» Залила она стенку и избу смолой, натаскала хворосту кругом, и только строгановские люди полезли напоследок – она запалила... Изба-то горит, приступу к ей нет, а она с Ермачком вышла на кровлю, да и кричит приставу: «Полюбуйся-ко, ворог лютый, как мы милуемся да радуемся», – обняла Ермачка и давай целовать его... Так их полымем и занесло... Тут место с той поры нечистое...

– А что?

– Да видится разное... Ночью, ежели одному ехать, слышишь, как Ермачиха-то жалуется да плачет... А то к лесу побежит – и огонь за нею так и пышет... Она в воду хочет, а вода от нее прочь...

– Сам ты видел?

– Как плакалась в лесу, слышал, а видать не видал... Старики рассказывают в Растёсе и по другим местам... Есть которые видали сами.

Что за красивое место пошло отсюда! Массы скал громоздились у берега в самых живописных сочетаниях; река Ершовка с высоты падала в Косьву. Ершовка эта, прежде чем слиться с Косьвой, делает восемьдесят семь колен и каскадов... Совсем «каскадная» река. Недвижные ели важно стоят на мрачных камнях, точно и они тоже каменные, ни одною ветвью не шелохнут в этом царстве текучей и падающей воды, пены, брызг и грохота... Наши лоцманы устали, очевидно, руки едва двигались... Нужно было сделать привал. И нашли же для этого место совсем под стать этим величавым утесам. Мы причалили к каменным лудам, мелям посередь реки, вытащили на них лодку и спустя несколько минут разложили костер тут же, вблизи разбитых барок, орясины которых торчали из воды, точно ребра каких-то сказочных чудовищ...

Не успели мы сварить чаю, как сверху показался такой же челнок, только он точно с разбегу бежал вниз по течению...

Стали мы всматриваться. Какая-то широкополая шляпа сидит...

– Приставайте сюда, – кричим мы навстречу священнику, дремавшему в душегубке.

Молоденький гимназист, бывший с ним, стал его будить... Проснулся...

– Чай у вас... Благовременно!.. – неуклюже стал вылезать из лодки... – Это вы хорошо.

– Как это вы сюда попали?

– А вот с сыном в Растёсе гостил, так опять домой в Орёл-городок плывем... Подлинно, дивно встретить здесь кого в цивильном платье. Самая медвежья сторона – Косьва эта... Сморила меня дорога-то.

Разговорились. Стал я расспрашивать батюшку о крае этом.

– И не вопрошайте, потому а ихнего невежества не любопытствую... И без того все мы мохом обросли... У нас в Орле-городке тоже, я вам доложу, дичь порядочная...

Стал рассказывать про свое житье-бытье. Тоже плачется. Мужик здесь к церкви не прилежит, но всячески от нее лыняет... Мальчик-гимназист тоже немалые огорчения доставляет...

– Представьте вы себе, сколь правильно у него ум направлен. По дороге тут завел я с ним назидательную беседу о всемогуществе Божьем; что же, вы думаете, как о Господе мнит юнец сей, а?

– Не знаю, право.

– Оно, говорит, правда, всемогущ-то он всемогущ, а всё же ему козырного туза не покрыть! Так я и обомлел. Да он с таким болваном, как ты, и играть-то не сядет! – моментально раздражился и выпалил в сына священник...

Я так и покатился... Батюшка сообразил, что сказал глупость.

– С ним, право, влетишь... Душу он мне повернул. Вдруг от иерейских чресл и такая пакость вышла!.. Уж дома я тебя выпорю. Я из тебя этот дух изгоню... Будь спокоен.

Гимназист, очевидно, не понимал, каким это образом он может остаться спокойным ввиду ожидающих его дома семейных радостей. Со злости он стал запускать камнями в воду.

– Не хотите ли рому, батюшка?

– Это значит пуншт. Ежели умеренно и вовремя – отчего же... А у меня пирог есть с рыбой и куропать жареная... Таким образом, мы с вами соорудим пир Валтасаров... Валтасар-то кто был?.. – ткнул он указательным пальцем в лоб гимназиста.

– Царь!

– Царь и женолюбец!.. А я все-таки тебя выпорю... Предивно, сколь в них легкомыслие свирепствует.

Какая-то серая птица с вершины утеса пристально всматривалась в наше пиршество... Грохот Ершовки позади и шум Косьвы в переборах порою заглушал нашу беседу.

#### **XXXIV. Путь до Троицкого рудника. – Рабочий ад. – Горы: Кусвинская, Гусь. – Неведомое племя**

– Тут по всему Уралу бесперечь такая пошла, концов не соберешь... Вот будете в богословских заводах, например, увидите, сколь хорошо там народу живется.

– А именно?

– Да Башмаков ведь купил эти заводы и послал управлять ими, как бы вы думали... кого?

– Не могу догадаться... Специалиста какого-нибудь.

– Да, только по другой части.... ученого-агронома. Этот что же сделал: заводы обязаны поставлять в казну медь, а промывкой золота заниматься выгоднее. Сообразить не трудно. До интересов населения дела нет никакого – и вот медная шахта горит. Разработка меди прекращается. Хозяину выгодно – рабочие начинают умирать с голода и кончают бунтом. Озлобление повсюду страшное. Истожили все средства, избы на сруб, на дрова продали, последнюю утварь проели; ходят обессиленные, оборванные. Служащие на заводах – разумеется, только не ученые-агрономы – большую часть жалования отдают рабочим. Зубарев из своих четырех тысяч рублей разделяет между ними три тысячи рублей.



– Ну а агроном?

– Чоботов?.. Он не иначе показывается из дому, как с револьвером в кармане... Народ умоляет переселиться куда-нибудь... Ад, чистый ад... На других заводах – то же. В Александровском изворовались все, и судьям страшно наказание налагать, потому повальный голод ворует. У Чусовой есть такие места, где мировому в ноги кланяются за приговор к тюремному заключению, потому хоть месяца три-четыре прокормишься. На одном из заводов за долги владельца, бельгийская компания дело вела всё, даже чугунные плиты перетопила в доменных печах на металл, продала его и скрылась, задолжав населению более ста тысяч. Там тоже стон стоит!.. «Смерть наша приходит», – говорят крестьяне. Вот тут, например, безлюдье. Соперничества нет – цены должны быть высокие, а вы спросите у Терентия, что он зарабатывает в месяц?

– На круг? – отозвался Терентий.

– Да, на круг.

– Месяц робишь – воскресного дня не знаешь, а всё не больше восьми рублей получишь.

– Ну, вот видите. Как же подняться этому народу, с чем? У лесопромышленника еще хуже. Там он совсем задичает, потому всю зиму в лесу на холоду – руби, а весной по горло в воде грузи и потом впроголодь сплавляй...

В изломах утесов рыжеет железная руда. Берега, как и дно реки, отсюда сплошь каменные стали. Изредка в воде чернеет выскерье – ель, вырванная непогодой вместе с корнем, или, как здесь говорят, с мясом. Бежим мимо; Косьва как в котле кипит на переборах, душегубку нашу едва удается подымать на ступенях, где вода углом падает.

– Отсюда сплошь всё крутые переборы пойдут да быстрины, – утешает нас Терентий, зорко вглядываясь в речное дно. – Ярая вода, чуть зазевался – так вверх доньшком и опружит лодку. Ишь булькает – словно в котле. Весною тут страшно...

– А что?

– Да на барках из Троицкого рудника сплавляем руду всякую до Чёрмоза. Такая тут сутолочь, что на каждую барку по тридцать два человека ставим. Одного лоцмана мало – ученика к нему берем.

– Что же получает лоцман?

– До Чёрмоза двадцать три рубля, а ученику тринадцать, да рабочим по десяти... Живем мы в эту пору одним хлебом – больше нечего есть. Пуда по два на человека хлеба-то сойдет. Горячего не варим, а ветра в эту пору стоят хуже, чем зимой; огневица так и морит народ. В последний раз из тридцати-то человек с нашей барки мы двенадцать по пути похоронили... Вот сколь сладки сплавы-то эти.

Горы так круты здесь, что выйти некуда на берег. Волжские Жигули не сравнятся с этими Косьвинскими вершинами. Последние и круче, и величавее, и выше. Даже жутко становится плыть между ними: вот-вот сдвинутся и раздавят; или этот карниз, далеко выдавшийся сверху и повисший над водой, рухнет вниз – и от тебя даже не брызнет. Под Гремяхой, Гусем, Претчихой – и лодочники, на что уж народ привычный, смолкают – так влияют на душу

эти каменные громады... Особенно грозно висят над речкой скалы Гуся. Тут бухточки похожи на колодцы. Узкие щели ведут в них, причем площадь дна больше поверхности (воды). Точно их выдолбили искусственно для каких-то страшных подземных тюрем, да залило водою. Терентий уверяет, что это водою так высверлило... «Не дай Бог свернуться вниз – света белого уж не увидишь»...

Совсем дивное царство потемочное... Спасенья нет – вниз оно тянет, как ни плавай. Вот два-три куреня в стороне, где дрова рубят и уголь жгут в печах. Теперь они заброшены – зимой только сойдутся сюда лесопромышленники. Вот правильными куполами горы пошли; какие сказочные титаны придали им эти формы? Точно черепа каких-то чудищ, поднимаются они из зеленых облаков кедрового леса, обступившего их отовсюду... Перебираясь от одной к другой, мы наконец видим перед собою громадную, оставляющую за собою все прежние, Кусвинскую гору... Мы тянемся вдоль ее отвесных стен. На всю Косьву бросила она свою тень, точно в какое-то мрачное царство вступили мы. Шесты бросили – цепляемся руками за выступы Кусвинских отвесов и так переползаем. На высоте над нами кое-как держатся могучие ели – половина узловатых корней на воздух вытянулась и чернеет там неподвижными змеями... Должно быть, сначала в скале хоронились, да под постоянным напором их треснула и рухнула скала, а они остались, точно торжествующие свою трудную победу над этой первозданною громадою. Водяные лопушки и лилии колышутся по следу нашей лодки... Кое-где они захватывают ее своими цепкими длинными стеблями... трудно вырваться из этих объятий... Вон совсем срезанный березовый лес... Ледяным затором снесло его, забило в бухту, и гниет он в ней... Вон в чаще совсем лопарская тупа – бревенчатый сруб, крытый на один скат... Совсем не местного типа избушка.

– Что это?

– А это растёсская зиминка!..

– Да разве растёсцы сюда ходят!

– Прежде ходили; те, что лесом да рыбой занимаются... Ну а как Троицкий рудник поставили, они и ходить перестали...

Наконец опять впереди выдвинулась Ослянка, та самая, которую мы видели еще вчера, подъехав из Кизела к Няру. Косьва, сделав большой круг, опять подошла к этой громаде. Вершина ее покрыта снегом, ярко горящим теперь под солнечным светом, зато остальная масса горы тонет в каких-то синих сумерках. Теперь долго нам придется плыть в виду этой вершины. Еще недавно шумная, Косьва тиха как в чашке... Слышно со стороны посвистывание бекасов... Целым юровьем повисла в воде и не шелохнется мелкая рыбка – малявка.

– Ее и щука не ест – столь она вкусна.

– Тут на Ослянке и около прежде много разбойного лихого народу жило. Только не нашей веры и не нашей молви.

– Татары и пермяки?

– Нет... особые какие-то... И теперь черепа их вырывают здесь крестьяне, и топоры, только топоры чудные – железо не железо, медь не медь.

– Куда же они девались?

– Да их давно, еще при Грозном, строгановские люди побили. Без устатка всех, никому милости не было. Пермьякам милость была, потому пермяки – смиренные; их, бывало, побьют, они и смиряются, а эти, что на Ослянке жили, сами разбоем ходили и пардону ни у кого не просили. Ну так Строганов и послал на них свои рати... Они тоже против него с умом действовали. В пещеры забирались и оттуда стрелами метали да камнем всяким!.. Долго к ним подступу не было, да строгановские догадались – сверху на них накинулись... Из Перми да из Екатеринбурга приезжали сюда разные ученые, искали их – ничего не нашли, с тем и отъехали.

По скатам Ослянки палевые пятна мерещатся – видимо, оленьим мохом подернуло их; это – ягелевые пастбища. Оказалось, что и олени заходят сюда, только редко, хоть их и не бьют косьяне, как не бьют лебедя. Олень у них тоже почему-то слывет запретным зверем.

– Да почему же это? – добивался я.

– Потому – он Божий.

– Все Божьи...

– Точно, что все, а он особенно... Есть такие святые, которых с оленями этими самыми на иконах рисуют.

– Какие же это святые?

– Не знаю, а только есть... Растёсцы еще их бьют, случается, ну а мы – никогда. Мы этого зверя жалеем. Их без того волки режут до пропасти...

Через несколько часов Троицкий рудник; тем не менее река и ее берега совсем пустыньны...

– Теперь бы и на веслах можно, – всмотрелся я в казавшееся тихим течение Косьвы.

– Нельзя. Что на Усьве, что на Косьве – никак на веслах вверх не подынешься – быстры слишком.

Большой рудник ничем не обнаруживал своей близости. Та же тишина стояла кругом, то же безлюдье... Одна за другой скалы в сто футов высоты сторожили реку. Вон совсем красная. Железною ли окисью она покрыта, или действительно сплошная руда, как уверяет меня мой спутник. Остальные из глинистого сланца и порфира; в сланце жилами залежи бурого железняка.

– Тут всё кругом железом скреплено да железом мощено! – раздумчиво проговорил мой спутник, всматриваясь в громадные богатства этого девственного края.

**XXXV. Троицкий рудник. –  
Уральская пустыня. – Лесовики и беглые. –  
Как Лазаревы, Всеволожские и Демидовы  
новые сёла основывали. – Рудник. –  
Громадные богатства его. – Ослянка. –  
Как пьяница совладал с чертом. – Причины пьянства. –  
Возвращение назад в Няр**

Только у самого берега показались строения Троицкого рудника. Несколько бревенчатых изб и дом управляющего с балкончиком наверху. Странно было даже среди этой безлюдной пустыни встретить обитаемое место. За два дня только и приходилось видеть, что сумрачные горы, синие дали, безлюдные берега. Казалось, что долго еще не услышишь людской молви, не увидишь жилья... Впрочем, самый рудник основан недавно; до тех пор прикосьвинские пустыни оживлялись только песнею охотника, выжидающего красного зверя, да однообразным скрипом лодок, подымавшихся вверх по спокойным излучинам реки. Сначала Лазаревы и Строгановы из ссыльных крестьян основали, лет семьдесят тому назад, Растёскую волость, а потом первые устроили Троицкий рудник.

Населять пустыни Урала ссыльными заводскими рабочими долгое время было здесь в обычае у местных крупных владельцев. Так делали Демидовы, перегонявшие целые сёла с одного места на другое, так делали Всеволожские, разорившиеся только теперь, точно так же поступали Абамелек-Лазаревы и Строгановы. Кроме того, случалось, переманивали крестьян один у другого. Откроются где-нибудь новые богатые рудные залежи, свой народ весь на работе – хозяева и рассылают звать чужих. «Плата-де хорошая, берем всех – паспортов не спрашиваем». Ну, отовсюду и тянутся в пустыню загнанные и недовольные уральцы, чающие от нового места и новых людей великих и богатых милостей. Потом это вывелось, ибо на новых местах оказывалась жизнь горче, чем на старых, – тут уже с рабочим не церемонились. Бежать ему некуда, жаловаться – самому первому под кнут. Случалось, что за легкий проступок их истязали, а за побеги засекали до смерти. Был один управляющий, Копиков, который своим судом вешал беглых, и беглые молчали – куда сунешься!.. Бродяжная баба тоже шла в эти захолустья. С ней церемонились еще меньше. Красивая попадала в руки начальства, похуже – шла на потребу всему рабочему люду. Жили вместе в скверных сквозных срубках, спали вповалку. Смешение полов и возрастов было всеобщее. В следующих очерках Урала мне еще не раз придется рисовать эти картины. Троицкий рудник основан в позднейшее время и, разумеется, на совершенно иных началах. Тут уже работает свое, лазаревское, крестьянство, сравнительно за лучшую, чем в Кизеле, плату. Идут они сюда по согласию, а не под конвоем. Старое крепостное время ушло со всеми неистовствами горнозаводского режима, только нищета старая осталась – ее, видимо, не так легко избыть, как самодуров и самоуправцев.

Небольшого роста, пожилой, юркий управляющий засуетился на берегу, к которому мы приставали.

– Очень рад, очень рад... Тут живого человека не увидишь... Гостю, что хорошей погоде, прием по нашим пустырям всегда радушный... Пожалуйте ко мне на балкон чайку напиток... Полюбуетесь оттуда нашей Косьвой-рекой. Вид единственный... Я, знаете, здесь в глуши «Ниву» получаю; так иной раз думаешь, вот, если бы рисовать умел, сейчас бы послал туда, чтобы и все прочие знали, какие у нас места чудесные. У нас денег-то мало – нам «Нива» – сокровище, всё в ней есть, и политикой кто интересуется, и картины, и чтения сколько хочешь. А премиями я все стены себе увешал, теперь похоже на человека живу.

Когда мы взошли на балкон, восторги управляющего оказались совсем не преувеличенными.

Дом его на вершине холма. Внизу под нами Косьва делает пять излучин и образует два прелестных острова, огибая их капризными рукавами. Налевую гора Троицкая, вся изрытая рудниками, за ней вечные снега и ягелевые пастбища Ослянки... Противоположный берег тоже весь заставлен горами. Это какой-то хаос скал, лесистых склонов, голых вершин... Быстро течет мимо них река, гремя в своих бесчисленных переборах. Вода до того чиста, что мы отсюда под солнечными лучами видим дно ее, с высоты полутора фута... Узенькие душегубки замерли у берега, рядом тоже замерла засмотревшаяся в воду хорошенькая девочка. Под ее ногами река сделает маленький каскад, и ребенок смотрит – не насмотрится.

– Что, вам эти горы нравятся?.. – обратился ко мне управляющий.

Я удивился вопросу.

– Нет, я, знаете, почему. Тут ведь захолустье, одиночество. Перевели меня в людное место, так я из-за этих гор по Троицкому руднику так затосковал!.. Рад был, когда назад меня отпустили. Беда к одному месту привыкнуть.

Горы стали одни против других, точно ощетинившиеся чудовища, ожидая сигнала, чтобы сдвинуться и уничтожить эту горделиво шумящую реку, неустанно подмывающую их каменные подножия. Белою пеною клубится Ореховка, вливающаяся здесь в Косьву. Вон из гор мерещится другой приток... Позади мирная долина, совсем идиллическая, тихая заводь с челночками и мордами, развешанными на шестах...

– Как на этих переборах барки весной идут?..

– Случается – гибнут, а случается, что переборы еще и помогают...

– Хорошая помощь!

– Верно. С первого перебора барка стремглав слетает; прежде чем она израсходует приобретенную скорость, она попадает на следующий перебор. Таким образом, до Губахи барки делают по пятнадцати и восемнадцати верст в час, а ниже Губахи, где течение спокойно, – только восемь верст, да и то не всегда.

На горы набежали тучки; кое-где тени от них ползли по склонам. Весь пейзаж перед нами представлял более двенадцати планов, один смутнее другого. Самые дальние только мерещились. Вон среди вечного снега на вершине Ослянки чернеют утесы стоймя... словно башня какого-то сказочного

замка... Сил нет оторваться. Всё бы сидел и смотрел... Дичь непуганая вовсе. Парами перелетает то и дело эта мелкая пташка с одного берега на другой, под самым балконом нашим посвистывает, прорезывая застоявшийся среди этого затишья воздух... Вон гагарки потянулись по Косьюе. На минуту раскидало их водою в переборе, некоторые и кувыркнулись – да опять выплыли в спокойном месте и, отряхиваясь, медленно плывут далее... Где-то издали слышится резкий звучный крик лебедя... Точно какая-то металлическая толстая струна лопнула, и последний предсмертный крик этой струны дрожит над молчаливою окрестностью. Из заводи утки заболтали что-то по-своему... И опять тишина, только река шумит в порогах, да бекасы посвистывают над нею... Старик внизу едва бредет; с ним тонкая густая сеть; в сети серебрится еще влажною чешуей мелкая рыба.

– Пожалуй малявки набрал? – кричит ему сверху управляющий.

– И малявка есть...

– Ужли ж есть ее станешь... Ее щука не ест.

– В ильяхнах (пельменях) чудесно!.. А что щука не ест, так щука по воде зверь первый... Ему и сижок, и хариус – всё возможно; а мне, старому да слабому, и малявка хороша... Тутотка племяш у меня опять на запас попал.

– Ну?

– Верно! Пуда три будет.

– Экое счастье тебе.

– Бог невидимо посылает... Я с этого запасау месяц сыт буду!

– Что это за запас такой? – спрашиваю.

– А по лесам у нас жилые избушки таятся. Прежде, как Троицкого родника не было, так растёсцы ходили сюда на промыслы. Ну они в избенках этих разволочных оставляли иной раз большие запасы хлеба на следующий промысел. Теперь ходить перестали в леса – запасы так и остаются. А то, может быть, хозяин помер, а детям невдомек искать, ну, наши наткнутся в лесах на такую тупку – сейчас шарить. Хлеб находят, случилось, пороху доставалось фунтов по пяти. Растёсцы как – они здесь иной раз и по зимам живали. Народ угрюмый, ему человека не надо – и то хорошо, что хоть лес шумит над головой да вьюга запеваает свои песни. А в тупке у него холодно, сыро... Всё переносили. Такая у них уж страсть к одиночеству была. Случалось и таких находить здесь, что с каторги бежали.

– Вона! В лесах-то ваших?

– Да! Куда ему деваться? Он найдет такую разволочную тупку да и поселится в ней. У иного ружье есть – кормится. Зверя бьет, шкуру в том же Растёсе продает, пороху да хлеба купит – и опять себе в лес. По крайности некому трогать его в этом лесу... Один и живет. Такие случались, что от людской молви совсем отвыкали... Тут лесовик один, бывало, придет в Растёс, бросит меха да шкуры, сядет и сидит. Ну, кулаки, которые скупали, принесут ему пороху, хлеба. Взвалит себе на спину и уйдет, не озираясь даже. Думали немой. Нет, раз услышали, как он в лесной дреме песню пел. Только с людьми говорить не хотел, верно уж очень они его обидели. Помирать им только тяжело. Вьюга шумит, ночь в окно смотрит... Один. Тут уж это уединение



страшно. Дичали некоторые так, что от людей бегали. Случаем встретят орешника либо зверолова в лесу – и прочь от него во все ноги...

– Чем же жили?

– А Бог их знает чем; орехи, палые которые... Руками зверя ловили. Тут под Павдой в лесах наши одного видели лесовика, так он векшу сырьем ел. Разорвал, как зверь, да сырьем и сожрал...

– По-моему, в каторге легче, чем такая жизнь.

– Как кому!

– По крайней мере, человека видишь!

– Иные, у кого кровь на душе, сами на себя, словно послушание в монастырях, накладывают – спастись в лесу, в одиночестве, и терпеть – ну, и выносят... А потом привыкают. Лес ведь захватывает; из него не выйдешь. Первый год труден, а пережил ты его – лес уж тебя не выпустит; так и останешься лесовиком. У нас жить в лесу называется – лесовать, а лесовик – тот, кто лесует. Таких лесовиков много; иной и семью для этого кинет. Близость леса создает особые натуры. Тянет лес к себе, в свою глушь великую. Особенно наши леса – кедровые. У нас красивее, по другим местам таких нет. Ну, – предложил он, помолчав, – хотите посмотреть наш рудник?

– Да, еще бы. За этим мы к вам и заглянули.

– А ходить по горам умеете? У нас ведь по кручам всё, не то что на ровном месте, как в прочих местах.

– Пробовал – не жаловался.

Высота рудника семьсот футов над рекой Косьвой. Туда ведет головокружительная тропинка, кое-как пробитая по круче. Если бы не деревья по пути, за которые иногда можно зацепиться и отдохнуть, – путь был бы совсем труден. Под ногами переплетаются корни деревьев, взрезавшие почву, точно какие-то узловатые змеи. Не посмотришь вниз – споткнешься, а споткнувшись, можешь очутиться Бог знает где. Гора, например, в одном месте прямо в Косьву обрушивается... На более обширных площадках свалены бревна. Какие лесные великаны легли под топорами! Белое крепкое дерево уже вылущено из-под коры, и далеко слышен от него смолистый, здоровый запах. С высоты зато грандиозный вид на водораздел между Косьвой и Усьвой. За двумя лесистыми горными кряжами поднимается словно придавливающая их и тяготеющая над всею окрестностью Ослянка. На ней отсюда можно различить все пояса растительности. Густой лес опоясал ее внизу, вверх мало-помалу он переходит в однообразное марево кустарника, кустарник сменяется травой, трава – мхом. Наконец и палевые пятна мха исчезают, мерещится темною полосой голый камень. Тут уже нет ни одной былинки... Темная масса камня вверху сменяется снеговыми моренами, которые расползлись и вниз по кручам, заполняя собою лоцины и щели... Всё это в диких кручах, резких очертаниях... Даль с этою горою и другими выдвигающимися смутными силуэтами из-за нее полна неизобразимого величия!..

– Видите вы на Ослянке правильные утесы, на самой вершине, а вокруг них точно каменный вал?

– Вижу.

– Народ это прозвал Чёртовым городищем... Тут ранее, чем поселились люди, всякая нечисть жила... Вниз, в долины, она не заходила – потому в долинах своя специальная нечисть значилась – лешие, водяные... а эта исключительно на вершинах гор ютилась. Она имела свое особое назначение – насыпать на долины вьюги и мятели, закутывать случайные провалы тучами, взбудораживать воды, потому что черт водяной подчинялся во всем чертям горным. Кто на горы ходил, того они обвалами встречали... А главный ихний черт жил на Ослянке.

– А теперь?

– Теперь его нет... Теперь он на Павдинский камень ушел. И знаете ли вы, кто всё это сделал?

– Старец какой-нибудь праведный.

– Нет. Народ приписывает это простому растёсскому пропойце. Был горький пьяница... Нализался раз да и полез на Ослянку. Черт оттуда и камнями, и обвалами, и вьюгой его сбивает, и громом шумит, и в тучу кутает, а пьяному, известно, море по колено; он всё вверх да вверх лезет да на каждой скале по пути кресты высекает. Высечет крест – водка с собой, попьет и опять дальше... Так до самого Чёртова городища наверху добрался. Подошел к валу этому каменному и крестит его издали, а там в черных домах-утесах у нечисти смятение идет. Стал было из последних сил черт мятель на него снеговую пускать, а растёсец в отместку ему крест на валу сейчас высек... Видит черт – ничего не поделаешь, взвыл... Со всех гор ему нечисть откликаться стала. Перелез пьяница через вал – тут нечистый не выдержал. Завился в снеговую тучу да и полетел на полуночь – туда, к Павде... Только его и видели... А дома его все в утесы обратились... Видите, в какой у нас чести пьяницы. Старцы праведные не могли, а пьяница добился своего...

– По-моему, эти утесы скорее похожи на какую-нибудь крепость. Я ожидал предания о разбойниках, укрывавшихся там.

– Нет, у нас на горных плешках разбойные люди не прятались, они больше по ущельям внизу держались... Они открытых мест не любили. Да и не в снегах же им пребывать постоянно.

Нельзя описать, как красивы переливы цветов и теней на этой величавой горе. Желтовато-серые тона уступают место лиловым, лиловые – синим. Вон темень лежит на лиловом тоне... Не успели мы толком всмотреться в нее, как она уже свернулась в тучу, приподнялась, открывая под собою палевые склоны, и двинулась дальше на юг по ветру, унося туда нарождавшийся было над этою долиною дождь. Гора, по которой мы всползли, вся покрыта разведочными копиями; они открыли здесь богатые залежи бурого железняка, заключающего в себе, по первым исследованиям, до двадцати пяти миллионов пудов руды, в которой от пятидесяти до шестидесяти процентов железа. Разработка его не представляет особенного труда: так как руда идет прямо от поверхности горы – внутрь далеко докапываться за нею не приходится. Уже произведенными изысканиями заводы Чёрмозский и Кизеловский обеспечены на двадцать лет. Над разведками работает пока очень мало народу – всего сорок человек, точно муравьи, возятся над этою массою железа, скал и глины.

– Это еще не последнее слово... Мы думаем, что залежь эта сквозь всю гору проходит.

– Могутная! – отозвался рабочий

– Что ж тогда?

– А тогда заводы одною этою горою сотни лет жить могут! А таких гор по окрестностям до пропасти есть.

Не умеют у нас только пользоваться. Это счастье Абамелек-Лазаревых, что у них такие управляющее, как Новокрещенных; вы посмотрите, что у других-то делается. Вы слышали ли, что за открытие новых рудников крестьян пороли и ссылали.

– Что за дичь!

– Ну а у нас эта дичь случалась! Старые владельцы и пороли, и ссылали за это. Я могу назвать...

Работа теперь идет над одним, сравнительно небольшим, пластом земли.

Ломают руду прямо с поверхности. Красноватая масса ее тронута уже две сажени вглубь. Рабочие разбросались на триста сажен всего; тем не менее ежегодно на этом, сравнительно небольшом, пространстве уже собираются десятки тысяч пудов железа. Работа пока веселая – потому что на поверхности земли. В Кизеле я видел несравненно более тяжелую, в вечном мраке подземных галерей, при полном отсутствии сколько-нибудь порядочной вентиляции. Потому и народ здесь смотрел бодрее. Вместе с бабами и мужиками работали мальчики от 10 лет и выше. Эти, разумеется, плату получают ничтожную – от десяти до пятнадцати копеек в день. Впрочем, и взрослый крестьянин тут зарабатывает от тридцати до пятидесяти копеек, а баба от двадцати до тридцати, и, разумеется, все они на своих харчах. Завод только иногда поставит им хлеб несколько подешевле, чем они купили бы его у сельских кулаков...

Трудно себе представить, какая сила нужна для этих работ. Если бы видели, какие комья руды поднимают эти, по-видимому, не особенно усталые люди – вы бы изумились так же, как я был изумлен. При этом кое-где запеваются песни, звучат шутки и смех, в антрактах за всё отдуваются бабы.

– Ишь ты, спина у тебя, Марья, какая широкая! – и при этом слышится глухой звук не особенно легкого шлепка.

– Дьявол! – огрызнется баба. – Я вот тебе ковшом в морду.

– Ломай, ломай его, Марья! Ишь у него харя-то с последнего перепоя ослизла.

– Еще трогается... Вот я Сашке твоей скажу.

– У меня, брат, этих Сашек сколько хошь.

– У тебя!.. Люди врут – навираются, наш врет – не наврется... У тебя!..

– Да, у меня...

– Заведутся у такого... как же... Смотри, язык проглотишь. Ври, да помни.

– У него только вошь и заведется...

– Бредень бредни бредит – а у нас язык щелкает!..

– Душа кривая – всё примет...

Когда мы спускались из этого рудника вниз по тем же кручам, управляющей указал нам налево за Ослянку.

– Видите вы – вон две правильные горы... Знаете, как их народ зовет? – Титьки.

Название было чрезвычайно метко. Действительно, на горизонте рисовались два силуэта – точно громадные сосцы совершенно правильной формы, и при этом одна в одну.

– Тут так: видать Титьки, значит, и погода хорошая будет, а не видать – жди дождя, а зимою мятели... До них отсюда верст мало-мало двести будет, не меньше.

Несколько ниже почву взрезал гребень большого бурого утеса.

– Вот тут и разведок нечего делать.

– Почему?

– Чистое железо... Вглубь идет, ломай его и плавь – вот и весь труд... Вы еще по нашим местам немало таких же увидите... Мне достаточно было бы, если бы одну эту скалу подарили. Ей ведь цены нет – миллионы пудов в ней...

– Отчего же истощается производство других заводов?

– Лес выжгут; без топлива этим горам грош цена.

По пути назад – неизбежная подробность каждого заводского дела – пьяненькие рабочие нам навстречу.

– Успели! – остановился управляющий.

– Мы, Иван Степаньч, перед тобой во как – как свеча горим!

– Вы бы лучше, чем гореть-то, пить перестали.

– Мы теперь на всякую работу, благодарим покорно... Один за трех. Потому, ежели ее в акурате – так от нее только силы прибавляется, от водки этой самой.

– Знаю я, нахлещетесь.

– Иван Степаньч!.. У нас совести нет? – удивлялся рабочий, стучая себя кулаком в грудь. – У нас совести – сколь хошь... А мы, благодаря создателю, чуточку, во – эстолько, – показал он на кончик мизинца, – и слава те, Господи... Свое дело знаем... Сичас на работу.

– Вы не поверите, какая возня с ними на заводах. Иногда из-за одного пьяного всё дело останавливается.

– Это преувеличение.

– А вот разочтите: на каждую пудлинговую печь трое рабочих в одну смену – у всякого из них свое дело. Один запьянствовал – остальным ничего поделать нельзя, потому – запасного нет. За этими тремя останавливается дело на всех пудлинговых печах – потому в общей связи все, операция одна у всех. Жар от пяти пудлинговых печей нагревает котлы для производства пара в прокатную паровую машину; таким образом, не топятся эти печи – остается без дела и прокатная. В конце концов, из-за одного пьяницы пять-десять человек сидит без дела, а иной раз и завод может остановиться. Рабочих в обрез, заменить нельзя, да и всякого не поставишь – нужно знание дела. У нас хотели поэтому добиться от рабочих подписи контракта, которым завод обеспечивает, со своей стороны, рабочим постоянное действие на следующих условиях: за прогул рабочий уплачивает, во-первых, своим товарищам, остающимся из-за него без работы, поденную плату, равную их заработку, во-вторых, заводу расходы по разогреву печей. Всего пришлось бы

и тех и других штрафов рублей семь-восемь. Рабочие упорно отказывались подписать этот контракт в течение двух лет. Думал я, думал – да и прижал их. Временно, до приискания новых рабочих, взял да и закрыл завод, а сам послал за народом в Чёрмоз, там многие без хлеба сидят. Ну, кизеловцы как узнали об этом – привалили. Согласны-де на контракт. В подобных случаях свои к чужим рабочим относятся крайне враждебно.

– Да вам стоит только закрыть кабаки.

– Мы их и не держим.

– Да ведь земля принадлежит вам.

– Если бы!.. Не вся. Между самими рабочими постоянно являются кулаки, поторговывающие водкой и только для виду работающие на заводах. Они еще охотнее идут работать в рудники, на пристани, где нет питейных заведений. Тут им полный простор, да и выгоды громадные, тем более что они отпускают пойло это в долг, в счет платы заработной, которая иной раз вся на маклака переводится.

– Да ведь вы знаете же маклаков в лицо.

– Еще бы не знать.

– Так отказать им от работы – и вся недолга.

– Попробуйте!

– Что же будет?

– Сами рабочие, которых он грабит, волноваться начнут. Вы их поймите... Тут сам черт не разберет. Да ведь, наконец, его изловить надо; нельзя же так – ступай вон. Он исправно работает. Тут и бабы пьют. Спросишь у мужиков: зачем вы бабам пить позволяете? «Не дай ей, – говорит, – так она из тебя все кишки попреками вымотает. Баба веселей и согласней с вина-то!» Вот вы и рассуждайте. И эти, что нам на пути встретились, тоже у своих же нализались. В Троицком руднике у меня кабака нет вовсе. Свои же рабочие маклачествуют...

Еще раз посидели мы на балконе троицкого управляющего, еще раз полюбовались на дивные виды, открывающиеся отсюда на юг и на восток. Нужно было отправляться назад. Гребцов отсюда к Растёсу нельзя было достать – все заняты на иных работах, а наши лоцманы тоже торопились на свою лесопильню, потому что там они забрались уроками, которые нужно было выполнить во что бы то ни стало.

– Назад вы живо поспеете. Сегодня же через несколько часов будете там.

Жара!.. Лодку быстринной течения понесло шибче парохода. Берега стеснились – Косьва течет по коридору. Небо кажется узенькой лентой. Где поположе, там леса кедровые к самой воде жмутся. Солнце играет сквозь листву, ярко-изумрудными огоньками засвечиваясь в прозрачных струях реки. Попадет горячий луч на водяную лилию – и в его ярком блеске светится она, точно раскалившийся комок серебра. А там опять лодку вдруг сносит в тень какой-нибудь горы – и краски блекнут, лучи гаснут. Синие и стальные тени ложатся повсюду; в недосыгаемой высоте кружатся ястребы, высматривая в чаще зазевавшуюся добычу. Вон из затончика выплыла утка и стремглав бежит по воде от нашей лодки, нелепо хлопая крыльями; за ней целый выводок суетится, не поспевая, и, видимо, страшно волнуясь, и вытягивая свои

голые еще головки... А там опять тишина, опять ничто живое не выгянет из мирных и прохладных уголков на эту жару. Разве ни с того ни с сего набезит иззади туча совсем незаметно, остановится на минуту над речною узиной, грянет гром, брызнет дождь, в каждой капле которого горит всё то же солнце... Еще несколько минут – и туча далеко-далеко, укладывается отдыхать на какую-нибудь горную вершину, и над вами безоблачное небо с черными точками ястребов и белыми искрами уже встречающихся здесь чаек.

Таким образом, чрез несколько часов добрались мы до Няра.

– А без вас тут несчастье случилось.

– Что такое?

– Да медведь задрал дроворуба... И главное – дерзость какая! – невдалеке от пильни, саженьх в двухстах.

– До смерти?

– Как же. Лежит теперь. Верно, неожиданно напал на него иззади... Лица не видно.

– Что ж, у него оружия не было?

– Ружье на земле валяется неразряженное, а топор в дереве сидит.

Я пошел туда.

Какая-то масса у недорубленной сосны. Топор действительно застрял в дереве, на земле целая лужа крови... Кожа с лица дроворуба содрана – сплошная рана какая-то; кости все изломаны.

– Что же вы его не покроете?

– Да, как же, дотронься... Хлопот не оберешься. Вы нашу полицию не знаете. Теперь из Кизела налетят. Фельдшер потрошить станет, становой явится...

Отсюда вплоть до устья Косьвы я решил спуститься на лодках.

До первой станции – до Губахи – считалось сорок верст, и по всему этому пути ни одного жилья. Берега Косьвы зато расширяются; река то и дело разбивается на рукава, образуя острова, покрытые тальником. Глыбь настолько значительна уже, что затонувших барок не видать вовсе... Тут Косьва принимает в себя горные речки – Нюр, Дергачку, Прикашерку, Кедровку, Мутную, Гремячую и многое множество безымянных.

– Живописцам бы следовало по этим речонкам побродить.

– Красивы?

– Не опишешь – рисовать надо. Сюда В. Ф. Голубев посылал Петра Верещагина. Тут, на Косьве, ему не привелось быть. Тут некоторые речки чудные совсем: течет-течет – пропадает, а верст через пять вновь из-под земли выбегает... Точно ей понадобилось на время от кого-нибудь спрятаться...

– Косьва наша хороша, а Усьва да Вильва еще красивее.

И действительно, только до одной Ослянки и Няра по тому пространству, по которому мы только что проехали, Косьва приняла в себя более двадцати речек. Из них по северному Няру, например, могут двигаться барки, а притоки его – Вогулка и Березовка – из совсем мало исследованной глуши. Рассольная, Большая Чирковая, Малая Чирковая, Ершовка, Гремяча, Малая и Большая Усьвянки, Таскаиха, Рассолка, Сухая, Ломоватиха, Ослянка, Гашковка, Полуденная – одна красивее другой. Подняться по любой из них вверх до истока – обязательно для художника. Я это сделал на реке Кедровке – и



не раскаивался, несмотря на трудность передвижения. Не описываю этого пешеходного странствования здесь потому, что пришлось бы представить читателю ряд картин, которые, будучи очень интересны на полотне, под пером являются крайне утомительными.

Скажу только одно: дикой красоты и сумрачного величия здешнего Урала я не забуду никогда.

### **XXXVI. От Няра до Губахи по безлюдью. – Картины берега. – Губаха. – Первый лесопромышленник**

Быстро скользила наша лодка, когда мы, оставив за собою красивый Няра, двинулись вниз по Косье. Берега обставлены скалами; иные, словно башни, далеко вдвигаются в воду, поддерживая в своих щелях и трещинах одинокие островерхие пихты... Совсем на южные кипарисы похожи они издали. Особенно эффектно это дерево, когда цепкими корнями вопьется оно в известковый утес и держится, темное на его белой поверхности. Оставленная рыбацья избенка на берегу полуразвалилась вся; такие же безлюдные теперь куреньки для дровосеков – и опять несколько верст горных берегов без малейшего намека на присутствие человека.

– Тут у нас жернова ломают, показывает гребец на жилье какое-то, прислонившееся к громадному утесу. И не рассмотришь даже вблизи этого убогого логовища – совсем теряется оно.

– Есть народ?

– Были, да ушли.

– Что же, не выгодно?

– Тяжко... Всё молчит округ тебя... Коли бы люди были – людей нет. У нас народ к заводам привык; на заводах округ тебя шум, суета... А тут гора насупилась, лес насупился... ну и бегут люди. Ты думаешь, легко тут...

Потом я встречал таких рабочих за Салдой – в другом уголке Урала. В конце концов человек и сам насупится, так что от него слова не добьешься. Подумаешь – больно говорить ему, а он просто молчать привык среди этих величавых гор, где как-то дико звучит громкая молвь человека... Вон, точно из зеленых облаков лиственного леса, круглящихся на красивом острове, поднимаются из самой середины стройные, высокие пихты. Совсем готической архитектуры дерево – так и кажется, что это стрельчатые колокольни какого-то чудесного собора. Известковые скалы горы Хорошей по пути на минуту останавливают внимательный взгляд туриста узорчатым и изящным наложением своим, совсем фантастического рисунка.

– Нашей красе конец приходит! – замечает гребец.

– А что?

– Да железнодорожные здесь проявились...

Действительно, в то время как я путешествовал по этому краю, думали, что девственная глушь его накануне кончины. Партии инженеров проходили

мимо, делали съемки. В конце концов рельсовая линия прошла стороной и Косьвинские пустыни остались нетронутыми.

Скалы за скалами, некоторые совсем розовые, горы за горами... Косьва делает извилину за извилиной. Плывешь по каким-то котловинам, дно которых залито водою... На высотах утесы напоминают фантастические замки, внизу леса ползут по ним и, бессильные добраться до темени, остаются на полугоре. Это какое-то царство диких уток: некоторые плесы чуть не сплошь покрыты ими. Изредка в прозрачных водах сверкнет хариус или видно, как юркая щука погналась за маленьким сижком. У входа в большие необследованные пещеры сидят ястреба и кречеты, совершенно сливаясь серым пером своим с цветом окружающего их камня. И камень весь исцелился совсем, точно это громадная кирпичная кладка какая-то. Черные зевы пещер провожают вас далеко, тянутся они внутри тоже на десятки верст. Так, например, если ветер отсюда, то он, войдя внутрь пещеры, выходит из Артемьевского рудника верст за пятнадцать; если ветер оттуда, то выдувается он из Губахинской пещеры. Иная пещера прячется за круглую, как старая башня, скалу, на вершине которой вместо зубцов давно выросли и давно уже постареть успели мрачные ели... Окрестности чем далее по направлению к Губахе, тем становятся всё грандиознее. Не доезжая шести верст до нее, вы совсем обманываетесь фантастическим складом утесов. Это десятки, сотни башен, громоздящихся одна на другую, крепостных стен, перепутавшихся какими-то самыми смелыми и неожиданными зигзагами. И налево и направо они... Башни перемежаются развалинами громадных дворцов и храмов. Вот уцелевший свод арки, вон куполы повисли в воздухе, вон какая-то колонна торчит вверх, поддерживая фантастическое Т – целую скалу, упавшую на нее поперек... Вон на вершине горы двубашенные укрепления, вон точно массивная мечеть с тонким минаретом... Протираешь глаза себе – куда попал я? Неужели это уголок России? Отчего же, где такой здоровый воздух, такие чудные окрестности, такие поэтические виды – отчего сюда не направляются наши скучающие туристы?.. Вон скала нависла над Косьвой; вся река стосаженной ширины течет под этим утесом... Наверху, на самом конце утеса, три громадные ели. Так и кажется, что вот-вот – и они, и сама скала сползут вниз и перегородят совсем течение этой светловодной реки... Как хороши эти картины, когда вечерняя заря обдает их своим багровым заревом, все эти развалины никогда не существовавших городов, руины никогда и никому не грозивших крепостей!.. Вон одна сквозная пещера на алом фоне гаснущего дня... Вся черная, а в ее зеве горит багровое уже солнце... Словно в окно оно смотрится сквозь этот удивительный туннель.

Река здесь почти недвижной кажется... Течение незаметно... Медленно таким образом подплываем мы к Губахе, тоже спрятавшейся на дно котловины и богатой со всех сторон такими же очаровательными видами. Громко рокочет она, перекидываясь через тысячи переборов, прежде чем здесь ей удастся соединиться с тихими водами Косьвы... Всё ее ущелье полно этого веселого, деятельного грохота... Весною Косьва здесь очень опасна. Дальше на ней масса порогов, и в одном 1875 году, например, здесь утонуло шестнадцать человек гребцов на барках. Речка бешено мчится тогда мимо этих

поэтических берегов... Косьва вспучивается на две сажени, питаемая тысячами речек и ручьев, и стремится с чудовищной силой в Каму.

– При такой глубине по ней могли бы идти и пароходы?

– Да, только никакой пароход не подыметя вверх при быстроте ее течения. Тут падение реки громадно.

То и дело весенние воды Косьвы выбрасывают на берега трупы гребцов и барочной прислуги... Недавно, за месяц до моего приезда, в четырех верстах от Губахи нашли таким образом прибитыми к берегу пять трупов гребцов и барочной прислуги, а двумя верстами ниже – шесть таких же.

– Тут раз полой водой медведя сбросило в реку. Он было барахтаться – куда! – понесло его... Верст за тридцать выбросило вон, только мертвого. Всю ему башку о скалы наши разбило...

– Ладилась мы шкуру достать!

– Не годится?

– Спорчена. Ослила да стерта... А где так и звания шкуры нет – сбило о камень... И медведь же громаднейший был... Я его увидел, как его в воду сбросило, потом пошел по берегу, думал, мех даром достанется... Только поехал в цветном, а приехал ни в чем.

– Самого ободрало?

– Да малость в речушке одной... Я думал малая, сунулся, а она и меня, что Косьва медведя, прихватила... Едва-едва выбился.

– Пошел на собаке сено косить.

– Точно что! В баню идти – пару не бояться. Любишь парко – люби и жарко... На-уру пошел. У нас медведи чудесные!

Не знаю, каковы губахинские медведи, но комары губахинские ужасны. Они не кусают, а подлинно жрут... Тут мажут лицо дегтем от них; иногда, впрочем, и деготь не помогает... Скот в воду загоняют эти звери. Часто кони даже тонут от комара.

– Здесь по всему этому околотку – пьянства мало...

Всё наша брага! До пропасти пьют ее. С огня на заводах и так здесь постоянно пьют ее. Она очень вкусна, белая; из проросшего овса и солода варят ее. Иной по полведра в день выпивает ее.

Трудно сказать, как бы питался местный рабочий, если бы не это пойло. Мяса он не видит и в праздник, хлеба не всегда вволю, рыбы мало. Особенно много ее употребляют в губахинских каменноугольных копиях. Они были известны давно, но до сих пор не разрабатывались, да и теперь – не особенно, хотя содержание этих копей рассчитано на девяносто миллионов пудов угля. Дело в том, что как его не эксплуатируй, но пока этого богатства девать некуда. При заводской топке и на Усольских солеварнях сто пудов угля соответствуют кубической сажени дров. Последняя заводам и варницам обходится в шесть рублей, тогда как только один подвоз угля обойдется в семь рублей, не считая расходов по эксплуатации. Только тогда, когда ценность его будет низведена на местах потребления, а не производства до шести копеек за пуд, можно ожидать, что его целыми массами станут жечь солевары и железняки. Но это долгая песня, а пока под топорами дровосеков гибнет лучшее богатство Урала – его леса!.. Самая речка Губаха замечательна здесь тем, что она

верстах в семи уходит в землю и через десять к северу опять показывается на свет, пробежав всё это пространство какою-то подземною жилой.

– У нас река хитрая!.. В прятки играет! – шутят губахинские крестьяне.

У Губахи пропадает одно из красивейших деревьев нашего севера – кедр; от Губахи на Каму идет уже всё лиственница... В старое время и на самой Каме водились кедры, но лет семьдесят тому назад они почему-то стали вымирать, уступая свое место другим лесным великанам. В Губахе же я встретил лютого ворога лесов. Смотрю – идет ожирелый кулак в простой сермяге. Сапоги бутылками, на голове широкополая шляпа; грязная ситцевая рубаха, воротник весь просалился – взглянуть ужасно. Борода реденькая, косичками, красные глаза из-под рыжих бровей так и бегают...

– Миллионщику!.. – приветствовал его мой спутник.

– Здорово, Иван Степанович. Каково прыгаешь?

– Ничего... Твоими молитвами. Чего тебя сюда занесло?

– Да вот, ладился леску прикупить, на сруб то ись. Сухмелился с управляющим... хорошую цену давал.

– Ну?

– Не пошел, чтоб его! Уж я ему резонты всякие подводил. Говорю: отпиши, что пал прошел и лес пожег на корню.

– Что же он?

– А, забодай его комар, в шею выгнал.

– Тебя-то, миллионщика? Как же ты это стерпел?

– Что ж – дело торговое, стерпишь...

– Вы посмотрите-ка на Федосеева этого, – обратился ко мне Иван Степанович, когда лесопромышленник отошел на минуту. – Вы как думаете о нем – мужик, по виду, самый последний, а у него мильона два, у козыря у этого. Он один, я так полагаю, по Каме больше лесов извел, чем все заводчики вместе взятые. Он как это дело ведет: явится к лесничему и давай его охаживать, а какой народ лесничие – вы сами знаете... Ну, сторгуется – и давай рубить. Сколько он этих казенных участков извел...

– Да ведь ревизия бывает же?

– Какая там ревизия. Вся ревизия в том и состоит, что приедет набольшой, пообедает, получит, что ему следует, – и дальше, на следующую получку. У нас такие участки есть, которые только числятся на бумаге да на картах, а их давно и след простыл... и не пахнет. По тем местам давно один песок, где когда-то рощи кудрявые стояли... Самые осторожные – те позволяют «расчищать лес», т. е. рубить не сплошь, а через три-четыре дерева. Лучшие, разумеется, по корень, а худые пушай стоят. А то еще, когда пал – так это очень выгодно. Лесничий от этих «божьих произволений» большие тысячи наживает. Молонья снимет пяток деревьев, а лесничий срубит их на версту. Всё равно: кто поверять станет? А то тоже есть еще гниющие на корню деревья, которое перезреет – его рубить надо. Вы посмотрите на пни этих, «сгнивших» как бы, лиственниц... Крепкие, как камень. Этот Федосеев еще на какие штуки пускается. У него паутина везде раскинута, и в Питере тоже. Узнает он, примерно, что молодой заводчик какой в Питере закутился, деньги спустил. Он сейчас своим паучкам: «Дай денег под большие проценты»; те дают.

Прошел срок – векселя вдвое... А потом и сам Федосеев является. «Так и так, ваш векселек у меня?» – «Погоди, голубчик, денег нет!» – «Ждать-то нельзя, мне теперь надо леса покупать, контрактом обвязался поставить туда-то». – «Да у меня ни гроша, говорят тебе!..» – «Уж вы не заставьте ко взысканию»... Сунется заводчик туда, сюда – никуда ему пути нет... Опять к Федосееву. А тот: «Да что вам, батюшко, с лесом-то возиться. У вас гниленький лешишко есть... Я бы его взял за долг. Вы спросите у вашего управляющего, какой это лешишко; ему грош цена... Я уж бы его так, что к месту очень близко». Спросит дурак у управляющего, а тот уже стакнулся с Федосеевым. «Если есть покупатель, нужно скорей продать. Ничего этот лес не стоит». Так на сто тысяч за какие-нибудь десять и сбудут ему чудесного, крепкого леса... И он-то, Федосеев этот, дурак!.. Коли бы он рубил с толком. Одно вырубил, другое оставил, исподволь у него бы гораздо больше было, да и на будущее время тоже осталось, а он всё сплошь. Хуже лесного пожара пройдет. Там хоть обгорелые стволы останутся, а от этого ничего. Сколько у нас рек из-за этого Федосеева обмелело в Камском бассейне – не сочтешь. Я это всё про тебя, – обратился мой спутник к Федосееву.

– Ругаешь меня, должно?..

– А как же тебя хвалить-то? Не за что. Самый ты вредный человек.

– Я-то?.. Ты спроси, сколько я народу кормлю.

– Знаем мы твои кормы! Впроголодь народ живет, весь он у тебя в кулаке зажат. Крепко ты его держишь.

– А как иначе? Распусти попробуй. Всё же я за них – и подать, и недоимку... и казне от меня хорошо! Вон из Перми меня к кавалерии представили – святого Станислава хотят навесить, а всё за что – казне пользу доставляю.

– А чиновникам-то еще большею.

– И чиновникам есть-пить требуется. Ты думаешь, у ево, у чиновника, брюха нет – сделай милость, какое еще. Младенцев у них тоже понасыпано. Ты думаешь, он на царское жалованье прожить может да мадаму свою одевать-обувать!.. Все мы люди, все человеки. А вот как Федосеев налицо – ему и думать нечего. И младенцы евоны сыты будут, и мадаму он подкует в лучшем виде. Я и судье дай, мировые-то нынче еще побольше берут, чем прежде. Прежде, бывало, с десяткой пришел – первый гость, а ныне – врешь! И с радужной-то не сразу сунешься... А у нас и такие язвы завелись, что и вовсе не клюют... Какую ему наживку не надевай – не идет на уду, хоть ты что хошь... Вот это точно что зловердные мигилисты... Опять же в губернии – тоже всем подай. Ты вот что умом-разумом раскинь... В пользу бедных у них разные генеральши собирают. К кому? К Федосееву. Клуб строили в заводе – к Федосееву... Всё я... не разорваться же мне, дело явственное.

– А у народа хлеб плохо родится, а заработков нет – потому на заводе топлива мало – завод закрывается.

– Посмотрю я на тебя, совсем ты обстоятельный парень, Иван Степаныч.

– Что так?

– Ты подумай-ко, о чем ты говоришь... хлеб плохо родится... от того, что я леса рублю?

– Верно.

– Леса Бог на потребу человеку создал и рубить их указал... А хлеб не родится, потому ноне греха много стало. Везде грех... Разве народ ноне такой, какой прежде был? Оттого Господь и наказует, неурожаи ниспосылает... Теперчи заводам не хватает лесу – опять потому, что Бога перестали знать... Иначе и Бог бы возвращал леса сколько надобно. Ну перестану я рубить, положим. Что ж, Бог без меня не найдет средства покарать? Да он молоньей спалит лес, и всё едино останется завод без дров. В лесу всякая нечисть водится... Злодеи куда укрываются – в леса... Где больше всего убивств – в лесах, где странному человеку страшно – в лесу. Их и изводить-то не грех... То ли дело поле. Оно откровенное, на ём все видать – зеленое стелется тебе... Смотрит на него Бог сверху – и Богу весело... потому поле Божие...

– А лес?

– А лес – наш, мы его и рубим. Молитесь, Господь вам такие ли возрастит леса... А вы Его всемогущего забыли, да на меня жалитесь... А я что! Я свое дело сполняю да народ кормлю. Ты узнай, сколько от меня жить-то пошло.

– Да, мошенников здоровых наплодил.

– Их грехам я не ответчик... Сколько храмов Божьих из моих лесов построено! На Каму выйдешь... беляна бежит – глядишь и радуешься. Из моего леса сердешная. На беляне народ – бедовали бы вы, други, коли бы не срубил я вам беляны. Моим лесом и зимою греются, и летом от стихий укрываются... Ты сначала пойми, какое это дело-то... Тут, брат, не то, что сразу рискнул умом и решил... Коли бы еще барин сказал – не обидно, а ты свой человек, торговый... ты меня этим словом как ушиб-то...

– Ушибешь тебя!

– Отчего не ушибить... Всякий злой человек ушибить может. Вот в Екатеринбурге мировой судья есть \*\*\*. Слыхал?

– Как не слышать!

– Ты послушай... Он человек умный... Что он говорит: Федосеев всему Пермскому краю благодетель. Вот как умные-то люди!

– Этот \*\*\*, – обратился ко мне Иван Степанович, – прежде горным чиновником был... Зверь зверем. Просто злодействовал в своем округе. Пришли новые времена, его в Екатеринбург выбрали судьей... Вот он по одному делу приговорил мужика к штрафу и объявляет ему:

– Вы можете в двухнедельный срок, если недовольны, обжаловать мое решение.

– Кому же жаловаться-то?

– Принесите жалобу ко мне, а я ее направлю в съезд.

– К тебе-то, да на тебя-то?.. – и ответчик изумленно уставился на него. – Лучше уже получай-ка! Зубы-то у нас, слава Богу, не раз считаны, знаем мы это, как на тебя жаловаться.

– Теперь, мой друг, время не то...

– Коли ты сидишь да судишь, значит, никакой перемены не будет... Это ты уже прости меня... Нам-то ручки твои хорошо известны. На, получай эту штраффу, Бог с тобою... И квитка не надо мне, ну его к Богу...

В Губахе было несколько человек больных, одного уже два месяца трепала лихорадка.



– Надо бы в Кизеловскую больницу отправить, да все некогда. У нас земство ничего по заводам для народного здоровья не делает. Вы как бы думали – с Лазаревских дач оно получает ежегодно пятьдесят тысяч рублей, а взамен дает нам ноль. Только уже благодаря настойчивости управляющего прислали нам в этом году в Чёрмоз акушерку. Тут по веснам народ страсть мрет. Особливо у Федосеева на лесных работах. Иному придется целый день по пояс в воде, ну, прохватит мороз – и кончено. Пища у них плохая, одежка тоже. Ночью согреться негде: избушки-то на курьих ножках, сквозные...

### **XXXVII. По низовьям Косьвы. – Хлебопашество. – Косьвинские бабы. – Местное предание о бабе-разбойнице**

Хлебопашество начинается в верстах восемнадцати ниже Губахи, да и то плохое. Сеют, только для подспорья при заводских работах, ячмень и овес, ржи совсем мало. В двух деревнях по левому берегу – Майковой и Тихой – хлеб родится ничего, так что из своего хватает до Масляной, на остальное время года нужно прикупить. Поля тут окаймлены лесами, защищающими их от непогод: часто посреди нивы поднимаются нарочно оставленные «для красы» пихты. Эти же северные кипарисы и в самом селе Малкове торчат между избами, придавая много оригинального жалкой деревушке. Ранее Малковой мы оставили за собой Плоскую, Шестаковку, Кедровку и Сонливую. Эти жалкие выселки похожи на становища переселенцев, устроившихся в новых местах не совсем, а так, для опыта, что-де из этого выйдет. Очевидно, здесь скудно живет население. «Рыбой живем – да рыбы мало. На завод ходим, когда работа есть, а то по лесам уголь жжем». Видимо, ничего определенного. Косьва тут разливается по веснам и зачастую сносит прочь гнилые избы, останавливаясь только перед громадными утесами правого берега, которые снизу доверху выдвинули точно какие-то ребра. Все они из пермского песчаника. В горных лесах на каждом шагу слышны дятлы.

- Опрятная птица!.. – замечает мой Иван Степанович.
- А что?
- Да не только за собой ходит, но и дерево чистит, червя выклеивает...
- Нужно есть что-нибудь!..

Проплыли мы мимо Брюханова, Малкова. Ни одной церкви по всей реке до сих пор, только в тени красивых рощ поставлены часовни. Более усердные крестьяне и без попа устраивают общие моления в часовнях по субботам и праздникам, и то, впрочем, старики. Молодежь в часовню не заманишь. Ей некогда. Нужно работать. Здесь если не потрудишься – так и есть нечего. С жиру не бесятся!.. И погулять-то им не удастся... По заливным островам косят траву исключительно бабы... Изумленно оглядывают они меня, видимо, посторонний человек в этой глуши – диво дивное.

- Купца везешь?.. – орут они Ивану Степановичу.
- А что у вас, продать есть что?

- Самих себя, друг любезный... Почем с пуда платите?
- А вы почем ноне ходите? – отшучивается мой спутник.
- А цена по покупателю. С молодого дешевле, а с тебя, старого да неладного, дороже.
- Тут у нас баба бойкая! – замечает Иван Степанович. – Она тебя языком забодает.
- А на деле?
- Совсем другая статья. Послушай-ка: подумаешь разврат, а ты попробуй, приступи. Ни за деньги, ни так... Еще есть девки, которые шалят, а баба знает своего мужа и больше никого...
- Плывите сюда! – кричат нам с другого заливного острова.
- Зачем?
- У нас мягко... Ишь, травы сколько накопили... Есть где поспать.
- Экие вы бабы смелые.
- Ты выйди-ка, мы тебе покажем, какая у нас такая смелость, – и грозятся издали косами, пересмеиваясь между собой. – Ишь у тебя чиновник заснул совсем, дава-кось его сюда... Мы его развеселим. А то он у тебя, что дятел, опустил нос, да и пыжится. Ты ему распусти-ка хвост... Соли ему насыпь, чтобы он пофорсистей был...

Столь непочтительные замечания на мой счет заставили меня от души хохотать.

- Вы еще таких дамов не видели.
- Всяких видел! На севере и похуже.
- Это почему?
- А ругаются прямо... Родителей до третьего восходящего колена потревожат.
- Ну, вот погодите, на низ поплывем, так вам бабы и не такие еще встречи устроят. Вы эту бабу весной посмотрите. Тут из Малкова да из Брюханова мужики все на сплав железа, чугуна, да руды всякой уйдут – бабам тогда воля вольная. Вы их тогда послушайте. Подумаешь к пьяным попал, а они только что душу отводят.

Совсем населенными местами поехали. Картина изменилась. Недавнее величавое молчание красивых окрестностей пустынной Косьвы уступило место жизни и движению. Где сёл нет – там по реке рыболовы скользят на своих челноках, по широким плесам сетями рыбу тащат... На солнце блестят чайки, эти всегдашние спутницы рыболова... По островам, где людей нет, гомонит всякая птица. Задорно орут о чем-то зяблики. Одна другой выкрикивают что-то без устали.

- Ишь, птаха тоже... Махонькая, а как наговаривает... Озорная!.. – замечает гребец.

Вон мужики на берегу... Эти держат себя солидно, не то что бабы.

- Дождика дай-то Бог вам! На травку-то, на мяконькую, – кричит наш лоцман...

- Тихой погоды вам! – отзываются те, проводя глазами быстро скользкий челнок.

Горы только с одной стороны теснятся. Другая вся в кустарники ушла. Гладью легла... Далеко окидываешь ее взглядом. После недавнего безлюдья – сёл

точно насыпано. Одно уйдет из глаз, смотришь – другое выдвигается... И избы пошли уже чем ближе к Каме, тем лучше. Видимо, народ зажиточнее. Тут уже период колонизаторства пережит, тут люди осели прочно на века. Отсюда они не тронутся никуда. Под Красной сплошь целые горы под нивами. Вон по ним ветерок волной бежит. Вон редкая по этому краю рожь тоже клонится под легким веянием жаркого сегодня воздуха. Так жарко, что я мокрым платком голову обвязал. То и дело мочим водою лицо. Томит знойное солнце, рад бы Бог знает куда уйти от него...

Большая лодка нам навстречу. Бабы гребут совсем по-поморски – грудью на весла наваливаются. Лодка быстро движется от этой ловкой, мерной гребли. Лица вспарились.

- Эх вы, работницы! – иронически встречает их лоцман.
- Молчи, чертова кайла! – весело отзывается одна из баб.
- Тебе бы мутовкой кашу мешать, а ты весла взяла, дура несуразная.
- Вот лопану тебя мутовкой этой по лбу... Ты у меня станешь трогаться...

Ирод! – погрозила она ему веслом.

– Псой пропахли.

– Ах ты... – и тут в воздухе повисла такая меткая и в то же время неожиданная ругань, что не только я, но и лоцман рот разинул.

Минуты две мы проплыли в немом молчании.

- Ну и бабы!.. – наконец разразился лоцман.
- А что, невкусно?
- Да... Эта баба, брат, отзвонит... лучше попа...
- Косьвинская баба мужика загоняет, тут баба вострая.
- Ишь, какие они... уязвительные! – никак не мог успокоиться лоцман.
- Это никак иначе – с Колотовки.
- Почему? – спросил я.
- А потому, что другой бабе так не выругаться. Колотовские – мастерицы на это!..

Иной раз случается на Косье – ругаются, ругаются две лодки, из коих на одной мужики гребут, а на другой бабы, да и всерьез раздерутся. Веслами друг друга по затылкам поглядят, а то и так, ради смеха, возьмут да и опрокинут лодки одни у других.

- Ведь так и утонуть можно?
- Зачем. Нашу бабу силой не утопишь... Нашу бабу вода не берет.
- У нас бабы особые. Вы когда-нибудь слышали про камскую Фелисату?
- Нет.

– Великая атаманша была... Если верить старикам – она и на Косье пошалаивала.

– Расскажите пожалуйста. Я записываю все подобные легенды. На Волге мне удалось собрать несколько таких про тамошних разбойниц.

– Был один поп, в Усолье жил – давно уж это! Может, двести лет назад, а может, и триста! Женился этот поп на работнице своей; из Орла-городка<sup>14</sup> пошла она к нему в услужение. Девка была красивая, здоровая, а силы такой,

<sup>14</sup> Орёл-городок – село на Каме.

что раз переделась парнем да на бой с солдарами и вышла. Тогда в Усолье по праздникам бои бывали. Пристала к партии, которая послабей, и всех одна осилила. Женился на ней поп и стали они ссориться. Только раз Фелисата эта ушибла его так, что он уже не вставал больше. Ну попа похоронили с честью, хотели было Фелисату взять – не далась: кто с таким чертом справится? Наконец, стрельцов пригнали, сонной забрали ее – посадили, она в ту же ночь высадила ворота в остроге и не только сама ушла, но и всех колодников за собой увела. А в тое поры на Каме, у самого Усолья, нарядная строгановская ладья стояла. Села Фелисата с колодниками на ладью, отвезла их в Орёл-городок и отпустила на все четыре стороны. «Идите, братцы – промышленяйте вольным разбойным делом. А вот вам и запрет: воевод и купцов хоть в Каме топите, а только мужика у меня чтоб не трогать... А кто мужика тронет – того и я не помилию»... Опосле того забрала она двух своих сестер из Орла-городка, переделась с ними парнями, накупила себе оружия всякого и стала по всей Каме плавать... Где прослышит, что есть сильная баба либо девка, сейчас к себе сманит. Так она большую шайку собрала, баб с полсотни у ней было. Нашли они себе пещеры, убрали их коврами персидскими, утварью разною и положили промежду собой такой завет, чтобы всё поровну делить и чтобы отнюдь к себе мужчин не пускать... А на ту пору из Сибири караван с царским золотом по Каме шел. Прослышала о нем Фелисата и на легких стругах кинулась по следу. Под Оханским нагнала, перебила всех стрельцов, что с караваном шли. Из Оханска хотели им помочь подать, она помочь отогнала, а оханского воеводу на берегу повесила. Потом забрала награбленное и ушла в свои пещеры... Пять годов бушевала она так – ни купцу, ни царскому приставу ходу по Каме не было. Ежели кого начальство либо хозяева обижали, сейчас к Фелисате шел. Она разбирала по всей правде. Князя одного розгами высекла, гунчурского купца вверх ногами повесила. В Сарапуле воевода один был – ладился поймать ее... Всем своим хвастался – уж запру ж я ее в клетку железную. Она одна к нему приехала... «Запирай, – говорит, – хочю посмотреть я, как это ты с бабой совладаешь».

Ну, у того от страху язык отнялся. Только потому она его и помиловала. Раз она прослышала, что на Чусовой проявился разбойник один и себя за нее выдает. А разбойник этот больно простой народ-чернеть обижал. Фелисата на мужижких ворогов накидывалась, а он мужика грабил да теснил. Дани ее именем собирал. Послала она к нему свою подручную, ой, уймись-де... А подручная была собой красавица писаная. Разбойник ее не пожалел – обидел; тут и поднялась Фелисата сама, собрала всех своих и вызвала его на открытый бой. На Чусовой они и дрались. Два дня дрались, на третий она полонила его, собрала по берегу всех, кого обижал он, велела большой чугунный котел принести, связала его да живьем и сварила... С той поры и камская вольница против нее ничего не могла... И стали все ее бояться и уважать...

– Чем же она кончила?

– Разное... Один говорит – спокаялась и в Сибирских пределах, в Беловодье, большой монастырь женский поставила и сама игуменьей была, а другие толкуют, будто тесно ей на Каме показалось и ушла она на Волгу.

– Под Казанью рассказывают, что действительно одна атаманша с бабьей шайкой на Волгу с Камы явилась.

– Вот-вот... только на Волге, будто, занимался тогда вольным промыслом Стенька Разин. Послал, будто, к ней послов Стенька, желаю-де пожениться с тобою, чем нам розно, лучше вместе жить. Ну она и говорит: «Если победишь меня – бери. Твое счастье». И стали они биться. Семь дней бились, никак один другого взять не могли... Тогда Стенька и слукавил. Говорит: «Не может этого быть, чтоб ты бабой была, потому где твои косы?» А у ней коса под шелом запрятана была, только она показала ему косу, а коса у ней по земле волоклась, он и схватил за нее... Схватил, закрутил на руку – и победил Фелисату. А после они поженились и Персию вместе воевать ходили...

– Да имеет ли действительный смысл эта сказка? Было ли что-нибудь подобное?

– Это насчет чего же?

– Случалось ли, чтобы бабы в Пермской губернии когда-нибудь разбойничали?

– В демидовских владениях ста полтора лет тому назад была Марья, одна лиховала; у Всеволожских лет семьдесят назад тому одна баба тоже разбоем занималась!..

Деревни за деревнями сменялись по обоим берегам. Только два села попало нам побольше. Вот Фетинова. Трудно глаза оторвать от нее – так она красива... Сползает с одной горы, заполняет лощину и опять взбирается на скат противоположного кряжа. Горы мало-помалу отступают. Силуэты их точно висят над зелеными понизьями. Кое-где по гребням отдаленных вершин словно ласточкины гнезда лепятся деревнюшки... Вот одна прислонилась к круче, на весу вся. Так и кажется, что первым ветром снесет ее прочь...

– Отчего внизу не строятся они?

– Нельзя, Косьва заливаает всё. Вода ярая в ней веснами. Иной раз так пойдет, что от деревни бы и следа не осталось. Не нашли бы где и была она...

За Кужгортм Косьва воложками пошла. То и дело дробится на рукава, точно ей каждую пядень земли этой по всем сторонам обласкать хочется.

– Это на Волге воложками зовут, – замечает мне Иван Степанович.

– А у вас как?

– У нас проточины эти заостровками зовутся.

Совсем время стоит какое-то несуразное. То печет, то вдруг налетит туча, грянет гром, обольет дождем как из ведра, а через минуту солнце опять жарит еще пуще, так, что не знаешь, что делать: лечь ли мертвым трупом на дно лодки или броситься за борт в Косьву... Каждый час мы купались, но спустя несколько минут всякий раз нам становилось еще душнее, еще невыносимее...

– На воде здесь всегда так жжет! – отозвался лоцман. – Погодите, дальше пятнами по телу пойдут ожоги...

Я было усомнился.

– А вот завтра увидите...

– Да что же это – Астрахань, что ли?

– Нет, не Астрахань, а Косьва... Почисте Астрахани истомит... Пекло такое!..

Первую церковь мы встретили у села Перемского... Еще издали заметили ее массивный белый силуэт у самой воды. Кругом превосходные постройки. Видно, что народ живет зажиточно. Поля на десятки верст раскинулись кругом. Здесь, сравнительно, сеется много хлеба и урожай чудесный. Кому нельзя дома прокормиться, тот идет заготавливать дрова для Чёрмоза или Кизела, а то и на заводскую работу нанимается... Само село разбросалось на большое пространство кучками. Тут группа изб, в полуверсте – другая группа, а там – третья... Таких групп мы насчитали до двенадцати... А вдалеке мерещились еще и еще. Бабы здесь совсем бесцеремонны.

Нас с берега обдавали такими любезностями, что даже привычный Иван Степанович и тот диву дался.

– Ну, однако!... – только и мог проговорить он.

Зато только что мы причалили и вышли на берег – перемена декораций полная. Еще минуту назад ругавшиеся девки застыдились и даже стали закрываться рукавами. Попробовал было им лоцман напомнить некоторые подробности их же собственного словаря – они и вовсе разбежались! Никого я по всему этому краю не встретил в лаптях. Перемский мужик всегда в исправных кожаных бахилах, которые сотнями тысяч заготавливаются в Сарапуле, на Чусовой и в Кунгуре. Отсюда их развозят во все захолустья... Даже в Вологду – в какой-нибудь Кадниковский уезд идут они...

– Перед этим Перемским селом каждую весну несчастья с барками. Шибко тонут. В мае между двумя барками расплющило мужика... так, чтобы вынуть труп, пришлось вырезать часть стены одной из них.

– Что же они, разойтись не могли?

– Куда тут разойдешься, когда разом целый караван собьется. Чтобы понять, какая это кутерьма, нужно здесь самому быть. Иначе и представления более или менее верного себе не сделаете. – Вот приезжайте к нам весной. Тогда вы нашу кормилицу Косьву не узнаете.

### **XXXVIII. Село Перемское (Никольское тоже). –**

#### **Бабы на рыбной ловле. –**

#### **Привилегированная птица. – Село Филагоино. –**

#### **Свободная любовь. – Неплательщики.**

В Перемском селе даже роскошь заметна. Есть хорошие крестьянские избы с расписанными голубцами, красными и желтыми цветками фантастического рисунка. Около окон устроены затейливые шкапики того же пестрого письма, с набойкой на полатях. Кое-где просто по стенам расписано наивной кистью.

– Кто это у вас искусник такой?

– Из села Нижегородки один ходит. Да что, мы его ноне к себе не пушаем.

– Что так?

– На девок больно лих. Сколько он у нас перекастил их, страсть.

– Да ведь у вас на этот счет не особенно строго. У вас баба должна остерегаться, а девка – вольный казак.



– Точно это, а только водись со своими парнями. У нас такого заводу нет, чтобы с чужими. Чужой за себя не возьмет – он перервал ей горло и прочь, а свои поженятся.

В крестьянских избах до пропасти картин суздальского дела навешано. Видимое дело, люди со вкусом живут и не об едином хлебе заботятся. Особенно популярна обтянутая в трико дама с громадным шиньоном, катающаяся на велосипеде, тысячелетие России и еще одна картинка совершенно фантастического содержания, где под ногами у коня с зеленым генералом в седле проходит процессия митрополитов и архиереев.

– Что это обозначает?

– Торжество!

– Какое?

– А бес его знает.

Тут в нынешнем году (1876) как с весны засел тиф, так и до сих пор держится. Народ мрет от него – врачебная помощь совсем бессильна. Наезжал фельдшер, но он, с неделю позанимавшись легкомысленным поведением, убрался восвояси; доктора нет. За всех за них лечит какая-то баба, дает пить воду с трех угольев, шепчет какие-то «тайные слова» по зорям и парит больных в бане. Больные после всех этих хлопот о их здравии «дохнут, хоть ты что хошь».

– У нас, брат, согласно помирают, не то, что с упирательством; у нас так – помирать, так помирай. Мы этого нисколько не боимся. Иному-то и помереть лестно, потому – оденут его во всё чистое, воют над ним, честь честью – ну он и понимает это!.. А наши бабы точно что от кашля могут, от трясавицы могут, а от синей болезни – никак.

– Почему же эта болезнь – синяя?

– Потому – человек весь поголубеет... Весь в синее пятно пойдет... Это у нас каждую весну шибко держится болезнь... Ишь до самого леса дотянулась... Всё от реки. Бездушная наша Косьва-река. Другие реки смиренные есть, а наша – буйная, ярая... кормилица! А что толку в смиренстве? Смирен пень, да что в нём?

Местный тип совершенно иной, чем в верховьях Косьвы. С Перемского села начиная живет здесь народ рослый и сильный. Плечи широкие, хребты могучие. Пермские на заводах любят работу при кричных печах, вообще открытую, на земле. В рудник под землю пермского никак не заманишь. «Последнее это дело – от солнышка хорониться. Мы не черви, чтобы в землю заползать. Человеку указано на земле жить».

Мягкие зеленые луговины стелятся отсюда вдоль реки, особенно по левому берегу – уходят они в необозримую даль. По сочным низинам торчат пихты; мерещатся богатые нивы по отлогим скатам, там, где земля едва всхолмливается... Где-то далеко-далеко нет да и примерещится смутный силуэт одиноко стоящей горы. А там, смотришь, и целый кряж, точно какая-то тучка застоялась на горизонте. Мы отплыли из Никольского (Перемского) к вечеру... Солнце склонялось к западу и пропало, не дойдя до горизонта.

– Неужели село уже?

– Не должно по времени. В мороку, надо быть, ушло.

В синих сумерках вечера тонут понизи... Берега тальником заросли. Вдали густится «морок», а что в нём – не разглядишь. Ветром с лугов пахнуло – медом запахло.

– Ишь, как обносит! Чудесно!

– Пчел держите?

– Нет... Медом мы не занимаемся. Где нам! Некогда, да и морозы большие и долги – до медов ли тут! У нас пчела не живет!.. Тут поправей надо взять, ишь, намывная мель. Косьва за эту весну мелкого камня сюда наворочала до страсти!

Мель всползла, наконец, поверх воды. По мели груды бурой руды разбросаны.

– Что же это такое?

– А барки здесь весною здорово било. Ну вот какую руду успели спасти – сгребли сюда!.. Завтра быть хорошей погоде – ишь, птаха, как она разыгралась, – прибавил он, немного помолчав.

Ласточки взмывали всё выше и выше... Река тянется спокойными плесами; несмотря на трудные и капризные извивы, вода, точно расплавленная тяжелая сталь, не шелохнется... Гуще пахнет медом с далеких лугов, должно быть, сплошь затянуло их ароматными цветами. Вот направо маленький выселок. Бабы, по пояс в воде, тянут невод... Мы плывем близко-близко... На поверхности реки в черте невода булькают хариусы, головли... «А это вон щеклея мечется, – заметет лоцман, показывая на юркую рыбку, перемахнувшую через край невода. – Она завсегда уйдет».

– Эх ты, матка, рыбину-топустила!

– Довольно и без нее... Каждому жить хоцца!..

– Нет, которая рыба справедливая, та завсегда в уху согласна. Она в неводе себя тихо держит. Не шелохнется!.. А эта, щеклея, завсегда такая лукавая. От ее пользы мало!..

Бабы давно уже остались позади со своим неводом. Сумерки вечера густелись всё больше и больше. Вон едва-едва выделились из них тесовые кровли села Веселково. Рыбачье и земледельческое – весь берег перед ним усеян лодками да челнами, земли не видно, а по объяснению гребцов веселковские поля так далеко идут, что их и глазом не окинуть... Тут и караванничают, по Косьве и Каме.

– Богаты веселковские?

– Богаты, богаты, и все на заводах работают.

– Как не работать, подать заробить надо, из-за подати идут на завод. Зато им хлеба своего хватает от урожая до урожая... Не то что у нас в верховьях... Здесь народ не заморен..

Хорошее понятие о богатстве: хлеб есть – значит, богаты. Веселковцы, как и по всей Косьве, не продают своего хлеба на сторону – самим надо. Поужнее, у устьев, торгуют хлебом, но там в последние десять лет кулаки завелись, и излишек хлеба поэтому стал не источником крестьянского богатства, а, напротив, поводом к мужицкой нищете. Кулаки и в Веселково забирались, но народ здесь имеет несколько промыслов и заводы под боком, так что мироедам пришлось несладко и они убрались прочь. Кроме того, в Веселково

не настолько дисциплинированное население, чтобы ему можно было на шею сесть.

– Веселковцы не обидишь!

– Почему это?

– Потому что он у мироедов избы палит. Веселковцы на всякую отчаянность пойдут. Тут народ храбер. Ему что, ему всё равно. Ивана Артемьева в разор разорили. Стал он их кабаками донимать. Они и пропились было, а потом и кабаки да и дом у Артемьева пожгли. Так он ни с чем от них и ушел. Тут и против начальства если пойдут, ничего с ними не поделаешь... Силой с начальством нельзя, потому что силы у начальства больше, так веселковцы, как и прочие по Уралу, чуть что – сейчас белые такие кафтаны повздевают, на горку выйдут и объявляют: мы-де неплательщики, не хотим ни податей, ни мирских сборов платить... И как только объявятся у нас неплательщики, ничего ты с ними не поделаешь – пори его, в землю рой, в Сибирь сошли – ни копейки не даст. Тут, по заводам, где мужик разорен, этих неплательщиков много. Всем селом в неплательщики идут. Взять с них нечего – скота нет, имущества никакого, избы сами на дрова пожгли. Молятся да белые кафтаны носят.

Наивное описание неплательщиков, сделанное моим лоцманом, оказалось верным. Неплательщики, главным образом, объявляются там, где народ разорен дотла безработицей или где и есть работа, да заводское управление неисправно в расчете. Народ отказывается работать; начальство налетает «усмирять бунт» и к ужасу своему видит толпу совсем спокойную в белом, заявляющую, что отныне они неплательщики, и тут уже действительно – пори насмерть, а толку не добьешься. Неплательщики эти имеют даже религиозную подкладку... О них мы расскажем впоследствии, когда очередь дойдет до Чусовой.

Из затончиков то и дело выплывают лебеди. Самец неизбежно впереди, самка за ним рядом с детенышами.

– У нас их не бьют. Убьешь лебеда, другой над этим самым местом неделю, а то и весь месяц плакать будет, на следующий год прилетит туда же и снова плакать начнет. У нас их жалеют. За них и Бог наказывает.

Тут верят, что убить лебеда – значит накликать на себя большое несчастье. Один охотник, будто бы не веря этому, застрелил лебеда, а у самого жена умерла сейчас же. Он взял другую, и опять на промысле не удержался, убил птицу – и вторая жена тоже умерла. Он женился на третьей – с ним повторилась та же история...

– Жаль, петербургские мужья не знают столь простого и легкого средства, – заметил я Ивану Степановичу.

– А что?

– Они бы живо собрались на Косьву лебедей бить! И просто, и хорошо, и совесть спокойна.

Выгибая длинные грациозные шеи над водою, дикие лебеди плыли мимо нас, не сворачивая в сторону. Кажется, совсем неподвижны они, а между тем живо оставили за собой нашу лодку.

– В Верх-Нейвинском округе водится такой обычай (крестьяне между собой постановили): кто убьет лебеда, того в волостное правление и драть.

– И дерут?  
– Еще как.  
– Значит, поверье исполняется неукоснительно. Убьет лебедя и сейчас же несчастье накликает.

– В Тагиле про одного из Демидовых рассказывают (кажется, про деда нынешнего): привез он себе из Питера любовницу, красавица была, и стал с ней жить где-то в Невьянске, что ли... Только раз пошел он на охоту, побродил целый день, ничего не удалось ему убить, озлился он, а тут на него лебедь белая как раз и выплыла. Он приложился, да прямо в грудь ей... Ну, лебедь шею склонила, готова!.. Приходит Демидов домой, а прислуга бегаёт вся ополоумевши. Ни на ком лица нет.

– Что случилось? – спрашивает.

Никто доложить не смеет. Только один выискался, пал на колени.

– Великое горе!

– Да что такое?

– Час тому назад, невидимо откуда, выстрелили в барыню... Прямо в грудь ей попали! Насмерть!..

– Кто?..

– А неизвестно... Вдруг точно сверху ударило...

Бросился к ней Демидов, а у той под правой грудью ранка и кровь из нее сочится... Он и понял, в чем дело. Разумеется, сказка, но сказка характерная и не лишенная своеобразной поэзии. И Ермака припутывают тоже к этим преданиям о лебедях. По Чусовой когда Ермак подымался, так лебедь ему показывал дорогу, впереди плыл, где отмели или камни, лебедь в сторону сворачивал, и атаман тоже забирал стороной. Поэтому по всему Уралу теперь лебеди в большой милости. До них никто не дотронется. И в таких заводьях водятся они здесь охотно, прилетая каждый год на знакомое место.

Ночь окутала нас своим сумраком. С берегов кое-где светили огоньки. Коростели скрипели в тальнике, гагары завели болтовню в тихих заводьях, резкий крик лебедя порою покрывал их. Где-то издали слышен был словно плачущий окрик белоголового орла-скопы.

– На ночлег мы приворотим во Филагино. Там хорошие избы есть.

– У них ноне всё пожары, сказывают, жгут филагинцев.

– Кто?

– Мало ли злого человека.

Пристали, вышли на берег. Прямо большая красивая изба в два этажа выведена; хозяйка ведет наверх, в чистые комнаты. На стенах из хвостов рябчика звезды сделаны, висят для красы. С потолка болтаются деревянные голуби. Крылья и хвосты приклеены к ним из лучинок. Сами голуби выкрашены в голубую и красную краски. В окна доносятся песни. Парни и девки за селом собрались.

– У них теперь до утра веселье пойдет, – объясняет нам хозяйка.

– После работы?

– Да ноне косили. А вечером – хороводы. А потом каждый свою возьмет, и в лес. Дело молодое! У меня там две дочки со своими парнями.

И всё это говорится совершенно спокойно. Видимое дело, сама молода была – так же поступала.

- Ты бы нам, Марья, сена сюда послала.
- Чего?.. – точно ушам своим не веря, переспросила хозяйка.
- Сена...
- Зачем?
- Спать чтобы мягче.
- В горницу да сена... А! Это, может, кровать, по-вашему?
- Пояснили ей..

– Нет, как это можно, горницу сеном поганить, сено во хлевах да на сеновалах лежит!

Едва-едва удалось уговорить ее... Всю ночь нам слышались песни. Замрут в одном месте, слышишь – заводят их в другом... Из лесу тоже неслись они, с той стороны Косьвы тоже кое-как долетали до нас отзвучия молодых голосов... Здесь, в Филагине, и всего чаще в этом доме, останавливаются караванщики. Вследствие этого и нравственность здесь не особо высоко стоит. В Перемском наблюдается, например, чтобы девка со своим парнем путалась, а чужой – не тронь. А в Филагине всё равно – свой ли, чужой ли. От чужого еще лучше – больше прибытку. Девственность не ставится ни во что и теряется очень рано. И не таятся совсем. Молодой парень из караванщиков ухаживает, например, за девкой. Та, наконец, соглашается на всё и назначает куда ему прийти. Хоронится да таится парень – чтобы не узнали... Вечером крадется, встречает другую бабу:

- Не туда, парень, идешь-то. Паранька вон где тебя дожидается.

Оказывается, что девушка уже рассказала всем...

– Эта Кулька – так себе, слякотная девка! – говорят здесь про какую-нибудь из местных красавиц.

- Почему?

– А ни с кем не цапается.

– Что ж, это хорошо, скромная.

– Что доброго, если девку никто не любит. Значит, не стоит она!.. Из такой девки и бабы хорошей не будет...

Детей девка может иметь сколько захочет, от них прибыль в дом. Всё лишнего работника воспитает.

На другой день, когда мы уезжали, даю я хозяйке рубль.

- На-ко-ся!.. Много!.. – с ужасом возвращает баба.

– Как много?

– Много!.. Не возьму!..

– Да сколько же тебе...

– А вот сколько... За горницу – гривенник, за кур – гривенник, да за самовар – гривенник...

– А хлеб?

– За хлеб деньги брать – грех...

– Ну а сена мы у тебя сколько попортили.

– Сено свое у нас, бери сколько хошь. Что ж за сено брать!

Так и не взяла!

Тут уже коней много у крестьян. Везде по берегу, где только зеленый лог, и кони пасутся. Пустыни не стало. По берегу сети развешаны на шестах. Сохнут. Из лесков слышно, как коровы позвякивают бубенцами.

– Стерлядей не надо ли? – кричат нам рыболовы.

– А почему ноне? – вступает в беседу Иван Степанович.

– Да ежели рыба фунта в четыре – двугривенный... Ноне у нас дорого!

А вчера мы купили штук двадцать хариусов, больших и жирных, да голова крупного за сорок копеек, и рыбаки еще как рады были. «Вот дай вам Бог!..» – провожали нас.

### XXXIX. В устьях Косьвы

Светлое безоблачное небо обещало яркий и знойный день. По всему берегу нас преследует пение петухов. И орут же они здесь! Какая-то особенная порода; на безгололье пожаловаться не могут. На яру гнилушки взобрались на самый гребень. Издали и не сообразить, что это такое – тучи хвороста или жильё человека. Оказывается, здесь «поселенный черкес живет».

– Не живет, а бедствует. Голодом весь изморился. На человека не похож. Он нашего дела не знает, а мы его понять не можем. Прежде он разбойничал, а теперь и на это силы у него нет, совсемдохлый стал.

Стал было я подробнее расспрашивать гребцов – молчат. Вообще замечательна несловоохотливость здешних гребцов сравнительно с северными. Те охотно делились своими сведениями – косьвяне как-то понуро молчат, редкий отзовется, да и то нехотя. Песни не запоет; только сонливо передвигает веслами. Раз мне привелось с ними четыре дня проплавать – и ни слова. Даже любопытства никакого не обнаруживают. Сказывают, что и на барках то же самое. Соберутся у костра, где пристанут, смотрят в огонь и молчат; так целые вечера. Водка развязывает языки, да и то не всегда. «Очень уже мы затомивши тогда, – поясняют гребцы, – это кому от безделья и разговаривать хорошо, а нам трудно. Птица – та целый день языком щебечет, а пользы от нее всё нет никакой. Привалиться бы да заснуть!» На заводах тоже народ хмурый, сумрачный. Видимое дело, нелегко ему живется.

– А то и совсем у нас безглагольные есть.

– Это какие же?

– А по Вильве живут; те больше руками. Спросишь что – отмахнется от тебя и прочь пойдет... Там есть из татар которые... До Строганова татарами были, так у них и доселе облик держится нерусский. Они страсть говорить не любят. Задичали. Поди-ко ты у лесовиков наших, что рубят дрова, слова выпроси. Смотрит на тебя, смотрит, понурится, да и прочь. А то и просто рукой махнет.

Таким образом, мы проехали мимо Плесо, Крутиковой, Красной, Соболюков, Плаксивой и Боровской деревень, а там вдруг и поселков не стало. Едем версту за верстой – ни одной избушки. Понижи всё глаже и глаже, тальник у воды гуще и гуще. Косьва всё ширится, делая самые прихотливые извилины



по ровному месту, а жилья нет! Солнце начинает печь немилосердно. При-  
стать бы – ни одного уголка.

– Куда народ делся?

– Нет тут народу... Пустынь пошла. И в песне про нее поется – «мати  
зеленая пустынь».

– Да ведь Кама близка.

– Оттого и сельбища нет, что Кама близка. Теперь все деревни да села по  
правую ее сторону, а сюда – река разливается очень широко. Всякое житель-  
ство снесет. Здесь жить нельзя.

Безлюдье полное. Тоска охватывает. Горы ушли далеко; теперь и силуэтов  
их не видать на дальнем плане... Всё одна гладь без перерыву. Плыдем час,  
другой, третий... Жара стала такая, что дышать трудно. Вчерашнее пред-  
сказание Ивана Степановича исполнилось. Солнце буквально в нескольких  
местах обожгло кожу. Красными пятнами пошло всё, жгло сквозь рубаху –  
и в сукне стало совсем невыносимо. Отражение солнечных лучей в воде глаза  
слепило. Невыносимо трудно было пережить эти несколько часов. Я терпел  
легко летний зной Ирана и Турции, но тут мне казалось, что мозг в голове  
растопится в этом томящем пекле. Наконец свалился как сноп в лодку, вытя-  
нулся на дне ее и постарался заснуть. Вместо сна – кошмар какой-то. Весь  
в испарине обессиливающей лежишь, дышать нечем... Чуть ли не каждый час  
приворачивали к берегу купаться. Но выйдешь из воды – и спустя мгновение  
зной опять начинает томить... В одном месте хотел было броситься в воду –  
освежиться. Гребцы остановили.

– Здесь нельзя, место нечистое.

– Почему?

– Здесь две девки утопли. Так и зовется: девкина муть.

– Они это радуются, когда девка утонет.

Гребцы засмеялись.

– Чего же?.. Что хорошего?

– А здесь поверье: девка утонет – хлеб дешевле будет. И откуда пошло  
оно – Бог их знает... А верят все этому.

Навстречу показался маленький челночок. Дряхлый старик кое-как греб  
вниз по воде. Мы его живо нагнали. Обернулся к нам, уставился подслепова-  
тыми глазами и – ясное дело – не видит ничего. Шапку снял на всякий случай.

– А, дедушко, здравствуй! – крикнул ему Иван Степанович... – Ну что,  
как живешь?

– Нудно живем, батюшко!

– А еще пенсионщик!.. Получаешь ли пенсию?

– Дай Бог здоровья грахам! Получаю...

– Это еще что за пенсионщик? – спрашиваю у Ивана Степановича – сме-  
ется... – И какие это графы?

– А видишь ли, у графов Строгановых, которые у них рабочие всю жизнь  
прожили – тем пенсион выдают до смерти.

– Что ж, это прекрасное дело, по крайней мере, человек обеспечен.

– Еще бы! А знаете, сколько пенсиону этого... Дедушко, а дедушко?

Тот опять повернул к нам старое, покрытое морщинами лицо.

- Сколько ты пенсиону получаешь?
- Я-то?
- Ты, а то кто же еще, не мы ведь.
- Я полный получаю... Девять гривен в год! За службу.
- А долго ли служил ты?
- Я-то... я сорок годов служил на заводе. А теперь не могу – силы моей нет. Теперь уже я покуда только хлеб жую; помирать вот, батюшко, собираюсь.
- Уж ты который это год собираешься...
- Пора, батюшко, пора... Сам знаю... Надо и совесть знать, зажился. Болести какой жду, да не идет, не хочет... Бойтся она меня-то...

Потом я узнал, что такие пенсии действительно выдаются у Строганова. У Абамелек-Лазарева рабочим приходится иногда до шести рублей в год пенсиону. Тем не менее у крупных владельцев еще сносно, а уж у купцов – не приведи, Господи. Искалечит тебя – лишнего дня кормить не станут, как падаль выбросят вон из завода. Умрешь на работе – на похороны денег не дадут. На днях случилось, например, в Чердыни у купца Черных такая беда. Зимой у него на незамерзающей – вследствие ее быстроты – реке Чёрмозе работали крестьянские девки. Как-то доработались до ночи, домой надо было переезжать реку. Попросили у Черных лодку – не дал. Еще обругал: «Из-за вас, паскуд, стану я лодку на ночь отпускать»<sup>15</sup>. Нечего делать, стали стоймя в душегубку гурьбой и поплыли. На середине реки душегубка опружилась<sup>16</sup>. Две и утонули. Нужно было спасти, пока время; опять к Черных – лодку просят, еще заругался и опять прочь прогнал. Так две крестьянки и пропали. Дня через два трупы их выбросило. Черных и на погребение не дал ни гроша. А работали у него эти несчастные по двадцати копеек за целый день.

- Составили акт?
- Составили. Да ему что же за дело. Он и на акт наплевал. Разве я, говорит, топил их, сами утопли! С Бога и ищи, а не с меня.
- У купца Благодушева двое работников тифом заболели осенью, так он еще лучше сделал. Приказал их еще живыми вынести в поле и бросить там. Разбойник и тот не решился бы на такую мерзость.
- Что же, выкинули?
- Товарищи в клеть перенесли, ну, больные через два дня в клетки и умерли. У нас купцы секут рабочих.
- Ну, уже это вы преувеличиваете.
- Честное слово. Они какой изворот придумали. Берут артель такую только, которая между собой условилась, чтобы сечь друг друга. Чуть что – купец в стороне. Не он драл, а артель драла<sup>17</sup>.

Пенсионщик от нас скоро отстал – и опять кругом потянулось безлюдье нерушимое.

<sup>15</sup> Большой отдел положению пермского рабочего посвящен автором в статьях «Урал» («Русская речь», 1881 год, сентябрь–декабрь).

<sup>16</sup> Опружилась – опрокинулась.

<sup>17</sup> Много фактов таких приведено в статьях того же автора «Урал» («Русская речь», 1881 год, декабрь).

Глаза слепило, в голове точно какие-то жилы. В висках стучало от жары. Этот палящий зной, это однообразие низменных берегов страшно томило. Слегка сквозь сон слушаю я баснословные разговоры о том, что в прошлом году на «Чусовой стерлядь выловили в четыре пуда десять фунтов». И силы нет даже оспаривать такую сказку. Огонь какой-то чудится в глазах, откроешь их – это солнце горит в неподвижном разливе Косьвы, а она, как нарочно, извилину за извилиной делает, то назад возвращается, то в сторону уходит. И хоть бы одна избушка на пути!..

– Долго еще кружиться?..

– Да часок, пожалуй.

Но и часок проходит, и другой вскоре за ним; третий час начал, а конца нет этому.

Солнце уже спускаться стало... Жара не падает. Наконец вдали мелькнуло громадное пространство воды.

– Радуйтесь... Вот и Кама!..

Один из гребцов вышел на берег и потянул нашу лодку бечевой или, по-здешнему, «шнуром». С севера пахнуло прохладным ветром – мы ожили... За нами в кустах шмыгали лодки, тоже выбиравшиеся с разных сторон из рукавов Косьвы. Белоголовые орлы зареяли в высоте... Чайки бросались за ними и отгоняли их.

– Чайка – птица смелая... Ишь, как она скопу обижает.

А на том берегу Камы, в некотором расстоянии от берега, уже выросстал Чёрмозский завод...

## **XL. Из истории недавнего прошлого. – Освобождение ли крестьян повредило заводам? – Долги и истребление лесов. – Лесничий и заводоуправление.**

В прохладных комнатах чёрмозского управительского дома мне казалось, что я попал в рай после косьвинского пекла. Прежде чем приехать сюда, я уже видел десятка два заводов – и частных, и казенных. Видел и почти вконец погубленное дело в Александрийском заводе, и цветущее у Абамелек-Лазаревых. Всюду, где производство уменьшилось и владельцы бились в ежовых рукавицах со всевозможными кулаками и кредиторами, приходилось слышать жалобы на освобождение крестьян, будто бы подорвавшее благосостояние Урала. Жалобы эти раздаются в унисон, и мало знакомый с делом, встречая их даже в печати, может поверить иеремиям, плачущим на реках Вавилонских. Усваивается поэтому взгляд на них как на жертву неизбежной исторической реформы, а между тем тут история совсем иного рода, и освобождение крепостных могло скорее помочь этим господам, чем разорить их. В Чёрмозе не раз по этому поводу пришлось мне говорить с одним из лучших горнозаводских деятелей господином Новокрещенных, и он во многом разъяснил мои недоумения. Крепостное право напрасно считают главной опорой заводов.

Даже в периодической печати не раз сообщалось ошибочное мнение, «что под охраной привилегий, данных заводам Петром и его преемниками, и при отсутствии предприимчивости, слабом развитии реальных знаний и недостатке капиталов – заводы не могли развиваться и приняли характер монополии, черпая свою силу из крепостного права, уничтожение которого погубило горнозаводское дело».

Я привел это мнение господину Новокрещенных, но он только улыбнулся на него.

– В Петербурге всему верят. Немудрено, что и такие выводы приняли на слово. В Петербурге не только не знают России, но и не заботятся узнать ее. Горная промышленность, как всякое заводское производство и даже более всякого другого, должна была в свое время пользоваться гарантиями и привилегиями – они и сделали свое дело. Под их охраной Урал сразу стал центром промышленности. Лесные дачи размежеваны были так, что каждый завод получил соответствующий его предполагаемому обороту надел. Не увеличивая выработку, заводы могли бы вечно пользоваться лесами, потому что ежегодный прирост с избытком пополнял расход порубки. Ну а развивать деятельность шире нельзя было без ущерба в будущем. Железных руд для каждого завода было и есть вполне достаточно. Еще ни одно предприятие не закрывалось от недостатка их. Если некоторые заводы пользуются запасом магнитного железняка с Благодати и Высокой, так это вовсе не потому, что у них самих ничего нет. Напротив – есть и много, только они еще не расследовали своего собственного района. Благодать и Высокая здесь составляют лишь утолщение одной общей жилы, еще до сих пор не разведанной на всем протяжении. Если я скажу, что заводы обеспечены рудами на тысячу лет – разумеется, при нынешнем обороте, – то я нисколько не преувеличу естественных богатств Урала. Внутренняя жизнь заводов развивалась сначала довольно быстро, и казенные во многих случаях учились у частных разным производствам. Не имея почти никаких средств для постановки паровых машин, заводы и тут не отставали. Они начали строить машины низкого давления. Медные паровые котлы были дороги – стали делать деревянные в виде громадных цилиндров, стянутых обручами и медными частями там, где они соприкасались с огнем. Строитель этих котлов, чуть ли не столетний старик, еще недавно жил в Верх-Исетском. Механизмы эти делались попросту, без станков, при помощи зубила и пилы, но тем не менее они и до сих пор работают в Исети. И тогда как некоторые даже казенные велись столь же патриархально – Нижне-Тагильские, Демидовские тратили страшные деньги на всякие новые приспособления. Какое-либо полезное открытие в горнозаводском деле тотчас же применялось и у них. Старики рассказывают, что не успеешь, бывало, прочесть об этом или другом изобретении – приедешь в Тагил, а оно уже там воочию. Таким образом, казенные заводы тогда могли поучиться у частных, которые действительно были предприимчивы. Недостатка капиталов не было. Без посредства банков дело велось за наличные. Весьма часто в кассе завода скапливалось по несколько сот тысяч свободных денег. Когда в конце пятидесятых годов Верх-Исетские заводы предпочли новую систему – закладывать выделанные металлы в банки – то на ярмарке все

прежние их покупатели отшатнулись от них. Их, видите ли, смутил военный караул, и они сочли фирму погибшей за неимением денег. Это настолько было резко, что весь привоз пришлось пустить в розничную продажу. Недостаток капиталов явился тогда только, когда оказалось возможным закладывать металлы и таким образом освободить прежний оборотный заводской капитал. Вы думаете, воспользовались этим с толком? Как же!.. Лучшие стали развивать дело свыше действительной надобности, а большинство – освобожденные капиталы пустило на аферы, кутежи, на карты, на разгул, о котором вы и представления не можете сделать. Вместо устройства заводов владельцы занялись устройством свор, громадных охот, трехсоттысячные проигрыши стали делом заурядным. Спаивание целых городов, самые бессмысленные траты считались признаками хорошего заводского тона. На первых порах, если вследствие всего этого заводы и не особенно нуждались в капиталах, то, тем не менее, действовали лишь при посторонней помощи, т. е. при пособии заклада выделяемого металла. Так можно было держаться до тех пор, пока не изменились общие условия горнозаводской деятельности, до первого кризиса. А между прочим, уже изменение к худшему началось, уже нанесен был первый удар и за ним ожидалась другие. Этим первым ударом была Крымская война. После нее многие заводы в окончательном выводе своего дивиденда должны были вместо плюса ставить минус. Ценность хлеба с пятнадцати–восемнадцати копеек за пуд сразу поднялась до шестидесяти копеек.

Овес с двенадцати и пятнадцати копеек вырос до сорока и пятидесяти копеек. Думали, что цены опять упадут – не тут-то было – вскоре мука стоила уже один рубль пуд и даже дороже. Раз став на эту высоту, цены уже не понижались. Завод, который должен был прежде, чтобы прокормить своих крестьян, от пятнадцати до двадцати тысяч, при новых ценах кредитовался на сто двадцать тысяч рублей. Запасных капиталов уже не было – все ушли на кутежи и разврат. Оставалась посторонняя помощь: с каждым годом нужно было всё более и более втягиваться в долги. Явился кулак, как и во всей остальной России. Везде выросли свои Разуваевы и Колупаевы. Долги всё более захлестывали владельцев мертвой петлей. Вот тут-то уничтожение крепостного права явилось как нельзя более кстати. Ему обрадовались. На первых же порах оно облегчило заводчиков, благодеянием было для них. Заводы сразу освободились от необходимости кормить население, заменив выдачу провианта высокими платами за труд. Стоимость работы, как велика она ни была, всё-таки оказывалась меньше, чем сумма, необходимая на обеспечение продовольствия (возросшего с пятнадцати копеек до одного рубля с пуда) плюс вознаграждение труда, существовавшее и прежде. Начали кое-где работать не сполна, не было обязанности давать непременно всем работу, производство сокращалось, и разница в пользу заводов выходила громадная. Кроме того, уничтожились пенсии и пособия дармоедам да сводились к нулю и другие обязательные прежде расходы.

– Так что на Урале освобождение крестьян должно было принести прямые выгоды заводчикам?

– А то как же иначе... Сверх того, оно же дало им возможность прибегнуть к пособиям от правительства. Заводы стали жаловаться на невозможность

вести работы без дешевых мастеров и поденщиков, стали ссылаться, что уничтожение крепостного права отняло у них тысячи рук. При тогдашней путанице правительство не могло проверить, насколько во всём этом было правды, и разрешило выдавать ссуды.

– Спросить было некого?

– Самих заводчиков разве. На Урале всё было на их стороне. Да сверх того, многие владельцы жили в Петербурге, были близки ко двору. Если бы местные начальства и пошли против них – кому бы скорее поверить?.. Между заводчиками оказывались и такие, которые заводов своих и в глаза не видали, сидя в столице да путешествуя за границей... Случалось так, что сегодня выдадут ссуду, а через несколько месяцев ее уже нет в наличности, причем заводы из нее грошом не воспользовались.

– Куда же уходили они?

– А карты на что? Женщины дороги стали; рулетки начали привлекать российских остолопов... Легкость получения ссуд дала владельцам надежду и в будущем пользоваться этим неоскудевающим источником. Поэтому никто и не думал расходовать их сообразно назначению. Ни заводов ими не обеспечивали, ни долгов не платили. А долги всё росли и росли, кулаки всё больше присасывались, банки всё прочнее и прочнее опутывали горнозаводское дело своею цепкою паутиной... В конце концов дошли до настоящего своего состояния – когда заводы по уши влезли в долги, когда ни официальные экономисты, ни сами владельцы не знают, где выход из этого отчаянного положения.

– Печально!..

– Да, невесело...

– Какую ценность представляют заводы?

– В настоящем их виде?

– Да.

– По этому случаю вот вам факт из недавнего прошлого. В горном совете, во время него, рассматривался вопрос о продаже за долги казне частных заводов, тех именно, которые правительству кроме постоянного убытка ничего не приносят. Все члены совета решили спустить их с рук, назначив торги. Один из присутствовавших не подал своего голоса. Обратились к нему:

– Ваше мнение?

– Вы этого требуете? Что вы, господа, разумеете под словом продать? Я понимаю, что купить я могу только то, что приносит известную долю пользы, не так ли?

– Ну-с.

– Если дело не только не дает выгоды, но, напротив, приносит убыток и если правительство желает, чтобы покупатели продолжали это дело, то мне кажется, что покупателю нужно прежде всего обеспечить эти убытки, т. е. к заводу придать и капитал, процентами с которого покрывался бы дефицит.

– Это очень остроумно, но мы все-таки назначим торги.

Мнение члена горного совета вполне оправдалось: на объявленные торги никто не явился.

В таком положении этот вопрос и теперь. Долги заводов растут, обороты их уменьшаются, вера в горное дело поколеблена, и мы дошли уже до того, что



совершенно серьезно мечтаем передать его в руки иностранцев. Если упадок уральской промышленности ставится в прямую зависимость от уничтожения крепостного права, то это основано на мнении самих заводчиков, которым подобные выводы как нельзя более на руку.

Давным бы давно пора покончить с такими ошибочными взглядами, а они всё еще держатся. Когда нельзя было дискредитировать нравственное значение великой реформы прошлого царствования, ей приписали финансовый кризис и экономический упадок, замечавшийся повсюду в последние двадцать лет. На горных заводах видно, насколько эти господа были правы со своими ламентациями и цифровыми выкладками.

Крестьянская реформа на Урале только в одном отношении увеличила расход некоторых заводов – именно в топливе.

Мы говорим «некоторых» потому, что нам известны многие, где эти цены год от году уменьшаются и приходят к нормальным, основанным на урочном положении и стоимости провианта и фуража. Возвышение цен на дрова разом по освобождении крестьян вызвано было боязнью заводчиков остаться без топлива на год. Что вообще стоимость леса должна год от году увеличиваться – это несомненно, но до сих пор этого роста незаметно, да если бы он и был, то поверить его причины весьма затруднительно. Различия в удобстве лесосека – расстояния, климатические условия имеют в этом отношении большое влияние.

Нам известно, говорили мне, много примеров, когда управитель завода, желая выторговать с кубической сажени четвертак, пропускал удобное время и потом к этим четвертакам прибавлял рубли, да и то оставался без дров. Следовательно, нельзя сказать, чтобы одна ценность выражала недостаток топлива.

Вот когда-то заготовленная мною записка по этому поводу. Привожу из нее сущность.

Лесов на Урале мало, и говорить нечего, но это зло еще не столь большой руки, если бы каждый завод занялся рациональным лесным хозяйством. А то на всех почти заводах нет даже порядочных лесных карт. Назначат, случается, лесосек – явится народ для вырубki в указанное место и оказывается, что рубить тут нечего. Лес когда-то тут рос, но лет пять тому назад его сняли под корень. По плану же вырубка нанесена совсем в другое место. Часто – это следствие не только небрежности, но и злоупотребления. В частных лесах имеются специалисты, получающие по несколько тысяч рублей жалованья, но кроме исправного приема этих денег и расписывания в книгах они других обязанностей не знают. Что может значить отчет такого лесничего? Он не видал даже той местности, о которой сообщает, а между тем на основании его слов делаются распоряжения, составляются ходячие мнения о громадных лесных богатствах Урала, которые будто бы неистошмы!..

Лесов мало, очень мало, но урегулируйте лесное хозяйство – и их хватит!

Прежде всего необходимо завести точные планы, потом правильно распределить лесосеки и разумно обсеменить вырубленные площади хвойными лесами, а не предоставлять это природе, которая на месте старого леса растит лиственный, никуда не годный кустарник. Я сам видел целые громадные

площади, вместо хвои поросшие такую бесполезную мелкотую. Наши лесничие отлично знают все виды обсеменения, но чтобы приложить научные сведения к делу – никогда! Будущность заводов зависит от количества топлива, следовательно, позаботьтесь прежде всего о лесах, не ставьте их на задний план, как это до сих пор делалось на Урале. Вот пример. Ревдинский округ – в опеке, капитал, необходимый на уплату долгов и на содержание опекунского управления, очень значителен. Вместо того чтобы добывать его продажей хромистых железняков, которых в Ревде множество, или никелевых руд, как продуктов заводу совсем ненужных, или увеличить различными льготами добычу золота – что делает опека? Она начала продавать леса – это единственное обеспечение будущего! Высшее начальство, не сообразив дела, утвердило продажу – и пошла писать! При стоимости кубической сажени дров от двух-трех рублей арендной платы большой взять нельзя, и, чтобы выручить хоть бы жалованье опекуну, надо вырубить такую громадную площадь чудесного леса, что со стороны становится жалко смотреть на такое хищническое пользование естественными богатствами края! А между тем Ревда не исключение – таких фактов сотни на Урале.

Еще одно зло лесного хозяйства – пожары. Предупредить их нельзя, но ограничить размеры всегда возможно. Как только несколько стихнет пламя и огненная река уймется, на площади пожара в несколько квадратных верст оставляют от пяти до десяти человек, а иногда и никого. Эта жалкая кучка народа должна тушить остатки тлеющих костров и пней. Таким образом, теряется лучшее время и на завтра пожар разыгрывается с новой силой, захватывая уже несравненно обширнейший район. Тогда схватываются за ум, высылают народ, но пожар уже уходит далеко, так что люди едва успевают следить за ним, не принимая никаких способов к его прекращению. Ночью народ уходит домой – завтра та же история, и так, пока пожар не прекратится сам собою. Между тем ловкий, знающий местность лесничий, с подробной и точной картой в руках, может при помощи небольшой толпы рабочих положить конец несчастью. Для этого и расходы требуются не особенно большие. Стоит лишь поставить поскорей народ перед огнем и воспользоваться первой речкой, болотом или дорогой, чтобы пустить встречный пожар, а затем ночью, когда видно каждую искру, заняться тушением пламени. Теперь народ отлично понимает бессельность своего шатания вслед за пожарищем и, несмотря на объявленную плату, прячется дома. Гасить пожары возможно с хорошей картой в руках, а у нас карты таковы, что с ними чаще всего приходится и самого-то лесничего выручать из огня. Благодаря всему этому составилось совершенно ложное убеждение, что против лесных пожаров нет никаких средств; это слагает всякую ответственность с лесничего, и он как нельзя более доволен таким оборотом дел.

– Что же лесничие делают?

– Всё их участие в том и проявляется, что он прикатит в покойном экипаже на великолепной тройке коней, обругает рабочих за неосторожное обращение с огнем и также важно уедет назад. А там к начальству рапорт: несмотря на принятые энергичные меры, пожар не прекращен вполне, хотя и остановлен там-то и там-то, чем сбережена площадь во столько-то тысяч

десятин. Затем следует счет расходам, употребленным на поездку и на прекращение огня.

– Вы упустили главное.

– Именно?

– А лесопромышленников, которые точно одержимы ненавистью к лесу и валят его всюду, где возможно.

– Я не упускал их из виду, а говорил о лесах тех владельцев, которые, сами в нём нуждаясь, не станут продавать их на сруб этим кулакам... Я говорил исключительно о заводских лесах.

Не повлияет ли разработка каменного угля на сокращение лесов?

– Не верю, чтобы это скоро случилось. На иной разработке руды каменного угля недостаточно, нужно дерево... Да чтобы переделать заводы для отопления каменным углем, требуются свободные капиталы.

– Которых нет?

– И не предвидится... А притом и ценность угля слишком высока.

– Следовательно, остается...

– Пользоваться лесом рационально и растить его везде, где возможно...

– Ну а как вам кажется – при нынешних людях добьетесь вы этого?

– Нужда научит.

– Ну а казенное управление заводов лучше или нет?

– Несравненно хуже... У меня была по этому поводу записка; я вам сообщу ее содержание: эти столбцы цифр не специалисту не особенно интересны, главное – общие положения, выведенные из них. Как только заводы попали в казенное управление, тотчас же строй хозяйства изменяется на новый лад. В сметах является несметное множество статей, делаются гадательные выводы барышей на бумаге; на деле же долг прибывает и производительность завода падает. Вот, например, лучший округ – Гороблагодатский. По смете назначено в продажу металлов на 91 896 рублей, а предполагается выручить за них 96 841 рублей, т. е. барышей 4 945 рублей. Если же исключить пять процентов с оборотного капитала, то чистый доход 350 рублей. И это еще не будет собственно доход казны, а плата за пользование лесами, рудами и пр., что для частных заводчиков составляет иногда десять процентов всего валового дохода. Будь эти заводы в частных руках, казна получила бы с них в десять раз больше. На Пермском сталепушечном заводе выделанные орудия обходились в 39 рублей пуд; если взять процент оборотного задолженного капитала и процент погашения, то стоимость пуда вырастет до 54 рублей 50 копеек. При такой цене не резон готовить самим орудия. Поэтому-то казна не находит возможным считать проценты на оборотный капитал и проценты погашения в цене выделанных металлов, иначе сейчас бы обнаружилась несостоятельность завода. При таких условиях легко делать какие угодно выводы. Возьмите смету горного департамента – чистый доход составляет почтенную цифру. Нам неизвестно, как выводит свою деятельность экспедиция заготовления кредитных билетов: если так же, то там должно быть еще выгоднее дело, чем на горных заводах: на расходы употреблено 100 000, а выделяются 100 000 000! Я этим хочу сказать, что управители казенных заводов так привыкли к сметам и выводам барышей там, где одни убытки, что когда

поступают на частный завод, то всегда по счетам будут барыши – и запасы, о которых не всегда имеются точные данные, год от года уменьшаются, и в общем результате – приращение долгов. Иной раз и долгов не будет, и запасы целы, запасы капиталов в стенах зданий, которые, как и на всех заводах казенных, к возврату ежегодным погашением не подлежат. Кончается тем, что, видя вздорность дела, такого управителя меняют, присылают на место другого, а этот оказывается еще худшим.

– Где же исход?

– Ищите и обрящете... Мы его пока при всех этих условиях не видим!

## **XLI. Возвращение на Каму. – Чёрмозский завод. – Старо-Екатерининский канал. – Из недавнего прошлого.**

Чёрмоз совсем город. Красивые дома, громадные здания, заводы, прямые улицы, по которым сегодня что-то уже очень рассовались бабы, одетые в пестрое. После патриархальных прикосьвинских деревень и безмолвных пустынь этой красивой реки мы отдыхали здесь среди полного довольства и комфорта. Вечером, когда жара спала, мы вышли на улицу. Рабочие только что окончили свои уроки, и из завода повалила толпа – молчаливая, сумрачная. Только подростки несколько оживляли ее смехом и шутками. Не успел я сделать несколько шагов по улице, как мне навстречу что-то донельзя опухшее, подвязанное, оборванное, но с неизбежною кокардою на фуражке. Идет – шатается, увидел меня, остановился.

– К вам-с!

– Что угодно?..

– Пишите: обижают.

– Кого это?

– Меня обижают. Мужики меня обидели... Пишите, чтобы вся Россия знала, какие они, чёрмозские мужики... А то я не согласен.

– Да помилуйте, это совсем не мое дело.

– А чье же? Вы вот всё с книжкой... Я вас и на Кизеловском заводе видел. Дворянина обижают, а вам и дела нет.

– Егоров, не безобразь.

– Вот видите, сколь в них невежество... неистово... Егоров!.. Я своему государю двадцать пять верой и правдой, а он: «Егоров».

Едва удалось отделаться от его благородия. Оказывается, и тут завелись они, плодя кляузы и существуя писанием просьб и жалоб. Всем этим добром наделяет заводы Пермь. Там походя гоняют чиновников: очень уж хороши; еще новые туда-сюда, а эти или живут шутами у купцов, или тонут в бездонном пьянстве. С этим самым Егоровым случилась такая история: держал он квартирантов еще в бытность на службе, и поселился у него товарищ, у которого водились деньжонки. Стали они пропадать из стола сначала по мелочам, а потом все сразу. Обокраденный заявил подозрение

на Егорова, которого нашли в публичном доме безобразно пьяным. При нём деньги.

– Есть ли у вас какие-нибудь доказательства, что эти деньги украдены у вас?

– Есть: вот уголки от них у меня хранятся.

Егорову оставалось одно: сознаться, что он и сделал.

Суд. Свидетели показывают единогласно, что Егоров тиранит семью, что он негодай и подобные нелестные вещи. Отправились присяжные заседатели совещаться.

«Что же, братцы, – надо по душе. Служил-служил человек, и вдруг его теперича за взлом!.. Лишение права, пенсион выслужил, без пенсионера гуляй... Как возможно... Выходят. «Нет, не виновен». Председатель озлился. «Егоров, вы свободны, кстати, и деньги возьмите, потому что ежели вы невиновны, то и вещественные доказательства ваши»... А потом «истец» встает: заодно уж прихватите и уголки от кредиток, они должны быть тоже ваши».

– Что же бы вы думали: на другой день этот Егоров подал на истца за клевету... А теперь он у нас тут кой-какие заводы мутит... Явится, путает рабочих. И его слушают, где мало знают, а потом, смотришь – волнение. У купцов с ним просто; к одному он явился на завод, затеял смуту, но купец его отодрал здорово, а потом в чуланчик запер, пока не зажило, и отпустил!..

В Чёрмозе, как и на Кизеловском заводе, выделывается чугуи и, сверх того, из болванки прокатывается листовое железо. Тут же имеются большие механические мастерские, отливаются разные изделия из вагранок (род доменной печи, где вместо руды плавится чугуи). Около Чёрмоза лесопильный завод. Громадная домна, которая с большими удобствами могла бы заменить огненную печь трем еврейским отрокам, когда мы ее осматривали, работала всюю, чуть не охватывая вверху розовым пламенем пережигаемого металла голых рабочих, сумрачно возившихся вокруг ее устья. Несмотря на умеренность платы, рабочим здесь лучше живется, чем в других местах по Уралу. Ближе к управлению, дешевле заготовленный им для потребностей завода хлеб, чище избы. На черных работах взрослые получают здесь тридцать копеек в день, мальчики восемнадцать. Чтобы понять, каково в сущности это сравнительно лучшее положение Чёрмозского крестьянина, я приведу здесь следующий расчет. Вот, например, Иван Сухих. Он уже стар, пятьдесят пять лет, но работает у зева доменной печи, или, как здесь называют, домны. Получает он семь рублей восемьдесят копеек в месяц, двое сыновей у него – десять рублей, жена дома, потому что есть еще маленькие дети. Таким образом, в год он имеет около ста восьмидесяти рублей, ибо в два льготные месяца, когда он косит траву и жнет хлеб, от завода ничего не получает. Платит он за три души податей, что вместе со всевозможными мирскими и земскими сборами составит около семидесяти пяти рублей. Следовательно, на всю семью в шесть ртов на всё остается сто пять рублей в год, или около девяти рублей в месяц, при цене хлеба один рубль за пуд. Комментарии излишни. Положение мастеров лучше: кузнец на заводе зарабатывает восемьдесят копеек в день, а механический мастер тридцать рублей в месяц. Вот, например, рабочие у вагранки, где переплавляется чугуи и лом всякий, где дело идет и днем и ночью. Едкая пыль

ржавого чугуна стоит в воздухе; дым и чад портят глаза, задыхаешься, здесь и не знаешь, как бы поскорее выбраться вон. Заморенный мужик опускается рядом с нами на какую-то колдобину и бессильно охватывает колена руками.

– Как у вас смена?

– По двенадцати часов работаем каждый! Мороком изойдешь весь.

– Сколько же ты получаешь?

– Двадцать восемь – двадцать девять копеек в день.

Впрочем, нужно отдать справедливость заводу: он стремится устроить работу в отряд, т. е. поденную, и дать переводить и на заделную. Тогда рабочие, случается, получают вчетверо больше, хотя неминуемо число их уменьшается. Остаются самые сильные и трезвые.

У входа в литейную мастерскую заснул затомившийся рабочий. Кирпич под голову, сам тяжело дышит. Ступают по нему товарищи, какая-то черная накипь, точно капли сажи, садится на лицо. Из-под открытого ворота рубахи видна костлявая грудь. Между ребрами синие полосы. Воздух с каким-то хрипом выходит из бледных бескровных губ. Вон из вагранок и отражательных печей чугуны отливают в формы для машин... Багровый отсвет расплавленного металла играет на лицах.

– Тут у них хорошо! – замечает мне проводник. – Тут заделно берут рублей по пятнадцать в месяц. Ленивый – и тот заработает в день копеек тридцать. Сейчас металл выпускают... Посмотрите...

Мне уже надоело, признаться, эти картины, потому что на каждом заводе их, как нечто необычайное для постороннего, особенно внимательно рекомендуют ему. Первый раз эта отливка кажется очень эффектной. К вагранкам подставляют котлы. Из отверстий вагранок к котлу – желоба. На дно котла сыплют горячие угли, чтобы металл не остывал в нем.

– Теперь пустяки самые. Всего пудов семьдесят!..

Отворили отдушину. Рабочий ломом пробил загустевшую в отдушине массу металла. В сарае было темно, но как только в отверстии показалось огненное жало расплавленной массы, всё кругом осветилось им. Густая струя жидкого металла, желтая, ослепляющая глаза, полилась в котел, или ковш, как его называют здесь, разбрасывая при падении тысячи огненных брызг, от быстрого вращения в воздухе принимавших форму звезды. Жара около ковша становилась невыносимая, но рабочие стояли как ни в чем не бывало, даже пот не выступал на лицах.

– Тут не с чего потеть-то... Это с сыти которые потеют, точно... А нам потеть не с чего.

Ковш приподняли при помощи механизма и стали переливать из него металл в земляную форму. Опять мириады серебристых, золотых и голубоватых звезд взрывались вверх и потухали под сводами этого черного сарая. Таким образом здесь переливается обыкновенно шестьсот – семьсот восемьдесят пудов чугуна. Я не описываю подробно всего производства. Этому отведено достаточно места в очерках Урала, в главе о Кизеловском заводе<sup>18</sup>. Там же значительное место посвящено и неприглядному положению горноза-



водского рабочего, тут же я касаюсь только особенностей, не повторяющихся в других районах.

– Вот посмотрите глухарей наших.

Еще издали я слышу оглушительный стук. В голове точно всё сотрясается от него. Точно это не в паровую трубу, а у тебя в черепе молотки стучат. Громадный металлический цилиндр. Снаружи в него вбивают раскаленные гвозди. Внутри цилиндра сидят рабочие-глухари и заклепывают концы этих гвоздей. Им приходится выдерживать шум настолько ужасный, что от обычного пребывания здесь многие из них и действительно глохнут. В этом отделении вообще целый ад звуков, грохот машины, стук молотов, резкий свист пламени из зевов пудлинговских печей.

– Что эти глухари получают у вас?

– О, они зарабатывают хорошо. Вообще во всей этой мастерской до семи-десяти копеек в день можно добыть. Ну, им идет по пятьдесят копеек.

Вон в стороне другой каторжник труда выхватывает из калильной печи болванку. Раскаленную перекидывает ее в прокатную машину – грохочут валы ее, сплющивая ком железа в тускло уже светящуюся, точно изнутри, красноватым отсветом лепешку. Лепешку опять в калильную печь и оттуда, когда она засветится вся огнем, в новую прокатную машину, из-под валов которой она выходит еще тоньше. Повторив несколько раз этот процесс, получают листовое железо. Но оно всё еще не готово: по восьмидесяти листов связывают в один пакет, на особой тележке везут его в третью печь, где и оставляют накаливаться в течение семи часов. После этого листы пробивают молотами – и опять в печь, и опять молотки в ход. Повторив это три раза, получают матовое листовое железо, пять – глянцевое. Угольная пудра тут стоит столбом... Ею действительно дышишь. Когда рабочие умирают, то врачи при вскрытии находят легкие их переполненными этим углем.

– Женщины у вас не работают?

– Нет. Прежде ходили. Теперь их подрядчики избаловали. Они складывают, подвозят дрова, вообще на лесном деле стоят.

– Чем же это легче?

– И легче, да и выгоднее. Мы им платим от пятнадцати до двадцати копеек в день, а лесопромышленники сманили их на тридцать – тридцать пять, случается и до пятидесяти копеек. Они и бросили заводы... Теперь вообще рабочих меньше стало. Прежде избыток оказывался, а теперь другой раз нехватка.

– Куда же делись они?

– Мотовилиха отняла. Туда направляются. Казенные заводы больше платят. Теперь у нас работает от пятисот до тысячи четырехсот человек в год. Смотря когда сколько надо. Они выделывают листового железа двести тысяч пудов, да другого сто двадцать тысяч пудов.

– Воображаю, какая масса лесу уходит на это.

– Да. В прошлом году мы сожгли двадцать тысяч сажень дров да пятнадцать тысяч коробов древесного угля – кораба-то у нас ведь большие, девятиаршинные!..

– Сколько вы считаете рабочих дней в году?

– Да двести сорок норма!

Вообще, и здесь, как на остальных заводах, не особенно приглядно живетса мужику, а между тем заводской народ в высшей степени способен и любознателен. Трудно сказать, что бы выработалось из него при других условиях!.. На заводах встречаешь превосходных механиков, выработавшихся у машин без всяких научных сведений. Они изобретают новые приспособления, упрощают старые. По общему отзыву специалистов, наши мастера, начавшие свое воспитание у кричных печей и кончившие его в столярной мастерской, иногда затыкают за пояс немцев-механиков и всегда оказываются способнее их. В старое время Строганова и Демидова сотни таких самородков выводили на широкую дорогу. Теперь все господа живут вне своих заводов; а управлениям лишь бы казенное дело справить – остальное им не интересно.

– Что теперь! Вишь к нам Фуску прислали, что ён, что евоная Фускиха... Ничего не понимают... Упрется быком в машину и стоит, думает; а пока ён думает, мы уж ее совсем рассмотрели...

– Кто это Фуска?

– А это немец-механик приехал с женой – Фауст. А они его в Фуску пере-крестили.

К сожалению, талантливость русского человека не ведет в данном случае ни к чему: ходу ему всё равно не будет никуда, хоть лоб себе разбей. В мальчиках, которые в здешних школах учатся, замечаются иногда феноменальные способности. Да что же толку – всё равно дальше своего училища не пойдет, да и того еще не кончит... Я не могу забыть сцену, которую наблюдал тут же на Урале. К одному из учителей является рабочий...

– Что тебе?

– Ослобоните!..

– Кого?

– Сынишку моего... Уж ему двенадцатый год пошел.

– Как зовут его?

– Ефимом.

– Зачем же его тебе?

– К делу приставить. К печке. Кормить-то уж его тяжело стало – пуцай сам кормится.

– Бога ты не боишься! Потерпи еще немного: пускай он школу-то кончит... Ведь у него способности из ряду вон. Я здесь десять лет – такого не видал еще.

– Нет, уж ослобоните... Потому – пуцай кормится... Это еще когда способностей ждать, а нам не могутно: у меня еще махонькие есть. Хлеба не хватает.

Вмешались бывшие при этом. Предложили за целый год заплатить пополам с управителем \*\*\* завода.

– Нет, уж ослобоните! – уперся на своем отец.– Мы не нищие, чтобы от чужих брать... пуцай он к нашему заводскому делу обыкает. Грамотой не прокормиться ему. Еще там что выйдет.

Учитель чуть не плакал, освобождая лучшего из своих школяров. А то явился другой – к нему же.

– Сколько вы мне положите?

– За что?

– А за сына.

– Как это?..

– Да он в школу к вам ходит, так сколько вы за него положите, потому – мы родители.

– Да ничего не положу... Будь доволен, что даром его учат.

– Мы так даром не моём, потому – его кормить надо... Мы в таком случае его возьмем.

И взяли!..

В прежнее время хоть управляющие, члены заводского управления, выходили из местных школ. Теперь и этого нет. Каких-то необыкновенных олимпийцев присылают из Питера, не имеющих никакого понятия о заводском деле. Один, например, агронома поставил во главе дела, другой – разорившего помещика, который у себя в имении когда-то разводил нарочно овражков «как средство к дренажу», третий прислал певца-тенора, потерявшего голос и потому почувствовавшего призвание к заводскому делу; четвертый – отставного гусара, а этот на первых же порах завел «бабью повинность»...

Вообще, тут курьезов не оберешься. Мы все, например, давно уже считали некогда существовавший и при императоре Николае заброшенный канал Екатерининский – вычеркнутым из списка живых. Его тогда признали ненужным вовсе, уничтожили и даже на старых, не говоря уже о новых картах, его найти теперь невозможно. Население, впрочем, к нему отнеслось иначе. Начальство его упразднило, а Пермская, Вятская и Вологодская губернии им пользуются с 1871 года опять. Наткнувшись на него, видят: шлюзов нет, а канал еще цел, и обрадовались. При общем беспутье – эта дорога оказалась крайне удобной. По несуществующему каналу стали передвигать грузы на лодках, от пяти-сот – шестисот пудов на каждой. Зимой, когда он замерзает, прямоком по его поверхности открывается громадный проезд из Вологодской губернии. Десятки тысяч жерновов, например, перевезли по нему в последнюю зиму. Из Архангельской губернии по этому же каналу прямой путь на Ирбитскую ярмарку. В первый год, как население схватилось опять за этот канал, по нём передвинуто было тридцать тысяч пудов разного груза, дошедшего благополучно. С тех пор количество транзита всё увеличивается и увеличивается. Консерватор зоологического музея Казанского университета Пельцам, кажется, в сентябре 1875 года, вернулся через этот канал с Штукенбергом и Некрасовым из экспедиции на Тиманские горы... Фон Т., один из камских солевиков, предлагал мне проехать самому по этому каналу и удостовериться.

– У нас всё так: начальство уничтожит, а смотришь – дело всё-таки идет своим порядком. Теперь хотим просить опять возобновить канал этот!.. Он и для обеспечения хлебом очень важен.

Как-то заговорили о росте цен на хлеб в Пермской губернии, по поводу всё того же канала.

– Еще бы им не расти; здесь своего мало, а у нас его стали вывозить.

– Как это так?

– С каждым годом увеличивается вывоз. В 1872 году по Усолве и через Лёнву на Березов увезли сто восемьдесят тысяч пудов; хлеб стоил тогда пятьдесят три копейки пуд. Теперь куль муки дешевле трех рублей не купишь, а в розницу – дороже рублем. Прежде на местные базары хлеб получался

из Перми и из Ильинского, теперь с устья Белой идет, а весь ильинский хлеб и тот, который когда-то возили через Пермь, кунгурский, идет за границу, сначала в Петербург. Екатерининский канал и в этом отношении очень важен. По нём пойдут у нас массы грузов.

– Да достаточно ли воды там?

– Пельцам проехал осенью – воды было довольно; Крузенштерн недавно прокатился на Печору этим же путем – тоже не жаловался.

– А как добраться до этого несуществующего канала?

– Вверх по Каме до Усть-Кельтмы Южной. Весною и осенью Кельтма судоходна. Для дров по ней самый лучший сплав, так что лодки ухватчиков стоят тогда на устье ее, а дровяные плоты сами добегают до них, без препятствия по всему течению реки. По Кельтме нужно подняться до границы Вологодской губернии. Оттуда вы вступите в канал и по нём доберетесь до Северной Кельтмы, которая, в свою очередь, впадает в Вычегду. В самое мелководье, посередине лета, глубина Южной и Северной Кельтмы – минимум от одной второй до одной третьей аршина. Весною и осенью вода «пухнет», по местному выражению, и может поднять значительный груз... При шлюзах пристани.

– Позвольте, вы говорите, что канал в Вологодской губернии; ведь на тех картах, где когда-то означали, он был в Пермской?

– Верно; что же вас удивляет? Врут не одни календари; врут и карты, а у нас еще пуще календарей!..

Чёрмоз – столица Абамелек-Лазаревских владений на Урале.

Едва ли у кого-нибудь сохранилось здесь столько лесных угодий, как у них. Всё начало этого столетия и конец прошлого ознаменовались борьбой между ними и Всеволожскими. К каким только средствам не прибегали те и другие, чтобы завладеть каким-нибудь урочищем. Право владения считалось по первенству занятия. Всеволожские займут, положим, лес и поставят там избу, а Лазаревские люди перенесут ее в другое место и ставят свою. Таким образом, доходило до побоищ, жертвы которых так и оставались неизвестными. Пермские леса свято и верно хранят свои тайны. Свидетели жестоких убийств и грабежей, вековые великаны давно легли под топорами дровосеков, и только случайно попадающиеся в уральских пустынях черепа и костяки безмолвно говорят душе о том, что не всегда эта мертвая глушь была так же тиха и молчалива, как теперь. По старым документам определялись границы реками. Так, для того чтобы расширить свои владения, предки Лазаревых завалили одни реки, а имена их переносили на другие. Да и межевщики тонко знали свое дело. Случалось, например, что из двухсот тысяч десятин они вымежевывали девять тысяч, а остальное шло тем, кто раньше встал, палку взял. Нечего уже и говорить о том, что иногда целые имения проигрывались в карты. Урал немало насчитать может таких собственников, которые своими громадными имениями обязаны мошенничеству, подлогу или шулерству... Немудрено, что в населении прикамских волостей и теперь жив еще дух бродяжничества, старательно развивавшийся владельцами, которым были выгодны всякие переселения на никому не принадлежащую новью. Пермский крестьянин до сих пор меняет свою родину. Она не привязывает его к себе, «Где стал – там и взял», – говорят они. Еще недавно в Растёс, к Павде,

на истоки малоизвестных рек, переходили целые села. В пермских лесах, близ Растёса, и донныне живут сотни народа, который наверно не скажет, кто он и откуда пришел. Эти колонисты вообще не спрашивают о прошлом. Им до прошлого нет никакого дела. Они дружелюбно относятся к беглецам, устраивающим жилища под землей, гостеприимно встречают «орешников», т. е. крестьян, собирающих кедровые орехи, и охотников на белку, которых промысел иногда загоняет в дремучую глушь пермского леса.

Указание криминалистам: между беглыми в этой глуши – преступление неизвестно, убийство неслыханно!

– У нас мир и согласие, – говорят они. – Друг дружке помогаем и живем по-Божьему. Ни над нами, ни под нами никого.

Уезжая отсюда в Пермь, я уносил с собою глубокие впечатления.

Долго еще потом грезилась мне лесные пустыни, безлюдные реки, жизнь, сложившаяся помимо всякого насилия – вольно и убого. Убого потому, что кроме внешней красоты своей природа здесь не дает богатства колонизатору. Не раз и потом тянуло меня опять в эти кедровые чащи, в эти горы, мрачное, каменное великолепие которых переносит туриста в сказочный край, в мир грез и фантазий...

## XLII. От Перми до Кунгура

– Тут, брат, не разживешься!.. – обернулся ко мне сумрачный кунгурский мужик с облучка своей телеги, когда мы выехали из Перми.

– Заработки плохи?

– А вот как: дай Бог, коли своих коней до зимы не зарезу.

– Чего же резать?

– Нужда режет... Дорога эта режет... Пять троек у меня было опрошлый год, а ныне – две... Голодное дело-то наше, вот что... А то бы не пошел!.. Вот дале, сам погляди, какова путина... За грехи наши, вот что, эту самую путину Бог выдумал.

Позади на алом фоне заката резко вырисовывались громадные, казавшиеся совсем черными ели; края облаков горели расплавленным золотом. С востока уже ползла вечерняя мгла, голубая, мечтательная... Бесчисленные обозы попадались нам навстречу. Только минуешь один – за ним в сотню телег растянулся другой, за другим третий – и конца им нет... Однообразно скрипят здоровые кунгурские колеса, медленно идут рядом понурившиеся крестьяне... Ни говору, ни песен по всему этому неоглядному простору. Село попадает, обстроенное на славу, громадные чистые избы, постоянные дворы на полуверсты растянувшиеся со своими сараями и службами... В старое время строены. Вот нынешние лачуги – и деревья видно мало, да и земли в обрез, зато прежние так и горят на заходящем солнце стеклами своих окон...

– Теперь все эти обозы на Крестовскую ярмарку в Шадринск да в Пермь едут... – сказал ямщик, – тут их до пропасти. Было время, хорошо мы на тракту этом кормились. Ну а теперь – нет.

– Почему? Товару мало стало?..

– Нам с проезжим человеком разговаривать не велено, во что!.. За это влетает-то... На станции поспрошай; скажут, какие ныне порядки. Ну да что!.. Вон Ермакова лощина, ишь... – переменял он разговор.

– Почему Ермакова?

– Да здесь сам отдыхал, как на Сибирь шел. Он ведь эфтими самыми местами. Тут ведь он сколько этой немоты побил...

– Какой немоты?

– Такое племя было, что по-нашему, по-христианскому, не понимало, ну и ему, Ермаку, покориться не хотело. Окружил его Ермак и три дня бил... Так и извел всю немоту...

Тройка коней бойко внесла нас на высокую гору, с которой так и пахло в теплом воздухе этой северной ночи липовым цветом... Тут целая роща лип стоит. Добежали они до верхушки да точно и остановились там, засмотревшись на громадную, верст на двадцать раскинувшуюся долину... Вокруг обложили эту долину конусы и ощетинившиеся густыми лесами гребни первых уступов Урала. Внизу вьется река, капризно подбегая к каждой рощице, к каждой деревушке... То она окутается вся в непроницаемую синь далекого лозника, то, непокорно выбившись из его объятий, блеснет под зарей ярким заревом, точно там из какой-то невидимой расселины горит извив красного полымя... А деревень-то – будто насыпано. Вон Башкирское сельбище – Колковское. Беднота так и сквозит во все прорехи... Стены расшатались, кровли в дырах совсем, трубы где есть – пообваливались, упали и заборы – видимое дело, и хранить им уже нечего стало у себя... Всё съедено... Мечеть – та почище, новенькая, вон и старая за нею... того же казанского типа, какие я видел на Каме и на Волге.

– Они, эти башкиры, умные...

– Чем это?

– А как же, они свои мечети и школы, которые есть, насчет кабака содержат.

– Да разве они пьют?

Ямщик с удивлением обернулся ко мне.

– А то как?

– Татары ведь непьющий народ...

– Нет, брат... Ноне такого мужика, чтобы не пил, значит – нет... И быть не может... потому что пьешь, что не пьешь – всё одно... А башкиры прежде, как у них леса были, хорошо жили... Богато!.. Тогда они и водки не пили... А как стали беднать, и пить стали...

– И тут, значит, леса вырублены.

– А вот: какие видишь округ – всё это так, мелколесье, молодятник, нестоящий совсем. Настоящие, какие были, кондовые леса все под топорами сгнули... Не стало их. В упокойниках леса наши!.. У нас, по нашему Пермскому краю, от этого от самого промысла многие мещане миллионщиками объявились... Какие леса – казна продала, потому что и чиновнику есть-пить требуется, какие у помещиков скупили, а потом и башкирские рубить пошли... Так и сняли с земли шубу-то... Ишь, ей без шубы холодно, она и мерзнет; где прежде хлеб рождался сам-восемь, да сам-девять, теперь и сам-четыре –



слава те, Господи! А то совсем весь в солому уйдет. Без лесу и воды не стало... Такие были у нас прежде деревни, что совсем в лесу схоронились... Суток трое идешь, бывало – полянки есть – а конца лесу нет; а теперя такая деревушка вся тебе на припеке, на ладоньке... Ни лесинки кругом – поле да луга одни... Опять же, коли новый лес и вырастет где – там уже старому, нежному дереву не бывать. Где липа была – там хвоя подыметса, да и то корявая вся, словно в болячках.

Дорога мало-помалу становилась всё хуже и хуже. Вся она была в каких-то колдобинах; колеса вязли в прутьях, выбивавшихся вверх сквозь навоз и мелкий камень. Нас бросало во все стороны.

– Вот ты спрашивал, отколь у нас разорение пошло, у ямщиков... от этой самой дороги и пошло... Пока сухо – теперя примерно – рай... А в ненастье – не приведи, Господи, всех лошадей покалечишь. В мае исправляли ее – да как? Ивовых пучков набросали да сверху камнем присыпали... Первые обозы пошли – камения вниз скрозь сучья... А потом чрез неделю и началась битва эта самая. Колеса пополам, шины – тоже. Развал самый... Теперя ничего не видать, а вот как дождь пойдет – и станут тут кони калечиться. А сколько денег перегубили на эту самую каторжную путину – страсть!.. Бумажками всю ее услать можно было бы.

И действительно, на первой же станции, развернув книгу жалоб, я прочел в ней ламентации только что проехавших передо мною путешественников. Вот один жалуется, что двадцать пять верст он ехал – восемь часов, другой, называя эту дорогу отвратительной, гадкой и убийственной, говорит, что все прегрешения могут проститься человеку за страдания, испытанные им по этому пути; третий предлагает пермских земцев, со Смышляевым во главе, возить по Сибирскому тракту до тех пор, пока они на своих боках не почувствуют всего ужаса его. Титулярный советник Петр Рылов просит начальство освободить его от адских мук; поручик Жигулев советует прибегнуть к более строгим мерам, а именно: расстреливать, «не щадя виновных»; зато одна дама оказалась более мирных настроений... Она только задалась вопросом: кто «нас» пожалеет здесь – «лошадей и женщин!..»

Чем дальше, тем деревенские постройки здесь делаются крупнее и крупнее. Сплошные постоялые дворы вытянулись по обе стороны дороги. Пузатые дворники с громадными бородами стоят у крылец своих дворов и заманивают еще издали к себе троешников и обозчиков или же провожают отъезжающих, перебрасываются криками и пожеланиями с одного конца громадного обоза на другой.

- Ивану Трофимычу... Поскорее вернуться... С Богом!..
- Твой гость! Назад поеду, приверну...
- Уж и перменями я тебя тады угощу.
- Дело хорошее.
- Вы нам, а мы вам... Мы нашими животами живем, что говорить!..

По пути на дорогу, видимо только что исправленную, набросаны целые глыбы крупного камня... Лошади с трудом пробираются между ними...

- Вот как у нас путь-то устраивают! – злится мой спутник.
- Отчего не разбивают этих камней?

– Спросите! Говорят, лошади копытами разобьют...

Сколько же копыт понадобится, чтобы привести хотя в сколько-нибудь сносное состояние эту хаотическую дорогу. Еще хорошо, где остался клочок старой дороги неисправленным – там хоть дышать можно, зато на отремонтированных участках – невыносимо... Это какие-то рельефные карты Гималаев. Ваш экипаж то становится на одно, то на другое колесо, то вместе с вами рушится куда-то вниз, то вас взбрасывает так, что вы руками хватаетесь за воздух, чтобы сейчас же перекинуться вправо-влево и пересчитать головою все обручи, весь переплет надвинутой на экипаж кибитки...

– Это еще рай. Погодите, – предупреждают меня, – самое ужасное впереди...

У самого моста ямщик наш взял влево, сполз с косогора по целине и опять поднялся на дорогу. Оказалось, что на ней зияет громадная яма...

– Давно ли она у вас тут?

– Да недели две уже. Чиновник приезжал – смотрел. Сказывают, еще придет – смотреть будет.

– Чего же смотреть-то?

– Очень ему любопытно... Он ведь недаром смотрит-то... Он за просмотр деньги берет. Ему этакая яма за первое удовольствие...

Скоро кругом уже стала прохладная северная ночь. Робко мигали звезды на белесоватом небе... В тумане грозный силуэт какой-то горы... Точно сказочное чудовище залегло там и сторожит нас...

– Тут вот проезду не было, ломались экипажи, – оглядывается ямщик...

– Кто это хрипит в тумане?

Мы действительно слышали хрипенье... Бьется кто-то.

– Конь колеет... Намучился... Ишь, сердечный, – зорко глянул вправо ямщик, – эту станцию, коли в дождь, нам случается в два дня ехать... Колько разов назад сворачивали, потому нет пути... Каждый год исправляют, а только всё хуже... Старые пути куда лучше были... Теперь, чтобы совсем устроить эту путину, нужно все новые работы прочь снести, чтобы их и не пахло. Вы господин не здешний?

– Нет.

– Ну так вот, что я вам скажу... Всё это он...

– Кто он?

– Он самый, Смышляев. Всё это он. Потому он у нас царь. Что захотел, то и сделал. Теперь, сказывают, казна какие тысячи на эту дорогу отпустила – страху подобно. А у нас всё пути нет. Ишь, веточки торчат. Это он набросал веток; только еще пуще испортил.

Всё крестьянство кругом, как это и видно будет из следующих очерков, разорено дорогой. Разорено так, что ему и не оправиться. Лошади – искалечились, пали на каторжном пути, а тут еще бескормица была, пришлось продать коров... И вот тогда-то и начался голодный год, последствия которого до сих пор заметны на Урале. В деревнях, где на каждый двор приходилось по две коровы да по тройке коней, теперь на пять дворов – одна корова, да в редкой семье сохранилась лошадь...

– Мы уже и не знаем, что будет. – говорили мне. – Сначала на Бога надеялись, теперь и он нас забыл.

– Колеем, голубчики, колеем... Видно, чернети много развелось, что изводит нас... Когда леса были, лесами кормились, дорога хороша была – дорогой жили... а теперь леса вырубili, дорогу испортили... Куда нам...

Туман по пути всё гуще и гуще... Едва рассмотришь причудливые очертания каменных гор. Вот дорога подошла к нам... Точно одна цельная скала вытянулась гребнем версты на три... Ни расщелин, ни перерыва. Мы едем вдоль... Ни лесинки на ней. Скала пониже и пониже... слилась с сырою луговиною, на которой мы по белому пару отличаем реку. Вон направо другие горы поднялись. Несмотря на ночь, обозы тянутся за обозами, все по одному направлению с нами...

– Это все в Кунгур, – объясняют мне.

– Ивовую кору для кожевен везут...

Вот в тумане и самый Кунгур. Огни мелькают оттуда...

– Эх вы, несчастные!.. – похлестывает лошадок ямщик, и наша телега, оставляя за собой окутанные мглою поля и луга, въезжает на широкую и людную площадь... Сотни возов стоят на ней. Слышно фыркание коней, голоса и крики...

– Что это?

– Базары.

– Ночью-то?

– Да все наши крестьяне с ивовой корой привалили. Город у нас большой да красовитый. Куда прикажете?.. На станцию?

Подъехали к станции – на самом крыльце усатая фигура. Во рту чубук.

– Проезжие?

– Да.

– И мните на ночлег сюда?

– Мним.

– Вотще... всего две комнаты здесь... В одной молодые заперлись... Свадьба здесь была, так комнату для приезжающих заняли. Не помешаете же вы им. Сами знаете: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене и будут два в плоть едину. Тайна сия велика есть». А в другой комнате – пьяные купцы бушуют.

– Как так?

– Очень просто... Один напился и вообразил, что умирает... Из города нотариуса вытребовал. Диктует ему духовное завещание. А другой горько над ним плачет...

– А вы же тут при чём?

– Я при них состою... Был прежде помещик, но, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Теперь – вот при купцах. Прежде бы я эту пьяную рожу... Ну да что!.. Пожили – будет... Всё ведь лучше, чем в остроге?.. Как вы полагаете, благородному человеку, дворянину – потомственному – хотя в остроге-то место дадут?.. Если я кражу, например?.. Дает она, кража, права или не дает?

– Сергей Васильевич! – выбежал растрепанный молодец из комнаты и, точно потерял что, давай озираться.

- Чего тебе? Верно встряска была?.. Ишь вихры-то во все стороны...
- Пожалуйте... Савва Иванович требуют... Подписываться под завещани-ем... Совсем уж они теперь кончаются...
- Это под двадцать шестым-с подписывают... Потому, как напьется, сейчас умирать!..
- Куда же мы теперь? – спросил я у спутника.
- Никак не иначе – в Константинополь!
- Это еще что?
- Лучшая гостиница!..

### XLIII. Кунгур

Мы всё едем базарами... Всюду сотни возов с ивовой корою для кожевен. На возах и под возами сидят, лежат и болтают их хозяева, переругиваясь со скупщиками. Те, не глядя на них, как саранча, шмыгают вокруг сонных мужиков...

- На, выпей!.. – пристаёт юркий кулак к одному из них.
- Чего пить-то... Ишь на тебе креста нет. Ты говори цену настоящую – тогда и пить будем с тобой, Искарриот!..
- Выпить и с Искарриотом можно! – смотришь, соглашается тот. – А только и мои два рубля не на улице валяются.
- Дьявол, да я днем три либо четыре возьму.
- Ну это еще возьмешь ли... Четыре рубля... Ишь, какое ты слово сказал...
- Брали!..
- Времена были, брали... А теперь на, вина выпей!..
- Не мути ты меня, Христа ради... Подлая душа твоя... Ирод ты – вот что, – а сам глаз отвести не может от водки. Тут же возы с сеном. С одного базара на другой мы переезжаем чистенькими, хорошо обстроенными улицами. Толпа косцов-башкир в белых балахонах ждет на какой-то площади... Тут тишина... Башкиры не болтают между собой... Вон и третий базар, на нем бабы с ягодами, грибами, яйцами, крестьяне с овсом и хлебом, мальчишки с целыми горами деревянной посуды. Всё это орет, галдит; те же скупщики и здесь шныряют в толпе и торгуются.
- Вот и Константинополь.

Едва дозвонились... Омерзительный номер... В окно пахнет кожей, кожей пахнет и в комнатах... Затхлая и душная конура; всё голодное население тотчас же выползло на стены, очевидно, любопытствуя, кого Бог послал на ужин...

- Что это у вас?
- Известно что!.. Здешний клоп. У нас ими не обижаются. У нас везде... Домашний зверь-то, – и тотчас же перстом сделал из него запятую.
- Тюфяк-то этот под холерным был, должно быть?
- Тюфячок первосортный... Волосом набит.
- А что стоит номер?
- Полтора!.. Если без всего – полтора рубля... Остальное по такце...
- Отчего же так дорого?

– Да больше ведь в городе и гостиниц нет... Сколько спросим, столько и платят... Генерал останавливался, три платил. И то рад был, что место нашел... Вина вы много пьете?

– Совсем не пью.

– Ну вот! Хозяин-то еще вас за эту цену и не пустит. Нас и расчета нет пускать непьющих. Жилец непьющий – нам невыгоден. У хозяина винный погреб свой... Вот рядом стоит артист один, так ему номер-то за рубль отдали.

– Пьет много?

– Да... Они тут концерты давали... Ну, что собрали, всё у нас оставят... Они артисты столичные. Только пока выехать не могут. Потому им всё аспиды представляются, и будто бы у них из живота кота вырезает доктор.

Я подошел к окну. Городок выглядит очень кокетливо, хотя между чистенькими и щеголеватыми домами здешнего купечества кое-где напоказ выставляется гнилая рвань мещанского убожества... Вон рассвет выхватил из солнечного марева ночи Сылву, словно спрятавшуюся в крутые берега свои... Петухи орут во всю глотку. Удивительно исправная птица! И опять этот противный задушающий запах кожи. Вот под окнами внизу башкиры привалили в белых балахонах и белых валеных шапках.

– Вы нам паспорт свой пожалуйста.

– Утром...

– Нельзя-с... У нас строго... Потому мы тоже поджигателей ловим... Ну и бродят, которые...

– Говорю, утром. До тех пор не стану раскрывать чемодана.

– Как угодно-с... А только ежели квартальный пьяный придет, большое вам беспокойство будет... Третьего дня одному проезжающему руки назад скрутил.

– Что?

– Потому они немецкого природу и по-русски не понимают... Ну так им руки назад скрутили... В лучшем виде... Исправник уж выпустил.

– За что ж его арестовали?

– А зачем они к нам ездят. Мы здесь тихо, смирно... По православной вере живем... А они зачем к нам... По какой причине, ежели по-нашему ни слова?.. Чего хорошего... Вот уж именно... У них опять книги свои... Квартальному тоже нельзя... Он приступил к ним: «Какого содержания...», а они, немцы, глазами только хлопают да лопочут что-то по-своему... Ну он опять вторично: «Какого содержания...», а по третьему разу – и руки назад... Потому их только пусти... Сказывают, они у нас, на нашей земле, свои крепости на случай войны хотят строить...

– Это в Кунгуре-то?

– А хоша... У нас камня много... Хорошую крепость можно... У нас, что вы думаете, у нас певчие какие... В Екатеринбурге таких нет... У нас по воскресеньям прекрасное пение в соборе... Уж именно! У нас, если кто смиренный – так весело, ничего, и от начальства большого притеснения не бывает.

Кунгур имеет громадную роль в торговле этого края. Едва ли это не самый богатый город. Одного перечисления фирм его довольно, чтобы получить некоторое понятие о значении Кунгура в Пермской губернии. Вот главные из них: Кузнецов, отправляющий ежегодно за границу сала на десять

миллионов рублей. Губкин, занимающийся чайной торговлей с шестимиллионным оборотом. Грибушин, из писцов почтовой конторы, ставший миллионщиком; кожевник Фоминский, Чуватов, Пиликин, Турицын, торгующие кожей, – от трехсот до ста тысяч в год каждый, и многие другие.

– У нас купцы значительные! – объясняли мне здесь. Нигде таких пожертвований нет, как у нас... Вон недавно Грибушин на техническую школу дом на несколько сот тысяч дал, а вот мещанин здешний, Зырянов, взял да так, ни с того ни с сего, девяносто тысяч рублей на благотворительные дела отдал... Вот вы с ними и поговорите...

Утром, когда я вышел из номера, все улицы и площади этого торгового города были залиты народом. Башкиры, татары, пермяки, русские – всё это мешалось в одну пеструю толпу. Всюду – склады кожи, огнеупорной извести, громады мешковых, набитых чем-то, точно всё это выползло из сараев, где не хватило места нашему богатству. Вон толстый купец тащит за ухо через улицу своего приказчика; тот смиренно следует за ним и даже не делает попытки освободиться...

– Что это он?..

– Попался... Такая ли юла этот Спиридонов... Верно Трофим Трофимович на мошенстве его поймал... Сейчас казнить будут...

– Как казнить?

– Чем ни попало по морде. Палка – палкой, веник – веником. У них это просто, оттого ими и приказчики всегда довольны. У других выгонят, а этот оставит – служи... И еще раз поймают, и еще раз сами из своих рук накажут.

– Ну и нравы у вас...

– У нас нравы простые.

Кунгур по преимуществу купеческий город. Все тут живут тем, что даст купец, и купец здесь первый человек. Он дает тон городу, он первый и в городской, и в земской управе. В клубе чиновники перед ним млеют, в соборе батюшка о его благотворениях произносит краткие слова. Мещане смотрят ему в глаза и еще издали снимают шапки...

– Помилуйте, они наши кормильцы, мы без них что тараканы в пустой избе...

– Ну и они нас тоже... – заметил было один...

– Что – тоже?

– Болван ты... Всю из тебя соку с кокой выжмут.

– Отчего не выжать, коли мы голодные. Сытые бы – не пошли. А с голодного отчего не взять. Голодный сам идет... Крестьянина, того не так. У крестьянина есть хозяйство, земля... А у нас одно – блоха своя, всего и хозяйства!..

На севере хмурятся высокие горы. На их гребнях зеленеет мелколесье, откосы и обрывы все обнажены, и массы огнеупорного известняка белеют вокруг города. Город весь построен на скалах из той же породы и построен отлично. Красивые церкви без того запущенного вида, каким они отличаются в других местах, красивые дома, где ни во дворе, ни в окнах не видать ни души... Большое и роскошное здание Губкинского приюта на несколько корпусов, сады с густой листвой своих лип и кленов – всё это подходит прямо к крутому берегу Сылвы, по которому сползают вниз по крутому берегу



маленькие покривившиеся домики кунгурской бедноты. Подымаясь всё выше в гору, я добрался до церкви Тихвинской Божией Матери и невольно остановился на ее паперти. Подо мною внизу весь город... Крутой и капризный извив Сылвы, вроде французского S. Вокруг массы деревянных простеньких домов, перемешанных с белыми кварцевыми скалами, взрезавшими кое-где зеленые поляны и откосы. Сверху видны, как на ладони, дворы со всем их неприхотливым обиходом, кучи детей, баб, лошадей... Вон по улицам ползут долгушки, на каждой по двадцати баб с сельскохозяйственными орудиями в руках; все они едут теперь на полевую работу. Вон белые пятна на площади – это толпы башкиров... Налево масса белокаменных домов с зелеными кровлями, высокие колокольни, церкви, точно глядящиеся сверху в красивую и чистую Сылву. А за нею, за Сылвой, опять-таки целое марево всевозможных мелких построек и домиков, холмы с березовыми рощами, окутанными золотистым солнечным светом.

По моему мнению, это один из самых красивых городов нашего востока, да и из самых благоустроенных.

– У нас пожарная повинность на всех раскладена, – заметили мне.

– А что?

– Да вы обратите внимание... На домах-то.

И в самом деле, вместе с фамилией владельца помещено и указано, с чем он должен являться на пожар по тревоге. Вот, например, дом мещанки Розачиной «с кишкой», Ивана Точки «с бочкой» и, наконец, девицы Олимпиады Благолеповой «с машиной». Я невольно расхохотался, мне так и вспомнилось:

Ah Josefine

Avec sa machine!

Ходил я, ходил по улицам Кунгура и запутался. Наконец выбрался к какой-то церкви. Около, прямо на улице, столик, на столике кружка для сбора пожертвований. За кружкой сидит духовная особа женского пола, несомненно просвирня или что-либо в этом роде. Лицо – широкая масляница, сама – толще колокольни...

– Как пройти, – спрашиваю, – в «Константинополь»?

– А ты из приезжих будешь?.. Молодой какой... Что ж ты в наш Кунгур по делу либо проездом?

– Проездом.

– А ты поживи... У нас люди хорошие, богобоязненные. Наш город красивый. Одних храмов сколько.

– А не скучно у вас? Тут, я думаю, взбесишься от тоски.

– Чего скучно. В Москву от нас не захочешь, если мы тебе полюбимся. У нас какие купцы живут, знаешь ли ты?

– Да что же мне-то до них за дело.

– А ты не гордыбачься... Они озолотить человека могут... И женим мы тебя здесь. У нас невесты белые, рассыпчатые, мягкие... Около ее, что около печи, тепло будет... Оставайся-ко.

Я расхохотался – засмеялась и она. Наконец указала, куда идти...

– Да вот Фёкла в ту сторону... Фёкла, проводи господина.

Женщины здесь говорят как-то особенно певуче... всюду запах кожи, видимое дело, город этим живет...

– Этот запах скучный! – объясняла мне спутница.  
– Отчего...  
– Здоровый, сказывают... Он от внутренних болезней чудесно действует...  
– Я думаю, вы все на кожевнях работаете.  
– Нет, у меня точно что муж при кожевне, а я при доме. У нас мало баб, которые на кожевнях робят...

Когда я вернулся в гостиницу, там шло веселье.

Вместо органа в зале играла шарманка. Мотивы – таких уже теперь в других местах и не услышишь: «Шла девица за водой», «Гусар, на саблю опираясь...», «Под вечер, осенью ненастной».

За одним из столиков целая компания. Какой-то длинноволосый с перекошенным от пьянства лицом и вокруг господ купцы.

– Можете ли вы понимать, что такое музыка? – злился длинноволосый.  
– Нет, ты это не говори... Ежели хорошие певчие...  
– Что певчие... Это разве искусство...  
– У нас один дьячок...  
– Съезжу я тебя по мордасу, кажется.  
– Это они-с... Артисты... – пояснил мне половой, – с нашим хозяином сидят.  
– Построй ты мне здесь каменный театр! – приставал артист к купцу.  
– Зачем? Кто ходить-то будет?  
– Я вам оперы ставить берусь. Свет увидите, черти этакие. Тут вы ведь совсем щетиной обросли, свиным салом покрылись... Кроме кожи, ничего не знаете. Ведь вас, толстолобых, не прошибешь теперь...

Большая площадь перед гостиницей представляла оригинальное зрелище. Вся она была полным-полна народу. Бабы в необычайно ярких платьях бродили между телегами и лошадьми, болтались по лавкам. Со всех сторон сюда съезжались мужики покупать косы, грабли и серпы. Звон идет от них... Ругань стоит в воздухе.

– Вы первые грабители! – орет мужичонка, обращаясь неведомо к кому, посреди площади, – вам бы шкуру снять с крещеных... Нешто так можно.

– Да на кого ты?

– На эво: ён с меня три рубли – за что?.. За что три рубли?.. У меня на подать нет, а ему за что?..

Так никто его и не понял.

## XLIV. От Кунгура до Суксунской горы

Только выехав из Кунгура, мы поняли, почему эту дорогу называют каторжной.

Она ужасна в полном смысле слова! Представьте себе, что вас кто-нибудь схватил за голову и, приподняв, начинает энергично растирать собственную вашу особую сиденье, как растирают краски, вправо, влево, кругом, назад, вперед, по диагонали. В виде разнообразия вы делаетесь молотом, и всюду – вверх, вниз, в стороны – вы стучите головой и боками во всю мочь. Вы стараетесь головой проломать навес вашего тарантаса, как трамбовка,

прибываете внизу веревочный переплет экипажа. В конце концов, когда лошади останавливаются у станции, вы выходите разбитый, уничтоженный, весь в синяках. Язык прикушен, в голове сумбур какой-то. Только и отдыхаешь, когда ямщик целиной поедет или свернет на проселок, до которого не касались мудрые строители. Все обозы тоже идут проселками, оббегая, как огня, большой дороги. Сбоку она кажется длинным рядом каких-то насыпей, перемешанных с грудями белого камня. В насыпях этих, расползающихся от первого дождя, вбиты колышки довольно высоко над землей, точно для того, чтобы от них разбивались копыта подлинно несчастных коней.

– Страсть как мы этой дороге боимся! – машет на нее кнутом ямщик.

– А что?

– Всех коней извела каторжная!.. Еще хорошо, что начальства нет, потому начальство требует, чтобы не сворачивали в сторону, а по ней ехать по самой. Я тут пару чудесных коней потерял...

– Колеют? – машинально спрашиваю я.

– Колеют! А когда нет, так каждый день на шестьдесят коней тридцать-сорок подков нужно новых. Мочи не стало! Кузнец и молотовщик отдыху не знают, так что колесо перетянуть иногда дня два ждать приходится. Экипажей что на дороге брошено!

И действительно, навстречу нам попался священник. Сам идет впереди, позади лошади с кое-как навязанными на них узлами, подушками, чемоданами.

– Что это вы, батюшка?

– Да у Бушуевской станции колеса и передние, и задние – вдребезги... Тарантас я бросил, а в Екатеринбурге за него полтора дал... Из самого Иркутска еду, а такого пути еще не встречал.

– Плохо, батюшка, Богу молились, – замечает мой спутник.

– Непрестанно воссылаем мольбы о путешествующих. Но что же делать! Ныне по нашим грехам и чудес нет.

– Каких чудес?

– А уцелеть экипажу на сем пути разве не истинное чудо?

Вон дама сидит на развалинке своей коляски и ревмя ревет.

Кстати наехали мы. Взяли ее к себе.

– Что же я с коляской-то делать буду?

– Бросить надо.

– Я за нее в Перми пятьсот рублей отдала. Думала, дочери в приданое!

За Сабаркой пошли поля. Народ, видимое дело, землей живет. Кровли крыты соломой, соломой же покрыты и многочисленные, всюду попадающиеся часовни. Когда мы проезжали мимо них, выходили старики и позванивали – не бросим ли несколько грошей. Видимо, народ здесь пошел религиознее. Где нет часовни – там белые столбики с иконами. И тип у народа какой. Черные брови, несколько задумчивые глаза, женщины румяные и стройные. Не в Украину ли попали мы? Не Новороссийский ли юг это? И только синяя кайма резко очерченных гор на краю неба говорит вам о далеком Урале. Всё, что ни окинешь взглядом здесь, вся эта к самым горам подступившая гладь – вспахана до последнего клочка или сменяется сочными понизами с тучными мровинами.

– Тут народу хорошо жить! – вглядывается ямщик.

– Отчего?

– Потому у него заработков много... Не хочешь на заводе работать, в Суксуне землю паши. Земля здесь хорошая, жирная земля... В ей силушки много... Нет земли либо тяжело хозяйничать – иди в Кунгур на кожевни... А коли ежели вот – в извозе. Тут от самой Сабарки народу рай – не житье!

– Отчего у вас одни бабы косят?

– Баба по здешнему месту большой человек. Мужик на заводе либо в кожевне, а баба в поле. Здесь баба крепкая, ядреная... Иная за двух заводских мужиков управится. Нашу сабарскую бабу не замай... В иных прочих местах баб бьют, а здесь бабу нельзя бить.

– Не дается?

– Она сама оклоушит кого угодно в лучшем виде. Сабарские бабы своих мужиков в струне держат. Во как учат! Коли пошел пить – и ее с собой бери. Один не смей.

– Что же тут хорошего? Вдвоем и пропьют вдвое.

– С бабой-то вдвое?.. Никак этого невозможно! Мужик стервеет от водки, а баба пьет с разумом... Она честно, благородно – стаканчик выпила и мужика прочь из кабака волокет домой. Наше крестьянское хозяйство одной бабой и держится. Не было бы здешней бабы – и достатку бы не стало! Здесь баба мудрая, справедливая... У нас и на сходы бабы ходят.

– Ну?

– Верно! И говорят бабы на сходах, если хозяина нет либо если она вдова с семьей осталась... У нас часто баба ресторанов водит, когда мужика нет... Она за мужа повинность справляет.

– И убегают от них, верно?

– От нее не убежишь. Она свое дело знает. Наша баба, бывает, и на зверя с ружьем ходит за Суксун. Тут одна есть, Марфа, так она двенадцать медведей убила уж. Вот она какая, наша баба.

Гладь кончилась. Мы въехали на Суксунскую гору.

Еще издали рисовались нам загадочные дали. Как будто бесчисленные облака, приникли там и сям синие рощи... С вершины налево – лощины за лощинами, целое море холмов, гор и хребтов, словно нежданно-негаданно раскинулся перед нами какой-то сказочно красивый край. Вон в узком ущелье сбилось большое село Советное; там разрабатывают чугунную руду. Вон из-за горных скал следующей гряды вьется дымок – там прислонилось к кручам и осыпям другое село... Направо – лощины за лощинами. В одной из них грациозный извив голубого пруда и масса серых строений завода. Белая церковь точно стремится вырваться из них, вырваться прочь из тесных объятий этих гор и, словно жалуясь, высоко в самое небо возносит свой ярко сверкающий крест... Вся жизнь по лощинам и по норам... Здесь на вершинах – пустыня... Меланхолически шелестит под ветром редкая трава; корявая, вся сморщенная береза жметя, точно испуганная, по самой земле, громадные камни поседели от старости: тысячи лет они думают всю одну и ту же думу над этими долинами и холмами.

– Хорошо!.. У нас место красовитое, – замечает мой спутник.

Вдали едва-едва заметные мерещутся синие массы Урала... Вблизи золотые равнины ржи, изумрудные пятна свежих лугов...

- Хорошо! Действительно хорошо.
- У Сабарки лучше. Там народ богаче живет.
- Тут место красивое.

– Зато и бедноты здесь. Ишь какие себе кижы построили! – и ящик махнул кнутом на ютящиеся внизу однооконные маленькие клетушки, – семьями живут здесь! Беда! Как и дышать-то?

Тарантас точно нырнул вниз... Великолепный сосновый бор расступился и захватил нас в свое задумчивое царство. Громадные великаны, стройные, выхоленные, посылают нам навстречу свой приветствующий шелест... Лошади, попав на хорошую дорогу, бегут весело вперед – туда, где за последними соснами курится нам навстречу густой и удушливый дым.

- Это еще что там?

– А на околице навоз жгут, чтоб от соседей сибирская язва не перешла сюда. Она страсть этого дыму боится. Теперь округ всего села такие костыри курятся. Ну и точно ходит-ходит язва – а сюда не может.

Народ здесь живет дикий. Мы просились в избы – нас не пустили никуда. Так и пришлось уехать отсюда.

## XLV. От Суксуна до Ачитской

Чем дальше, тем окружающие нас виды всё лучше и грандиознее.

Что за чудные окрестности открываются, например, с песчаной горы... бесконечный простор перед вами. Всё раздвигается далеко-далеко. Налево среди холмов голубеют извивы красивой реки, направо котловина. С самого дна ее подымается отдельно стоящий конический холм резких очертаний. Он точно давит прижавшееся к самому подножию его село Ключи... По той же котловине чуть ли не десятью рукавами разливается речушка, выметывая повсюду островки то из белого камня, то из зеленых луговинки, то покрытые свежими рощами. Дорога с самого Суксунского завода превосходная, потому что грунт твердый и не испортишь его ничем; никакие инженеры не могут создать тут подобия того ада, который мы оставили за собою и должны еще встретить впереди.

- У нас село Ключи богатое.
- Чем?
- Хлеб свой. Не покупаем... Опять же тут такие целебные источники есть.

Оказалось, что около из земли бьют серные ключи, давшие свое название и селу. Они действительно пользуются заслуженной славой, хотя, разумеется, около нет никаких приспособлений для помещения больных.

- Дорога-то какая здесь славная.
- А вот погодите, завернем за село.
- Ну?
- Помянете родителей.

И действительно, не успело село Ключи с их почтовой станцией отбежать назад, как нас опять начало взбрасывать, а в некоторых местах просто выкидывало из телеги. Жалея свою голову, я на этот раз взял экипаж без навеса.

– Это еще мы проселком едем! – обернулся ко мне ямщик.

– А настоящая дорога?

– Там не приведи Бог. Вон она, взгляните.

Я посмотрел – ряд каких-то сугробов, на которых растет трава. Видимое дело, никто тут и не ездит. Сверху наброшена галька, под нею крупный камень, а под камнем глина. Всё это расползлось, встало ребрами. Разумеется, езда невозможна. Когда я расспросил, оказалось, что до «исправления» по этому пути ездили и ничего, не особенно было плохо, а как исправили дорогу, так уж никого на нее и калачом не заманишь. Сотни тысяч рублей и государственных, и земских истрачено на этот путь и только для того, чтобы из удобного сделать его совсем недоступным. В одном месте проселок свернул на эту каторжную дорогу и нам пришлось сделать полверсты по ней. Эти полверсты мы шли час по крайней мере. Не только ехать – идти было трудно. На самой середине пути мы наткнулись на почву.

Телега без коней, лошади отпряжены, и на чемоданах и сумках грустно сидит почтальон, словно Марий на развалинах Карфагена. Не успели мы взъехать на мост, как наткнулись на новую картину: полковник Войцеховский – колесо его экипажа провалилось в дырью этого моста – загородил нам путь. Без преувеличения можно сказать, что проезжий на этом только что исправленном пути рискует быть убитым или изувеченным каждую минуту. И такая дорога идет от Ключевской вплоть до Быковской станции без перерыва... Больная женщина встретилась нам около самой Быковской станции. Пешком она не могла идти и потому лежала пластом, избитая, вся в синяках – в своем тарантасе, который как носорог переваливался с одного бока на другой. А рядом с ней дети головами друг о друга стучаются как телята, которых везут на убой. И дальше всё было так же, как и здесь... Когда мы сползли на целину – увидели ту же картину: после только что оконченного ремонта тракт зарос травой и о его существовании напоминают только телеграфные столбы да березовые аллеи.

– А прежде, до ремонта, и тут можно было ездить... Почему же теперь не пробуют?

Ямщик остановил коней.

– А вот подите да поглядите!

Я взошел на дорогу... Черт знает какой хаос представился моим глазам. Колдобины, сугробы, ямы в полсажени глубины. Кое-где галька расползлась и обложила растрескавшуюся глину, в других местах из-под камня торчат вверх какие-то пучки сучьев, которыми наскоро забрали дорогу... Даже пешком идти увязнешь, а лошадям ни за что не вытащить телегу, которая по самую ступицу уйдет в эти засовы и ямы...

И на эти безобразия казна ежегодно отпускала по четыреста тысяч рублей. Интересно, в чьи карманы угодили эти деньги? Кто исправлял этот путь, сделав его совсем невозможным? Стон стоит по всем окрестностям. Одни плачутся на то, что лошадей на нем покалечили, другие на то, что



добраться никуда нельзя... Обозчики воют. Хоть совсем не вези товаров: всё равно приходится и их бросать посередине пути за невозможностью миновать эту, в полном смысле слова, и для людей, и для коней каторжную дорогу... Можно сказать, что у кого из проезжих здесь голова оказывается не разбитой и сам он выходил из этого испытания здоровым, то такое чудо следовало приписать особенной благодати Провидения. Проезжим оставалось одно утешение – отводить душу, записывая жалобы в станционные книги. И зато сии последние действительно представляют здесь своеобразную литературу. Сколько злости, остроумия и слез потрачено пассажирами на описание своих злоключений.

- Это еще что... А вот сейчас на Ачитскую станцию приедем.
- Ну так что же?
- Здесь хуже путина.
- Да разве может быть хуже?.. – испугался я.
- Сами увидите.

И это оказалось правдой. Каждую станцию здесь едешь – думаешь, ничего ужаснее быть не может, и на следующей убеждаешься, что воображение бес- сильно создать то, что сотворено здесь земскими техниками и заправилами. Вон перед нами громадный обоз с казенным порохом увяз и стоит посередине дороги.

– Сколько времени, братцы, здесь? – спрашиваю у понурившихся и до последней степени озленных солдат.

– Второй день! Ничего поделать не можем... И есть самим нечего, и кони голодные! А с каждым новым часом телеги вязнут всё больше и больше.

Дальше – опять земский сенокос, то есть дорога, поросшая травой. Мы имели неосторожность двинуться по ней – и жизнь прокляли. Как ни иска- лены боковые объезды, как ни испорчены они, всё же с ними и сравнить нельзя этого земского тракта. Это что-то невероятное. Галька, насыпанная здесь, весит каждая по три фунта. Я сам видел гальки с голову двухлетнего ребенка. Всё это брошено прямо на вязкую глину и не утрамбовано. Думали, что колеса экипажа и копыта коней утрамбуют и разобьют камень, но никто не рискнул ехать – и всё так и осталось в своем полном и несравненном безобразии. А где и проехали неосторожные, там сейчас же образовались глубокие колеи. На жалобы проезжающих земство не обращало внимания, а когда появились в газетах известия об ужасном состоянии Сибирского трак- та, тогда пермская управа не нашла ничего лучшего, как ассигновать тысячу пятьсот рублей на преследование газетных корреспондентов. В этом отноше- нии чрезвычайно любопытна жалоба, записанная в книге Ачитской станции. Привожу ее здесь целиком: «Ввиду того, что Пермское земство значительным большинством голосов определило тысячу пятьсот рублей на преследование корреспондентов и газетных заявлений об ужасах Сибирского тракта, сим свидетельствую, что тракт за несколько станций до Екатеринбурга и от него также невообразимо дурен. Но будучи инженером, не могу не изумляться гро- мадности цифр стоимости исправлений дороги. Проехав от границы Монголии до Екатеринбурга, положительно нигде не встречал такого отвратительного пути. Раньше много слышал и читал о неисправности его, но никогда не мог

себе представить, чтобы действительность превзошла воображение. Глубокая грязь, выбоины и ухабы в двенадцать вершков вышины и глубины, местами полотно дороги перерыто канавами. Исправление ничтожно, запас хряща незначителен, еду от трех до пяти верст в час».

И таких заявлений сотни. Я видел, проезжая в один конец, обширные заготовки для исправления некоторых участков дороги, а возвращаясь обратно через несколько месяцев, нашел, что путь совсем испортили, а не улучшили. Несчастные в полном смысле слова ямщики должны были сами прокладывать себе дорогу по сторонам зигзагами, увеличивая длину пути. И замечательно, что проложенные ими тропы, ничего не стоя, гораздо лучше, чем драгоценный Сибирский тракт, по которому перестали ездить.

Одно, что немного примиряет со всем этим, да и то записных любителей природы, это виды Урала. Они здесь грандиозны и красивы. Вон изящно рисуются на горизонте две горы, имеющие форму красивых персей. Их так и называют «титечными»; за ними мерещится уже главный хребет Урала – точно там, на краю неба, вырезались синие грозовые тучи.

## XLVI. От Ачитской до Бисерти

Та же история: дорога хороша там, где ее не исправляли, и скверна там, где ее ремонтировали, – те же громадные гальки, глубокие ямы и колеи. Тут нам пришлось перегнать целый поезд арестантов. Бритые головы, бряцание цепей, взгляды исподлобья и те же полные страдальческой покорности судьбе лица женщин и простодушные, даже в этой обстановке улыбающиеся лица детей... Особенно один ребенок остался у меня в памяти. Он сидел на руках у отца и играл цепями, которыми были скованы эти мускулистые, сильные руки... В одной из телег лежала лицом в солому и рыдала женщина.

– Ах вы, детки, детки! – вздохнул мой ямщик. – А только не по правде это! – обернулся он ко мне.

– Что не по правде?

– Везут-то их... этих баб, которых... За что?... Иная и не виновата совсем, а засудили. За что младенцы теперича страдать должны? Мы их страсть жалеем. Как в село к нам приведут – сейчас молока им, хлеба!.. Оборони Бог деньги взять с них. Большой это грех!.. Ишь Ермакова гора, – махнул он кнутом вперед.

Желтые песчаные холмы. На их золотистых обрывах синеют черточки пихтового и соснового леса. Впереди вырисовываются первые крупные отроги Урала – точно вся даль застилается параллельными валами, дымящимися под утренним солнцем. Еще дальше за ними, точно в воздухе висят, конические вершины. Сами же отроги резко обрисованы на голубом небе, и скаты их сливаются с воздухом, точно они плавают над землей, оторвавшись от нее. Сверху вниз спускаются везде прохладные, зеленые, лесистые долины; спустишься в такую долину – и тяжело становится, точно со всех сторон надвигаются на тебя и давят эти сумрачные суровые горы.

– Где же Ермакова гора?

– Да вон! Ишь, точно две срослись... Их две и было. Тут допреж разная неверная чудь жила. Шел Ермак – и давай воевать ее. Бились они, бились – а там две горы стояли; промеж них-то и загнал Ермак неверного царя. А царь этот волшебный был: видит он – нет ему пути. Ни вперед, ни назад, конец неверной душе приходит, и заклял он эти горы. Лучше же, говорит, мне от горы пропасть, чем от меча христианского. Горы и навалились одна на другую. Там так и доселе чудской царь со своим воинством сидит.

– Почему же доселе?

– А какие охотники были, влезали туда, так разные гласы слышали там, как в горе разговаривают. Особенно ночью внятно. А только же и злая эта чудь...

С той поры она всё на нас посылает и непогодь, и грозу. Как закурилась гора, так и знаешь, что волшебные люди из-под камня мару на нас пускают... А если тучи свертываются на ней – быть грозе... Никак царь этой своей гибели забыть не может.

– Зачем же он не раздвинет горы, ведь сумел же сдвинуть ее?..

– А ты как думаешь, Ермак-то дурак был!.. Он сейчас, как гора сдвинулась, срубил большую сосну, обтесал ее, да наверху, на горе самой, крест и поставил. Так и не может из-под креста чудской волшебный царь уйти... До скончания века будет сидеть в ней.

Какие громадные сёла пошли с Ключей! Едем, едем по улицам – конца нет. На версты раскинулись они... Вот, например, Ялым на реке Уте, впадающей в Сылву. Большие дома по широкой и длинной улице. Солнце уже поднялось и греет довольно сильно. Массы баранов жмутся под тень домов, лошади стоят у ворот попарно и обмахиваются хвостами, телята посередине проезда невозмутимо смотрят на вас. Где легли, там и лежат – хоть под колеса... Обилие скота заметно повсюду. У ворот кое-где доят коров, и коровы рослые, сильные. Подстать всему этому достатку, пожалуй, крестьянскому богатству – и тип местных крестьян совсем не похож на оставленных позади. Мужики, видимое дело, сытые, бабы красивые, сильные. За этим селом – другое такое же, третье...

Наконец, мы въехали на одну гору – и я невольно остановил коней.

Большая долина раскинулась внизу, и по ней самыми прихотливыми извилинами тянется река Бисерть, то разбрасываясь и дробясь на маленькие волошки, то сливаясь в одно быстрое течение, яро стремящееся вдаль, чтобы там опять разбиться на красивые рукава. Кажется, ей хочется обогнуть каждый холмик, заезжать во всякую встречавшуюся по пути рощицу. Вся долина заставлена такими идиллическими холмами; но они совсем теряются в виду гор, обступивших ее, а за этими горами синеют вершины еще более далеких. Сверху, в красивой Бисерти, мы различаем лодочки, точно черные черточки... Вон табун лошадей зашел в воду. Вон, на берегу, оригинальные кавалеристы – мужик с бабой на одном коне...

– Извольте видеть, сколь это они ловко... наши гусары!..

Я оглядываюсь. Подъехал деревенский поп... Мы раскланялись. Поп тоже сидел на коне, подобрал рясю.

- Умилительный вид и даже, возможно сказать, душевозносящий!..
- Да, красиво.
- Радуетесь творению Создателя своего... Поди, земной художник, сотвори что-либо подобное сему! Я так полагаю, нарисовать это трудно... А мы, по нашей жестокости, не чувствуем... Потому персть земная – и ничего больше.
- Умный этот поп у нас, – заметил ямщик, когда тот уехал.
- А что?
- Он, брат, три кабака держит, вот он какой... Коли деньги нужны мужику – сейчас к нему: он его тут же ловко... своего не упустит... Дочка у его – в городе за чиновником... Он тут значительный... Сказывают, его архиерей хотел в Екатеринбург переправить, только он сам не пожелал: тут ему выгоднее. Мужик ведь что – мужик глуп: сам, что муха, в паутину лезет. Соси его, сколько хочешь... Он, мол, и жалиться не станет...

Когда мы начали спускаться вниз, на несколько минут Бисертская долина спряталась от нас... Зато на седловине вырос перед нами цыганский табор. Точно в декорации, раскинулись щеголеватые шатры, под шатрами красные кумачные пологи и отличные тарантасы рядами; добрые кони целыми табунами паслись около. Женщины спят под пологами.

- Откуда тут цыгане так богаты?
- Как им не богатеть – первые воры. Здесь цыгане с достатком... По другим местам у них дети голые бегают, а эти вишь все одеты да обуты, в лучшем виде...

Даль опять раздвигается. В самом широком месте долина Бисерти делится на два рукава, образуя сочный зеленый остров между ними. Запруды около, где широко разливается вода. Громадное и красивое село Бисерть раскинулось по обоим берегам реки. Везде всё зелено, сочно... Кажется, всё дышит избытком жизни и силы. Весело становится, глядя на это богатство, к которому совсем не привык утомленный грустным однообразием нищеты и бездоля глаз русского туриста... Но дорога, дорога! Жерди с неочищенными ветвями, вроде гати; на ней просто грязь навалена, и ничего кроме грязи... Это называется ремонтом!.. Палая лошадь на этой гати; при нашем приближении с нее целой тучей срывается вверх тяжелое сытое воронье... Еще несколько минут – и мы торжественно въезжали в село, раздавив мирно заснувшую на улице свинью.

## XLVII. От Бисерти до Киргишана

- За Бисертью на Сибирском тракте толпы рабочих.
- Что делаете, братцы?.. – спрашиваем.
- Земские деньги хороним – дорогу портим! – кричат нам в ответ они.
- Массы ветвистых жердей без толку валят на шоссе. На жерди льют полужидкую грязь зачем-то. Мужики смеются.
- Тут еще вчера можно было проехать, а вот поправим – никому пути не будет.

Дорога отсюда идет горами; на двадцати пяти верстах ее – двадцать четыре горы. Телега то спускается в долины, то взъезжает на верхушки, где печет солнце, и острые камни одни стоят по сторонам, сменив давно вырубленные леса... Оставили позади красивую реченку Еманчу, что шумит в своих порогах и переборах, белыми каскадами падая с уступов скал. Красота видов по этому пути невольно мирит с дорогой. Вон, впереди, бесконечная цепь холмов и долин с Клоковой горы так и просится в картину... Жалеешь, что тут нет художника, который бы сумел воспроизвести эти крутые обрывы гор, под которыми змеится река Ута, эти гордые вершины, стремящиеся точно перерасти одна другую, эти резкие кряжи, точно окаменевшие морские валы, извивающиеся параллельно один другому, эти синие ущелья и пади, откуда только вьются дымки невидимых сельбищ. Но не успеешь еще отдохнуть на этой дивной панораме, как, смотришь, колесо пополам и телега валится набок. Впрочем, мы не одиноки. Вон смертельно бледная женщина на дороге. Тарантас ее опрокинулся и ушиб несчастную. Только и дышишь там, где дорогу еще не исправляли, а как попадешь на гать, залитую грязью и заброшенную крупной галькой, так тебя точно в решете начинают сбивать. В течение трех часов мы сделали только восемь верст, вставив запасное колесо вместо сломанного... Ни пешком, ни в экипаже. Точно переживаешь какой-то кошмар. Готов наброситься на кого-нибудь, прибить первого попавшегося. Безвыходная злость растет в душе, хотя и сознаешь, что она прежде всего ни к чему не ведет. Гораздо лучше было бы отдать эту дорогу крестьянам, а не техникам. Первые взяли бы четверть того, что истратили, неведомо на что, последние, и исправили бы путь отлично. Ведь немного надо специальных познаний, чтобы взять да засыпать эту дорогу жердями и грязью. Ведь нельзя же выводить на это в расход по четыреста тысяч рублей ежегодно. В некоторых местах по пути качает сильнее, чем на пароходе в бурю. На станции я застал несчастного чиновника. Тот чуть не плачет.

– Что вы?

– Помилуйте, я под суд попаду, или выгонят.

– За что?

– Я еще вчера должен был явиться начальству, а что мне делать, если по этому пути более сорока верст в сутки не проедешь?.. У кого тут свидетельство возьмешь, да и кто поверит, чтобы такое безобразие могло быть у нас?

И тут литература почтовых книг в высшей степени интересна. Вот, например, майор Винокуров, сделавший эту дорогу вместе с женою пешком, по невозможности ехать, таким образом обращается к виновнику его мук: «Г. председатель Дмитрий Дмитриевич Смышляев, вы два трехлетия распоряжаетесь в губернском земстве; по вашему ходатайству денежная земская повинность уездными управами отдана губернской; по вашему ходатайству правительством назначило на исправление той же дороги двести тысяч рублей ежегодно, и между тем в ваши два трехлетия сибирская дорога от Кунгура до Екатеринбургa уничтожена. Неужели стоны проезжающих, стоны крестьян-обозчиков не доходят до вашей совести? Я готов перед общественным судом доказать фактами, что дорог здесь не существует». Другой, полковник Войцеховский, свидетельствует, что он проезжал по этому же тракту в 1867,

1869, 1871 и 1872 годах и никогда бы не поверил, что дорога до Кунгура может быть уничтожена, а между тем это оказалось так; следовательно, отпускаемые правительством двести тысяч рублей и столько же земских ежегодно тратились не на улучшение, а на уничтожение пути... Мы не приводим других бесчисленных жалоб.

Опять мы нагнали партию арестантов. Тут меня глубоко поразили здешние крестьяне. Шла их целая партия. Увидев «несчастных», они захотели подать им милостыню. И в первый раз в жизни я видел, как уралец делает это. Они сняли шапки и без шапок подошли к арестантам, низко поклонились им и тогда уже подали деньги.

– Что это они? – спрашивал я у своего спутника.

– Они всегда так... Это они кланяются несчастью... Не они ждут благодарности, а сами благодарят, что их милостыня принята.

Меня это тронуло. Нужно было самому видеть выражение лиц этих странников, глубокое чувство, отразившееся в них. И насколько выше они наших криминалистов, насколько чище их явился в эту минуту передо мной народ, тот самый народ, который чуть ли не в виде гориллы изображался его приносящими знатоками и описателями!..

– Христос тоже ходил в рабском виде...

– Да ведь они преступники, согрешили перед законом?.. – заметили им.

– Мы перед Богом каждую минуту грешили, да и то Он, милостивый, нас не карает, а что выше – Бог или закон? Нет, судьи земные строже Бога хотят быть... А кто же не грешит? Есть ли такой человек, чтобы во всю жизнь свою свято закон соблюдал?.. Эти несчастные хоть искупили уж вину свою, слезами омыли ее.

И они, разумеется, были правы, чутьем поняв всё очистительное значение несчастья.

На самой станции до восьми лошадей хромали; каждый день на этой дороге кони разбивали себе копыта. У моего ямщика от этой дороги пало шесть лошадей!..

У Клёновской станции начались самые высокие горы. И дорога отсюда пошла еще хуже, если это только возможно.

– Зачем же ты не уйдешь?

– Как уйдешь? Контрахтой нас обязали... Куда уйдешь? Случалось, другие бегали – их становой назад. Пока последняя лошадь ляжет, сиди. Разорение, барин! Такое разорение – не приведи, Господи! Я богатый ведь мужик был, восемь хороших коней держал, а теперь у меня два осталось, да и то у одного вчера на жердях этих копыта сорвало. Стоит теперь, булатка-то...

Горы всё выше и выше... Сёла в долинах всё такие же крупные. Бабы в ярких платках. Старики в караулках жмурятся на солнце... Вот косцы идут и поют унылую северную песню, у которой однако не хватает силы подняться в высоту, на вольный простор. Так она и стелется по земле, и ласкается к ней, и плачет на груди своей матери... Со стороны поля ветер несет в лицо нам запах фиалок. И тут же по пути воротит нос от палых коней...

Все сёла тоже в лощине попрятались: нет ни одного на вершине холма или на склоне горы. Каждое ютится на дне котловины или в долинах



у речки, весело стремящейся вперед между этими мрачными конусами уральской ограды... Вот липовая роща навстречу...

– Последняя! – сообщает мне спутник.

– Почему последняя?

– Извели все... Новых лип не растёт... На прежних нивах шупенный лес подымается, березняк молодятник.

От Клёновской станции вплоть до Билимбаевой в 1873 году народ мер от холеры: сотнями тысяч гибли крестьяне. Председатель Пермского земства отрицал холеру совершенно, сравнившись в этом отношении с знаменитым самарским губернатором, тоже не признававшим у себя голода. Когда купец Михайлов здесь стал покупать лекарства и помогать народу, донося вместе с тем о холере губернатору Андреевскому, то Смышляев потребовал, чтобы непрошенного благотворителя предали суду за «распространение ложных сведений»... Странные обычаи, между прочим, возникли в некоторых местах здесь, особенно в селе Грובове, с того времени: крестьяне умерших девушек хоронили со свадебными песнями!..

## **XLVIII. От Киргишанской до Грбовской**

Ночь уже... Мы медленно спускаемся в долину. Серое небо, серые мглистые горы. Ничего определенного, всё тускло, всё мерещится... Одни только костры внизу, в долине, ярко горят. Оттуда слышатся песни и крики.

– Ишь длинноподолое племя!.. – замечает мой ямщик.

– Что это такое?

– Да бабы вон там!.. Это всё на полях работало, ну теперь у костров ночь коротают.

– Ведь не одни же женщины?

– Одни бабы да девки: мужчин нет. Те не ходят сено косить вовсе. Они на заводах в это время работают. Теперь у баб веселье. Веселье-то веселье, – обернулся мой ямщик, – а только не дай Бог остаться с ними тогда... Они у нас в эту пору шальные – зациплют да замучают. Теперь парни и близко к ним не подходят: потому они всякого парня обидят. Тут какое дело было! Становой ехал, и бабошник же был! Увидел он девок, сейчас – стой, и к ним. Видят они – начальство, ну, первое время его честь-честью приняли. Сел он у костра – ничего. Только и давай он забижать их. Аксинью стал по грибы звать, она не пошла, он ее за подол... Тут девки и озлились. Связали станового – да и сволокли его в лес. В лесу наломали прутьев, потом с него, с начальства-то, штанину долой и высекли... И кричал же шибко, становой-то!

– Что же потом?

– А потом он, как оглашенный, от них в город... поскорей!.. Так и не жаловался, потому стыдно ему было...

Темные силуэты деревьев выдвигаются нам навстречу... Вон табун, застоявшийся на дороге, шарахнулся от нас в сторону... Песня откуда-то веселая звенит... Так и охватывает всего; самому хочется уйти присоединиться к поющим и скоротать с ними эту серую северную ночь...

– А в другой раз чиновника из города они было защипали всего! У нас девка вольная, она что божья трава рощена: ни над ней, ни коло ей никого...

Пошли ямы и ухабы... Нас вновь стало мучить на этой каторжной дороге.

– Тут больше верхом нынче ездят! – заметил ящик. Потому в телеге никак невозможно.

Видно, что порча дороги – дело не одного года. Если бы шайка мошенников задалась целью нарочно испортить этот спуск вниз, то они не могли бы лучше выполнить своего намерения. Допустить такое состояние пути – преступление. Вон, например, рядом с нами едва ползет, переваливаясь с колеса на колесо, экипаж, а впереди, в грязи, едва-едва бредет какая-то дама с детьми. У этих даже жаловаться сил не хватает...

– Да скажите же, наконец, разве Пермское земство самодержавно, неприкосновенно? – разозлился мой спутник.

– А что?<sup>19</sup>

– Разве нельзя судить его членов?

На станциях те же красноречивые жалобы. Воинственный майор Постойнов выражает желание скорей взять приступом укрепление, защищаемое сильной батареей, чем добровольно ехать по этой убийственной дороге... Капитан Свейский пришел к утешительным заключениям: для достижения рая нужно идти тернистым путем, но эти триста шестьдесят верст разве не самый тернистый путь изо всех, доселе известных. Всевышний поэтому не оставит капитана без награды за его страдания. Далее он подробнейшим образом описывает колотье в груди, боль головы, синие пятна на теле, изображая последние графически и призывая небесные проклятия на лиц, взявшихся за исправление этого пути...

Нам попались здесь опять цыгане, и опять такие же роскошные шатры у них, как и встреченные нами накануне.

Как вчерашние, так и эти оказываются хотя и цыганами, но в то же время весьма богатыми тюменскими купцами. У них мало-мало на каждого тысяч по сорока денег, тем не менее они не оставляют своих кочевых привычек, и дети их, мальчишки, совсем по инстинкту, никак уже не из нужды выпрашивают у проезжающих милостыню.

У них так: как май месяц – они сейчас же заколачивают свои дома, переселяются в тарантасы и на кочевку, где день, где ночь под шатрами. Летом и весной в городе чахнут совсем. Им нездорово оставаться в это время в стенах домов. Камышловские богатые купцы, из цыган, то же самое делают. Их без кочевья тоска берет. В городе живут – купец-купцом, как выползли на кочевье – всё старое опять возвращается: готовы и коня увести, и погадать на ладони и на картах, и спеть целым табором.

Мимо нас, несмотря на ночь, со смехом и весельем идут поденщицы на работу.

– Эй, бабы!.. Почем рядились?

– А те пошто?.. Аль самому баб надо?

<sup>19</sup> Надо заметить, что теперь, верно, изменились порядки, о которых я говорю. Я ездил по Пермской губернии несколько лет назад.

– Баба завсегда нужна! – резонно отвечает ямщик. – Без бабы куда денешься?

- Ты, Василий, мужик умный... Своя-то жена нашто?..
- Своя жена дома на Грбовской... А тут я за холостого.
- А вот подь-ко к нам: мы тебя утешим!..
- Знаем мы вас.
- Мы те скулы-то повыворотим...

И с громким смехом бабы уходят дальше.

Оказывается, что на хозяйских харчах баба получает здесь от сорока пяти до шестидесяти копеек. На Киргишанском заводе на две косы полагается рубль. Мужчина, когда он свободен и может работать на полях, получает немного больше: от восьмидесяти копеек до рубля каждый – тоже, разумеется, на хозяйском корму. При дороговизне хлеба здесь ему нельзя было бы и существовать на своем.

По пути на Грбовскую станцию мы, наконец, попали на дорогу, еще не исправленную. По ней можно было ехать быстро и покойно, тут и обозам легко. Мы несколько отдохнули на ней. Но зато всякий раз, как только нам попадался участок, к которому земство приложило руку, мучения наши были невыносимы: крупная галька и торчащие прямо под ноги коням жерди делали передвижение невозможным. Песку нет вовсе, и опять повсюду палые кони или еще живые, но уже бьющиеся в последней агонии.

– Что это такое?

– Ишь, ногу сломала... Эко бедная! Эх ты, кормилица крестьянская!

– Тут какая история была. Вчера арестант один умер в телеге – так его било всего, а он больной был...

– Ну, что ваша жалоба? – обратился к ямщику мой спутник.

Тот только головой мотнул.

– Начальство – нешто оно понимает!

– На что это жаловались?

– А вот представьте себе: обычай подавать арестантам так вкоренился здесь, что жители этого села нарочно ходили в Кунгур жаловаться этапному начальству на киргишанского унтер-офицера, не пропускавшего подаяний к пересыльным. Чуть бунта не было из-за этого. Со слезами на глазах жаловались крестьяне. «Кто же за них, за несчастных-то, заступится, коли не мы... Сам Бог велит посещать заключенных – как же смеют, дескать, не пускать к ним!..» Едва-едва удалось их успокоить. Вы вот посмотрите, до чего оригинален у них взгляд на арестантов. Мне и вам при встрече на пути здешние крестьяне не кланялись?

– Нет.

– Ну вот. Начальству своему тоже шапок не ломают, а арестантов везут – крестьяне низко-низко кланяются им. Вы как думаете? Ко времени, когда ведут в Сибирь этапные партии, верст из-за тридцати сходятся мужики подавать арестантам. Каждый несет что может. Удивительный народ!.. Зато и арестанты, даже беглые, ни за что их не тронут. Впрочем, они иной раз, здешние-то, какие дела делают. В прошлом году препровождались, между прочим, в Сибирь две дивные красавицы. Одна из них негодя мужа, тиранившего

ее, убила, а другая, защищая себя, со свекром покончила. Около Гробовской станции мужики двух этих баб взяли и скрыли. Так и не нашли их потом. Сказывают, через месяц они в полной безопасности в скитах были.

– Потому разве они виноваты? – вступился ямщик. – Они не виноваты. Это на меня разбойник нападет, так должен я ему живой в руки даваться?..

Сильно запахло душмянкой... Густой аромат ее стоял в воздухе.

– Вы знаете, бедные крестьяне пьют ее, эту душмянку (лабазник), вместо чая.

Дорога спускалась всё ниже и ниже к долине, на самом дне которой раскинулось большое и богатое село Гробовское. Тип местных жителей славится своей красотой. Здешние женщины считаются самыми привлекательными из всех кунгурских. Многие купцы нарочно приезжают сюда жениться на них. Даже рабочие на шоссе, понятно, в Гробовском селе отличаются от своих товарищей ростом и силой.

– Здравствуйте, Василий! – приветствовали они моего ямщика, – проезжай, проезжай скорей! – смеялись они, – потому, как мы поправим, так уже и проезду не будет.

Земские техники ссылались на болота, которых нет и в помине, и оправдывались недостатком песка, которого здесь массы. Поправляют они места проезжие, тогда как скверные так и остаются в прежнем виде. С 1871 по 1875 год из Гробовской станции до Билимбая в одну и в Киргишан в другую сторону отправляли проезжающих верхами. Дамам давали экипаж, но запрягали вместо четырех восемь лошадей. В течение последнего года здесь, в одном Гробовском, пало восемьдесят коней, а искалечено и испорчено гораздо больше. Ямщики буквально разорены. Очередные ямщики охотно платили по шесть – восемь и даже по двенадцать рублей обывателям, чтобы те за них исполняли гоньбу по дороге. Прежде каждому ямщику мало-мало принадлежала тройка коней; теперь они должны были собирать у товарищей или нанимать у других крестьян. То время, когда я проезжал по пути, было самое удобное для его исправления; но ничего не делалось. Нельзя же было считать ремонтом жерди, кинутые на дорогу и безобразно пересыпанные галькой. У подрядчика Стрижова, доставляющего материал, рабочие разбежались. Он, как оказалось, в качестве единственного материала для дороги заготавливал глину, которая при первом дожде расплывалась в жидкую грязь и только. На двух этих станциях у Стрижова из ста пятидесяти человек не осталось и трети, причем и девочки двенадцати–пятнадцати лет шли тоже в счет за взрослых. Мужикам он платил по пятьдесят копеек в день на их продовольствии. Местные жители на эти работы не идут, и людей приходится набирать где попало. Теперь страдная пора, и цены эти в высшей степени невыгодны. Земляная работа – самая тяжелая из всех мне известных, а притом еще и энергия работы у крестьян отнимается крайней нецелесообразностью ее.

– По хорошему месту мы камень кидаем, глину льем... А дурные так и остаются.

Кому это выгодно?

Из Гробова до Билимбая двадцать две версты. Сибирские обозчики делали этот путь в три дня. Они должны принанимать волов у здешних крестьян,

иначе им бы и не выбраться из этого ада. За волов платили по три рубля с воза, нагруженного двадцатью пудами. Представьте себе, во что обходится им доставка чужого товара?.. Наконец, за невозможностью дорог перестали даже овес доставлять на станции для лошадей. Из Талицы в Билимбай за пятнадцать верст платилось пятнадцать копеек с пуда; только перевозить овес туда желающих не было.

– Глядя на это бедствие, – говорит смотритель станции, – я готов был просто в лес бежать. Тоска брала смертная! Вчуже жаль было крестьян. Старика, бородатые мужики, бывало, придут на станцию и режут, как бабы: «Что же с нами сделали!..» Молчишь поневоле; что им сказать, как их утешить?

Особенно с прошлого (1875) года начали крестьяне жаловаться. Наш крестьянин выносил донельзя. Он только тогда начнет роптать, когда ему совсем невтерпеж. Сунулись было они в город, но спустя несколько месяцев жалобы их оттуда вернули обратно за непредставлением гербовых пошлин.

– А какие это такие ербовые, Господь их знает! И где их купить? Мы – народ темный.

Наконец, мужики не выдержали, собрались и за общей подписью, с засвидетельствованием смотрителя станции, послали в Петербург жалобу на крайнее свое разорение. Земство, узнав об этом, телеграфировало в Петербург, что коренное исправление тракта уже предпринято и что на нём работает тысяча человек. В действительности же у Екатеринбурга и за ним работало только триста человек, а в самых скверных местах у Грובה и Киргишана не было никого. Потом сам председатель земства отговаривался тем, что работы были прекращены вследствие сильных дождей. Проезжал тут вице-губернатор Лысогорский – жаловались ему крестьяне, но он их просьбы не принял; послали общую жалобу губернатору – тот ни слова в ответ. Не знали, куда деваться; обратились в сенат; затребовано было сведение: что сделано по прошению крестьян? Начальство спохватилось. Оказалось, что в губернаторской канцелярии даже во входящие книги не были записаны мужицкие просьбы... В конце концов, с тех пор прошло больше года, но разоренные ямщики не получили никакого ответа. Так и не знают, кому им теперь жаловаться. В одной из деревень был образ Николая Чудотворца. Собрались крестьяне, написали просьбу, пришли в церковь и положили ее перед Николаем.

– Пусть он хоть узнает: авось либо поможет!

Но и эта инстанция оказалась не лучше.

В Билимбае ямщики тоже поневоле нарушили контракт и отказались возить. По пятнадцать рублей за вольный экипаж платил содержатель почтовых лошадей на этом тракте Михайлов. Ему же пришлось купить от себя шестьдесят лошадей... Это было в полном смысле слова время ужаса и отчаяния. Арестантские партии от Киргишана до Билимбая сорок восемь верст ехали двадцать пять часов. Телеграфный кабель на расстояние пятьдесят восемь верст везли шестнадцать суток. Обозные разорились совершенно; в местностях некогда богатых, где о преступлениях не было слышно, развилась грабежи. Крестьяне в один голос стали требовать суда и следствия – их подкупали водкой, чтобы они молчали. На Талицкой станции обозы стояли по четыре, по пять суток; за тройку платили за пятнадцать верст

по восьми рублей, и то не находили желающих. На станциях и всюду крики, шум, плач. Лошади есть, но все искалечены... Пассажиры жалуются, ямщики ревут. Грязь всюду до ступиц, камни перемешались с грязью и глиной. К вечеру – как подморозит немного – шабаш. Проезжающие, пока не подспеют на помощь новые подводы, разводят костры на дороге, сидят на холоду. Свежую лошадь приведут бывало, а на другой день она уже без копыт, с искалеченными ногами... Сделает три версты – и вся в мыле. Сил не хватило вовсе. Богатые решетовские ямщики имели таких коней, что, закладывая их, тормозили экипажи с места, пока кони не обойдутся. Кони были огонь, ретивые, сильные, не доглядишь – мигом разнесут. В 1873 году они, эти ямщики, еще выдерживали, но в 1874-м все эти превосходные кони перекалечились, измучились, пали... Вся некогда богатейшая конская сила страны была уничтожена.

– Я, знаете, раз еду. Навстречу мне ямщик пешком... Только хомуты тащит. Увидал меня – упал на колени и, как ребенок, зарыдал. Насмотрелись мы тогда, нечего сказать!.. Чего тебе? – спрашиваю.

– Не могу... Невмоготу более.

– Да чего тебе надо?

– Берите всё с меня, что хотите, всех лошадей, всё добро, что есть. А только освободите... Хоть в тюрьму сажайте, я и в тюрьму пойду...

Старые лошади искалечивались – свежих нельзя купить. Непривычные сейчас надрывались... С тех пор у решетовских крестьян дела совсем пропали; бывало им по триста пятьдесят рублей за тройку платили, а теперь и ста не дают. Совсем не те кони.

– Силы у нас подорваны, справиться не можем! – говорят решетовцы.

В церквах свои крестьяне молились:

– Господи, накажи хоть ты наших врагов лютых!

Но вороги ликовали и безумствовали еще больше, а при всяком оглашении их действий обрушивались всеми законными и незаконными средствами на печать. У нас печать ведь всегда и про всё виновата: истинный козел отпущения. Нет такого мерзавца, который бы не накидывался на нее.

Название горы «Грбовская» – от чего и село пошло – явилось потому, что близ ее вершины нашли громадные гроба в виде колоды. Над гробами был насыпан курган.

– Чьи же это гроба?

– Да видишь, цари были такие неверные, которых Ермак побил, ну так и гроба их.

В другом месте мне объясняли иначе.

– Это волшебные люди в гору хоронились. Как русь пришла – они и давай в гроба прятаться... Им в гробах просторно было. Они с собой туда золото и серебро прятали... Ну а по ночам выходили и убивали наших. Покуль мы по горам этим крестов не поставили – всё так и шло. А как кресты поставили – сейчас они, волшебные люди, в гробах своих истлели, а все богатство их в гору ушло – жилами просочилось в горах-то, в камению самом...

На мосту девки гурьбою начали песни; в раннее утро кабак с выразительной надписью «прочь горе» уже полон. Петухи орут еще громче девок, и кони наши, утомленные за всю эту невозможную дорогу, едва довозят нас до станции...



– Ты наших котов видал?.. – обращаются ко мне.

– А что?

– Наши коты особые, китайские коты, пушистые...

Котов я видал потом и удивлялся их красоте, но в этот день было не до того... Везде лежали на дороге палые кони. Вон стояла невообразимая... Дышать было трудно в присутствии этих безмолвных свидетелей земской неурядицы...

## XLIX. От Грбовской до Билимбая

Дорога идет лесом.

По временам сквозь деревья мерещатся далекие синие горы. Вон направо, внизу, ущелье, на дне которого шумит и бьется поток. Его только слышно, сам же он весь спрятался в сочную тенистую чащу. За ущельем нахмурился, точно ошестинившийся, лесной хребет, сумрачный, зловецкий... Налево просека, будто в бесконечность проложена среди громадных строгановских лесов... Зеленая, в зеленом царстве, шла она прямо, как острие ножа.

– Это Строгановское царство, несветимое. Только у него, поди, и остались старые боры на Урале.

Опять горы за горами; на несколько планов раскинулись они, чем дальше, тем туманнее. Невесть что чудится на них раздраженному взгляду...

– Это Зачусовая сторонка... Самое приволье наше началось!.. Тут и ведмедя, и беглых – сколько хошь. Слободно им ходить тут куда глаза глядят! Не ловят их наши; беглых жалеют, а ведмедь, что ж, он здесь смиренный: уходит от человека, если не дразнить его...

– А много беглых бывает здесь?

– До пропасти! Тоскуют по родимому-то месту и бегут... Сами идут, чтобы опять на муку попасть. Прежде они и селились у нас, случалось.

– Как?

– В семью их принимали. У кого сын помер – ну, он и запишет вместо сына.

– И ничего, каяться не приходилось?

– Зачем каяться-то?.. Ведь он с горя да с нищеты на злое дело пошел. Ну а как видит добро кругом, так сердце-то у него и смягчится. Еще какие люди выходили: умные, работающие!

– А теперь этого не случается?

– Теперь нельзя. Ноне от начальства большая прижимка пошла. Никуда не спрячешься. Из своих же старшины, а хуже Ирода.

Я ничего не знаю красивее этих гор; одни за другими мрачными твердынями поднимаются они, заполняя горизонт. Ближайшие опушены лесами – чем дальше, тем они заманчивее и таинственнее. Когда мы выехали на последний спуск, перед нами открылась большая долина реки Чусовой... Сверху видно до двенадцати деревень, рассыпавшихся по берегам. И каждая деревня или к сумрачному лесу прижалась, или у крутых откосов серых скал ютится – точно ей защита нужна... Лес за лесами, рощи за рощами. Всё это млеет

под солнечным светом, разметывающим свои золотые блики и в струях реки, и в светлых щитах озерков, едва-едва выглядывающих одним краешком из-за обступивших их деревьев... На зеленых лугах еще красивее кажутся отдельно стоящие величавые сосны – последние великаны, оставшиеся здесь, точно в свидетельство того, что когда-то стояли тут могучие дубравы, срубленные жадными и ненасытными промышленниками... Тесовые кровли изб тоже ярко, словно золотые, блестят на солнце. На свежих еще ребрах только что построенных барок-белян тоже горит солнце. Беляны простоят здесь до весны будущего года... Вон далеко-далеко мерещится Билимбаевский завод... Глаз едва-едва отличает и деревни на склонах далеких, кажущихся тучами гор. Чудится, что эти деревни с их церквами повисли в воздухе.

– Вот тут ямщики распорядились чудесно!

– А что?

– Взяли да угнали коней в лес, которые уцелели. Здесь так было: лошадей, которые были заплачены по семидесяти да по восьмидесяти рублей, продавали от полутора до семи рублей. Больше не стоили – до того они были загнаны и искалечены. Крестьяне до сих пор еще не оправились от разгрома. Тут какая дорога – сюда овес из Екатеринбурга по двадцати пяти пудов везли в одной троечной телеге, в которую запрягали по восьми коней, да и то, случалось, бросали посреди пути. И смеху же было, не всё плакали. Видишь, бывало – пассажирка сама правит конями, а ямщик их в поводу ведет. Бывало и то, что в отчаянии ямщик и коней, и телегу свою бросит на дорогу, а сам и убежит в лес. Ну, проезжие и оказываются совсем беспомощными... Вот и завод!

Мы въехали в него широкой улицей. Красивые каменные и деревянные постоялые дома раскинулись на этом приволье. Несмотря на простор, улица была запружена обозами, приворачивавшими в постоялые дворы.

– Ишь затомили коней-то! – соболезнавали жирные дворники... – Ехали бы стороной, не по пути.

– Нельзя: начальство за нами было.

Оказалось, что по настоянию пермских земцев отобрали от ямщиков и обозчиков подписки, что они обязываются ехать по этому мерзотнейшему тракту и отнюдь не стороной.

– А вы, барин, тут за своими вещами приглядывайте! – предупредили меня, – не ровен час! Билимбаевцы – первые воры во всей округе. Кражи тут, грабежи, убийства постоянные.

– Вот как.

– Недавно старика убили. Лесничий был с женою, жил на пенсии Строгановской – ну его и прирезали.

– Что же за причина?

– Бедность, заработков здесь мало, да и плата самая нестоящая – по тридцати копеек в день. Где тут прокормиться с семьей! На заводе всего только триста рабочих, а остальные, куда хошь, туда и иди...

– Работ мало?

– Жильничают. Как мало, когда из одного Билимбая шестьдесят четыре судна с железом по Чусовой идут? Одного угля здесь тридцать пять тысяч коробов жгут. Не мало.

## Л. От Билимбая до Екатеринбурга

Из Билимбая мы выехали на Теплую гору. Она очень высока и крута.

– Почему ее прозвали теплой?

– А потому – на ней каждый упарится, пока до ее верху доберется...

С вершины уже видны резкие очертания сумрачных Шайтанских гор, конусы которых чем ближе, тем делаются всё грознее и грознее. Они то кряжем, то целым рядом вершин облегают долину, которая вся как будто прячется в тени этих великанов. За этими вершинами выступают другие, третьи... За ними, такие же грозные, такие же мрачные, едва-едва рисуются новые. А там уже и сам не знаешь – чудится ли утомленному взгляду или действительно в бесконечной дали поднялись едва-едва наметившиеся горы. То они сливаются с лазурью неба, то полувоздушными, расплывающимися очерками выступают на нём... В эффектной оправе этих пиков, конусов и круч Шайтан на своем зеленом холме является удивительно красивым... Зато и тут дорога завалена палыми лошадьми. Беспечность заводского правления в этом отношении поразительна. Вон у самого завода труп коня, уже не только загнивший, а даже посеревший, вон кругом на версту – и точно никому нет дела до этого. На улице сбились бараны. Тройка летит на них – а они даже не шелохнутся, точно не их дело совсем. Табун лошадей на площадке обмахивается хвостами. Только шелест стоит кругом от них. Кучи детей снуют повсюду, бабы в пестрых костюмах, и опять разбитый тут же цыганский табор. Смуглая красавица побежала за нами, издали показывая ладонь – «погадать де», да не догнала, плюнула и пригрозила нам кулаком... Совсем всё это не похоже на скучную и будничную обстановку русских сёл, заморенных вековыми голодами, безработицей.

А виды этих гор делаются всё красивее и красивее. Еще из Шайтана мы заметили эффектный силуэт мрачной лесной горы Волчихи. Чем ближе, тем она становилась всё более и более похожей на это животное, как будто повернувшее голову к вам. Только вместо шерсти на этой волчихе выросли вековые леса, лапы ее громадными отрогами раскинулись по долине, а на голове поднялись такой массы скалы, что перед ними немеет воображение. Точно перенесен в какое-то волшебное царство. Миром легенд кажется вся эта даль, заставленная мрачными горами. И действительно, о каждой из них расскажут вам массу преданий. Тут Строгановы татар били, там татары поймали Строгановых и мучили их, вымогая признаний, где зарыты их сокровища. Вон на этой горе они изжарили на медленном огне старика, а рядом один из Строгановых схватил изуверов и двенадцать человек их закопал живьем в землю... Три дня головы их виднелись над нею, пока несчастные не погибли в страшных мучениях. Народ здесь, как и везде. Что бы кем ни было сделано – припишут Строгановым, что бы с кем ни случилось – случилось со Строгановыми. Бил какой-нибудь «разбойный» человек мирные поселки пермяков – это Ермак. Расспросишь, и окажется, что легендарный герой наш должен был жить по крайней мере триста лет.

– Вон – на этой самой горе Ермаку снесла голову мурза татарская.

– Ого... Как же он потом Сибирь воевал?

– А у пермяков тогда волшебник оказался. Он и предложил, коли вы наших не тронете, в мире с нами жить будете, я вам Ермака оживлю... И оживил.

– Как же это он ухитрился сделать?

– А так: забил его с головой в камень; через три дня и три ночи расколол камень и вышел оттуда Тимофеевич живым!

– Что же пермяков не тронули? И посель живут?

– Где жить... И духу ихнего не осталось... Строгановы их разметали.

Здесь, в Талице, те же воспоминания о страшном 1870–1871 годе. У нашего ямщика тогда восемь коней пало. Целое лето валились кони косяками. Отдавали тройку за восемь рублей. Ехали стороной, все покосы были смяты. На колесах нельзя было ездить, на осях двигались. Четверка не могла поднять самого легкого экипажа, возвращались за подмогой. Максим Осокин богатейшим крестьянином был – нищим стал. Яков Белоусов бросился с жалобами к одному земцу, а тот его «накормил плюхами». Кидались к губернатору – гнали вон, послали ходатаев в Петербург.

– Зачем это?

– Самому царю жалиться. Только не доехали. По этапу вернули... А двух в Сибирь угнали...

От Талицы вздумали поправлять хорошую и без того дорогу, накатывают на нее неведомо зачем пучки жердей и засыпают землей. Едем мы, сегодня сухо – а все-таки дорога поддается под нами, волнуется, точно внизу топь.

– Беда! – жалуется ямщик. – Никакой правы на них нет... Одна была надежда, сказывают, из Питера чиновника пришлют. Только и его обойдут... У них пироги вкусные, они хоть кого скрутить могут.

Вон небольшой холм... На его вершине столб каменный, на каменном же пьедестал:

«Граница Европы и Азии».

На этот раз направо, в Европе, заходило солнце, а налево, в Азии, сгустился вечерний сумрак. Кругом уныние и пустыня. Меланхолически свистит ветер, пробегая по голым полянам и заваленным камнями спускам... Лес нахмурился и молчит.

Страшное место!

Сколько слез пролилось здесь! Несчастные в кандалах в последний раз оглядывались отсюда назад, на свою на веки вечные покидаемую родину. Далекый, неприятный, чужой и холодный край начинается отсюда. Новая жизнь, новые люди, новые страдания! Воображаю, какие мысли целым роем носились в голове бедного ссыльного, когда он приваливался на краткий отдых к этой пограничной колонне. Может быть, на каждый камень ее подножья падали горючие слезы... Не оттого ли и лес замолчал и нахмурился, что слишком много слышал он здесь рыданий!

Со станции Решеты опять пошли лесистые вершины.

Туман уже окутывал их. В траве звенели кобылки, какая-то пичуга уныло посвистывала в чаще березняка. Вон проскрипел коростель. Внизу что-то заухало. Тучи надвигаются отовсюду грознее и грознее.

И не успели мы подалее углубиться в неподвижное лесное царство, как сверху грянуло и прокатилось по лесным вершинам... Крупные капли дождя зашуршали по листве деревьев.

– Скоро пройдет дождь. Ишь кобылка-то радуется.

И действительно, кобылки из травы высоко взлетали на воздух и трепетали в нем своими сквозными крыльями. Целыми роями подымались они, точно приветствуя шумевшую сверху непогоду.

– Тут много беды было! – стал рассказывать нам ямщик.

– Как?

– А решетские крестьяне ходили в дорожный комитет жалиться... Они пучину-то вздумали засыпать кварцой. А кварца-то этакая в изломе что стекло: страсть лошадей покалечили... Крестьяне просили, чтобы если не песком, так землей засыпали дорогу... Дягилев, член этого комитета, швырк им в лицо прошение-то...

– Бунтовщики, кричит... Убирайтесь к черту... Если бы не просили – сделали бы, а жаловаться пришли – ничего вам не будет, калечьте хотя сами, а не то что лошадей...

Направо и налево в темноте медленно подступавшей ночи поднялись какие-то громадные камни, целые холмы из отделенных и беспорядочно наваленных скал... С одного спуска масса огней блеснула вниз...

– Вот и Екатеринбург...

Конец нашим злоключениям, конец этой каторжной дороге!..

**II. Почему иногда рубят леса. –  
Пьянствующие и буйствующие. –  
Козырные тузы Екатеринбурга. – Недавнее  
прошлое. – Чиновник на цепи и немец  
в колодце. – Свинья у позорного столба  
и казнь петуха. – Как составлялись богатства. –  
Золотая крупка. – Обманутые жандармы. –  
Перепутавшиеся Лекоки. – Рабочий ад**

Мы были уже с неделю в пути на этой ужасной каторжной дороге. Но и нашим злоключениям, к счастью, наступил конец.

Вдали мерещилось целое море огней; смутно выделялись в сумраке ночи силуэты больших домов, церквей, заводов.

– Вот он самый! – махнул туда кнутом ямщик, подбодряя утомленных донельзя коней.

– Кто он?

– Столица наша Катенбург!.. И богатый же город!.. Купцы здесь пьяные. Чего еще – лошадей вином моют – вот как... Они, брат, жить умеют!.. Хоть кому нос утрут.

По сторонам пути – громадные камни, целые холмы из отдельных беспорядочно навороченных скал. В щелях между ними поднялись тощие елки

и треплются на ветру, который с диким воем и свистом уносится на восток, сметая с пути уже падающую листву деревьев и обдавая нас первым осенним холодом.

– Тут какие березы были! – замечает мой спутник.

– Куда же они девались?

– Начальство вырубил. Вишь ты, солнце меньше греет, чем прежде, так чтобы ему не мешать... Оно ведь у нас умное!

– Солнце?

– Нет, начальство. Около Кунгура хотели лес снести прочь, потому в нем бродяги прятались.

Вот и город. Потянулись пустынные улицы, замелькали по сторонам большие белые дома, церкви. Тускло блеснула направо река Исеть, отражая в своих темных водах огоньки вытянувшихся по ее берегам купеческих хором. Наконец, наша тройка подкатила к гостинице, очень приличной по наружности. Номер нам отвели недурной, но не успели мы войти в него, как все его население выползло на стены, точно любопытствуя: кого Бог послал на съедение...

– Что это у вас! – указываю я коридорному в невыразимо засаленном фраке.

– Здешний клоп-с... Они ничего... Постояльцы не обижаются... Которые генералы, и те не жаловались. А вы, господин, вина много пьете?

– А тебе что за дело?

– Потому, если из непьющих, так еще отдаст ли номер хозяйка. Ей невыгодно, потому своей погреб. Которые гости пьют много, с того мы за постой дешевле берем.

Должно быть, это в обычае горнозаводского края. Тот же вопрос мы слышали и в Кунгуре.

Кое-как наконец удалось устроиться и разложиться, но, к сожалению, не отдохнуть. Наши соседи вполне удовлетворяли вкусам хозяйки. Там всю ночь шло пьянство, и наконец кто-то неистово застучал к нам в двери.

– Чего вам?..

– Это как угодно – непорядок... Товарищи обижаются... Кажется, можно понять – господин Суслов угощает всех... Чего вы... Люди тоже образованные – можете сообразить.

– Да нам что за дело?

– Как что за дело?.. Если господин Суслов – так они так не могут... Нужно, чтоб все... Пожалуйте.

– Я вас покорнейше прошу, оставьте нас в покое.

– А вы не будьте столь горды, не фараон египетский ведь... Пожалуйте... А то мы к вам... Какое вино пьете?

Едва удалось отделаться от назойливых приглашений. Оказалось, что сюда съезжаются хозяева приисков, заводчики и вся денежная аристократия округа. Екатеринбург является для здешнего края не только центром заводского, рудничного и золотого дела, но и главной биржей по торговле салом и маслом, отправляемыми отсюда в Таганрог и Константинополь. Насколько крупно здесь сальное производство, видно из того, что только четыре



фирмы – Бородин, Баландин, Тарасов и Ашурков – считают свой оборот в два миллиона рублей. К петербургскому порту идет отсюда не более пятидесяти тысяч пудов сала, а на Таганрог и Константинополь до пятисот тысяч пудов. Как оно, так же и коровье масло свозится сюда уездами Курганским, Ишимским, Ялуторовским, Челябинским и Шадринским... Сюда же свозится кудель и щетина и громадное количество льняного семени после того, как цены на все эти продукты устанавливаются на Ишимской ярмарке зимой и на Шадринский осенью; причем местом для окончательного расчета является Ирбит. Собственно в самом Екатеринбурге своей промышленности нет никакой, кроме горной, потому что всё кругом занято заводскими дачами. Таким образом, являясь центром для одних производств и станцией для других, Екатеринбург стягивает к себе денежные силы края. Еще сравнительно недавно сила эта выражалась здесь главным образом в чудовищных кутежах, где уральские богатыри показывали себя в таком сказочном виде, о котором не имеют понятия в остальной России. Пирьы продолжались по неделям; выпивалось всё вино в городе, а если его оказывалось слишком много и оно не помещалось в купеческих утробах, то поили извозчиков, мещан, короче, всех встречающихся на улице. Остается еще, бывало, им моют лошадей, поливают мостовую, «чтобы пьяней была»... Окажется у кого-нибудь медведь или козел – первый гость. Лакомый до вина зверь тешит всё общество, зачистую очень мало отличавшееся от него в умственном отношении. Наконец, сатурналия растет и переносится в окрестности... В это доброе старое время не останавливались на половине. Разносились дома, являвшиеся жалкими пародиями магометова рая; перепуганные гурии, запряженные в тележки, везли гостей; засыпалась лесная тропа мукой, и устраивалось на ней импровизованное катанье на санях; травили первого попавшегося дьячка собаками, или за хороший гонорар специально приобретался на сей случай выгнанный из службы и достаточно наголовавшийся чин; наконец, уходили в леса, и если лето хорошее, теплое, то вся компания, сбрасывая с себя покровы, изображала первобытное человечество, когда еще и звериные шкуры считались совсем ненужной роскошью. Не дай Бог, бывало, в то легендарное время если не Екатеринбургских, то Екатеринбургских орлов попасться на такую загулявшую компанию сказочных пьяниц. Одного питерского чиновника они раз водили по селу на цепи, как медведя, и требовали от него, чтобы он показывал, как дети горох воруют, как девки хороводы водят, а некоторую духовную особу, раздев донага, они заставляли танцевать «как бы в трике». Какой-то немецкий шнельклопс был до того напуган сорвавшимися с цепи пьяницами, что залез от них в колодезь и просидел там сутки по горло в воде!..

Это было время, когда здесь быстро наживались громадные состояния. Торговля краденым золотом делала из вчерашнего нищего сегодняшнего богача. Деньги как приходили, так и уходили скоропостижно. Знали, что нажить их ничего не стоит; кругом головокружительно шла самая сумасшедшая жизнь. Доходило до того, что еще накануне ходивший с подранными локтями чиновник, занявшись крупной, вдруг строил себе громадные хоромы, ничего не мог пить, кроме шампанского, одевал жену по-царски и даже белье ее посылал мыть в Париж – для шикю. Другие делали глупости и почище. Жертвовали,

например, десятками тысяч на постройку мечети в Константинополе, надеясь получить за это орден Османе или Меджидие; посылали персидскому шаху в Испаган или Тегеран с той же целью большие суммы и, удостоясь за сие Льва и Солнца, изображали у себя на воротах каменных львов самого безобразного вида, с надписью внизу «дом купца 1-й гильдии и кавалера персидской звезды Льва и Солнца – такого-то...». Здешные тузы славились по всему Уралу, по всей Каме и Волге. Антрепренеры всевозможных питерских театров помнят местных носорогов с обвалявшимися сальными фуражками на нечесаной голове, которые, бывало, вступая в партер, еще издали начинали кричать: «Гони публику в шею – за все плачу один!» Случалось, что они выписывали к себе целые труппы, платили деньги за путь туда и обратно, чтобы в течение одного вечера послушать «Птичек певчих» или «Елену Прекрасную». Бывали козыри, занимавшиеся на Нижегородской ярмарке тем, что, скупив какую-нибудь лавку с мелочным товаром, орали народу: «Грабь, ребята!.. Знай наших – заводских!» Еще лет пятнадцать тому назад с одним из таких «золотых» аферистов долго не знали, что делать. Разозлясь на местную власть, не оказавшую ему почтения, он приказал выбрить козла так, чтобы у этого почтенного животного остались одни бакенбарды, одеть его в мундир и треугольную шляпу с плюмажем – да так и выпустить на улицу. Козла поймали – и в часть. Зовут хозяина. «Ваш козел?..» – «Нет, не мой...» Бились, бились – отпустили. На другой же день и в таком же самом костюме на улицах города явился второй козел... На третий – третий... Затем в течение недели эта *vendetta catalana* ни в чем не обнаруживалась, а потом вдруг на городской площади, прямо против присутственных мест, была найдена привязанная к столбу свинья – в том же мундире и в той же шляпе. На столбе значилась надпись: «за взятки и непочтение...» В дело, наконец, вступила особа позначительнее. Ее называли здесь петухом, но и петух не напугал продерзостного юмориста. Собрав подходящую компанию, уральский витязь устроил громадную церемонию, которая прошла по всем улицам города. В числе этой процессии на позорной колеснице везли петуха, закованного в цепи. Над ним была прибита доска с надписью «за глупость». Петух во время этой довольно продолжительной *via dolorosa* несколько раз принимался кукарекать – но тотчас же, по знаку автора этой чуши, следовавший рядом шарманщик принимался вертеть ручку своего пронзительного инструмента, дабы заглушить протест влекомой на казнь жертвы. По доставлении ее на место, предварительно выбранное, петуху выгнанный из службы чиновник прочел приговор, коим сия невинная птица осуждалась на обезглавливание; затем ее передали в распоряжение повара, одетого по этому торжественному случаю во всё красное, и тот, взойдя на приготовленное возвышение, отрубил петуху голову – разумеется, кухонным ножом. Зарыв преступника в землю, участвовавшие возвратились домой, и тотчас же началось беспросыпное пьянство... Этот последний скандал окончательно взбаламутил заводские власти. Они поднялись на ноги и стали изыскивать средства, как бы наказать уездного юмориста. Но и этот не дремал. В самом непродолжительном времени на воротах его дома явились два обращенные лицом друг к другу портрета столь ненавистных ему чиновников. Под этими портретами значилось: «дурак

дурака видит издалека...». У ворот была поставлена стража, мешавшая смарать карикатуру. Завелась громадная переписка... Изобретательного козыря хотели передать суду, но он из своего завода съездил в Пермь и устроил там свои дела, подмазав все скрипевшие колеса. Так его и оставили в покое. Подобные этому события не были редкостью и в Екатеринбурге.

Я выше сказал, что состояния здесь делались чрезвычайно быстро. Еще бы – около приисков или близ старательских избушек открывались кабаки, или сажали старушонок, торговавших официально разными яствами, а неофициально водкой. Они и то и другое продавали не за деньги, а за золото, за крупку. Крупку эту всеми мерами старались стянуть у хозяев или у казны. Даже когда ее ссыпали в аппараты, откуда кража считалась окончательно невозможной, ловкие золотоискатели опускали туда нитки, намазанные густым и липким медом. К меду приставала драгоценная масса – и в данном случае трудолюбие торжествовало и терпение вознаграждалось вполне. Даже хозяева, вместо того чтобы отдавать золото в казну, свозили его тайком в Екатеринбург и продавали его здесь. Случались, разумеется, и очень ловкие мошенничества. Крупинки платины золотили и продавали за золото; за этот же металл сходили желтые медные опилки. Эту операцию делали так: желающему купить золото приносили на дом мешок с медной крупкой. Ему предлагали взять из него пробу, тот брал. Пробу завертывали в бумажку, ловко заменяя в этот момент образчик другим, с настоящим золотом. Тут же проба подвергалась испытанию – золото оказывалось превосходным. Мешок взвешивался, деньги за него уплачивались, и, узнавая затем об обмане, покупатель не смел и пикнуть об этом, потому что он по закону подвергался равной с продавцами ответственности. При этом случались и весьма курьезные неожиданности. В последние годы государственного управления приисками денег в казне для расплаты не было; воровство золота поэтому стало чудовищным. Рабочие требовали денег, следующих им, начальство признавало такое требование бунтом, и несчастных мужиков, голодных и измученных, драли насмерть...

Когда о воровстве золота доходили слухи до горного управления, оно командировало на прииски переодетых жандармов. Те являлись в роли покупателей краденного драгоценного металла или в виде странствующих купцов. В кабаках они находили сбытчиков золота. Те им продавали за хорошие деньги. Торжествующий жандарм, уплатив что следует, хватал преступника и подымал гвалт. Являлось начальство.

– Ты, такой-сякой, продал это? – начинало оно струнить сбытчика.

– Я самый! – совершенно спокойно отвечал тот, мягко глядя в глаза предержавшей власти.

– Вот я тебя!.. Кандалов!.. Где ты достал золото?

– Золото?.. Какое золото?..

– Да вот это!..

– И отродясь золотом не было... Он у меня медь мою покупал... Мы с ним как следует сторговались, я и деньги получил... У меня запас был... Что же, это и по закону не запрещается.

– Как медь... Какую медь?

– Да вот эту самую...

Производили исследование и, действительно, крупка оказывалась самой простой медью. Сконфуженный жандарм уезжал восвояси, и деньги, истраченные им на столь блистательный коммерческий оборот, вписывались по разным графам в непредвиденные расходы. В конце концов оказывалось, что скупщики или сбытчики золота еще ранее приезда бирюзового Лекока уже знали о его командировке из горного управления.

Из-за золота тут зачастую совершались и убийства...

Убивали старателей в лесной глуши. Смотритель в воскресенье, бывало, идет из прииска с золотом, нарытым в течение недели; его подстерегают среди самого дикого захолустья и меткой пулей кладут наповал.

Никакие следствия и розыски не были возможны в этих дебрях, в этих бездорожьях. На воровстве казенного золота вырастали целые торговые дома, и не один из пермских миллионеров обязан своим благосостоянием этому в свое время выгодному промыслу. Иногда даже можно было и не убивать смотрителя прииска. Зачем? С ним входили в соглашение, легко его ранили – и все были довольны. Что смотритель продавал казенные интересы – это было не особенно удивительно. Еще бы: сия великая спица административного колеса получала от семи до восьми рублей в месяц, и только в самое последнее время казенного управления ему увеличили жалование до пятнадцати рублей. Не могли не красть и рабочие. Во время обязательного труда они получали только хлеб и по три копейки в день вознаграждения. За прогул их пороли насмерть. Пороли так, что терпеливые уральские кроты озлобились. Управляющие боялись спускаться к ним в шахты – там рабочие били их и сбрасывали в колодцы за жестокость. Дела такого рода даже не всплывали наверх. Первые не расскажут, каким образом произошла смерть, а рабочие единогласно показывали, что «его высокоблагородие оступились с лестницы – и душу Богу отдали, разбились». Шпицрутены в то время были в особенном ходу, и долее всего этот цивилизующий инструмент держался на горных заводах. Генерал Глинка, кричавший: «Я царь, я Бог Уральского хребта», славился своей изобретательностью в жестокостях. Он аристократически, с увлечением виртуоза выполнял их.

Понятно, что при таких условиях нечего было ждать честности. В это знаменательное время начался рост Екатеринбурга. Здесь была биржа краденого золота, здесь совершались самые значительные операции этим товаром. Несли его сюда и вырвавшаяся с приисков девица легкого поведения, и изголодавшийся рабочий, и щеголеватый управляющий, и казенный чин, которому жалования не хватило бы и на подметки, и священник, потерпевший около россыпей. Преследовалась эта операция только на приисках – в Екатеринбурге же играли в открытую. Даже громко говорили: «Слава Богу, сегодня я тысяч на пятьдесят дело сделал!..», «С такого-то прииска доставили мне крупки – не надо ли кому?..» Случалось даже, что уже принятое в казну золото продавалось здесь. Каким образом отделялись от ответственности эти неподкупные церберы горного ведомства – знает один Господь, да и тот никому не скажет.

- Хорошее время было! – вздыхают теперь господа купцы...
- Наживали деньги... Теперь уже этого нельзя.
- Однако?

– По малости разве... Уж не вовсе же Господь отвратил лицо свое. Ну, только не так... Где прежде сто тысяч положишь в карман бывало, нынче – десять. Будем так говорить: какие времена-то прошли плодородные... Сегодня нищий, а завтра послал тебе Господь хорошего парня с крупкой – ну и человек ты стал, все перед тобой шапку ломают... Прежде пудами покупали мы, а ныне фунтами... Простоты ныне меньше, прежде за простоту нашу Господь нам посылал...

– Да ведь и попадались же вы?

– Ну вот, с чего еще!.. Из Питера посылали, да и те уходили не солоно хлебавши.

И он мне рассказал довольно комические похождения некоторого столичного Лекока, возмечтавшего себя способным положить конец этой незаконной продаже крупки. Его послало министерство из Питера, снабдив его мещанским паспортом и вручив при этом довольно значительную сумму. Одновременно с этим и в Екатеринбург сбытчикам крупки разные благодетели дали знать об опасности, да кстат приложили и фотографию Лекока. Сей последний является на место и начинает мало-помалу входить в сношения с «золотыми» людьми. В то же время, весьма основательно не доверяя честности екатеринбургской полиции, он до поры до времени молчит о своей дипломатической миссии. Наконец на его неотступные просьбы ему обещают продать большую партию крупки с тем, что сначала ему дадут только два фунта, а на другой день двадцать семь. Лекок в восторге. На двух фунтах не стоит уловить – не настолько это будет важно, а потому он решил первую часть купить без скандала, не прибегая к содействию уральских сбиров. Сбытчики же задумали план военных действий совершенно иначе и, разумеется, гораздо умнее. За несколько часов до продажи один из них является в полицию и сообщает, что вот-де приехал из Питера мещанин, подбивает его на столь преступное дело, как продажа казенного золота. Полиция встрепенулась. Явилась возможность отличиться, не трогая никого из своих местных, а в это время горное управление, как нарочно, налегло на нее. «Продавай!» – отдала она приказание сбытчику.

– Как же продать-то? Где я возьму меди?.. – полиция обязалась в назначенный час доставить меди и образчик золота со своим чином, который, переодетый, должен был разыграть роль зрителя прииска. В назначенный час к сбытчику явились Лекок питерский в качестве мещанина-покупателя и Лекок екатеринбургский в виде продавца... Сверх того, за ширмы и за двери посадили еще альгвазилов. Не успел еще первый передать деньги второму, как по мановению волшебного жезла его схватили и, не говоря дурного слова, руки назад. Напрасно он клялся, что он чиновник, командированный министерством... «Знаем мы вас!» – твердила свое полиция. Предъявил он документы. Подложны! – решила та и друга милого заперла на замок, как важного арестанта – в одиночное заключение. В течение месяца ему не позволяли ни писать, ни жаловаться, и дело распуталось только тогда, когда

из Петербурга были присланы должные сведения и из Перми приехал специальный чиновник. Этот случай был, разумеется, далеко не единственный. Лучшее всего в нём то, что сбытчик потребовал себе за всю эту историю награду, и ему действительно должны были выдать ее, в предупреждение дальнейшего скандала.

– Тогда и работы-то всем было довольно, а теперь посмотрите, что по заводам делается!.. Безобразия одно... Народ мрет оттого, что никому его руки не нужны. Поглядите-ка, какие дела на Башмаковских заводах... Страху подобно.

– А что?

– Да то, что разогнали всю округу. Он, как купил эти заводы, так управлять туда послал агронома. Взяли они на себя обязанность ставить известное количество меди в казну – а промывать золото оказалось выгоднее. Что делать? И вдруг сгорела медная шахта. Вследствие закрытия специального производства рабочие взволновались. Бунт! Кого в Сибирь, кого в тюрьму. Народ стал умирать с голода, озлился. Истопились все средства к жизни. Дошло до того, что служащие начали отдавать свое жалование, чтобы как-нибудь да прокормить его, а тут вдруг новая история. Агроному, попавшему на горное дело, надоело возиться с этими крестьянами и башкирами, искони кормившимися заводами, он и нагнал сюда крестьян из других губерний; те ничего не знают, а свои кто помер, кто на завод к Пастухову, бывший Павдинский, ушел, а кто в разбой бросился.

– Откуда же он крестьян из других губерний брал?

– А по кабале.

– По какой кабале?

– Это у нас так называют...

Довольно ловкий такой прием есть. Агенты съезжаются в волостные правления: за кем недоимка? За таким-то. Они и вносят за неисправных плательщиков, выдадут еще на руки по три рубля – и считается это задатком. Как условленный срок придет, волость и гонит законтрактованных на работы. Ну, беспомощные мужики, пришлые, совсем кабальными делаются. Куда они пойдут? Кругом чужья одна, дела до них нет. Если заартачился – их порют кроме того розгами. Это ничего, что на бумаге уничтожено... Окружные чиновники даже сами назначают, сколько кому... Положение несчастных в полном смысле ужасно. Управы нет. Что управляющий захочет, то с ними и делает. Уроки задает им непосильные... И мрет же народ на этих работах, страшно мрет; кормят их хуже скота, а следующий год придет, коли выжил крестьянин – его опять волость гонит на золотое дело, потому он опять оказывается должен хозяину. По три, по четыре года выживают, которые посильнее...



**III. Старатели. – Старательские работы,  
лесная глушь. – Гранильная фабрика. –  
Ваза, над которой работали тридцать лет. –  
На голодном положении. – Артисты  
и ремесленники. – Обсерватория  
и Ноев ковчег. – Фабрика Эджертона Горбарта. –  
Как ком сала обращается в стеариновые свечи  
и куски мыла. – Опять рабочий люд. –  
Цена крови. – Хитроумные Улиссы**

Не лучше и старательские работы. Мне и выше пришлось упоминать о них, хотя читателям, разумеется, совершенно непонятно, что такое старатель.

Это в высшей степени любопытный тип, выработанный местными условиями. Старатели здесь или являются артелями, или работают в одиночку. Последние в высшей степени интересны, и о них-то мы скажем. Работник или работница заявляют желание самостоятельно заняться розыском золота. Им дают разрешение, и они, взяв с собой вашгер – инструмент для промывки песку, имеющий вид корыта, эту соху горнозаводского края, уходят с ним в дичь и глушь никем не исхоженного, никому в точности не ведомого чернолесья. Со старателем или со старательницей – ружье для зверя, силки для птицы да муки с полпуда. Руководимый инстинктом или знаниями, практически приобретенными раньше, золотоискатель углубляется всё дальше и дальше в это сумрачное, молчаливое захолустье, питаясь часто грибами, убитой птицей и в самых крайних случаях – хлебом, кое-как приготовленным из муки. Идет он, случается, неделю, месяц, пока не найдет наконец почвы, содержащей драгоценный металл. Тут из ветвей деревьев он сплетает себе жалкий шалаш и среди вечно безмолвия лесных великанов начинает промывать золото. Целые дни не слышно около ни слова, ни песни, разве только почудится она одинокому работнику; наконец и сам он дичает, становится молчалив и сумрачен, как и всё это окружившее его сосновое царство. Сталкивается он с диким зверем; если избегнет его когтей и зубов, ему грозит еще более опасная встреча с бродягой – беглым каторжником; спасется от этого, перед старателем вырастает новый враг – голод. И зачастую следующие золотоискатели, входя в лесную глушь, встречают у полуразмытых полян вашгерд с грудой песка, содержащего металл, и около вашгерда полуобъеденный труп. Особенного впечатления это не производит. Новый старатель обыщет шалаш, возьмет всё намытое там золото и, не сходя с той же поляны, станет тут же продолжать неоконченную тем работу. Я уже говорил, что как мужики, так и бабы уходят в это бездорожье. Бабам, разумеется, приходится еще тяжелее, еще невыносимее. Баба дичает скоро, часто даже с ума сходит.

– Лес-то не дюже стреман, – говорила одна, – лесовики вот пужают, по вечерам особенно... Гу-гу-гу пойдет по лесу – это он-то ходит... А то, словно дите малое, заплачет где – это непременно младенец, который помер некрещенный. Тоже и белые ходят...

– Какие белые?

– Длинные, длинные такие... Ночью сквозь деревья видно... Словно они над землей. Только одежда, значит, развеивается... А заснешь в шалаше – застучится к тебе, выскочишь – никого округ нет: только далеко-далеко примерещится белое.

Часто голодать, умирать от бескормицы приходится, уже намыв достаточно золота. Отойти от поляны или ручья богатого золотом – не хочется, ест старатель чернику, голубику, грибы... которою пробавляется – корни все оглаждает, ничего нет кругом... Ну и умрет.

Втягиваются в это старательное дело ужасно... Спасется от смерти, одичалый домой придет, отдохнет неделю-две, а там опять его лесное царство к себе тянет, воля, простор.

Ни над тобой, ни около тебя никого. Сам себе голова – и уходит опять на промывку. Старатели сдают промытое ими золото на центральные прииски, получая от казны от семидесяти пяти копеек до полутора рублей за золотник. В последнее время, впрочем, стали и этих рабочих приводить к одному знаменателю. Страсть всё опутать кругом надзором, никогда не достигающая своей цели, обнаружилась и здесь. Им стали отводить определенные маленькие площадки, на которых тот или другой старатель отыскивает золото. На другие места он идти не смеет, хотя бы там оказывалось и гораздо более богатой содержанием металла почвы. Впрочем и то сказать, чем богаче она, тем меньше платят старателю. С тех пор как заводы казенные распродались в частные руки, старателей стало гораздо меньше. Заводоуправление их не считает свободными искателями золота, а так как оно найдено на владельческой земле, то платить им, как и другим своим кормильцам-труженикам, поденщину. Исключения редки, и о них мы скажем впоследствии. В прежнее время, когда старатели находили хороший прииск, они обязаны были сообщать об этом тотчас, и казна отнимала его, так что те должны были поневоле продавать золото в другие руки. Преступление было вынуждено нелепыми условиями, в которые ставился труд. Сверх того, зачастую скупщики крупки входили в соглашение с казначеями, и в казне вдруг не оказывалось денег для расплаты со старателями. Понятно, последние бросались к скупщикам, ведь есть и пить надо, да и мудро воздержаться от некоторых излишеств, когда в руках довольно намытого золота. За это казначеи получали известный процент. Случалось, впрочем, что они и сами покупали крупку – почему такие места здесь оказывались особенно выгодными. Обязательным рабочим тогда было, разумеется, гораздо хуже. Как это дело поставлено теперь, мы скажем впоследствии, при описании Невьянского завода. Что касается до тех «счастливых», по словам моего екатеринбургского знакомого, времен, то паре рабочих на дневную вымывку отводилась квадратная сажень. Они обязаны были промыть на этом пространстве почву на полтора аршина в глубину. Труд – египетский и в высшей степени вредно действующий на организм, как бы силен он ни был. В 1865 году стали старателей принуждать работать артелями в двенадцать человек каждая. Иногда это оказывалось выгодным. Бывали случаи, что при цене один рубль двадцать копеек на каждый золотник вольному рабочему доставалось по пять рублей ежедневно. Рассказывают, что

весьма нередко попадались камни, в которых были вкраплены самородки по полуфунту и более, но за то еще чаще, промыв отведенное им пространство нови, старатели не находили ничего. Артелями старателям работаетя гораздо легче. Артель безопасна и от голода, и от зверя. Она идет по отведенному ей участку и, находя золото, ставит вехи с обозначением, чей прииск. Веха создает уже род владельческого права. Никто другой не смеет промывать там почву.

Старатели в прежнее время были очень недоверчивы. Установленную плату им давали только за крупку. Если же попадались самородки, то за них правительство платило часто только по пятнадцать копеек за золотник. Да еще походить за этим приходилось вволю. Первый в Невьянске Саларев стал платить им настоящую цену. Типы старателей еще не были разработаны в нашей литературе<sup>20</sup>. А между тем российские Брет-Гарты, если бы таковые появились, нашли бы целую массу интересных личностей своих золотоискателей в этой отечественной Калифорнии. Положение обязательных рабочих, разумеется, было еще хуже. Они, трудясь из-под палки, получали в день на «немогутном» деле всего три копейки и хлеб, не всегда хороший... Как только обязательность работ была прекращена, многие из этих подневольных бросились на старательские изыскания. Теперь с каждым годом, впрочем, таких меньше и меньше. Нынешние старатели работают так: зайдя в непроглядную глушь, они роют поближе к ручью (для промывки золота) яму. Если в ней оказывается металл – закладывают шурф, потом идут в другое место... В мое время рабочие цены здесь падали страшно благодаря монополистам. Асташев, например, взял громадный золотоносный округ, обязавшись отдавать золото в казну по одному рублю золотник, тогда как в частных руках оно стоит два рубля двадцать копеек. Это, разумеется, невозможное и невыполнимое условие, но оно принято для того, чтобы всё захватить в свои руки, понизить расход на рабочих до минимума и затем уже эксплуатировать не россыпи, а прииски. Другой удар рабочим нанесен был распоряжением закрыть монетный двор в Екатеринбурге, кормивший массу голодного народа. И помимо этого, мера эта, как и многие другие, оказалась плохо рассчитанной. Теперь привоз меди для выделки монеты в Петербурге обходится в миллион рублей ежегодно, да едва ли не во столько же обратная отправка монеты в Сибирь и Пермскую губернию. Я не раз встречал в Екатеринбурге, ранее моей поездки на лежащие к северу заводы, обнищавших рабочих. Они производили на меня в полном смысле слова ужасное впечатление. Можно подумать, что они все только что вышли из тифозной больницы: землистого цвета лица с синими подтеками, впалые ямами груди, выдававшиеся вперед плечи, провалившиеся шеи, слабые ноги, слабые руки, хриплые голоса с какой-то натугой вырывавшиеся, точно для каждого их больного звука гнилые легкие должны были делать невероятные усилия, будто в груди у несчастных скрипели какие-то ржавые петли, и рядом – купеческие хоромины, где идет беспросыпное пьянство, где голодного рабочего из самодурства обольют водкой и не дадут ему труда и хлеба, где весь ум и вся изобретательность уходят на мерзость и разврат, где молодые

<sup>20</sup> Это было написано ранее появления превосходных трудов Мамина-Сибиряка.

поколения рождаются в том же первородном грехе эксплуатации, в котором родились их отцы – всё это наводило на зловещие, тяжелые мысли... Хотелось спросить: когда же тебе легче дышать будет, великий страстотерпец земли русской, когда ценою своей жизни, усилиями своих надорванных мускулов ты приобретешь возможность хоть не умирать с голоду?.. Кто скажет за тебя властное слово, кто выведет тебя, труждающегося и обремененного, на более просторный и легкий путь? Или распадутся царства и позабудутся народы, а горе твое, рабочий человек, будет так же велико и неисходно, как теперь, как оно было и прежде?..

На другой же день по приезде ко мне показалась хозяйка гостиницы – вдова какого-то чиновника.

– Довольны ли вы?

– Нет, совсем недоволен. Тут всю ночь пьянствовали мои соседи... Спать не давали.

– Ну уже это у них такой обычай... Как приедут с заводов, голубчики мои – сейчас же за кутеж... Это еще что, это еще слава Богу... А я их останавливать не могу... Ими только и держимся, я от них-то и жить пошла. А кабы вы были любезный кавалер, вы бы с ними компанию разделили. Они и то на вас недовольны. Сколько раз, говорят, приглашали. Здесь так жить нельзя, потому это еще смиренные... Другие бы силой... На них ведь всё равно никакой управы нет.

Она пустилась бы в дальнейшие рассуждения, да, к счастью, вовремя явился мой спутник. С ним я отправился на гранильную фабрику, находящуюся еще в казенном управлении. Она работала исключительно на Императорский кабинет, причем за последние пятьдесят лет в ней оставались неизменными и штаты, и условия труда. Произведения ее славятся повсюду, известны всем, и говорить о них я считаю совершенно лишним. При мне здесь гранили две громадные вазы из яшмы, начатые полтора года тому назад. Сколько времени потребно на окончание истинно художественных произведений Екатеринбургской гранильной фабрики видно из того, что над недавно отосланной в Петербург чашей из орлеца (родонита) тридцать рабочих возились двадцать девять лет. Громадный собор можно было построить в это время. Орлец менее всего поддается обработке. Я видел здесь новые куски орлеца, помещавшиеся под нарочно выстроенным навесом. Один из них весит около трех тысяч пудов. Когда он будет обделан – колоссальной вазе цены не назначить. Работы вообще здесь бездна, а мастеров мало, что тоже влияет на медленность работы. Дело в том, что мастеров готовят при самой гранильной фабрике, за то они обязаны работать на ней в течение пяти лет, получая самое скудное содержание: высший оклад его не доходит даже и до пятнадцати рублей в месяц – разумеется, на всём своем. Как бы ни был хорош мастер, как бы ни дорожило им управление гранильной фабрики, оно не может его оставить долее обязательного срока, потому что по ветхозаветному штату более платить нельзя, а недурной мастер на вольной работе получит вчетверо и даже впятеро больше. Этому край обязан множеством отличных гранильщиков, изделия которых, доставляемые в Нижний, Москву и Петербург, поражают нас артистической тонкостью отделки. Если останутся прежние штаты, фабрика через десять лет рухнет неизбежно. Простые рабочие здесь

получают в месяц до трех рублей и муку. Их привязывает к фабрике только перспектива выучиться этому делу и открыть свое заведение. Работа при этом самая египетская – в две смены, каждая по двенадцати часов, с отдыхом в два часа. Следовательно, за десятичасовую работу хороший гранильщик получает здесь полтинник, да и то, впрочем, не всегда... На высших окладах – мало кто! После этой фабрики я посетил до десяти вольных мастеров, изучивших в ней свое дело. Один из них был особенно типичен. Высокий, сгорбившийся, совершенно библейский старик, с высоким, голым черепом и длинною по поясу серебряною бороною. Несколько близорукие глаза сквозь очки пристально разглядывают вас, точно вы кусок камня, подлежащего отделке в какую-нибудь затейливую чашу. Громадный пресс-папье с целою массою плодов, ягод и цветов, где каждая деталь, каждое зернышко, каждый листик, каждый лепесток сделаны отдельно из соответствующего камня, и всё это до того живо, что вам хочется взять эту малину, эту кисть белой смородины, дотронуться до этой незабудки, чтобы убедиться в том, действительно ли она сделана, а не просто сорвана с поля и брошена на этот великолепно отделанный пьедестал из черной яшмы. Вот чаша из змеевика, по ней вверх ползет хмель, к которому кстати прицепились колокольчики и ромашка.

– Что стоит это у вас? – спросил я, показывая на какую-то безделку.

– Двадцать пять рублей.

– Заверните для меня.

– А я ее не продам.

– Почему же?.. Я согласен на вашу цену.

– Точно что... А только что деньгами я не нуждаюсь. А с вещами расстаться жаль. Мы ведь тоже артисты – помилуйте! Я уже стар – не долго полюбоваться на это, умру – пускай дети продают.

Вольный гранильщик при некотором искусстве может заработать от пятидесяти до ста рублей в месяц.

У них сверх этих изделий целые массы великолепно отделанных местных драгоценных камней: александритов, рубинов, изумрудов, хризолитов, горных, весьма редких по красоте, хрусталей, топазов и аметистов. Особенно последние здесь встречаются превосходные. И все они ужасно дешевы, сравнительно с теми ценами, какие за них запрашивают скупщики на Нижегородской ярмарке. Гранильщики – это аристократия рабочего класса. Они и живут хорошо, и почитывают сами, посылая своих детей учиться в гимназию, а иные и в университеты.

С гранильной фабрики мы отправились в здешнюю обсерваторию. Она очень недалеко от города, на небольшом холме, с которого город весь как на ладони. Вон капризный извив реки Исети с клочком озера, голубые воды которого совсем замерли и не шелохнутся. В озеро врезался длинный выступ берега, на этом мысе поднялась пышная роща. Кругом массы белых каменных домов, и, точно на белых мраморных пьедесталах, между ними поднимаются красивые и богатые церкви. Улицы разбегаются во все стороны; скрещиваются, сливаются, запутываются. Пусто на них, только солнце во всю бьет уже косыми осенними лучами на зеленые кровли... За городом зеленая понижь... Далеко-далеко разостлалась она вплоть до крутых пиков и резко очерченных

кражей Урала... Вот Нижне-Исетский завод приютился у своего озера. Очень красив он кажется оттуда... Едва-едва различаешь дома выросшего около него поселка. Вот сбилось в лощину большое богатое село Уктус, за рощей чуть мерещится его белая церковь. Сама обсерватория очень скромна. Да и средств у нее весьма немного. Она может наблюдателям платить не более двадцати рублей в месяц. Деятельнейшим членом ее является симпатичный француз-швейцарец О. Е. Клер. Он же здесь собрал небольшой музей по естествознанию. В нем особенно хороша коллекция змей Пермской губернии, громадный клык мамонта, поразивший Брема своей величиной. По крайней мере, ученый немец заявил, что он никогда еще не видал подобного. Сверх того, здесь же находится полный череп мамонта и пилоном Средиземного моря. Несмотря на свои скромные средства, екатеринбургское общество естествоиспытателей известно своей почтенной деятельностью. В 1876 году оно издавало уже шестую книжку своих трудов... Крайне интересен этот город, где рядом с плезиозаврами и строфокамилами, чудесно сохранившимися в лице купцов и заводчиков или хозяев приисков, живет довольно многочисленная и дельно работающая интеллигенция. Бок о бок с легендарным самодурством, с подвигами, достойными каменного века, развивается чисто научная деятельность, и люди, которым дороги интересы знания, сумели устроить и замкнуться среди общего пьяного потопа в какой-то ковчег. Им, этим незаметным труженикам, наука обязана многими исследованиями, произведенными в пределах горнозаводского края. Остается пожелать только, чтобы воды этого пьяного потопа поскорее пали, ковчег остановился бы на Арарате, и голубь с масличной ветвью во рту вернулся бы к нему, знаменуя, что для почтенных писателей уже настало счастливое время более широкой и плодотворной деятельности...

На другой день я должен был ехать на здешнюю стеариновую и мыловаренную фабрику.

Когда-то она была открыта благополучным россиянином Плешановым, но, разумеется, в конце концов попала в руки хитроумному Улиссу – англичанину Эджертону Горбарту, который ее поставил по-европейски. Сначала она давала хорошие заработки населению, но, когда в Екатеринбурге закрыли монетный двор, плата за труд так упала здесь, что в 1876 году взрослый и хороший мастер, на всём своем, мог получить не более тридцати пяти копеек в день или от девяти до десяти рублей в месяц. Вознаграждение остальных было еще ниже. Женщина, исполняющая почти всю ту же мужскую работу, из четырех рублей в месяц не выходит и, разумеется, тоже на всем своем. Такого неравенства в заработке между девочками и мальчиками нет. И те и другие подростки получают по три рубля. Всего здесь занято до четырехсот человек, которых, разумеется, дуют, что называется, и в хвост и в гриву. Принятые здесь правила отличаются драконовской строгостью. Штраф – несоразмерный с заработной платой. Прогул одного дня наказывается рублем, двух – тремя рублями. При этом и болезнь рабочего не всегда признается поводом к законной неявке на фабрику, т. е. не совсем сильному мастеру придется в конце месяца не получить и восьми рублей полных. А что, например, делать женщине, которая, получая за труд целого дня тринадцать копеек, должна и содержать себя на



эту плату, достаточную по ценам того времени (1876) разве для инфузории!.. Ужасное положение в полном смысле слова.

– Зачем же вы работаете, ведь не неволят?

– А куда пойдешь... Оголели мы, не околевать же с голоду.

– Ноне на рабочего человека везде прижимка... Обмякли все мы... прежде я, например, семьдесят пять в день получал – ну и сыт был, да жена сорок зарабатывала. А теперь мы вдвоем сорока не выхватим... А у нас дети... И здорово же богатеют наши хозяева. Им всё на пользу... Голод ли, пожар... Чем мы беднее, тем они меньше дают нам. Голодный человек за кусок хлеба на всё бросится...

За это ничтожное вознаграждение на фабрике работают и днем и ночью, каждая смена по десять часов сплошных...

– Да, трудно!

– Уж чего труднее... Из Питера приезжал один. Сказывают, он важный чиновник... К нам приходил сюда. Чисто у вас как ребята! Удивляется... Хорошо... Должно быть, у вас хозяин добрый... Вы за него молитесь больше... Часто ли в церкви бываете, спрашивает... Бога не забывайте главное! А об нас-то Бог давно забыл!..

В первом отделении, куда вошли мы, масса чанов, нагреваемых паропроводными трубами. Густой запах сала стоит в воздухе. Дышать трудно и с непривычки противно. Здесь громадные комья этого продукта, доставленного из Кунгура, Шадринска, Ирбита, Ишима и других мест, валят в чаны... Распустившись в одних, сало особыми снарядами переливается в другие, от других в третьи, перейдя все эти степени чистилища и всюду подвергаясь действию различных дистиллирующих реактивов, оно наконец поступает в кристаллизатор – четырехугольную плоскодонную посуду. Охладев здесь, оно вываливается на черные сермяжные салфетки, в которые его и завертывают кругом... Комья очищенного таким образом сала в тех же салфетках – уже в следующем отделении – подвергают давлению пресса, выжимающего олеин. Олеин течет по желобам в особые чаны, откуда его доставляют на мыловарню. Под прессом сало значительно твердеет и опять поступает под новый холодный пресс. Окрепнув здесь еще более, оно перебрасывается в горячие вертикальные прессы, где оно быстро сохнет и обращается в твердые пластинки стеарина. Их переносят в следующее отделение; там их, опять подвергнув действию реактивов, кипятят до прозрачности воды. В этом виде стеарин поспел. Черпая ковшами, его вливают в формы, где продернуты предварительно фитили, – и свечи готовы. Затем следует обрезка фитилей, обрезка свечей до требуемого размера, полирование их и, наконец, отбеливание на солнце. После этого женщины их свертывают в бумагу. Каждая должна свернуть таким образом сорок пять пудов в день. В отделении, где плетутся фитили, масса детей. Бледные малокровные лица, худые впалые груди!.. Плохое поколение обещают эти несчастные... Зачастую какой-нибудь ребенок подымет голову к окну, в которое ярко светит солнце... За ним зеленеет поле, ласково круглятся вершины дерев...

– Хочется побегать, погулять? – поймал я взгляд одной девочки посмышленее других.

– Как не хоцца.

И глазенки запрыгали, и кровь волною подкатилась к щекам!..

Да, тяжелой ценой дается право везде жить... И как жить!

Рабочие цены в мыловарне – те же, что и в стеариновом заводе... Тут еще труднее урочная работа, так как обделка кусков мыла требует много времени. Сильный запах гвоздичного масла стоял в воздухе, масса женщин томились над своим каторжным трудом, даже не подымая на посетителей своих утомленных глаз... Видимо, что еще детьми они выросли на подобной этой работе. Те рано поблекшие зеленолицые девушки, которых мы видели на стеариновом заводе, несомненно вырастут в таких же тусклых, блеклых и исхудалых женщин!..

Показывавший нам эту фабрику мудрый чужеземец вздумал утешать нас фокусами.

– Скверно работать у вас.

– Зачиво?

– Плохо вознаграждается труд... Мало платите рабочим.

– Она привыкла... Конкуренции нет... Монополь есть... Монополь есть – можно завсем мало платить!.. Но – я вам показать чичас удивительный машин...

Машина в шестнадцать сил была удивительна тем, что, положив на какую-то часть ее аппарата маленький клочок бумажки, вы тотчас же останавливали ее действие...

– Каковой тонкость!.. – восхищался управляющий... Я опять перевел разговор на рабочие платы, и он меня еще более утешил: если и вперед будут закрываться здесь разные учреждения, то вознаграждение мастерам может упасть и ниже нынешнего. Немец несказанно восхищался этим: русский будет и привык работать за малую цену, с ним только строгость нужна...

– О, русский шельвек строгий обращений очень любит...

Ввиду этого его верно и донимают штрафами за прогулы, штрафами, часто в шесть раз превышающими его дневной заработок.

Любителям цифр могу сообщить, что из каждых ста пудов сала вываривается таким образом тридцать пять пудов свеч. Вся фабрика в день сжигает по две кубические сажени дров. Годовой оборот ее дает триста тысяч пудов масла и сто пятьдесят тысяч пудов свечей, которые по девять рублей пятьдесят копеек сбрасываются на Нижегородскую ярмарку.

Признаюсь, я с особенным удовольствием выехал отсюда... Беспощадная эксплуатация рабочей силы здесь еще отвратительней, чем в других местах. Понятно, что вместе с бедностью растет и разврат. Было время, когда женщины-работницы после трудового дня продавали себя на ночь за один хлеб, за возможность накормить своих детей...

Чем больше поднимаются цены на хлеб, тем шире разливается и разврат со всюду сопровождающим его сифилисом и чахоткою... И я не виноват, что мне приходится рисовать такие непривлекательные картины.

### ЛШ. Березовский прииск. – Старообрядческие сёла. – Казенное управление. – Рабочие платы. – Продажа приисков в частные руки

Немного севернее Екатеринбурга – небольшое озеро Шарташ с селом того же имени, окаймившим часть его берегов, и Шарташскими золотыми приисками около. К югу от озера богатые каменоломни, а вокруг, в окрестности, множество приисков. На середине пути между озером и рекой Пышмой – Березовское село с рудниками. Всё это очень некрасиво. Едва-едва всхолмленная местность – не на чем остановиться взгляду. Даже Урал, когда мы подъезжали сюда, прятался в туман, и ничего кругом не было видно, кроме довольно бедно обстроенных поселков, чахлах рощиц, золотушных, кривых деревьев, болезненно поднявшихся на месте еще недавно стоявших здесь вековых лесов, павших под топорами промышленников... Деревни тоже какие-то захудалые, и население их совсем не того типа, который мы привыкли встречать в этом краю. Оказалось, что здесь поселились во времена оны беглые стрельцы. Им пришлось много бедствовать, прежде чем они свыклись с новыми условиями жизни. Тут вымирали целые слободы. Да и власти того времени относились к беглым с беспощадной жестокостью. Бывали случаи, что их выселки целиком угоняли в Сибирь, несчастным «рвали ноздри, били их батогами и весьма живота лишали». Они, тем не менее, остались верны себе, эти стойкие представители допетровской Руси. До сих пор по закоулкам стоят здесь их старообрядческие церкви. Как неказисты поселки – так же неказисты и щеголеватые в других местах постройки завода, купленного со всеми окрестностями у казны Асташевым и К<sup>о</sup>. Всего досталось им около пятидесяти шести квадратных верст с богатыми железными рудами и золотыми россыпями; разумеется, обошлось всё это очень дешево. Единовременно было уплачено, кажется, около ста тысяч, да ежегодно со шлихового и рассыпного золота, добываемого здесь, владельцы вносят в пользу государства восемнадцать с половиной процентов... Производство удешевлено до последней степени. Еще администрация заводов обходится в шестьдесят тысяч рублей, что же касается до платы рабочим, то она низведена до минимума, хотя обороты растут и растут. Казна добывала здесь двадцать два пуда золота, компания надеялась впоследствии поднять эту цифру до сорока пяти пудов. Впрочем, трудно сказать, когда местному рабочему было хуже – теперь или тогда. У нас так всё расплзается врозь, так во всем заметно полнейшее неумение устроиться, бездарность, небрежность, что государственное ли управление, частная ли эксплуатация – всё едино. Так, например, в 1825 году валовые работы в этом округе по добыче золотоносного кварца должны были приостановиться, потому что ни с того ни с сего начальство распустило крестьян на все четыре стороны умирать с голоду; штольни разрушились, штерки оказались запущенными донельзя, от шахт остались только безобразные провалы. Потом всё это пришлось сооружать вновь, причем, разумеется, ловкие люди получили возможность удовлетворить аппетиты. А воротила уральские никогда не отличались особенною скромностью аппетита. В этом отношении они все похожи на Гулливера в царстве лиллипутов или, по крайней мере,

на Гаргантюа Рабле. Через несколько времени, ввиду открытия здесь же золотоносных россыпей, казна распорядилась опять уничтожить всё это, точно разработка железных руд могла мешать вымойке золота! На Урале в этом отношении казенное управление делало чудные вещи. О них и теперь рыцари доброго старого времени вспоминают с восторгом. Это ли еще не Эльдorado – когда постройка казенного завода обеспечивала ловкого человека настолько, что он на остатки из него выводил чуть ли не целые улицы домов в Екатеринбурге, да кстате где-нибудь покупал себе именице на всякий случай. Вырыть одну шахту обходилось дороже, чем вывести большой собор в губернском городе. Стоило только подержаться несколько месяцев за уголок казенного пирога, чтобы потом всю жизнь славословить Господа и благодумствовать... Что на один порох выводилось, которым взрывали здесь горы и одолевали каменные породы! Мне кажется, если бы собрать всё количество этого пороха, то его достаточно бы оказалось, чтобы в клочки разнести весь земной шар. При канцелярском делопроизводстве всё это шло чудесно – и овцы были целы, и волки сыты. Рука руку мыла, и обе чисты бывали... Не нужно было только забывать христианского обычая делиться с ближними. Ну а возлюбил ближнего как самого себя и – спи спокойно. Ни ревизоры, ни чиновники особых поручений не страшны.

Теперь все работы здесь производятся динамитом, что обходится в восемь раз дешевле пороха. Благодаря тому обстоятельству, что казна зачастую оставляла своих рабочих без хлеба и дела, они поневоле привыкли к другим еще ремеслам. Так, в Березовском и недействующем теперь Пышминском заводах делают посуду всякую, ящики; Становая, село Сарапулки с окрестностями производят массаи сундуки, кадки, ушаты, подойники, которые отсюда и рассылаются в уезды Камышловский, Челябинский и Шадринский... Изделия этого рода идут и в Екатеринбург с Кунгуром...

– Много ли заработку на семью? – спросил я у сумрачного старообрядца, занятого при мне окраской необычайно пестрого сундука.

– Да вот в восемь рук работаем... Все ста полтора набежит! Разумеется, не круглый год... Когда свободно – тогда...

Поденная плата простому рабочему на заводах хотя и больше, чем у мудрого чужеземца Эджертон Горбарта, всё же весьма недостаточна. Она не превышает пятидесяти копеек в день на всём своем, хотя я не знаю более тяжелого, более каторжного труда, как на золотых приисках. Всё здесь таково, что чахотка среди постоянного приискового населения стала постоянной и наследственной болезнью. Вследствие работы в согнутом положении, зачастую и теперь практикуемой на здешних приисках, не только грудь разрушается – искривляется позвоночный столб, ноги становятся слабыми. Дети и женщины особенно изуродованы этой системой эксплуатации естественных богатств Урала. И лучше всего, что здесь женщина поденно получает столько же, сколько мальчик-подросток. Тот и другая не выработают более двадцати пяти или тридцати копеек в десять-одиннадцать часов упорного сплошного труда.

Казна, и сама в прежнее время нисколько не заботившаяся о положении своих рабочих, разумеется, продавая в частные руки прииски и заводы,

не имела никакого основания обуславливать теми или другими обязательствами отношения новых владельцев к населению, но мы, тем не менее, решительно теряемся указать, какими же мерами можно остановить страшный упадок вознаграждения за непосильный труд. У разных здешних владельцев есть и жильное золото; но добывающие его рабочие получают за еще более тяжкие усилия всё ту же плату. Мы не станем говорить о их положении, оно то же, какое обрисовано нами в очерках остального Урала. Скажем одно: что касается до нас, то мы недоумеваем, как в такой невозможной обстановке уральцы еще не выродились, что за изумительная выносливость при этой нищете, переходящей из поколения в поколение, при этой бескормице, при этих условиях труда, как будто нарочно созданных для того, чтобы в конце концов из смысленных и энергичных тружеников сделать малосильных и апатичных ко всему кретинов. Когда я посещал Екатеринбургский округ, там у казны оставалось еще двадцать шесть квадратных верст с жильными рудниками, рассеянными по разным дачам. Они уже и тогда назначались в продажу. Кое-кому здесь приходила благая мысль хотя бы в одном небольшом пункте устроить артельную добычу золота с тем, чтобы все выгоды этого дела распределялись между участниками соответственно количеству их рабочих часов. Другие, справедливо пораженные крайностью, всё более и более увеличивавшиеся в населении от падения цен, предлагали учредить нечто вроде образцовой эксплуатации какой-нибудь жилы с подъемом вознаграждения за труд. Но все эти прекрасные проекты, разумеется, рухнули, когда авторы их сообразили, что исполнение их будет поручено тем же чиновникам, которые до сих пор на народ смотрели как на машину, обязанную тратить столько-то и столько-то мускульной силы. Откуда же им вдруг проникнуться любовью к рабочему и всеми этими благородными чувствами, которые они называют сентиментальными. Нигде я не замечал такого пренебрежения к крестьянину, как здесь.

Я говорил о землях, еще оставшихся здесь у казны. Сверх упомянутых ей еще принадлежали тогда две больших площади в тысячу квадратных верст. Что делается там – темна вода в облаках. На своей земле Асташев и К<sup>о</sup> могут разрабатывать россыпи, не ранее как через пять лет. Сверх того, он должен был готовить работы для ежегодной добычи ртутного золота – по десять пудов минимум. Тому же владельцу, вместе с Леманом и Фохтом, принадлежали здесь два участка рассыпного золота с подряда на четыре года, причем они должны добытый здесь металл отдавать в казну по одному рублю двадцати пяти копеек на одном и по одному рублю пяти копеек на другом за золотник. Разумеется, это крайне невыгодно. Участки были взяты, и не для того, чтобы воспользоваться барышами от добычи металла. Умысел другой тут был. За аренду не платили ничего, да и работать на этих участках, если хотите, необязательно, можно сидеть сложа руки. В чём же дело? А в том, что, раз взята вся окрестность в одни руки, никто другой сюда не сунется, рабочих не отвлечет, платой их не избалуует. Фохт и Леман могут располагать ими как хотят, назначать цены какие угодно. Это, разумеется, стоит ничтожного расхода на залог в размере десяти процентов стоимости оставленного здесь казенного имущества... Прежде здесь, случалось, работали башкиры – новое

управление нашло их невыгодными. Они, разумеется, и расплозились во все стороны.

– Отчего вы не берете башкиров? – спрашивал я здесь.

– Они народ балованный.

В переводе на общий язык это значило, что с башкирами нельзя было поступать так, как с русскими. Первые, идя на подземные работы, требуют за них и большого вознаграждения. Еще бы: в Миассе на готовом содержании и с выдачей им задатков они получают от семи до девяти рублей в месяц, и то за открытые работы, кто же их загонит за меньшую плату в вечную тьму, в каменные норы здешнего рудника. Только наш уралец, которому некуда деваться от голода, пойдет на всё, лишь бы ему с семьей не вовсе уж, не сразу умереть с голоду.

Вообще же для песчаных золотых работ лучше всего вятские татары, но и их нельзя привлечь сюда за ту цену, за которую идут русские. Сверх того, к ним ближе есть такая же площадь с богатым содержанием драгоценного металла. При мне даже в Чердынском уезде было открыто золото. Всё же, что здесь имеет хоть какую-нибудь оседлость, как чумы бежит рудничных работ. Старообрядцы Шарташа, Сарапулки и Становой и слышать не хотят о них. Даже во время обязательного труда их туда нельзя было заманить никакими мерами. В последнее время и березовские крестьяне взялись за ремесла. Всё, что только повольнее дышит, идет в слесаря, в столяры и чеботари.

– Самое последнее дело – в рудники идти! – говорят они.

– А что?

– Проголодь... Да и работаешь точно в могиле, нет тебе Божьего света...

– Что же так, дома больше заработаешь?

– Ежели и не больше, так всё же здоровее будешь, да и семья на глазах...

А то и больше. Все гривен шесть в день возьмешь. А ты погляди-ка на тех, которые на россыпах да в рудниках. Думаешь, что они берут... Как червь в земле копается, а за шесть кубических аршин больше как девяносто копеек, если земля мягка, или четыре рубля, коли на камень попадет, не получит.

– Сколько же это в день выйдет?

– Да от тридцати пяти копеек до шести гривен...

Бывают такие дни, когда и рубль возьмет, зато в другой ему и двухгривенного не очистить.

Нагрузчики и откатчики в шахтах за свой тяжелый труд получают по сорок пять копеек в день, подростки – по тридцать копеек.

Особенно страшными являются здесь работы в каменноугольных копальнях. Черная пыль их садится на легкие, колоть породу приходится стоя по колено в холодной воде. Ревматизмы и чахотка неотступно следуют за этими каторжниками непосильного труда!.. Они делятся на артели, и каждый работает одну неделю днем, а другую ночью – с пяти до пяти часов, причем на отдых приходится не более двух часов. Ценою этой массы усилий удастся в год выработать семь тысяч кубических сажень земли и камня. На золотом деле в сутки выломается две тысячи пудов кварцу, который при удаче даст до двух с половиной пудов золота. Соседние с кварцами породы тоже содержат золото, хотя гораздо менее. Оно вырабатывается отдельно.



- Хотите видеть нашего дедушку? – предложили мне.
- Кого?
- А здесь живет у нас – старик Жмаев.

Я, разумеется, схватился за случай познакомиться с этим знаменитым золотоискателем.

#### **LIV. Е. И. Жмаев – золотоискатель. – Заводские рабочие. – Под землей**

Егор Иванович Жмаев – гений в своем роде. У него не только знание, у него изумительный инстинкт открывать золото там, где его никто и не предполагает. Он одному Зотову таким образом дал три тысячи пудов драгоценного металла в Сибири; другим предпринимателям, пользовавшимся его услугами, тоже не пришлось раскаиваться. Жмаев своим хозяевам в разное время составлял миллионные состояния... Прибавьте к этому, что большая часть его деятельности была отдана Сибири, где признаки местонахождения золота не так явны, как здесь, где ему приходилось целые годы жить чуть не в зверином образе посреди неисходимых таег. В глуши, в которой разве только беглый каторжник мог попасться ему навстречу. Я думал, встретишь Жмаева в богатых хоромах, располагающего громадными средствами. Ещё бы, это человек, почти ничего не пивший, не тратившийся ни на что...

И что уже?

Меня привели в жалкую бедную комнатку... Здесь нас встретил старик еще бодрый; черные зоркие глаза пытливо смотрели из-под седых бровей; над замечательно высоким и превосходно сформированным лбом едва-едва можно было различить редкие серебряные волосы. В сухой складке уже бескровных губ чувствовалось какое-то презрение к людям, что-то горькое... Крепкое коренастое тело еще не изменило ему, несмотря на его семьдесят восемь лет!..

Он был почти без куска хлеба и жил здесь из милости – он, дававший миллионы другим, почти никогда не имевший дорого стоивших прихотей!.. Не сказала ли в нём судьба рабочих везде, этих пчел, собирающих мед для хозяев?.. – Как же вы живете, Егор Иванович?

– Помогают... Грустно ответил он, потупясь...

У старика около сорока внуков и правнуков. Они тоже нуждаются в его помощи!..

Мне стала понятна и эта болезненная усмешка губ, и эти иногда принимавшие такое печальное выражение глаза!..

Жмаев по происхождению киргиз. Его еще ребенком купил Тит Поликарпович Зотов за два мешка муки у голодного отца и воспитал у себя в Екатеринбургe. Только что окрепнув, Жмаев сейчас же начал свою кипучую, неустанную деятельность золотоискателя, сумевшего сохранить мягкую честную душу и несокрушимую энергию до самой поздней старости. Еще недавно он работал, как молодой человек, пешком проходя громадные пространства, ночуя на болотах, оставаясь зимой в засыпанных снегами алтайских лесах. Раз он несколько зим сряду прожил в Сибири в палатке – это при тамошних-то морозах!

– Неужели же вам не выплачивают пенсий?..

– Нет, как же... – заторопился старик – не оставляют... тысячу двести рублей в год получаю.

Из этого он должен еще содержать громадную семью... Взрослый сын не только не помогает ему, а еще сам изводит старика своим беспросыпным пьянством.

– И больше ничего, ниоткуда?

– Кому вспоминать!.. Обещали много – не сделали ничего... Так всегда...

Что-то очень печальное и робкое мелькнуло в глазах Жмаева, этого человека, сделавшего на своем веку десятки бессовестных эксплуататоров Крезами...

– Вы знаете, – обратился ко мне господин Фохт, – я уверен, что если бы Жмаева и теперь на лошадь посадить, так за ними не угнаться бы и молодежи. Три года тому назад я попробовал было перегнать его на скаку.

– Ну?

– Куда, к черту!.. Вы посмотрите, как его крепко сковало сибирскими морозами, обожгло всего горным солнцем!.. Уверю вас, что он и теперь еще молод... Экая сила-то!..

Жмаев нервно привстал в своем плохеньком пиджачке и поднял подпертую ветхим галстуком голову.

– Да, пожалуй, и еще потрудиться мог бы.

– Чтобы вас так же надули? Вы знаете, сколько он золота нашел? – обратился Фохт ко мне.

– Я слышал, много.

– Да вот-с: Зотову три тысячи пудов, Соловьеву – тысячу, Голубкову – три тысячи, а там еще – Маляревскому, Бобкову, Малевинскому, Базилевскому...

– Имена же их ты, Господи, веши!.. – как бы про себя проговорил старик.

Как с ним поступали, видно из того, что те же Зотовы остались ему должны около шестидесяти девяти тысяч рублей. Добром не отдавали: пришлось завести процесс, который тянулся несколько лет, истощив все средства старика. Не раз ему приходилось ездить в Питер, смазывать повсюду разные скрипучие колеса. Наконец пристукнула нужда, и Жмаев поневоле пошел на мировую. Он получил двадцать пять тысяч рублей и выдал расписку в полной уплате ему всего долга, хотя на одни свои поездки в Петербург истратил около пятнадцати тысяч рублей. Впрочем, и другие оказались не лучше Зотовых!

Рассказы Жмаева в высшей степени интересны. Особенно о местности им облюбованной – по двум речкам: Севагликону и Актолику, из которых первая впадает в Колыму, а вторая в Ангару. Их верховья в одном и том же кряже на расстоянии ста пятидесяти сажен одно от другого, а устья противоположны. Он и теперь не может говорить без восторга об этом диком захолустье. От его рассказов веет простором и привольем сибирской тайги. Кажется, что сам слышишь величавый гул лесов, куда до тех пор не ступала нога человека. Невольно мерещатся засыпанные снегами вершины сумрачных гор и задумчивый ропот океана у отвесных скал Камчатки. Как хорош его рассказ о долгом странствовании по травяным болотам в вершины реки Мойвы, на оленях, быстро несущихся вперед, точно им досадно, что вольный ветер пустыни перегоняет их, что еще далеко впереди слышатся его меланхолические

отголоски. А эти горы из кварца и топаза – какими-то сказочными памятниками подымающиеся в неведомых еще закоулках безлюдного и бездорожного края!.. Как ярко сверкает на них солнце, на этих алтарях незнаемого божества! Что усталь и голод, что все лишения – лицом к лицу с этим величием, с этим чудным созданием гениальнейшего художника, имя которому природа! Его приключения и встречи будут рассказаны в другом месте: иначе нам пришлось бы далеко выйти за пределы настоящих очерков.

Здесь на заводах работают постоянно около тысячи ста человек. Положение их мы очертили в прежних главах. Гораздо лучше тем, которые заняты рубкою леса и выжигом угля, то есть бывшим урочным крестьянам. Тут и дело легче, да и воздухом приходится дышать не спертым у ярко сверкающих печей, а вольным и чистым среди смолистых деревьев. Разумеется, нечего и говорить о тех, кому по двенадцать часов в сутки приходится потеть над кварцевыми жилами в вечный тьме черного рудника, чуть озаряемой тусклым светом едва мигающих лампочек. В самом деле, какой труд нужен, чтобы в массе твердой породы добыть золотую каплю. Каждому рудокопу нужно выработать чуть не шесть кубических аршин кварца, чтобы только получить право сегодня не умереть с голода, но в то же время знать, что и дети твои так же будут изводиться над тем же делом... Понятно, что все, имеющие возможность уйти из рудника, уходят прочь. Поэтому в Березовском округе такая масса гранильщиков, столяров, сапожников, сундучников. Всякий, имеющий хотя малейшую возможность научиться какому-нибудь ремеслу, бежит от рудника и завода, особенно от первого, хотя и второй не сладок.

Представьте себе условия труда: в спину дует зимой морозный ветер, а прямо в лицо, точно пасть адава, пышет огнем и зноем ослепительно горящая печь.

Управляющий этими заводами шел с нами.

– Ну чего ты болтаешься? – накинулся он на одного рабочего.

– Теперь, брат, шабаш...

– Что шабаш?..

– Ухожу... Я в слесаря ноне... очень уж тяжело здесь-то... Маешься-маешься, а всё силы нет подняться.

– А где легче?.. Ты пойми, там будет ли еще всегда работа-то у тебя, а здесь ты свое каждую субботу получишь.

– Ну уж не толкуй!.. Одна голова не бедна. Пушай птица-говорок даром слова-то тратит!.. А я ухожу...

– А что это за птица-говорок? – спрашиваю я.

– А это они так попугая зовут, что у Фохта в клетке сидит... Как везли его сюда, что смеху было. В селах народ отовсюду сбегался... Сначала пустили слух, что это царского орла везут, а потом разнеслось, что это волшебная птица. Особенно бабы – те с ума посходили. С детьми больными пробивались к попугаю – не предскажет ли он чего или не посоветует ли чем лечить? Потом его почему-то агleckой птицей прозвали и думали, что она указывает места, где золото находится. В одном селе ее украсть собирались. Теперь только она потеряла всю свою славу и обратилась в птицу-говорок. А прежде чуть не силой народ отгонять приходилось...

Люди все встречались нам сумрачные, сосредоточенные. Даже и бабы невесело смотрели. Детей было не видно – они также на работе. Здесь чуть не с восьмилетнего возраста – хочешь жить, так обливай потом каждый кусок хлеба. Счастливого детства, зеленых полей, этой идиллии всевозможных хрестоматий, тут не полагается. Вместо того – оглушающий завод, с пылью, копотью, невыносимым холодом и столь же невыносимым жаром, или черный рудник, где над тобой висят миллиарды пудов земли, где ты схоронен, как труп в могиле, как червяк в орехе...

В один из таких рудников мы именно отправились.

Перед нами оказалась черная дыра. Вверху торчала лесенка. Внизу она пропадала во мраке.

– Вот и наш колодец!.. Сейчас мы спустимся туда.

Снизу доносился какой-то гул, точно люди дорылись до царства гномов и звуки подземного царства тысячами отголосков долетают вверх, но смутно и глухо... Их едва-едва улавливает ухо, и еще страшнее кажется оттого эта жила, ушедшая на сто сорок футов внутрь земли.

Нам дали свечи в руки. Мы зажгли их и не знали, что делать, но вот первый, стоявший у отверстия, ступил на лесенку, еще несколько мгновений – и черная дыра точно проглотила его. За ним стали спускаться и мы. Скользящая, мокрая лестница. Ноги едва-едва держатся на ее перекладах, руки тоже – вот-вот выпустят их. А внизу ничего не видно – там тьма и какой-то неопределенный шум... Лесенки сначала шли все короткие, потом подлиннее... Вот нам брызнуло что-то в лица... Оказалось, что стены просочила вода и с тонким шумом рвется из оковавшей ее отовсюду твердой породы. Чем ниже, тем брызги обильнее и обильнее... Вот уже целые струи воды бегут по мокрым стенам колодезя. Колеблющееся и тусклое пламя наших свечей отражается в этих струях. Кажется, что это черная земля плачет, расставаясь с сокровищами, десятки тысячелетий пролежавшими в ее материнских недрах. Или не кровь ли ее сочится – кровь глубоко пробитой человеком земли?

Что-то скрипит около...

– Это не беспокойтесь... Бадья вверх подымается с породой...

Скоро и шорох, и журчание ручьев, и скрип бадьи потонули в каком-то грохоте. Казалось, что здесь, в вечной тьме, прикованное железными цепями к некрушимым подземным скалам, бьется, хрипит, стонет и жалуется какое-то чудовище, никогда не выдавшее света своими слепыми глазами и никогда не пригретое солнцем, так ярко, так приветливо сегодня светившим над землею. Впрочем, мой спутник, совершенно лишенный воображения и даже считавший его за что-то, по меньшей мере, неблагоприятное, расхохотался надо мною.

– Это не поэзия, нет! Это просто водоподъемная машина! – с пренебрежением ответил он.

Свинья, роющаяся под дубом, если бы вы ей сказали о птицах, поющих в прохладной тени его листьев, точно тем же тоном заметила бы вам:

– Это не птицы, а желуди, которые я подбираю своим классическим пяточком под этим дубом!

Лестницы становились длиннее и отвеснее. Было ясно, что это сужается колодезь... Мокрые стены тускло поблескивали при свете наших свечей, внизу

так же тускло блестела вода, заливавшая дно колодезя... Наконец ноги наши ступили на деревянный пол... Кругом была всё та же вода... Прямо перед нами опять черная дыра, но она уже шла перпендикулярно к колодезю.

– Ну, теперь туда!..

Мне почему-то пришло в голову, что какая-нибудь микроскопическая мерзость, попав в кровь человека, точно такое же путешествие совершает по его жилам. Я имел неосторожность выразить эту догадку, но мои прозаические спутники нашли ее заслуживающей всяческого порицания. Полу-согнувшись, мы двинулись в эту жилу и прошли по ней сажен полтора-два. Вверху поставлены крепи, чтобы земля не обвалилась. Внизу – рельсы, по которым, погромыхая, движутся вагончики с выломанной породой. Падая сверху, сквозь крепи, капли подземной воды тушили наши свечи. Жила то шла по наклону вниз, то сворачивала в сторону. Нам становилось дышать всё труднее и труднее. Сотни тысяч пудов земли над нами обращались в миллионы: мы, казалось, уходили в такие слои подземного царства, откуда и возврат к свету и жизни был невозможен. Порой над нами слышались голоса. Целою системою перепутанных штолен, штерков и шахт доносились таким образом к нам отголоски труда бесчисленных пчел-рудодобывателей, работавших внутри этого чудовищного улья, каждый в своей ячейке. Впрочем, и эти отголоски доносились нечасто. В этом черном мраке подземного царства звуки скрадываются удивительно. Стук кайл мы слышали только войдя в грот, где человек семь рабочих, по ступню в воде и обливаемые водой сверху, ломали породу. Каждый со всей силы ударяя молотом по лому, загонял его в кварц. Из скважин, пробитых таким образом особым инструментом, выбиралась пыль также иногда золотиносная, затем вставлялся патрон динамита с пистоном, содержащим гремучий газ.

– Хошь кого осилит! – замечает рабочий, выполняя это при нас.

– Прежде порохом урвали, но куда. Порох ничего не стоит. Этот домобит так действует – в лучшем виде!..

От пистона висит вниз длинный фитиль.

– Ну, теперь – подальше.

Мы бросились в ближайшие штольни.

Рабочие зажгли фитили – и тоже к нам. Несколько секунд тишины – и послышался слабый гул. Каменные породы штольни точно вздрогнули... Отголосок взрыва замер в следующем гроте... Мы подождали еще несколько секунд и опять вернулись в только что оставленную нами ячейку подземного улья. На тех местах, где еще недавно в белом кварце зияли скважины, теперь блистали свежими изломами выбоины, а целые груды золотиносной породы лежали под ними внизу. Серый дым еще ходил под потолком грота. От этого дыма невольно разбалывалась голова...

– Дела много – шуму мало! – заметил мой спутник. Тут сила звуков теряется совсем, хотя после взрыва бывает такое быстрое движение воздуха, что в дальних штольнях иногда гасит свечи рудодобыватели.

Мало-помалу дым рассеялся. Белые изломы и свежие плоскости кварца еще ярче заблестели под светом наших лампочек и свечей. С грохотом прикатили железные бадьи – вагончики. Те же рабочие наполнили их кусками

кварца, и скоро с новым грохотом двинулись они к шахте, откуда эта порода уже подымается вверх воротом, приводимым в движение наверху парой лошадей.

Мы долго еще бродили по этим штольням.

Здесь необходимо маленькое пояснение. Колодезь вниз называется шахтой, перпендикулярные к нему жилы – штольнями, идущие от штольни верхней к штольне нижней боковые наклонные артерии – штерками. Заинтересовавшись одной из этих штолен, в глубине которой мелькал огонек одинокого рабочего, я пошел туда, но оступился и чуть не слетел вниз... Вовремя остановился. Оказалось, что подо мной сияло отверстие, глубина которого была мне неизвестна. Едва меня догнал мой спутник.

– Ну разве это можно?.. Как вам не совестно?.. Ведь тут и голову сломать немудрено.

Я извинился. Очень уже меня манила к себе тишина и одиночество... Хотелось изведать ощущение рабочего, в первый раз попадающего в такую ячейку...

Вот и шахта... Вверху едва-едва, точно серая точка, мерещится ее отверстие... Именно мерещится. То пропадет, то выступит вновь... Опять скользкие перекладыны лестниц, опять брызги воды, просочившейся сквозь стены, опять так и кажется, что попадешь ногой мимо и сорвешься в ту тускло поблескивающую внизу влагу, которую не в силах совершенно удалить никакие водоподъемные машины... Наконец отверстие вверху стало расти и светлеть. Вот первый луч упал на нас: еще минута – и над нами раскинулось голубое небо с жемчугом своих облаков, с точками словно застоявшихся в его безмятежный высоте птиц, с ярким диском жизнедавца – солнца, золотая корона которого уже склонялась к западу... Грудь жадно вбирала в себя свежий воздух. Глаза с любовью останавливались и на зелени полей, и на веселых струях потока, и на кудлатой собачонке, с громким лаем кидавшейся на мирную и сонную лошадь. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Все мы с головы до ног были в грязи. Кое-как обмыли лица и руки в жесткой и терпкой воде отливной машины и отправились проследить дальше судьбу похищенного у черных недр земли кварца. Трудно было позавидовать этому почтенному минералу. Он попадал в массивные челюсти какой-то железной пасти, которая беспощадно пережевывала его и потом выбрасывала уже мелким щебнем в аппарат, где вращались так называемые два волка. Там он еще более крошился и в виде крупы прогонялся через чрен с решетом. Сквозь него бежит с громким шумом вода, настолько стремительно, что смывает кварц прочь, и сквозь решето падает вниз более крупное золото. Остальная масса идет под бегуны, без усталости, злобно растирающие ее в пыль. Пыль эта в длинных каналах смешивается с ртутью, немедленно соединяющейся с золотом.

– Неужели эти потоки жидкой грязи несут собою золото? – спросил кто-то.

– Еще бы... Не в виде же полуимпериалов выходить ему из-под бегунов!

Ртуть соединяется с золотом, оседает на дно, кварц относится прочь...

– Вот, говорят, золото и в грязи блестит... Здесь это что-то не заметно.



Из золотоносной ртути драгоценный металл выделяется выжимкой. Оставшаяся от этого масса ртути, еще содержащая в себе мелкую золотую пыль, подвергается выпариванию в герметических печах, причем золото остается, ртуть улетучивается.

После всей этой сложной операции получается блестящая желтая горсточка, из-за которой через несколько времени совершится столько подлостей, преступлений... Невольно, глядя на только что выработанный металл, думалось: сколько существований разобьется благодаря этой жалкой кучке драгоценный крупы, сколько совестей будет продано, сколько из-за нее прольется крови!.. И ради этого – тысячи людей, как дождевые черви, должны в вечном мраке копать под землей, задыхаться в духоте штолен, изнемогать под тяжестью непосильного труда!..

Да где же он легок?

Вон недалеко закладывается новый шурф. Остумевшие люди, полузажмурив от усталости глаза и навалившись грудью на ворот, буравят таким образом землю... Остановились – понурились, точно лошади после громадного и мучительного перегона. Видимо, отдышаться не могут, только колени дрожат да по лицу бежит какая-то судорога.

И не искры сознания... Глаза также полусмежены. Больно или противно глядеть этим несчастным каторжникам труда на Божий белый свет?

Нет, прочь скорей!

Точно сам делаешься участником этого преступления... Опять в путь, на зеленые равнины, в лениво колышущиеся рощи, на берега изрезанной мельничными плотинами Исети.

И страшен среди вольного простора кажется жребий этих кротов, слепнувших теперь в вечном мраке своих подземных нор!..

**LV. Колыбель миллионов. –  
По пути в Верх-Нейвинск. –  
Лесные бабы и высеченный купидон. –  
На земляных работах. – Артельные матки. –  
Железнодорожный городок. – Динамитные взрывы. –  
Мы в роли поджигателей**

Меня давно манило в самую глубь Урала, туда, где в вечном мраке рудника гном-человек, ценой невероятных усилий, отнимает у земли ее глубоко схроненные сокровища; где одинокие старательские артели в глуши дремучих лесов по целым месяцам выживают у золотоносных рек, еще не намеченных даже на карте; где высокие горы стали на самый рубеж студеного сибирского царства, точно заслоняя Россию от его леденящего дыхания.

Выехав из Екатеринбурга к северу, я уже на первых порах погрузился в вечную дрему сурового мрачного леса. Со всех сторон дорогу обступали мрачные сосны, почти к самому небу простиравшие свои ветви. Впереди были

всё те же голые, красноватые стволы, словно сквозь их старческую кору видна была кровь, пробегавшая по бесчисленным жилам этих великанов, неведомо как уцелевших от топора промышленника. Вокруг всё молчало: молчала речонка, будто притаившаяся у старых корней; молчал, думая свою таинственную думу, лес, молчало серое, точно нахмурившееся сегодня небо; поневоле молчали и мы, глядя вперед – не просветлеет ли наконец, не покажется ли где-нибудь веселое сельбище... Но версты за верстами остаются позади, и ни одной хатки не видать нигде. Мы было уже заснули, как вдруг какой-то шум заставил нас выглянуть из кибитки.

– Эх, бабами лес-то понасыпало. Словно, тебе, грибы после дождя поднялись!

И откуда взялись они! У самой дороги сидят кучами, между стволами сосен мерещатся яркими пятнами. Сотни их здесь. Вон одна, толстая, жирная, стала посередине пути и орет что-то. Ямщик поневоле удержал коней.

– А еще попадья! – увещевает он ее.

– У меня, брат, попов много – что ни проезжий молодец, то и поп!

– Что вы тут делаете? – спрашивает мой спутник.

– А вот таких, как ты, грибов ищем... Ишь у тебя голова-то – голяком совсем. У пустовиков<sup>21</sup> такие-то шляпки бывают – белые да гладкие... Выходика к нам, мы тебя причешем! – орет та же попадья.

Спутник мой, совсем сконфуженный, прячется в кибитку. Ему на смену – я. У самой дороги молоденькая, хорошенькая бабенка, грудь копром, глаза так и блещут веселостью, румяные губы полуоткрыты, точно для того, чтобы показать белые, как слоновою костью, зубы.

– Замужем ты, матка?

– Замужем не была, а без мужа не спала!

– У нас в лесу баба вольная, – объясняет мне ямщик, – она тебя с кашей съест, язык у нее, что пес на цепи, – на всех лает. Погоди, Матренка, вот я Ивану скажу. Он, отец-то, тебе бока вспарит.

– Ну а как тебя-то, Ермолай, ноне Федосья кнутом либо дышлом охаживает?

– Она его крапивой больше! – смеялись кругом.

У всех баб в руках кузовки, полные грибов и малины. Из глубины точно удивленного всем этим шумом и гамом старого важного леса несутся обрывки песен, визгливые голоса стараются перекричать один другого, смех заразительный, веселый стремится нам навстречу. Мой спутник выглянул было опять.

– Ты бы ее, голову-то, онучей что ли обернул либо лапоть надел. Ишь она у те – босая совсем!..

Он вновь прячется... «Эки подлые, эки несустанные, эки лукавки!» – шепчет он, забываясь вглубь.

– Эй, бабы! – орет попадья. – Давайте Ермолая сечь! Не всё же одной Федосье над ним величаться... Повластвуем и мы.

Ермолай понимает, что дело приняло серьезный оборот. Он хлестнул коней, те несутся прямо на попадью. Жирная баба, смеясь, кубарем свертывается

с дороги; хохот гонится за нами вслед, забегает вперед, навстречу; яркие красивые бабы машут руками, орут что-то; но Ермолай во всю мочь несется по кочковатой дороге. Кибитка стонет и жалуется, визжат плохо смазанные колеса, каждая деревянная планка кричит от боли; целая туча встревоженной пыли подымается из-под копыт... И чрез полчаса такой сумасшедшей гоньбы мы наконец выносимся из старого дремного леса.

– Ты чего ж это гнал так? – спрашиваем.

– Они, бабы-то наши... сам знаешь: дома-то водой не замутишь – тихая да ласковая... А в лесу ей не попадайся.

– Ну?

– Верно... Старшина у нас есть, Купидон Иваныч. Ну он было захотел повеличаться над ними, в лесу-то. Мужик важный, живот у него вынесло – во как!.. Что ж бы ты думал – ведь они его высекли!

– Не может быть.

– Чего уж, экого степенного мужика!.. Портки с его скинули и прутиками настегали. Потом он со стыда-то и из старшин ушел... У нас баба в лесу смелая!

Дорога пошла вдоль строящегося железнодорожного пути. Недавно только настланное полотно осело и потрескалось; щели разбежались во все стороны, сливались, перекрещивались и расходились, точь-в-точь как старое, прорезанное тысячами морщин лицо. Все эти трещины нужно опять забивать и засыпать до первого сухого дня; а потом солнечные лучи опять посмеются над целой массой потраченного людьми труда. Сегодня, впрочем, их заслонили холодные серые тучи; прямо в лицо нам уже дышала близкая осень; ветер, пролетая мимо голых вершин Урала, захватывал с собою и их леденящий холод. По бокам пути была везде снята верхняя почва, оставлены только корни деревьев с четырехугольниками правильно срезанной земли, точно эти пни стояли временно на пьедесталах, приготовленных для более благородной цели. Беспорядочные холмы из камней, целые скалы горами торчат, одни на других. В их скважины когда-то ветром нанесло земли, с земли поднялись веселые елки и треплются они по ветру, точно радуясь, что их корни, всё глубже и дальше заползая в скалы, делают там свою разрушительную работу. Камни надвигаются на дорогу; скоро она должна каждый клочок отвоевывать у них. Поседевший от старости крепко-зернистый гранит – всюду. Дорога поднялась на него; полотно железнодорожного пути настлано на первозданной породе. Местность всхолмливается. Мы то опускаемся в глубокие долины, где внизу шумят бесчисленные ручейки, точно злясь на лесную чащу, заслонившую от них небо, то наша кибитка въезжает на вершины гор, которые, словно сторожа, оцепили кругом тенистую падь. Горы за горами: веселые, зеленые впереди, за ними – синие, сливающиеся одни с другими, дальше – серые, а там уже и не отличить вершин их от уральских пиков; тучами нахлопнулись и застыли в своем очарованном сне; отдельные пики кое-где торчат из общей массы этих гор; вон так называемые «сосцы», красивые парные вершины. Они встречаются на всем Урале и составляют его особенность. По пути, то и дело пересекая его или бок о бок с ним, бежит прелестная, капризная, как женщина, гибкая, извилистая, как змея, речка. Она в котловинах раскидывается

на световодные озерки, словно стальные щиты, едва поблескивает в узинах, стесненных двумя крутогорьями, рвется вперед, с грохотом ворочая камень там, где они перегораживают ей путь. Вон зеленые луга пошли – изредка взгляд скользит по ним вплоть до гор, закутавшихся в синие издали леса. По откосам пути – жалкие землянки, шалаши, похожие на лапландские вежи. Оттуда клубом вырывается дым, костры разложены между этими логовищами железнодорожных рабочих; пермяки верхами и так, с конями в поводу, поодиночке и толпами попадают нам навстречу. Всё это измозженное на непосильной работе, всё это сумрачное, потное; выражение лиц, характеризующееся народным присловьем «глаза бы ни на что не глядели». Несладко, видимо, дело и здесь, несмотря на высокую поденную плату!

Мы остановились у одного из костров. В котелке над ним вскипала и булькала каша. Безноса баба помешивала ее; рядом сидело трое совсем одичавших людей.

– Хлеб да соль.

Подняли на нас глаза и оторопело передвинулись в сторону.

– Чугунку работаете, братцы?

То же молчанье. Только баба на них вскинулась:

– Чего же вы, идолы, молчите? Аль у вас язва язык отъела!.. Ишь, купцы спрашивают.

– Оно самое... чугунок...

– Отколь вы?..

– Пермяки. Мы туточных волостей... – всё за них же объясняла баба. – Да что!.. Думали, невесть как будет хорошо... На рупь польстились... А только и беда! Кони теперь падают, хлеб дорог, живем, что черви, в земле, в сырости, в холоде. Грязи на нас-то... Вша нас ест, во как!..

– Ист, ист! – одушевились рабочие. – Вша теперь везде – потому бань нет.

– И кабаков про вас, иродов, понастроили... Всё, что заработают, – пропивают, – плакалась баба.

– Как не пить-то? Пьем, матка... Потому, сама говоришь, холодно. Коли бы не пить – не жить.

– Ты что же, жена чья?

Баба потупилась.

– Она наша, господин, наша... В матках у нас живет. Для всех, значит, на трех – одна! – пояснил пермяк. – Дело бабье сполняет. Рубахи нам моет, кашу варит...

– Что же, вы за нее не ссоритесь? – внезапно поинтересовался мой спутник, порнографические наклонности которого, вероятно, уже замечены читателем.

– С чего? Всем будет...

Добрались мы до Дедовых каменных гор. Они совсем перегородили путь железной дороге. Одну из них, пониже, нужно снести прочь, и вот в четыре месяца едва-едва удалось таким образом покончить с ее верхушкой. Белая цельная скала внизу, а сверху изломы; видимо, вся вершина изорвана динамитом. Свежие выбоины по сторонам. Вода от вчерашнего дождя в них. В одну забрался рабочий и купается, в другой баба полощет белье. Дальше работа идет правильнее. Плоские поверхности, края только что сделанных выемок

правильны. Мы посмотрели сверху вниз. Мошки-люди деятельно борются с первозданной породой. До нас едва достигает стук молотков по бурам, с каждым ударом всё глубже и глубже входящим в белое крепкое тело скалы.

– Много ль за этот египетский труд платят?

– С каждого вершка... по три копейки за вершок. За иным-то побьешься... побьешься... С ума сойти надо!

– А сколько вершков в день выбьешь так-то?

– Как кто в силах. Вон Митрий и все двадцать выбьет, коли с утра самого раннего. А то и пятнадцать, слава те, Господи!

Какие-то черномазые люди бегают между ними с шляпами на затылке. Смелый очерк южного, совсем не русского лица, мелкорослые фигурки, подвижные, быстрые; каждое слово сопровождается жестами.

– Это кто такие?.. Ишь что размахались!

– Зажигальщики, тальянцы они...

Оказались действительно итальянцы; их тут много, и они исключительно занимаются кладкой динамитных мин, которые у каждого из них находятся у пояса в коробке. Длинные свертки бумажных лент с порохом играют роль фитилей; такой фитиль проводится в пистон, пистон закладывается в динамитную мину, для чего в ней провертывается дырочка. Когда по назначенной линии все буры вбиты до необходимой глубины, итальянцы отмеривают их, отмечают в рабочих книжках количество вершков, затем вкладывают динамитные мины на аршин внутрь скалы. Вон итальянцы что-то заболтали по-своему, один из них заиграл что-то на трубе.

– Первый сигнал этот... Сейчас рабочие побегут.

Они действительно разбежались за огромные скалы, впрочем, недалеко – видимо, привыкли. По второму сигналу все патроны должны быть уже вложены, по третьему итальянцы зажигают бумажные ленты и бегут сами опрометью.

– Одна смею что было... тальянец побежал – да штаны потерял. Запутался – а тут камень рвать стало... Ему бы снять да бросить – а штанов-то жалко. Так он и провозился с ними.

– Не ушибло?

– Зачем ушибать?.. Из-за портков да ушибать?

Мы отошли тоже подальше; послышался грохот взрыва, треск от расколовшейся скалы, и целая масса земли и камня взлетела вверх и с громом рассыпалась по окрестным скатам и утесам. Человек-мошка сделал свое дело разрушения, и казавшаяся несокрушимой гордая масса первородной горы разбилась и раскинулась вся безжизненными, жалкими обломками. Но не успела еще столь величественная мысль прийти нам в голову, как какой-то освирепевший итальянец налетел на ближайшего к нам рабочего, назвал его по-своему «бестией и канальей» и, треснув по затылку, столь же скоропостижно отскочил прочь...

– Что это он? – спросил потерпевшего ближайший.

– А ты поди да спроси у его: известно – облизьян. Но только не больно.

– Он больно не может, он благородно... В скулу когда потычет – и то нечувствительно... Только я так думал – назад бы его садануть, наотмашь!

– Чудак ты!.. Как же я его садану, коли он по-нашему не понимает?..

И, успокоившись, рабочий опять отправился к скале вбивать бур в ее твердое тело.

– А что, всегда так безопасно происходят взрывы? – спрашиваю я у ближайшего.

– Ну, как кому: вчера бабу одну попортило. В голову ей вдарило. Стояла она – видим, Господи!..

– Что же она теперь?

– Как теперь? Да мы ее ночью и зарыли. Потому ей камнем-то полголовы прочь снесло... И не ахнула. И баба-то была какая аховая!..

Здесьняя порода до того крепка, что порох на нее не действовал вовсе, поневоле пришлось впускать в дело динамит или, как называют его рабочие, «домобит». Лучшие из местных рабочих получают в день по рублю, но редко; чаще плата колеблется между сорок пятью и семьюдесятью пятью копейками. Вон у самого полотна железной дороги целый город землянок; говор так и ходит волной над этим сельбищем полуголого и, во всяком случае, работающего впроголодь люда. Одним бабам, очевидно, хорошо здесь; яркими пятнами отличаются они в массе серых людей, серых построек и серой земли. Красный кумач так и бьет в глаза. Визгливые песни их слышны издали.

– Нашей бабе хорошо... которая строгая, ну, точно не больно-то в теле будет, а другим – чудесно.

И действительно, проезжая мимо по грунтовому пути, шедшему ниже железнодорожного полотна, мы видели наверху целый ряд таких толстых и выхоленных баб, передвигающих вдоль полотна двухколесные тележки песку.

– Наша баба крепкая.. ее, брат, домобитом не пробьешь! – смеется ямщик. Я тут работал тоже, чего навидался только!.. Бабе тут хорошо. Которые холостые, так они бабу-то вскладчину к себе в артель пускают; так бывает, что одна на пятерых. Такой ли бабе не жить, она и работать не ходит; у ей – всегда праздник, помирать не надо! Потому у нас сибирская баба и живет... а то бы ушла, что ей!

Кучи детей возились между землянками и шалашами; так и хотелось спросить, не артельные ли и эти дети? Мы вошли в одно из логовищ. В землянке оказались со всех сторон нары с соломой. Вверху сушилась обувь и промоченное платье, в кадках по углам стояла капуста. Смердный воздух напомнил нам жилье мурманских покрученников на дальнем севере. Как можно было дышать им, какие легкие нужно иметь, чтобы жить при таких условиях! Между этими жильями то и дело краснели ярко раздувавшиеся огни бесчисленных кузниц и слышался правильный, как биение стального пульса, стук молотов; рядом визжало железо под инструментами слесарей, дальше пильщики потели над громадными бревнами и бесшумно, молчаливо землекопы снимали дерн со старых, тотчас же наполнявшихся водой понизей.

Наконец вдали блеснуло большое озеро, выдвинулись обступившие его с севера горы, зеленые острова, на некоторых – сквозная березовая чаща. Воображаю, как красива она под ярким солнцем летнего полудня, когда всю ее проникают золотые лучи, когда каждый нежный листок точно купается в теплом воздухе. По мере того как мы продвигаемся вперед, то выступают,



то пропадают извивы берега, уходящего налево в густую чащу сумрачного северного леса... Прямо напротив в озеро обрывается гора, на которой разбросаны здания завода... За ней мерещатся другие горы. На одной из них – самая высокая башня... Ближе в покойные воды Таватуя смотрится масса деревянных домов, каменные крытые постройки, похожие на старинные крепости... Всё веет простором, привольем. Глаза разбегаются по красивым деталям этого замечательного даже на Урале пейзажа. Вон по берегу озера вытянулись ряды пихт – точно станом стали там, у самой воды.

Мы вышли, чтобы дойти до самого завода пешком – так хороши казались окрестности.

Не успели сделать несколько шагов, как сзади налетела тройка, гремя колокольцами и бубенчиками.

– Стой! – послышалось оттуда.

Тройка остановилась

– Стой!.. Стой!.. Ей, вы... Стойте!..

Мы поняли, что дело касается нас.

Какой-то одутловатый парень в свалившейся набекрень фуражке с красным околышем и кокардой вышел оттуда.

– Кто такие будете?

– А вам что за дело?

– Значит, есть дело, если спрашиваю. Куда вы? Я вас по обязанности...

– Мы – путешественники.

– Пешком-то?

– Ну, значит, поджигатели! Вот озеро Таватуй поджечь хотим! – расхохотался я.

– Да вы не смейтесь! Паспорты у вас есть?

– Нет, потому что мы бежали из нерчинских рудников и еще не запаслись таковыми.

Власть, видимо, опешила.

– То есть позвольте!.. Как же это – бежали? В каком смысле?.. Для чего?..

– Для чего бежали? Для изучения отклонений магнитной стрелки на северных отрогах Урала.

Мой спутник фыркнул; расхохотался и я. Едва удалось отделаться от ревностной власти.

У самой слободки нас поджидал ямщик.

– А чиновник про вас спрашивал, смеялся он, – у нас начальство дошлое. Потому нельзя – оно за поимку награды получает.

Не успели мы выехать на улицу заводского села, как наткнулись на все-российскую сцену. Баба цапалась с мужиком, но как-то странно, по очереди. То он ее хватит, пообождет... то она его, а потом опять он. И всё это серьезно.

– Видел ты, Амельян? – крикнул он нашему ямщику.

– Как твоего безобразия не видать – видели! Это новоженые! – обернулся он к нам. Недавно поженились.

– И уже дерутся?

– Разве это драка у их?.. Что он ее, что она его – по правде, поровну... у них это чудесно.

- В чём же несогласие у них вышло?
- Какое несогласие?.. Они по согласу поженились. Дружно живут. Я засмеялся.
- Хороша дружба!
- Они что кошки: на крыше дерутся, а в одной печурке вместе спят...

**LVI. Верх-Нейвинск. – Трудно кормиться. –  
Цифры. – Золотое и железное дело. –  
Порядки на Чусовой. – Виды с сухой горы. –  
Семь братьев. – Фонари вместо памятников  
и молебен, заменивший свадьбу**

Верх-Нейвинские заводы славятся своим листовым железом; оно оказывается чуть ли не лучшим из всех существующих. С марками «А. Я. Сибирь» оно идет даже в Америку и продается там баснословно дорого для печей и для футляров. Чрезвычайно красивое, оно никогда не красится снаружи. Я попал сюда в праздники, так что, к сожалению, мне не пришлось видеть самого производства, тем более что рудянка, где прокатывается это железо, была тогда временно закрыта. Кроме этого специального дела, в Верх-Нейвинске разрабатывают золото из приисков, которых здесь до десяти. Хотя некоторые из них уже оставлены, а все другие отданы старателям, то есть вольным артелям, добывающим драгоценный металл на владельческой земле с условием – за определенную плату отдавать его заводоуправлению, которое принимает его от одного рубля девяносто копеек до двух рублей за золотник. Работа эта, когда-то столь выгодная, теперь не дает более пятидесяти копеек поденной платы, да и то не всегда. Иной день крестьянин напрасно промочит целую массу песку, земли и пустой породы, не найдя в ней ни крупинки золота. Эксплуатируемые заводом старатели, в свою очередь, стараются эксплуатировать женщин. Они их нанимают на работы уже от себя: плата ничтожная – по двадцать копеек в день. Таким образом в течение двенадцати часов баба трудится, чтобы получить возможность только-только не умереть с голода. В мое время цена хлеба доходила до восьмидесяти копеек за пуд. Через два года она поднялась еще выше, перешла за один рубль десять копеек, а вознаграждение старателям и старательницам осталось всё то же. Нельзя сказать, чтобы старательские работы давали очень много. Почва здесь давно истощена, и богатые прииски выработаны предшествовавшими поколениями: в год заводоуправление собирает таким образом довольно мало золота. На других здешних приисках работают не вольные артели, а наемные; но первые гораздо более добывают металла: так, в то время как по прежней номенклатуре на господских работах в Ягодном, Полуденно-Шураянском, Ключевском, Шигиринском, Кукарском, Алексеевском приисках с мая по май вымыто золота: в 1874 году – девять пудов двадцать пять фунтов девяносто семь золотников; в 1875 году – двенадцать пудов четыре фунта пятьдесят с половиной золотников; старательские работы дали золото: в 1874 году – девятнадцать пудов

двенадцать фунтов пятьдесят семь золотников, а в 1875 году – четырнадцать пудов двадцать девять фунтов. Сверх этого добыто самое незначительное количество шурфочного золота и не больше – жильного. Чтобы дать понятие о количестве работы в Верх-Нейвинском округе, довольно привести следующие цифры.

С 1 мая по 18 июля 1876 года, то есть за два с половиною месяца, здесь считалось 14 885 рабочих дней, распределяемых на 233 человека, которые подняли и промыли огромную массу пород. Содержание золота в них колеблется, смотря по местности. Самою богатою является Ключевской, где на сто пудов земли пришлось от девятнадцати до двадцати золотников металла, самым бедным – Шигиринский, где то же количество промытых пород дало семнадцать долей золота. Всего в 1876 году за шесть первых месяцев с 5 144 000 пудов песку добыто восемь пудов и тринадцать фунтов золота. Старательские работы представляют гораздо более крупные цифры. В 1876 году на них был 781 человек с таким же количеством ручных станков, на которых поднято 8 500 000 пудов песку, давшего за первое полугодие семь пудов два фунта золота.

– Ох, трудно, трудно кормиться нынче! – говорили мне здесь крестьяне-старатели.

– Особливо бабам: тем на наших работах хоть помирай.

– Отчего же вы, старатели, им так мало платите?

– На господских – баба еще меньше получает!..

И действительно, оказалось, что женщины, нанимаемые заводоуправлением, получают каждая, на своих харчах, только по двенадцать копеек в день, тогда как мальчик-подросток зарабатывает двадцать копеек. Не ужасно ли это?

– Отчего же женский труд так мало ценится?

– Сбили они цену. Баба за какую угодно плату пойдет.

Самые предприимчивые из женщин уходят в окрестные леса и ищут там золото. Часть их гибнет от голода, от морозов. Случалось, что здешние бабы, попав в совершенно безвыходное положение, сами сосоставляли из себя артели и работали за свой счет, но дело это не ладилось, участницы большею частью ссорились между собою, и артель расходилась во все стороны. Хотя бы опять в кабалу к тем же эксплуатировавшим их мужикам. В общем, баба здесь не заработает сорока рублей в год, потому что, помимо рождения детей, из трудовых дней ее, оплачиваемых столь скудно, нужно еще исключить почти месяц, который каждое заводоуправление дает своим крестьянам для сенокоса и полевых работ. Этого краткого срока довольно, потому что хлебопашество тут ничтожно. Сеют самое незначительное количество ржи, ячменя и овса, причем хорошие урожаи неизвестны, а недород повторяется чуть ли не каждые три года.

– Мы этим золотом да заводом живем! – объявляют здесь...

– А огороды?

– Огороды у нас хорошие, да некому ими заниматься... Мы и подсолнухи выращиваем, да это что – баловство одно! Мастерства больше никакого нет. Закрой завод – все по миру пойдем. Теперь у нас много народу пошло чугунокку строить. Сулили хорошую плату, да нет!..

– Не дают?

– Штрахвы донимают! Кабаков понасажено... а житье холодное... Пьешь! Только пойлом и спасаешься. Народ там вольный с четырех сосен собрался... Всякое дело в ходу, обман, разврат этот... Ну, глядишь, домой-то принести и нечего. Всё, что ни получил, всё пропил. Прежде нам жилось лучше. Больше денег получали, хлеб дешевле был. Ты погляди, старые избы как были строены: простор, бревно крепкое, кондовое, крупное; а теперь: торчат хаточки убогие, ни стать ни сесть, печь черная, лес самый жидкий, всего его ноздря проела. С хворого леса и житьишко в этих хатах самое холодное. Зимой там морозом охаживает как! – таракану не завестись... Потому таракан – зверь балованный: ему тоже тепло надо... Без тепла он жить не согласен.

– Отчего же вы других промыслов не ищете?

– Какие еще промыслы-то? Из наших мест бежать надо. Тут, недалеко, есть деревня, так в ней никого не осталось. Был завод – леса сжег. А без лесов домна (доменная печь) не работает: печка погасла – и заработков нет. Первое время крестьяне свои дома рубили да на завод как дрова продавали, а потом и рубить стало нечего, да и жить негде. Помирать начали: кои примерли, кои разбежались... Остались только те, кого к земле пришибло. Силы с нею подняться нет, да и смерть не приходит... Ну и живут, а чем кормятся, поди, и сами не знают. Наше дело рабочее такое: сегодня сыт, и слава Богу! А что завтра будет – никому невдомек... Завод запустеет, и деревня запустеет...

– Вот для этого-то промыслы и нужны.

– А откуда их возьмешь?... Где они – промыслы-то?... Леса нет, реки нет – вся в пруд ушла, высохла, а там и пруд спустили – пруд ушел. Поле есть – хлеба не родит, потому земля не любит, чтоб с нее шубу снимали – лес-от... Ну и мрем пока. Мастерство – какое? Да на кого работать-то?.. Никому не нужно...

Железное дело здесь гораздо значительнее, чем золотое. И население по своим нравственным качествам резко разделяется здесь по двум этим главным отраслям производства. То, что я наблюдал на остальном Урале, оказалось и тут. Те, кто стоит на золотом деле, давно спились и обратились в ничего не имущих нищих, причем даже старательский труд, в удачных случаях дающий исключительный заработок, не поправляет их положение. Золото, вызывающие столько пороков, преступлений, являющееся причиной таких глубоких падений, такой порчи, и здесь роковым образом влияет на людей, добывающих его из недр земли. Кажется, что это именно тот бесовский клад, который, по зароку схоронивших его убийц, нельзя получить, не оставив на его месте своей совести, чести, своей души. С первых минут своего появления на свет он уже разлагающим образом действует на рабочего и, прежде чем в виде золотой монеты успеет попасть в цепкие руки, уже развратит достаточно много людей, отделяющих его от песка, льющих его, заведующих его отправкою в Петербург... Железо – иное дело. Это – как выражаются на Урале – металл строгий: и дает он целые поколения сумрачных и строгих людей, которым чужды сангвиническое легкомыслие старателей и их покладистая совесть. Крот-рабочий, роющийся в железном руднике, обжаривающийся у устья доменных печей и сталеварен, совсем иной тип, так же не похожий на лихорадочного, беспокойного золотоискателя, как, например, мексиканец

не похож на неразговорчивого, спокойного американца-скваттера. На железном деле люди много думают, имеют за частую дело с машинами: сверх того, если верить местным психологам, своим внутренним организмом складываются в твердые, стойкие формы, как будто чугун и железо передают им свои основные качества.

Железо сюда, в Нейвинск, доставляется из высокогорского рудника. Богатая содержанием металла руда привозится к доменным печам, находящимся в рудниках (в Верх-Нейвинске есть одна, но она пока не действует), и там переплавляется в чугун, который, в свою очередь, тут же переделывается в болванку. Болванка прокатывается в листовое железо – предмет справедливой гордости здешнего завода. В самом Верх-Нейвинске плавится всякое литье, причем на это в году идет семьдесят дней. В печах завода сжигается сто пятнадцать сажен куренных (четырнадцать четвертей в высоту, семь в ширину) дров, причем проплавлено было в 1875 году, например, 26 930 пудов чугуна, в виде литья из него поступило 7 140 пудов, припасов – 17 796 пудов. Средним числом выплавлялось в сутки 353 пуда. Каждая сажень дров идет на проплавку 217 пудов металла, а на 1 000 пудов литья нужно было употребить 1 080 пудов чугуна. Местные заводы заняты также ковкою железа из чугуна. Это производство дает следующие цифры: широкополосного железа выковано здесь 87 593 пуда, повиночного (брака, находного) – 1 944 пуда, брускового – 3 289 пудов, причем всё это обжигается под тремя паровыми молотами, раскаливается в шести горнах ста восемью рабочими, разделяющимися на две смены – дневную и ночную. Для этой цели сожжено 5 357 коробов угля соснового (в каждом коробе 27 216 кубических вершков) или 126 875 пудов этого топлива. При помощи каждого короба угля выковывается 17 пудов 10 фунтов железа, причем на 100 пудов чугуна идет его только 73 пуда. Каждый мастер в одну смену должен, таким образом, выковать 26 пудов 10 фунтов. При прокате железа рабочих смен 831. Угля на это идет 268 коробов, дров 689 сажен. Всего в прокатку пошло 79 456 пудов железа, и из него получено узкой болванки 78 819 пудов, причем в одну смену каждый мастер обязан прокатать 664 пуда. Из узкой болванки выделяется широкая: на это идет 40 598 пудов: излишек отправляется в Нижне-Нейвинский завод. Получаемое железо, листовое, красное, должно опять подвергнуться обработке, чтобы обратиться в глянцевое. Тут в смену на одного мастера приходится 145 пудов, и на каждую тысячу пудов металла обращается три короба соснового угля, шесть сажен дров и 1 080 пудов узкой болванки. В семь рабочих смен получается наконец эта тысяча пудов. Окончательная отделка листового железа в глянцевое требует 1 699 рабочих смен, 280 коробов угля, 886 сажен сосновых дров и 6 678 верховья, то есть негодного железа, в которое закутывается листовое. Всего на выделку глянцевого железа пошло на Верх-Нейвинском заводе широкой болванки (красной листовой) 183 866 пудов, из которых и получено требуемого металла 150 798 пудов да 29 411 пудов обрезков. В одну смену на мастера приходится выделанного железа: 63 пуда 10 фунтов глянцевого и 218 пудов 19 фунтов красного.

Большая часть выработанной массы отправляется в Петербург и в Нижний: таким образом, ежегодно на караваны грузится здесь 83 132 пуда глянцевого

железа, 35 922 пуда красного, 1 760 пудов сковород, 512 пудов обрезков. Остальное продается на месте. Караваны идут по Чусовой.

– Беда нам с нашим сплаваом! – жаловались здесь.

– А что?

– Да как же, помилуйте. Сколько каждый год барок разбивается, часто воды нет. Нужно пользоваться первым валом, который пускают из Ревдинского и другого прудов, чтоб стремглав прокатить в Каму. А тут берега извилистые, скалы вдвигаются в реку.

Я уже слышал об этом и писал<sup>22</sup>.

– Давно толковали, что выше Ревды демидовской на Чусовой можно сделать плотину. На это собран капитал из четверти процентов всех сплавляемых грузов. Мы уже ходатаствовали, ходатайствовали!.. Но куда путейцы дели эти деньги, никому не известно.

– Что же, были ответы на ходатайства?

– Точно в рот воды набрали в Питере, ни одного слова!.. Ничего не делают. Судходная река – бечевника нет, о сужении фарватера – не слыхано. Часто весной не хватает воды, и только заводской пруд поддерживает судходство, выпуская в нее свой запас; тогда как если бы была выше Ревды запасная плотина, то и навигация оказывалась бы вполне обеспеченною.

– Неужели же ничего так и не сделано?

– Ничего...Впрочем, одни заплавки устоили при крутых поворотах.

– Это что еще?

– Брусья с особым механизмом, сжимающимся при ударе судна и снова отталкивающим его. Будете там, расспросите-ко сплавщиков; они не даром гибнут там сотнями!.. Знаете, как они эту нашу питательницу зовут?

– Как?

– Похоронной рекой, губительницей, водяною смертью... А то еще райской...

– Почему - райской?

– В шутку; потому что весной, кто отправится по ней, так имеет много шансов немедленно в рай попасть!.. Наш один купец вздумал сам исправить течение реки и снес камень, мешавший движению судов, так – чтобы вы думали? – чуть суду не предали! Едва-едва отвертелся...

Не особенно большой заработок дает местному населению и поставка дров на завод. Он же подвозит и уголь, причем всю операцию берут на себя подрядчики. За сажень дров раскатных или куренных они получают по четыре рубля, а за каждый короб угля – один рубль. Впрочем, если лес близко, то и меньше. Леса изводятся не свои – свои давно вырублены; заводы только и дышат, пока еще есть казенные; но будь исполнен проект одного их рьяных пермских чиновников, продай казна леса частным лицам, промышленникам, – населению оставалось бы умереть с голода, потому что никакой завод без леса существовать не может. Билеты на порубку казенного леса подрядчикам выдает заводоуправление. Для выжиги угля артели идут в леса еще весной. Там они рубят деревья, на лето оставляют их лежать, осенью вновь приходят

<sup>22</sup> См. «Русскую Речь», 1881 года, №№ 9, 10, 11, 12



и выжигают их; сама же доставка на завод совершается в течение зимы. Везут за пятнадцать, за двадцать верст, – ближе уже не осталось леса вовсе; весь съеден жадными пастями доменных печей, сожжен в горнах, в сталеварнях или вывезен вон, потому что всё доброе старое время довольно обширную статью заводских доходов составляла лесоторговля.

– У нас и работа-то непостоянная на заводе.

– Почему это?

– Да завод не всегда работает, а как выполняют заказ и шабаш. Или на все четыре стороны.

– Что же вы тогда делаете?

– К подрядчику идем уголь жечь. Разбегаемся на другие работы... А то и так голодуем. Еще мастеру – лучше. Он хоть что-нибудь отложить может. Ну а нам плохо. Мастеру в месяц иной раз и все двадцать рублей приведется, отделочному тоже хорошо – бывает и по пятнадцать рублей; ну а нам из двенадцати ничего на черный день не прикопишь... На старательской работе еще хоть баб берут, на нашу заводскую баба не гожа, ее не надо. Оно и тут помощи нет.

– Без работы плохо!

– Чего хуже! Бывает по месяцам так-то... Пухнем!.. Опрошлый год беда была. Николи сплавам по Чусовой не ходил, а тут на барке вдарился. Ну, прокормиться прокормился, а домой ничего не послал. Хозяин жид попался. Барки-то утопить хотел.

– Как утопить? – Очень просто. Потому он пермское железо вез. Ну, показал его больше, а что на руках было – распродал, оставил самую малость. Ну, только мы барку-то отстояли.

– Досталась ему?

– Кому, жиду-то? Куда!..

И рабочий махнул рукой.

– Им, аспидам, воровать завсегда свободно: вот ежели нам – ну, точно, с голоду что сделаешь – не пожалеют. А им что?.. Им хорошо!.. Слава те, Господи! Помирать не надо!

Оставить Верх-Нейвинск, не полюбовавшись его дивными видами с Сухой горы, на которой поставлена башня, нельзя. Мы отправились туда и невольно заждались до вечера. Так хороши окрестности отсюда. На севере виден Тагил, кругом верст на сорок открываются дали, то полные сурового и мрачного величия, то приковывающие к себе взгляд идиллической прелестью долин и полей, раскидывающихся под вами. Кругом каймами, грядами, перепутавшимися узлами поднялись крутые горы.

Одни кряжи хотят точно перебраться через другие, сливаются и снова разливаются, понижаются, чтобы тотчас же гордо выдвинуть остроконечный пик. Их то окутывают зеленые облака лесов, то серые скалы взрезывают их скаты снизу, поднимаются вверх и там располагаются точно каменными венцами, башнями, алтарями, развалинами каких-то календарных крепостей, замков. Дальше всего видно на юг. Вон два пруда... Сегодня, после вчерашних туч и холода, солнце пригрело землю и пруды, точно клочки голубого неба улыбаются из своих глубоких падей. Между ними – серебряная нить извилистой и капризной Нейвы. Кое-где, далеко, ложатся темные черточки

просек. Из лесов поднимаются дымки. Мерещатся какие-то пятна; только взглядевшись, отгадываешь в них захолустное село или затерянный в глуши завод. Внизу, прямо под ногами, разбегаются во все стороны белые улицы Верх-Нейвинска; прямо подо мною две церкви, круглое башенное строение, где помещается управление завода, и другие дома. Кажется, на этот золотящийся крест храма можно спрыгнуть. Крыша его – вот тут. Видны голуби, засевшие на ней... Вон, направо, голубеет какая-то речонка: то спрячется в рощу, то забежит за утес, то снова и совсем уже неожиданно покажется и блеснет, чтоб шаловливо схорониться в темную лощину, откуда, очевидно, нет ей выхода. На запад вершины грозных и сумрачных гор заслонили даль. Между ними и покрытой лесами пониью, подступающей к самому Верх-Нейвинску, – Рудянское озеро. Мы видим только ближайшую кайму его – дальше оно переходит в туманную полосу. Туманная полоса точно сливается с небом, и на нём уже висят вершины, точно он не имеет ничего общего с землею, точно сейчас повеет ветер и унесет их далеко-далеко... На север – целый стан гор и холмов. Все они, закутавшись в свои леса, напоминают крутые, окаменевшие в момент самой сильной зыби, волны. Вот-вот очарованный сон оставит их, и они мирно и с громовым шумом покатаются тогда к нашей Сухой горе, к нашей башне и унесут ее с собою... Между ними дорога в Нейвинск то выбежит желтым зигзагом, то опять уйдет... Редкие золотые пятна овсяного посева: редкие зеленые разливы логовин... На север – всё мрачно, всё угрюмо. Еще мрачнее, еще угрюмее местности к востоку... Тут более двадцати отдельных вершин. Между ними мерцают серебряные ерики, мерещатся белые нитки вспенившихся ручьев, шумно бегущих с крутых яров в глубокие долины. Вон гора Верхнего Тагила смелым взлетом рванула в высоту – да не удалось и отделиться от мощно захвативший ее земли; и так стоит она, одинокая, невольная, утопая в небе, манящем ее к себе.

– Вон семь братьев! Показали мне семь отдельных, стоящих на вершине крутой горы утесов.

– Почему семь братьев?

– Народ говорит... Ермак шел тут, ну семь волшебных братьев на дороге ему гор навалили. Только он пройдет одну – они ему сейчас другую, одолеет эту – третья растет... На четвертой шибко устал Ермак. А они, братья-то, выбежали и смеются все над ним. Тут Ермак взмолился: «Не дай, Господи, посмеяться колдунам невежливым над честным, животворящим крестом Твоим!..» Поднял он крест да и пошел на них. Хотят уйти волшебные люди да не могут: ноги к земле приросли – камнем к камню; хотят руки опустить – руки не шелохнутся, камнем к каменным бокам прирастают; а когда шел он к ним до верху, так они совсем в утесы обратились. Только эти утесы не простые. Иной раз, ночью, слышно, как сердце в них колотится. Так они до скончания века стоять будут за то, что над крестом посмеялись. Ермак их до страшного суда самого заклал.

Назад нам пришлось идти через старообрядческое кладбище, мимо большой красивой церкви. Много массивных мраморных памятников очень изящного рисунка.

– Вы с нами не шутите. Прежде в Нейвинске как жили?.. В Италии заказывали монументы.

– Ну а теперь?

– Было время да сплыло; тут когда-то один самодур вживе себе памятник поставил, только не пришлось лежать под ним, потому что на Чусовой утонул. Был другой – давно это – так он непременно хотел на кладбище пса своего зарыть. Даже к митрополиту вошел с ходатайством, в котором пояснил, что пес его был необыкновенный, и, умирая, пять тысяч на благотворительные цели оставил. Ну только этому досталось.

– Судили?

– Нет, только вместо пяти тысяч с него двадцать тысяч взяли и едва-едва дело прекратили.

– А это что за фонари?

Действительно, между памятниками торчали длинные чугунные столбики с фонариками. Уж не для освещения ли кладбища, подумал я. Оказалось, что это те же памятники; в фонариках, за дверцею, медные складни, перед ними теплятся лампадки. На одной могиле четыре таких фонарика. Обилие металла сказывается во всё. Доски на могилах чугунные: говорят, прежде здесь и гроба приготавливались железные. Кое-где кресты выкрашены в ярко-красную краску. Особенно изящен оказался памятник над священником Иосифом, неизвестно как попавшим сюда.

– Тут с этими монументами беда!

– А что?

– Да как же, в одном заводе купец Шабашов, когда откупа уничтожили, поставил им памятник на площади – крест, состоящий из полуштофов. Хотели его суду придать, до откупился. А другой пирамиду возвел, якобы над своей женой. Она от него сбежала: ну, он и решил, что для него она умерла навсегда, поставил мраморную массу, на которой высек, да еще и золотою вязью:

*«Судьба недолго нас ласкала, –  
Семь лет с женою я прожил;  
А на восьмой она сбежала  
И память я о ней под камнем схоронил!»*

С другой стороны: «Упокой, Господи, грешную душу рабы твоей Анны, оставившей безутешного мужа и сырых чад своих на произвол стихий».

С третьей: «Сбежала сего 1845 года, июня 25-го, с инженер-поручиком Шварцом, из немцев».

– Неужели это возможно?

– Да такие ли у нас еще дела бывали... Это еще что! А слышали ли вы, как один заводчик на гувернантке своей недавно женился? Это уже история самого недавно времени. Она не соглашалась отдаться ему так; ну, он сделал ей формальное предложение, француженка обрадовалась и приняла. По-русски она не понимала. Он пошел с нею в церковь, велел священнику отслужить мольбен о здравии и долгоденствии боярина Алексея, сам серьезно простоял с нею на коленях всё время. Она при этом горько плакала, затем он ее

поцеловал в церкви и объявил, что они муж и жена. Только через год она узнала об этом подлоге и бросилась жаловаться.

– Разумеется, ничего не добились?

– Еще бы!.. На наших заводчиков и по сей час никакой управы нет. Но она, впрочем, отомстила ему по-своему.

– Как это?

– Да опять помирилась с ним и убедила ехать с собой в Петербург, тот отправился... Там у нее было двое братьев. Она им пожаловалась. Французы было вскипятились, да видят, что ничего не поделаешь, и порешили наказать его. Зазвали к себе, завязали рот, чтобы не кричал, да и высекли раба Божьего. Что ж бы вы думали, ведь образумился!

– В каком отношении?

– А в таком, что женился на ней действительно... Ты, говорит, этим так мне любовь свою доказала... Ну и она тоже ловкая: как из церкви вышли они – она, вместо того чтобы к нему, пересела к какому-то французу-перчаточнику в коляску, да с ним и уехала. Так наш заводчик в дураках и остался...

## **LVII. Глушь. – Рудянка. –**

**Как в старину делались двоеженцами. –**

**Как венчали с мертвецами. – Село Шуралинское. –**

**Старатели. – Золотое дно. – Невьянск. – Какая земля. –**

**Истребленные леса. – Фея старого замка. –**

## **Цифры и факты**

Леса и горы, горы и леса. Изредка покажутся главные вершины каменного Урала и опять уйдут из глаз. Путь идет мимо Рудянского пруда и громадного болота с другой стороны; мы двигаемся точно по перешейку... Направо через болото прокладывается дамба железной дороги. Люди-мухи ползают по этой желтой насыпи, копошатся на ней... Вон издали – точно готический монастырь из красного кирпича. Совсем обманываешься: так расстояние, сливая все детали этой громады, придает ей еще более грандиозные размеры... Чем ближе, тем поэтическое старинное аббатство всё больше и больше блекнет, теряет свою прелесть и величие и, наконец, обращается в довольно красивое заводское строение и только; другие корпуса тянутся вниз, к самому озеру, на светлых водах которого сегодня ярко блестит солнце.

Солнце щедро обливает и развенчанный монастырь, скользит по его террасам, подымающимся к самой вершине. На здешнем заводе вырабатывается более трехсот пятидесяти тысяч пудов чугуна, сто двадцать тысяч пудов кричного железа, сто восемьдесят тысяч пудов болванки. Строено всё это в доброе старое время, когда руки были дешевы, когда не приходилось нанимать крестьян, когда целые сёла издали стонялись в данную местность. На Урал часто силой гнали тысячи «голов» несчастных мужиков, отрываемых от семьи, умиравших на пути и редко возвращавшихся

назад. Страшное время!.. Тут же мне рассказывал, например, старый кричный рабочий:

– Мой отец-то двоеженец был.

– Как?

– Так – по хозяйскому приказу. Взяли его из села и послали сюда. Жену с малолетками на месте оставили. А здесь хозяин говорит: «Чем тебе жену сюда тащить, я тебя здесь оженю». Отец было уперся – куда тебе!.. Барин такой был – что ему в голову втемяшится, он уж на своем поставит. Приказал попу, и оженили отца. Потом время прошло – первая жена с нами пришла сюда; глядь – а у него уже вторая семья.

– Что ж она?

– Вместе и зажили.

– С двумя женами?

– Да!.. Что ж поделаешь... С тех пор и звать нас стали Двоежоновыми. Прежде это просто было, совсем просто, не то что ныне. Слыхали вы, чтоб на мертвых венчали?

– Нет.

– А у нас на Урале бывало. Сказывают давно это. Одному Демидову девка приглянулась. Позвал он ее к себе – девка уперлась. Ни за что! Деньгами он ее улещал – хоть ты что! Не идет на грех. Не хочу, говорит, без закону... Стали ее сечь – не сдалась. А по ту пору казак, что у него прислужающим был, помер. Позвал он попа: венчай, говорит, девку с казаком...

– Не может быть.

– Чего не может! Старики рассказывали – верно... Поп туда-сюда – видит, ничего не поделаешь! Либо высекут, либо – сто целковых денег. Обвенчал. Лакеи венцы держали. Потом, сейчас как свадьбу отпели – молодого-то, якобы скоропостижно скончавшегося, в мертвецкую, а бабу – в опочивальню к Демидову. И что же бы ты думал? Привели ее к нему... Ну, теперь, говорит, ты мужняя жена; по согласу ли ты идешь ко мне? Та вся дрожит... С мертвым повенчали, очнуться не может! По согласу, говорит! Видит, что уж тут, коли он, как царь, всё, что хочет, всё может. А коли ты по согласу, смеется Демидов, так теперь я уже не хочу сам, а вот тебе мое повеление: не гоже тебе, обвенчанной бабе, да девкой оставаться... Позвать сюда кучера Степана... Пришел... Можешь ты, говорит, сейчас из девки да бабу сделать? Тот, что же – с удовольствием!.. Ну, сам Демидов смотрел, тешился; а потом в дальний завод и сослал бабу, чтобы она, значит, по начальству на него жалиться не могла... Вот какие времена были!..

Рудянка красиво расположена по берегу озера. Когда мы подъехали к заводу, на площади стояла сплошная толпа старателей. Кудлатые, всклоченные, измазанные землей, с удивительно энергичными лицами... Громкий говор и громкие шутки. Очевидно, незагнанная заводская челядь, что всё тишком да бочком... По четвергам они сходятся отовсюду сдавать золото, намытое ими в течение недели...

– Теперь вот они, как следует! – объяснил мне спутник. – А только получат деньги – пойдут в кабаки... Что тут шуму будет!

– Еще бы, целую неделю по лесам да по болотам работать – напешься.

– Уж они пьют очень быстро, потому что старатель, он вольный рабочий, бесстрашный. Поодиночке месяцы, бывает, в лесу живут. Пню молятся!

Между старателями были и бабы.

– Тут такой обычай; старательская баба совсем на особом положении.

– А именно?

– Другая – мужу своему покорствует, а этой муж не грозен. Какая девка старательская, так она сама себе мужа выбирает, а не он ее... А бабы у них шибкие. Ничего тоже не пугаются... и сильные же есть! Раз одна двух беглых в лесу поймала... Шли эти и видят: баба одна, здоровая, красивая, отчего не попользоваться? Думали – совладают, а она их обоих скрутила да и привела на завод; что смеху было. И бродяжки тоже дивятся. Сколько, говорят, стран и народов прошли, а эдакой бабы и не видали еще!..

За Рудянкой мы вновь увидели Урал. Величавая панорама грандиозных и бесчисленных горных вершин, обступивших горизонт, невольно приковывала взгляд. Что-то торжественное, молчаливое чувствовалось в этом. Синие силуэты этих гор поражали разностью своих очертаний. Вон, по пути, небольшой Шигирский золотой прииск, затерявшийся в пустыне. Беспросветная глушь кругом; две-три артели рабочих живут тут. Воображаю, какое гнетущее впечатление должно производить это захолустье в сумрачные вечера, среди густых и безмолвных лесов, в виду острых пиков и грузных масс надвигающегося на эту дебрь Урала. Железная дорога, разумеется, сожжет и увезет отсюда эти леса, и тогда впечатление, производимое ими, будет не так сильно. Еще несколько верст неподвижных лесов и покрытых топким слоем воды болот, и перед нами – Шуралы... Река Шуралинка бежит, извиваясь, по долине.

– Золотая речка!..

– Богаты прииски?

– Сказать даже нельзя, как богаты! Тут до шестидесяти старательских и господских приисков. Между ними самый лучший – Ключи...

По берегам – масса изб... Шуралинское село обстроилось чудесно. Дома прочные, бедных хижин почти нет. Стены выведены из толстых бревен, окна прорезаны частые и большие, крыши тесовые... Улицы широкие, красивые, хоть и безлюдны.

– Ведь вот живут же и без завода!

– Отчего не жить. Положим, что леса сожгли в долинах, так и завод закрыли. Зато золотое дело здесь уж очень выгодно.

Я не раз убеждался, впрочем, что хорошие избы и постройки вовсе не доказывают богатства населения. Вологодская и Архангельская окраины – яркий пример этого. Не там ли сёла обставлены на славу? Двухэтажные избы – а в них внутри зачастую гнездится такая нищета, какой не найдешь под соломенными кровлями где-нибудь в Смоленской или Витебской губерниях.

Ставились большие, просторные избы в те времена, когда голода не было, а как ударили недороды да нехватка, повымерли кормильцы, так и в больших хороминах стало хлебать нечего. Не случилось ли читателю в таких чудесных домах из старого кондового леса останавливаться и встречать хозяев,



просивших ради Христа?.. Мне, по крайней мере, не раз приводилось встречать и таких.

– Чем же живут шуралинцы? Положим – золотом, да ведь оно всем же не дает хлеба.

– А конная сила слишком велика!

Тут, действительно, благодаря хорошим лугам коневодство поддерживает крестьянские хозяйства. Мужик какой-нибудь старатель, а дети идут с лошадьми на железную дорогу, в обоз.

– Так и кормятся... Шуралинцы у нас на диво сложены, народ крупный, дети растут сильные, здоровые... Тоже работают, сызмала еще, а уж наживщик, в дом несет, а не из дома...

– Ну детям не следовало бы работать.

– Как судить! Читал и я в газетах, что не надо. А только кто сообразит: отец заработает двадцать рублей, не хватает у него на семью-то – и нищает. И семья голодная, и дети больны. А как четверо мальцов принесут еще двадцать рублей – ан он и на ногах уже... Ему и не страшно, крепко стоит, и отложит кое-что, и коня прикупит, и коровку...

Потянуло к вечеру. Мне уже надоели эти горы. Одно изменение в характере местности я заметил, приближаясь к Невьянску. Позади еще были леса, но чем дальше мы подымались вперед, тем их становилось всё меньше. Невообразимое уныние лежало на этих оголенных долинах и скатах, в этих вырубленных сплошь ущельях. Я завернулся в плед и зажмурился. Не было охоты смотреть на это запустение.

– Вот старейший из наших уральских заводов – Невьянск.

Я было уже заснул – дело было под вечер.

– Где Невьянск?.. Тот, который теперь называют золотым дном?

– Тот самый.

Вдали клочок озера и верхушки башен. Масса домов по сторонам. Озеро раздвигается, башни растут и растут. Одна оказалась соборной колокольной, а другая выстроена в 1725 году по образцу московских кремлевских, только значительно их выше. Она покосилась на одну сторону, как знаменитые кампаниллы Пизы и Болоньи. Разумеется, Болонская только покрупнее, а Пизанская изящнее этой... Вокруг Невьянска – ни лесинки. Оказалось, всё, что можно было вырубить, давно вырублено и сожжено в заводских печах, так что всё дело здесь некоторое время было закрыто и возобновилось только благодаря льготному разрешению пользоваться лесами монетного двора, когда-то существовавшего в Екатеринбурге... Уже стемнело, когда мы проезжали по широким улицам этого завода, который по величине своей побольше иного города. Вон яркое пламя блеснуло нам навстречу. Оказалось, что его выбрасывала домна, выбрасывала вверх, выбрасывала в круглые окна, выбрасывала еще в открытое устье печурки, откуда лилось в это время поспевшее чугунное молоко.

– Поклонитесь! – схватил меня за плечо спутник.

– Что такое?

– А как упадет! – расхохотался он, показав на наклонившуюся в нашу сторону массу Невьянской башни.

Наскоро переодевшись, мы отправились к управляющему заводом Салареву. В первой же комнате навстречу нам вышла такая красавица, какой, признаюсь, и в Петербурге мы не видали. Оказалось – дочь хозяина. Прелестные серые глаза весело смотрели из-под красиво очерченных бровей, тонкий овал лица с безукоризненным носом и артистически вырезанными губами поражал своим изяществом. Масса белокурых волос на голове была заплетена в две низко падавшие косы. Стройная как пальма, она, казалось, не шла, а скользила нам навстречу.

– Папа сейчас выйдет.

Мы не нашли даже, что ответить благодетельной фее этого замка. Иначе не знаю, как и назвать старинную постройку, всю покоившуюся на громадных арках. Комнаты были устроены с самыми различными фокусами акустического свойства. При всей их величине шепот в одном углу слышался в противоположном. Тотчас на столе явился самовар, а вслед за тем вышел и хозяин, в высшей степени приятный, милый и радушный человек.

Невьянск в 1698 году подарен Петром Великим туляку Демидову. Тогда этот участок был великолепен только глухими лесами, но от него теперь остаются редкие клочки. Сто восемьдесят тысяч десятин, составляющие здешнюю заводскую дачу, вырублены дотла, и, как я уже говорил, завод существует только благодаря разрешению пользоваться лесами бывшего монетного двора. Из них ежегодно должно вырубаться не менее двадцати одной тысячи кубических сажень с уплатою за каждую тридцати копеек. В силу этого только и держатся еще доменные печи и старое кричное производство в Невьянском и лежащем к северо-востоку от него Петрокаменском заводах. Кроме этого здесь добывается золото и на приисках, и старателями, которые за три последних месяца сдали его четыре пуда и получили по два рубля за золотник. Саларев первый поднял плату старателям на Урале. До него их притесняли, брали металл по произвольной цене, но он стал сейчас же на их сторону, и первым его делом здесь был подъем рабочих цен и вознаграждение за промытое вольными артелями золото. Чтобы окончательно разделаться с цифрами, мы приведем здесь некоторые.

Железа полосового на Невьянском заводе готовится до 300 000 пудов; добыча золота колебалась от семи до 33 пудов в год. За последние годы она колебалась между 12–26 пудами, а в следующий 1877 год Саларев ожидал 30 пудов. Невдали от Невьянска находится самый лучший прииск Быньговский. Когда сократили деятельность завода, за недостатком лесов, то не оказалось надобности в пруде, воду из которого и спустили; обнаружилось ложе реки Нейвы, и самое дно пруда по исследовании найдено золотоносным. Сейчас же промыли до семи пудов драгоценного металла, а теперь собираются шурфовать всё ложе реки. Не везде, впрочем, поиски были сразу удачны: в верхней части Быньги израсходовали много денег, но не нашли ничего; хотели было совсем уже оставить дальнейшие изыскания, как одним шурфом наткнулись на богатейшую россыпь, которая в первое же время дала до одиннадцати с половиной пудов золота, промыв для этого до 2 153 800 пудов земли. Всего же на Невьянском заводе с 20-го года нынешнего столетия по 1876 год добыто ни мало ни много как 1 000 пудов этого металла. Насколько

новый прииск оказался богат, видно из сравнения с другими. Например, на Золотоключевском на 2 321 400 пудов песку пришлось только два пуда два фунта четырнадцать золотников металла.

На 180 000 десятинах этой дачи разбросано 44 селения с тремя заводами, в том числе населено здесь 33 000 душ, которым надо выдать из местных лесных участков, еще уцелевших кое-где, от семи до 8 000 кубических сажен дров. Таким образом, заводы не пользуются вовсе этими жалкими островками леса, предоставляя их крестьянам. По административному распоряжению горного управления ближе пяти верст к деревне лес рубить нельзя. Если взять циркуль и по радиусу в пять верст очертить им деревни, то круги все найдут один на другой. Таким образом, мудрое распоряжение, если бы его стали исполнять, выселило бы всех крестьян отсюда. Из 33 000-го населения на заводах и рудниках работают только 2 200 человек. Остальные частью живут хлебопашеством. Запашки здесь большие. От Невьянска до Петрокамнска на десять верст идут сплошные посеы ржи, овса, ячменя и немного льна. Остальная масса крестьянства живет извозом и работами на здешних кожевнях, салотопнях и других фабриках. Здесь выделяется винтовка, сундуки, разные железные вещи – и во всём замечается одно: промышленность развилась бы удивительно, так же, пожалуй, как в Кунгуре, если бы только не ощущалась постоянная, страшная нужда в топливе. Много местной руды – бурого железняка – остается невыработанной вследствие этого, хотя она содержит в себе сорок пять процентов чистого металла такой руды; запас громадный – но ничего с ней не поделаешь, потому что нет леса, а леса нет – и дела нет.

Я заинтересовался, как и везде, рабочими ценами, и оказалось, что мастера здесь получают на железном заводе до сорока рублей в месяц, подмастерья тридцать пять рублей, работники двадцать рублей. Поденно платится по сорок копеек, и только для плотников – от шестидесяти до одного рубля сорока копеек.

## **LVIII. Падающая башня Невьянска. – Как Демидов чеканил в ней серебряную монету. – Местные компрачикусы**

С Невьянской наклонной башней связано много преданий. В ее подземельях и народ топили, в ее закоулках людей замуравливали, в ее черных казематах и застенках держали вредных и опасных супротивников. Правда ли это или нет – стены не расскажут никому; на каменных полах не проступает кровь, когда-то пролитая. Царство призраков стало уделом сказок; видения уже не являются любопытному туристу со сказаниями о тайнах и ужасах, когда-то совершавшихся под этими мрачными, тяжелыми сводами. Легенды остались в народной памяти, и народ упорно связывает их с этой старой башней; народ говорит о ней то, что не скажут выходцы с того света, народу каждое пятно на этих онемевших стенах кажется следами убийств,

каждый загадочный шум в стене – стонами когда-то замученных в каменных мешках жертв; вой в верхних галереях – воплями их: «В подвалы-то уже лучше и не ходите! Там страхи». Расспросите, какие страхи, оказывается, что белое мелькает в воздухе, чудятся скелеты, цепляющиеся по стенам, как цеплялись они, когда вода заливала эти подземелья; слышится стук костей по углам и традиционное бряцание цепей. В действительности, время для всех этих ужасов было удобное. И разумеется, бесцеремонные потомки тульского кузнеца Никиты Демидова не особенно стеснялись в тех случаях, когда надо было им отделаться от непрошенного свидетеля и его обличителя. На Урале всякий мальчик порасскажет вам о делах того минувшего несчастного времени, которое до сих пор многие считают чуть ли не золотым веком. Для барства – пожалуй, а для народа век этот был веком железным в полном смысле этого слова. Говоря о Тагиле, я расскажу, что здесь творили Демидовы и другие уральские сатрапы в период полной безнаказанности, когда, помимо их произвола, не было никакого иного закона, когда молчание рабов не смирало злых инстинктов отупевших от оргии господ, а только разжигало их; когда в каждом крошечном владельце уральского участка таился маленький Нерон или Тиверий.

4 марта 1702 года Петр Великий отдал Невьянск и другие Верхотурские заводы тульскому кузнецу Никите Демидову. Умный и деятельный сын его Акинфий через двадцать три года после этого построил башню, в которую мы входим теперь; стал основывать множество других заводов на Урале и даже простер свою деятельность за сибирские пределы. В Томской губернии он открыл богатые серебряные и медные руды, ранее даже возведения Невьянской кампаниллы. Множество поставленных им небольших заводов с плавильными печами добывали в Сибири черную медь и в таком виде доставляли ее в Невьянск. В металле, выплавленном таким образом, оказывалось значительное количество серебра, нужно было отделить его, но, по закону того времени, частные люди не имели права делать этого, тем более обращать в продажу золото или серебро. Демидову оставалось заниматься своею алхимией тайком, и хотя он у себя был царем, хотя произволу его здесь не было предела, но этому кузнечному монарху приходилось помнить, что под боком у него в Сибири начальник тамошних заводов Татищев, злейший враг невянского самодержца, спит и видит изловить его на чем-нибудь и затем погубить. Времена были неустойчивые. Сегодня – Нерон, а завтра Нерону рвали ноздри, били батогами нещадно и ссылали в Сибирь, в Березов. Нужно, оказывалось, держать ухо остро и не попадать в лапы к сторожившей его кошке. Враги стоили один другого. Оба способны были на всё. Тут и подлог, и шпионство считались средствами самыми невинными. Бился, бился Демидов да и надумал для скрытого, потаенного производства своего построить башню. Живо согнали народ отовсюду, из далеких имений привели сюда сотни каменщиков, и через два-три года она была готова. На восточной стороне этой громады Демидов построил лабораторию, вырыл подземелье высотой в рост человека, однако показалось мало – рядом устроил другие, и тут в вечном мраке, скупно озаряемом слабым светом лампад и огнями плавлен, начались таинства отделения серебра от меди. Потом и этого ему показалось мало; скрытыми

подземными ходами он соединил мастерские со своим домом, из-под башни продлил черную жилу к домне, от домны – под то место, где стоит нынешняя полиция; тут он устроил тоже «химическое дело» какое-то – по одним, чеканку серебряной монеты – по другим. Затем эту артерию повернул назад и закончил вновь выходом к себе. Когда всё это было готово, нужно, оказалось, начать дело. Взять в вечный мрак подземелий вольных рабочих либо своих крепостных – неосторожно; у них останутся семьи, может всё выйти наружу. И вот по Уралу прошел слух, что Демидов принимает к себе всех беглых. Каторжник, просто ли ушедший от хозяйской кабалы крепостной или бродяга – всё равно. Им находилось дело в Невьянске. Они потянулись туда отовсюду; их запирали в подземелья, кормили там и заставляли работать над плавкою металла. Если не было никакой опасности, по окончании урочной работы их выпускали; если же часы с курантом, устроенные на вершине башни, играли сигнал, показывающий что-либо сомнительное, бродяги оставались в своих норах. Расправа с ними была короткая. Их запарывали до смерти, забивали. Всё равно жаловаться не пойдет никто – родные его Бог знает где!.. Раз, когда о деяниях Демидова дошла весть до столицы и сюда выслали следственную комиссию, то, чтобы не было следов преступления, открыли шлюзы из ближайшего пруда и затопили всех червей, копошившихся в этом гнилом подземелье. Отделенное от меди серебро продавать нельзя было – не бросать же его так. Организовалась чеканка монеты. Делались здесь, в этих подземельях, настоящие рубли, случалось даже несколько высшей пробы, чем государственные. Сотни доносов сообщали об этом Петербургу – но Демидовы были там слишком сильны. Рассказывают, что императрица раз, играя с Акинфием Демидовым и придвигая к себе горсть серебра, выигранного ею, спросила его:

– Чьей работы – моей или твоей?

– Всё твое, матушка, и мы твои, и работа наша твоя, и всеми нашими животишками тебе кланяемся.

Уклончивый ответ Демидова очень понравился императрице, и близкие ей так прямо писали Демидову: «Обездомили мы и обедняли, пришли-ко нам твоих рублей».

Таким образом, самодержец Урала стал чеканить свою монету и наводнять ею весь восток России. Государственный монетный двор иногда не выпускал ее столько, сколько Демидов. Некоторое время даже Демидов перестал стесняться, потому что, задумывая новую войну, императрица спросила его:

– А сколько ты дашь нам своих рублей?

– А сколько прикажешь, матушка, столько и нарботаем! Нам твоя милость дорога...

Полиция была безгласна, как безгласна она и теперь. Вся ее деятельность обрушивается на мелкую сошку, на жалкую плотву, а осетра и белугу она не трогает. Живоглоты того времени все существовали благодаря Акинфу Демидову и были скорее его холопами, чем государевыми слугами.

Из рассказов, подтвержденных потом многими, оказалось, что здесь немало всяких «креолов и метисов». Тагильское население – это сумма всевозможных племен, потому что Демидовы посылали сюда крестьян отовсюду.

Малороссы, латыши, пермяки, белорусы, поляки оказывались здесь, потому что сначала их нанимали, а потом записывали в крепостные. Один раз Демидов-царь послал учителя из шведов за чем-то в Тагил, а там его взял да и вписал в число своих крестьян. Таким же образом сюда попало много французов и немцев. Писарь, делая перепись, идет под окном. В окне французенка с сентиментальным романом в руках. «Как вас зовут?» – «Мадам Шарон». Он и записывает Шаронову, которой потом объявляют, что она числится крепостной. Немец механик явился сюда учить чему-то, какому-то усовершенствованию производства. Не понравился владельцу – тот и велел отодрать его. Немец с жалобой – Демидов приказал ответить, что это его собственный крепостной человек, Иван Жидкин, посылался им за границу для обучения, и документы представил. Время для таких козырных тузов было вольготное, и процесс кончился тем, что добродетельного германца велено было наказать за ложный донос. Готовились уже шпицрутены, но «преступник» не дождался их – повесился в тюрьме. Тысячи мрачных рассказов ходят о тех временах дикого самодурства и беспощадной расправы. Так, например, один из владельцев привез к себе французенку, та пожила два года, и, когда дикарь-любовник раз отвозил ее кнутом из собственных рук, она заявила, что завтра же уезжает домой в Париж. Но Париж ей не пришлось видеть. Ее высекли «при заводе» и выдали силою замуж за какого-то рабочего пьяницу. Зато когда через два месяца несчастная умерла от побоев, над ее прахом воздвигнут был богатый памятник с плачущим ангелом и барельефами. Процессы по этим случаям тянулись бесконечно долго. Некоторые дошли даже до эпохи освобождения. Крепостные зачастую посылались учиться за границу. Таких выбирали из наиболее способных. Развившись и приобретя знания, несчастные женились на французенках и немках. Каково было положение последних, узнававших по прибытии на место родины, что они супруги крепостных и сами крепостные! Последнее, может быть, и не по закону, да законом в то время была воля владельца или каприз его опричников. Сколько драм совершилось здесь в эту мрачную эпоху! Даже оставшиеся холостыми и возвратившиеся из Парижа в Тагил крестьяне быстро спивались с кругу. Между ними и безграмотными крепостными никакой разницы не делалось, и как для тех, так и для других были зуботычины, розги, кнуты, шпицрутены и прочие прелести этого тяжелого времени. Но вернуться назад нельзя было. Мсть опричников обрушивалась на отца, мать, на сестер, братьев; поневоле приходилось приезжать с повинной. Практиковавшееся и в других местах обыкновение выдавать замуж местных девушек по назначению владельцев здесь еще сопровождалось весьма приятным для его опричников правом первой ночи. Сверх того, иногда они задавались целями еще неизвестного в то время естественного подбора. Сильных парней женили на здоровых девушках, брюнетов на брюнетках, долгоносых на долгоносых, идиотов на идиотках; всё остроумие подобных браков заключалось в качестве приплода. Доходило до того, что бабу, не рожавшую ребят, пороли, чтобы она их рожала, а мужа ее секли кнутом. Розги считались ни во что: как соль ко щам. Варварство шло еще гораздо дальше: в Невьянске жгли людей, обкладывали их сеном и запаливали его. Владелец занялся выделкой фальшивой монеты. В его под-



валах несколько сот народа работало над этим делом. Как снег на голову нагрнула комиссия, но ничего не нашла. Демидов приказал открыть шлюзы, и вода залила подвалы, похоронив несчастных. На Алтайских заводах Демидов чеканил серебряную монету из своего настоящего серебра. В числе служащих у Демидова был саксонец. Раз строптивного немца он угостил оплеухами, говорят, даже высек. Тот поехал в Петербург, посулил открыть государыне всё, что творится у Демидова. Прикончить доносителя оказалось нельзя, у него в Питере были кое-какие связи. Демидов приказывает его задержать и сам едет в столицу. Елисавета Петровна его приняла тотчас же.

– Матушка-императрица, очастливь! Возьми от меня в дар Алтайские заводы. Я тебе и серебра начеканил там, из усердия и ревности к твоим выгодам.

Алтайские заводы приняли с радостью, Демидова поблагодарили, а когда выпущенный им немец, наконец, приехал в Петербург с жалобой, то с ним никто и разговаривать не хотел. Стал он ходить и надоедать властным людям, и состоялось распоряжение, в силу которого беспокойного немца под стражей вывезли за границу да там и бросили на произвол судьбы. Но варварство заходило еще дальше. О владельцах Невьянских заводов рассказывают ужасы. Отказываешься верить этой жестокости, достойной Нерона. Людей не только гноили в тюрьмах, засекали, умерщвляли пытками – их жарили в масле, сжигали в их собственных избах. Раз несчастные крестьяне послали ходоков в столицу – этих выборных перебили в лесу всех, кроме одного, которого привезли в село и публично секли кнутом в течение двух недель ежедневно, пока мученик не умер от истязаний. Из самых пустяков часто совершались чуть не убийства. Во времена оны Демидовы сами жили здесь и входили во всё. Так, например, осталась целая собственноручная переписка одного из Демидовых по поводу трех фунтов свеч, излишне выведенных в расход одним из заводов. И по поводу этих трех фунтов сколько было пересечено народа – ведает один Господь! Рассказывают о том, как замазывали в каменные стены людей, оставляя самые незначительные отверстия для дыхания, чтоб дольше не умирали несчастные. Раз один рабочий, жестоко наказанный кнутом за то, что хотел защитить сестру от насилующего ее опричника, бежал в пермские леса. Владелец недолго думал, что делать. Он без церемонии схватил дряхлую мать его и замуровал ее в стену, оставив окошечко, сквозь которое ей подавали пищу.

– До коих пор держать ее? – спрашивали у него.

– А пока сам беглый не явится.

Через два месяца сын явился. Старуху выпустили, но она оказалась сумасшедшей. На ее место замуровали сына и держали там полгода. Какое железное здоровье нужно было, чтобы выдерживать подобные казни. В данном случае всего характернее то, что изнасилованную девушку высекли тоже.

– А ее за что?

– Чтоб духа этого не было. Чтоб страх знала!

И рядом с этими самодурами здесь жили люди, получившие образование, даже разрабатывавшие историю края, описывавшие его. Писателя такого рода обыкновенно призывали к владельцу.

– Ты это представил ко мне то-то и то-то?

– Я.

– Молодец. Хвалю. Труд твой я в архив велю сдать, пусть лежит.

В виде поощрения меценат Демидов выдавал местному историку рюмку водки и полтину денег.

Это, впрочем, не отучило пермяков работать. Более преданных своему краю людей я встречал очень редко. Они до сих пор записывают легенды, сказания, ведут дневники, исследуют фауну и флору Урала, не щадя издержек, зная хорошо по прежде бывшим примерам, что из этого ничего не выйдет. Лет двадцать тому назад здешний кассир Шорин и учитель Рябов сделали археологическую экскурсию в Верхотурском уезде; они нашли там множество развалин и камней с надписями, разрыли старинные могилы, откуда взяли оружие и разные вещи. Составили альбом рисунков всех этих предметов и вместе с описанием послали одному из петербургских академических немцев – дядюшке Фуссу. От него, разумеется, они никакого ответа не получили. Фусс всеми этими изысканиями не воспользовался, и где они находятся – никому неизвестно. Из другого завода тоже в академию были посланы сборники, разумеется, рукописные, местных пословиц, характерных песен, сказок и легенд, словарь особенностей языка; и всему этому – результату более чем двенадцатилетнего труда – не суждено было увидеть света. Вообще, в этом отношении Петербург редко приходил на помощь местным деятелям. Одному из наших ученых были доставлены местным ботаником Ростовым целые тетради его исследований и наблюдений, и что же: они попали в сочинения первого, но даже ссылки на скромного уральского труженика знаменитым автором сделано не было вовсе. Учатся и работают здесь, несмотря на все препятствия, которые ставит столь пагубному движению умов губернская администрация. Для нее гораздо лучшим является, например, «Билимбай – вора рай» или другие местности, где изголодавшемуся населению некогда и думать о книге. Знаете ли вы, что у нас в Российской империи, например, существуют не одна, а несколько цензур? Так, например, если в Петербурге какая-нибудь книга разрешается к обращению, из этого вовсе не следует, чтобы она была разрешена и на Урале. В Нижнем Тагиле ранее столицы запрещено сочинение Флеровского, и потом губернатор Чарыков взял да и изъясил его из магазинов по всему Уральскому округу. Зачастую, просто по капризу властей, отбираются те или другие книжки журналов. Чарыков, например, до того дошел, что запретил заводоуправлениям читать народу изданные отдельно и совершенно уже благонамеренные лекции комиссии для народных чтений. Учитель, выписавший для этого «Фонарь» объяснительных картин, подвергся целой массе неприятностей и прослыл человеком крайне подозрительным. В это же самое время на Урале была не дозволена пьеса «Десять невест», потому что местным властям содержание ее показалось безнравственным. Антрепренер побился, побился, видит, что ничего не поделаешь, и перекрестил пьесу в «Десять жен». Под видом новой пьесы представил афишу оной, и тогда власть нашла возможным разрешить ее. Почему «Десять жен» являлись нравственнее «Десяти невест» – это тайна пермской администрации. Потом та же история повторилась со многими другими пьесами. Под одним названием она запрещается, под дру-

гим разрешается. То же самое с книгами. Даже глупейшие издания Мухиных, Манухиных, Феропонтовых, Земских и т. д. подвергались остракизму. «Черный гроб» браковался, «Кровавая звезда» поощрялась, «Таинство любви» находили безнравственными, но «Океан страстей» пропускался и т. д. в том же роде. В Ижевском заводе, например, при Чарыкове открытие читальни и библиотеки не было разрешено, а раньше существовавшие закрыты. Не одна губернская власть, но и отдельные заводууправления являлись любителями-цензорами. Они запрещали в своем районе ту или другую книгу, газету, журнал. Руководили даже вкусами читателей своих, находя, например, Некрасова не соответствующим, а какого-то неведомого никому поэта Звонарева прекрасным. Нечего и говорить, что при таких условиях положение корреспондентов было не совсем безопасно; и во всей остальной русской провинции нельзя сказать, чтобы толстокожее население носорогов и бегемотов питало к ним нежные чувства, а здесь и подавно. В этих захолустьях гоголевские почтмейстеры сами полагали предел литературным занятиям местных публицистов. Дело здесь привыкли вести начистоту. Уральские цензоры, обуреваемые жаждой к просвещению, лишь только примут какое-нибудь письмо пообъемистее или по адресу редакции, бывало, сейчас же вскроют его и прочтут, а затем следуют «мероприятия»: если литературное произведение местного обывателя оказывалось не обличительным, то оно просто предавалось сожжению, а если в нем изображались местные ископаемые, как расплюевские поросята, во всей их неприкосновенности – то о сем опекуны доносили в губернаторскую канцелярию. И корреспондентов прекращали.

– Как прекращали?

– Так, ежели служащий – то по третьему пункту, а не служащим объявляли запрещение писать с отдачей под надзор полиции или без этого.

За что тут еще несколько лет назад страдали люди, поверить трудно.

На одном из заводов захотели устроить спектакли. Конторщики поставили несколько пьес А. Н. Островского и А. А. Потехина. Не прошло после того и месяца, как разразилась гроза. Из Перми явился губернаторский чиновник. Оказалось, что в данном случае спектакли были приравнены к незаконным сборищам. Двое бедняков должны были оставить службу, остальным сделано внушение. Один из первых явился в Пермь с жалобой.

– Да ты актер, что ли? – спрашивает его губернатор. – Каждый должен быть при своем занятии. Актер – играй, рабочий – работай, конторщик – пиши по службе.

Так «Любима Торцова» и оставили без куска хлеба.

Но возвращаюсь к описанию башни.

Внизу сырой каземат какой-то – мрачный, как в то время, когда его построили.

Сквозь заматовевшие стекла солнечные лучи как-то робко, нехотя проникали в эту сырую атмосферу и, скользя по старым комнатам стен, точно пугаясь, замирали в углах. Лестница с расшатавшимися каменными ступенями шла вверх. Каждый шаг мой болезненно звучал по ней. Отзывались им стены, эхо доносилось до каких-то таинственных закоулков, кажется, что даже в таинственных подземельях внизу звучали глухие вопросы: кто там?..

Второй каземат поменьше первого. От него опять такая же лестница вверх. Вся эта каменная масса точно давит вас, груди дышать тяжело. Чудится, что в этом воздухе застыли испарения крови. Кажется, что он, не всколыхнувшись, застоялся со времени последнего злодеяния, совершенного под этими сводами. И действительно, глядя на эти слоями пыли покрытые бойницы, не верилось, чтобы открывались когда-нибудь пропустить живительную свежую струю ветра, привольно дующего с грозных вершин Урала сюда, в эти молчаливые долины. Вверху пришлось уже цепляться по лестнице, на которой ступени провалились. Точно в живом теле зияли раны. И только дойдя до конца, мы увидели солнце и голубое небо; прямо в лицо нам повеял несколько холодноватый, бодрящий воздух уральской осени. Нам показалось, что вместе с этой башней мы плывем среди необозримого пространства, плывем с этими синими вершинами, что окаймили горизонт, с их резкими и могучими массами к этому берегу, где, наконец, остановится наш каменный корабль. Ветерок играл зыбью, едва-едва бегущую по светлому пруду над прихотливыми извилинами Нейвы, над кровлями бесчисленных домов и заводов... И вместе с нами плывет вся эта освещенная солнцем окрестность, все эти церкви, здания, поля и луга... Недвижны только одни горы на рубеже видимого простора. В сумрачном величии виднеется их берег и ждет нас, ждет смелых пловцов, несущихся к нему. Мимо меня прорезали воздух ласточки... Тяжело взмахивая крыльями, пронеслась какая-то темная птица. И опять тишина, опять спокойствие нерушимое. Мертвые внизу спят в своих подземельных мешках и застенках, а сама эта башня кажется мрачным памятником, воздвигнутым над их могилами. Безмолвные свидетели опять до поры до времени. Придет пора, когда и они откроют свои незрячие очи. И где тогда будет тот, кому история предъявит иск по неоплаченному старому долгу... Она не знает прощения, не знает пощады. Сотни лет пройдут незаметно, семя, брошенное в будущее злым поступком, зреет долго, но верно. Тут не бывает неурожая. Из зерна идет росток, из ростка когда-то во Франции поднялась гильотина. Какая жатва будет у нас?

– Вы знаете, почему по народному толкованию покосилась эта башня?

– Почему?

– Видите, грехов в ней много. Потому и осела она.

Она сделала наклон на юго-запад на два с половиной аршина при высоте в двадцать восемь сажен.

– А рухнет она тогда, когда на потомков Демидова оправдается библейское изречение: око за око и зуб за зуб! Тогда в ней и надобности не будет.

А пока стоит этот покосившийся мавзолей, эта каменная летопись убийств и преступлений! Пока молчат его камни, молчат его казематы и подземелья!..

Когда мы проходили под стенами внизу и видели наклонившуюся над нами эту массу – становилось жутко поневоле. Так и казалось – сдвинется она с места и рухнет вниз, похоронив и нас под своими обломками.

Около башни – памятник Яковлеву.

Гранитный пьедестал поддерживает второй из синего мрамора; на нем черная чугунная колонна с бюстом Яковлева; сверху крест едва держится, так и кажется, что он слетит. На синем мраморе бронзовый дубовый венок.

Кто-то нацарапал на мраморе юмористическую надпись: «Почтенному предку безутешные потомки». Потом, говорят, эта надпись была стерта.

Ужасное уныние придает окрестностям Невьянска отсутствие леса.

Ни садика, ни рощицы – всё голо, как голова совсем оплешивевшего старика.

– У нас чудесная рощица тут была, у самого города. Все туда ходили гулять.

– Куда же она делась?

– И место было славное, красивое; тени много, вода шумела, сквозь листья едва солнце пробивалось. У нас тогда управлял заводом Печаткин. Ему долго мозолил глаза этот последний остаток старых невянских лесов. А как освободили крестьян, Печаткин сейчас же велел наголо вырубить всю эту рощу.

– Зачем?

– Чтоб никому не доставалась... Пусть, говорит, под солнцем на лысине гуляют.

Когда я проезжал около – одни безобразные пни сиротели на месте, где еще двадцать лет тому назад шумели вершины толстых старых деревьев. По величине этих пней видно, какие это были почтенные ветераны прежних невянских лесов.

– Дивно (много – на местном языке) тутотка было прежде. Всё порубили да сожгли. А то и на сторону продали. Теперь и бедуем!

Тут еще и не такие дела были. У одного завода недалеко отсюда стояла роща. Да тоже управляющий вырубил. Как вам кажется зачем? Чтобы лишить возможности укрываться от работы крестьян того времени. А то вот и еще компрачикос – он снес прелестный бор, куда ходили гулять окрестные крестьяне.

– Для чего?

– Для трезвости! Потому, случалось, крестьяне туда водку носили.

Третий распорядился с эстетической целью. Роща, видите ли, мешала красоте окрестностей. Невольно вспоминается при этом рассказ об управляющем одним из северных заводов. Около него был старый выхоленный сад. Он его снес под корень. Жена, видите ли, у него была легкомысленная, так чтобы поменьше оказывалось удобных мест, где бы она могла шалить!

– У нас народ умный, всегда глупость сделает! – сообщили мне здесь по этому поводу.

## **ЛIX. Золотое дно. – Болотокмочевский и Быньговский прииски. – Коннозаводская баба. – Рогожин**

Мы поехали на Болотокмочевский прииск, т. е. в местность, где прежде находился громадный пруд, по величине подходящий к озеру. Как я уже говорил выше, его спустили и на дне нашли много золота как по ложу реки Нейвы, так и в самых обнажившихся таким образом берегах ее. Новое русло Нейвы прорыто в стороне.

– Это наш Суэзский канал! – улыбнулся Сомров, показывая мне свою работу.

Прииск в самой долине. Кругом вершины Урала, точно они надвигаются на нее отовсюду... В мгlistое время почудится, что кругом прииска не каменные горы, а обложили его тяжелые массы непроницаемых туч. Зато внизу кипит и шибко бьется всеми своими бесчисленными пульсами упорный труд человека. Вокруг, на старых берегах осушенного озера, вся местность изрыта оставленными работами. Деда рылись здесь целое столетие, собирая золото с поверхности, дети их углублялись в почву аршина на два и считали это громадным трудом, теперь идут на двенадцать и на пятнадцать аршин вниз...

Искусственное новое русло Нейвы дает ту массу воды, которая необходима для промывки золотоносных пород.

– Теперь отправимся на Быньговский прииск, там вы увидите самую вымывку золота.

Он помещается недалеко. В нем триста восемьдесят шесть человек ежедневно промывают семьдесят тысяч пудов земли, добывая из них по восемь фунтов золота.

Мы вошли в заводские каморы; у стен устроено нечто вроде наклонных корыт, где промывается песок. В эти плоскодонные посудины длинными ковшами сбрасывают сверху породу. Стоя по щиколотку в воде, голоногие бабы гребком, или, по-местному, пехлом, передвигают вверх и вниз сброшенную массу по дну вашгерда. Золото остается в верхней части, а пустая порода отделяется на другой край вместе с камнями.

– Какие сильные рослые бабы, – невольно заметил мой спутник.

– Это наша порода. Демидов здесь перемешал чуть ли не все племена земные, оттого и получились такие патагонки.

Нужно признаться, что патагонки эти помимо своего роста были очень красивы. Свежие здоровые лица с черными глазами, высокие груди, порывисто дышавшие на тяжелой работе, сильный склад хорошо обрисованного тела...

– Тут ведь как бывало, во времена оны: нарочно рослых на рослых женили для приплоду.

– Совсем как на конских заводах!

– В старое крепостное время занимались этим.

– Много ли они зарабатывают здесь?

– Наша баба – наживчица. В других местах ей и двадцати копеек в день не получить, а тут весь полтинник. Сработает она столько же, сколько и мужик.

Три бабы, стоявшие около, были как на подбор красавицы, несмотря на грубую работу и грязные руки. Еще бы: им постоянно приходится иметь дело с мокрой землей. Илья Ильич Обломов, наверное, обратил бы свое внимание на удивительные локти этих амазонок золотого дела. Одна из баб, разбивавшая попадавшие в вашгерды камня, наклонилась и ловко, привычным глазом заметив сразу, ловко выхватила из массы кусок кварца, прикинула его весь на руке и подала управляющему.

– Что это? – спросил я.

– Самородок.



При мне потом золото освободили от кварца, и оказалась лепешка в тринадцать золотников почти чистого металла.

Потом мы перешли в другое отделение золотопромывален.

Сюда уже попадает заполоск, т. е. остатки от промывки на главной машине. Они были пропущены там, и через грохот попадают вниз на вашгерды.

– Ему милости нет? – смеется коннозаводская баба около.

– Кому ему?

– А золоту-то. Его, как зайца баре, в семи водах моем. Там его умоем, здесь вымоем да еще и после подмоем... Чистое оттого и прозывается. Бывает, что уже совсем вымоют землю, а старатели берут и еще раз ее пропускают в своих матерах.

– Это что за матера?

– Тот же вашгер, только поменьше и ручной.

В вашгердах, когда пехлы или гребки сделают свое дело, бабы берут дощечку разбегалку и собирают ею породу, слегка разбрасывая золото в медленно текущей воде. Вода уносит посторонние частицы, и на дне вашгерда образуется легкий желтый налет. Той же разбегалкой отделяются камни помельче, взвешиваются и пустые сбрасываются вниз, к пустой или выметанной породе. Самое торжественное молчание царит здесь. Можно подумать, что под этими сводами совершается какое-то таинство. Внимание работниц напряжено до последней степени. Слышится только журчание воды, пробегающей по дну вашгердов, да поскребывание гребков и разбегалки.

– У нас как в церкви!

– Золото крестим. В воде тоже! – замечает баба, выходя отдохнуть из своего отделения.

– Только крестным матерям ничего не достается! – заметил я, глядя на латунные сережки у ее ушей...

Золото под руками, кажется, а приходится довольствоваться медью.

Вместе с золотом осаждается на дно вашгерда и шлих, т. е. железные частицы в виде мельчайших опилок.

Я это заметил только тогда, когда баба при мне вооружилась громадным магнитом.

– Это еще что?

– А вот козлиц от овец отделять будем сейчас, – заметил управляющий.

К первой бабе присоединилась другая, и они, нагнувшись головами одна к другой, самым старательным образом медленно начали помешивать золото магнитами. Разгонка шлихов была успешная, скоро на концах магнитов образовался серый налет. Желтая масса золота заблестела. Третья патагонка щеточкой стала сметать его в одну кучу.

У старателей промывка идет несколько иначе.

Они над своими матерами устраивают железное и частое решето, на него валят породу и насосом гонят воду. Две бабы разбивают под водой лопаточками землю, а третья греблом передвигает падающую породу. На дне вашгерда у старателей часто остается ртуть, соединяющаяся с платиной и золотом.

Золото собирается на железный обрез. Обрез подставляется под струйку воды, по нему двигают щеточкой, которой сгребали золото в вашгерде. Если

в ее щетине осталось золото – оно упадет вместе с тем, которое на обресе в ковше. Из ковша оно всё поступает в ступку. Тут его толкут, тоже наполняя посудину водой; глинистые частицы, еще содержащиеся в золоте, при этом соединяются с водой. Потом умытый таким образом металл опять сбрасывается в вашгерд, где опять идет его ручная «переметка». Только после этой, не знаю счетом какой перемывки, золото получает название крупки и из воды попадает прямо в полымя. На железном ковше его ставят в жаровню, раздуваемую мехами, вода при этом испаряется – золото остается чистым.

При мне в таком ковше высушили два фунта драгоценной крупы.

– Не хотите ли такой кашки! Это уральское просо... – шутили рабочие.

– Что мы за повара! Даже пробовать не дают, каково-то на вкус.

– Да уже чего говорить... Скусна, без масла и то бы взял!

– Подавишься!

– Будь спокоен... Слопаем. Дай только.

Разумеется, при всех золотопромывочных операциях принимаются предосторожности, предупреждающие всякую возможность похищения золота.

Мы двинулись к дверям, когда навстречу нам показался высокий сгорбленный старик.

– А, Иван Павлович! – приветствовал его мой спутник. – Это наша знаменитость, – шепнул он мне.

– Кто такой?

– Рогожин. Старатель; он за всю жизнь перемыл более пятнадцати пудов золота один. Получил за это до пятидесяти тысяч рублей.

– А теперь?

– Теперь, разумеется, нищий. На железном деле еще удается откладывать, а золотоискатели все наши кончают сумою. Таково роковое влияние этого металла. Все они ничего не имеют. То же и Рогожин.

Я вспомнил старика Жмаева, этого гениального «сыщика» золота, если можно так выразиться, открывшего сотню богатых россыпей, сделавшего десятки людей миллионерами и приютившегося теперь из милости в березовском заводе у Фохта!

Действительно, приходилось согласиться с тем, что в добывании золота лежит что-то роковое... Совсем как по поверью: клады, зарытые убийцами со страшными заклятиями и зароками. И опять эти жалкие промытые горсточки драгоценного металла возбуждали во мне печальные, скорбные мысли. Сколько прольется крови, будет совершено низостей из-за этой ничего в экономии природы не стоящей крупы, которую сквозь десятки вашгердов промыла, как зайца, красивая, сильная заводская баба!..

И недаром пришла мне на память одна уральская легенда.

– Знаете ли вы, что такое золотая жила? – рассказывали мне.

– Ну?

– Когда святые люди загоняли чертей в ад, так они уходили туда сквозь гору. Ну так это следы их остались тут. А золотая россыпь – где от креста черти рассыпались прахом...

Легенда права, если судить о свойствах золота по странному его влиянию на род человеческий.

Золотоносный песок доставляется сюда на тележках, по сорока пудов груза в каждой. Лошадь с хозяином и гонщиком оплачивается в день тремя рублями. Труд этот самый мучительный, потому что бедному коню только приходится целый день въезжать на крутую гору и спускаться по ней. Тем не менее на это является много охотников. При каждой тележке должен быть накладчик и гонщик. Первый – взрослый, второй – малец. Большей частью идут на такой промысел отец с сыном или муж с женой. Мы еще издали слышали болезненное скрипение колес, неистовые крики, ободрявшие спотыкавшихся и изнуренных коней. Стон стоит над этим. Самая страшная, в полном смысле слова египетская работа – это отвозка эфеля, т. е. промытых песков. Осенью ребяташки, даже тринадцати-четырнадцати лет, исполняющие эти уроки в мокроте, в грязи, зачастую убегают домой, и не заманишь их тогда на работу, несмотря на высокую для подростков плату шестьдесят копеек в день. Отсюда тифы, лихорадки.

– Действительно, страшное дело! – замечает Сомров.

– Что же, разве нельзя как-нибудь облегчать его?

– Отчего же. И мы придумали устроить рельсы, будем по ним отвозить этот песок в ямы... Станет легче.

Станет легче! Когда рабочему будет легче? Всегда и везде жалкий грош свой мы добываем ценой нечеловеческих усилий. Свое здоровье, здоровье своей семьи тратятся человеком на возможность только сегодня не умереть с голода. Что будет завтра – почем знать. В конце концов получают выродившиеся, слабые, болезненные, малокровные люди с бессильными мозгами, с дряблыми мышцами, с тонкими ногами и впалой грудью... костистые, неустойчивые! Какие-нибудь коннозаводские бабы – исключение. У них сравнительно трата мускульной силы не так велика. В общем, куда ни оглянешься – на дальний ли север, на знойный ли юг – одно и то же.

Кое-как мы взобрались тоже наверх. Нога вязла в мягком влажном песке; видимо, целые горы его были промыты, прежде чем их свалили сюда. Грохот водокачки, взбрасывающей вверх целые разливы белой от пены воды, заглушал здесь все звуки. Мимо нас измученные гонщики подвозят каждую тележку на платформу к люку. Там уже стоят двое приставщиков. В одно и то же время тележка опрокидывается и люк открывается. Масса золотоносного песка валится вниз. Приставники сгребают всё, что осталось на краю, и закрывают люк. На той же платформе – провал, в провале громадная чашка, по которой бегают волки, т. е. жернова, размельчающие камень. Песок мясниковатый идет в люк, а камень в провал, в чашку. Вокруг чашки устроена кишка, пускающая внутрь несколько струй воды. Из чашки протертая масса падает на наклонную плоскость, где устроены продольные и поперечные бруски для задержки золота. Масса, лишенная его, мясниковина, эфель выбрасывается ниже, где ее складывают в заводки и вывозят. Для этого подъезжает конь, особый рабочий открывает штырь в конце невысокой плоскости, и тотчас же в тележку льется вода, сыплется эфель. В чаше по временам тоже открывается люк, куда и проваливается галечный кварц, бессодержательные камень. Впрочем, и их двое рабочих перебирают внизу лопаточками, отыскивая в них золото. Если ничего не оказалось, вся эта масса проваливается

в следующий люк на земле. Отсюда пустую породу уже доставляют на особый отвод.

Трудно наглядно представить себе всё это в высшей степени сложное и запутанное дело. Ясно только одно, что малейший камешек здесь, прежде чем его признают совсем не стоящим внимания, побывает в нескольких руках и подвергнется всевозможным мытарствам. Так, например, провалившийся сквозь правый люк песок с камнями прямо по наклонной плоскости попадет во вращающийся цилиндр – бочку или бутарь. Вместе с ними он сильно вертится, причем, конечно, камни выбрасываются наружу, на вторую платформу, где уже находятся трое рабочих. Они ищут между этими выкидышами самородки. Если на свое счастье золотоискатель найдет кусок золота, то сверх поденной платы он получает еще по восемьдесят пять копеек за каждый золотник. Случалось здесь добывать таким образом куски золота по фунту и более, вкрапленные в кварц.

Тут, кажется, находишься в настоящем аду. Грохот глушит самые притерпевшиеся уши. Грохочет вверху водяная машина, грохочут бутора, вращающиеся со страшной силой, грохочут выбрасываемые ими камни, грохочет обрушивающаяся вниз по наклонной плоскости порода... Какое-то сильное движение, какой-то до одурения доводящий шум! Точно целый город рушится кругом, точно распадаются каменные горы и освобожденные из заключения воды стремятся с торжествующим ревом на трескающуюся и обваливающуюся землю. Перестаешь понимать, что тут делается, мозг ничего не соображает, спешишь только поскорее уйти от этой музыки золотого дела подальше, завидуя рабочим, которые при этих невозможных условиях стоят себе невозмутимо и в высшей степени внимательно делают свое... Камни, исследованные таким образом, гальку лопатами сбрасывают сквозь открытый желоб прямо в тележки. Из бочки бутора песок выкидывается вниз сквозь решетки по наклонной плоскости с перебором, где остается золото и проходит более легкая порода.

Мелкая порода эта и поступает уже в отделение, где в вашгердах описанные нами коннозаводские бабы делают свое дело, промывая этот песок.

Эфельщикам приходится стоять по колени в жидкой грязи.

В холода это ужасно; и довольно посмотреть на несчастных, чтобы понять, какой ценой достаются им их сравнительно большие заработки.

После всевозможных операций полученное золото сдается в контору. Каждый золотник его обходится ей в два рубля шесть копеек, к этой цифре нужно прибавить еще сорок шесть – пятьдесят копеек, которые тратятся на приготовительные работы, на устройство завода. Казна за чистое, химически исследованное золото платит три рубля пятьдесят пять копеек, здешнее же обыкновенно восемьдесят шестой – восемьдесят седьмой пробы. Остальные тринадцать процентов – платина, серебро, так что за здешнее шлиховое золото завод получает сам от правительства три рубля шестнадцать копеек. Обыкновенно здесь ежедневно (в Быньгове) промывается до семи фунтов металла, но бывают особенно удачные дни. Так, например, в этом 1876 году было недавно три подряд:

15 июня из 53 000 пудов земли вымыто 19 фунтов 70 золотников золота.

16 июня из 49 900 пудов земли вымыто 26 фунтов 80 золотников золота.

17 июня из 52 000 пудов земли вымыто 19 фунтов 32 золотника золота.

Мне показали здесь два крупных самородка. Один – лепешка в пять фунтов веса, другой меньше, весь почти залитый кварцем. Самый большой из известных в России – в Петербурге; он весит 3 пуда 37 фунтов.

Невдалеке отсюда Вилуйский рудник. Он принадлежит к этой же заводской даче, чрезвычайно богатой; он основан был незадолго до моего приезда, но из него было уже добыто до шести пудов драгоценного металла.

– Бог знает, как это у вас совершается; покойно говорят о пудах золота. Точно это булыжник, – заметил мой спутник.

– Когда имеешь с ним дело, остаешься вполне равнодушным.

– Ну, когда-то, во времена оны, немало прилипало к рукам.

– В ущерб казне? Еще бы. Вы то возьмите, что надзиратели и смотрители приисков получали от семи–десяти рублей жалованья в месяц. Значит, прямо им говорили – воруйте!..

Осмотрев всё, что можно было осмотреть, мы двинулись дальше в Тагил.

Кони были готовы почтовые, жалкие, измученные.

– Что это они у тебя? – обращаюсь к ямщику.

– Да всю спинушку сборошил... Беднота нас ест.

Весь Невьянск уже тонул в голубых сумерках вечера.

Косая башня его казалась еще грандиознее. Пики и кряжи Урала медленно уходили в царство неоглядной ночи... Издали, из-за полей, слышались песни.

– Кто это поет?

– А бабы, которые целый день работают на заводе.

– Неужели у этих коннозаводских амазонок, двенадцать часов простоявших босиком в воде, не разгибавших спину, хватит еще охоты и силы петь?

– Она после работы у нас баба бешеная!.. На парня так и идет сама...

Отойти от истомы, от натуги надо ей... разогнуться!

**LX. Уральская ночь. – Цифры. –  
Земля без шубы. – Обороты заводов. –  
Прекращение корреспондентов. –  
Музыка труда. – Добродетели железного  
и пороки золотого дела. – Платина**

«У нас народ стойкий, не гулевой...» – говорил мне один из тагильских крестьян. – Мы не то что по прочим местам. Оно, точно, и нам потачки не бывает... Рабочему человеку где хорошо? В царствии небесном только. И нас тоже вороги наши зубами рвут. И штрафой этой донимают, поборами. А и нажива-то наша какая: одна – с голоду не помереть! Сказывают, эвона какие деньги начальство заводское загребает. Ну да что же! А только душа у нас не обмякла, гордость эту еще в себе держим. Мы работать согласны, и грабь ты нас, коли в тебе совесть, что лохань поганая да кривая, а только душу мы тебе свою не отдадим. Душа у нас дорогая, ни по какой цене

не ходит. Нас хотели, было, золотым гвоздем прибить... как книжку эту вводили, но только мы и на золотой гвоздь не согласны. Сколько у нас бунту из-за этого золотого гвоздя вышло. Большой шум был, и поныне еще за него что наших в Сибирь угнато!.. А только мы не согласны».

И потом сколько мне ни приходилось сталкиваться с тагильскими крестьянами, я всегда убеждался, что они хотя и мрут на работе, создавая миллионы владельцу и тысячи его агентам, а совести все-таки не продали и при каждом случае отстаивают свое человеческое достоинство. По пути в Тагил мой спутник рассказывал мне подробно знаменитую историю золотого гвоздя, о которой я говорил уже выше. При освобождении крестьян хотели их работы оформить здесь рабочей книжкой. Посредник, желая попонятнее объяснить народу, что это такое, сообщил:

– К заводам до сих пор вы были прибиты железным, а теперь мы вобьем золотой гвоздь.

Спустя сутки по селу волнение. Бабы галдят, старики орут тоже.

– Что такое? – добивается посредник.

– Не хотим золотого гвоздя!

И начался бунт из-за рабочих книжек!

В это-то царство, где крестьянин прибит теперь к заводам золотым гвоздем, мы ехали в сумрачную, холодную ночь. Близость осени уже давала себя знать. С вечера начался мелкий дождь, и сквозь серую пелену его мелькали по сторонам силуэты каких-то гор, хмурились ошетилившиеся темными лесами седловины, у самой дороги, словно в ожидании нас, притаились каменные холмы, казавшиеся хребтами сказочных чудовищ. Узловатые ветви деревьев протягивались в воздухе, точно хотели во что бы то ни стало дорваться до нас. Мы спускались в дикие, чрезвычайно красивые дном долины, по которым текут золотоносные реки, а через несколько минут бойкие уральские кони вносили нас в темную дрему неподвижного леса, взбежавшего на холмы. Иногда во мгле тускло мигали нам костры обозчиков, «притулившихся» на ночь на мокрой земле под мокрыми деревьями. Двадцать восемь верст шла одна пустыня безлюдная, ни села в стороне, ни хаты. Как при Ермаке было, так и теперь осталось. Добрались до большой деревни Анатольевской, и вся она, «обмокшая» под дождем, казалось, вздрагивала от холода, проникавшего сквозь ее лохмотья, т. е. дырявые кровли изб, выбитые окна, обвалившийся забор. Кое-где робко-робко, едва приподнимая сонное веко, взглядывал на нас огонек, чтобы тотчас же зажмуриться, точно он пугался этого сумрака, этой мглы, этого дико свиставшего по безмолвным улицам ветра.

Душная, вонючая станция. На стене зеленый Кутузов на красной лошади и почему-то портрет девицы де Монтеспан... Обшмыганная, засаленная книжка «Виконт де Бражелон» вместе с этим портретом свидетельствовали об изящных вкусах станционного зрителя. Несколько глотков горячего чая, ругань ямщиков во дворе, звуки затрещин за тонкой стеной и опять дорога, опять дождь, опять мокрые деревья, мокрые скалы, мокрые сёла – так вплоть до самого Тагила.

– Сейчас приедем! – будит меня спутник.



Нехотя раскрываю глаза. Огоньки мелькают вдалеке, какие-то каменные трехконные кубики, белые с высокими кровлями, пустынные площади, потом опять кубики. Несколько раз нас проглатывали пустыри, мы съезжали куда-то вниз и опять, цепляясь по крутым скатам, взползали вверх; под колесами нашей телеги дребезжали мосты, и вот, наконец, направо и налево раскинулся самый Нижний Тагил со своими палатками и избами, массаами лавок, гостиным двором и каким-то памятником, который показался нам закутавшимся в холодное пальтишко и дрожавшим от холода нищим.

– Где остановиться здесь?

– Да вот. Одна пока и есть гостиница, – показали мне. – Только пустят ли?

– Что?

– Говорю, пустят ли?.. Потому у них тоже... Спать залягут – жди утра.

Стучались, стучались, наконец судьба смиловалась. Мы с удовольствием почувствовали себя не на холоду и не под дождем. На стенах нашего номера почему-то висела карта Индокитая и написанный масляными красками круторожий купец с выпученными глазами и золотой медалью. Под ним подпись: «и удостоен многими заграничными кавалериями, а также 25 января 1869 года видел Римского папу и к целованию руки его был допущен, а в семидесятом обедал с министрами». Фамилия этого знатного иностранца оказалась неизвестной.

Тагил является столицей Демидовского царства. Прежде чем перейти к бытовым очеркам его и картинам производства, я попрошу у читателей позволение привести здесь несколько цифр, дающих некоторое понятие о размерах этого «железного» края, об этой колыбели миллионов, которая создала громадные богатства для одних и задушила в ежовых рукавицах безотходного и непосильного труда сотни тысяч рабочих, еще недавно бывших почти рабами и только теперь начинающих дышать посвободнее.

Нижне-Тагильский заводской округ состоит из восьми главных центров: собственно Нижне-Тагильского с Анатолийским, Нижней Салды, Верхней Салды с Исинским заводом, находящимся около Черно-Источинского, с ближайшим к нему Антоновским и Авроринским заводами, Висимо-Уткинского с Усть-Уткинской пристанью на реке Чусовой, Васильево-Шайтанского, Лайского и Выйского. Под строениями различных заводов здесь занято 430 десятин земли; под пашнями, покосами, состоящими в распоряжении завода, 3 764 десятины; под дорогами, реками, озерами, болотами – 21 883 десятины; в пользовании государственных крестьян – 12 494 десятины. Лесов нижне-тагильских, спелых, годных на дрова, уголь и строения – 250 000 десятин. Под молодым и приспевающим лесом – 332 136 десятин, причем общий ежегодный прирост леса здесь равняется 160 000 кубических сажень.

Рудники:

Железные действующие – три (четыре квадратных версты); не действующие пока, но уже известные – двадцать три (шестнадцать квадратных верст).

Медные действующие – один (одна квадратная верста); не действующие пока, но уже известные – двадцать восемь (двадцать две квадратные версты).

Марганцовые действующие – одна (одна квадратная верста); не действующие пока, но уже известные – двадцать восемь (двадцать две квадратные версты).

Огнеупорной глины действующие – одна (одна квадратная верста); не действующие пока, но уже известные – одна (две квадратные версты).

Формовального песка – две (две с половиной квадратные версты).

Извести – одна (одна квадратная верста).

Горного камня – две (две квадратные версты).

Жильного золота – две (длина исследованного пятьдесят сажен, ширина – шесть вершков).

Золотоносных россыпей – двадцать шесть (две квадратные версты).

Серебро разведывается и найдено.

Платины – четыре квадратные версты.

А вот, например, цифры производительности этих заводов: в один год выплавлено чугуна на них 235 000 пудов, меди 57 000 пудов, чернового железа 1 926 300 пудов, из этого приготовлено отделанного 1 168 700 пудов и стали цементной 29 100 пудов, добыто золота 10 пудов, платины 52 пуда. Чтобы получить всё это, нужно было проплавить: железных руд 3 501 784 пуда, медных 2 316 400 пудов; угля древесного пошло при этом 180 500 коробов, причем каждый длиной три аршина, высотой – аршин, шириной – два аршина. Дров в саженьях – куренных 70 000 кубических сажен, обжигательных 50 000 кубических сажен, да для жителей пошло около 40 000 кубических сажен, в том числе строевого леса 40 000 штук и на действие завода 30 000 штук. Барок для сплава металла куплено 90, полубарок 35. Лес здесь так дорог и им настолько скупаются, что в Нижнем Тагиле своих барок вовсе не строят; со времени учреждения пароходного судоходства по Чусовой суда для сплава металлов взамен старых и разбившихся покупаются в Перми и доставляются бечевой. Коломенки вверх поднимаются, таким образом, с разобранными и сложенными на них полубарками. На пристанях последние опять собираются. Только в исключительных случаях, когда купленных судов оказывается недостаточно, заводоуправление строит несколько своих.

– Лес лучше чужой покупать, чем свой тратить.

– Почему?

– Да что ж, вырубить-то нетрудно... Когда он только опять подыметесь? То сообразить нужно – что и без того везде уже с земли шубу сняли – дебри наши кондовые, вековые снесли прочь... ну и озябла она – земля-то, мерзнет, а согреться ей не в чем. Потому и хлеба она родит меньше, и трава на ней родится самая ничтожная да чахлая. Я еще помню времена, когда по всем нашим горам дубравы шумели, ручьи весело сбегали вниз, где в падах да понизьях сочная трава щетиной стояла... Теперь скоту какое пространство выесть надо, чтобы сытым быть? Вы сосчитайте, сколько надо луга ныне на небольшое стадо, сравнительно с прежним. А всё почему – шубу с земли сняли, ну и остудилась она...

– А вот под Екатеринбургом начальство нарочно березы вырубил, чтобы не мешали солнцу греть землю.

– У нас лучше дела были: становой один просил разрешения в Павде леса сжечь.

– Для чего?

– Для более точного наблюдения за жителями!

Я расхохотался.

– Такие ли еще бывали!..

Чтобы кончить с заводской арифметикой, нужно привести еще несколько цифр. Местное управление состоит из 628 человек, получающих 304 132 рубля; по училищам – преподавателей 32; по госпиталям – врачей, их помощников и служащих 26. Рабочих – 12 000, которым в течение года уплачивается 1 801 800 рублей. Содержание: церквей и причта обходится владельцу в 17 250 рублей, школ и классов грамотности вместе с Нижне-Тагильским реальным училищем – в 19 370 рублей, приютов – 2 580 рублей, госпиталей и аптек – 26 660 рублей, престарелым рабочим выдается хлеба 15 054 пуда и деньгами 10 277 рублей, пенсий выдается 13 000 рублей. Сверх упомянутого нами числа рабочих при золотых и платиновых приисках числится еще около 750 старателей, отыскивающих металл где им угодно и разрабатывающих его с тем условием, чтоб за определенную плату отдавать его непременно Нижне-Тагильскому управлению. Центральное заводоуправление обходится в 77 202 рубля, содержание главного заводского дома – 10 583 рубля, содержание остальных зданий – 11 000 рублей, почт – 9 772 рубля, дорог и мостов – 14 318 рублей, пожарная команда – 6 000 рублей, разыскание руд и новых россыпей ежегодно обходятся в 4 885 рублей, конторы и магазины – 111 544 рубля, газ, плотины, водопроводы ежегодно требуют 34 562 рублей, лесная стража – 29 636. Округ в 1875 году платил пошлины: с чугуна – 63 520 рублей, меди – 57 000 рублей, золота – 16 902 рубля, платины – 17 815 рублей, пошлин лесных – 1 855 рублей, земских – 24 000 рублей.

Производство в Тагиле ведется в самых широких размерах: металл плавится здесь в трех доменных, четырех вагранных, двух отражательных для переливки чугуна и двух пудлинговых печах. Все эти каменные утробы обладают такими аппетитами, что в своих пастях они, кажется, могли бы пережевать все уральские леса. Сверх перечисленных здесь еще огнем пышут и тоже переваривают металлы печи сварочные Бозциуса, железонагревательные, сталетомительные и Бог знает какие еще горны. Когда огонь в них сделает свое дело, начинается работа бесчисленных обжимочных, гидравлических, паровых и пестовых молотов; сбитое ими в правильные комья железо идет под дощатые и гладильные молоты, чтобы из-под них попасть или в прокатные машины, или на склады. Я не перечисляю здешних машин, пыхтение, грохот, свист которых вместе с шорохом ремней, вздохами и криками стали под паровыми пилами, визгом железа, в твердое тело которого ввертывается с головокружительной быстротой еще более крепкий бур, шумом воды, сбегавшей с колоссальных гидравлических козел, являются музыкой труда гораздо более приятной для некоторых ушей, чем настоящая; по крайней мере, таков был мой спутник.

– Лучше иной оперы! – восторгался он. – Ишь, наше сопрано визжит, слышите? – указывал он на сталь, так плакавшуюся и жаловавшуюся на пилы, брусья и буры, ввертывавшиеся в нее, стругавшие ее отовсюду. – Самые лучшие рабочие у нас на этом деле стоят. Вы ведь знаете: тот материал,

над которым вы трудитесь, кладет свой отпечаток на вас. Я наблюдал здесь да и в других местах. Имеете вы дело с деревом, и у вас образуется характер мягкий, уступчивый. Все столяры здесь и кротки, и тихи. Жены над ними владывают, обижают даже, случается. Возьмем тех, которые с железом возятся, – эти тверды, неуступчивы, на каждом шагу сумеют отстоять свое достоинство. Дома у себя они ничьей иной воли не признают. Ну а вот кто с золотом – тот совсем пропащий народ. Признаюсь, у нас неохотно и разрабатывают его, несмотря на все выгоды. В год мы добываем, случается, до восьми пудов. В этом больше трех не будет.

– Что же, рудники истощились?

– Зачем им истощаться! Рабочие портятся на золотом деле страшно. Между ними развивается повальное пьянство, всевозможные пороки и преступления. Здесь, например, у нас баба скромна, а попадет она на старательские работы крупку золотую мыть – первой развратницей делается. Самые стойкие мужики, заведомо трезвые, возвращались с золотой работы запойными. И заработка больше – богатеть бы должны, а рабочий на железных заводах всегда состоятельнее много получающего старателя. Посмотрите избы золотоискателей и тех, которые разрабатывают месторождения этого металла. Дошло до того, что на себе живой нитки нет, только колени и локти сквозь прорехи смотрят; а намочет золота – сейчас же в штосс.

– Как в штосс? Крестьяне?

– Да!.. Поэтому мы и неохотно беремся за золотое дело. Ради чего же портиться населению? Вот разработка платины совсем иная.

Платинных приисков здесь разрабатывается очень мало. Из них самый богатый – Авроринский, по реке Мартьяну. Прежде годовой оборот давал около ста и ста пятидесяти пудов этого металла, теперь иногда не бывает и шестидесяти, потому что дело это крайне трудное. Иной раз надо промыть семьдесят пудов породы, чтобы получить золотник платины. В самых лучших рудниках ее на 4 200 пудов выметанной почвы приходится девяносто золотников металла. Работой этой занято здесь двести двадцать шесть человек. Старатели (вольные, отыскивающие за свой счет металл) получают от завода за каждый золотник его двадцать четыре копейки, тогда как за золото – два рубля. Понятно, что они не так охотно идут на платинное дело. Многого здесь не возьмешь. Взрослые и сильные рабочие не получают здесь в день более шестидесяти копеек, а женщина, хотя бы она сделала столько же, – двадцать пять копеек. Очистку платины производят здесь вместе с золотом, заливая их ртутью и водой. Промыв всю эту грязную массу, удаляют вместе с водой посторонние примеси. Ртуть соединяется с золотом, а платина остается отдельно. Затем золото с ртутью процеживается сквозь полотно. Ртуть уходит сквозь него, золото оказывается на платке, но покрытое амальгамой, которая удаляется просто вытиранием металла.

## LXI. На Выйском заводе

Тагил нельзя считать селом или только заводом. Это большой город с сорокатысячным населением, хорошо обстроенный и прекрасно содержимый. Он очень красив, если смотреть на него с каменных скал, находящихся около. Направо, внизу, массы домов точно сбегаются к красивому собору и церквам, позади – грандиозная панорама уральских вершин. Прямо перед вами – гора Высокая, этот сплошной железный рудник. Как Благодать, так и она, просто-напросто представляют массу руды, заключающей до восьмидесяти пяти процентов чистого металла. Ее снимают слоями сверху. Тут не надо ни углубляться внутрь, ни рыть себе червеобразных ходов и жить в земле, чтобы добыть необходимую породу. Бери ее откуда хочешь – с вершины, с откосов, снизу... Высокая представляет собою громадное богатство, принадлежащее нескольким владельцам. Между ними наиболее крупные, разумеется, Демидовы, хотя в сто пятьдесят лет они не выработали здесь и шестой доли своего участка. На этой горе поднимается много дымок; над ее прослоинами возятся сотни рабочих, грузя руду на тележки для подвоза к доменным печам. Ближе Высокой горы – озеро, которое сегодня всё зыблется и мерцает под ярким светом солнца. У самого берега большое село Гольяны... Дали отовсюду заставлены могучими, суровыми массами гор. Они придают удивительное величие этому северному пейзажу. Будь поярче краски, попышнее зелень, поголубее небо, не пронось порою в восточном ветре такая холодная струйка воздуха, можно было бы подумать, что какая-нибудь благодетельная фея перенесла тебя далеко-далеко, на теплый юг, где, вместо этих пихт, едва-едва колышутся тонкие вершины тополей и кипарисов, где с гор веет ароматом диких цветов, где тихие воды дремотно ластятся к теплому берегу, где сонно скользят по их лазури золотые лучи не нашего северного солнца...

Не успел я еще насмотреться на эти, казалось, всё больше и больше хмурившиеся дали горного пейзажа, как меня окликнули.

– Можно ли увлекаться природой, когда вас на Выйском руднике ждут?

Немного к северу от Тагила, при впадении в местное озеро реки Выи, находится большой завод того же имени.

Мы мигом дошли до него мимо длинного ряда почти непрекращающихся построек и домов. Под навесом горбились целые горы бурой земли с множеством зеленых каменьев, поблескивавшие кое-где колчеданом. Только на вес, на ладони, можно было убедиться, что здесь находится металл. Кое-где попадаются тут и куски малахита, идущего на разные поделки, на краску...

Сверху на этих горбах изредка выделялась розовая тальковая масса. Самую руду не трудно по виду отличить от бурого железняка. Все кучи шлаков – с заметным медным блеском купферштейна. Их здесь не выкидывают; они идут в плавку вместо флюсов. Руда отбрасывается в маленькие эллиптические печи на слой древесного угля. Всё это ярко горит зеленым, изумрудным пламенем, переходящим иногда в нежно-розовый цвет. За один раз, на одну колошу насыпается четыре решетки угля (четверть короба) и от шестнадцати до восемнадцати пудов руды, смешанной со шлаками, помогающими ей плавиться. Печи устроены так: вверху, куда бросают руду, – колошник, внизу –

два жерла (в сущности – одно, но разделенное надвое). Холодный воздух снизу проникает в печь, вверху нагревается в колошнике и потом, уже нагретый, гонится вниз. Всех печей здесь пять эллиптических, двенадцать малых и две больших. Работают на всех – пустующих нет. Над печками – железная кровля. Ход в печь устроен внизу, под землей; трубы с нагретым воздухом проходят вниз и проводят жар прямо в уголь. Из большой трубы такой нагретый воздух проходит сквозь шесть отверстий тонкими второстепенными трубами в фурмы, в уголь и руду, которая по мере плавки опускается вместе с жидкими шлаками на лещадь. Шлак, как более легкий, всплывает наверх и, поспев, сквозь тонкий выход красной огненной струей льется в железные ковши на колесах, озаряя окружающий мрак багровым светом внизу, в то время как в вышине во тьму, густящуюся над кровлей, рвутся из колошников зеленые и розовые языки насыщенного газом пламени. Когда шлаки выпущены, печь настанется, т. е. жидкую руду в ней болтают с углем, потом железными лопатами выгребают раскаленную пенку, плавающую на поверхности руды. На противоположной стороне печи из устроенного там выхода уже для металла выгребают сначала угли, потом железным ломом пробивают отверстие в твердой массе застывшего шлака, и, когда в нем вспыхнет словно красное, налившееся кровью око – рабочие отходят прочь. Сначала в эту дыру бежит багровая струя шлаковой лавы, потом в ней начинают вспыхивать белые огоньки... Огоньки чаще и чаще. Румянец пропадает, лава бледнеет, и наконец льется сплошная, ослепительно белая, жидкая медь.

– Вот оно, молочко какое... – шумят рабочие.

– Похлебай, похлебай-ка его!

– Без хлеба-то?

– А для этого молочка-то и железный лом за хлеб сойдет!

Штат каждой печи в смену: подмастерье, двое рабочих и откатчик. Работа идет у них круглый год, причем первый, т. е. подмастерье, получает в день по семьдесят копеек (в праздник – по одному рублю пять копеек), вторые по пятьдесят копеек (в праздник – по семьдесят пять копеек), откатчик со ста пудов шлаков рудных – одиннадцать и три четверти копеек, росштейных – пятнадцать копеек, потому что последние требуют более аккуратности. Всего откатчик в день заработает сорок копеек, а в праздник – шестьдесят копеек...

Типы рабочих весьма интересны. Всё это изредка оживляющийся, но обыкновенно сумрачный и молчаливый народ. Грешневики сползли на затылок, открывая потные, покрасневшие, точно медь, лбы; лица – будто они обожжены на этом вечном огне искусственных вулканов. Посконные рубахи намokли совсем... «Пот-то у нас соленый – до измору работаем!» – услышите вы здесь. Один бок, плечо и рука закрыты чем-то вроде фартука с нарукавником, потом надет настоящий фартук с нагрудником – запоном... Есть что-то фантастическое в этих черных силуэтах, снующих под красным, зловещим отблеском лавы, выдвигающихся из тьмы и снова уходящих в нее. Кажется, будто тьма их рождает, и, умирая, они опять обращаются в тот же тяжелый мрак. Их голоса хриплы, как шум нагретого воздуха, разгоняемого по трубам; дыхание с громким свистом вылетает из натруженных грудей, как резкая струя того же воздуха, врывающегося в раскаленный уголь сквозь фурмы.



Работа у них далеко не из легких... Обожженные лица, пятна от ожогов на руках.

– Тут с одним жуком намаешься.

– Какой это жук?

– Здешний жук. Он, брат, чисто руки-то пообломает... Как пристанет, ломом еле-еле его выбьешь.

Оказывается, что жуком называют «восстановленное» железо, образующееся на дне печи во время плавки. Его откалывают, вбивая железные буры снизу, иначе бы лещадь печи совсем заполонила им. Для отбивки этого зловредного жука нужно двух рабочих... Один держит бур, другой долбит его молотом в голову.

– Отчего это железо жуком прозвали?

– Отцы наши...

– Это, вишь, – вмешался другой рабочий, – на хлебе тоже жук есть... Колос портит, зерно ест. Ну а это наш жук, собственный!.. Везде, брат, этих жуков понасажено... Везде свой жук...

Отсюда ежедневно добывается двести пудов чистой меди или росштейна, которые должны идти во вторичный обжиг и плавку. Росштейн – это соединение сернистой меди с сернистым железом. С ним тоже возня немалая.

Легче всего работа здесь у подмастерья. Он, кроме наблюдения за остальными рабочими, засыпает руду в колошник. На это требуется опытность, потому что по виду фурм нужно знать, куда именно засыпать: назад ли, в бока или в середку.

– Сколько всего выплавляется здесь меди?

– Из двух миллионов двух тысяч пудов руды ежегодно металла получается 72 000 пудов... Работа у нас на местном заводе потому тяжела, что нет ни страдного<sup>23</sup> времени, ни праздника. Пятьсот человек круглый год должны находиться при своих печах, даже не исключая Пасхи. Остановить печь нельзя.

– Одно выбивание железа и шлаков чего стоит!

И действительно, в одной из печей при мне оказался жук. Его должны были откалывать семеро рабочих в поту, в натуге такой, что потом они чуть не валились на землю. Иной раз и валятся... Один вышел, накачал себе воды и припал к ней; кажется, оторви его от нее, на месте бы умер. И так круглый год, а за этим годом – другой, третий, четвертый – сколько хватит, вообще, силы – без отдыха изводиться на тяжелом деле.

Вон, например, работа над громадным ковшом, куда налит прямо из жерла жидкий росштейн. Сначала на нем отлагаются грязные пленки, круглые, как блины. Их снимают, под ними показываются темно-красные, чистые, пузыристые. Сравнение, пришедшее мне в голову, очевидно, усвоено и рабочими.

– Тут у нас круглый год масляная! – шутили они, потев в жару, окружающем какой-то невозможной атмосферой этот котел.

– А что?

– Ишь, как блины-то печем... Только хозяйева их есть будут... не мы!

<sup>23</sup> Страдным временем называется здесь полтора месяца, которые даются заводским рабочим на полевые работы и сенокосы.

– Ну-ка, повара, скорее, скорее! – подбодрял их подмастерье.  
Круги красных блинов всё росли и росли; один за другим снимался оттуда.  
– Блины-то получше овсяных!  
– А тут мы и свиной, бывает, палим.  
– Как это?  
– Да просто... В праздник. Опустим за уши да за ноги – сейчас и вон, а она, свиная-то, уже вся белая!  
Темно-красные сначала блины светлели и светлели...  
– Вот теперь настоящая медь пошла; теперь блины пшеничные у нас будут...

Оказавшуюся под росштейном медь стали поливать водою и потом отбили оставшийся металл из ковша ломом. Но громадный кусок меди, полученный таким образом, еще был раскален...

– Теперь вот крестить будем младенца-то... – продолжали смеяться рабочие. – Без попа, по-заводски, окрестим.

Его бросили в водоем.

Влага внизу заклокотала с такой силой, как будто сквозь нее из-под земли пробивался громадный источник кипящей воды... Стены здания вздрагивали. Нам казалось, что кусок меди подпрыгивает там.

– Заплясал, – засмеялся рабочий, – не любит она, медь-то, купанья наше-го...

– Ну теперь и нам можно!

В стороне устроены железные насосы...

Прямо с жару, рабочие, в чем были, так и бросились туда, под студеную струю, падавшую сверху. Едва отдышались под нею.

– По нашему делу, коли бы не это – умирать надо!..

– Одной водой и оправляемся.

– Тяжела наша работа... Ох, тяжела! – жаловались здесь. – Главное отдохнуть некогда. Как запрягся, так уж и вези. Другой работы нет!..

– Вы как думаете: на нас живого места нет, всё обожжено... Сколько наболеешь, пока приобькнешь... Случается, жидкой медью обольешься – ну тогда смерть. Мы и баб-то наших мало видим. Потому с этой работы – куда же баба? Домой придешь и есть-то от усталости не можешь. Свалишься и спишь, что кусок этот же, – ткнул он ногой массу меди, – как чурка! Иной раз будят, будят – добудиться не могут.

И действительно, при взгляде на эту безвыходную, вечную истому рабочего, как жалки и мелки казались мне наши жалобы на непосильный труд, на нищету. Попробуйте этак трудиться и получать ради этого возможность только-только не умереть с голоду. Страшной ценой дается повсюду право на жизнь, бледную, тусклую, всю уходящую на измор, на натугу.

– Тяжело вам, братцы, – невольно проговорил я...

– На том свете, сказывают, легче будет. Пеклом-то нас не испугаешь, мы и на этом при ём состоим!..

## LXII. Народ в Тагиле

В каждом горнозаводском округе выработался свой народный тип. Рабочие из Луньевки, Александровского и Кизеловского заводов очень непохожи на таких же в Невьянске или Кыну. Работая на одном и том же деле, они складывались при чрезвычайно различных условиях. О первых мы говорили в своем месте; теперь же посвятим несколько строк тагильскому крестьянину. Я здесь пробыл довольно долго и имел время всмотреться в него, да сверх этого еще и пользовался указаниями людей, близко знакомых с делом. В Тагиле до сорока тысяч населения; из них четвертая часть живет исключительно заводским делом. Я не ошибусь, если скажу, что до такой степени развитый в умственном отношении народ мне попадался только на мальцовских заводах, да на далеком севере, в Поморье. Это на тагильца даже положило особый внешний отпечаток. Он старается быть чисто одетым, хорошо держится и вообще мало похож на рядом живущего уральского мужика, даже на тут же бок о бок потеющего под огнем вейского мученика. Ругань здесь не в обычае, и нецензурные слова не слышатся на каждом шагу, как в других местах нашего в этом единственном отношении весьма либерального отечества. Тагильцы очень вежливы друг с другом, о драках у них не слыхать. Люди тут себя «соблюдают в аккурате», и с первого взгляда вы замечаете уже в них некоторую выдержку.

– Что же, господа рабочие, – обращается кто-нибудь из них к другим, – как мы будем сегодня вечером насчет гулянки?

– По благородному, главная причина – без шума. На озеро пойдем – в прохладу... А Вы, Осипов, скрипку свою возьмете?..

– Знаем, не мужики, слава Богу...

Тагильцы вообще кажутся на Урале несколько высшей расой, хотя те же развитые люди вовсе не считают преступлением, например, кражу золота, платины, железа. Это своего рода подвиг, молодечество. Им хвастаются и между собой вовсе уж не скрывают.

– Разве это воровство?.. – говорили они.

– А что?

– Перевод!..

Оказалось, что похищение этих металлов здесь весьма вежливо называют «переводом». Народ вообще ловкий. Даже таких зубастых и опытных акул, как железнодорожные подрядчики, тагильцы сумели провести. Не успели первые нанять их, как разом были обсчитаны на сто кубических сажень земли.

– Уж и не понимаем как! Кажется, зубы мы съели на этом деле, да и обмануть невозможно, а тагильцы сумели!

Тагильца нужно видеть во время страды.

Каждый завод дает под конец лета каникулы своим рабочим на полевую страду, на косьбу и т. д., и эти-то месяца полтора являются для них вполне праздником. Бабы надевают лучшие платья – глаза слепит от них; мужчины не отстают и щеголяют напрапалую. Нанять в это время никого невозможно, даже за тройную цену. Работы приостанавливаются.

– И заводы не стараются вывести это обыкновение?

– Напротив, оно в их интересах. Потому что для них жизненный вопрос – местная конная сила, а за время страды население именно и косит сено на зиму, снимает овес и ячмень с полей. Здесь даже покровительствуют этой страде.

Тагильцы во время страды по вечерам после работы собираются и под музыку открывают даже что-то вроде балов. Бабы и парни пляшут «по-городскому». Хороводов не водят, давно от них отстали. «Помилуйте, мужицкое дело!»

Грамотны почти все. По местному распоряжению конторы, кто, работая на заводах, не умеет читать и писать, должен посещать школу. Если через несколько времени он остается в прежнем состоянии неведения древа познания, его изгоняют из завода. Мера суровая!<sup>24</sup> Начали здесь с мальчиков, которые за посещение курсов получают деньги, как за рабочий день. Таким образом, те, которые ходили на работу с отцом, чтобы оказывать ему поддержку в содержании семьи, все пошли в школы. В три или четыре месяца они оказывались грамотны. Если хотят идти учиться и старшие – это считается здесь тоже за рабочий день. В Нижнем Тагиле школа рассчитана была на восемьдесят учеников, а явилось триста. Случалось, приходили старики шестидесяти лет и сами просили выучить их разбирать грамоту. И это не было уж особенно редким исключением. Всё это устроилось здесь до моего приезда за пять лет, а при мне уже задумывалось открытие высших технических школ. Тормозилось это полезное дело только одним: долго, очень долго не могли получить из Петербурга разрешения на это. Получили ли теперь или нет еще – я не знаю. Еще нужно отметить одну особенность, заслуживающую полного уважения: класс закона Божия, ввиду общего для этого края раскола, заменен здесь рассказами из Священного Писания, Евангелия и истории святых. При школах, устроенных в рудниках, имеются все инструменты рудничного дела, и мальчики, прежде чем опуститься в вечный мрак подземных жил, знакомятся с ним научно. Открываются школы повсюду. Если при маленьких заводиках не хватало места, школу устраивали даже в оставленных сушильных больших печах. Кроме этих начальных училищ здесь еще имеются народные школы с четырехлетним, реальное с шестилетним и женское училище – тоже с шестилетним курсом. Дело здесь организовано так, что в последние два года в реальном училище каждый воспитанник должен избирать себе специальность: лесную, заводскую, горную или бухгалтерскую. Окончивших курсы берут во все окрестные заводы: Алапаевские, Павдинские – за высшее вознаграждение. Местное управление этому нисколько не мешает. По всему тагильскому округу тратится на народное образование ежегодно, земских и владельческих, около девяноста пяти тысяч рублей. Обучение везде бесплатное; даже семьям бедных учеников оказывается пособие – в общей цифре две тысячи рублей.

Поспешим отметить, что благая мысль обязательности обучения грамоте, с зачетом рабочего дня, также как и исполнение этой мысли, принадлежат господам Кронебергу и Нитте.

<sup>24</sup> Не знаю, существует ли она теперь.

Пример, заслуживающий подражания. Признаемся, мы ни на одном заводе до тех пор, да и впоследствии, не видали ничего подобного. Грамотность здесь продвинулась настолько, что рабочие читают, и довольно усердно, газеты, понимают их; не редкость у них найти книгу, и, разумеется, не ту гниль и глупость, какие по лицу земли русской распространяют господа Леухины, Манухины, а нечто обнаруживающее уже несколько пробудившийся вкус...

Разумеется, всё это мы говорим о заводском населении.

Хлебопашцы в ином положении. Они не отличаются от общей безграмотной и темной массы своих братьев и живут беднее заводских. Даже бок о бок – а какая глубокая разница между теми и другими!

Тагильцы и живут гораздо чище других жителей уральских сёл и городов. Даже гигиенические условия их обихода иные. Весь Тагил разбит на участки, и ежедневно смотрители обходят свои участки, наблюдая за чистотой во дворах, домах. Об осмотре записывается в бланк, выдаваемый домохозяину, причем отмечаются неисправности, которые немедленно должны быть устранены.

– И слушаются?

– За два последние месяца был только один случай неисполнения.

Всем этим заводы обязаны господину Рудановскому, здешнему доктору, приобретшему в науке почетную известность своими исследованиями строения головного мозга и многочисленными работами по медицине. Он сумел поставить дело так, что крестьяне теперь не только не боятся госпиталя, а, напротив, идут туда. Прежде к больницам они относились в высшей степени недоверчиво; их приходилось забирать туда чуть не силой. Ежедневно по улицам Тагила ездила громадная зеленая фура, в которую помещали всех недужных. Там, где она останавливалась, поднимался вой. Бабы цеплялись за своих больных, не давая их; несчастных приходилось отнимать чуть ли не силой. Вслед за фурой, с распущенными волосами и исцарапанными лицами, бежали жены, дочери и матери отправляемых в госпиталь. Отчаянными криками своими они будили весь околоток. Крестьяне, попавшие в больницу, смотрели на себя как на приговоренных к смерти; их оплакивали заранее их семьи, и на выздоровление своих кормильцев смотрели только как на счастливую случайность. «Ничего они (т. е. доктора) со мной сробить не смогли... Дивно! Морили, морили – да кость, вишь, моя крепка, не удалось уморить!» – торжествовал выздоровевший, еще более поддерживая в населении ненависть к врачам и врачебной науке. По наивному верованию тагильцев, еще недавно больницы были родом лаборатории, где морили людей «по книжке».

– По какой книжке?

– От начальства зеленая книжка прислана была, чтобы по ней беспрерывно морить народ.

– Да зачем же морить?

– Правильно, значит, в аккурате... как в книжке сказано...

– Что за цель?

– Спужались, потому... Главная причина – чернети много развелось, так чтобы поменьше было...

Такие объяснения в те времена не были особенной редкостью. Теперь всё изменилось круто. В больнице нет отбоя от желающих лечь в нее. Кого

не принимают, те жалуются конторе якобы на несправедливость врача. Лекарства прописываются медиком, принимаются точно, советы исполняются буквально. Доверие полное. При малейшем недомогании рабочий идет к доктору. Вместе с врачами здесь работают ученики и фельдшера. Те и другие – из местной фельдшерской школы, куда они поступают, окончив реальное училище. Даже соседние земства берут себе на службу этих молодых полуэскулапов и весьма довольны ими. Главным профессором фельдшерской школы остается, все-таки, тот же Рудановский, который приучил своих учеников также производить метеорологические наблюдения, химический анализ и многие другие научные работы. Впоследствии мы увидим, к чему это повело. Они уже облегчают труд врача, часто даже вполне заменяют его. При нижнетагильской школе есть отделение фельдшерниц, и первый выпуск из него был в семидесятом году. Все они из местных жительниц, и практика у них здесь весьма обширная. Особенно довольны ими бабы. У больных вся прислуга женская; благодаря этому и обращение не оставляет желать ничего лучшего.

Хорошие обычаи держатся здесь, в тех местах, где население не бросилось на золотое дело.

Семья, некоторое благосостояние, стойкость – всё это замечается в селах углепоставщиков, обозчиков, дроворубов. Но достаточно одной старательской артели выйти отсюда на золотой промысел и принести с собой назад хороший заработок, как все эти три кита, на коих зиждется сила российской деревни, начинают пошевеливаться, и скоро всё уходит прахом. Вместе с золотом развивается пьянство, воровство, легкомысленное отношение к завтрашнему дню, беспомощность перед бедой, лень. Баба смотрит на себя как на товар, который можно продавать дешево или дорого, но непременно продавать; дети оказываются заброшенными, избы разваливаются. Вот, например, около Тагила – деревня Салки. Крестьяне ее жили прежде углепромышленностью. Они доставляли на завод до восемнадцати тысяч коробов угля и получали, таким образом, двадцать семь тысяч рублей, не считая других занятий, тоже дававших им хороший заработок. Кто-то сманил их на золотые промыслы. Салковцы бросились туда и на первых порах добывали легко много денег. Золотая лихорадка совсем охватила их и закружила. Теперь здесь нищета и голь непокрытая. Конская сила погибла, всё население разорилось дотла, золото отучило от постоянного труда. Хорошие прииски все разработаны; остались крайне бедные содержанием металла. Хлеба купить не на что; лошади чахлы, люди тоже. Энергии обратиться к старому труду не стало, да и если бы она и оказалась – не с чем подняться. Семья разрушена: баба смотрит на себя как на доходную статью; только теперь никто не хочет пользоваться ей, потому что с мякины да коры она совсем обезобразилась. Мужики ходят голодные. Удастся нажить рубль – пьют, завивают горе веревочкой.

– Как же вы, братцы, жить-то будете? – спрашивают их.

– А вот... Найдем прииск... Сказывают, птица такая есть – «золотое перо»...

Поймать надо...

А пока птица «золотое перо» летает на свободе, разор идет всё шире и шире. Недавние углепромышленники у себя, в своих же дворах, рубят хозяйственные постройки, чтобы отогреться как-нибудь.



– Что же вы в лес-то не ездите за дровами?

– На билет денег нет... Да и коня нет... Вот прииск хороший найдем, тогда...

И вера в хороший прииск держится, несмотря ни на что. Своего рода аладдинова лампа!..

В другом селе народ тоже жил лесным промыслом. Кто ходил в завод работать, кто жил в селе. Голоденок не было, недоимок не числилось, мужики оказывались исправными. Невдалеке нашли тоже прииск, который на первых порах давал большие заработки. Лет семь им существовало село; но роковое влияние золота и тут дало себя знать: из доходов нового промысла поднялись только кабаки; не построились новые избы, не поправились и не расширились хозяйства. Вот уже восемь лет, как прииск истощился. Теперь когда-то достаточную деревню узнать нельзя. Дома покосились, заборы порублены на дрова. На девять дворов приходится по одной корове, коней нет... Мужики ходят потерянные, голодный тиф не переводится.

– На что же вы надеетесь?

– А вот Иван Афремов пошел... В лес пошел... Золота искать... Как найдет, поправимся.

И опять-таки до вожделенной поимки птицы «золотого пера» ничего не делают, руки сложили. Да и работать нельзя – не с чем. Ни хлеба, ни земли, ничего. Разумеется, вымрут.

– Ну, теперь в наши кротовьи норы милости просим! – пригласил меня смотритель медного рудника.

– В этом костюме?

– Нет! У нас вы найдете рабочий. От вашего платья ничего бы не осталось.

О рудах здесь было известно давно, но разработка меди начата с 1814 года. С того времени по 1875 год было извлечено из недр земли в этой местности более 150 000 000 пудов руды, давших 4 996 594 пуда чистого металла и 40 000 пудов малахита. Ежегодно добывается здесь до 2 500 000 пудов руды, из которой выплавляется меди полтора процента. Главнейшие породы рудника: медный колчедан, смешанный с железом и залегающий на известняке. Он также является вкрапленным в диорит, требующий буровой работы. Диорит переходит в диоритовый сланец и бурый железняк, содержащий красную и оливковую медные руды, медную зелень, а иногда даже самородную медь. Тут работы производятся клиньями и кайлами. В кварцевых штоках здесь находятся фальбортит, тагилит и демидовид. Образовавшаяся из механической смеси диорита с пустым глинистым сланцем порода содержит здесь малахит и медную зелень. Малахит открыт в руднике в 1836 году, и теперь главная масса его уже выработана.

В конторе рудника нас ждали.

– Ну... Разоблачайтесь!..

Мы надели кожаные пальто и куртки, высокие бахилы, на головы вздели кожаные фуражки и, посмотрев потом друг на друга, от души расхохотались. Один очень важный инженер, бывший с нами, в новом костюме представлял столь несчастную, жалкую, хотя и не лишнюю некоторой юркости фигуру, что, появившись она в Петербурге на улице, наверное, все городовые пришли бы немедленно в немалое волнение.

– Ну, знаете, ваше превосходительство, вы теперь чистый мазурик!.. – обратился к нему кто-то.

– Что, как сегодня работы?

– Чудесно... Антирацу много – земли мало! – объяснил рабочий у входа в шахту.

– Вы понимаете этот язык?.. – объяснил мне зритель. – Антирац – это всё, что содержит руду. Остальное – земля. Будь это хотя аметисты, корунды – всё равно земля.

Мы прикрепили к поясам нестерпимо дымившие лампочки. Перед нами какое-то отверстие. Вот передний стал над ним, и тотчас же черная дыра проглотила его. За ним была моя очередь. Я взглянул вниз – глубокий колодезь, теряющийся во мраке. Оттуда пахло на меня сыростью могилы. Более чем на сто сажен он шел вниз, так что если сверху спустить камешек, то, упав на дно, на человека, он мог бы убить его сразу, как пуля. С первого же момента я понял, что тут надо держать ухо востро. Лестницы были устроены самым первобытным способом. Колодезь в нескольких местах перегорожен дощатыми заборками, и на них от одной к другой опираются лесенки из двух продольных жердей с перекладинами. Спустишься по такой лестнице и ищешь ногой доски. Неверный шаг – и сквозь громадные дырья заборок можно полететь вниз, разбиваясь головой о доски других платформ, о перекладины лестниц... И самые лестницы были скользкие. Видимо, тысячи рабочих рук десятки лет полировали их. Даже нога не удерживалась на перекладинах. «Осторожнее!» – слышалось снизу... «Тише!» – кричали сверху, и по тревожным голосам новичков, спускавшихся в первый раз в подобную шахту, мы понимали, до какой степени им жутко... Через несколько секунд после того, как я опустился в шахту, ее отверстие уже казалось каким-то серым пятном. Там, за ним – яркое солнце, голубое небо, привольный воздух, напоенный ароматом северных цветов... Тут, внизу – зловещий мрак могилы, сырость этого червивого хода... Скоро серое пятно точно распустилось во тьме... Ни над нами, ни под нами – ни малейшего просвета; видишь только небольшой клочок какого-то бревенчатого сруба, на который падает тусклый и бледный, словно тоже испугавшийся, луч твоей лампочки... Скоро под нами и бревенчатый сруб пропал... Свет скользил уже по изломам и черным прослойкам какой-то породы, казалось, покрывшейся потом. Тут сквозь тысячи незаметных пор уже сочилась вода... Черные струйки ее уже сбегали по черной стене... Скоро струйки слились в ручьи, ручьи тысячами брызг стали обдавать наши лица.

– Экая гадость! – жалуется кто-то, а кто – не видите во мраке.

– Что ж... По крайней мере, не сухо встречают нас – и то хорошо...

Лестница кончается... Держась на руках, нащупываете, где доски платформы. Стал на них наконец и опасно разглядываешь, где в ней провал... Вон его черная зияющая дыра. Подходишь к ней... С усилием различаешь в отверстии первую перекладину новой лестницы. Становишься на нее и сам чувствуешь, как у тебя дрожат руки и ноги... Различаешь, что доски этих платформ уже далеко не надежны, что они вот-вот рухнут... И сам злишься на свой страх, думаешь, что его видят другие... И всё ниже и ниже под землю... Теперь миллиарды пудов ее висят над тобою... Чуть только сдвинуться

им – и ты заживо похоронен в этой норе... И вдруг разом делается вам до такой степени мил и близок солнечный свет, так вас тянет вверх, так хочется еще хоть раз вдохнуть в себя эту чудную освежающую струю вольного надземного воздуха... «Как это прежде я не понимал этого наслаждения – дышать им?» – проносится в вашей голове в то время, как вы машинально всё ниже и ниже спускаетесь по неведомой жиле... Что-то движется рядом с вами... Вам начинают в этом мраке чудиться какие-то бесформенные, но живые существа... Вон из этой черной породы колодца точно протягивается к вам и своими холодными, скользкими щупальцами касается вашего лица какое-то чудовищное пресмыкающееся... А тут еще каблук спускающегося над вами задевает вас за голову; наконец, точно испуганная этим подземным царством, ваша лампочка тухнет, от ужаса закрывая свое подслеповатое око – теперь уже ничего не видать вам. Теперь ваши руки с какой-то лихорадочной поспешностью схватываются за мокрые перекладины, попадают на влажную стену колодца, и студеная вода его бесчисленных ручьев заливается вам за рукав... И чудится вам, что это не вода, что это черви – влажные могильные черви забираются к вам на грудь, под мышки... Наконец, вы на платформе... Осторожно останавливаетесь, не выпуская из рук лестницы.

– Чего это вы? – насаждает на вас следующий за вами.

– Огня дайте... Лампу зажечь...

И вы чувствуете, что ваш голос как-то хрипит, точно это не вы говорите.

– Огня, сейчас... Вот только дайте ногу поставить... Вот так. Огонь?.. Вот огонь!..

И у него тоже дрожит голос, и он охрип. И его рука как-то впивается в перекладину лестницы, и он не хочет отойти от нее... Еще бы! Тут же зияет провал. Одна секунда – и вы внизу... там вон, где ничего не видно, где только чудится семидесятисаженная теперь глубина.

– Половину прошли? – не то вопросительно, не то испуганно кричит кто-то внизу.

– Какое половину... треть всего!.. – слышится еще ниже.

– Ах, ты, Боже мой!..

И опять всё ниже и ниже. И опять считаешь перекладины и с каким-то напряжением вглядываешься во мрак, точно вот-вот в нем выступит какая-то огненными буквами написанная тайна... Спускались, спускались – наконец совсем стали похожи на мокрых крыс, что живут в вечной тьме водосточных труб...

– Теперь скоро... Тут смотрите в оба.

– А что? – опасно откликаются сверху.

– Тут лестница висячая... А под нею другая такая же.

Мы держимся на руках. Висим над пропастью... Вот-вот сорвемся. С одной такой лестницы – осторожнее чего невозможно – на другую... Наконец внизу тускло блеснули огоньки, слышится плеск воды, громоханье каких-то рычагов, шорох цепей, стук водоподъемной машины, журчанье сбегających ручьев, говор людей и где-то глухо-глухо замирающая песня... Песня – здесь, в этой могиле! Да разве мертвецы поют? – так и хочется кинуть вопрос этому тяжелому густившемуся вокруг мраку...

– Ну, теперь дома!

Нога по колено уходит в воду... Вода на дне шахты... Как ни пыхтит, как ни насаждается отливная машина, ничего не может она поделаться с этой массой со всех сторон стремящейся сюда воды.

– А ведь в сто двадцать сил!.. – замечает зритель...

Неужели мы добрались до земли и стоим на ней? Направо и налево черный коридор. Мрак в его концах. Спершийся воздух вздрагивает от выстрелов...

– Что это такое?

– А динамитом рвут руду... Где твердо...

Жарко тут. Так и хочется сбросить с себя всё... Из одного коридора мы вступаем в другой. Тут, напротив, почти сквозняк. Ветер так и несется мимо, точно он торопится догнать кого-то и, словно мимоходом, тушит наши лампочки. Из этой жилы в другую, боковую, где опять застоялась жара. Направо и налево червивые ходы в черные ячейки, где работают совершенно голые рабочие. От жары они сбросили всё с себя и возятся над громадами твердой, как камень, породы... Вот один весь в каких-то пятнах, точно его от сырости и мрака всего покрыло лишаями, откусил зубами вместо ножниц мягкий динамит, вставил его в патрон и вложил в забойку.

Не успели мы с ним выскочить в червивую жилу, как в ячейке послышался грохот. Серые клубы дыма повалили оттуда!..

– Ну что? – спрашивает зритель.

– Хороший антиреж!.. – и голяк накладывает оторванную от стены его ячейки породу в тачку.

По этим норам, жилам и переходам нельзя одному идти и думать. Во-первых, легко заблудиться, а во-вторых, в этом лабиринте параллельные штольни верхние и нижние, составляющие несколько ярусов, соединяются между собою штреками, которых в черном мраке кротовой норы этой и не заметишь. Ступишь, не разглядев, и очутишься на глубине, разбитый, изломанный, если не убитый насмерть. В коридорах, пробитых в сланце, изломы его блещут и лучатся от тусклого луча вашей лампочки... Вот черная пещера... Точно в залу попали... Углы ее теряются во мраке. Сверху тоже навис мрак... Далеко-далеко бежит какой-то огонек – видимо, рабочий спешит куда-то... Огонек разом сгинул – должно быть, рудокоп свернул в какую-нибудь боковую жилу... Вон другой вдруг точно родился во мраке, поблистал, поблистал и умер в том же мраке. Голоса, силуэты, очертания стен – всё приобретает какой-то фантастический характер... На влажной земле что-то белое. Опускаю лампочку – противные белые грибы. Сверху каплет и льется. После жары, весь мокрый, войдешь в жилу, по которой сквозняк так и ходит, точно в зимнем холоде очутился. Зуб на зуб не попадает...

– Тут замерзнуть можно!

– Воображаю, как болеют рабочие.

– Наши привыкли. Нашим всё равно!..

Вон деревянные столбы. По ним и по стенам спускаются какие-то белые лисьи хвосты. Оказалось, что это растение, не издавшее никогда солнца

и неба... Вон, – показывает мне рабочий, – посеял он в уголку горошину. Она дала белый росток... Дерево крепей совсем зеленым стало. Вместе с водой на него попала руда да и покрыла всё... Одну балясину, совсем покрывшуюся таким образом медной пластинкой, послали к Траутшольду. Особенно в одной шахте – теплой, как баня, сверху так и висят белые кисти растений, выросших во мраке. Нельзя было рассмотреть их, слишком высоко они.

Вон в одном коридоре разрабатывают твердую породу в так называемом «лежачем» боку. Я поинтересовался узнать, что получает тут рабочий за свое истинно каторжное дело. Голый, в жаре, он изводится над непосильным трудом, взрывая динамитными патронами глыбы руды. Когда патрон заложен, ему приходится выбегать в боковую жилу, где сквозняк так и охватывает беднягу невыносимой стужей. Оказывается, что за каждую кубическую сажень он получает восемьдесят рублей, причем из этой платы вычитается стоимость динамита и масла. В день, таким образом, при старательской работе он получает до одного рубля за восемь часов. Труд здесь не прекращается ни на одну минуту – каждую галерею обрабатывают три сменные артели. На всякую из них приходится по восьми часов. Всего же в руднике, в подземных жилах его и ячейках, гнездится летом триста, а зимою пятьсот человек. За мягкие породы платится дешевле. Так, за разработку руды в глине дается только по двенадцать рублей за кубическую сажень.

– Робить много приводится! – жалуется рабочий. – Еще где воды нет – на сухом месте хорошо, а вот где вода – совсем пропащее дело. Внизу-то вода холодная, потому из тех вон штолен идет, не нагревается. А там, вверху, жарко. Стой в ей по колено... Сейчас раны пойдут, в костях заноеет.

Один рабочий – лежит совсем. Его подняли: оказалось, ревматизм так схватил, что бедняга упал. Понесли его к другому колодцу, по которому вверх движется бадья с рудой. Сложили несчастного на руду. Шахта – теряется вверху во мраке. Снизу освещают железную бадью масляные лампы своим красным зловещим отблеском. Заскрипела цепь, бадья с рудой и рабочими стала вертеться во все стороны, грузно и медленно подымаясь кверху... Кое-где до нас доходили глухие отзвуки ударов. Это бадья билась в стены...

В одной из жил щами запахло...

– Неужели у вас и кухня здесь?

– Нет, это сверху доставляют им пищу. Хлеб у них свой, а щи на владельческий счет отпускаются им. Это благодаря статьям Португалова стали их давать; прежде не было.

Направо ячейка. Сумрачный рабочий, голый, разумеется, возится в ней; рядом с ним трехлетняя девочка: бледная, большеглазая...

– Ты как сюда попала? – попробовал было ее приласкать кто-то.

Она отшатнулась, как-то дико взглянула на нас и спряталась за отца.

– Фея-то пугливая...

– Сиротка она, – ответил за нее рабочий. – Жена у меня померла – оставить ее не на кого; ну я и беру ее с собой, пока подрастет... Всё она лопочет по-своему – мне и повеселей. Точно бы и не в могиле, а то совсем пропадать

надо... Мы-то ведь, не как прочие, не по восьми часов робим, а по двенадцати, зимой да осенью, так света и не видим. Как сходим сюда, темь еще стоит, а выйдем – та же ночь уже!..

В самом деле, странное существование! И тем не менее, какая масса рабочих идет сюда – только возьмите. Заработок в рудниках всё-таки выше заработка хлебопашца уральского. Мастерские, сравнительно с земледельцами, благоденствуют. Средняя годовая плата даже заводскому рабочему доходит здесь до ста шестидесяти трех рублей. Управление всем одиннадцати тысячам человек выдает ежегодно до одного миллиона восьмисот тысяч рублей. Понятная вещь, что озьявшие после вырубке лесов поля не дадут крестьянину таких денег.

– Как с земли шубу-то сняли – не родит она хлеба. Холодно ей – укрыться нечем.

А сколько лесу нужно здесь – страшно даже становится за будущее, и очень близкое будущее. Так, например, в этот медный рудник идет ежегодно до шестидесяти тысяч бревен отличной лиственницы. Дерево гниет в крепях ужасно. Поставят его – две-три недели оно постоит, а потом – крах, и совершенно неожиданно валится оно под напором миллиардов пудов земли и руды, опирающихся на него. Весь рудник состоит из разрушенных, разработанных пород. Чтобы они не завалились и не покосили жилы, где в бесчисленных ячейках кипит одиночный труд рудокопов, нужно поневоле поддерживать землю всё новыми и новыми крепями. При перемене этих крепей работа очень опасна: того и гляди рухнет вся эта слежавшаяся масса и заживо похоронит несчастного. Вот, например, жила, по которой идем мы. Она вся из нагнетающих пород и потому покосилась и искривилась. Того и гляди, что задавит нас. Сердце бьется. Становится жутко как никогда. Еще хуже, когда приходится рыть новые штреки от старых шахт – тут люди задыхаются от недостатка воздуха и свечи тухнут в тяжелой напитанной углеродом атмосфере. Вообще, чем дальше удаляются от шахт, тем делается труднее... Четверть часа прокопается человек-червяк в подземном ходе, и скорей вон – схватить несколько глотков воздуха, отвести натомившуюся грудь. Случается, что и замертво выносят отсюда. Не дешево, вообще, достается право жить, и как жить!..

А тут еще вода заливает штольни и штреки отовсюду.

– Плохо у вас, верно, работает водоотливная машина?

– А вот как плохо – если бы она не действовала, так в полчаса весь рудник был бы залит.

Бывает нечто и похуже всего этого.

В подземном царстве рудника начинается пожар. Загорается дерево. Сквозняк начинает раздувать пламя, и оно быстро охватывает галерею. Воображаю ужасную картину эту, когда красные взрывы пламени несутся в черный мрак этих бесчисленных жил, рвутся вверх на воздух по бесконечным колодцам шахт и спокойными красными озерами разливаются в больших пещерах, сланцевые куполы которых зловеще поблескивают над этим озером! Еще недавно начался было один такой пожар, да его вовремя прекратили благодаря находчивости господина Сапальского, который живо заложил



отверстие загоревшейся жилы, и пламя потухло, задохнувшись от недостатка воздуха.

А то и еще тут бывают случаи: в пустотах разрабатываемой породы скопится гремучий газ; пробьют такую пустоту – моментальный взрыв, убивающий несколько человек.

- Неужели нет спасения?
- Лампы Дэви предохраняют.
- А у вас такие?
- Пока нет!

Бог бережет, а между тем достаточно наткнуться на такой сюрприз, и весь рудник может быть им уничтожен, потому что ближайших рабочих убьет, взрывом разрушит все шахты, в том числе и водокачалню, и кто спасется в этом погроме, тот утонет в прорвавшейся отовсюду воде... Этот успокоительный разговор нам пришлось вести на глубине более семисот футов под землей. Поневоле становилось невыносимо; но всякий еще выдерживал свой характер, боясь прослыть трусом. Ведь давно известно, что самолюбие и храбрость – синонимы. Первый изменил себе «его превосходительство».

- А знаете ли, кажется, уже поздно?..
- Ну, нет... – нерешительно ответили ему.
- Я, видите ли, тороплюсь, пора уже...
- Пожалуй, что же... по-видимому, – спокойно ответили ему.

Но зато как же быстро, то выпрямляясь в больших штольнях, то нагибаясь в штерках, мы двинулись по направлению к выходящей наружу шахте!.. Вот и она, наконец. Черный колодезь. Сверху журчит вода бесчисленных ручьев. Мы стали цепляться вверх по лестницам. Опять то же мучение, та же опасность – не туда ступишь, не так схватишься за перекладину лестницы... Всё выше и выше... Те же брызги в лицо, то же скользкое дерево под руками, тот же тяжелый мрак, те же поминутно тухнущие лампочки... Вот наконец что-то посерело над нами. Какое-то тусклое пятно определилось... ярче и ярче... Дышать становится легче... Пятно это погелубело; еще несколько усилий, и мы – наверху, под безоблачным сводом неба, под теплым солнцем...

Глаза жадно разбегаются по красивым далям, где едва-едва рисуются гряды и конусы Уральских гор. Грудь дышит и надышаться не может... И вдруг всем стало весело... Быстро, быстро говорят все, в одно и то же время, не слушая друг друга... Впоследствии, во время войны, я наблюдал то же – после только что пережитой опасности...

А там, внизу, в черных жилах, в подземных ходах и одиноких ячейках работают в вечном мраке сотни народа... Вечно – в могиле...

**LXIII. Салда. – Ермаков лес. –  
Раздробление заводских хозяйств. –  
Железная и золотая деревни. – Неплательщики. –  
Опять птица «золотое перо». – Верхняя Салда. –  
Зобатые люди, микроцефалы. – Ариды и Мафусаилы**

Сырое, дождливое утро. Небо нахмурилось, леса точно обливаются слезами. Впрочем, какие же это леса! Знаменитые старые боры давно сожжены в заводских печах, в чревах ненасытных домен, сгнили толстыми крепями в руднике – теперь только один безотрадный хвойный прирост круглится у грязной дороги. На мокрых полях мокрые косцы. Что они делают? Версты за верстами, а не на чем остановиться взгляду. Мало-помалу, под стать этому хмурому дню и хмурому небу, тоска закрадывается в сердце. Близость осени уже дает себя знать. Уныние лежит на всем. Изредка сквозь серую пелену дождя мелькают силуэты тоже насупившихся гор, вершины которых сливаются с низко нависшими тучами. Груды камня по пути обливаются слезами, точно под ними схоронен кто-то, кого они оплакивают и всё оплакать не могут. Слезятся стекла изб, попадающихся по дороге. Только в одном месте печальное однообразие северного пейзажа сменилось красивой глубокой долиной, по дну которой струится река Салда, то кутаясь в хвойные пустыни, то выбегая на луговины, должно быть, веселые под солнцем. Немного левее она разливается в спокойное озеро, точно стальной щит, брошенный в котловину. У его берегов дымятся пасти трех доменных печей, грязными клубами пышат устья вагранок и трубы. Серые постройки теснятся поближе к воде, точно им страшно отойти от нее к угрюмым горам, тысячи лет уже думающим всё одну и ту же думу над этим молчаливым краем. Салдинский завод основан здесь в 1782 году для плавки железных руд и кричной выковки металла. Отсюда очень далеко до главного нерва этого края – реки Чусовой, но невыгоды фрахта выкупаются близостью лесов, еще кое-где остающихся в околodge... За Верхней Салдою появились и кедр. Сначала в одиночку, точно они выбежали разузнать, удобно ли переселиться сюда и остальным, а потом уже целыми рощами... Как красиво это дерево – не теперь, в этот ненастный серый день, а под солнцем. Нежные оттенки зеленого бархата лежат на его широких ветвях... Что-то могучее, крепкое, прочное сказывается в этих зеленых массах, находящихся достаточно соков в давно истощенной и разграбленной человеком земле.

– Это еще Ермаков лес! – объяснили мне.

– Да ведь Ермак тут не шел.

– Это всё равно. Народ со всем, что здесь выдается из ряда, соединяет имя Ермака... Ермакова гора, Ермакова падь, Ермаков лес. Тут, в Салде-реке, он оставил свои лады и отдыхал под нашими кедрами. Говорят, остатки ладей до сих пор отыскиваются.

Очень возможно. В другом пункте Урала повторилось то же самое. Ермак из Чусовой поднялся вверх по реке Серебряной, против течения. Тут в самом устье он оставил три барки. Их сплошь занесло землей и песком.

Впоследствии, как нам рассказывали, В. Д. Белов стал там бурить землю и действительно нашел доски, остатки барочного леса, но ни одного железного гвоздя.

– Таких Ермаковых лесов прежде было гораздо больше; теперь их сожгли.

– Даже и к истории ваши заводчики не питают особенного уважения.

– А что же делать? Будет еще хуже. Надел хочет отнять у заводских хозяйств леса и отдать их крестьянам – разумеется, известную долю. Крестьяне их сейчас же сожгут и опять, нанимаясь на заводы, станут включать в условия выдачу им дров... Лесов станет еще меньше. Это несомненно. А с уничтожением их уменьшается производство самих заводов. Когда-то еще железная дорога доставит нам уголь на выгодных условиях. Один Аллах это знает, да и тот никому не скажет!..

Поднялся разговор о задуманном каким-то администратором раздроблении заводов между многими владельцами, причем, разумеется, маленькое хозяйство предполагалось гораздо производительнее большого. Но против этой идеи восстали здесь все.

– Пусть правительство даст право каждому разрабатывать руду, если ею не пользуется владелец, – это справедливо. Придите вы и займитесь; я, как владелец, скажу вам: «Спасибо, работайте только». Я же у вас возьму руду по копейке с пуда, другой не возьмет, потому что в другом месте поставить завода нельзя, кроме моего, потому что лес-то ведь у меня в руках. И пока леса в руках у владельцев, никакие раздробления заводских хозяйств невозможны. Что из того, что я вам дам право строить завод? Выстроить – выстроите, а чем вы его топить станете? Топливо-то ведь у владельца. Пусть устроится железнодорожный путь для каменного угля, тогда и раздробление возможно. Представьте, что если и дадут вам лес, то при условии устройства доменных печей потребуется на каждую 30 000 коробов в год, т. е. 12 000 кубических сажень, по меньшей мере; хороший лес здесь, средним числом, дает двадцать кубических сажень дров с десятины: следовательно, ежегодно для всякой доменной печи вам понадобится 600 десятин лесу. При настоящем приросте, нужно девяносто лет на возобновление лесов. Следовательно, для каждой доменной печи понадобится 60 000 десятин; сверх того следует оставить для жителей, для построек, на барки, на паровые машины. Таким образом, и 100 000 десятин будет мало. Какое же это мелкое раздробление хозяйства; напротив, опять оказывается крупное владительство. А присоедините к этому разработку рудников, для которой опять нужны леса! Получили вы, наконец, чугун – у вас для плавки его нет завода. Следовательно, или отдавайте его ближайшему заводчику по произвольной цене, или стройте свой завод делательный. На него опять пойдет топлива на 100 000 десятин. Сообразите-ка эти цифры. Да и когда каменный уголь подвезется, и тогда еще это не скоро будет возможно. Потому что ведь древесный уголь для доменных печей все-таки останется незаменим... И то уж приходится держать завод Бог знает где. Лишь бы лес был около. Вот, например, Верхне-Салдинский завод. Сколько возни здесь! Сплав у нас по Чусовой пока. Чусовая действует много-много две недели, а иногда случается только три-четыре дня, а потом обмелеет, и жди следующего года. Доставите вы металл в конце мая; ну и сидите с ним

до следующего начала мая. В Нижний он попадет в июле. Считите, во что обойдется охранение его да проценты на затраченный капитал на четырнадцать месяцев.

Привожу без комментариев эти рассуждения лиц, заинтересованных в поддержке крупных хозяйств.

Дорога содержится здесь очень хорошо. Какое же сравнение с каторжным путем между Пермью и Екатеринбургом, где путешественникам приходится идти пешком, а обозы, сворачивая, едут целиною. Скоро мы погрузились наконец в лесное царство, которое далеко отошло от людного Тагила. Громадные деревья оголены до вершины; зато самые вершины эти раскидисто сплетаются между собой в непроницаемые своды. Тем не менее нет здесь этого красивого сквозного бора, позволяющего на въездах рассмотреть вдаль и хмурые горы, и необъятную ширь горизонта. Мелкая поросль повсюду подымается между старыми стволами, охватывая их своим зеленым облаком... Многочисленные стада повсюду. С какими-то, совсем необыкновенными, мохнатыми ушами коровы, которых только здесь и встречал, глупо смотрели на нас, выдвигая свои мокрые морды из густой поросли по сторонам дороги... Вон старательская артель прошла мимо с вашгердами, вся мокрая, понурая какая-то... Две деревни по пути – соседи совсем. Одна занимается железным делом: постройки прочные, красивые, скота и коней вдоволь; другая – чуть ли не Тавда – старательская, на золотом деле вся... Точно в лишаях ее покосившиеся, расшатанные хатенки, кровли их будто ребра, окна выбиты; избенки кажутся подслеповатыми. Народ заморенный, зеленый; лица в подтеках. Разорение во всем и на всем. Скот в первой деревне крупен, во второй – изморен и мелок, как и люди. Дворы в первой – полным-полны разным хозяйским скарбом, постройками; во втором – пусты, а кое-где и самые заборы на дрова пошли. Кавалькада баб выехала из лесу. Верхами сидят на конях.

– Эй, вы, казаки! – орет им навстречу ямщик.

– Чего?

– Подолы-то подберите... Неравно, лесовика спужаете.

– Мы вот тебя спужаем... Сволочем в лес да розгами... там про тебя страсть сколько выросло.

Ямщик заторопился и погнал коней.

– Чего ты испугался?

– Наша баба, когда она в лесу – бедовая... С нашей бабой не шути тогда... Она точно что вспорет... Станового тут так-то бабы высекли... Чего уже...

Совсем оригинальный тип пошел отсюда. Рослый, сильный, очень похожий по складу своему на поморов архангельских.

– Тут у нас, у крестьян, двойные фамилии все пойдут, точно у дворян... И народ толковый, особенно в железных деревнях. Самый говор тоже является некоторые особенности. Вместо ц – всюду слышится с. Серковь, улиса, девиса, сельый, полиса, сариса и т. д. В постройках щегольство: на кровлях цветные петухи, ставни разрисованы, в окнах непременно цветы и самовар, почему-то неизбежно выглядывающий на улицу. Крупные люди, но лица очень некрасивы. Видна помесь с пермяками и другими инородцами, точно

так же, как в северном поморском типе заметны следы чудского племени. Соломенных кровель уже не встретишь вовсе, даже там, где высевают хлеба много – избы крыты тесом. Здешние «сибиряки» считают за срам поставить над своим жильем такую крышу. «Мы не нищие», – говорят у них. «Это у вас в Рассее хорошо... Тепло под соломой... А у нас, слава Богу, и дерево еще есть. Лучше, чем эта меховина-то»... Местность мало-помалу всхолмливается. В лощинах змеятся красивые реки. Превосходные дороги везде пробиты прямо, просеками и так широки, что на них разъедутся в ряд две-три тройки. В избах по пути чисто. Горная страна дает себя знать уже и иными нравами. Невест увозят, убийства – часты, но не из-за грабежа, а из мести. Совсем другой темперамент во всем. Люди вежливы, но не подобоострастны. Начальства, впрочем, не любят, особенно полицейского. Уж очень оно донимало их когда-то.

Здесь бы жили еще лучше, да одолела подать. Нигде, мне кажется, не приходится рабочему люду платить столько, сколько он платит здесь. Недоимки, тем не менее, особенно не прикапливаются, потому что заработки все-таки под боком – в руднике, в лесу, на заводе. Мы не говорим о «золотых» деревнях. Там дело иного рода. Там приходится задыхаться от разорения. Выработают россыпь, а затем, после нежданного богатства, таким же скачком начинается нежданная нищета. Недоимка растет. Волостная власть всеми мерами выбивает ее из крестьян, отыскивающих птицу «золотое перо», но, разумеется, выбивает до тех пор, пока они не выйдут из терпения. С этого момента с ними уже ничего нельзя сделать. Надев белые балахоны, они оставляют село, табором располагаются на холмах около и на все запросы отвечают: «Мы – неплательщики». Их можно бить, делать с ними что угодно, но при всем этом ни одной копейки не поступит в подать – это верно. Зачастую они предварительно порубят свои избы на дрова, дрова сбудут на заводы и совсем чистые уже предстоят перед предрержащею властью.

– Что с нас возьмешь теперь... Ничего не возьмешь... Бей!.. Мы – неплательщики.

Выведенные из себя крестьяне, впрочем, не особенно часто прибегают к этому. Они стараются держаться. Старательские артели ходят по лесам, отыскивая новых россыпей. Кабатчик, как таракан в оставленной избе, начинает худеть и хмуриться. Деревня разваливается всё больше и больше, как вдруг разносится весть: птица «золотое перо» оказалась. Открыта россыпь. Крестьянство бросается туда. Начинается работа. Золото льется рекою, кабатчик пухнет и отъедается. Баба ходит веселая, пьяная; разгул везде и всюду... Но избы не поправляются, двory тоже. Всё стоит покривившееся, пошатнувшееся. До завтрашнего для нет никакого дела, чего тут еще – если сегодня хорошо! А завтра – будь что будет... Власть старается поскорее собрать недоимки...

Но птица «золотое перо» на одном месте долго не сидит.

И деревня опять мало-помалу тощает. Захудалая стоит она, и шляются по лесам артели, отыскивая новые россыпи.

Так, мимо всех этих оголелых и зажиточных, запущенных и выхолненных деревень, добрались мы до спуска с высокой горы.

– Вот и Салда наша! – показали мне громадное село...

Лошади мигом подкатили к главному зданию, выведенному, как и во всех демидовских имениях, в том стиле, в котором строили при Александре I: с колоннами, гербами. Превосходный водолаз бросился нам навстречу, но, к крайнему моему удивлению, мы здесь постояли только минуты две-три.

– Куда же теперь?

– Да ведь Салды две: Верхняя и Нижняя. Нам нужно в Нижнюю.

Мимо кедровой роши мы проехали в молчаливый старый лес; скоро и он отошел назад, открыв большое село с красивыми домами, монументальными постройками завода, массою народа на улицах, пестрыми рослыми бабами, попадавшимися на каждом шагу. Нижняя Салда – самое людное после Тагила место; оно основано в 1760 году для выковки кричного железа; в 1870 году здесь горело только десять горнов, а несколько ранее, в 1849 году, введено пудлингование и сварочное производство, построен паровой пестовый молот для обжимки пудлинговых криц. В начале семидесятых годов в Нижней Салде уже работало шесть пудлинговых печей, причем несколько ранее стали здесь же выделываться рельсы. В двадцатых годах стали в этой местности готовить томленную цементную сталь, и теперь таких печей здесь около семи. В 1871 году выстроили большую доменную печь системы Рашета, с пневматическим подъемом для руды, доставляемой из Тагила с горы Высокой... Впоследствии здесь сварочные и пудлинговые печи переделаны по системе Боэциуса. Живет около завода не менее десяти тысяч человек. Кроме завода у них хорошие пашни, где высеваются рожь, ячмень, овес. Раз как-то попробовали посеять пшеницу – выспела хорошо. Тем не менее хлебопашество здесь невелико, потому что хотя земля и хороша, но ее мало; мало и новей из-под лесу, на которых особенно удачно подымается хлеб. Зато лесу тут еще много. Дремучие дебри его стоят пока нетронутыми. Топор промышленника не врубался в них, и только божьи стрелы – молнии зажигали порою это сумрачное и молчаливое царство вековых деревьев, под которыми привольно живет всякому зверю. Горное положение страны вызвало здесь то же, что приходится наблюдать и в Альпах: в обеих Салдах, Нижней и Верхней, и в соседних деревнях то и дело попадают зобатые люди. Доктор Рудановский, бывший с нами, обещал нам показать по крайней мере триста таких, преимущественно – женщин. Они здесь старательно прикрывают свои зобы, и смотреть на них, по местному кодексу вежливости, считается в высшей степени неприличным.

– Отчего это у тебя? – спрашиваю у одной.

– После курочки поела... Оттого и вырос зоб-от.

Здесь народ зимует вместе с курицами зобатыми в одних избах. По местному поверью оказывается, что зобы вырастают у тех, кто съел то, что курица ранее клюнула.

В той же избе, где мы видели зобатых женщин, возилась девочка-микроцефал. Все ее приемы напоминали обезьяну. Тем не менее она была очень весела, и мать ее поминутно ласкала.

– С ней у нас благодать! – объяснила она свою не совсем обычную нежность.



– Почему это?

– А потому – она боженькая. С тех пор как родилась такая да вырастили мы ее – у нас всего довольно стало. И хлеба на полях много, и коровы плодятся здоровые, и деньги завелись... Да и муж-то пьянствовать перестал. В ней, ты не гляди, что она несчастная, в ней благословение!..

Ей потому и лучший кусок, и лучший угол в избе. О ней заботятся как нельзя больше. Несмотря на всё это, народ здесь очень здоров и долговечен. Старики в сто лет не диво, а накануне нашего приезда в деревне Нелобе умерла, по местным показаниям, самая несомненная девица ста тридцати двух лет. Когда мы проезжали мимо озера, там на лодчонках, выдолбленных каждая из одной маленькой колоды, ловили рыбу старые седые крестьяне. Вон один гребет веслом-двойником. Седой как лунь – а работает живо.

– Ему вот больше ста лет, а смотрите: сам на себя трудится.

– Андрей!.. – закричали ему.

Тот снял картуз, воззрился на берег.

– Чего?

– Скоро ль помирать-то будешь... Пора?

– А во еще годков двадцать проживу... У меня кость крепка.

У этого Андрея оказалось детей, внуков и правнуков более шестидесяти человек, а он преспокойно сам себе вылавливает рыбу из озера, бойко продвигаясь по его спокойной глади в скорлупе-душегубке и так живо работая веслом, как и молодому человеку дай Бог.

– Мы помирать еще не согласны, – смеялся он. – Нас смертушка позабыла. Мимо шла и прозевала... Вот мы как.

И зубы во рту все, а вышел на берег и выпрямился. Видимо, старость не могла согнуть этого еще крепкого организма.

– Он вот еще и жениться хочет, да нельзя, оказалось, по закону...

– Отчего не жениться, – недовольно заговорил старик. – Это разве закон? Это не Божий закон, а так себе – судьи земные его выдумали... Бог-от что сказал: не добро быти человеку единому. А мы выше Бога быть хотим. Да мне что, я и на закон не погляжу. Возьму любую девку; за меня всякая пойдет... Что со мной со стариком закон сделает? Сослать меня нельзя...

– Никто за тебя не пойдет, – вмешался мой спутник.

– За меня-то... Нет, ваше благородие, за меня-то всякая... Не то что пойдут, побегут. Чем я не жених? И детки еще будут. Я до восьмидесяти лет не знал, что такое и болезнь значит. Николи болен не был... Только теперь вот, когда холодно, так ноги жалются... тоскуют ноги-то, да и это пустое совсем.

## LXIV. Храм Бессемера и таинство претворения

В Нижнюю Салду мы приехали с целью посмотреть храм Бессемера. Иначе я не знаю, как и назвать это грандиозное производство, действующее одинаково и на ум, и на воображение непривычного человека. Тут именно техническое дело принимает сказочные размеры, а внешняя обстановка его такова, что можно вообразить себя скорее в каком-нибудь таинственном древнем капище, чем в современном заводе. Из моего описания читатель усмотрит, до чего здесь всё громадно и эффектно. Я в первый раз был потрясен именно внешнею обстановкой заводского дела, его картиной, его художественным целым.

Бессемеровское отделение начинается громадною домной.

Это какое-то вавилонское сооружение. Одна сторона его – громадная, цельная сланцевая скала, заложенная сверху и с остальных трех сторон кирпичами. Массивная башня-печь, с отверстием вроде ворот, давит вас, когда вы стоите около, до того ее размеры велики и общий вид внушителен. Рядом – вход в «меховню». Тут громадные цилиндры сгоняют сжатый воздух в колоссальные вместилища-регуляторы, оттуда он рвется с оглушающим шумом в раскаленные чугунные котлы с расплавленным металлом. «Меховня» содержится чрезвычайно чисто. Это, собственно, две громадные залы, в одной из которых со стихийным шумом вращаются турбины и еще громче работают вверх чудовищные маховики. Кажется, что вас самих подхватывает какой-то вихрь и уносит Бог знает куда. Воздух свищет в ушах, что-то грохочет над головою, точно на вас падают сверху колоссальные молоты, которые, разумеется, были бы не под силу самому Вулкану. Глухие удары врываються порою в это царство оглушительных звуков, и вся эта «музыка труда», в конце концов, доводит посетителя до того, что он, теряя сознание, не понимает, что делается кругом. Вместилища сжатого воздуха наверху пугают своими размерами. Какие-то массивные чугунные организмы дышат, свистят и режут перед вами, над вами и за вами. Громадное чугунное колесо со страшною силою вращается около – вот-вот подхватит вас и в пыль изотрет в одно мгновение; громадные приводы от него во все стороны кажутся цепкими лапами какого-то железного чудовища. И оно не одно – за ним другое, третье... Целый сказочный мир фантастических существ, выкованных из металла и одаренных стихийною жизнью. И в то время, как все они над вами и рядом работают во всю силу своих железных легких, разгоняя вместо крови воздух по бесчисленным стальным жилам, внизу тоже идет работа: там под тонким полом гремят, пыхтят, хрипят невидимые уже легионы еще более сказочных, прикованных к массивным стенам существ, совершающих в вечном мраке свое непонятное для непосвященного дело... С ревом воздух стремится по трубам, проделанным в стенах, звенят и визжат железные цепи, пробегаая по каким-то орбитам, грохочет и точно всех их старается перекричать паровая машина и, в конце концов, голова ваша трещит от боли, в ушах покалывает – и не знаешь, как бы поскорее выбраться из этого отделения... Вам что-то говорят ваши спутники, вы их не слышите, сами

вы кричите им, и они тоже не различают вашего голоса в этой стихийной оратории, которую нужно слушать за версту, чтобы понять прелесть пресловутой музыки заводского труда... Наконец вы выходите, точно из жерла вулкана, на воздух, где опять вам становятся доступны и звуки, и краски, и впечатления земли.

– Что, оглушило? – улыбаясь, спрашивают вас.

В самом деле, современный мир перерос древность в грандиозности представлений. Что греческие кузницы бога Вулкана рядом с этими сравнительно небольшими капищами литейного дела!..

Вот, наконец, и главный храм Бессемера. Громадная железная пещера. Потолок и пол из железных плит, по бокам толстая крепостная каменная кладка... Размеры так велики, что, вступая сюда, кажешься сам себе каким-то муравьем... В стенах каменные выводные трубы, четырехугольные, с нишами вроде кафедры католических проповедников. Всё грандиозно, как во храме, и мрачно, как в языческом капище невидимого, но страшного бога. В глубине капища, за трубами, две отражательные печи, где сваривается железо, когда домна стоит. У самых труб точно висят в воздухе гигантские железные реторты, в каждой из которых помещается по пятисот пудов металла; прямо в середине – таких же внушительных размеров ковши, над целым рядом форм, расположенных полукругом. В эти формы отливается железная болванка. Ближе труб, направо и налево, два чудовищных железных крана, сажень по десяти в высоту каждый. Внутри капища темно. Только там, где ковши, под ними, точно жертвенный, горит красным блеском огонь очагов, раскаляющих ковши. У передней стены, где собрались мы, – род кафедры. На ней главный жрец этого храма – распорядитель. От него железные рычаги во все стороны – они теряются во мраке. Он один ведет дело, точно на клавишах играет на них...

Мрак густится и вверх... тяжелый мрак, в котором глаз почему-то упорно отыскивает таинственных очертаний и силуэтов... Вот из реторт, обращенных пастями вверх, рванулось туда пламя, но – бессильное разогнать этот мрак – погасло опять... Рванулось еще – и опять упало... Скоро оно уже горело из этих пастей ровным красным блеском... Не успели мы еще приглядеться ко всей этой непривычной обстановке бессемеровского капища, как главный жрец его тронул какой-то рычаг, и разом, с злобным свистом и раздраженным шипением, масса пару, скопившаяся в машине, вырвалась наружу, окутав серыми клубами и жертвенные огни под ковшами, и горящие пасти реторт, кровожадно раскрытые во мраке этого храма. Точно праздная свое освобождение из железных объятий, пар всколыхался вдоль стен и поднялся во мраке наверх. Мрак будто ждал этого: он разом проглотил серые клубы пара, и в капище вновь всё стало спокойно и неподвижно, только медленно колыхалось пламя, да из реторты слышалось зловещее клокотание...

Наконец наступил торжественный момент священнодействия.

Чугун сварился в отражательных печах. Какие-то таинственные алхимики выдвинулись из мрака, где я и не предполагал их существования. Они передвинули железный ковш к отражательной печи – и вдруг в черной пещере

этого капища разом стало светло... Чугун яркою струей льется в колоссальный ковш. Силуэты рабочих показались в углах капища, красный отблеск прорвался вверх под крышу... Между двумя отражательными печами устроена платформа, обрывающаяся вниз, где подставлен желоб. Ковш с жидким чугуном каким-то механизмом передвинуло на эту платформу. Безмолвно, издали, одною игрою на рычагах, главный жрец наклонил ковш над желобом, и жидкое пламя металла красивою дугой сверкнуло в воздухе. Только расплавленный чугун коснулся зева металлического желоба, как в сумраке храма громадным веером раскинулись бесчисленные золотые звезды, всё гуще и гуще взрывавшиеся оттуда... Звезды эти искрились, трепетали, вздрагивали, играли своими золотыми радиусами, разбрасывались и вращались. Казалось, что каждая из них обладала своею собственною жизнью, своим собственным движением. Ослепительный фонтан метеоров занял весь квадратный фон между двумя громадными трубами, чаруя глаза невиданною красотою... Виктор Гюго при виде этого нарисовал бы поразительно грандиозную картину рождения звезд и планет из общей стихийной жидкости, и действительно, нам казалось, что она выбрасывала во мрак мириады солнц, уносившихся куда-то далеко, далеко...

Наконец, чугун перелит... Звезды погасли или утонули во мраке... Главный жрец дотрагивается до другого рычага. Одна из висящих в воздухе реторт медлительно и мощно опрокидывается вниз, подставляя свою дышащую пламенем жадную пасть к желобу... Нам кажется, что эта сказочно-грандиозная реторта и есть божество железного капища. Она раскрыла свой огненный зев за приготовленную для нее жертвой. Тихо из желоба расплавленный металл льется в эту пасть... Наконец желоба опустели и отодвинулись, реторта грузно поворачивается на своих невидимых шарнирах, опять пастью кверху. В то время как реторта, проглотившая пятьсот пудов расплавленного в жидкость чугуна, поворачивалась устьем вверх, из него рвался громадный столб пламени, занимавший плоскость по крайней мере в пятьдесят квадратных сажен. Пламя рассыпалось несравненною и неопишуемою массою бриллиантовых трепещущих искр, изумрудных и рубиновых метеоров. Сообразно круговому движению пасти они составляли громадную дугу – целый млечный путь уносящихся в пространство звезд... Наконец пасть реторты повернулась совсем. Столб пламени из нее направился в трубу с глухим, но все остальные звуки покрывающим грохотом.

Главный жрец всё так же безмолвно коснулся какого-то нового рычага.

Свист внезапно вырвавшегося из заточения сжатого воздуха. Струи его бешено стремятся сквозь фурмы внутрь реторты... Точно пламя – враг этому воздуху, точно воздух давно искал его и теперь с безумным остервенением рвется к нему, чтобы начать свою вековую борьбу. Сжатый воздух, проходя сквозь расплавленную жидкость чугуна, совершает в огненном чреве реторты химическое изменение металла. Углерод чугуна от этого стораёт, и чугун обращается или в железо, или в сталь. При бессемеровании именно в сталь. Чтобы угадать момент, когда это совершится, распределитель (главный жрец бессемеровского капища) смотрит в спектроскоп на пламя, вырывающееся из реторты. Спектроскоп устроен в зрительной трубке. Сначала в спектре

на красном появляются золотая черточка никеля, затем в зеленом три черные черточки углерода в виде ширмочек. По мере того как углерод сгорает, черные черточки слабеют... Из реторты столб пламени выкидывает порою целые веера изумрудных и бриллиантовых звезд, с злобным шипением пронизывающих тяжелый мрак. Позади реторты – тоже мрак; в нем едва-едва намечающиеся двигаются темные силуэты рабочих... Черная ночь пристальным любопытством смотрит в окна на таинства, совершающиеся здесь... Чем дальше, тем впечатления становятся сильнее и сильнее. Действительно, начинаешь верить, что в этом капище, поставленном из чугуна, железа и камня, среди раскаленных печей – невидимо присутствующий дух Бессемера совершает чудесное таинство претворения чугуна в сталь, понятное только одному главному жрецу, безмолвно совершающему свои величавые обряды...

Наконец, таинство совершилось. В спектроскоп черные черточки углерода мало-помалу пропадают... Жрец касается какого-то рычага, и громадная реторта, этот чугунный желудок, переваривший металл, медленно опрокидывается пылающею пастью, выкидывая опять целые огненные фонтаны, золотые брызги которых сыплются щедро и на стены, и на пол капища. Раскаленный предварительно ковш медленно повертывается к огнедышащему жерлу реторты. Она еще ниже опрокидывается и льет в ковш ослепительно белое молоко, какую-то совсем солнечную жидкость. Тут уже нить золотых звезд, отсюда сыплются бесчисленные искры драгоценных камней... Выпустив железо и как будто бы в конец обессилев, реторта совсем кувыркается пастью вниз и из нее сквозь формы воздух выдувает всякий сор. Особый механизм, покорный тому же главному жрецу, подымает ковш со спелую сталью вверх, повертывает его над формами, расположенными полукругом. На дне ковша внезапно открывается отверстие. Та же солнечная жидкость льется по очереди в формы, наполняя их. Когда ковш совершит это полукруговое движение, все формы оказываются уже готовыми. Их засыпают сверху песком...

– Кто бы мог подумать, – говорит мне мой проводник, – лет пятнадцать тому назад, что железо, до сих пор в твердом раскаленном виде выбивавшееся молотами из чугуна, может быть обращено в молоко?..

Я не отвечаю ничего... Интерес дела еще не ослабевает. Сквозь песок, которым забросали формы, кипящая масса железа сотнями огненных языков прорывается вверх и выкидывает в мрак массы ярких брызг. В ней теперь до трех тысяч градусов жару... Когда из ковша всё железо выпущено, его повертывают и выбрасывают плававшие в жидкости шлаки. Их не забрасывают землей. Им дают кипеть спокойно.

– Точно суп на очаге булькает.

Суп этот кипит довольно долго, не охладевая. Масса жидкого шлака пузырится, выбрасывает клочки пламени. Золотые отблески его становятся оранжевыми, оранжевые – красными, красные – темнеют и переходят в синий, и наконец шлак устало подергивается пленкой, точно кошачий глаз... Самый ковш уже отведен рычагом в сторону и опрокинут, показывая вам свое раскаленное дно... Но таинство еще не окончено. Загадочно

неподвижные, колоссальные гидравлические краны, каждый из которых может, как пушинку, поднять тысячу пудов, должны выступить на сцену... Пока они еще молчат, ожидая своей очереди, в раскаленное дно ковша направляется струя воды. С громким шипением целые клубы пара взрываются вверх оттуда.

Железо в формах окончательно поспело. Стенки их отнимаются, и в капище оказываются восемь столбов раскаленного металла. Снаружи он уже отвердел, внутри еще жидок. Наступает момент, когда гидравлические краны, точно чудовищные хоботы невидимых слонов, медленно поворачиваются к этим столбам. Тихо развиваются громадные цепи... Два раскаленных железных столба схватываются ими и отбрасываются в сторону на рельсовую платформу. Четыре раза повторяется это и – всё кончено. Таинство совершено, храм пока пустеет, и главный жрец, сходя со своей кафедры, оказывается веселым малым в кожаной куртке, раскатистый смех которого носится под кровлей замолкшего капища... Веселый водевиль следует за важною и мрачною трагедией. На сцене появляется шведский пунш, и мы, чокаясь стаканами, повторяем:

– Мин сколь, дин сколь, алла вакра фликорс сколь! (Мое здоровье, твое здоровье и за всех красивых девушек).

Шведская здравница приходится как нельзя больше по душе господину Вальстеду.

– Красивых-то девушек и нет! – глубокомысленно замечает кто-то, переводя этот тост.

– Оне подразумеваются.

– Вот красивая девушка! – упирает главный жрец пальцем в кривого рабочего с обожженной вихрастою бородой и узловатыми цепкими руками. – Твое здоровье!..

– Коли мое здоровье, так и мне выпить следует.

– Это ганц справедлив! – замечает немец весело...

– Тысячу лет здравствовать! – и рабочий с наслаждением опрокидывает в себя стакан с господским видом. – Скусно... А только не забирает. Силы в ём нет...

Мы выходим, и черная холодная ночь охватывает нас... Далеко мигают огоньки селения. Вверху ни одной звездочки – всё заволокли тучи... Влажный воздух точно весь из какой-то дождевой пыли... Мы идем по дороге, спотыкаясь на каждом шагу.

– Этот бессемеровский храм, как вы выражаетесь, – замечают мне, – ежедневно может приготавливать, таким образом, до четырех тысяч пудов железа, или около полутора миллионов пудов в год...

Здесь считают, как видите, весьма крупно...



## LXV. Бунт из-за рабочей книжки

Здесь именно разгорался всего ярче один из эпизодов, давно забытых всеми, именно – бунт из-за рабочих книжек. Я уже рассказывал, как остроумный, бывший на «популярные» выражения посредник хотел прибить рабочего к заводу золотым гвоздем. Народ начал было собираться, рабочие стакнулись не идти на работу, заводоуправление ответило тем, что прекратило действие печей; остановило рудники. Если запрещены стычки, то также следовало бы запретить и произвольное закрытие заводов. Там, где управляющие были потолковее, как, например, в Черноисточинске, рабочие книжки подписывались без всякого шума. В Салде дело дошло до того, что народ стоял на коленах целый день, а Колмогоров, управляющий, вместо всяких объяснений, в чём дело, ходил себе перед ними с чашкой чая в руках да посмеивался. Никто не хотел толково рассказать крестьянам, в чём дело. Рабочие бродили как ошалелые. Придут к мировому – у того надпись: «советов не даю». Бросятся к священнику – тот только тяжело вздыхает да увещевает народ, что «несть начальства, аще не от Бога» или «Господь наказует строптивых». Недоумение распространяется еще больше, распространяется слух, что народ хочет опять поворотить в крепостные.

В конце концов объявилась, что, кроме пресловутого золотого гвоздя, здесь еще было немало поводов к волнению. В рабочих книжках крестьяне названы заводскими мастеровыми, следовательно, являлась громадная разница в наделе их землей. В сущности, таким образом весь золотой гвоздь сводился к вопросу о наделе. «Этак, пожалуй, нас по-прежнему сделают каторжными рабочими!» – говорили тагильцы.

– Что это еще за каторжные?

– Были тоже у нас. За весь день они получали на всё семнадцать копеек. Дошли от голоду.

Заводоуправления вообще всюду, где только могли, тормозили наделы. Некоторые доходили до того, что запрещали пашни; рабочий, видите ли, имеющий пашню, выходит из-под ига, как человек уже обеспеченный. Администрация завода хотела прежде всего обезземелить крестьян, прикрываясь недостатком леса для производства, а в сущности, не отдавая и безлесные плохие земли, потому что там могли оказаться руды и россыпи. Отводить же земли без руды противоречит принципу землевладения. Жадность заводоуправления в этом отношении была непонятна еще и потому, что оно и свои-то рудники разрабатывает только наполовину, не пользуясь вовсе другими. Очевидно, владельцы забыли, что они – не хозяева своей земли. Посессионное право давало им землю не в собственность, а в пользование. Правительство им этой земли не дарило вовсе, а отводило для разработки пропавших втуне богатств. Что же касается высказанного в начале нашей статьи опасения заводоуправлений, что крестьяне вырубят свои леса, то, во всяком случае, они не сделают это в столь грандиозных размерах, в каких проделал эту операцию один русский князь, сбывший громадные лесные площади французской компании...

Когда мы уезжали из Салды, солнце светило вовсю. Свежий осенний ветер колыхал пожелтевшие листья деревьев. Красивые холмы теснились вокруг глубоких долин, где шумно змеились чистые уральские реки... Золотым дном казался весь этот край с его неисчерпаемыми богатствами – золотым дном, где всё-таки ухитрились довести население чуть не до голодовок. Хищнически разрабатываются здесь сокровища, глубоко сокрытые в недрах земных; миллионы, добытые таким образом, праздно разбрасываются на ветер... И жаль становится этих заброшенных крестьян, больно за захолустья, где в вечной нужде своей бьется до кровавого пота рабочий, не зная сегодня, будет ли он сыт завтра!...



Акционерное общество «Иван Любимов и К°». Пароход «Кама».  
Почтовая открытка начала XX в. [www.numismat.su](http://www.numismat.su)



Елабуга. Чёртово городище. Почтовая открытка начала XX в.  
Из фондов Елабужского государственного музея-заповедника





Пермь. Река Кама. Пароход у пристани Каменских. Почтовая открытка начала XX в. [www.numismat.su](http://www.numismat.su)



Пермь. Железнодорожная линия под садом «Козий загон». Почтовая открытка начала XX в. Из фондов Пермского краеведческого музея



Сибирская застава. Почтовая открытка начала XX в.  
Фотокопия Сергея Соколова



Пермский пушечный завод. Ст. Мотовилиха. Почтовая открытка  
начала XX в. Из фондов Пермского краеведческого музея



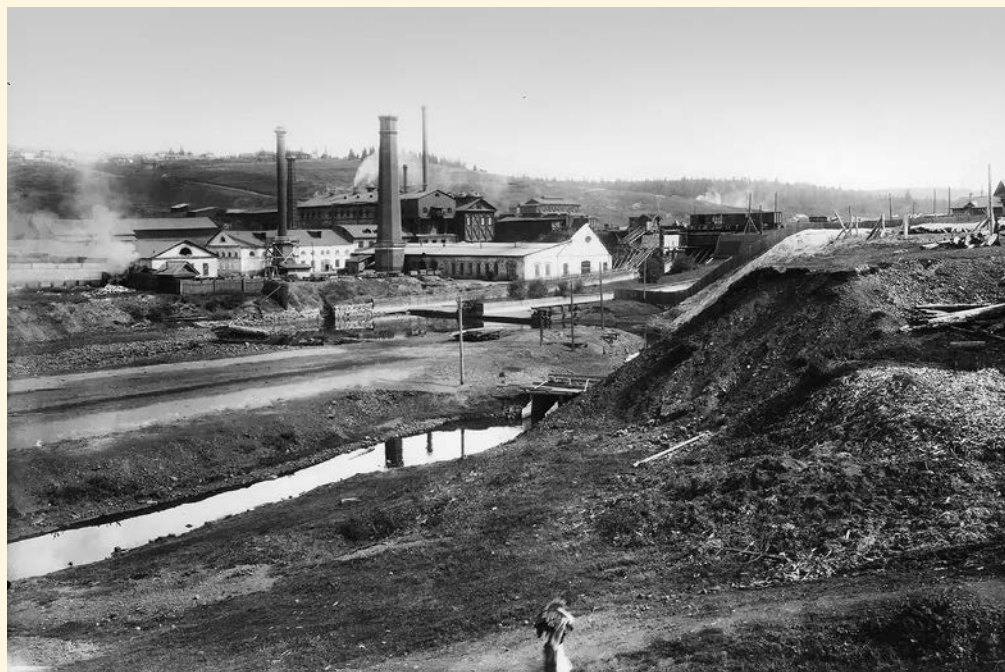


**Паровой 50-тонный молот. Пермские пушечные заводы. Мотовилиха.  
Конец XIX в. Из фондов Пермского краеведческого музея**





Деюхин. Солеваренный завод. Почтовая открытка начала XX в.  
Из фондов МБУК «Березниковский историко-художественный музей  
им. И. Ф. Коновалова»



Кизеловский завод. Общий вид с южной стороны. Начало XX в.  
Из фондов Пермского краеведческого музея



Кизеловский завод. Засыпка шихты в доменную печь. Начало XX в.  
Из фондов Пермского краеведческого музея



Лодки-душегубки.  
На Юрюзани.  
М. А. Круковский.  
Южный Урал:  
путевые очерки.  
М., 1909





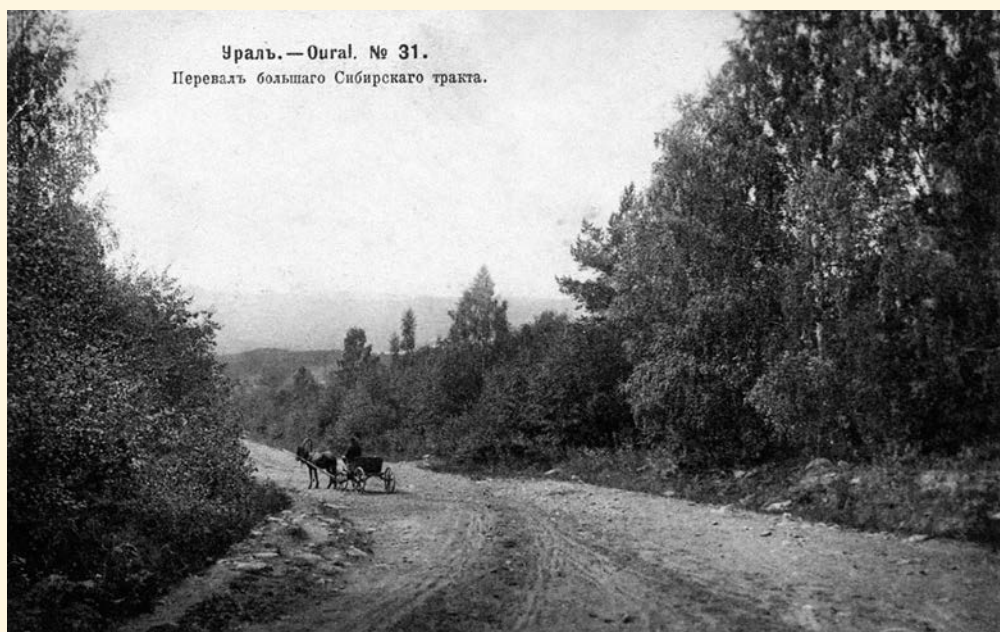
Работа в забое. Княжеская копь. Кизел, конец XIX в.  
Из фондов Пермского краеведческого музея



П. П. Верещагин. Река Чусовая. Камень Мултык. 1880.  
Из собрания Пермской государственной художественной галереи



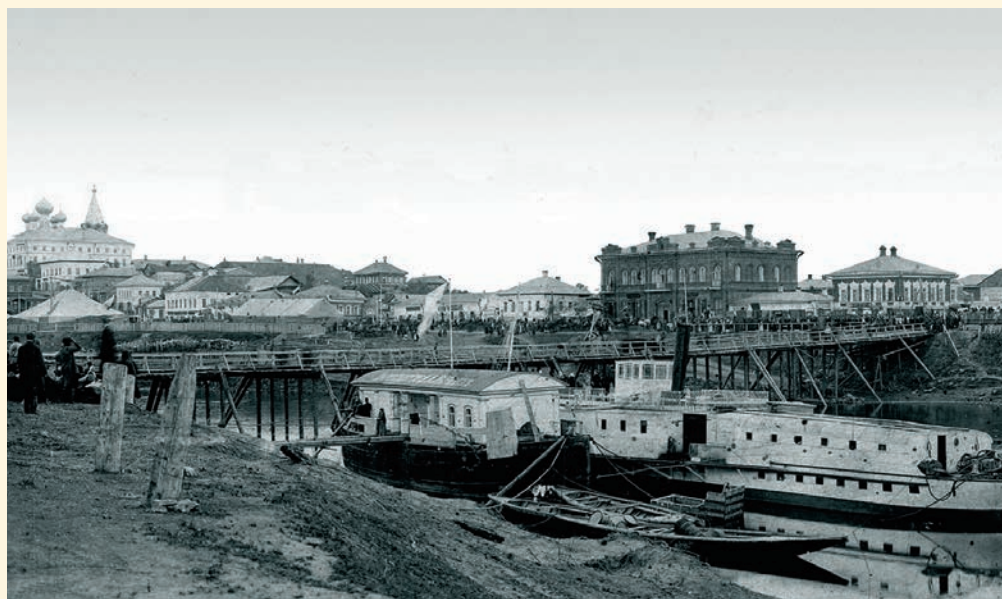
Механический цех Чёрмоозского завода. Начало XX в.  
Из фондов Пермского краеведческого музея



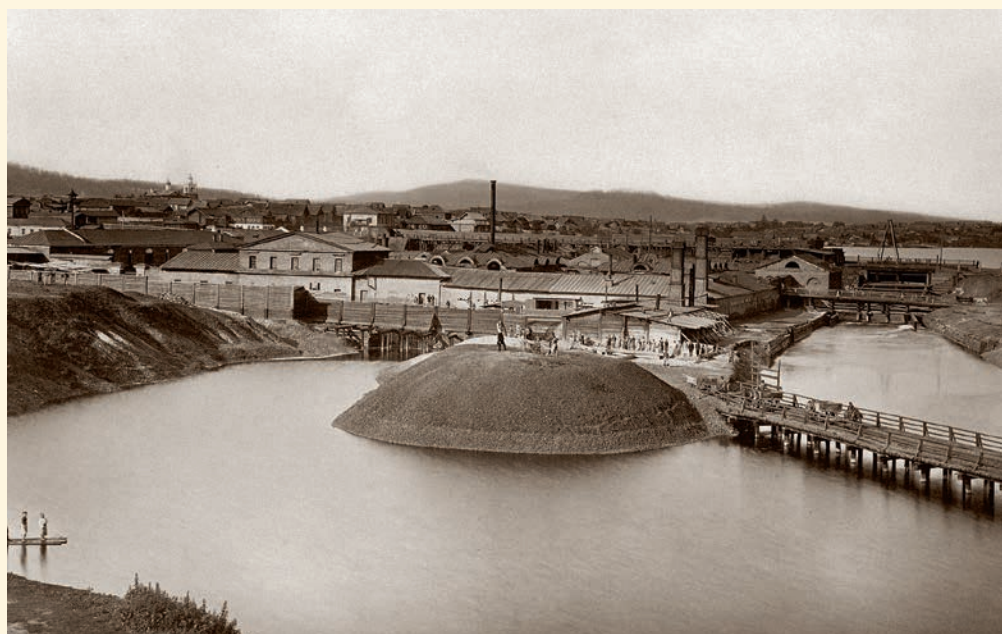
Ураль. — Oural. № 31.  
Перевалъ большого Сибирскаго тракта.

Сибирский тракт. Перевал через Уральские горы.  
Из фондов Центральной библиотеки Очёрского городского округа





Кунгур. Набережная Сыквы. Начало XX в. Из фондов Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

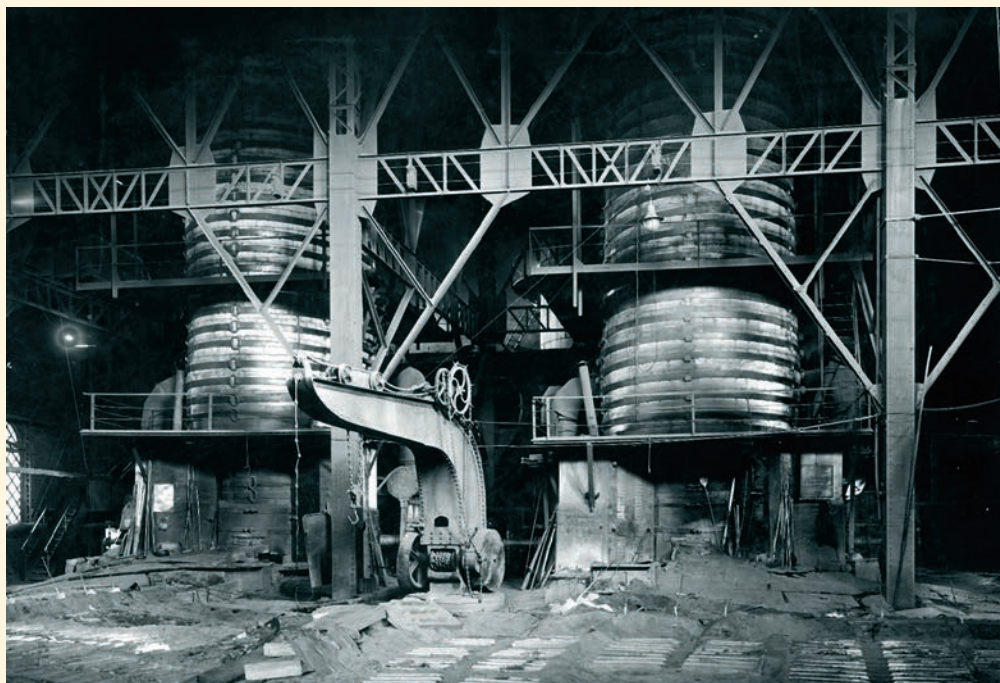


Нижний Тагил. Выйский медеплавильный завод. Конец XIX – начало XX в. Из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Н. Тагиль. Доменная печь.

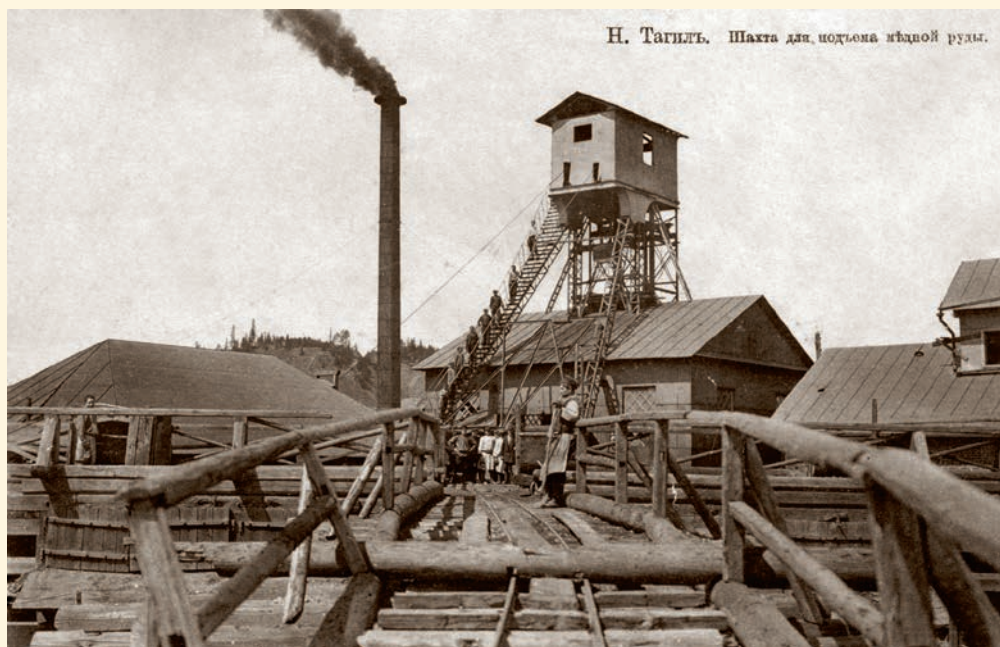


Нижний Тагил. Доменная печь.  
Почтовая открытка начала XX в. Из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»



Эллиптические доменные печи системы В. Рашета. Нижний Тагил.  
Начало XX в. Из фондов Нижнетагильского музея-заповедника  
«Горнозаводской Урал»



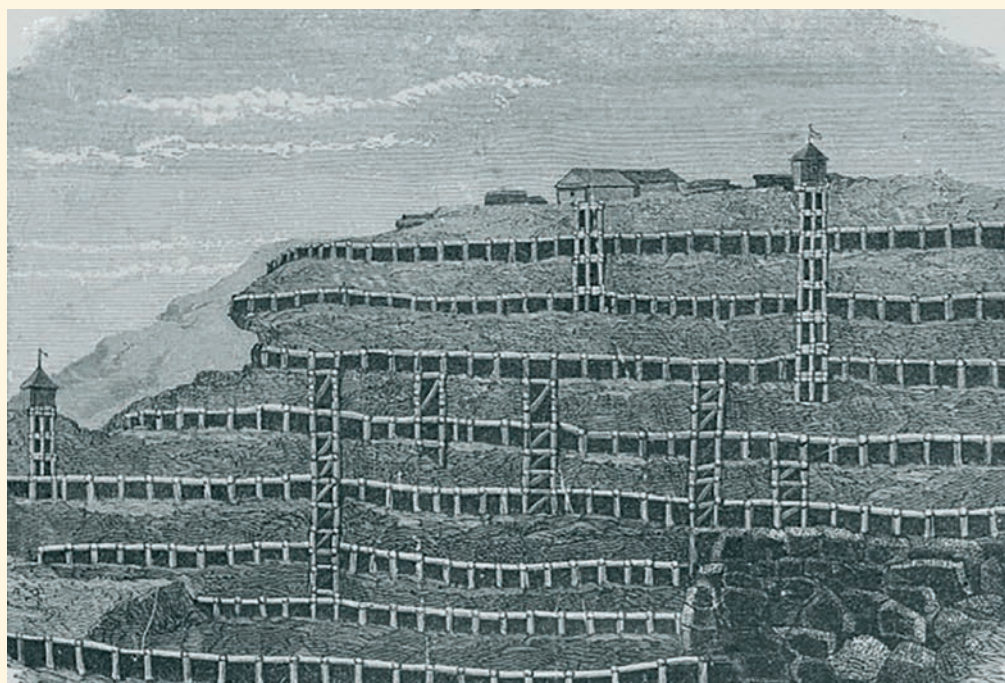


Н. Тагиль. Шахта для подъема медной руды.

Нижний Тагил. Шахта для подъема медной руды.

Почтовая открытка начала XX в.

Из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»



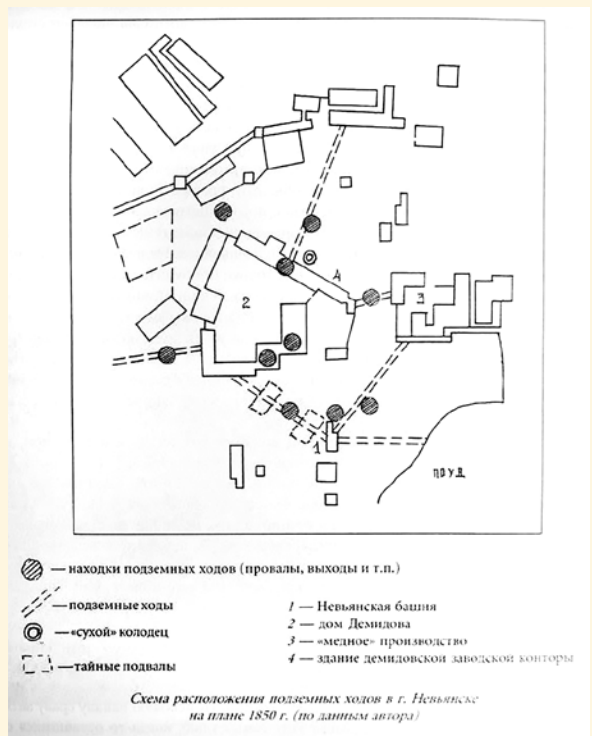
Модель шахты (в разрезе). Живописная Россия,  
Среднее Поволжье и Приуральский край.

Т. 8, ч. 2. СПб., 1901



На Урале. Наклонная башня  
на Невьянском заводе.  
Почтовая открытка начала XX в.  
Источник: zavodfoto

Схема подземных ходов  
в Невьянске. В. М. Слукин.  
Тайны уральских  
подземелий.  
Свердловск, 1988

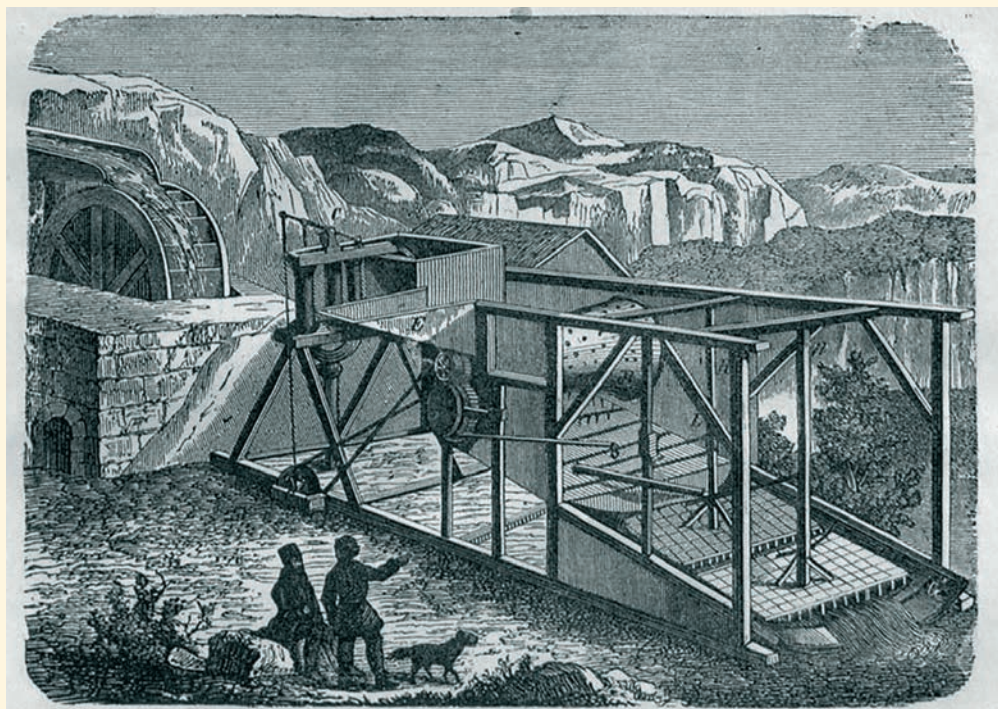




308. Средній Уралъ — На платиновомъ приискѣ.  
Промывка на вашгертѣ.



Средний Урал. На платиновом прииске. Промывка на вашгерте.  
Почтовая открытка начала XX в. fotostarina.ru









Центробежная машина для промывки золота и платины.  
Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии.  
По описаниям Т. У. Анткинсона и А. Т. фон-Миддендорфа... и др. Санкт-  
Петербург: М. О. Вольф, 1865

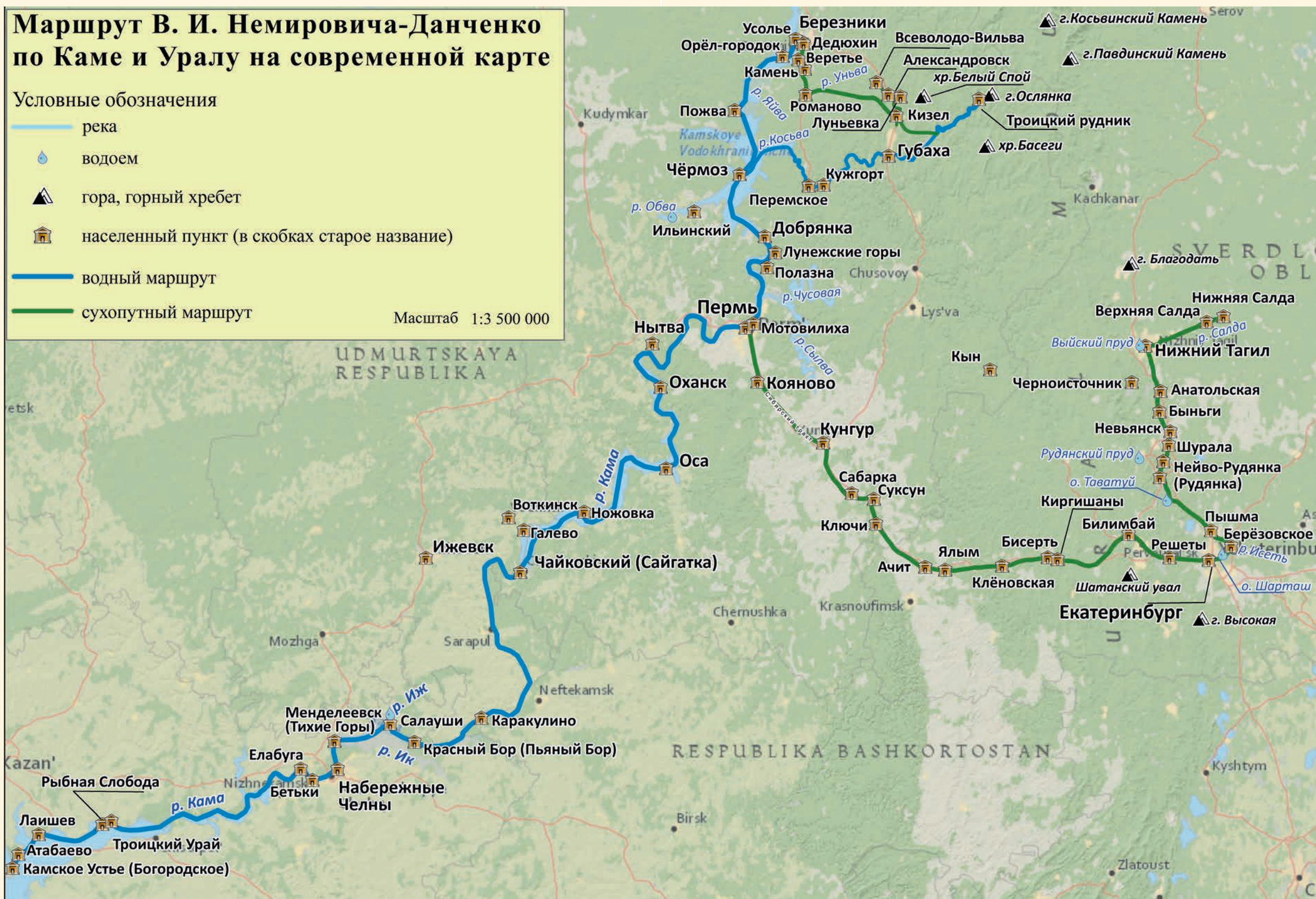


# Маршрут В. И. Немировича-Данченко по Каме и Уралу на современной карте

## Условные обозначения

-  река
-  водоем
-  гора, горный хребет
-  населенный пункт (в скобках старое название)
-  водный маршрут
-  сухопутный маршрут

Масштаб 1:3 500 000







Нижнесалдинский завод. Доменные печи и бессемерь. Почтовая открытка начала XX в. Из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»



Рабочие Висимо-Шайтанского завода. Начало XX в. tagil-press.ru

## Комментарии

Перед вами первое современное издание книги В. И. Немировича-Данченко «Кама и Урал: очерки и впечатления», которая до сих пор была доступна только в бумажном и отсканированном вариантах первоисточника. В ходе работы над текстом книги и подготовки предметного комментария были выявлены отдельные ошибки при воспроизведении местных топонимов и фамилий, а также датировке некоторых событий. Все подобные случаи отмечены в постраничных комментариях. В текст книги исправления вносились в случае очевидной опечатки (например, Зыряков вместо Зырянова, Уральский Монастырек вместо Урайского, Александрийский завод вместо Александровского, который уже не раз упоминался). Написание диалектизмов, просторечий и устаревших слов в основном сохранено. Расшифровка значения таких слов давалась в случае затруднительного понимания.

Текст воспроизводится по изданию: Немирович-Данченко В. Кама и Урал: (очерки и впечатления). С.-Петербург: Тип. А. С. Суворина, 1890. 750, IV с. Орфография приведена к современным нормам, синтаксис исправлялся только в случаях очевидного несоответствия с актуальными нормами. Оставлено без изменений написание названий, образованных от составных топонимов: Нижне-Тагильский, Верхне-Салдинский и т. п.

Выражаем благодарность сотрудникам кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ З. С. Антипиной, Л. В. Ермаковой, Ф. Р. Пантелеевой, доценту кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ И. И. Русиновой, доценту кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Соликамского государственного педагогического института ПГНИУ Л. М. Пантелеевой, директору Пермской государственной художественной галереи Ю. Б. Тавризян, зав. музеем «Дом Мешкова» С. Г. Негановой, генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника Г. Р. Руденко и администратору сайта ЕГМЗ А. Г. Куклину, директору Рыбно-Слободского краеведческого музея Г. Ш. Гариповой, директору Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника С. М. Мушкалову и зав. отделом истории музея Л. Ю. Елтышевой, профессору УрФУ, зав. сектором истории литературы Института истории и археологии УрО РАН Е. К. Созиной, зам. директора ПГКУБ им. А. М. Горького С. В. Пигалевой за помощь в подготовке издания.

Стр. 15. *Я был на Урале в 1875 году.* – В очерках речь идет о событиях 1876 года. Немирович-Данченко путешествовал по Уралу в течение нескольких месяцев – с начала навигации по сентябрь.

*Провели железную дорогу, строившуюся при мне, но она не улучшила быта рабочих и положения заводов.* – Строительство Уральской горнозаводской железной дороги (УГЖД) началось летом 1875 года, а первый рабочий поезд прошел от Перми до Екатеринбурга 27 февраля 1878 года. В сентябре 1879 года введена в строй Луньевская ветка Чусовская–Березники. В 1896 году к дороге присоединена ветвь Екатеринбург–Кыштым–Челябинск, соединившая автономную Уральскую железную дорогу с основной железнодорожной сетью страны.



*Русская литература с тех пор обогатилась прекрасными сочинениями об Урале г. Мамина (Д. Сибиряка)...* – Очерки, рассказы и романы Д. Н. Мамина-Сибиряка регулярно печатались в журналах и газетах с начала 1880-х. В этих публикациях появился псевдоним Д. Сибиряк. Широкую известность принес писателю двухтомник «Уральские рассказы», который в 1888–1889 годах выдержал два издания.

Стр. 16. *Ветлужские ларчики* – ларцы, изготовленные в Ветлужском районе Нижегородской области. В середине XIX века Ветлуга становится центром мочального и смоло-дегтярного промыслов.

*Ворвань* – жир, добываемый из некоторых морских млекопитающих и рыб (китов, тюленей, трески и др.).

*Красноуфимск* – уездный город в Пермской губернии. Основан для защиты от набегов башкир на высоком берегу реки Уфы в 1874 году. В Красноуфимском уезде находилось около 20 железоделательных заводов. По реке Уфе в весенний период шел сплав железных караванов. Кроме того, считался купеческим городом: торговали хлебом и продуктами животноводства. Сейчас Красноуфимск входит в состав Свердловской области.

*Архиерейский протодьякон* – первый или главный диакон, то есть помощник священнослужителей в епархии, поющий чин.

*Выросток*, диалект. – сорт кожи, выделанный из шкуры телят до года.

*По образу и подобию толстых коров фараоновых сложена.* – Аллюзия на библейский сюжет о египетском фараоне, которому приснился вещий сон: семь упитанных коров и семь тощих. Худые, изможденные коровы съели своих товарок, однако сами не потолстели. Фараон призвал предсказателей, которые растолковали сон: Египет ждет сначала семь урожайных лет, а затем семь голодных, которые съедят все предыдущие запасы.

*Пужать*, диалект. – пугать, устрашать.

Стр. 17. *Шмаркать*, диалект. – ударять по чему-либо, колотить.

*Железными караванами* называли сплав барок с чугуном и железом, который производился с 1703 по 1918 год.

Город *Лаишев* основан в 1557 году как крепость для охраны переправы через Каму от набегов ногайцев. Основа экономики – сельское хозяйство. В 1770–1914 годах в городе проходила железная ярмарка, откуда и отправились караваны на Макарьевскую ярмарку. Сегодня Лаишевский муниципальный район входит в состав Республики Татарстан.

*Кабестанные пароходы* – тип судна, приводимого в движение посредством каната с якорем.

*Забезжа*, диалект. – небольшой пароход, завозящий якорь.

*Шток* – поперечный стержень в верхней части якоря.

Стр. 18. *Ярманка*, устар., диалект. – ярмарка.

*Соль-пермячка! Поди любимовская?* – Иван Иванович Любимов – российский предприниматель, купец, промышленник, меценат и общественный деятель, городской голова Перми в 1871–1874 и 1876–1878 годах. Основал Березниковский содовый завод (первый производитель соды в России), владел

пассажирским и буксирным пароходствами, доставляя пассажиров и грузы по Каме и Волге. Являлся соучредителем общества «Любимов, Сольвэ и К<sup>о</sup>», которое торговало солью, содой, хлебом, а также каменным углем, коксом и антрацитом.

**Кокорев Василий Александрович, Губонин Пётр Ионович** – крупные российские купцы, промышленники, общественные деятели. Соучредители «Закаспийского торгового товарищества». Основатели «Пермского товарищества по торговле солью» (1873). Учредители многих других крупных предприятий общероссийского и регионального уровня. На Урале это – Волжско-Камский банк (1870), Общество уральской железной дороги (1874), Северное страховое общество (1872).

**Байгуш**, диалект. – бедняк, нищий.

**Чусовая** – левый приток реки Камы. Общая протяженность реки – 592 километра. Самая известная река Урала. Начинаясь в Азии, пересекает Уральские горы и течет в Европу. В среднем течении носит горный характер: берега обрываются высокими крутыми скалами – бойцами, которые делали сплав по реке крайне опасным. Протекает по территории Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.

**Кондовый**, диалект. – здоровый, крепкий (о человеке).

Стр. 19. **Сполагоря**, диалект. – легко, без затруднений.

**Сомуцать**, диалект. – соблазнять, подстрекать кого-либо на неблагоприятные или рискованные действия.

**Мелево**, диалект. – о том, кто много говорит, пустословит.

**На-уру**, диалект. – не подготовившись, в надежде на случайный успех; на ура.

Стр. 20. **Работки** – село в Кстовском районе Нижегородской области. В XVIII и XIX веках в Работках строили крупные волжские парусные суда – расшивы. Прядильные заводы, которые просуществовали до XX века, обеспечивали Волгу смольной снастью и белой бечевой. Ныне в селе находится затон по отстоя и ремонту судов.

**Николи**, диалект. – никогда.

**Край-воды**, диалект. – берег реки, озера.

Стр. 21. **Допрежь**, диалект. – раньше, прежде.

**Колчинский пароход**. – Колчин Иван Савельевич (1822–1877) – сарапульский, позднее нижегородский купец I гильдии. Вместе со своим братом построил первый на Каме кабестанный пароход. Пароходы Колчина перевозили грузы и пассажиров по Волге, на Урале и в Западной Сибири. Выполнил государственные заказы по перевозке арестантов. В 1875 году удостоен звания «Почетный гражданин города Сарпула» за активную благотворительность.

**Самолетский поыхивает...** – Пароходное общество «Самолет» – одно из крупнейших на Волге акционерных пароходных обществ, которое в основном занималось пассажирскими перевозками. Основано в 1853 году, национализировано в 1918-м.

Стр. 22. **Корга**, диалект. – коряга, бревно, плавающие в водоеме.

**Юнга** – деревня на правом берегу реки Камы, в четырех километрах к юго-востоку от села Каракулино. Впервые упоминается в документах начала XVIII века. В тексте первоисточника – Юнга.

**Замать**, диалект. – трогать, касаться кого-, чего-либо; беспокоить, задевать кого-либо (обычно с отрицанием не).

**Армяк** – кафтан из толстого сукна.

**Сермяга**, диалект. – здесь: выходец из низов, из крестьян.

**Купец Бакаев**. – Предположительно, речь идет об астраханском купце Ф. Бакаеве.

Стр. 23. **Полесовщик**, диалект. – лесной сторож, лесник.

**Языцы разумеите**. – Слова молитвы «С нами Бог, разумеите языцы, и покарыйтеся». Под «языцами» понимаются народы, которые притесняли иудеев. Молитва призывает укрепиться в своей вере и надеяться, что она поможет отвести беду.

Стр. 24. **...дочку свою в институт свез**. – Женщинам было запрещено получать высшее образование в университетах вместе с мужчинами, для них открывались специальные учебные учреждения. Первым из них был Смольный институт благородных девиц.

**...из пермских заводов бомбы, гранаты**. – Пермские пушечные заводы выполняли заказы Военного и Морского министерств, изготавливая артиллерийские орудия для армии и флота. Кроме пушек завод производил некоторые детали для боевых кораблей, а с 1867 года начал производство снарядов к артиллерийским орудиям.

Стр. 25. **Село Богородское** основано в 1650 году. До 1920 года село Богородское было центром Богородской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. В 1925 году переименовано в село Камское-Устье.

**Пароход американского типа** – вместительные комфортабельные пароходы, разработанные русским капитаном и управляющим Альфонсо Александровичем Зевеке на основе американских чертежей. В отличие от других судов на этих пароходах для всех классов были предусмотрены отдельные благоустроенные и просторные каюты с паровым отоплением и водопроводом.

**Чайки-мартышки**, или мартыны, – разновидность чаек, обитающих на озерах или речках.

**Украйна**, диалект. – край, окраина, полоса.

Стр. 26. **Пароход «Тагил»** был построен на Нижнетагильском заводе. Пароход с баржей курсировал до Черноисточинска по рекам Тагил и Чёрная. С пуском Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги водный путь между демидовскими заводами становится нерентабельным. «Тагил» переоборудуют в прогулочный и передадут в аренду купеческому клубу.

**Пароход «Сибиряк»** – грузопассажирский пароход, спущенный на воду в 1875 году. Принадлежал пароходному обществу «Кавказ и Меркурий».

**Село Табаево** – сейчас Атабаево, в состав которого входит также деревня Епанчино. Находится в Лаишевском районе Республики Татарстан.

**Село Мансуровское** находилось на территории современного Лаишевского района Республики Татарстан. Сейчас на этой территории располагается Куйбышевское водохранилище.

**Поселок Мысовский** расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан.

**Выздымать**, диалект. – поднимать.

Стр. 27. **Потрафить**, устар. – сделать так, как нравится кому-либо; угодить.  
**Черница** – монахиня.

Стр. 28 – **Вашгерд**, спец. – деревянный ящик, используемый для промывки руд. В тексте первоисточника встречается написание «вашгер» – в речи собеседников автора, которое оставлено без изменений.

**Какое сходство с кольскими женщинами, промышленяющими в океане!** – В 1873 году автор путешествовал по Кольскому полуострову. Свою поездку он описал в очерках «У океана. Жизнь на Крайнем Севере» (1875), «На просторе. Очерки» (1876), «Страна холода. Виденное и слышанное» (1877), «Лапландия и лапландцы» (1877).

Стр. 29. **Ослобонить**, диалект. – освободить, отпустить.  
**Чернолесье** – лиственный лес.

Стр. 30. **Трець**, диалект. – густой, непроходимый лес, чащоба, тущоба.  
**Беяна**, диалект. – плоскодонное несмоленое судно для сплава лесных материалов.

**Ободье**, собир., диалект. – колесные ободы.

Стр. 31. **Кирпичный чай** – низший сорт обыкновенного китайского чая, с помощью клея спрессованный в плитки, формой похожие на кирпичи.

**Ом(м)ануть**, диалект. – обмануть.

**Кондовый**, устар., диалект. – с прочной, плотной древесиной; крупный, могучий, высококачественный (о лесе, дереве преимущественно как о строительном материале).

**Подчалок**, диалект. – грузовое судно.

**Белая** река – одна из главных рек Башкирии, ее длина – 1 430 километров. По одной гипотезе реку называли так из-за того, что течет с юга, от солнца, а потому «светлая», «белая». По другой – из-за белесого цвета воды за счет содержания в воде извести. В XVIII–XIX веках по реке сплавляли барки с продукцией горных заводов Южного Урала.

**Птица Сирин** – птица с головой прекрасной девы. Считалось, что ее распростертые крылья отгоняют несчастья и мысли о них. Изображения других чудесных зверей также использовались в качестве оберегов.

**Умкнуть**, диалект. – убежать, уйти, ускользнуть.

**Сладский**, диалект. – здесь: сытный (ср.: в лит. языке *сладкий*, перен. – исполненный счастья, радости, довольства; счастливый).

Стр. 32. *Узина*, диалект., простореч. – узкое место (реки).

*Лукоморье*, устар., диалект. – залив.

*Воложка*, диалект. – рукав или приток реки.

*Раина* – пирамидальный тополь.

*Сарапул* строится во времена русской колонизации Среднего Прикамья после взятия Казани в 1553 году. В 1780 году получает статус уездного города Вятского наместничества. В состав уезда вошли Ижевский и Воткинский заводы. Город славился кожевенной и чеботарной промышленностью. Обувь сбывалась на сельских базарах и на больших ярмарках – Ирбитской, Нижегородской.

*Елабуга* ведет свою историю с рубежа X–XI веков, когда было построено Елабужское, или, как его еще называют, Чёртово городище. Оно представляет собой каменную башню X–XIV веков и остатки болгарской крепости-мечети, названные Ала-буга. В 1614–1616 годах на месте Елабужского городища был основан мужской Троицкий монастырь, упраздненный в 1764 году. В 1780 году Елабуга получает статус уездного города Вятского наместничества. Славилась своим купечеством.

*Чистополь* основан беглыми крестьянами в XVIII веке. По преданию, новые переселенцы увидели брошенные поля и назвали место Чистым полем. В 1781 году селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя. К концу XIX века Чистополь стал крупным центром торговли зерном.

*Песня, «подобная стону»* – слова из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» 1858 года, ставшие устойчивым выражением.

Стр. 33. *Яро* – бурно, мощно.

*Магоги* – библейское название воинственного народа, который перед концом света придет с севера, чтобы выступить на стороне темных сил.

*Падань*, диалект. – опавшие с дерева шишки.

Стр. 34. *Тона, тоня*, диалект. – невод, сеть для ловли рыбы.

*Стратиг*, устар. – военачальник, полководец, здесь: предводитель, руководитель.

*Заугольник*, диалект. – нелюдимый человек.

Стр. 35. *Печать Антихриста*, или начертание зверя, – знак, который, согласно Апокалипсису Иоанна Богослова, будет нанесен «на правую руку их или на чело их» в качестве свидетельства подчинения Антихристу.

*...с соляных варниц Усольских...* – История города Усолье и солеваренного производства начинается с 1606 года, когда Н. Г. Строганов открывает здесь, на правом берегу Камы чуть ниже Соликамска, новый соляной промысел, который получает название Новое Усолье. Местные рассолы отличались высокой концентрацией, постепенно Новое Усолье превращается в крупное промысловое селение. Готовую соль доставляли по реке до Нижнего Новгорода, Рыбинска, Ярославля. «Пермянка» расходилась по всей России и продавалась за границу. Сейчас в исторической части города создан Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».

*«Приходите ко мне все обремененные»* – строчка из Евангелия от Матфея, слова из проповеди Иисуса: «Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

**Наживной**, диалект. – зажиточный, состоятельный человек.

**Покрутиться**, диалект. – наняться к кому-либо на работу.

Река **Косьва** начинается в Свердловской области в 17 километрах южнее поселка Кытлым, в результате слияния рек Большая Косьва и Тылай, ее длина – 283 километра. Большая часть реки расположена на территории Пермского края. Название реки произошло от коми-пермяцкого «кось» – порог, перекат, мель и «ва» – вода. Имела важное транспортное значение, на ней было несколько пристаней, здесь проходил старый Бабиновский тракт. С верховьев сплавляли руду, а от Губахинской пристани отправляли в барках уголь и чугун.

Стр. 36. **...на Урал-камень поднялся.** – Камнем или Каменным поясом называли Уральские горы до XVIII века, когда вошло в обиход заимствованное у башкир название Урал.

**Павда** основана в 1599 году на Бабиновской дороге. В 1757 году здесь был заложен Николае-Павдинский медеплавильный завод. Сейчас находится в Свердловской области.

**Древле Моисей из скалы воду источил жезлом...** – Фрагмент из книги Исход. Моисей повел свой народ в землю обетованную через Аравийскую пустыню. В Рефидиме из-за недостатка воды и народного недовольства Моисей, по велению Божьему, ударил своим жезлом по скале, после чего из нее чудесным образом полилась вода.

**Девяносто лет Господь Сарре плода не давал...** – Известный библейский сюжет, согласно которому Господь обещал Аврааму и Сарре за праведность и преданность произвести от них многие народы. Однако детей у Сарры не было вплоть до глубокой старости. Когда же Аврааму исполнилось 99, а Сарре 90 лет, к ним явился Бог и пообещал, что у них родится сын. И через год Сарра родила сына Исаака.

**Сёла Мансурово и Мысы** – сёла в Лаишевском районе Республики Татарстан, находились на правом берегу Камы к востоку от села Ташкирмень. Попали в зону затопления Куйбышевским водохранилищем в 1955–1957 годах. Жители были переселены в сёла Шуран и Чирпы.

Стр. 37. **Возеро**, диалект. – озеро.

**Эти на Кавказе были. Переселенцы...** – В дореформенной России переселение часто происходило стихийно, без официального разрешения властей. Так заселялись Нижнее Поволжье, Новороссия, Южное Приуралье. Правительственные меры по заселению новых территорий были не слишком значительными. После реформы 1861 года переселенческий процесс нарастает, при этом основной целью переселенцев становятся Сибирь, Южное Приуралье и Северный Кавказ.

Стр. 38. **Покормыхаться**, диалект. – покормиться.

**Потому в Тагиле тогда хозяева книжку эту самую вводили...** – После отмены крепостного права в 1861 году образовался свободный рынок наемного труда. Наем рабочих на фабрично-заводские предприятия практиковался на основе договора сроком на год. До истечения установленного срока у рабочих забирались в контору паспорта, и они фактически лишались свобо-



ды, не имея права требовать досрочного расчета. Введение расчетных книжек, о которых начали говорить на рубеже 1860–1870-х годов, использовалось промышленниками в своих целях (вводились новые кабальные условия) и воспринималось рабочими как новая угроза. Только в 1886 году был принят закон о введении правил, которые регулировали взаимоотношения рабочих и заводчиков.

**Сойма**, диалект. – крестьянская сходка.

**Посредники** – должностные лица, введенные реформой 1861 года. Они проверяли соответствие закону уставных грамот, утверждали их, рассматривали жалобы крестьян и помещиков и разрешали споры между ними, вводили в действие новое устройство крестьянского самоуправления, контролировали деятельность сельских выборных должностных лиц. Обладали судебно-полицейской властью по делам о мелких преступлениях и проступках крестьян (о потравах, порубках и др.) с правом осуждать виновных к штрафу, телесному наказанию или аресту. Назначались Сенатом из числа местных помещиков по представлению губернаторов и при участии губернских и уездных предводителей дворянства.

**На черкесское положение... Потому там, сказывали, места есть!.. Мы и пошли.** – Во время войны в Черкесии (1859–1864) горцы массово переселялись в Османскую империю. После окончания войны горцев начали переселять по указу российского правительства. На «освободившиеся земли» и шли русские переселенцы.

Стр. 39. **Сортовое железо, сорта**, спец. – промежуточный продукт обработки: листовое железо, прутовое железо.

**Издельное железо**, спец. – конечный продукт обработки, изделия из железа (инструменты, орудия и т. п.).

Стр. 40. **Бессарабские царане** – свободные хлебопашцы в Бессарабской губернии, земледельцы или поселяне по-молдавски.

**Кунавинская слобода** находилась по соседству с Макарьевской ярмаркой, которая была перенесена сюда в 1817 году. С этого момента слобода начинает быстро развиваться, превращаясь в зажиточный район города.

**Журавлёв Николай Михайлович** (1810–1872) – один из первых рыбинских купцов и промышленников. В 1859 году в селе Абакумове Рыбинского уезда он построил канатную фабрику, а в 1860-х годах – чугунолитейный, механический и судостроительные заводы. В 1886 году его сыновья основали торговый дом «Николай Журавлёв и сыновья». Сегодня заводы в Абакумове затоплены Рыбинским водохранилищем.

**Рукавишников Григорий Михайлович** (1788 – не позднее 1836) – кузнец, купец, основатель династии Рукавишниковых. Перебравшись в 1817 году с семьей в Нижний Новгород, купил несколько лавок и начал активно торговать железом. В 1822 году построил собственный стальной завод. Сталь Рукавишникова продавалась в Петербурге, Ярославле, Москве, Закавказье и даже поставлялась в Персию. Его потомков в дальнейшем стали называть «стальными королями».

**Пастухов Николай Петрович** (1820–1909) – ярославский купец, промышленник, меценат. Семья Пастуховых продавала хлеб, лен и пеньку, фарфор и хрусталь, французские вина. Позднее были куплены или построены

несколько металлургических заводов в Предуралье и на Дону, чугуноплавильные заводы на Урале, мукомольные заводы, лавки Нижегородской ярмарки. В 1864 году он основал Торговый дом «А. и Н. Пастуховы».

**Странно то, что даже такие крупные заводы...** – Перечислены крупные предприятия, которые расположены в городах-заводах екатеринбургского уезда: Алапаевск, Невьянск, Кыштым, Сысерть.

**Яковлев Савва Яковлевич** (1713–1784) был выходцем из мещан города Осташева. Состояние свое нажил, будучи откупщиком по внешним таможенным сборам. Алапаевский завод был куплен им в 1766 году. С 1766 по 1779 год Яковлев покупает шестнадцать и строит шесть чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильных заводов. На них производилось 24 % всего уральского железа.

**Подать платить надо...** – Петром I было введено множество налогов, в том числе налог (подать, как говорили в то время) для плавных судов.

Стр. 41. **Кунгур** был основан в 1648 году как острог на месте впадения речки Кунгур в реку Ирень. В 1662 году во время восстания башкир поселение было уничтожено, а большинство жителей убито. В 1663 году Кунгур был заложен повторно, но уже на другом месте – в междуречье Сылвы и Ирени. На прежнем месте сейчас стоит село Троицк. В 1781 году Кунгур получил статус города. В Кунгуре активно развивалась торговля, также действовали кожевенные и мыловаренные предприятия, различные промыслы. Была развита чаеоторговля.

Стр. 42. **Обанкрутиться**, устар. – обанкротиться, то есть стать несостоятельным должником, банкротом.

**Партионная скупка** – это сделка, предполагающая скупку товара оптовиками у крестьян или мелких купцов.

**Шершавый** – всклокоченный, лохматый.

**Мурзиха** – деревня и пристань на Каме в Алексеевском районе Татарстана, была затоплена Куйбышевским водохранилищем. На окраине бывшей деревни в 1964–1966 годах были обнаружены остатки древнего могильника IX–VII веков до н. э. Могильник получил название Мурзихинского.

Стр. 43. **Рыбная слобода** была построена в XVI веке как крепость – сторожевая вышка. Рядом появилось поселение, жители которого занялись рыболовством, ремеслами (кружева, ювелирный промысел) и торговлей. Здесь работала большая воскресная ярмарка. Сегодня входит в состав Республики Татарстан.

**Холостяк**, диалект. – самец рыбы.

**И тут же у кладбища часовенка на татарский лад строена...** – Речь идет о деревянной часовне Святого Николая. Это первое православное сооружение в Рыбной слободе. Часовня построена была на горке, которую прозвали Кисилевой – в честь странника Кисилева, первым поселившегося здесь. Рядом с часовней находилось кладбище, на котором хоронили пришедших людей. Часовня не сохранилась, но осталось множество надгробных плит и памятников.

**...а в этой геенне, между прочими, сидит себе солдатик с ружьем...** – Изображение Страшного суда со змеем, который либо извергал геенну огненную, либо исходил из неё, – один из традиционных иконописных

сюжетов. Местный художник предложил свою интерпретацию, изобразив невозмутимого солдата посреди адского пламени.

*Под кущами райских садов сидят за столом старцы. На столе – посудыны с вином и жареные поросята...* – Еще одна интерпретация библейского сюжета – на сей раз Тайной вечери.

*Починок*, устар., диалект. – небольшая деревня, хутор, обычно на расчищенном от леса или выжженном месте, выселок.

Стр. 44. В окрестностях Рыбной слободы в XVII веке находился *Троицко-Урайский* монастырь (Ураева Пустынь). Образован на реке Урайке в 1614 году, упразднен после 1708 года с обращением церкви в приходскую и учреждением села Троицкий Урай. В тексте первоисточника вместо Урайского назван Уральским.

*Лесная дача* – ограниченная часть лесных угодий в Российской империи, подчиненная единому хозяйственно-техническому плану и прикрепленная к какому-либо владельцу, на Урале чаще всего – к заводам.

*Комель* – нижняя, основная, прилегающая к корню часть дерева.

Стр. 45. *Облаговестить*, диалект. – рассказать всем, оповестить многих, разнести молву.

*Иж* – река образована слиянием Большого и Малого Ижа, протекает по территории Удмуртии и Татарстана по направлению с севера на юг, это правый приток Камы, длина – 259 километров. Название связано с именем древнего божества Оша, повелителя подземно-подводного мира, имеющего облик ящера или дракона. По реке и ее притокам сплавливался лес. Река Иж питает уникальный Ижевский пруд. Среди водохранилищ этот пруд признан самым большим искусственным водоемом Европы, предназначенным для производства электроэнергии. Его построили в 1760 году для железодельного завода.

*Яман* – в переводе с тюркского – плохой.

Стр. 46. *Город Бирск* основан в 1663 году как крепость на месте сожженного во время башкирского восстания села Архангельского. Свое название получил по реке Бирь, которую татары называли Бире суи – Волчья вода. В 1774 году Бирская крепость была взята и сожжена войском Салавата Юлаева – соратника Пугачёва. После окончания Крестьянской войны его отстроили заново. В 1781 году получил статус уездного города. Жители занимались земледелием, скотоводством, охотой, торговлей. Были и кустарные ремесла. Сейчас он расположен на территории Республики Башкортостан.

*...Уткин прозывается – он у башкирских старшин пятьдесят тысяч десятин крепколосья купил по пятиалтынному за десятину.* По сведениям уфимского публициста Н. В. Ремезова (1855–1915), купец А. П. Уткин приобрел у башкир Уфа-Таныпской волости 100 000 десятин земли за 8 тысяч рублей, или по 8 копеек за десятину, а потом заложил эти земли в Саратовско-Симбирский земельный банк за 100 тысяч рублей. Недобросовестная сделка состоялась благодаря подкупу волостного старшины. Параллельно Уткин продал часть земель переселенцам.

*Палтух*, диалект. – жердь, на которой сушат рыбу и рыболовные снасти.

Стр. 47. **Кокор**, диалект. – поперечное дугообразное ребро корпуса лодки, шпангоут.

**Опружить**, диалект. – опрокинуть, перевернуть вверх дном.

Стр. 48. **Село Пьяный Бор** основано примерно в конце XVIII – начале XIX века. С 1843 года в селе ежегодно проводились торговые ярмарки, действовали постоянные базары. Здесь находилась одна из основных пристаней Елабужского уезда. Новое название, Красный Бор, было присвоено в 1920-е годы, оно сохраняется и по сей день. Входит в состав Агрызского района Татарстана. В тексте первоисточника село названо «Питки».

**Село Бетьки** основано не позднее второй половины XVII века. В дореволюционных источниках сохранилось название Богородское. Жители занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, плотничным промыслом, нанимались на близлежащие пристани и речные суда. Сегодня входит в состав Тукаевского района Татарстана.

Стр. 49. **Кипень** – белая пена, появляющаяся при кипении воды или при бурном движении волн.

**Еройственный**, устар. – бодрый, уверенный, геройский.

**Коломенка** – разновидность речных несамыходных беспалубных барок легкой конструкции, которые широко использовались с XVI по XIX век на реках Каме и Чусовой, прежде всего для перевозки продукции горных заводов.

**Паузиться**, диалект. – переключивать груз с больших судов на маленькие (паузки) при прохождении по мелководью, перекатам, порогам.

Стр. 50. **И повелел Ермак Тимофеевич татарскую царевну поставить пред свои ясны очи...** – Исследователь уральского фольклора В. В. Блажес считал, что история о татарской царевне Алмаз и Ермаке – это трансформация известной легенды о Разине и персиянке. В ермаковских преданиях XVII–XVIII веков этого сюжета не было.

**Иван Гвоздь** среди ермаковских сподвижников в источниках не упоминается. Возможно, это имя возникло в народных рассказах как наложение имен Ивана Кольца и Ивана Грозы – ближайших сподвижников Ермака.

**Татарва корноухая**, бранное. – Корноухий – безухий или с маленькими ушами; в суеверных представлениях – нечистая сила.

**Челны** – поселение, основанное в 1626 году. Первоначально носило название Чалнинский починок – по имени реки Чалны. Позднее поселение получило название Бережные Челны. Около 1850 года здесь начала развиваться торговая пристань. Сейчас это город Набережные Челны.

**Левиафан-рыба** – морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. Так говорят о ком-нибудь, поражающем своими размерами, силой.

Стр. 51. **Рант** – узкая полоска кожи, которая пришивается к подошве обуви для ее более прочного соединения с верхней частью. Наличие прошитого ранта свидетельствует о высоком уровне обуви.

**Удел** – недвижимое (земельное) имущество, принадлежащее императорской фамилии. Управляло уделами (удельными землями, имениями, а также удельными крепостными крестьянами) удельное ведомство.

**Комаров Николай Сергеевич** – старший из братьев Комаровых, основавших в селе Кукмор фабрику валяной обуви (1870 год). Комаровы не раз становились героями народных баек. Сохранилась история о том, что братья, пообещав взятку, убедили строителей железной дороги провести ветку через село Кукмор и обманули их.

Стр. 52. **Кортома**, устар., диалект. – аренда, плата за наём.

**Пешорка** – скорее всего, так называлась речка, вдоль которой была построена одна из самых первых улиц Пьяного Бора – Речная улица. Речка не сохранилась, пересохшее русло сейчас называют оврагом.

Имеются в виду волости Вятской губернии – **Пьяноборская** волость с центром в селе Пьяный (ныне – Красный) Бор, **Салаушкинская** волость с центром в селе Салауши. Большая деревня **Чекалда** в 1876 году входила в состав Пьяноборской волости. В тексте первоисточника вместо Салаушкинской названа Лаушкинской.

Стр. 53. **Забироха**, диалект. – завистливый, жадный человек.

**Черемисы** – древнее название марийцев. В IX веке марийские племена попали под власть Хазарского каганата. Позже вошли в состав Волжской Булгарии, в середине XIII века – в состав Золотой Орды, из которой в XV веке выделилось Казанское ханство. После падения Казанского ханства в 1552 году марийские земли стали частью Русского царства.

**Пьяный Бор в Уфимской губернии...** – Сёла Старый Пьяный Бор и Новый Пьяный Бор располагались друг напротив друга на реке Каме. Новый Пьяный Бор сейчас называется Красный Бор, Старый Пьяный Бор уже не существует.

Стр. 54. **Вопче**, диалект. – вообще.

**Село Салауши** основано на рубеже XVI–XVII веков. До 1919 года село являлось центром Салаушской волости Елабужского уезда Вятской губернии. В тексте первоисточника – Сослоуши.

**Село Тихие Горы** образовалось между 1673 и 1677 годами. Было известны своей пристанью, которая являлась «промышленными» воротами для Бондюжского и Кокшанского химзаводов. В 1967 году поселок Тихие Горы включен в состав города Менделеевск.

**Ушков Капитон Яковлевич** – основатель Кокшанского (1850) и Бондюжского (1868) химических заводов в Елабужском уезде, где впервые в России было введено производство серной кислоты из уральских колчеданов. К 1868 году помимо химического предприятия имел стекольный и поташный заводы, мукомольную мельницу; кроме этого состоял на паях в торгово-промышленной фирме, владевшей двумя винокуренными заводами, вел обширную торговлю и занимался разработкой золотых приисков. В тексте первоисточника он назван Ушаковым.

**Гороблагодатский округ** – казенный горный округ, сформировался во второй половине XVIII века в Кунгурском уезде Пермской губернии вблизи крупного месторождения магнитного железняка на горе Благодать. Объединял Кушвинский, Верхнетурицкий, Баранчинский, Серебрянский и Нижнетурицкий заводы. Основная специализация – производство передельного чугуна, железа, артиллерийских орудий и снарядов.



**Салда** – правый приток реки Тагил, длина – 182 километра. Салда по-мансийски – мочало или лыко. По берегам реки в изобилии росла липа, применяемая в хозяйстве, в том числе и для плетения лаптей.

**Василий Иванович Сироткин** занимался торговлей, в одну из поездок он купил в Саратове старую паровую машину и построил деревянный товаро-пассажирский пароход, назвав его «Многострадальный». Судно успешно себя окупало. Второй свой пароход Сироткин-старший назвал «Волей» в честь отмены крепостного права. После банкротства Сироткин-старший отошел от дел. Его сын Дмитрий Васильевич (1865–1946) женился на Марии Кузьминичне Четверговой, дочери богатого пароходовладельца. С помощью тестя Дмитрий Васильевич основал свое собственное дело.

**Балахна.** – Первоначальное название поселения звучало как «Соль на Городце». Балахнинская соль в XV–XVI веках была широко известна. В 1563 году была построена Балахнинская крепость. Здесь рубились суда для Азовского похода 1695 года и позднее, в 1722 году, для пополнения Балтийского флота вспомогательными судами. Балахнинские суда считались непревзойденными по красоте и прочности.

**Самобитка** – распространенный способ отпугивания медведей среди русских пчеловодов и охотников. Бортники применяют его до сих пор.

Стр. 55. **Ик** – левый приток Камы, длина – 571 километр. Название реки происходит от татарского слова «течение».

**Иван Иванович Стахеев** (1802–1885) – основатель знаменитой в Поволжье купеческой династии Стахеевых, торговавшей хлебом, чаем и нефтепродуктами. Выдающийся благотворитель и меценат: он жертвовал миллионы рублей на просвещение, помощь бедным и строительство храмов. Реальное училище, строительство которого он поддержал, было открыто 10 сентября 1878 года.

Стр. 56. **На верховьях Ижа – знаменитые заводы...** – Железодельные и оружейные заводы, построенные графом П. И. Шуваловым в XVIII веке в Ижевске и Воткинске.

**Все эти Бикмаевы, Юнусовы, Тевтелевы вовсе не пользуются дурной славой, а последний даже избран муфтием в Уфе.** – Перечислены представители Вятского дворянства татарской национальности. Скорее всего, имеются в виду Тевкелевы – один из самых древних и состоятельных татарских родов Вятского края, владельцы Варзино-Алексеевского медеплавильного завода.

**Мензелинка, или Мензеля,** – левый приток реки Ик протяженностью 159 километров. Сегодня впадает в Нижнекамское водохранилище.

Стр. 57. **Панафидка,** диалект. – панихида.

**Иргизские старцы** – помощники настоятелей старообрядческих монастырей, располагавшихся на землях Саратовского Заволжья по реке Большой Иргиз.

Стр. 58. **Юровье** – большая группа птиц, зверя или рыбы.



**Ижеесишенские да Синепуповы.** – Эти «смешные» фамилии иронично используются рассказчиком по отношению к новым, нетитулованным владельцам некогда дворянских имений.

**Князь Максutow.** – Предположительно, речь идет о наследнике княжеского рода Петре Ивановиче Максutowе (1785–1852). Являлся действительным статским советником, в 1830-х – начале 1850-х годов управлял Пермской удельной конторой. Потом жил в своем пензенском поместье.

**Метресса** – любовница.

Стр. 59. **Преферанс**, устар. – преимущество.

**Хилиться**, диалект. – наклоняться, пригибаться к земле.

**Шабаршить**, диалект. – шуметь.

Стр. 60. **Молонья**, диалект. – молния.

**Колесниково** – одно из самых больших сел Сарапульского уезда Вятской губернии: здесь работало шесть водяных мельниц, пристань на Каме, кирпичный завод, маслозавод. Первое упоминание о селе относится к 1604 году. Сегодня – село в Каракулинском районе Удмуртии.

**Тычок**, простореч., диалект. – кол, жердь, палка, воткнутые в землю, в дно реки и т. п.

Стр. 61. **Николай Иванов Коленкин** печально известен по катастрофе на Ладожском озере в 1873 году. Коленкин был капитаном судна «Царица», столкнувшегося с судном «Царь», которое после столкновения затонуло. При катастрофе погибли более 50 человек.

**Элефант**, фр. – слон.

**Шкипарем, перемануть** – орфография Немировича, автор таким образом передает особенности речи собеседника.

Стр. 62. Впервые **село Каракулино** упоминается в челобитных 1682 года. В Каракулине проживало множество купеческих семей: Ведерниковы, Кузьмины, Трегубовы, Казанцевы, Верхотины.

Стр. 63. **Ботничек**, ботник, диалект. – трехместная лодка с одинаковой формой носа и кормы, применявшаяся для рыболовства. Происхождение названия связывают со словом «ботать» – загонять рыбу в сети.

**Село Сайгатка** получило свое название по реке Сайгатка, впадавшей с левого берега в Каму. Селение известно с 1646 года, здесь была вотчина Преображенского Осинского монастыря. В селе развивались земледелие, животноводство, промыслы. Селяне занимались выгонкой смолы, дегтя, выжигом древесного угля, нанимались гребцами на железные караваны. В 1963 году поселок становится городом Чайковским.

Пристань **Усть-Речка** была заложена в 1759 году на правом берегу Камы в 12 километрах от Камско-Воткинского завода. Перевозка материалов из Усть-Речки на Камско-Воткинский завод и вывоз готовой продукции с завода осуществлялись с помощью крестьянских подвод. С окончанием строительства железной дороги Воткинск–Галево в 1898 году пристань утратила свое значение. В тексте первоисточника несколько раз совмещаются названия при-

стани Усть-Речки, рек Вятки и Вотки. Река Вотка, на которой были построены Воткинский завод и город Воткинск, впадала в реку Сива – приток Камы. Вятка впадает в Каму значительно южнее.

В *селе Галево*, расположенном на правом берегу выше Сайгатки (город Чайковский), в 1845–1846 годах Воткинским заводом была построена еще одна пристань. Помимо погрузки товаров, здесь проходило испытание судов и сдача их заказчику. После строительства Воткинской ГЭС и появления Воткинского водохранилища село практически исчезло под водой.

*Стреха*, диалект. – межа в поле.

Стр. 64. *«Графиня Клара д’Обервиль»* – мелодрама Огюстра Анисе-Буржуа и Деннери. В России была впервые представлена в 1846 году труппой Большого театра. Оставалась одной из самых популярных в репертуаре русских театров, в том числе в 1870-х годах.

Стр. 65. *Феличе Орсини* – французский революционер. 14 января 1858 года Орсини и его товарищи бросили бомбы в карету, в которой Наполеон III с супругой подъезжал к воротам театра на улице Пелетие. Покушение унесло жизни восьми человек, раненых оказалось 142, императорская чета не пострадала.

*Ракалия*, фр. – негодяй, подлец.

Стр. 66. *Казенные оружейные заводы* – Камские оружейные заводы, обобщенное наименование Ижевского и Воткинского железодельных и оружейных заводов.

*Сестрорецкий оружейный завод* построен в 1724 году, *Тульский оружейный завод* – в 1712 году. Оба работают по сей день.

*Рудольф Бергер* – оружейник из Кётена, обладатель золотых и серебряных медалей европейских и всемирных выставок оружия. В начале 1870-х в его мастерской работало около 10 человек, но дело быстро развивалось. Продукцию Бергера ценил и продвигал егермейстер прусского двора Ганс Генрих XI.

Стр. 67. Первое упоминание о *Гольянах* встречается в 1621 году. После возникновения в 1760 году Ижевского завода гольянская пристань стала его главным речным портом: через Гольяны на завод поступало необработанное железо, а с завода отправлялась готовая продукция. В 1935 году село вошло в состав Удмуртской АССР. В тексте первоисточника – Гальяны.

*Луньевские каменноугольные копи* основаны Н. В. Всеволожским в связи с открытием Никито-Луньевского месторождения каменного угля в 1853 году. До этого здесь выжигали древесный уголь. В 1855 году впервые в России на Александровском и других заводах Всеволожских в пудлинговом производстве начали применять вместо древесного угля каменный. В 1873 году Луньевские копи вместе с Александровским и Всеволодо-Вильвенским заводами были отданы в арендное пользование Уральскому горнозаводскому обществу, а в 1884 году их купил заводовладелец Павел Павлович Демидов.

*Глаголивый*, церк.-слав. – способный говорить.

*В Вотке очень много капиталистов...* – Имеется в виду город Воткинск. Образован в 1724 году в качестве железодельного завода.

Считался передовым для своего времени, выпускал высококачественную инструментальную сталь. В 1840-х годах при начальнике И. П. Чайковском, отце композитора П. И. Чайковского, организовано машиностроительное производство: в 1847 году – пароходов, в 1868-м – паровозов. В 1871 году была запущена вторая в России и первая на Урале мартеновская печь, благодаря чему начато производство железнодорожных рельсов.

Стр. 68. *Гордыбачить, гордебачить*, диалект. – дерзить кому-либо, грубо разговаривать.

*Ингилистка* – нигилистка.

*Мотовилихинский медеплавильный завод*, который сегодня находится на территории города Перми, был основан в 1736 году. В 1863–1864 годах здесь запущено пушечное производство, а в 1871 году созданы Пермские пушечные заводы, освоившие выпуск стальных пушек на уровне лучших мировых образцов. Также производились пароходы, паровые машины и котлы, прокатные станы и другие механизмы. Работает до сих пор.

*Крупновские пушки* – пушки, которые разрабатывались инженерами Мотовилихинского завода, производились на заводах Круппа в Германии. Так сложилось из-за проблем с качеством уральской стали. Даже потом, когда эти проблемы были решены, заводы Круппа получали российские заказы на пушки.

Стр. 69. *Станок*, диалект. – рыболовное приспособление, состоящее из связанных кольев, на котором укреплялись удочки.

*Лесина*, диалект. – лески удочки.

*Уда*, диалект. – крючковая снасть.

Стр. 70. *Село Ножовка*. – Здесь работала пароходная пристань Средне-Рождественского завода.

*Рождественский завод* (Средне-Рождественский) был основан А. Н. Демидовым в 1740 году. Специализировался на переработке чугуна Ревдинского завода в сортовое железо. Автор назвал его неточно Пермькинским – по имени Пермькина Григория Маркиановича, купившего этот завод в 1873 году.

Стр. 71. *Пиль* – охотничья команда собаке «хватай».

Стр. 72. *Бурбон*. – Так называли в XIX веке грубых, необразованных служак-солдафонов. Слово пришло из французского языка: это прозвище старые кадровые офицеры использовали по отношению к солдатам и унтер-офицерам, которые получали офицерское звание в ускоренном порядке, когда династия Бурбонов после поражения Наполеона вернулась к власти.

Стр. 73. *Оса* была основана в 1591 году под названием Ново-Никольской слободы. В январе 1781 года Оса получает статус города и становится центром Осинского уезда. В 40-х годах XIX века население Осы начинает расти. В городе формируются устойчивые купеческие династии, действует Никольская ярмарка и несколько купеческих промысловых заведений.

**Генри Уодсворт Лонгфелло** (1807–1882) – американский поэт и переводчик. Речь идет о стихотворении «Кватронка», которое входило в цикл «Стихи о рабстве».

**Преферанс и стуколка** – карточные игры, обе коммерческие. В первую могут играть от двух до четырех человек, во вторую – от трех до двенадцати человек.

**Ремиз** – долг по записке, которую снова разыгрывают.

**Тузою морскою** – игра слов: «туз» в значении «карта» и «туз» в значении «небольшая лодка для одного гребца».

**Бланк, бланка** – одна карта масти в руке, например бланковая дама, король бланк.

Стр. 74. **Сибирка** – старинная верхняя одежда в виде короткого кафтана в талию, со сборами и стоячим воротником.

**Кричная печь, или кричный гор,** – печь для получения металла (криц) из чугуна, расплавляемого на древесном угле.

Стр. 75. **Горный начальник** – руководитель горного округа, на которые была поделены все уральские заводы. Фактически был главным человеком на данной территории, поскольку занимался не только производственными вопросами, но и благоустройством городских селений и даже ведением уголовных дел. Назначение горных начальников проводилось Министерством финансов с высочайшего утверждения императора.

**Брандмейстер** – начальник пожарной команды. В России термин использовался с начала XIX века до конца 30-х годов XX века.

Стр. 76. **Всеволожские** – крупнейший дворянский род, одна из ветвей которого тесно связана с Уралом и уральскими горными заводами. В 1773 году сенатор, действительный тайный советник, участник переворота, приведшего на престол Екатерину II; Всеволод Алексеевич Всеволожский (1737–1797) купил за 300 тысяч рублей часть строгановского имения: Пожевский завод, соляные промыслы на Новом Усолье и Лёнве, многочисленное крепостное население. Его наследник Всеволод Андреевич Всеволожский (1769–1836) значительно расширил имение и горнозаводское производство, основав за короткий срок четыре горных завода (Марьянский, Александровский, Всеволодо-Вильвенский и Майкорский) и Всеволодо-Благодатские золотые промыслы. Впоследствии имение было раздроблено наследниками, а заводы отданы в государственное управление или проданы.

**Дмитрий Дмитриевич Смышляев** (1828–1893) – одна из самых ярких фигур в пермской истории XIX века, земский деятель, организатор пермского губернского земства, просветитель, издатель, краевед. Благодаря его деятельной инициативе в Перми вышло одно из первых в России краеведческих изданий научного уровня – «Пермский сборник». Сегодня имя Смышляева носит программа литературных вечеров в центральной городской библиотеке, краеведческие чтения и сборник. Родился в семье Д. Е. Смышляева, купца I гильдии, городского головы Перми в 1823–1826 годах. В 1870 году Д. Д. Смышляева избрали первым председателем Губернской земской управы. На этом посту он проработал три срока – девять лет, в течение которых организовал работу санитарной службы и впервые в России ввел должность санитарного врача, учредил дирекцию народных училищ, благодаря которой

в Пермской губернии началось массовое строительство земских школ, открыл Александровскую женскую гимназию, привлек к работе Пермского земства представителей демократических сословий. Считается, что он создал образцовую модель земства. Но вот ремонт Сибирского тракта, выпавший на долю Смышляева, из-за коррупции и воровства среди подрядчиков продвигался крайне медленно. Смышляева критиковали за неумение справиться с ситуацией, бойкие конкуренты писали обличительные статьи, что в конце концов заставило его уйти с поста. Жаль, что Немирович-Данченко не вник в суть конфликта и не познакомился с деятельностью Смышляева внимательнее.

Стр. 77. **Московско-Сибирский тракт** был построен и официально узаконен в 1763 году. Проходил он из Москвы на Тюмень и Тобольск через Нижний Новгород, Казань, Кунгур и Екатеринбург. Служил основной курьерской, торговой и пассажирской магистралью, а также использовался для перевозки ссыльных. К середине XIX века из-за перегруженности и плохого содержания находился в плачевном состоянии и не справлялся с нагрузкой.

Стр. 78. **Мзга**, диалект. – сырая, промозглая погода.

**Нытва**. – Первое упоминание о деревне на реке Нытве относится к 1647 году. В 1756 году М. А. Строгановой был построен Нытвенский медеплавильный завод. При строительстве завода был создан пруд на реке Нытве. К концу 1780-х завод стал железодельным и прокатным. Административно Нытва входила в состав Оханского уезда.

Стр. 79. **«Козий Загон»** – неофициальное название пермского городского сквера, расположенного на высоком берегу Камы, в начале главной улицы города – Сибирской. Сейчас это сквер имени Решетникова.

**Любимовская заимка**. – Так называли район в пригороде Перми на небольшом полуострове около устья речки Данилихи. Здесь находился судостроительный завод И. И. Любимова.

**Мотовилиха** – городской поселок, который вырос рядом с Мотовилихинским медеплавильным заводом. В XIX веке завод был Мотовилихинской волостью Пермского уезда Пермской губернии. Волость была довольно обширной: от поселка Юг до города Добрянки, так как включала в себя деревни, села и рудники. Сегодня Мотовилиха находится в черте города, образуя Мотовилихинский район.

**Колокольня Симонова монастыря** в Москве была построена в 1839 году. Высота колокольни достигала 94 метров – она стала самой высокой в Москве.

Стр. 80. **Саволакс** – область в Финляндии.

**Чухонцы** – наименование группы этносов, принадлежащих к прибалтийско-финским этническим группам.

**Барон Михаил Константинович Клодт фон Юргенбург** (1832–1902) – русский художник-пейзажист. Известен тем, что первым из русских художников объединил жанровую картину с эпическим пейзажем. Скорее всего, речь идет о картине «Лесная даль в полдень» 1876 года.

**Флигерь**, диалект. – флигель.

Стр. 81. **Гитара** – одноместная калиберная повозка: простая доска, положенная на обе оси, с четырьмя примитивными круглыми рессорами. На таких повозках мужчины ездили верхом, женщины садились боком. Форма сидения таких повозок напоминала гитару.

**Бульвар** проходил по Загородному парку (сегодня Центральный парк развлечений имени Горького) и служил традиционным местом для прогулок пермяков. История бульвара и парка начались в 1804 году, когда были построены ров и вал для отведения сточных вод в речки Стикс и Данилиху. Вдоль северной стороны рва были высажены четыре линии берез, образовавшие бульвар, в середине которого была широкая дорога для проезда экипажей, а по сторонам – две аллеи для пешеходов.

**Застава** – Сибирская застава, построенная на Сибирском тракте в районе Загородного парка к приезду императора Александра I в 1824 году. Представляла собой два обелиска, расположенных по обеим сторонам улицы Сибирской. Застава была построена по проекту архитектора И. И. Свиязева.

Стр. 82. **Каменное здание оперного театра** было построено в 1879 году по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Строительство велось на пожертвования горожан.

**Канашка**, простореч. – фамильярное обозначение кого-нибудь (преимущественно женщины), выражающее одобрительную оценку или восхищение пикантной внешностью.

**Вьюшки** – детская песня-игра.

Стр. 83. **Станислав** – орден Святого Станислава, которым награждали с 1831 до 1917 года, главным образом чиновников. Самый младший среди орденов Российской империи.

**Орден Льва и Солнца** – персидский орден, учрежденный Фетх Алишахом в 1808 году по образцу французского ордена Почетного Легиона. Орденом награждали подданных Персидской империи и иностранцев, он имел пять классов. Орден Льва и Солнца был очень популярной наградой у купцов, поскольку для получения ордена достаточно было внести определенную сумму в кассу представительства Шаха Персидского в Российской империи и получить фирман на право его ношения.

Стр. 84. **Житков** – пермский купец и пароходчик, одним из первых запустил пароходы до Усоля и Чердыни.

**Меловые столбищи** – меловые отложения по берегам рек, часто встречаются на Каме. Скорее всего, это не собственное имя, а общее название подобного рода береговых скал.

Стр. 86. Модная шляпная мастерская братьев **Брюно** в Санкт-Петербурге являлась поставщиком Высочайшего двора с 1872 года.

**Прюнелевые ботинки** – ботинки из прюнели, плотной тонкой ткани с преобладанием шелка. Из нее шили легкую женскую и мужскую обувь.

**Пермени**, диалект. – пельмени.

**Камер-юнкер** – почетное звание, которое присваивалось чиновникам высшего и среднего звена. Оно давало доступ к церемониям и балам



императорского двора и таким образом предоставляло возможность непосредственного общения с государственной элитой.

Стр. 87. **Святые горы** – меловые выступы на правом берегу Северского Донца, притока Дона. Здесь в 1997 году создан Национальный природный парк «Святые горы».

**Чудь** – собирательное название ряда финно-угорских племен и народов, как правило, прибалтийско-финской группы. Чудью на Урале называли коренных жителей, которые жили здесь до появления русских. Считается, что этноним пришел вместе с новгородцами, называвшими так представителей финно-угорских народностей, в том числе проживавших в Прикамье и на северном Урале, то есть предков коми, коми-пермяков, зырян. О чудии на Урале сложилась богатая мифология – как о таинственном и непокорном народе, ушедшем под землю и скрывшем там несметные богатства.

**Усьва** – правый приток Чусовой (впадает в нее близ города Чусового), длина – 266 километров. Название реки произошло от коми-пермяцких слов «усьны» – падать и «ва» – вода. В тексте первоисточника – Устьява.

**...в именных Всеволожских поднимаются шиферные горы со сланцем.** – Сланцевый шифер – кровельный строительный материал, представляющий собой отдельную пластину, отколотую от глыбы горной породы – природного спрессованного камня глинистого сланца.

Стр. 88. **Немврод, или Нимрод**, – в ветхозаветной мифологии богатырь и охотник, сын Хуша (Куша) и внук Хама. Так иронично называли страстных охотников.

Стр. 89. **Колупаев и Разуваев** – нарицательные фамилии кулаков-мироедов, которые использовал М. Е. Салтыков-Щедрин. Стали устойчивым выражением после выхода романа «За рубежом» (1880–1881). Появление этих фамилий в тексте очерков можно объяснить тем, что публикация их основной части состоялась в 1881 и 1882 годах.

Стр. 92. **Совсем дичь и глушь пошла около Дивьих гор.** Скорее всего, речь идет о Луневских горах – гипсовых утесах, протянувшихся по левому камскому берегу между Полазной и Добрянкой на 20 километров. Эти породы образовались около 300 миллионов лет назад на дне древнего Пермского моря. Сегодня Луневские горы признаны особо охраняемой природной территорией.

**Налился «биром»...** – Bier, нем. – пиво.

**Пашийская лесная дача** – земли, принадлежащие чугуноплавильному и железодельному Архангело-Пашийскому заводу, который считается одним из старейших на Западном Урале. Завод был основан в 1786 году М. М. Голицыным. В тексте первоисточника дача названа Пашинской.

Стр. 93. **Как они пережили зиму 1877 года, об этом один Бог знает, да и тот никому не скажет.** Очевидно, автор имеет в виду зиму 1877–1878 годов, которую называли голодной и холодной. В 1877 году в хлебных Казанской и Вятской губерниях случился неурожай, который серьезно сказался на положении Урала. Последующие неурожайные годы, неудачи в Русско-турецкой войне и огромные подати усугубили упадок экономики в стране.

**Расшива**, диалект. – большое плоскодонное парусное судно для перевозки грузов.

**Чердынъ** – исторический город на севере Пермского края. Чердынъ долгое время являлась столицей Перми Великой, средневекового княжества, возникшего в Верхнем Прикамье в ходе русской колонизации в XIV веке. Через Чердынъ в то время шла дорога за Урал. Теряет свое значение после появления в конце XVI века более короткой Бабиновской дороги.

**Чёрмоз.** – Первое упоминание о Чёрмозе относится к 1701 году. В 1751 году барон Н. Г. Строганов основал здесь медеплавильный завод, который вскоре перепрофилируется в чугуноплавильный и железоделательный. В 1778 году Чёрмозский завод и прилегающие земли купил И. Л. Лазарев. Чёрмозский завод входил в десятку крупнейших железоделательных предприятий Урала, а по качеству производимого им листового железа фактически не имел себе равных в России.

Стр. 94. **Чердынцы.** – Так называли коми-пермяков, которые проживали на территории Чердынского уезда, являвшегося историческим центром расселения коми-пермяков.

**Голутвенный**, диалект. – бедный, бездомный.

**Поселок Ильинский** впервые упоминается в документах 1579 года. С 1770 года Ильинский являлся центром пермских владений Строгановых. Здесь была построена усадьба, располагалось заводууправление. Строгановы учредили иконописную мастерскую и крепостной театр. Славился кустарными промыслами, являлся крупным ярмарочным центром края. Село находилось в месте впадения реки Обвы в Каму, долина Обвы считалась самой плодородной в Прикамье. Неслучайно местный хлеб ценился и ценится до сих пор.

**Обва** – правый приток Камы, длина реки – 247 километров. Предположительно, в переводе с коми-пермяцкого Обва означает «снежная вода».

**Деревня Емельяниха** (в 1869 году Емельянская) получила название по протекавшей здесь же речке Емельянихе. Жители занимались заготовкой леса. В деревне был конный двор. Деревня была затоплена Камским водохранилищем в 1953 году.

**Туп**, диалект. – зимнее лопарское (саамское) жильё.

Стр. 95. **Вологодские зыряне.** – Коми-зыряне, предки современных коми, как и коми-пермяки, принадлежат к пермской подгруппе финно-угорских народов, проживавших на северо-востоке Европейской части России и на территории Прикамья. По сведениям 1865 года, опубликованным в «Алфавитном списке народов, обитающих в Российской Империи», коми-зыряне общей численностью 120 000 человек проживали на территории Мезенского уезда Архангельской губернии, Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии, а также среди сельского населения Сольвычегодского уезда.

**Иньва** – правый приток Камы, длина реки – 257 километров. Здесь проживали иньвенцы – южная ветвь коми-пермяков, сложившаяся примерно в XVII веке. Были крещены, являлись крепостными Строгановых. Занимались земледелием и птицеводством. Образована «Иньва» от коми-пермяцких слов «инь» – женщина, «ва» – вода.

**Растесс**, Растёс. – Впервые о поселении упоминается в 1621 году как о постоялом дворе на Бабиновском тракте. В XIX веке рядом с поселком

находят богатые месторождения золота и платины, добыча которых шла до 50-х годов XX века. Сегодня поселок опустел.

*По Большому Висиму, Нижнему Лугу, Лёнве, Добрянке, Чёрмозу...* – Здесь перечислены реки Пермского края.

*Вирец*, диалект. – молодой лес, поросль.

*Зулина* – предположительно, кустарник.

Стр. 96. *...на горе Святотроицкой...* – Возможно, речь идет об одной из Веселых гор на северо-западе от Екатеринбурга – священном для старообрядцев месте. Здесь находились могилы почитаемых иноков и селились старцы. До сих пор этот горный хребет, протянувшийся вдоль границы Европы и Азии на 52 километра, считается диким и малопосещаемым.

*Нощию погибнет моавитская земля, нощию бо погибнет стена моавитская. Возопи Есвевон и Елеала, даже до Иассы услышася глас их...* – Цитата из книги пророка Исаии, главы 15 и 16. Рассказ о плене и несчастиях моавитян, вечных соперников иудеев, – это предостережение за неверие и порочность.

На *Пожвинском заводе* под непосредственным руководством В. А. Всеволожского в 1815–1817 годах были построены два первых российских парохода – «Пожовка» и «Искра». Конструкцию пароходов разработал инженер П. Г. Соболевский. Позже, в 1821 году, был построен еще один пароход – «Всеволод» – с двумя паровыми машинами, который тоже, к сожалению, не пережил первую навигацию. Развитие пароходного строительства на Каме затормозилось из-за монополии, выданной до 1843 года владельцу петербургского судостроительного завода К. Н. Берду. Начало регулярного сообщения по Каме приходится на 1846 год, когда Пермское пароходное общество построило и запустило мощный буксирный пароход «Пермь». С этого времени начинается регулярное строительство новых пароходов на местных заводах: заводы Гуллета и Тета, Мотовилихинский завод, завод братьев Каменских, Суксунский завод, завод Любимова и др. К 1861 году по Каме ходили 63 парохода.

Стр. 97. *Орёл-городок* – самое первое строгановское поселение. Основан в 1564 году на правом берегу Камы, напротив устья Яйвы. Орёл-городок был центром соледобычи и ремесел (производство «орлинских» изразцов). Фактически прекратил свое существование к началу XVIII века из-за постоянных паводков и подтоплений. Соляные промыслы были закрыты, центр Строгановских земель переехал в Новое Усолье. Остатки старого городка ушли под воду при строительстве Камской ГЭС в середине XX века.

Стр. 98. *Город Дедюхин* основан в 1647 году Аникой Строгановым как поселение при солеваренном промысле. Был одним из центров добычи соли в регионе. В 1952 году большая часть территории города была затоплена Камским водохранилищем.

Стр. 99. *Поселок Лёнва* основан при впадении реки Лёнва в Каму в 1610 году при солеварне балахонского купца Ивана Соколова. В 1952 году после строительства Камского водохранилища территория Лёнвы ушла под

воду. Осталась только возвышенность со Свято-Троицким храмом, которая образовала остров. Храм сегодня разрушается.

**Режи**, диалект. – бревенчатые клетки, служащие основанием мостов, плотин и т. п.

Стр. 100. **Гусяна**, диалект. – плоскодонное беспалубное низкобортное судно для перевозки грузов. Получила название от реки Гусь Тамбовской губернии, где была впервые построена.

Стр. 101. **...пророку Даниилу во рве львином было несравненно удобнее...** – Сюжет из Ветхого Завета повествует о пророке Данииле, которого поместили в львиный ров, но львы не тронули его благодаря божественному вмешательству.

**Веретье** основан в XVII веке в числе других соляных поселков. В 1879 году здесь была построена железнодорожная станция Веретье (Березники). Сегодня на месте поселка находится промзона Березников.

**Гаянтон**, фр, *galant homme* – порядочный или галантный человек.

Стр. 102. **Бур Фабиана** представлял собой бур свободного падения, пришедший на смену обычным ударным бурам. Был изобретен в 1846 году.

В немецком **городе Шёнебеке** находились самые крупные в Германии соляные варницы.

В **Стаффорде** паровые машины для откачки воды из шахт начали использоваться с XVIII века.

Стр. 103. **Чрен** – особая глубокая сковорода (противень, котел), используемая для выварки соли.

Стр. 104. **Шкив** – колесо с широким ободом, деталь ременной или канатной передачи.

**Шуравка**, спец. – рабочая камера печи, в которой происходит основной производственный процесс – перегонка, пережог, плавление и т. п.

Стр. 105. **К газовому отоплению применены собственно печи Симмонса, в которых получается сухая перегонка дров.** – Немецким и британским инженером К. В. Сименсом в 1856 году был разработан принцип регенерации тепла продуктов горения, такие печи называли регенеративными. Впоследствии Пьер Мартен применил этот принцип для подогрева не только воздуха, но и газа. Мартеновский способ стал широко применяться в металлургии в последней четверти XIX века.

Стр. 109. **Шуваловы** – крупнейшие уральские заводовладельцы и помещики, старинный дворянский род. В 1752–1754 годах П. И. Шувалов становится владельцем Камских и Гороблагодатских заводов. После его смерти заводы в счет уплаты долгов были взяты в казну. В 1823 году графиня В. П. Шувалова наследовала Лысьвенский, Бисерский, Юго-Камский и половину Кусье-Александровского завода. Впоследствии ими и Крестовоздвиженскими золотыми промыслами владели ее сыновья.

**Матица** – главная, основная часть.

Партнеры английской промышленной компании **Мезер и Платт** (Mather & Platt) в 1871 году разработали и внедрили в производство конструкцию центробежного насоса с паровым двигателем. В дальнейшем эти насосы становятся основой производства компании. В тексте первоисточника фамилия Платт написана с опечаткой – Плате.

Стр. 110. **Яйва** – левый приток Камы, длина – 305 километров. Протекает по территории Усольского и Александровского районов. Название реки переводится с коми-пермяцкого языка как «река, богатая рыбой, дичью, зверем».

**Князя Абамелек-Лазаревы** владели Кизеловским (1788), Полазненским (1797), Хохловским (1755) и Чёрмозским (1766) заводами, а также соляными промыслами. Накануне отмены крепостного права вотчина оказалась в единоличном владении Х. Е. Лазарева, а в 1873 году перешла к его дочери Елизавете Христофоровне (1832–1904). Делами уральского поместья с 1862 года занимался ее муж Семен Давидовичем Абамелек (1815–1888). Благодаря ставке на внедрение новых технологий существенно увеличил объемы производства. Seriously занимался живописью. После смерти тестя принял его обязанности почетного попечителя Лазаревского института восточных языков. Все поколения семьи проживали в Москве.

**Дедюхинский рассоловаренный завод** с 1764 года переходит в казну. С 1780 года причислен к Пермскому наместничеству. Действие казенного солеваренного завода прекращено в 1863 году.

**Иван Никифорович Дубровин** возродил в Соликамске угасшее к концу XVIII века солеварение. В 1818 году он построил одну варницу в Соликамске, потом в числе его приобретений оказался солеваренный промысел на острове Варничном, который находился на реке Каме напротив села Усть-Боровского. Также пытался основать стекольный завод, но тот быстро закрылся. Особняк Дубровиных в Соликамске является памятником культуры.

**Чапчачинская соль** добывалась на холмах Чапчачи (по-киргизски Арзагар) в Астраханской губернии на левом берегу Волги в Киргизской степи. Между холмов находились соляные озера, многие из которых сегодня высохли. Каменная соль залегала на глубине 2–10 метров, поэтому добыча велась открытым способом. Промысел в основном принадлежал государству. В тексте первоисточника она названа чапчучинской и чупчинской солью.

**Челышев Василий Львович** (1828–1900) – купец и пароходчик, почетный гражданин Чистополя. Имел крупные земельные владения в Чистополе, держал два крупяных завода, паровую мельницу, соляную лавку, крупный кирпичный завод. В разное время ему принадлежало пять пароходов и 12 барж. На средства купца был выстроен комплекс зданий старообрядческой (поморской) богадельни и молельни. Портрет В. Л. Челышева кисти Крамского хранится сейчас в Пермской картинной галерее. В тексте первоисточника фамилия написана через «ов» – Челышов.

**Чукашев Егор Иванович** (1815–1890) – почетный гражданин города Чистополя, купец I гильдии, занимался хлебной торговлей. Имел хлебные амбары в Чистополе и Рыбинске, владел крупным заводом и мельницами. В тексте первоисточника фамилия написана с ошибками – Чекушов.



Стр. 111. *Унимальщики*, спец. – рабочие, следящие за солью и в нужный момент достающие ее из чренов.

Стр. 113. *Канаус* – плотная шелковая ткань.

Стр. 114. *Мальцов Сергей Иванович* (1810–1893) – русский промышленник, генерал-майор, почетный член Общества содействия русской торговле и промышленности. В 1853 году, после смерти своего отца, становится крупнейшим землевладельцем, полновластным хозяином огромного промышленного района в центральной части Европейской России. В наследство Мальцову достались хрустальная фабрика, несколько стекольных, свеклосахарных и маломощных железоделательных заводов. За время его предпринимательства были приобретены новые фабрики и заводы, организованы новые производства. Для содержания и развития своих владений Мальцов в 1875 году учредил Мальцовское промышленно-торговое товарищество. Отошел от дел в 1884 году и переехал в свое крымское имение Симеиз. В тексте первоисточника назван Мальцевым.

*Вулкан* – бог огня, которого римляне называли Вулканом, а греки Гефестом. Древние греки изображали его в виде хромоногого карлика в остроконечной шапке. Образ сильного и мужественного кузнеца сложился позднее.

Стр. 115. *Пыскорский мужской монастырь* был основан в первой соляной столице Строгановых – Пыскоре – в 1560 году. Простоял здесь около двухсот лет, а после был разобран и перевезен в Пермь, послужив основой для Спасо-Преображенского кафедрального собора. В тексте первоисточника назван Пискорским.

*Город Кизел* основан при месторождении железной руды в 1762 году, когда начал свою работу первый рудник. В 1786 году здесь открыли месторождение каменного угля. В 1789 году был пущен Кизеловский металлургический завод, принадлежавший И. Л. Лазареву, который купил эти земли у Строгановых. С 1797 года началась добыча угля Кизеловского угольного бассейна. Сначала уголь добывали в штольне Запрудной. В 1856 году вошла в действие Старо-Коршуновская копь. Кизеловский металлургический завод работал до 1919 года. Получаемый чугуны отправляли на Чёрмоозский, Хохловский и Полазненский заводы, а часть переделывали в кусковое железо, которое затем прокатывали в листовую болванку. Сегодня в Кизеле нет работающих производств.

*Поселение Луньевка* основано в связи с началом разработок Никитино-Луньевского месторождения каменного угля в 1853 году. До этого здесь выжигали древесный уголь. Сначала поселок назывался Луньевскими копами – по реке Лунье. Благодаря богатым угольным шахтам и коксовой фабрике Луньевка являлась одним из центров горнозаводского Прикамья. Сейчас Луньевка – небольшой поселок около города Александровска Пермского края. В тексте первоисточника поселение называется по-разному: Луньевка, Лунья, Луньва. В данном издании название приведено к правильному варианту – Луньевка. Исключение сделано только для реплик собеседников.

*Няр* – приток Косью, длина реки – 50 километров. Протекает по Кизеловскому и Александровскому районам Пермского края.

Стр. 116. *Рамень*, диалект. – опушка леса.



Стр. 117. **Камень** – поселок в Александровском районе, входит в состав Яйвинского городского поселения. Сегодня в поселке проживает несколько человек.

**Душмянка**, диалект. – травянистое растение душица.

**Романово** – село в Усольском районе Пермского края. Известно с 1579 года. Другие названия – Верхнее (Большое) Романово, Егорьевское. Селом стало в XVII веке, когда здесь была построена Георгиевская деревянная церковь.

Стр. 118. **Еще недавно мы рукоплескали некоему полковнику генерального штаба, задавшемся целью осушить Пинские болота...** – Попытки осушить Пинские болота в пойме реки Припять предпринимались в 1874 году.

**Перекастить**, диалект. – испортить.

Стр. 119. **Уньва** – приток Яйвы, длина составляет 41 километр. В тексте первоисточника названа Ульвой.

**Куморка** – маленький приток Яйвы.

Стр. 120. **Вильва** – левый приток Яйвы, длина реки – 107 километров. Название произошло от коми-пермяцких слов «виль» – новая и «ва» – вода или река.

**Деревня Брагина** входила в приход Свято-Троицкой церкви села Рождественского Соликамского уезда.

Стр. 122. **Артемьевский железный рудник** был открыт в 1873 году, в 6,5 км от Кизеловского завода. Название рудника было дано в честь сына и наследника И. Л. Лазарева – Артемия Ивановича Лазарева (1768–1791). Рядом было построено одноименное поселение для рабочих. Руду поставляли на Кизеловский железодельный завод, а также на Чёрмоозский чугуноплавильный завод.

**Троицкие копи, или Троицкий рудник**, принадлежали Кусье-Александровскому металлургическому заводу, действовавшему с 1752 до 1918 года. В 1864 году единоличным владельцем завода стал граф П. П. Шувалов.

Стр. 123. **Новокрещенных Николай Никифорович** (1842–1902) родился в Юговском казенном заводе Пермского уезда в семье унтер-шихтмейстера. Получил образование в Юговском окружном училище, затем в качестве пенсионера-воспитанника был принят в Санкт-Петербургский практический технологический институт. После его окончания служил инженером на уральских и сибирских заводах. Писал диссертацию. В 1874 году начинает службу управляющего Кизеловского округа княгини Е. Х. Абамелек-Лазаревой, а в 1875-м назначается главным управляющим всех лазаревских заводов и соляных промыслов. Занимался техническим оснащением предприятий, усилением внутривзаводских связей и подбором кадров. В отставке занялся краеведением и археологией. Ему принадлежит заслуга первого исследователя знаменитого археологического памятника – Гляденовского костыща. Являлся главой Пермской комиссии Уральского отделения любителей естествознания. В тексте первоисточника фамилия написана с ошибкой – Новокрещенных.

**Лунья** – река в Соликамском уезде, впадает близ Александровского завода в Лытву; известна залежами каменного угля.

**Коршуновский (Лазаревский) завод** – металлургический завод в Кизеле, который принадлежал Лазаревым. Был пущен в 1789 году. При заводе работала сначала Запрудная штольня, а в 1856 году была запущена первая крупная копь – Старо-Коршуновская.

**Полуденный Кизел** – левобережный приток реки Кизел, длина реки – 17 километров. Название реки происходит от татарского слова «кызыл» – красный, указывает на прибрежные заросли шиповника и бузины с их красными ягодами. Приставка «полуденный» говорит о том, что река течет с юга.

Стр. 125. Молитву **«Да воскреснет Бог»** еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаются при этом к Господу с просьбой защитить от бесов и дьявола.

**Она тихо молиться не может, а как псалмопевец Давид, «скакаше и играше!»** – Давид Псалмопевец, святой пророк, второй царь Израильский, которому принадлежит заслуга объединения Израиля и Иудеи, в часы досуга упражнялся в пении и игре на гусях.

Стр. 128. **Малый Кизел** – приток реки Кизел, давшей название городу. По берегам реки также находятся залежи каменного угля.

Стр. 132. **Христофоровский рудник** – рудник и поселение, которые входили в состав Кизеловской дачи. Название рудника связано с именем Христофора Иоакимовича Лазарева (1789–1871).

Стр. 134. **...прочел о трех отроках, вверженных в огненную печь...** – Библейский сюжет, который повествует о иудейских юношах, брошенных в огненную печь по приказу царя Навуходоносора за отказ поклониться идолу, но сохраненных архангелом Михаилом и вышедших оттуда невредимыми.

**Фурма**, спец. – приспособление для вдувания газа в металлургическую печь или ковш.

Стр. 135. **Изложница**, спец. – форма, заполняемая расплавленным металлом для получения слитка.

**Абамелек-Лазарева Елизавета Христофоровна** (1832–1904) – княгиня, дочь Христофора Иоакимовича Лазарева, жена князя Семена Давидовича Абамелек, с 1871 по 1902 год наследовала уральские имения отца.

Стр. 136. **Река Ильма** – приток рек Молебки и Сылвы.

Стр. 139. **Сказывают, теперь у сербов с турками большой шум вышел.** – Сербско-черногорско-турецкая война шла в 1875–1878 годах. Сербия и Черногория вступили в конфликт с Османской империей с целью оказания поддержки восставшим сербам в Боснии и Герцеговине.

Стр. 140. **Полуштоф.** – Единица использовалась чаще всего в трактирах для измерения вина и водки. Составляет примерно 0,6 литра.

Стр. 142. **Exploitation des forces**, фр. – эксплуатация сил.

Стр. 143. *Лонись*, диалект. – в прошлом году.

*Мякина* – остатки колосьев, стеблей и другие отходы при молотье.

*Расплюев* – персонаж популярной трилогии А. В. Сухова-Кобылина «Картины прошедшего», мелкий циничный жулик, имя которого стало нарицательным. Фраза «поросенок в его неприкосновенности», сказанная Расплюевым при перечислении поданных в гостях блюд, вошла в обиход как знак плотности и пустословия.

Стр. 144. *Далеко-далеко на востоке Белый Спой виден.* – Хребет Белый Спой, протянувшийся с севера на юг на 40 километров, находится к северо-востоку от Кизела. Главная вершина – пологая гора Вогульский Камень – поднимается на 568 метров над уровнем моря. Один из вариантов толкования слова «спой»: покрытый лесом длинный горный хребет без ясно выраженных вершин. В тексте первоисточника – Белый Спай.

Стр. 145. *Забойка* – предположительно, ударный инструмент.

*Губахинско-Шадринская* штольня была заложена в начале 50-х годов XIX века. К 1810 году относятся первые сведения о каменном угле, который был найден здесь при разведке железной руды. В 1865 году была основана шахта Любимовская, где добывался уголь для заводов братьев Любимовых в Березниках.

Стр. 146. *Балясина* – деревянная опора.

Стр. 147. *Серапион Мордарьевич Курослепов* – герой комедии Н. Островского «Горячее сердце», написанной в 1868 году.

Стр. 148. *Скоромная* – запрещенная во время поста пища, мясные и молочные блюда.

*Сам Лебедев в Шадринске делал...* – в Шадринске в это время работал крупный винодельческий завод А. Ф. Поклевского-Козелл, который, как пишут краеведы, «задушил» всех прежних заводчиков и небольшие компании. Фамилия Лебедева в сведениях о винодельческих предприятиях Шадринска не встречалась.

*Шадринск* основан на берегу реки Исети как острог и слобода в 1662 году. С 1781 года – уездный город Шадринск.

*Барометр-анероид* – прибор для измерения атмосферного давления.

*Племя, или колено, Левитово* – так иронично говорят о священнослужителях. Пошло от Левита, сына библейского патриарха Иакова.

Стр. 149. *Зоил* – древнегреческий критик, историк и оратор (ок. 400–330 годы до н. э.). Он прославился тем, что подверг резкой и мелочной критике поэмы Гомера, которые в Древней Греции считались классическими, безупречными образцами поэзии.

*Шпанка* – испанская порода кур.

Стр. 150. *«(Все) взявшие меч, мечом погибнут»* – фраза Иисуса из Библии. Означает неизбежность воздаяния за вред, нанесенный другому.

*Муסיкийский* – музыкальный.

Стр. 152. **Башибузуки** – название военных отрядов в Османской империи, вербовавшихся во всех частях империи, но преимущественно в Албании и в Малой Азии. Имя башибузуков стало нарицательным для характеристики жестокости и злобы.

**Осуществили эту прекрасную идею Воеводин и Рогачёв, которые, разумеется, нисколько не напоминали Z. своими личными качествами.** – Основатели первого на Урале потребительского кооператива, в который вошли рабочие завода, управляющий Кыновским округом Строгановых **Н. А. Рогов** и бухгалтер, экономист **Л. Е. Воеводин** относятся к элите горнозаводской интеллигенции Урала. Николай Абрамович Рогов (1825–1905), выходец из семьи крепостных, окончил Санкт-Петербургскую школу сельского хозяйства и горнозаводских наук, основанную графиней С. В. Строгановой. Работал сначала лесничим, потом управляющим, проявив выдающиеся деловые и организаторские качества. Занимался народным просвещением: при его участии в Кыновском округе были открыты мужская и женская начальные школы, библиотека, действовал любительский театр. Рогов изучал этнографию коми-пермяков, опубликовал свыше 50 работ, посвященных вопросам развития Пермского края. В 1860 году в Петербурге были изданы букварь и грамматика пермяцкого языка. Словарь получил премию Императорской Академии наук. Леонтий Евдокимович Воеводин (1845–1923) был замечательным пермским экономистом, просветителем, краеведом. Родился в семье мастерового-кузнеца Билимбаевского завода. Окончил Пермское уездное училище, с 1879 по 1882 год – вольнослушатель Казанского университета. Потом работал в Кыновском двухклассном училище и бухгалтером у Строгановых. В начале 1900-х переезжает в Пермь, преподает бухгалтерию в Торговой школе. По его инициативе в Перми открывается политехникум. Редактирует пермскую газету «Пермский вестник» (1906–1907, 1912). Участвовал в работе пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания и Пермской ученой архивной комиссии. Занимался описанием памятников, сбором песен и легенд Пермской губернии.

**Кыновский железодельный завод** построен Н. Г. Строгановым на реке Кын, притоке реки Чусовой, в 1761 году. На заводе работала доменная печь и два молота.

**Никитинская волость** находилась в Соликамском уезде Пермской губернии.

Стр. 153. **Кляуза**, устар. – прошение, иск с жалобой на кого-либо.

**Юговской медеплавильный и железодельный завод** (также Кнауфский, Юго-Кнауфский) был основан балахнинскими купцами Петром Игнатьевичем и Гавриилом Полуэктовичем Осокиными на реке Юг, на арендованной у ясачных татар земле. В 1853 году вошел в Акционерную компанию Кнауфских горных заводов. В 1875 году в связи с убыточностью остановлен. Сейчас в этом месте находится село Калинино.

**Богословские заводы, также Богословский горный округ – Богословские заводы** – самый северный горный округ на Урале, располагавшийся в Верхотурском уезде Пермской губернии. Включал железодельные, чугунодельные и медеплавильные заводы и рудники, которые в основном принадлежали верхотурскому купцу М. М. Походяшину (1708–1781). После

смерти Походяшина его наследники продали заводы казне. К середине 1870-х годов рудники были выработаны, а заводское производство требовало больших вложений. В 1875 году казна продала предприятия с торгов статскому советнику С. Д. Башмакову. После смерти нового владельца горнозаводской округ бездействовал.

Стр. 154. **Глинка Владимир Андреевич** (1790–1862) – генерал от артиллерии, боевой офицер, масон, член Союза благоденствия, после роспуска которого отошел от декабристского движения, однако впоследствии деятельно помогал сосланным в Сибирь участникам восстания. С 1837 по 1856 год – главный начальник горных заводов Урала. Вводит жесткую, по примеру военной, дисциплину на казенных заводах, но в то же время следит за тем, чтобы управляющие заводами выполняли обязательства перед рабочими. Вспыльчивый и резкий характер создает ему репутацию «царя и бога» уральских заводов. Однако Глинка сделал огромный вклад в развитие горнозаводского дела на Урале. Он наводит порядок в лесопользовании горных округов, предпринимает меры по сбережению леса. Активно способствует технологическому развитию уральских заводов: под его попечительством проходит внедрение пудлингования, строятся механические мастерские, начинается пароходостроение. Способствует развитию просвещения и науки на Урале. Неудачные попытки уральских заводов наладить артиллерийское производство были в конце концов поставлены в вину Глинке, который много сил вложил в эту идею. В 1856 году после обвинительных выводов правительственной комиссии Глинка покинул пост и уехал в Петербург.

Стр. 155. **Вирсавия** – жена царя Давида и мать царя Соломона. Согласно Библии, Давид соблазнился красотой Вирсавии и приказал, чтобы ее доставили во дворец. Муж Вирсавии, Урия Хеттеянин, находился в это время на службе в армии Давида. По его приказу Урия был направлен на острие сражения, где и погиб, а Давид женился на Вирсавии.

Стр. 156. **Шабурное** (сейчас – Всеволодо-Вильва). – Поселок основан в 1811 году при железодельном заводе, построенном В. А. Всеволожским на реке Вильве. Завод назвали Всеволодо-Вильвенским, соединив имя владельца с именем реки. Позже поселок стали называть Всеволодо-Вильвой. История названия Шабурное связана с именем беглого работника и разбойника Шабуря, первым поселившегося в этих местах.

Стр. 157. Согласно Библии, во времена Авраама **Содом и Гоморра** были цветущими и богатыми городами, но поскольку жители их были злы и грешны, то «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба».

Стр. 158. **Вальё** – предположительно, масса обугленных дров (угля), перевозимых в больших корзинах на завод.

Стр. 161. **Песня работников, или Песня рабочих**, была написана французским поэтом-песенником Пьером Дюпоном (1821–1870) в 1846 году. Песни Дюпона носили революционный характер, перед революцией 1848 года их распе-

вала вся страна. В. И. Немирович-Данченко был одним из первых переводчиков Дюпона на русский язык. Перевод «Песни рабочих» был сделан им в 1872 году.

Стр. 162. **Серебрянский прииск** – прииск при Серебрянском железоделательном заводе на реке Серебряной, притоке Чусовой. Сейчас поселок Серебрянка находится в Нижнетагильском муниципальном округе Свердловской области.

Стр. 163. **Хрепок** – предположительно, крепежная деталь, служащая для остановки ворота, опускающего бабью.

Стр. 165. **Река Большой Болтун** – приток реки Кокуй, которая впадает в реку Серебряная (Серебрянка). По реке Серебряной и ее притокам находилось несколько золотых приисков.

Стр. 169. **En sapaille**, фр. – негодяй, подлец.

**Молебский чугуноплавильный и железоделательный завод** был открыт А. Г. Демидовым в 1787 году. Находился на реке Молебке, правом притоке реки Сылвы, в 60 верстах от города Кунгура. В 1871 году на Молебском заводе закрылось железоделательное производство, он стал чугунолитейным предприятием. В 1904 году завод в Молебке закрылся.

**Серебрянский железоделательный завод** был построен в 1755 году на реке Серебрянка в Кунгурском уезде Пермской губернии П. И. Шуваловым. В 1764 году завод стал казенным. Завод производил железо разных сортов, в том числе полосовое, четырехгранное, круглое. Чугун поступал с Баранчинского и Кушвинского заводов.

Стр. 170. **Ревдинский металлургический завод** основан Акинфием Демидовым в 1734 году.

Стр. 171. **Скала (боец) Разбойник** расположена на резком повороте реки Чусовой. Плывшие вниз по реке барки течением несло прямо на скалу. Некоторые из них не успевали уйти в сторону и разбивались.

**Скала Мултык** также была одной из самых опасных для железных караванов. В тексте первоисточника ошибочно написано «Мултук».

**Гешефт** – коммерческая сделка, выгодное дело.

Стр. 172. **Илимская казенная пристань** была построена на реке Илим (Илимка), левом притоке реки Чусовой. Рядом с пристанью выросло одноименное село. По данным 1860 года, на Илимской пристани ежегодно строилось от 100 до 115 коломенок и до 150 лодок к ним. Построенные здесь судна считались лучшими по своей прочности на Чусовой. Здесь также работали пильная мельница и своя кузница.

Стр. 173. **Река Луньва** протекает в Александровском районе Пермского края, длина реки – 18 километров. На реке стоит поселок Луньевка, который возник в 1853 году в связи с разработкой месторождения каменного угля.

**Варака**, диалект. – крутой каменный берег, утес, береговая скала.



Стр. 174. *Грасгоф Григорий Людвигович* (1831–1889) – потомственный горный инженер, действительный статский советник, металлург, основатель Пермского чугуно-пушечного завода (1864). Окончил Институт Корпуса горных инженеров (Петербург, 1852). Служил управляющим на нескольких уральских заводах, внедрял способ изготовления стали по методу Г. Бессемера. Был начальником Гороблагодатского горного округа (1870–1872), управляющий заводами и каменноугольными копиями Уральского горнозаводского товарищества (1873).

Стр. 175. *Казовые концы*, устар. – лучшая часть, выигрышная сторона чего-либо.

Стр. 176. *Восточная Лунья* – левый приток Луньвы. В тексте первоисточника названа Восточной Луньвой.

*Железные печи системы Собольщикова*. Собольщиков Василий Иванович (1813–1872) – российский библиотечарь и архитектор Императорской публичной библиотеки, почетный член Императорской Академии художеств. При строительстве и благоустройстве библиотеки разработал новую печную систему: печь находилась в подвале и нагревала комнаты с помощью воздуховодов и дымовых каналов. Модель получила почетный отзыв на Парижской Всемирной выставке 1867 года.

Стр. 177. *Сюжет «Похороны кота мышами»* – самый популярный сюжет в русском лубке. Считалось, что это карикатура на погребение императора Петра I, сочиненная противниками его реформ.

*Пикан* – коми-пермяцкое название дягиля, разновидности лесного дудника (сейчас его чаще называют борщевиком сибирским). Пиканы тушат, маринуют, солят, молодые листья пикана добавляют в щи и борщи вместо капусты.

*Пистики* – коми-пермяцкое название побегов хвоща полевого, которые употребляются в пищу. Из них готовили и готовят пирожки, запеканки, каши.

Стр. 178. *Штейгер* – горный мастер, ведающий рудничными работами.

Стр. 179. *Григорьевская копь* – одна из копей Луньевской горы, открыта в 1875 году у ее подножия.

Стр. 180. *Илиодоровский рудник* – также один из рудников Луньевки, находится на вершине Луньевской горы, открыт в 1876 году.

*Город Тагил* основан в 1722 году в долине реки Тагил, от которой и получил свое название. Здесь Акинфий Демидов построил сразу два железоделательных завода – Выйский медеплавильный (1722) и Тагильский чугуноплавильный (1725). В 1807 году создан Нижнетагильский горный округ в составе Нижнетагильского, Выйского, Нижне- и Верхнесалдинских, Черноисточинского, Висимо-Шайтанского, Висимо-Уткинского, Верхне- и Нижнелайского заводов, принадлежавших Демидовым. В 1919 году поселок Нижнетагильского завода преобразован в город Нижний Тагил.

Стр. 182. *Саламандра* – по древним мифологическим представлениям животное, способное жить в огне, не сгорая, дух огня. Являлась хранителем входа в преисподнюю.

Стр. 185. *Александровский чугуноплавильный завод* основан В. А. Всеволожским в 1802 году. В течение более 100 лет завод выплавлял чугун из руд, добываемых в близлежащих рудниках, а позднее привозимых из района Нижнего Тагила. В 1912 году из-за нерентабельности металла производство было прекращено, завод стал перепрофилироваться на ремонт оборудования для угольных копей. Сейчас ОАО «Александровский машиностроительный завод» пытается сохранить производство горно-шахтного оборудования, на котором он специализировался в последнее время.

Стр. 186. *Реприманд*, фр. – выговор, упрек, укор.

*Едва ли найдется на Урале другой род, о котором бы ходили здесь такие чудовищные рассказы.* – В 60-х годах XIX века владения Всеволожских были поделены между многочисленными наследниками, большая часть заводов сдана в аренду и распродана. Очевидно, на этом фоне и распространялись «чудовищные» рассказы о Всеволожских. Однако нельзя забывать, что деятельность основателя заводской империи Всеволожских – Всеволода Андреевича Всеволожского – оставила заметный след в горнозаводской истории Урала. На его заводах впервые в России были проведены опыты по пудлингованию, применены передовые технологии водоотведения, построены два первых камских парохода, один из первых в стране паровозов, а также работали выдающиеся инженеры: П. Г. Соболевский, В. П. Воеводин, П. Э. и Э. Э. Теты.

*Сивинское поселение* упоминается в письменных источниках с 1795 года. Первоначально деревня Сивинская – вотчина помещика В. А. Всеволожского. Название получило по реке Сива. В конце XVIII века здесь началось создание крупного помещичьего хозяйства. Сначала, в 1798 году, появился конный завод, затем – овчарня, в 1818-м – суконная фабрика и стекольный завод. Сегодня село является административным центром Сивинского района.

Стр. 188. *В 1860 году продолжать такие порядки оказалось невозможным; они обратились за помощью к компании французских и бельгийских банкиров.* – Речь идет о Никите Всеволодовиче Всеволожском, который растратил свою часть наследства в Европе и наделал огромные долги. Вместе с братом они не раз предпринимали авантюры, чтобы поправить дела на заводах, вроде введения собственных денег или сомнительных займов у доверчивых знакомых. В 1861 году Никита Всеволодович создает акционерное общество с французской фирмой «Жюль Пик и К<sup>о</sup>». Французские акционеры свои обязательства не выполнили и начали распродавать имущество. Н. В. Всеволожский умер в 1862 году в долговой тюрьме Бонна.

Стр. 189. *Кропачев Александр Павлович* (1824–1906) – один из крупнейших пермских купцов второй половины XIX века, потомственный почетный гражданин Перми. Отличаясь энергией и предприимчивостью, Кропачев сделал ставку на развитие промышленности края. Ему принадлежали самые

крупные в Перми кирпичные заводы, он строил грузовые суда и занимался речными грузоперевозками.

*Это тянулось до 1873 года, когда устроилось нынешнее товарищество для эксплуатации Луньевских копей и Александровского завода.* – В 1873 году Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы, лесные дачи, Луньевские копи были сданы в арендное пользование Уральскому горнозаводскому обществу. В это время в Луньевке начал работать управляющим Грасгоф, о котором говорилось раньше.

Стр. 190. *Питаясь акридами и не помышляя о диком меде...* – Акриды – род съедобной саранчи. Согласно Евангелиям, акридами и диким медом питался Иоанн Креститель, живя аскетом в пустыне до того, как Бог призвал его к проповеди.

Стр. 192. *...еще недавно отсюда вышел пароход «Гарибальди» для реки Камы.* – На Пожевском заводе В. А. Всеволожского в 1815–1816 годах были построены два первых российских парохода – «Пожовка» и «Искра». Они строились под руководством инженера П. Г. Соболевского. Позже, в 1821 году, был построен еще один пароход «Всеволод» с двумя паровыми машинами, который тоже не пережил первую навигацию. Развитие парового строительства на Каме затормозилось из-за монополии, выданной до 1843 года владельцу петербургского судостроительного завода К. Н. Берду. Начало регулярного сообщения по Каме приходится на 1846 год, когда Пермское паровое общество построило и запустило мощный буксирный пароход «Пермь». С этого времени начинается регулярное строительство новых пароходов на местных заводах: заводах Гуллета и Тета, Мотовилихинском заводе, заводе братьев Каменских, Суксунском заводе, заводе Любимова и др. К 1861 году по Каме ходили 63 парохода. Название «Гарибальди» в сохранившихся сведениях о пароходстве на Каме не встретилось.

Стр. 193. *Кушва* основана в 1735 году В. Н. Татищевым рядом с богатым железным месторождением горы Благодать и чугуноплавильным заводом. Город находится в 50 километрах к северу от Нижнего Тагила. Название пошло от имени реки Кушвы, что в переводе с коми-пермяцкого значит «гнилая вода». В XIX веке Кушва становится центром Гороблагодатского горного округа. Здесь внедряли горячее дутье, повышающее эффективность работы домен. В Кушве работал горный инженер В. К. Рашет, придумавший собственную конструкцию печи. Открытая в 1872 году Горнозаводская железная дорога способствовала развитию завода.

*Герберт Спенсер* (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма.

*Феденька Кротиков* – герой очерка Щедрина «Помпадур борьбы, или Проказы будущего». Молодой повеса и неуч, вдруг ставший губернатором в городе Навозном.

*Сэмюэл Смайлс* (1812–1904) – шотландский писатель и реформатор. Автор книги нравственно-философского характера «Помощь себе», «Бережливость», «Жизнь и труд» и т. п., которые были популярны в России.

**Шарин Петр Сосипатрович** (1810–1869) – главный управляющий имениями Строганова, жил в поселке Ильинский.

**Вейсбах Юлиус Людвиг** (1806–1871) – саксонский математик и механик-гидравлик. Преподавал в университете Фрайбурга-им-Брайсгау, города на юго-западе Германии, прикладную математику.

Стр. 194. **Билимбаевский (Билимбаевский нижний) чугуноплавильный и железоделательный завод** – один из старейших металлургических заводов Среднего Урала, действовавший с 30-х годов XVIII века до 1970-х годов. Основан бароном А. Г. Строгановым на речке Билимбаихе, правом притоке реки Чусовой. Один из самых благоустроенных на Урале. В четырех верстах от завода на реке Чусовой располагалась пристань.

Стр. 196. **Демидов, например, построил дворец в Ревде...** – Ревдинская усадьба Демидовых построена в 1731–1740 годах, она не уступала по роскоши дворцу в Невьянске – горной столице Демидовых.

Стр. 197. **Павдинский камень** – горный кряж в пределах Верхотурского уезда Пермской губернии, абсолютная высота около 940 метров.

**Косьвинский камень** – известный горный массив на Северном Урале, его высота составляет 1519 метров. Он имеет куполовидную форму с крутыми склонами и плоской вершиной.

Стр. 198. **Урса** – как и Луньва, приток реки Лытвы, на которой построен город Александровск.

**Басеги** – горный хребет на Среднем Урале в Пермском крае, расположен в междуречье Усьвы и Вильвы. Басеги находятся к юго-западу от Белого Споя и Ослянки. Длина хребта – около 30 километров, высота – до 994,7 м (гора Средний Басег). На отрогах хребта с 1 октября 1982 года работает заповедник Басеги.

Стр. 202. **Ослянка** – самая высокая вершина Среднего Урала. Высота 1 119 метров. Расположена на северо-востоке Кизеловского района, к северу от хребта Басеги и к востоку от Белого Споя. Входит в состав хребта Ослянка, который также вытянут с севера на юг – на 16 километров.

**Впрочем, идиллия тут далеко не феокритова.** – Феокрит – древнегреческий поэт, представитель древнегреческого романтизма. Основал жанр идиллии, или буколики, в которой предметом любования становится простота и естественность народного быта.

Стр. 203. **Губаха** основана в 1755 году в связи с открытием на Крестовой горе железной руды. Деревня Губаха стояла при впадении реки Губашки в Косьву и служила пристанью для барж, на которых сплавлялась железная руда с верховьев Косьвы в Каму. Сегодня Губаха является центром химического производства Пермского края.

**Душегубка**, диалект. – узкая неустойчивая лодка, обычно выдалбливаемая из одного куска дерева.

Стр. 206. **Демидов Никита Акинфиевич** (1724–1789) – русский промышленник, младший сын Акинфия Демидова. Владел Нижнетагильскими заводами; основал Нижнесалдинский (1760) и Верхнесалдинский (1778) заводы.

**Невьянская башня** – наклонная башня, построенная в центре Невьянска в 1721–1725 годах по приказу Акинфия Никитича Демидова в честь пожалования ему дворянского титула. Башня исполняла роль колокольни, сторожевого пункта, заводского архива, конторы, лаборатории и тюрьмы. По преданию, подвал башни был затоплен, чтобы скрыть от ревизоров незаконную выплавку серебра и производство из него монет. Однако версия о затоплении подвалов не нашла подтверждения у современных специалистов. В то же время исследователям удалось доказать, что в подвалах башни действительно проводилось отделение серебра от свинца и цинка, полученных из черновой алтайской меди.

Стр. 207. **Вяземский Александр Алексеевич** (1727–1793) – князь, государственный деятель, ближайший сановник Екатерины II. Окончил Кадетский корпус (1747), участник Семилетней войны, затем исполнял за границей различные секретные поручения. В 1763 году направлен императрицей Екатериной II на уральские горные заводы в связи с большим количеством жалоб от приписных крестьян. Вяземский должен был не только усмирить жалобщиков, но и разобраться в ситуации, изучив экономическое положение горных заводов. Сановник побывал в разных округах, в том числе у Демидова, который успел подготовиться к встрече: построил для высокого гостя в своем невьянском имении роскошный дом, собрал документы на беглых крестьян, а тех, которые остались неучтенными, спрятал. Больших нарушений на демидовских заводах Вяземский не обнаружил, но во время своей поездки собрал еще множество челобитных, которые послужили ему в работе над Уложением. С 1764 года был генерал-прокурором Сената, в 1769 году назначен членом Совета при Высочайшем дворе. Фактически руководил ведомствами финансов, юстиции и внутренних дел.

Стр. 208.

**Шестаки** – деревня по правому берегу реки Косьвы, к западу от города Губахи. Упразднена в 2005 году.

Стр. 210. **Разволочное время**, диалект. – промысловое время.

**Нашебаршить**, диалект. – заработать.

**Роздых**, устар. – кратковременный отдых, перерыв в работе.

**Готва** – вещи, скарб.

Стр. 211. **Пятигорка** – приток Косьвы.

**Ужасно напоминала Тулому в Лапландии**. – Река Тулома на Кольском полуострове, в основном протекает по территории Кольского района Мурманской области, но ее исток находится в Лапландии. Имеет быстрое течение.

Стр. 213. **Ершовка** – приток Косьвы.

**Луд** – каменная гряда в реке, камень или небольшой островок посреди воды.

**Орясина**, диалект. – жердь, длинный прут.

Стр. 214. **Пир Валтасаров** – символ беззаботного веселья накануне неминуемой беды. О нем рассказано в Библии, в книге пророка Даниила.

Однажды вавилонский царь Валтасар устроил пир, в разгар веселья приказал принести драгоценные сосуды, которые его отец Навуходоносор силой забрал из Иерусалимского храма, и налить в них вино. Возникла огненная рука и начертала пророчество, которое в ту же ночь сбылось: Вавилон был захвачен персами, а Валтасар убит.

**Зубарев Николай Николаевич** в 1870-е годы служил управляющим Турьинских медных рудников Богословского округа

Стр. 215. *Под Гремяхой, Гусем, Претчихой...* – Из-за Широковского водохранилища конфигурация берегов Косьвы между Губахой и Троицком изменилась. Сохранилось название Гусева гора (406 метров).

Стр. 216. *Тут на Ослянке и около прежде много разбойного лихого народу жило. Только не нашей веры и не нашей молви.* – В этой части Урала раньше кочевали племена манси (вогулов).

*Малявка*, диалект. – мелкая рыба.

Стр. 219. *Ореховка* – приток Косьвы.

Стр. 220. *Разволочная тупка*, диалект. – разборное, временное жилище.

Стр. 223. *Могутной*, диалект. – богатый.

Стр. 225. *Маклак*, устар, простореч. – посредник при мелких торговых сделках, торговец подержанными вещами.

Стр. 226. *Тут Косьва принимает в себя горные речки – Нюр, Дергачку, Прикашерку, Кедровку, Мутную, Гремячую и многое множество безымянных.* – Перечислены мелкие речки – притоки Косьвы, многие из них впадают сегодня в Широковское водохранилище. В тексте первоисточника допущено несколько ошибок: речка Прикашерка названа Перхашер, а Нюр и Дергачка соединены в общее название Нюр-Дергачка.

**Голубев Виктор Фёдорович** (1842–1903) – русский инженер, промышленник. Главный инженер строительства Уральской горнозаводской железной дороги. Общество Уральской горнозаводской железной дороги обратилось к потомственному пермскому художнику, академику пейзажной живописи **Петру Петровичу Верещагину** (1834–1886) с предложением запечатлеть ландшафты тех мест, по которым пройдет первая в этих краях железная дорога. Художником была создана значительная серия пейзажей Среднего Урала: около тридцати этюдов и законченных картин. Среди них «Станция Архиповка», «На реке Чусовой», «Камень Мултык», «Камень Остряк», «Камень Красный», «Вид реки Чусовой при пересечении мостом Уральской железной дороги» и др. Шесть из них хранятся в Пермской галерее. Считается, что Петр Верещагин стал первым профессиональным художником, создавшим живописный образ Урала.

*Рассольная, Большая Чирковая, Малая Чирковая, Ершовка, Гремяча, Малая и Большая Усьвянки, Таскаиха, Рассолка, Сухая,*



*Ломоватиха, Ослянка, Гашковка, Полуденная...* – Перечисляя притоки Косьвы, автор неточно передает некоторые названия. В тексте первоисточника неточно воспроизведены названия: Усвинка, Тоскайха, Ломовая, Ташковка.

Стр. 228. *Губахинская (Мариинская) пещера* находится недалеко от района Верхняя Губаха, в западном склоне горы Белой, и является геологическим памятником природы.

Стр. 233–235. *Майковая, Тихая, Плоская, Шестаковка, Кедровка, Сонливая, Брюханова, Малкова, Красная, Колотовка* – деревни, которые находились по берегам Косьвы. В тексте первоисточника некоторые названия написаны иначе: Сонлива, Красный, Колотовская.

Стр. 236. В 1755 году через *Оханск* прошел Казанский тракт, после чего важную роль стали играть пристань и местная переправа через Каму. Жители города занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством, охотой и рыбной ловлей.

Стр. 237. *Фетинова, Кужгорт* – деревни по берегам Косьвы. В тексте первоисточника названия написаны иначе: Фетиновка, Кушгород.

Стр. 238. *Село Пермское* – поселение упоминается в письменных источниках с 1579 года. Первоначальное название – деревня Вильгорт (в переводе с коми-пермяцкого языка – «новая деревня»). Потом поселение носило названия Косвенское и Никольское (по Свято-Никольской церкви). Современное наименование села объясняется тем, что здесь раньше жили пермяки (коми-пермяки). В тексте первоисточника названо Пермским.

*Шкапик*, диалект. – шкаф.

*Село Нижегородки* – скорее всего, имеется в виду село Нижние Чусовские Городки.

Стр. 239. *Трясавица*, диалект. – лихорадка, озноб.

*Синяя болезнь* – группа сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся резким цианозом, больные на расстоянии кажутся синими или даже иссиня-черными.

Стр. 240. *Веселкова* – деревня на Косье. В тексте первоисточника написано иначе – Веселкина.

Стр. 241. *Верх-Нейвинский* поселок основан в 1662 году. В 1762 году П. А. Демидовым здесь был построен Верх-Нейвинский чугуноплавильный и железоделательный завод. Параллельно строилась земляная плотина на реке Нейве, ее длина составила 960 метров. После перекрытия реки вода поднялась до высоты плотины и соединилась с озером Таватуй, образовав громадное искусственное водохранилище.

Стр. 242. *Орел-скопа* – птица семейства ястребиных. Питается практически исключительно рыбой. В народе иногда называется «речной орел».

*Филагино* – поселок в Добрянском районе Пермского края.

Стр. 244. *Плесо, Крутикова, Красная, Собольки, Плаксива, Боровская* – деревни по *берегам Косьвы*. В тексте первоисточника некоторые названия написаны иначе: Плаксина, Собольково.

Стр. 246. *Большой отдел положению пермского рабочего посвящен автором в статьях «Урал» («Русская речь», 1881 год, сентябрь–декабрь)*. – В этих номерах «Русской речи» опубликован цикл «Урал: очерки и впечатления летней поездки», который составил потом часть книги «Кама и Урал: очерки и впечатления».

*Черных Василий Сидорович* (1813–1877) – чердынский купец I гильдии, меценат. Уроженец села Покча. Начиная в Покче строительство барж. Основал два детских приюта.

Стр. 247. *...иеремиям, плачущим на реках Вавилонских...* – Псалом 136 «На реках вавилонских» представляет собой песню еврейских изгнанников, томящихся в вавилонском плену после падения Иерусалима. Псалом приписывали пророку Иеремии, хотя он в плену не был, а только предсказал его.

Стр. 248. *Гора Благодать* находится на восточном склоне Уральского хребта к северу от Нижнего Тагила. Получила известность благодаря открытому на ней в 1735 году крупному месторождению магнитного железняка. На залежи породы указал охотник-вогул Степан Чумпин. По легенде, Чумпин был сожжен соплеменниками за то, что указал русским на богатства священной для вогулов горы. В 1826 году на вершине горы был открыт памятник с надписью: «Вогул Степан Чумпин сожжен здесь в 1730 году». В 2003 году рудник был закрыт из-за полной выработки. Сейчас на месте центральной части находится карьер диаметром около километра и глубиной до 315 метров.

*Гора Высокая*, или Магнитная, – гора на восточном склоне Среднего Урала, в центральной части Нижнего Тагила. Месторождение горы Высокой было открыто местными вогулами и заявлено властям в 1696 году. Эксплуатация началась в 1721 году. В 1990 году из-за истощения месторождения добыча руды открытым способом была прекращена. В настоящее время на месте прежней горы Высокой находится воронкообразный котлован глубиной около 200 метров.

*Верх-Исетский металлургический завод* был построен в 1726 году на Верх-Исетском пруду. При заводе образовался Верх-Исетский поселок. Сегодня – это часть Екатеринбургa. В тексте очерков назван Верхне-Исетским.

Стр. 249. *Крымская война* – война 1853–1856 годов между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства – с другой.

Стр. 259. *Северо-Екатерининский канал* был спроектирован при Петре I. Соединял бассейны рек Камы и Северной Двины. Канал строился в течение 36 лет, его строительство было закончено в 1822 году. Длина его составила 18 километров, ширина по дну 8 метров, действовали три деревянных шлюза. Первоначально грузопоток через канал был достаточно активным. Но после открытия новых водных и наземных путей значение канала заметно снизилось. В 1838 году канал был официально упразднен, просуществовав всего

16 лет. Однако местные купцы и жители окрестных поселений продолжали им пользоваться. В настоящее время канал разрушен.

**Экспедиция казанских ученых** – зоолога Э. Д. Пельцама и геолога А. А. Штукенберга – в Печерский край на Тиманские горы состоялась в 1874 году.

**Берёзов** – поселок на реке Северной Сосьве, берущей начало в Уральских горах и впадающей в Обь. Считался самой северной и труднодоступной частью Тобольской губернии, неслучайно город служил местом ссылки государственных преступников, в том числе Меншикова. Основан в 1593 году как русское укрепление на месте селения Сумгутваш (на хантыйском – «березовый город») посреди северных лесов и тундры. Жители занимались торговлей мехами и сушеной и соленой рыбой. Сейчас входит в Ханты-Мансийский автономный округ.

**Усолва** – вероятней всего, имеется в виду Усолка – приток Камы, протекающий в Соликамском районе. Через Усолку проходил Бабиновский тракт, открывший в свое время короткий путь через Уральские горы в Сибирь – к рекам Тура и Обь, по которой спускались до Тобольска и поднимались на север – до Берёзова.

**Река Лёна** – левый приток Камы, впадает в нее около Березников. Она протекает южнее дороги на Верхотурье, возможно, автор имел в виду Яйву, которая была одной из самых крупных рек, которые пересекала Бабиновская дорога.

Стр. 260. Вице-адмирал и ученый-географ **Павел Иванович Крузенштерн** (1809–1881), сын известного путешественника И. Ф. Крузенштерна, посвятил свою научную деятельность изучению Печерского края. Всего им было предпринято девять экспедиций. Последние два путешествия состоялись в 1874 и 1876 годах.

**Кельтма**, Южная Кельтма, Кильтма – река в Чердынском уезде, начинается у границы с Усть-Сысольским Вологодский губернии, из обширного болота Гуменца. Кельтма впадает в Каму.

Стр. 261. **Крестовская, или Крестовско-Ивановская, ярмарка** – крупная сельская ярмарка. Проходила в селе Крестовское под Шадринском в августе. Считалась второй по величине в Южном Зауралье после Ирбитской. Традицию возродили в 2012 году.

Стр. 262. **Вон Башкирское сельбище – Колковское.** – Скорее всего, так ошибочно названо Кояново (Кояновское сельбище) – это татаро-башкирское село в 25 километрах от Перми.

Стр. 265. **Чернеть**, устар. – черный люд, простой народ, низы общества.

**Сами знаете: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене и будут два в плоть едину. Тайна сия велика есть».** – Строки из Библии, употребляются в значении: пожелание единодушия, согласия в браке. Обычно эта глава читается во время венчания.

Стр. 268. Перечислены крупные кунгурские купцы: **А. С. Губкин** (1816–1883), **А. Г. Кузнецов** (1856–1895), **М. И. Грибушин** (1832–1889), **А. П. Чуватов**

(1844–1902), **В. Е. Фоминский** (в тексте первоисточника – Фомин) (1819–1894), **А. Г. Пиликин** (с опечаткой – Пликин) (1805–1896?), **Е. С. Зырянов** (с опечаткой – Зыряков) (1815–1875).

**Вон недавно Грибушин на техническую школу... несколько сот тысяч дал.** – Техническое училище было построено не М. И. Грибушиным, а А. С. Губкиным. Строительство началось в 1872 году и было закончено в 1877-м. В него было вложено около одного миллиона рублей.

**...Зырянов, взял да так, ни с того ни с сего, девяносто тысяч рублей на благотворительные дела отдал...** – Имеется в виду Общественная Зыряновская богадельня, строительство которой началось в 1872 году на средства кунгурского купца Е. С. Зырянова. В 1875 году Зырянов отходит от дел и жертвует свой капитал в размере 85 тысяч рублей городскому обществу на содержание богадельни.

**Соку с кокой выжать,** устар. – выжимать пот из кого-либо, заставлять напряженно работать.

**Большое и роскошное здание Губкинского приюта на несколько корпусов...** – Елизаветинский приют для девочек был построен на средства А. С. Губкина. Строительство шло параллельно с техническим училищем, также по проекту известного петербургского архитектора Р. Р. Генрихсена. Сейчас здесь размещается педагогическое училище. Здание называют украшением города.

Стр. 269. **Ah Josefine, Avec sa machine,** фр. – Ах, Шозефина, со своей машиной.

Стр. 270. **«Шла девица за водой», «Гусар, на саблю опираясь...», «Под вечер, осень ненастной».** – Перечислены песни, исполняемые народом: народная песня «По улице мостовой», «Разлука» К. Н. Батюшкова, «Романс» А. С. Пушкина.

Стр. 271. **Деревня Бушуева** – деревня и станция на Сибирском тракте, входила в состав Кунгурского уезда.

**Мровина** – предположительно, трава.

Стр. 272. **Село Сабарка,** Сабарское – расположено неподалеку от Суксуна на Сибирском тракте у речки Сабарки. Входило в состав Кунгурского уезда. В тексте первоисточника названо Сабаровкой.

**Оклоушить,** диалект. – сильно ударить чем-либо.

**Суксунская гора** – возможно, автор назвал так Северную гору, которая являлась самой высокой точкой исторической части Суксуна, здесь в 1798 году был построен храм Петра и Павла.

**Село Советное (Советная)** находится на расстоянии 2 километров на северо-запад от поселка Суксун. Известно с 1788 года как деревня Устюгова.

Стр. 273. **Киж** – дома, хоромы.

**Ключи (Златоустовское)** – основано в 1620 году русскими крестьянами. Находится на левом берегу реки Иргины (левый приток реки Сылвы). В начале XVIII века здесь были открыты сероводородные источники.

Стр. 274. ...словно *Марий на развалинах Карфагена*. – Так говорят о человеке, который увидел воочию крушение всех своих надежд. Римский полководец и политический деятель Марий Гай (156–86 годы до н. э.) шесть раз избирался консулом, но на седьмых выборах проиграл и должен был уступить власть своему сопернику Сулле. Попытка победить Суллу силой не удалась. В результате Марий вынужден был бежать и оказался в разрушенном римлянами Карфагене.

*И такая дорога идет от Ключевской вплоть до Быковской станции без перерыва...* – Быковская станция находилась примерно в 20 километрах от Ключей, по середине пути до Ачита.

Стр. 275. *Ачитская станция, Ачит* – основан как Ачитская крепость для защиты Сибирского тракта от набегов башкир в 1735 году. Со временем Ачит превратился в бойкое трактовое село. Население занималось хлебопашеством, извозом, ямщиной. В тексте первоисточника названа Ачинской.

С. 276. *Ишь Ермакова гора, – махнул он кнутом вперед*. – По берегам уральских рек нередко встречаются топонимы, связанные с именем Ермака. Самые известные горы, которые носят имя Ермака, на Сылве в районе Кунгура и на реке Чусовой около села Кын. Одна из Ермаковых гор находится рядом с Бисертью, скорее всего, на нее и указывал ямщик.

Стр. 277. *Мара*, диалект. – туман, мгла.

*Ялым* – деревня, расположенная в 12 километрах на восток от поселка Ачит, в нижнем течении реки Ут. Возникла во второй половине XVII века.

*Река Ут* – приток Сылвы, длина реки – 43 километра.

*Сылва* – левый приток Чусовой, длина реки – 493 километра. Название реки произошло от коми-пермяцких слов «сыл» – талая, «ва» – вода.

*Река Бисерть* – правый приток реки Уфы, длина реки – 193 километра. Существует несколько версий происхождения названия реки. По одной из них Бисерть переводится с коми как «огненная река», что связано с горением торфяных болот, расположенных в низовьях Бисерти. На реке расположено Бисертское водохранилище, созданное в 1761 году (реконструировано в 1956 году) для обеспечения водой Бисертского железодобывающего завода.

Стр. 279. *Река Еманча* – правый приток реки Тюш, протекает в Ачитском районе Свердловской области.

Стр. 281. *Шупенный* – предположительно, густой или молодой.

*Село Клёновское* появилось возле Клёновской крепости, основанной при строительстве Сибирского тракта для защиты от воинственных башкир в 1692 году.

*Михайлов Николай Иванович* (1848–1919) – пермский купец, потомственный почетный гражданин, гласный городской думы, меценат.

*Андреевский Николай Ефимович* (1822–1889) – российский государственный деятель, тайный советник. В разное время занимал должности пермского (1870–1878), костромского (1878–1884) и казанского (1884–1889) губернатора. В Пермской губернии занимался устройством дорог, ввел должность городского головы (управленца городским хозяйством), начал строи-

тельство Уральской горнозаводской железной дороги. В тексте первоисточника – Андриевский.

**Село Грбово** основано по распоряжению главного командира Уральских и Сибирских заводов Г.-В. Геннина в 1723 году, здесь проходила дорога к Уктусскому заводу. Раньше эта местность называлась Грбовым Полем.

Стр. 283. **Киргишанский завод**. – Так называли Бисертский чугуноплавильный и железоделательный завод, основанный А. Г. Демидовым на реке Бисерть около села Киргишаны. Завод был запущен в 1761 году.

Стр. 284. **Поселение Билимбай** было основано при чугуноплавильном Билимбаевском заводе, построенном Строгановыми в 1734 году. Было одним из наиболее прогрессивных для своего времени: здесь имелись школа, больница, театр, администрация завода следила за лесными вырубками.

**Талица** основана в 1732 году при винокуренном заводе, который был построен тюменским купцом Григорием Приваловым. В 1774 году на месте опустевшего приваловского заводика был построен казенный винокуренный завод – самый крупный в Сибири и на Урале. В 1869 году умирающий талицкий завод выкупил и модернизировал бывший чиновник А. Ф. Поклевский-Козелл. Помимо водочного было запущено большое пивное производство. Поклевский постоянно расширял свои владения, скупая земли и заводы, которые встраивались в производство. Его называли водочным и пивным королем Зауралья.

**Вчуже** – то есть со стороны, с точки зрения чужого, постороннего.

**Гербовая пошлина** взималась государством за рассмотрение разного рода документов посредством покупки специальной гербовой бумаги или марок. Первые гербовые марки Российской империи появились в 1875 году.

**Лысогорский Владимир Андреевич** (1821–1886) – чиновник, тайный советник (1882). Окончил Императорское училище правоведения. Занимал высокие должности в системе губернского управления: советник Воронежского губернского правления (1860–1865), пермский вице-губернатор (1872–1875), тобольский губернатор (1882–1885).

Стр. 286. **Деревня Старые Решеты** (затем – поселок Решеты) основана в 1735 году по царскому указу для проходящих по Сибирскому тракту военных подразделений. Названа по реке Решётке, правому притоку реки Исети. В 1754 году в деревне была учреждена почтовая станция. Основным занятием местных жителей в XIX веке была рубка дров, выжиг древесного угля, старательский золотой промысел, извоз и ремонт тракта.

Стр. 289. **Шайтанский увал** протянулся с севера на юг, на юго-западе от Первоуральска. С запада увал огибает речка Шайтанка. Высшая точка – гора Караульная (486,4 м) в северной части хребта. Другие вершины имеют высоту от 430 до 450 метров. Двигаясь от Билимбая к Екатеринбург, Немирович-Данченко мог видеть Теплую гору, на подъезде к Васильево-Шайтанскому заводу (сейчас это Первоуральск), и дальше – с южной стороны Сибирского тракта – гору Караульную и другие вершины Шайтанского увала.



**Гора Волчиха** – самая высокая гора в окрестностях Екатеринбурга (526,3 м), относящаяся к Ревдинскому хребту. Сегодня входит в состав городского округа Первоуральска.

Стр. 293. Зимняя **Никольская ярмарка в Ишиме** (Томская губерния); сельская **Крестовская ярмарка около Шадринска**, которая проходила в августе; вторая по величине после Нижегородской ярмарки зимняя **ярмарка в Ирбите** – самые крупные уральские ярмарки.

**Сатурналия** – оргия, выражение произошло от сатурналий – празднеств в честь Сатурна в древнем Риме.

**Шнельклопс**, нем. – мясо, отбитое и затушенное в сметанном соусе, блюдо называют ускоренной отбивной.

Стр. 294. **Орден Османье или Меджидие** – османские ордена. Первый был учрежден в январе 1862 года султаном Абдул-Азизом, второй – в 1852 году султаном Абдул-Меджидом. Ими награждались главы государств, дипломаты, гражданские служащие и военачальники, также деятели науки и искусств за выдающиеся услуги, оказанные Империи.

**Испаган**, Исфаган – крупный торговый город и древняя столица Персии.

**«Птички певчие» (1868), «Елена Прекрасная» (1864)** – известные французские оперетты Жака Оффенбаха.

**Vendetta catalana**, итал. – аллюзия на популярную оперу Ф. Маркетти «Каталонская месть».

**Via Dolorosa**, лат. – Путь Скорби, улица в Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, Иисус Христос шел к месту распятия.

Стр. 297. **Мсье Лекок** – герой произведений французского писателя XIX века, одного из основателей детективного жанра Эмиля Габорио. Это правонарушитель, ставший полицейским, его имя переводится буквально как «петух».

**Альгвазил**, испан. – служитель правосудия, от судьбы до полицейского солдата.

Стр. 298. **Башмаковские заводы**. – В апреле 1875 года Богословский казенный горный округ был продан статскому советнику С. Д. Башмакову. Он получал в свою полную собственность земли в Богословской и Турьинской волостях, действующий Богословский и упраздненный уже к тому времени Петропавловский заводы, Турьинские рудники и золотые прииски.

Стр. 299. **Стремный**, диалект. – опасный, страшный.

Стр. 300. **Невьянский чугуноплавильный и железоделательный завод** учрежден указом Петра I в 1699 году. В 1702 году Невьянский завод был передан тульскому оружейнику Н. А. Демидову. Наряду с производством чугуна и железа на заводе плавил медь, отливали колокола, изготавливали металлургическое оборудование как для собственных нужд, так и для других уральских заводов.

Стр. 301. **Саларев Н. А.** – управляющий Невьянскими заводами и приисками Яковлевых. В тексте первоисточника – Солерев.

**Асташев Вениамин Иванович** (1836–1889) – боевой генерал, наследник золотых приисков, основанных его отцом, томским золотопромышленником И. Д. Асташевым в Сибири. Значительно укрепил и расширил семейный бизнес, в том числе за счет участия в золотодобыче на Урале. С 1874 по 1879 год совместно с московским губернатором П. П. Дурново, столичным банкиром Г. Е. Гигзбургом, графом П. А. Шуваловым и золотопромышленниками А. К. Фохтом и А. Ф. Переяславцевым создают на паях такие крупные в России золотопромышленные товарищества, как «Березовское» и «Миасское», а также компанию «Алтайская». В тексте первоисточника назван Осташевым.

**Гарт Фрэнсис Брет** (1836–1902) – американский прозаик и поэт, который прославился реалистическими описаниями жизни золотоискателей в Калифорнии.

Стр. 303. **Исеть** – левый приток Тобола, длина реки – 638 километров. В переводе с вогульского языка «исеть» – много рыбы. С XVIII века на берегах реки и ее притоков построены металлургические заводы. Позже река стала местом золотодобычи.

Стр. 304. **Нижне-Исетский завод (Нижнеисетский)** – металлургический завод, основанный в 1789 году на реке Исеть. В 1860–1870-х годах производит листовое, кровельное и сортовое железо, снаряды. В конце 1860-х внедряют пудлингование, в течение 1870-х производство продолжает модернизироваться. Ставятся печи Боэциуса и Сименса, позволяющие значительно экономить теплоэнергию. Сейчас это территория Химмаша в Екатеринбурге.

**Село Уктус** основано в 1681–1683 годах на речке Уктус. В 1702 году начинается строительство железоделательного завода. В 1751 году запускается Уктусская золотопромывальная фабрика, первая на Урале и в России. В 1854–1856 годах фабрика была полностью закрыта. Жители занимались гончарным промыслом, земледелием. Сегодня на месте села находится жилой район Екатеринбурга.

**Клер Онисим Егорович** (1845–1920) – основатель Уральского общества любителей естествознания, его секретарь, автор работ по геологии и естествознанию, организатор «Записок УОЛЕ» и первого Краеведческого музея. В тексте первоисточника ошибочно названы инициалы – О. Г. Клер.

**Брем Альфред Эдмунд** (1829–1884) – немецкий ученый-зоолог и путешественник, автор знаменитой научно-популярной работы «Жизнь животных». В 1876 году в составе экспедиции, организованной Обществом немецких северо-полярных путешествий из Бремена, объехал Западную Сибирь. По дороге участники экспедиции ненадолго задержались в Екатеринбурге и успели познакомиться с музейной коллекцией Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

**Плезиозавр** – подводный вид динозавров, обитавший с триасового по меловой периоды.

**Строфокамил**, устар. – страус.

**...попала в руки хитроумному Улиссу – англичанину Эджертону Горбарту...** – Предположительно, речь идет о русско-английском Торговом доме «Эджертон Губбард и Ко», у которого были деловые интересы и связи в Екатеринбурге.

Стр. 307. **Село Шарташ** основано в 1720-е годы. Жители занимались шорным и меднолитейным делом, обслуживали дороги. В 1745 году Ерофей Марков открыл в окрестностях Шарташа первое в России коренное рудное золото, и на месте находки в 1748 году возник первый в России золотой рудник. Сегодня Шарташ входит в состав Екатеринбургa.

Стр. 308. **Пышма** – приток реки Туры, ее длина – 603 километра. Название реки произошло из языка манси – «тихая» или татарского «пошмас» – спокойная, медлительная.

**Село Березовское** – поселок при Березовском руднике, запущенном в 1748 году на месторождении рудного золота. С 1814 года стало добываться россыпное золото. Добыча золота ведется рядом с Березовским до сих пор.

**Пышминско-Ключевской медеплавильный завод** основан в 1857 году рядом с медным рудником, открытым на реке Пышме в 1854 году. В 1875 году все работы на руднике были остановлены, в 1878 году полностью остановлен завод.

**Становая, Саранпулки (Саранпулка)** – поселки около села Березовского.

Стр. 309. **Леман А. М.** – один из учредителей уральских золотопромышленных компаний, созданных В. И. Асташевым.

Стр. 310. **Миасс** – город в Челябинской области, основан в 1773 году, когда началось строительство медеплавильного завода. В первой половине XIX века вся долина реки Миасс превратилась в огромный золотой промысел. В 1836 году здесь разрабатывались 54 рудника и 23 золотые россыпи.

Стр. 311. **Жмаев Егор Иванович** – первооткрыватель золота в Сибири. Он обнаружил россыпи золота на реках Большой Пит, Актолик, Вангаш, Понимба, Мороко, эти места впоследствии стали называть Сибирским Эльдorado. Служил у купца Тита Зотова. По происхождению был казаком.

**Зотов Тит Поликарпович** (1793–1857) – управляющий Кыштымскими заводами в 1829–1843 годах, впоследствии крупный российский золотопромышленник, владевший богатыми приисками в Енисейской губернии.

Стр. 312. **Севагликон и Актолик** – «золотые» реки Северо-Енисейского района. Обе впадают через более крупные притоки в Енисей. В тексте первоисточника Актолик назван Актолином.

**Мойва** – приток Вишеры, длина реки – 51 километр. Течет на север по горному ущелью между горами Ишерим и Тулымский камень.

Стр. 315. **Штерк** – подземная горная выработка, пройденная в горизонтальной плоскости, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, служащая для вентиляции и транспорта.

**Домобит** – динамит.

Стр. 316. **Полумперал** – российская золотая монета, номинально равная 5 рублям.

Стр. 318. **Копром**, диалект. – торчком.

Стр. 322. *Покрученник*, диалект. – участник рыболовной артели, находившейся на содержании и в подчинении у хозяина.

Стр. 323. *Таватуй* – вытянутое с севера на юг озеро в 40 километрах к северо-западу от Екатеринбурга. С коми-пермяцкого языка переводится как «этот водный путь». Озеро называют жемчужиной Среднего Урала – за чистую воду и живописные горные берега.

Стр. 328. Фрагмент со слов «*Я уже слышал об этом и писал*» и до «*Мастеру в месяц иной раз и все двадцать руб*» восстановлен по публикации В. И. Немировича-Данченко «Колыбель миллионов (Очерки золотого царства)» в журнале «Исторический вестник», 1884, том XVI, С. 465–486.

Стр. 330. *Река Нейва* берет начало на восточном склоне Среднего Урала, рядом с озером Таватуй, с которым соединяется заболоченными протоками. Далее проходит через два пруда – Верх-Нейвинский и Рудянский, построенный при основании Нейво-Рудянского чугуноплавильного и железодельного завода в 1810 году. По берегам Рудянского пруда добывали золото. Длина реки – 294 километра.

Стр. 331. ... *когда откупа уничтожили...* – Частный откуп на торговлю спиртными напитками был отменен в 1819 году, введена государственная винная монополия. Однако уже в 1828 году откупная система была полностью восстановлена.

Стр. 334. *Шигирский золотой прииск* – прииск, основанный на берегу Шигирского озера недалеко от поселка Нейво-Рудянка, на торфяных болотах. Известен тем, что здесь в 1890 году старателями был найден деревянный идол, которому больше 11 тысяч лет. Шигирский идол признан самым древним артефактом в мире.

*Село Шурала* – поселение при железодельном заводе, построенном Н. А. Демидовым в 1716 году. Завод был заложен на *реке Шуралка*, которая берет начало на склоне Уральских гор и впадает в Невьянский пруд.

Стр. 335. *Невьянск* основан в 1699 году при Невьянском чугуноплавильном и железоплавильном заводе. В начале XIX века Невьянск становится «столицей» небольшого горного округа из трех заводов (Невьянского, Быньговского и Петрокаменского), рудников и лесной дачи. Однако к середине века завод начинает сокращать производство в связи с выработкой рудников и нехваткой леса. В 1869 году на заводе строится механический цех, постепенно завод начинает перепрофилироваться в механическое предприятие.

Стр. 336. *Быньговский прииск* располагался возле села Быньги, которое также было основано как поселение при заводе. Быньговский завод проработал до 1873 года. В тексте первоисточника – Быльговский, Быльги.

Стр. 337. *Золотоключевский*, Шуралино-Ключевский, *прииск* располагался в двух километрах восточнее Невьянского завода в долине реки Нейвы.

Стр. 338. *Татищев Василий Никитич* (1686–1750) – инженер-артиллерист, историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первого капитального труда по русской истории – «Истории Российской». В 1720 году был направлен на Урал для организации работы горных заводов. Основал железодельный завод на Исети и медеплавильный – на Егошихе, положив начало Екатеринбург и Перми. При заводах он открыл две начальные школы, две школы для обучения горному делу, выхлопотал учреждение особого судьи для заводов, составил инструкцию для сохранения лесов, проложил новую, более короткую дорогу от Уктусского завода к Уткинской пристани на реке Чусовой и т. д. Деятельность Татищева по упорядочиванию заводского хозяйства вызвала недовольство Н. А. Демидова, который увидел в ней угрозу своему влиянию на Урале. Демидов обвинил Татищева в том, что тот пренебрегает государственными интересами и разваливает казенные заводы. Для расследования этих обвинений на Урал был направлен Вильгельм де Геннин, который, изучив положение дел, счел все действия Татищева верными. Несмотря на это, Татищев был отозван с Урала. Вернулся он к работе на уральских заводах в 1734 году – в должности начальника горных заводов и фактически управляющего всем Уралом. За время, проведенное на Урале, им было построено 40 новых заводов и намечены места для строительства еще 36 заводов, построенных позднее.

Стр. 342. *«Десять невест, ни одного жениха»* (1862) – водевиль австрийского композитора и дирижера, создателя венской оперетты Франца фон Зуппе.

Стр. 343. *А. М. Земский, М. А. Ферапонтов, А. И. Манухин* – книгопродавцы, выпускавшие развлекательную литературу для массового читателя.

*Любим Карпыч Торцов* – герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок», промотавшийся брат Гордея Торцова.

Стр. 345. *Болотокмочевский прииск* – один из приисков, открытых около села Быньги.

Стр. 346. *Патагонки* – жительницы Патагонии, региона в южной части Южной Америки, которую, по описаниям участников экспедиции Магеллана, населяли гиганты. Рост коренных жителей, действительно, был заметно выше среднего роста испанцев.

Стр. 350. *Бутор*, спец., диалект. – приспособление для промывки золотого песка, применявшееся на мелких промыслах.

Стр. 352. *Анатолевская*, или *Анатолевская*, *деревня* основана Н. Н. Демидовым в 1824 году для обеспечения работы местных золотых приисков. Названа в честь младшего сына Анатолия.

Стр. 353. *Нижне-Тагильский заводской округ состоит из восьми главных центров...* – В названиях двух из перечисленных заводов сделаны ошибки: Висимо-Уткинский назван Висиле-Уткинский, Васильево-Шайтанский – Василе-Шайтанским.

**Авроринский прииск** основан в 1836 году у реки Мартьян, правого притока реки Шайтанка. Назван в честь Авроры Карловны Шернваль-Демидовой. Сегодня это поселок Уралец.

Стр. 357. **Выйский медеплавильный, железоделательный и чугуноплавильный завод** основан Никитой Демидовым в 1720 году рядом с Выйским медным месторождением, которое было быстро выработано. На заводе начали устанавливаться чугуноплавильные печи и оборудование для обработки железа. В 1826 году при Выйском заводе было создано «Механическое заведение», где проектировались и строились паровые машины, штанговые механизмы, внедрялись новые технологии выплавки меди и бронзы. С деятельностью этого цеха связаны имена знаменитых механиков-изобретателей Черепановых, которые спроектировали и построили в 1834 году первый в России паровоз. В 1870-х годах на заводе работали 19 шахтных медеплавильных печей.

**Гора Высокая, или Магнитная**, – гора на восточном склоне Среднего Урала, в центральной части Нижнего Тагила, высота над уровнем моря – 380 метров. Месторождение горы Высокой было открыто местными вогулами и заявлено властям в 1696 году. Разработка месторождения была начата Демидовыми, построившими в 1725 году в четырех верстах от горы на реке Тагил Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод. В настоящее время на месте прежней горы Высокой находится воронкообразный котлован глубиной около 200 метров.

**Купферштейн**, спец. – промежуточный продукт, получаемый при плавке медных руд, содержащих железо и серу, из которого получают медь, а также медный купорос.

**Колошник** – верхняя часть доменной печи вместе с отверстием, в которое засыпают колоши.

**Колоша** – определенное количество руды и горючего материала, засыпаемое сразу в доменную печь.

Стр. 358. **Грешневик**, диалект. – мужская валяная шапка цилиндрической формы с небольшими полями.

Стр. 362. **Кронеберг Алексей Иванович** (1828–1880) – помощник управляющего по социальной сфере и юрисконсультант Нижнетагильского горного округа П. П. Демидова, в 1873–1876 годах – председатель земских собраний, член земского училищного совета Верхотурского уезда.

**Нитте** (Ните) **Евстафий Карлович** (около 1804–1864) – горный инженер, управляющий Нижнетагильским округом (1867–1887), гласный Верхотурского земства, почетный мировой судья Верхотурского округа.

Стр. 363. **С. И. Леухин** – книгоиздатель, выпускавший в XIX веке авантюрно-приключенческие и бытовые романы, лубочные книги и брошюры, сборники полезных советов и т. д.

**Рудановский Петр Васильевич** (1829–1888) – выдающийся деятель медицины, гистолог, офтальмолог, терапевт, невропатолог, хирург. В 1859 году получил должность главного медика Демидовских заводов в Нижнем Тагиле,



где и прожил всю жизнь. При Демидовском госпитале им была создана трехлетняя фельдшерская школа, «лекарская школа» для практического обучения университетских выпускников, анатомический музей и медицинская библиотека. Состоял членом пяти научных обществ, в том числе Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), публиковал научные работы, которые хорошо знали и за рубежом. Являлся почетным членом ученого совета Казанского университета.

Стр. 364. *Деревня Салка*, или Никольская, основана в 1807 году Н. Н. Демидовым, который во время посещения Нижнетагильских заводов в 1806 году был поражен огромными расходами заводууправления на покупку провианта. Крестьяне, переселенные в Салку, должны были «развести при заводах собственное хлебопашество». Однако большая часть населения деревни вскоре начала работать на приисках и хлебопашество забросила.

Стр. 366. *Мазурик*, простореч. – плут, мошенник, вор.  
*Антирец* – интерес.

Стр. 369. *Траутшольд Герман Адольфович* (1817–1902) – геолог, профессор Петровской академии в Москве. Основную заслугу Траутшольда составляет изучение юрских и меловых отложений Московской губернии и Поволжья. В этой области он долгое время оставался практически единственным специалистом в России.

*Португалов Вениамин Осипович* (1835–1896) – русский революционер, народник, земский врач, ученый-медик, публицист, общественный деятель. В 1862 году был выслан в город Шадринск Пермской губернии под надзор полиции. Жил в Чердыни, Красноуфимске, Камышлове, работал врачом на уральских заводах, много ездил по губернии. В этот же период начал активно сотрудничать со столичными и провинциальными изданиями по вопросам общественной гигиены и медицины. Изучал быт и санитарное положение горняков, о чем написал очерк «Гигиена рудокопов». В 1872 году получил разрешение для свободного передвижения, переехал в Вятку.

Стр. 370. *Сапальский Викентий Францевич* (1822–1883) – горный специалист, геолог. Из дворян Царства Польского, выпускник Прусской горной школы в Тарновицах. За политическую деятельность был отдан в солдаты. Во время службы на Кавказе был прикомандирован к горному инженеру Э. М. Рейнке. Позже участвовал в геолого-разведочных работах в Луганске и Донецке. С 1872 года на протяжении 10 лет состоял горным инженером на Нижнетагильских заводах. Публиковался в Горном журнале, член УОЛЕ с 1873 года. В тексте очерков назван Собальским.

Стр. 371. *Лампа Дэви* – безопасная шахтерская лампа, в которой медная сетка с мелкими отверстиями предупреждает возможность распространения пламени.

Стр. 372. *Ермак из Чусовой поднялся вверх по реке Серебряной, против течения. Тут в самом устье он оставил три барки.* – Самая

распространенная версия хронологии и маршрута сибирского похода Ермака гласит, что отряд погрузился на струги и поднялся по Чусовой и Серебряной до Тагильского перевала в сентябре 1581 года. На перевале казаки построили земляное укрепление – Кокуй-городок, где зимовали до весны и вновь строили струги для сплава. Весной они сплавились по реке Тагилу и вышли в Туру.

Стр. 373. **Белов Василий Дмитриевич** с 1870 по 1873 год занимал пост первого председателя Верхотурской земской управы. В 1876 году переехал в Петербург, где работал управляющим Главной Санкт-Петербургской конторы заводчиков Демидовых, а затем – уполномоченным Лысьвенских заводов графа Шувалова. Был действительным членом УОЛЕ с 1871 года.

**Верхне-Салдинский** чугуноплавильный и железоделательный завод построен в 1778 году Н. А. Демидовым. Производил чугун и пудлинговые болванки, в том числе для Нижнесалдинского завода. По объему производства чугуна занимал одно из первых мест в России.

Стр. 374. **Тавда** была основана в 1870-х годах на реке Каратунка в нескольких километрах от впадения ее в реку Тавда, где купец Ушков основал суконную фабрику. В дальнейшем в окрестностях велась активная вырубка леса, работали лесопильни. По реке Тавде на баржах сплавляли железо и рельсы Надеждинского завода.

Стр. 376. **Пудлингование** – металлургический процесс передела чугуна в мягкое малоуглеродистое железо, получающееся в пламенной отражательной (пудлинговой) печи. Пришло на смену кричному переделу, характеризовалось более высокой производительностью и, кроме того, позволяло заменить дорогой и дефицитный древесный уголь каменным углем или другими видами топлива.

**Пестовый молот** – водяные молоты, которые совершают прямолинейное движение в вертикальной плоскости. Пест – это ударная часть механизма для измельчения твердых тел давлением.

**Томленая цементная сталь** – вид стали с однородным строением и равномерно распределенным по всей массе металла углеродом

**Доменная печь системы Рашета** – разновидность доменной печи, названная по имени изобретателя, горного инженера В. К. Рашета (1812–1880). Рашет был управляющим Нижнетагильским горным округом Демидова, потом директором Департамента горных и соляных дел, а в 1876 году возглавил Совет торговли и мануфактуры Российской империи. Печь Рашета получила распространение на металлургических заводах Урала в 1860–1870-х годах и была признана в Европе.

**Система Боэциуса** – энергосберегающее устройство печи для пудлингования. Теряющийся жар одной из печей нагревал котел парового молота, служащего для обжимки криц. Считалось, что система не только позволяла экономить топливо, но и способствовала улучшению качества металла. В тексте очерков названа системой Беоциуса.

Стр. 377. **Деревня Нелоба** расположена на левом берегу реки Нелобка в 10 километрах на юго-восток от города Верхняя Салда. Возникла на месте

поселения приписных крестьян Невьянского завода, обосновавшихся здесь в 1740 году. В 1757 году территория деревни отошла к тагильской части наследства Акинфия Никитича Демидова. Деревня считалась крепкой, местные жители не только работали на заводах, но и занимались хлебопашеством, разводили скот.

**Храм Бессемера** – так автор называет Нижнесалдинский завод. В 1875 году на Нижнесалдинском заводе впервые в России был внедрен прогрессивный метод передела жидкого чугуна в сталь путем продувки сквозь него сжатого воздуха, обычного атмосферного или обогащенного кислородом. Процесс был предложен в Англии Генри Бессемером в 1856 году. В начале 1870-х годов почти одновременно металлурги Д. К. Чернов на Обуховском заводе и К. П. Поленов на Нижнесалдинском заводе усовершенствовали метод, что позволило использовать в переделке сорт низкокремнистого чугуна.

Стр. 379. **Реторта** – сосуд из жаропрочного материала, обогреваемый извне продуктами сгорания топлива и служащий для восстановления, испарения и получения ряда цветных металлов.

**Отражательные печи** – промышленная плавильная печь, в которой тепло передается материалу излучением от газообразных продуктов сгорания топлива, а также от раскаленной внутренней поверхности огнеупорной кладки печи. Применяются для получения металлов и полупродуктов в цветной металлургии, варки стекла, а также для расплавления черных и цветных металлов и сплавов в литейном производстве.

Стр. 383. **Черноисточинский металлургический завод** и поселение рядом с ним были основаны в 1726 году А. Н. Демидовым. В 1850 году рядом с Черноисточинским были построены вспомогательный переделный Авроринский, в 1858 году – Антоновский завод. В дальнейшем все три завода функционировали в виде единого прокатного комплекса Нижнетагильского завода. Сейчас это крупный спутник Нижнего Тагила.

Стр. 383. **Посессионное право** – условное владение людьми или землями, предоставленное промышленникам для развития производства. Условность владения заключалась в неотчуждаемости рабочей силы и земель от данного предприятия. Его упразднение началось в 1840-х годах, закончилось – вместе с отменой крепостного права, однако посессионное право на земли сохранялось в некоторых местах до 1917 года.

## Содержание

I. Лоцман Терентий . . . . .	16
II. Бич лесов . . . . .	22
III. Старательница . . . . .	25
IV. Вечный лесовик . . . . .	31
V. В виду Лаишева . . . . .	37
VI. Опять леса . . . . .	42
VII. За Елабугой . . . . .	47
VIII. Челны и Пьяный Бор. – Крестьянский враг. – Удел. – Прикамские пустыни. – Река Ик и иковцы. – Предание о Ермаке . . . . .	50
IX. Прикамская пустыня. – Устье Белой. – Опять Ермак. – Каракулино. – Один из Кулибиных . . . . .	58
X. Казенный завод в приданое. – Заказы в Германии. – Воткинский миллионер. – Истребители лесов. – Арестантские пароходы . . . . .	66
XI. Судьба грамотного рабочего. – Земские деятели. – Северная ночь. – Как турку неверную купец окрестил . . . . .	74
XII. Пермь. – «Козий Загон». – Жертвоприношение Богу. – В театре. – Купец первой гильдии в роли медведя и пермский первобытный человек . . . . .	79
XIII. Вверх по Каме. – Пароходы Житкова. – Мотовилиха. – Бабья кавалерия. – Меловые столбища. – Как министр знакомился с местными нуждами. – Кампетесы и медведи. – Местный кредит. – Опять лесоистребление . . . . .	84
XIV. Последние бурлаки. – Крестьянская беда. – Разоренный край . . . . .	93
XV. Усолье. – Дроворубы. – Люди на скотской работе. – Любимовское заведение. – Газовые и дровяные солеварни. – Графы Шуваловы и Строгановы. – Договорные книжки. – Как кулаки обходят рабочего человека. – Озверевшие люди. . . . .	98
XVI. Общие обороты солеварения. – Рабочие цены. – Соляная баба. – Грузильщицы и лямщицы. – Шуваловские солеварни. . . . .	109
XVII. По захоластью. – Картины Закамья. – Свинья с бакенбардами. – Романово. – Яйва. – Почему баба дешева стала. – Глухие поселки. – Урал. . . . .	116
XVIII. Кизел . . . . .	121
XIX. Артемьевский рудник . . . . .	125
XX. Домна . . . . .	131
XXI. Огненные змеи и железные люди. – Производство завода. . . . .	136
XXII. В каменноугольных копиях. – Петербургский чиновник. – Шахты . . . . .	143
XXIII. Поп-охотник, поп-механик, поп-капельмейстер . . . . .	147
XXIV. Ироды недавнего прошлого . . . . .	151
XXV. Рабочий на заводе и на приисках . . . . .	156

XXVI. Поездка в Луньевку . . . . .	173
XXVII. Угольная копь . . . . .	178
XXVIII. Коксовые печи . . . . .	181
XXIX. Нашествие иноплеменных. – Французский год . . . . .	186
XXX. Александровский завод . . . . .	190
XXXI. Шабурное – завод голодный . . . . .	196
XXXII. Косьва. – Белый Спой и Басеги. – Картина Урала. – Как Ермак-волшебник людей в камень вогнал. – Золотой и железный гвозди. – Реки Няя и Ермачки. – Метаморфозы Ермачка разбойного. – Лесопиляня. – Как Никита Демидов потопил бродяг в подземелье . . . . .	198
XXXIII. В душегубках. – Береговые промыслы. – Орешники. – Люди с железными когтями. – Баба за мужика. – Наказанный порок, или Как начальство бунтовало на Косьве. – Камский перебор. – Река Ершовка. – Чёртово городище. – Как Ермачок сжег себя в деревянном срубе. – Воспоминания о Строганове. . . . .	208
XXXIV. Путь до Троицкого рудника. – Рабочий ад. – Горы: Кусвинская, Гусь. – Неведомое племя . . . . .	214
XXXV. Троицкий рудник. – Уральская пустыня. – Лесовики и беглые. – Как Лазаревы, Всеволожские и Демидовы новые сёла основывали. – Рудник. – Громадные богатства его. – Ослянка. – Как пьяница совладал с чертом. – Причины пьянства. – Возвращение назад в Няя . . . . .	218
XXXVI. От Няя до Губахи по безлюдью. – Картины берега. – Губаха. – Первый лесопромышленник . . . . .	227
XXXVII. По низовьям Косьвы. – Хлебопашество. – Косьвинские бабы. – Местное предание о бабе-разбойнице . . . . .	233
XXXVIII. Село Перемское (Никольское тоже). – Бабы на рыбной ловле. – Привилегированная птица. – Село Филагино. – Свободная любовь. – Неплательщики. . . . .	238
XXXIX. В устьях Косьвы . . . . .	244
XL. Из истории недавнего прошлого. – Освобождение ли крестьян повредило заводам? – Долги и истребление лесов. – Лесничий и заводоуправление. . . . .	247
XLI. Возвращение на Каму. – Чёрмозский завод. – Старо-Екатерининский канал. – Из недавнего прошлого. . . . .	254
XLII. От Перми до Кунгура. . . . .	261
XLIII. Кунгур. . . . .	266
XLIV. От Кунгура до Суксунской горы . . . . .	270
XLV. От Суксуна до Ачитской . . . . .	273
XLVI. От Ачитской до Бисерти. . . . .	276
XLVII. От Бисерти до Киргишана . . . . .	278
XLVIII. От Киргишанской до Гробовской . . . . .	281
XLIX. От Гробовской до Билимбая. . . . .	287
L. От Билимбая до Екатеринбургa . . . . .	289

LI. Почему иногда рубят леса. – Пьянствующие и буйствующие. – Козырные тузы Екатеринбурга. – Недавнее прошлое. – Чиновник на цепи и немец в колодце. – Свинья у позорного столба и казнь петуха. – Как составлялись богатства. – Золотая крупка. – Обманутые жандармы. – Перепутавшиеся Лекоки. – Рабочий ад . . . . .	291
LII. Старатели. – Старательские работы, лесная глушь. – Гранильная фабрика. – Ваза, над которой работали тридцать лет. – На голодном положении. – Артисты и ремесленники. – Обсерватория и Ноев ковчег. – Фабрика Эджертон Горбарта. – Как ком сала обращается в стеариновые свечи и куски мыла. – Опять рабочий люд. – Цена крови. – Хитроумные Улиссы . . . . .	299
LIII. Березовский прииск. – Старообрядческие сёла. – Казенное управление. – Рабочие платы. – Продажа приисков в частные руки . . .	307
LIV. Е. И. Жмаев – золотоискатель. – Заводские рабочие. – Под землей . . . . .	311
LV. Колыбель миллионов. – По пути в Верх-Нейвинск. – Лесные бабы и высеченный купидон. – На земляных работах. – Артельные матки. – Железнодорожный городок. – Динамитные взрывы. – Мы в роли поджигателей . . . . .	317
LVI. Верх-Нейвинск. – Трудно кормиться. – Цифры. – Золотое и железное дело. – Порядки на Чусовой. – Виды с сухой горы. – Семь братьев. – Фонари вместо памятников и молебн, заменивший свадьбу. . . . .	324
LVII. Глушь. – Рудянка. – Как в старину делались двоеженцами. – Как венчали с мертвецами. – Село Шуралинское. – Старатели. – Золотое дно. – Невьянск. – Какая земля. – Истребленные леса. – Фея старого замка. – Цифры и факты. . . . .	332
LVIII. Падающая башня Невьянска. – Как Демидов чеканил в ней серебряную монету. – Местные компрачикосы. . . . .	337
LIX. Золотое дно. – Болотокмочевский и Быньговский прииски. – Коннозаводская баба. – Рогожин . . . . .	345
LX. Уральская ночь. – Цифры. – Земля без шубы. – Обороты заводов. – Прекращение корреспондентов. – Музыка труда. – Добродетели железного и пороки золотого дела. – Платина . . . . .	351
LXI. На Выйском заводе . . . . .	357
LXII. Народ в Тагиле . . . . .	361
LXIII. Салда. – Ермаков лес. – Раздробление заводских хозяйств. – Железная и золотая деревни. – Неплательщики. – Опять птица «золотое перо». – Верхняя Салда. – Зобатые люди, микроцефалы. – Ариды и Мафусаилы . . . . .	372
LXIV. Храм Бессемера и таинство претворения . . . . .	378
LXV. Бунт из-за рабочей книжки . . . . .	383
Комментарии . . . . .	401



*Литературное издание*

**Владимир Иванович  
Немирович-Данченко**

**КАМА И УРАЛ: ОЧЕРКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ**

(18+)

*Материалы Лаборатории политики  
культурного наследия.*

**ВЫПУСК 10**

Составление, комментарии  
***Е. Г. Власова, Д. А. Солохина, Е. С. Кризьская***

Редактор – *Е. Г. Власова*

Предисловие – *В. В. Абашев*

Картография – *А. П. Ведерников*

Обложка – *С. А. Зеленина*

Компьютерная верстка – *Л. В. Черных*

Корректурa – *В. В. Мальцева*

*Книга издана при поддержке  
Министерства культуры Пермского края  
в рамках программы «Пермская библиотека».*

Подписано в печать 15.11.2021.  
Формат 70 x 100/16. . Электр. ресурс. 4,94 Мб ; 456 с.

Издательство «Маматов»  
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 55а,  
[www.mamatov.ru](http://www.mamatov.ru)